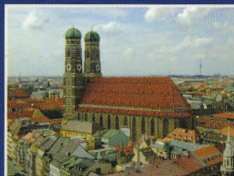
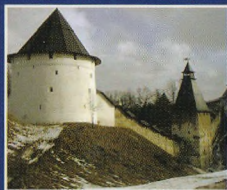


В. А. ПИРОЖКОВА

МОИ ТРИ ЖИЗНИ

*Автобиографические
очерки*



В . А . П И Р О Ж К О В А

МОИ ТРИ ЖИЗНИ

Автобиографические очерки



Журнал • Нева



САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

2002

Пирожков В. А.

ПЗЗ Мои три жизни. — СПб.: Издательство «Журнал „Нева”», 2002. — 608 с., ил.

У автора этой книги В. А. Пирожковой действительно три жизни. Первая началась вскоре после революции и окончилась Великой Отечественной войной. Вторая — пятьдесят лет жизни в Западной Германии, в течение которых она закончила Мюнхенский университет, стала профессором политологии и создателем журнала «Голос зарубежья». Третья — возвращение в Россию, в Санкт-Петербург, на Родину. Судьба автора этой книги — зеркало XX века, явившего человечеству и его бессилие, и его жизнестойкость. По сути, это книга о верности: верности своему языку, своей культуре — самому себе...

КНИГА ПЕРВАЯ



МОИ ЖИЗНИ

Собственно говоря, у меня была не одна жизнь, а три жизни. Родилась я в России вскоре после революции. Мои родители уже прожили довольно долгую жизнь. Им обоим было 42 года, до 38 лет они жили в старой России. Все мои тети и дяди провели значительную часть своей жизни в дореволюционной России. Мои сводные брат и сестры, две кузины были на поколение старше меня и тоже знали дореволюционную жизнь не только понаслышке. Я так хорошо впитала в себя предреволюционную атмосферу, что сразу заметила атмосферические ошибки Солженицына в «Августе 14-го», на которые ему потом указывал Р. Гуль, молодость которого прошла до революции. А в первое время своей эмиграции, когда еще были часты встречи с эмигрантами первой волны, я почти безошибочно, не вступая в политические разговоры, определяла, кто был до революции монархистом, кто кадетом, а кто меньшевиком или эсером.

Реально дореволюционный мир исчез, атмосферически он еще жил, и на него свалился жуткий, сатанинский мир изуверства, от которого атмосфера только что ушедшего не могла спасти, поскольку в ней почти исчез противовес страшной реальности — живое христианство. Сквозь этот мир приходилось пробиваться внутренне, сначала отрицая его по традиции семьи, потом пытаюсь осознать, устоять под его давлением и пропагандой и создать внутреннюю защиту самостоятельно, без чьей-либо помощи. Обратиться было не к кому. И одновременно, поняв уже в 14 лет, пагубность наследия «ордена интеллигенции» с ее внутренним бессилием созидательных возможностей, я старалась преодолеть эту слабость для себя. Помогло школьное окружение, где учились преимущественно дети рабочих, дети простых людей, и где содался круг такой дружбы, которого у меня в жизни больше не было. Круг понимания без слов и не сентиментального, а сурово

реалистичного отрицания того ужаса, который нас окружал. Эта дружба продолжалась и в университете.

Вторую жизнь надо было тоже создавать самостоятельно, в чужой стране, на основе чужого языка, чужой культуры и чужой ментальности. Сначала захватывающе интересное расширение кругозора. Сколько новых для меня немецких авторов я перечитала, но и не только немецких или других западноевропейских, открылась вся прежде запрещенная русская культура, не только эмигрантская, Бердяев, Булгаков, Вышеславцев, Лосский и другие, но и прежняя, например, Константин Леонтьев. Все это на фоне полуголодного и холодного послевоенного существования в Германии, что ничуть не омрачало духовный пир. Не говорю уж о живых, читавших в Мюнхенском университете наставниках, таких, как Федор Степун, Романо Гуардини, Франц Шнабель...

Этот период в моей жизни дал мне главное — веру в Бога-Творца, Иисуса Христа, Духа Святого и дал Церковь. Иными словами, дал мне ответ на так долго мучивший меня и не дававший мне дышать вопрос о смысле жизни. И это был уже ответ на всю оставшуюся жизнь, включая и третью. Основным моим руководителем в процессе обретения веры был Романо Гуардини, хотя и Ф. А. Степун остался не без влияния в этом процессе становления веры.

Вторая жизнь была длинной — полвека, и не ностальгически пассивной, а творчески активной. Ф. Степун говорил, что есть эмигранты и беженцы. Эмигрант берет с собой пистолет (большой частью символически) и пару политических брошюр, он любит ту страну, в которой живет, за то, что она предоставляет ему свободу действий. Беженец берет с собой ладанку с родной землей и ненавидит ту страну, в которой он живет, за то, что она не Россия. Я была типичной эмигранткой.

Окончание университета с отметкой *agna cum laude*, то есть 1 по-немецки или 5 по-русски, две диссертации, две книги, ряд статей, многочисленные доклады по всей Германии, Австрии и Южному Тиролю, то есть по странам немецкого языка, участие в конгрессах, форумах, съездах. Общественная, интеллектуальная и даже политическая активность, вторая диссертация, доцентура, потом профессура в моем *alma mater* — Мюнхенском университете.

Россия в этой жизни не забывалась, но деятельность эмиграции мне долго казалась переливанием воды из пустого в порожнее. Положение изменилось, когда появились самиздат и тамиздат. Тогда и я вошла в эмигрантскую печать: «Новое русское слово», «Новый журнал», а потом стала даже издавать свой журнал — «Голос зарубежья», на ничтожные средства и силами авторов-энтузиастов и бессребрянников. Последние номера этого журнала вышли в свет в... Петербурге.

Третья жизнь связана со свободной Россией. Падение коммунизма, освобождение России и возможность в нее вернуться, даже жить в моем любимом Петербурге, — это Божие чудо. Но третья жизнь не состыковалась с первой. Тех людей уже нет. Или я их не нашла. Хотя и были доклады в Москве, в университете и вузах, посещения политических собраний, лекции в Петербурге, но время активной деятельности уже позади, когда идет девятый десяток жизненного пути.

Несмотря на активную деятельность моей второй жизни, внутренне я так и не вписалась до конца в страну, где прожила полстолетия. Отдаление началось особенно тогда, когда выяснилось, что самые ярые антикоммунисты на самом деле антирусские, даже политики, которых я знала лично. Странно, но почти то же самое произошло со многими русскими борцами против коммунизма. Лишившись привычного врага, люди растерялись. Искусственно они пытаются создать себе нового врага из слепленного ими же самими образа «власти», пытаюсь одновременно подновить шатающегося кумира прежних лет — неопределенный «Запад».

А в это самое время незаметно для большинства прежние структуры размываются, и возникает новая структура, хотя и многополярного, но соединенного едиными нитями мира. У гордого, победившего мир — как он и его поклонники думают — Запада уходит из-под ног почва, что грозит ему вовсе не гибелью, но потерей высокомерной исключительности и включением в общий поток мира.

Молодой российский президент, второй по счету в посткоммунистической России, понял эти тенденции развития и вступил на трудный путь их осуществления. «Дуга мировой безопасности» с

западным столпом США, средним России и восточным Китая, вероятно, представляет собой приблизительные очертания будущих структур. Но произойдет еще много движения и разных перемен.

Внутренне, духовно я легко вписалась в свою третью жизнь в новую Россию и в новое движение мира. Мне остается наблюдать его, пока Господь оставляет меня свидетелем на этой земле.

*Санкт-Петербург, 6 июня 2002 года
В. Пирожкова*

Часть первая

С Е М Ь Я

Отец

Наряду со Псковом и Петербургом, о котором еще будет речь, в мои воспоминания детства вплетается Смоленск, особенно его прекрасный собор. Если я во сне ехала в Россию, то обычно ехала в мой любимый Петербург. Но иногда — в Смоленск, к тете, одной из четырех.

Семья, из которой вышел мой отец, была большая: четыре брата и четыре сестры. Дедушка мой был мелким служащим. Все четыре брата окончили Петербургский университет по математическому факультету и одна из сестер окончила Высшие женские курсы, тоже по математике. Территориально ближе к Смоленску, где жила семья, была Москва. Отчего старший брат, Михаил Васильевич, который был на 12 лет старше моего отца, поехал в Петербург, я не знаю. За ним последовала его сестра Мария Васильевна, на два года младше старшего брата. Учиться им было нелегко, но возможно. Оба прирабатывали частными уроками. Следующие братья ехали в Петербург по традиции и потому, что могли рассчитывать на помощь старшего брата. Мой отец был вторым сыном. Между старшим братом и ним родились четыре девочки.

Михаил Васильевич Пирожков вошел в русскую литературу своей издательской деятельностью. Издательство, основанное им, было небольшое, но претенциозное: он издавал только хорошую литературу, имел лицензию на первое полное издание сочинений Мережковского и других писателей. Издавал он и журнал П. Струве (когда последний отошел от марксизма) и С. Франка «Полярная звезда». С. Франк упоминает об этом в своей биографии П. Струве. Такая установка в издательском деле принести капитал не могла, и издательство дяди в конце концов прогорело. Он стал снова преподавателем математики. Кроме того, он делал переводы с француз-

ского. Я теперь уже не помню, в каком советском издании я читала насмешку над русским интеллигентом, у которого на книжной полке стоит непременно «томик Бертрана в переводе Пирожкова», но мой дядя действительно первым перевел Бертрана на русский язык. Разорение его издательства спасло ему жизнь в революцию. В 30-х годах до него бы добрались, но он скончался в 1929 году 62 лет от роду. Мой отец много про него рассказывал, но я его не помню, хотя, вероятно, маленьким ребенком видела.

Математика стала в семье традицией. Мой отец был математиком по призванию. Он жил в свое студенческое время в квартире старшего брата, помогал ему в издательских делах и, между прочим, блестяще закончил университет. Но второй брат, Алексей Васильевич, мягкий и безвольный, стал жертвой семейной традиции. Его тянуло к искусству и литературе. Он был прекрасным пианистом-любителем и, без сомнения, мог бы поступить в консерваторию. Или если в университет, то на славистику. Но не решаясь прервать традицию, установленную даже не отцом, а страшим братом, он поступил на математический факультет и, занятый издательской работой брата, чуть не застрял совсем в своем учении. Младший брат, Владимир Васильевич, гораздо более решительный, приехал в тот же Петербург, в ту же квартиру Михаила Васильевича и поступил на тот же математический факультет. Осмотревшись и увидев, что старший брат слишком загружает Алексея издательской работой, а тому и так математика дается с трудом, он просто снял отдельную квартиру, пришел домой и сказал Алексею: «Собирай свои вещи, мы переезжаем». Тот покорно собрал вещи и лишь потому, вероятно, благополучно, хотя и с затратой большого труда, закончил университет.

В советское время Алексей Васильевич преподавал математику в каком-то техникуме в Смоленске. Оба брата и старшая сестра вернулись в Смоленск. Другие сестры и не уезжали. В советское время у них были крохотные квартирки, все в прилегавших друг к другу небольших домиках, выходивших окнами в один и тот же двор. Получилось настоящее «гнездо», избавившее моих родных от многих неприятностей с чужими соседями. Несмотря на то, что младший брат, математик, был у него под рукой, Алексей Васильевич писал регулярно длинные математические письма моему отцу, так как он часто не справлялся сам с теми заданиями, которые должен был дать своим ученикам. Мой отец терпеливо решал их и писал брату объяснения.

В семье моего отца, среди его братьев и сестер, господствовала типичная русская интеллигентская петербургская атмосфера. Получили ли они эти задатки уже в своей семье — мои бабушка и дедушка с отцовской стороны умерли, когда меня еще не было на свете, — или приобрели в студенческие годы в Петербурге, не могу сказать. Непрактичность в житейских делах, высокая мораль, почти ригористическая гуманность, интеллектуальная честность и гражданское мужество мало приспособлялись к жизни в советских условиях. И если они уцелели, то лишь благодаря своему сугубо идеологическому, абстрактному предмету — математике; советским пропагандистам было невдомек, как можно включить в урок математики коммунистическую или атеистическую пропаганду. А специалисты царского времени еще были нужны. Нельзя было выбросить всех.

Интеллектуальная честность и гражданское мужество были присущи моему отцу в высшей степени. Одна сцена моего детства до сих пор стоит перед моими глазами. Мне было тогда 6 лет. Как случилось, что я осталась в комнате, уже не помню. Но хорошо помню высокого детину, пришедшего к моему отцу с угрозами. Это был один из выдвиненцев. Выдвиненцами в 20-е годы назывались бывшие партизаны, активные коммунисты и комсомольцы, которых власть за политические заслуги посылала в разные учебные заведения, чаще всего в техникумы. Так хотели создать новых, преданных власти специалистов. Некоторые из них были способны и могли учиться. Но многие владели лучше винтовкой, шашкой или примитивными пропагандистскими фразами, а «грызть гранит науки» приспособлены не были. Однако преподаватели, в большинстве своем из старой интеллигенции, их очень боялись и часто ставили удовлетворительные отметки, хотя никаких знаний у выдвиненцев не было. Друг другу преподаватели рассказывали самые курьезные вещи об экзаменационных ответах выдвиненцев. Один из коллег моего отца, преподаватель русского языка и литературы, принес однажды отцу сочинение такого выдвиненца на тему «Исторические личности в поэме Пушкина «Полтава». Оно начиналось так: «В поэме Пушкина были две исторические личности — личность Петра и личность Мазепы, была еще третья историческая личность — личность короля Карла. Она жила в Швеции». Автор сообщал, что «Петр велел привезти из Москвы в Полтаву Анафему и она там гремела вместо Мазепы», и закончил сочинение: «Так Пет-

ру поставили памятник, а Мазепу похоронили». Не знаю, какую отметку получил студент за это сочинение.

Мой отец упорно отказывался ставить удовлетворительную отметку по математике, если не было хотя бы минимума знаний, независимо от того, кто был его ученик, выдвиженец или нет.

И вот один из выдвиженцев, получавший у моего отца систематически неудовлетворительные отметки, вошел в нашу квартиру. Отец предложил ему сесть и спросил, зачем он пришел. Парень заявил: «Если вы не поставите мне тройку, я донесу, что вы были начальником бронепоезда белых во время гражданской войны». Выдумка этого парня была так же топорна, как и он сам. Мой отец был глубоко невоенным человеком и никогда не держал в руках какого-либо оружия. Когда он впервые явился на призывной пункт, он вытащил непризывной билет, а в Первую мировую войну его не призвали в армию как педагога. В России так бурно развивалось школьное дело, так не хватало педагогов всех видов школ и гимназий, что даже во время войны педагогов не призывали. И хотя все симпатии моего отца были на стороне белых, сам он не воевал. Угроза, однако, была нешуточная, хотя еще и не наступили страшные 30-е годы. Тем более что в 1924 году отец был временно арестован, о чем расскажу позже. Арестован он был как раз по ложному доносу.

Отец выслушал угрозу, встал, открыл дверь и сказал только одно слово: «Вон!» Я помню, как этот детина съежился, точно стал меньше ростом, и, как побитая собака, «поджав хвост», выскочил из комнаты.

С отцом ничего не случилось. Мне потом не раз приходилось наблюдать, как в тоталитарных режимах отсутствие страха спасало человека. Представители этих режимов, или их прислужники, судят так: если не трусит, значит, имеет «прикрытие» где-то наверху. И они отступают, чтобы «не связываться». А то, кто его знает...

В детстве моей любимой сказкой была коротенькая сказка про «сумасшедшего зайца». Один заяц созвал заячье собрание, влез на пенек и держал речь о том, что не надо бояться волков, пора, мол, перестать праздновать труса. Эту речь услышал волк и решил: «Вот этого оратора я и съем». Увлечшись своей речью, заяц не заметил волка и удивился, что его слушатели вдруг разбежались. Он оглянулся, увидел волка перед собой и... прыгнул на волка! Что ему еще было делать? И волк... убежал. В свое оправдание волк потом себе

говорил: «Мало ли зайцев в лесу, а этот какой-то сумасшедший». Вот так «сумасшедшие зайцы» иногда и проскакивали.

О стойкости моего отца еще будет идти речь. Меня его пример воспитывал лучше, чем это могли сделать длинные рассуждения.

Мать

Моя мать была дочерью железнодорожника и провела часть своего детства в Польше, где ее отец был сначала помощником, а потом начальником разных станций. Насколько мало было в семье предубеждений, видно из того, что в числе друзей семьи были и поляки, и евреи, и украинцы, а если поблизости не было православной церкви, то семья ездила на богослужение в униатскую.

Когда старшие дети стали подрастать, дедушка попросил перевести его в город, где есть гимназии. Он получил назначение в Двинск. Моя мать была старшим ребенком в семье; для нее и брата, который был на два года младше, их отец взял гувернантку, которая подготовила их к поступлению в один из старших классов гимназии. Моя мать выдержала экзамены и поступила сразу в 5-й класс Двинской женской гимназии. Через год дедушку перевели во Псков, который был тогда большой узловым станцией. Мама закончила псковскую гимназию и уже в последнем, восьмом классе стала невестой. Вышла замуж за молодого петербургского чиновника по Железнодорожному ведомству, приезжавшего с инспекцией во Псков и влюбившегося в мою мать.

С ним она уехала в Петербург. Когда началась русско-японская война, ее муж, офицер запаса, был призван в армию и пал на войне. Моя мать осталась вдовой в 24 года с пятью детьми. Пенсию она получила за мужа небольшую, так как он был еще очень молод, когда погиб, и моя мать с детьми уехала обратно в Псков, где жизнь была дешевле. Им помогли родители ее покойного мужа, дворяне, имевшие небольшое состояние.

Все же жить приходилось скромно — по тем понятиям! Мать имела не только прислугу, но и бонну для детей. Моя мать, дожившая до 81 года, всегда почему-то боялась рано умереть и оставить детей круглыми сиротами. Поэтому она воспользовалась привилегиями, полагавшимися детям офицера, павшего на войне. Обеих дочерей она поместила бесплатно в Петербургский Николаевский институт. Этот институт не только давал образование, но в случае полного сиротства заботился о молодых девушках после его окон-

чания. Для тех, кто имел жениха, делалось приданое, другим устраивалось место гувернантки или домашней учительницы. На старшей из моих сестер этот отрыв от семьи и интернатское воспитание не отразились, но младшую отдали в интернат в возрасте 6 лет, тогда как по натуре она была склонна к меланхолии и чрезвычайно привязана к семье. На нее этот насильственный ранний отрыв от семьи наложил тяжелый отпечаток. Мой отец, особенно любивший своих младших пасынка и падчерицу, часто говорил, что он бы этого не допустил, если б уже был мужем моей матери. Но я ни в коем случае не делаю упрека матери. Она действовала так не по легкомыслию, а из заботы о детях, стараясь обеспечить их на случай собственной смерти.

Среднего из трех сыновей она отдала, пользуясь аналогичной привилегией, в Кадетский корпус. Но он был в Пскове, так что мальчик мог каждое воскресенье проводить в семье. Только старший сын Алексей жил дома и учился в Псковском реальном училище, где преподавал математику мой отец. Младший сын Георгий умер от скарлатины, когда ему было 6 лет. Эта смерть чрезвычайно потрясла мою мать, и она так часто рассказывала обо всех ее обстоятельствах, что мне казалось, будто я сама пережила трагедию этой детской смерти. Когда моя мать забеременела пятым ребенком, она сначала испугалась. Она была еще такой молодой, и у нее уже было четверо маленьких детей. Понятно, что она устала, боялась новой беременности и даже не хотела этого ребенка. Но потом она любила тихого и очень ласкового мальчика больше всех своих других детей. Его скоропостижная смерть на самое Рождество обрушилась на нее как непереносимо страшный удар. Она винила себя за то, что когда-то не хотела этого ребенка, и твердила, что сама больше не хочет жить. Произошло это за два года до ее знакомства с моим отцом.

Мой отец окончил Петербургский университет в 1903 году. Первое назначение он получил в гимназию в Кишиневе. Он приехал туда, походил по улицам: пыльно, жарко. Бессарабия ему не понравилась. Он сел в поезд, вернулся в Петербург, пошел в Министерство просвещения и сказал, что Кишинев ему не нравится. И такие тогда были либеральные времена, что двадцатичетырехлетнего, еще только предполагаемого преподавателя даже не упрекнули, а предложили место в женской гимназии в Новгороде.

В новгородской гимназии атмосфера была не особенно приятная. Не все преподаватели в достаточной степени презирали блага земные, и дочери богатых купцов получали нередко отметки, не соответствовавшие их знаниям. Мой отец, конечно, сейчас же восстал против этого. Ему помогал тоже новый и тоже молодой учитель словесности. Им удалось значительно улучшить атмосферу этой гимназии, но, видимо, мой отец был тогда еще слишком молод, несдержан, хотя в то время ему не грозило и тени того, что грозило за стойкость при советской власти. Так или иначе, через два года он снова попросил предоставить ему другое место, и его снова без лишних разговоров направили в Псковское реальное училище. В Пскове ему понравилось, и он постепенно поднял преподавание математики на такую высоту, что в Петербурге, в высших заведениях, где поступившие должны держать вступительный экзамен, экзаменаторы говорили кандидату: «Из Псковского реального училища? По математике выдержите, экзамен будет только для формы».

Моему отцу, вероятно, было суждено дружить с учителями словесности, и в Пскове он был особенно близок с коллегой-славистом, который познакомил его с моей матерью.

Мои родители венчались в 1912 году. Они были однолетки, и мой отец принял четырех детей: Алексея, Татьяну, Илью и Елену. Все они сразу же начали называть его папой (своего родного отца они и не помнили, разве что старшие смутно, очень уж они были маленькие, когда он уехал на войну и погиб), любили моего отца, и он всегда считал их своими.

Свадебное путешествие мои родители предприняли на пароходе по Волге. И в следующий год мой отец успел свозить мою мать в Крым. Он очень любил путешествовать. До женитьбы он сумел объехать Германию, Швейцарию и Францию. Он часто рассказывал, как в Париже один кюре спросил его: «А кто быстрее бегаёт, лошадь или медведь?» Мой отец ответил: «Не знаю. Я не охотник и никогда такими вопросами не интересовался». У кюре расширились глаза: «То есть как? Ведь у вас в России запрягают в коляски медведей и ездят на них!» Это не анекдот о «развесистой клюкве». У моего отца был действительно такой разговор.

Кроме того, мой отец сделал замечательное путешествие на Алтай, вместе с проводником поднимался в горы на небольшой горной лошадке верхом, видел Байкал.

Он часто жалел, что отклонил предложение преподавать полго-

да математику кадетам-морьякам во время их учебного путешествия из Петербурга вокруг мыса Доброй Надежды в Японию со многими остановками по дороге. Но для этого ему пришлось бы просить заменить его в конце одного и в начале другого учебного года. Конечно, это можно было устроить, стоит ли повторять, что времена были либеральные, но отец только что начал преподавать во Пскове и считал неудобным сразу же просить о таком одолжении, думая, что аналогичная возможность представится потом не раз. Но никаких возможностей потом уже не было...

Одно время мой отец преподавал по совместительству в Кадетском корпусе, так что оба его пасынка были и его учениками: старший — в реальном училище, а второй — в Кадетском корпусе.

Война на жизнь семьи особенно не повлияла. Отец, как уже упоминалось, призван в армию не был, сыновья были еще подростками и призыву не подлежали. Трудностей с продовольствием во Пскове не было. Небольшой старинный город с 40 тысячами населения был окружен деревнями и утопал в садах. Никогда в своей жизни и нигде я не видела такого богатства яблок, как во Пскове во время моего детства, когда еще не все сады были уничтожены. Они умирали на глазах, но в годы моего детства еще существовали. От китайских и райских (первые — продолговатые, вторые — круглые) малюсеньких яблочек, из которых варили варенье, до огромного апорта и немного меньшей по размеру очень распространенной антоновки, от раннего желтого и кисловатого белого налива до краснощекой и сладкой малиновки... каких только не было яблок! Много было и ягод: лесной земляники, клубники, малины, черной смородины, росли и вишни, но для черешен было слишком холодно, также и для хороших груш; груши были, но твердые и маловкусные. До революции было, конечно, множество привозных фруктов.

Беда пришла с революцией. Тот коллега отца, преподаватель словесности, о котором я уже упоминала, своевременно бежал. Он говорил моим родителям: «Вы не знаете, перед чем мы стоим». Мой отец часто вспоминал его слова. Мои родители легкомысленно надеялись на победу Белой армии, не предпринимая ничего для бегства в случае дурного исхода. Моему брату-кадету Ильюше было 15 лет, когда началась гражданская война. Родители не хотели пускать его в армию по молодости, но он ушел тайком. Честь будущего офицера не позволяла ему оставаться вне борьбы. Он присоединил-

ся к армии Юденича. Сколько таких мальчиков беззаветно отдали свою жизнь в борьбе с надвигающимся на Россию ужасом, тогда как много взрослых офицеров отсиживались дома или даже пропивали собранные на борьбу деньги! Разложение зашло далеко. Но Белая армия сделала, что могла, и хорошо, что теперь среди молодежи в стране растет иное, положительное к ней отношение.

Моя мать мне часто рассказывала, как сжалось у них сердце, когда в Пскове раздался протяжный гудок, которым Юденич обещал предупредить псковичей, если их армия будет уходить. Мои родители до последнего момента надеялись, что Белая армия удержится... Они сами не знали, как объяснить, что они не бежали. Они просто растерялись. Бежали все же 15 тысяч псковичей из 40 тысяч тогдашнего населения. Но у моих родителей ничего не было приготовлено, а было все же трое детей-подростков. Так они остались, но мой отец решил пройти немного с отступающей армией Юденича, чтобы попробовать разыскать Ильюшу: родители думали, что если мальчика удастся привести домой и переодеть в штатское, то, может быть, никто не вспомнит о его пребывании в Белой армии.

Ильюшу отец не нашел. Армия отступала неудержимо. Когда она подошла к границе, отцу стало ясно, что он должен выбирать: бежит ли он один за границу — тогда уж навсегда — или попробует вернуться к семье. Жив ли вообще Ильюша или пал в одном из последних боев, он не знал, а дома оставалась мама с тремя детьми. Он решил остаться. В Ддове он переждал занятие города красными. Однако возвратиться во Псков оказалось невозможно. Всюду были облавы, пропускали только тех, у кого были пропуска от новых властей. Мой отец решил идти в логово зверя и пошел к комиссару. Тот спросил его, зачем ему нужно во Псков. Отец ответил, что живет там. «А как же вы очутились в Ддове?» — «Бежал с Белой армией, — ответил отец, — но потом передумал и остался». Комиссар посмотрел на него тяжелым взглядом и, помолчав, сказал: «Хорошо сделали». И на красных произвел впечатление массовый исход псковских жителей. «Придите через несколько дней». Но мой отец уцепился за край стола и сказал: «Я не выйду из комнаты, пока вы не дадите мне пропуска». Комиссар снова пристально на него посмотрел, затем молча взял бланк и выписал пропуск.

Отец шел пешком, ночевал у крестьян и тяжело раздумывал. Хотя он с самого начала относился к большевикам крайне отрицательно, но что это за ужас, открывалось и ему лишь постепенно.

Понимая все глубже, в какую пропасть катится Россия, он спрашивал себя, поможет или повредит он семье своим возвращением. Сомнения, не подвергнет ли он свою семью гонениям, если его арестуют за то, что он пробовал бежать с белыми, мучили его все сильнее. И вот в одну из ночевок он видел сон: он стоял на зеленой лужайке, над ним голубой купол неба. Вдруг с неба спустился сверток белой бумаги, который постепенно начал разворачиваться. На нем было написано золотыми буквами: «Иди. Благословляю». Уход моего отца с армией Юденича и его возвращение никогда не всплыли. Это было как бы вырванное из цепи событий звено.

Моего отца в 1924 году арестовали по ложному доносу, что он был эсером. Он никогда не принадлежал ни к какой партии, а эсеры и другие социалисты его симпатией никак не пользовались, но в месяцы между февралем и октябрём 1917 года он иногда ходил на открытые собрания разных партий, чтобы послушать, что они говорят. Кто-нибудь видел его, вероятно, на одном из собраний эсеров. Но в те времена еще попадались следователи, которые хотели разыскать правду. Следователь увидел, что принадлежность моего отца к партии эсеров не подтверждается. Один момент был очень опасным. В те месяцы, когда угроза захвата власти большевиками все росла, возник какой-то «Союз спасения России от большевиков», который, увы, Россию не спас. Но мой отец тогда к нему присоединился. При обыске у него было забрано много бумаг, в том числе и забытая им листовка этого союза. Когда следователь ее вытащил, мой отец похолодел. К его счастью, там стояло только «Союз спасения России», но не стояло от кого. «Это что за Союз спасения России? — нахмурился следователь. Но тут же «догадался»: — А, вероятно, от Корнилова!» Мой отец, так ненавидевший всякую ложь, на этот раз сказал: «Да». Его выпустили через несколько недель заключения.

Мой старший брат уехал в Петроград и поступил в Институт инженеров путей сообщения. Жить было трудно, голодно. Мой отец не мог помогать. Чтобы прокормить семью, он наряду с преподаванием давал частные уроки математики до 12 часов ночи и иногда засыпал от усталости во время урока. За урок платили полфунта хлеба. Незадолго до моего рождения отец ездил в Петроград и там узнал трагическую новость: Ильюша не пал на поле брани, но...

Он ушел в Прибалтику и пробрался к знакомым латышам. Эта семья жила до революции в Пскове, сыновья учились в реальном

училище, были учениками моего отца и товарищами старшего брата, знали и младшего, так как бывали в доме моих родителей. Когда произошла революция, они вернулись в Латвию, где у них было имение и небольшое состояние. Они приняли Ильюшу, но оставили его на зиму в имении, тогда как сами уехали учиться в Ригу. Ильюша заболел паратифом, и после этого у него, как это часто бывает, было подавленное психическое настроение. В день своего рождения, когда ему исполнилось 17 лет, он застрелился. Окружными путями знакомые латыши (не помню их фамилии) сумели передать это известие старшему брату Леше в Петроград. Брат и отец договорились пока скрывать это от мамы, чтобы шок не погубил ее и ребенка (мама ожидала тогда меня). Мама говорила, что сразу заметила расстроенное лицо отца и расспрашивала его, что случилось, но он отвечал лишь, что Петроград стал печальным, грязным и запущенным.

В 1944 году, когда мы бежали на Запад через Ригу, мы встретили двух из трех братьев этой латышской семьи. Старший, Вернер, был арестован и увезен большевиками. Уцелевшие старались помочь нам, чем могли, особенно их жены, которые знали трагическую историю Ильюши от своих мужей, но сами к ней причастия не имели. Они тогда были подростками и вряд ли были даже знакомы со своими будущими мужьями. Мои родители их, конечно, ни в чем не упрекали. Как знать, где и какая была вина? И не было ли вины и на моих родителях, не сумевших воспитать сына настолько верующим, чтобы самоубийство для него не было возможным?

Что было бы с Ильюшей, если б он остался жив? Сначала он, конечно, выбился бы. В Прибалтике жило много русских эмигрантов, хуже или лучше, но он бы устроился. Но что было бы с ним в 1940–41 годах? Сумел бы он вовремя уехать перед вступлением в Латвию советских войск? Немцы, вывозившие из Прибалтики балтийских немцев, брали часто и русских, не требуя доказательств для какой-нибудь выдуманной немецкой бабушки. Но многие русские остались и... погибли. Арестованных везли по страшной жаре лета 1941 года в товарных вагонах без воды через Псков. Уже в Риге мне рассказывала одна псковская молодая эстонка, тоже беженка, что она тогда раз шла через рельсы за молоком (за вокзалом были уже полусельские домики, и многие держали коров), когда вдруг из стоявших товарных вагонов, на которые она сначала не обратила внимания, раздался стон, и по-эстонски: «Воды, ради Бога, воды». Она

побежала с пустым бидоном к крану, набрала воды, подошла к вагону и хотела подать через высокое подслеповатое окошечко. Но в этот момент как из-под земли около нее вырос энкавэдист и зарычал: «Что вы делаете? Сами туда захотели?» У нее бидон выпал из рук. Так и остались эти несчастные люди без капли воды под жарким солнцем. Массовый вывоз арестованных из Прибалтики начался 14 июня 1941 года, поэтому многих, на их счастье, не успели вывезти до начала войны. Но если б Ильюше удалось пережить, он через 25 лет встретил бы свою мать, отчима, которого он любил и который его любил, и новую сестру. Но пережил ли бы он? Не стоит гадать об этом. Оставалось только посетить его могилу, на которую сводили эти самые знакомые латыши.

Детство

Когда гинеколог установил у моей матери беременность, ей шел уже 42-й год. Время было тяжелое, голод, и врач спросил мою мать: «Уничтожить ребенка?» Она ответила: «Нет».

Мне было 12 лет, когда этот очень известный во Пскове гинеколог скончался совершенно неожиданно от удара. Ему было только 50 лет. Мы тогда жили на улице, которая вела к городскому кладбищу, гроб этого доктора провожала такая толпа народа, что это походило на демонстрацию. Слышен был говорок, что покойный «помогал женщинам». По своей детской наивности я понимала это так, что он спасал при трудных родах, вылечивал от болезней. Только позже я поняла зловещий смысл этих слов.

Хотя нэп был объявлен за несколько месяцев до моего рождения, время было еще трудное. Мама рассказывала, что утоляла иногда голод ранними сортами яблок из сада, прилегавшего к дому, где жили мои родители. Они получили в голодное время несколько посылок американской организации АРА. Ожидая ребенка, они хранили манную крупу из этих посылок, и — о, человеческая неблагодарность! — я на всю жизнь невзлюбила манную кашу!

Смутные детские воспоминания восходят у меня к годовалому возрасту; помню, как отец всегда укачивал меня вечером, декламируя речитативом «Ангел» Лермонтова, который я знала очень рано на память, думая правда, что ангел летел по небу и «по полуночи» и вопреки моей врожденной точности не выясняя, что такое «луночь». А склонность к точности и абсолютная правдивость были мне присущи с самого раннего детства — математическое наслед-

ство отца и всей его семьи. Я не выносила никаких неясных положений, и, если кто-либо был в заблуждении хотя бы по отношению к каким-нибудь пустякам, мне сейчас же хотелось выяснить, поправить, уточнить. Вот два примера этой прирожденной точности, которых я сама не помню, но о которых мне часто рассказывали родные. Мой старший (на 23 года) брат Алексей учился в Петрограде и до своей женитьбы приезжал на каникулы во Псков. В один из таких приездов он пошел со мной гулять, мне было 2 года, я устала, и он взял меня на руки. Встретились какие-то его знакомые, не знавшие всей семьи, и кто-то из них воскликнул: «Алексей Александрович, вы уже женаты, у вас такая дочь!» Но прежде чем он успел ответить, раздался мой голосок: «Нет, Леша мне брат».

Кстати, насчет отчества моих сестер и брата по матери: оно совпадало с моим, так как и первого мужа моей матери звали Александром. Она не раз рассказывала, что, как-то с первым мужем купаясь под Псковом, в реке, она потеряла обручальное кольцо. Она очень расстроилась, но кольца найти не смогла. На другой день, купаясь там же, она заметила, что что-то блестит под камнем: это было ее потерянное накануне кольцо. Старая няня тогда сказала ей: «Одного Александра потеряешь, другого найдешь». Вероятно, это случайность, что примета исполнилась, но случай ли, что та же няня сказала про тогда еще совсем маленького Ильюшу: «Он долго жить не будет»? Болезни она заметить не могла, он не был болезненным ребенком и умер не от болезни. (Сельма Лагерлёф рассказывает о встречающихся в старой Норвегии старухах, которые, взглянув на ребенка, могли определить, проживет он долгую жизнь или умрет молодым, — причем и здесь дело шло не о болезненных детях, и умирали они в молодые годы редко от болезни, но от несчастных случаев или на войне. Вот только следовало ли такие вещи говорить матери?)

Но вернемся к моей прирожденной склонности к уточнению. Как-то зимой вечером (в Пскове в декабре уже в два часа пополудни надо было в квартире зажигать свет) мама ехала со мной в трамвае. Кто-то из пассажиров показал в окно и сказал: «Венера». А какая-то романтическая дама заахала: «Ах, Венера, вечерняя звезда!», и сейчас же, разрушая романтическое очарование, раздался мой голосок с маминых колен: «Венера не звезда, а планета!» Мне было тогда 3 года, и моя поправка была всеми пассажирами принята восторженно. Но когда поправляют и уточняют не трехлетние дети, а

уже взрослые люди, у поправляемых это редко вызывает восторг, скорее, наоборот, неудовольствие и возмущение, даже если поправляющий вполне прав или, вернее, в особенности, если он прав. Да и нужно ли всегда поправлять всех заблуждающихся и ошибающихся? В иных случаях бывает необходимо предпринять попытку, а в иных лучше оставить людей с их ошибками и иллюзиями. Всех и всего все равно не исправишь, не поправишь и не выровняешь. Да и что правильно, а что неправильно? Для романтика — Венера в самом деле вечерняя звезда, какое ему дело до терминологии астрономов? Только одно: клевету на другого человека, сознательную или ошибочную, всегда нужно снимать, если есть для этого возможность. Когда я родилась, только сестра Лена была еще дома, но и она вскоре вышла замуж и уехала в Петроград. Таня была замужем уже раиьше, и у нее был шестимесячный сын, так что часто мама нянчила вместе дочь и внука, чтобы дать Тане возможность пойти куда-нибудь с мужем. Но и их семья вскоре перебралась в Петроград.

Моего отца арестовали, когда мне было три года. Таня сейчас же приехала из Петрограда, чтобы помочь маме. Пока мама ходила по инстанциям и стояла в очереди для передач, Таня возилась со мной. Я хорошо помню серую тюремную стену и маленькие зарешеченные окна под козырьком, помню, как Таня высоко поднимала меня на вытянутых руках, чтобы отец мог меня увидеть из своего подследоватого окошка. При отступлении в 1941 году поджигательные команды советских войск подожгли и эту тюрьму с политическими заключенными. Среди сгоревших живьем или задохшихся от дыма был и один мой бывший школьный учитель. Но об этом после.

История, отчего мы должны были выехать нашего из дома, около которого происходило во время гражданской войны много страшного, малоприятна. Но, как говорится, слова из песни не выкинешь.

Дом этот до революции принадлежал священнику. Последний сразу почувствовал опасность для себя и семьи и решил уехать куда-то подальше, где его не знали. Он надеялся вернуться, если победят белые, и упросил моих родителей поселиться в доме, так как моего отца, преподавателя математики, мол, не тронут и красные, а дом и сад будут сохранены. Мои родители согласились. 9 лет они ничего об этом священнике и его семье не слышали и не знали. Моих родителей действительно не тронули. Я не знаю, каким образом были урегулированы права на владение этим домом, каковыми мой отец,

конечно, не обладал, но мы жили в этом доме, и самый дом, мебель и сад были в полной сохранности. Осенью 1926 года этот священник неожиданно вернулся с семьей. Он решил, что нэп укрепился и что ему бояться нечего. Из страны они не уезжали, были где-то на Урале у родственников. Мои родители приветствовали их радостно. Но они сразу же потребовали, чтобы мы выехали из дома, который был достаточно обширен, чтобы поместиться временно нам всем, тем более что наша семья к тому времени стала маленькой. Мой отец ни в коем случае не намерен был оставаться в доме после возвращения хозяина, но попросил подождать, пока мы найдем подходящую квартиру, что уже тогда в снова наполнившимся Пскове было не так легко. Выезжать на зиму глядя с маленьким ребенком куда попало мои родители, конечно, не хотели. Но священник потребовал, чтобы мы выехали немедленно, а куда, это ему все равно. Мой отец отказался, сказав, что будет искать квартиру и мы выедем, как только найдем подходящую, но не раньше. Тогда священник подал на моего отца в народный суд. Он требовал, чтобы мы немедленно выехали. Мой отец был настолько уверен в своем праве остаться в этом доме, пока он не найдет квартиры, после того, как хранил дом почти 9 лет, что не взял адвоката, а священник взял очень ловкого. Последний предъявил дополнительный иск: оплатить все яблоки из сада, которые мы съели за 9 лет. Этим дополнительным иском, который он сам не брал всерьез, он дал возможность суду «проявить справедливость»: яблочный иск был отклонен, но в главном пункте мой отец проиграл — мы должны были немедленно выехать из дома. Священник торжествовал. Знакомые помогли найти наскоро квартиру, бывшую барскую, с большими комнатами, высокими потолками, камином в большой комнате и... испорченными печами. Топить их было нельзя. В открытом камине мы сожгли много дров, но помещение не нагревалось. Мы ходили в квартире в валенках и зимнем пальто, у меня, пятилетней, пухли пальчики от холода. Остается добавить, что нэп скоро кончился. Дом свой священник потерял, да и сам, кажется, был арестован. Я не знаю точно его судьбы. Мои родители избегали говорить об этом и никогда не злорадствовали. Мне же пришлось еще бывать в этом доме, набитом, как все дома в СССР, жильцами. Там жили две сестры-учительницы, у которых училась и я. Сада уже не было.

Мы же нашли к весне хорошую квартиру, где и жили долго. Это был деревянный двухэтажный дом с четырьмя квартирами, в каж-

дой 5 комнат и кухня. Сначала мы заняли целиком одну из этих квартир, с окнами на восток и юг, очень солнечную и теплую. Было в ней все, что полагается: столовая, гостиная, папин кабинет, спальня родителей и моя детская. Но шик этот длился недолго. Начались уплотнения, и мои родители сначала добровольно взяли в квартиру двух сестер — студенток педагогического техникума, ликвидировав детскую. Но потом пришлось отдать две комнаты. У них был отдельный вход из коридора, а столовая переехала в гостиную. Так как через все комнаты можно было пройти сквозь внутренние двери и из двух был выход в коридор, то к отданным двум можно было бы присоединить и еще одну, оттянув ее у нас. На это многие и покушались. За третью комнату мои родители одно время вели изнурительную борьбу, и отстоять ее удалось только потому, что в Пскове открылся педвуз и мой отец, став там доцентом по высшей алгебре, получил право на кабинет для занятий.

И к этому дому принадлежал сад. Псков прежде вообще утопал в садах. Все это умирало на глазах. В саду при доме было тоже много яблонь, кроме того, кусты малины, черной и красной смородины. Жильцы решили снимать урожай и делить по количеству членов семей, а детям разрешить ходить в сад и есть ягоды с куста, сколько они хотят. Вначале это было объедание крупной малиной и смородиной, да и яблочек каждая семья получала порядочно. Но снимать и делить урожай хотели все, а ухаживать за кустами и деревьями никто не хотел или не умел. Сначала погибли кусты, не было уже ни малины, ни смородины. Потом постепенно перемерзли не утеплявшиеся зимой яблони. Дольше всех держалась яблоня с китайскими яблочками, и их еще собирали для варенья. Потом и она капитулировала.

Та же судьба постигла и другие фруктовые сады Пскова. И потом, если мы лично и имели яблоки, то только потому, что на той же улице наша старая знакомая сохранила свой маленький домик и садик при нем. Она продавала яблоки хорошим знакомым. В государственных магазинах яблок, конечно, не было, да и на колхозном рынке, которым жил весь город, яблоки не продавались. Исчезла, кстати, и рыба в прежде очень рыбном Пскове: две реки, недалеко Псковское озеро. Я помню еще время, когда мама приносила много рыбы с базара, и я приставала к ней, прося сделать фаршированную щуку по-еврейски, чему моя бабушка, а от нее мама научились в Польше. Но постепенно вся рыба исчезла, и ничего, кроме снетков,

достать было нельзя. Мой отец качал головой и говорил: «Все Сталин съел, и яблоки, и рыбу, какой ненасытный».

Время нэпа для меня, ребенка, было связано с булочной за углом, где были такие пышные булки, вкусные пирожные и такая же пышная, как эти булки, булочница, всегда имевшая для детей, приходивших в лавку, сливочные тянучки. Таких вкусных тянучек, какими они мне казались в детстве, я никогда больше не ела. Вместе с нэпом исчезли и булочная, и булки, появились продуктовые карточки на скучный серый хлеб. Но настоящего голода на севере не было. Никто не хотел идти в колхозы, но такого сопротивления, как в черноземных зажиточных областях, не наблюдалось. Да и власть смотрела сквозь пальцы на эти бедные области. Так же, кстати, поступили и немцы во время оккупации. Запретив на Украине распускать колхозы и вооружив против себя украинцев, они не обращали внимания на бедный север. Крестьяне сами разделили между собой землю и за один год сумели уже очень хорошо восстановить свои хозяйства. Но об этом после.

Каждое лето мы обычно проводили в одной из окрестных деревень. Несколько лет мы жили летом в деревне, находившейся недалеко от станции Торошино, в 20 километрах от Пскова. Мы снимали отдельный домик с кухней и, особенно в эти годы, собирали ежедневно массу грибов. Вечером шла сортировка, готовился грибной ужин, и шли заготовки на всю зиму: соленые, маринованные, сушеные грибы. До Чернобыля было еще далеко, и опасаться наслаждаться тушенными в сметане или жареными грибами не было никакого основания.

Домик этот построил для дачников один из крестьян — высокий неразговорчивый рыжий мужик, про которого говорили, что он умеет заговаривать змеиные укусы. Летом он работал без отдыха с четырех часов утра и наработал вместе с семьей некоторое материальное благополучие. За то и был признан кулаком и арестован. Дачный его домик стоял в запустении и постепенно разваливался. Мы же в эту деревню на дачу больше не ездили. В Торошине мы познакомились и с тамошним начальником станции, необыкновенно хлебосольным Масленниковым, женатым на русской немке, неустанно трудившейся над заготовлением разных закусок, которыми потом покрывался большой стол, а хозяин, угощая, гудел: «Есть что куснуть!» У них было три дочери, и две старших, Ира и Лида, жили одно время в нашей квартире, в моей бывшей детской, обе учились

в педтехникуме. История этой семьи была обычной советской: Масленникова арестовали, а семью выслали на 101-й километр. Об их дальнейшей судьбе мы ничего не знаем.

Мои родители не стеснялись говорить при мне о политике, и я очень рано, уже с шести лет, знала, что несу ответственность за моих родителей, что я должна взвешивать свои слова и не выболтать, например, что мои родители когда-то возлагали особую надежду на адмирала Колчака. Хотя его военные операции проходили далеко от нашей местности, но они в свое время надеялись, что его Сибирское государство постепенно освободит всю Россию. Я не жалею, что мои родители говорили при мне откровенно, но, думаю, и они неясно понимали, какая тяжесть ложится на плечи ребенка, взвешивающего свои слова из ответственности за родителей. Уже в эмиграции одна моя знакомая рассказывала: однажды управдом (как и в нацистской Германии знаменитые хаусварте, советские управдомы были часто сексотами) завел разговор с ее четырехлетним сыном. Замужем же она была за бывшим офицером, что они скрывали, и она боялась, что ребенок услышал что-либо из разговоров и теперь управдом из него эти сведения вытащит. Когда тот отошел, мать спросила мальчика осторожно: «Ну, о чем же дядя тебя спрашивал?!» Малыш посмотрел на нее большими глазами и сказал: «Не бойся, мама, я не разговорчивый мальчик, я ничего не скажу о папе». Дети понимают гораздо больше, чем часто думают взрослые.

Впрочем, в раннем детстве у меня было мало подруг и друзей, я росла одиночкой, много читала. А в возрасте 6–10 лет главным товарищем моих игр был сын наших самых близких знакомых, с которыми мои родители и на политические темы разговаривали откровенно.

У моего отца был один близкий друг, художник немецкого происхождения, но уже не знавший немецкого языка, Владимир Оттонович Рехенмахер. Он был преимущественно пейзажист, но на выпускном экзамене в Академии художеств (еще до революции) написал довольно известную картину «Пушкин и Мицкевич у памятника Петру Великому». Она была популярна, репродукции ее имелись в ряде хрестоматий. Он подарил ее Пушкинскому музею, где потом случился пожар, и картина сгорела. Его часто просили восстановить ее, но собрался он это сделать только незадолго до начала Второй мировой войны. Снова он подарил ее Пушкинскому музею в Пскове. Что с ней случилось во время войны, я не знаю. О

ее создателе еще будет речь. Он был холостяком, очень часто бывал у нас. Жил он вместе с семьей своей замужней сестры, вот младший сын этой сестры, мой ровесник Дима, и был товарищем моих детских игр. Мы играли в диких зверей, в путешествия и значительно реже в войну.

Кроме моих родителей, в детстве на меня большое влияние оказала моя учительница немецкого языка, у которой я брала частным образом уроки еще до школы, Лидия Александровна Гермейер. Происходила она из семьи разбогатевших в России, но все же сохранивших связь с Германией немцев. Л. А. училась в самой Германии, в лицее, конечно, до революции. Она родилась калекой, с искривленными пальцами рук и ног, могла ходить, но с детства пользовалась палочкой. Баловали ее в семье, жалея чрезвычайно и неразумно. Но баловством не испортили. Она нашла свой путь, став сознательно верующей христианкой, однако состояла в какой-то радикальной секте, которая даже отрицала врачебную помощь: Бог даст смерть или выздоровление. Так, в голодные послереволюционные годы она заболела сыпным тифом, отказалась от врачебной помощи и выздоровела без врача. Но в ней не было ничего сектантски изуверского или мрачного. Она была всегда уравновешенная, всегда радостная, в ней ощущалась очень сильная натура и не менее сильная христианская любовь к людям. Она никогда не проповедовала и не поучала, но все же первое знание об Иисусе Христе дала мне как бы мимоходом, но мне это запомнилось на всю жизнь. Преподавательницей она была прекрасной, умела научить структуре языка, так что мне было потом нетрудно по знакомому корню с соответствующими приставками и суффиксами образовывать самостоятельно слова, которых я до тех пор не знала, а тем более понимать встречающиеся новые слова.

Жила она вместе с вдовой своего рано умершего младшего брата и его двумя дочерьми. Старшая, незамужняя, служила в каком-то бюро, младшая, Эдварда, была замужем за русским студентом, изучавшим в Ленинграде горное дело. У нее было уже двое детей — два мальчика, и на моей памяти ожидался третий ребенок, причем мы все, ученики, радовались за них и желали им девочку, которая и родилась. Мать Эдварды, тоже дававшая уроки немецкого языка частным образом, и Л. А. помогали тянуть молодую семью, пока муж и отец учился. Вскоре после рождения дочери, названной Людмилой (чтобы она была людям мила), муж Эдварды окончил Горный

институт и получил место в Липецке, на сланцевых разработках. С ним и его семьей уехали его теща и свояченица, но Л. А. осталась со своими учениками. Она сказала: «Теперь я им больше не нужна». Я продолжала брать у нее уроки и тогда, когда начала посещать школу.

Мне было 14 лет, когда эту семью постигла обычная советская судьба. Молодой инженер был арестован: как говорили сначала, пропал без вести. Тогда Л. А. собралась в дорогу. «Теперь я им опять нужна», — сказала она. Я ощущала ее отъезд как большую личную потерю и ни за что не хотела ни с кем другим продолжать занятия немецким языком. Мы остались в переписке, но приходившие известия были одно хуже другого. Сначала заболела скарлатиной маленькая Людмила и умерла. Она не успела стать милой людям. Потом заболели брюшным тифом Эдвард и ее мать. Старая мать выздоровела, а молодая умерла. На руках тетки и двух бабушек остались осиротевшие мальчики семи и пяти лет. И тогда пришло из лагеря первое письмо их отца. Две старые женщины долго плакали над этим письмом, не зная, как сообщить мужу и отцу, что ни жены, ни дочери уже нет в живых. Как-то они все же написали. Отец, работавший по специальности и в заключении, видимо, он был арестован только потому, что понадобился бесплатный специалист, скопил из грошей, которые платили таким заключенным для возможности прикупить пищу в лагерном ларьке, маленькую сумму и прислал ее из лагеря для сыновей. Деньги, конечно, отослали обратно. Три женщины могли все же вытянуть двух детей. Война прервала нашу связь, об их дальнейшей судьбе я ничего не знаю.

Зимой 1928 года мой отец перенес очень тяжелый грипп, он был на краю смерти. Шестилетняя, я тогда еще неясно поняла опасность, но заметила, что мама плачет иногда в уголке. В те времена людей со слабыми бронхами или легкими врачи посылали на юг, и моему отцу после выздоровления посоветовали поехать летом туда.

Это была моя первая поездка на Кавказ. Мы провели несколько недель в Геленджике, где мне исполнилось 7 лет. Но не море и не кавказское предгорье поразили меня тогда больше всего, а темные и теплые ночи. Я привыкла к тому, что если ночи темные, то они весьма холодные, а теплые ночи летом — светлые. Темные и теплые ночи были в моих глазах тогда природной аномалией и очень меня удивили.

По дороге мы сделали остановку в Армавире, и для того, чтобы объяснить, с кем мы там встретились, надо вернуться далеко назад.

Моя бабушка с материнской стороны скончалась в 39 лет при родах ее последнего ребенка. Мама, первый ребенок в семье, была тогда уже замужем, жила в Петербурге и ожидала своего второго ребенка. Мой дядя Василий, на полтора года младше матери, учился в Петербурге в Институте путей сообщения. Потом он трагически погиб: проходя практику на железной дороге, он попал под ранжировавший паровоз и был насмерть раздавлен. Сестра мамы Анна, на три года младше ее, была еще дома, но вскоре вышла замуж и тоже переехала в Петербург. В доме оставались четырехлетний сын Володя и новорожденная Наташа. Через два года дедушка женился второй раз. Ему было 50 лет, а его второй жене — 25. Она была некрасивая и в те времена считалась уже старой девой; пошла ли она за дедушку только для того, чтобы вообще выйти замуж, или он ей нравился, не знаю. А понравиться мог он и молодой: высокого роста, статный, с правильными чертами лица, русой окладистой бородой и русыми волосами, дедушка походил на древнего боярина, как их изображали. Может быть, поэтому в их семье держалась легенда, что они происходят от боярина, бежавшего от гнева Ивана Грозного в вольной тогда еще Псков. Имени своего он, однако, не называл и жил как простой человек, его прозвали «новый человек», откуда и произошла фамилия дедушки — Новиков. Выйдя замуж за дедушку, Мария Ивановна (бабушкой я ее никогда не звала) переняла шестилетнего Володю и двухлетнюю Наташу. Увы, она была мачехой из сказки. Детей она терпеть не могла и буквально издевалась над ними. Дедушку я помню уже стариком, он умер в 1927 году, 76 лет от роду. Помню похороны и крик и вой Марии Ивановны, которые мне, малышке, тогда казались фальшивыми. Мария Ивановна жила еще долго на маленькую пенсию вдовы, мы ее подкармливали и давали немного денег, так же как и Наташа, несмотря на свое тяжелое детство. Наташа подолгу жила в доме моих родителей после их свадьбы, она была в возрасте моих старших братьев и сестер. Но потом все же возвращалась в дом отца и мачехи.

В гражданскую войну дядя Володя ушел в армию Юденича и погиб. А Наташа, жившая тогда у отца и мачехи, влюбилась в красного партизана. В нашей сугубо антикоммунистической семье, где партийных вообще не было, ни дяди, ни тети, ни брат, ни сестры, ни их мужья не были и близко к партии, появилось страшное родство. Говорят: «В семье не без урода».

Сыграло ли тяжелое детство роль, или просто была безумная

любовь? Наташа вышла замуж за своего партизана, а он сделал соответствующую карьеру. В 1928 году муж моей тети, Суворовский, был начальником ГПУ в Армавире. Отчего мой глубоко принципиальный отец не прервал всякой связи с этим родством, не могу сказать. Но я помню, что в Армавире они решили покатать нас на автомобиле, что тогда было редкостью. Мы ехали в открытом автомобиле, но дороги были такие плохие, что шофер сумел завязить машину в грязь. Ее вытаскивали потом с помощью лошадей, а мы вернулись в Армавир в грязном пригородном поезде. Помню, как побледнел шофер, когда он завязил машину, как побледнел мой отец, как сверкали его глаза, когда он, приступив к Суворовскому, говорил: «Дайте мне слово, что шоферу ничего не будет!» Тот дал. Сдержал ли? Мы этого не узнали.

Второй раз мы были у них зимой в Орле, куда Суворовский был переведен на ту же должность. Мне было тогда 10 лет. Помню катание на коньках с моим ровесником, двоюродным братом Сережей, их единственным ребенком. Но помню и другое. Отец пошел гулять с Суворовским. Когда он вернулся, был бледен и снова глаза его сверкали. Не обращая внимания на мое присутствие, он сказал матери: «Я ему все сказал, все о коллективизации, он же крестьянский сын, да и вообще...» Побледнела и мама и со страхом (муж сестры, но...) спросила: «А он?» Отец ответил: «Он всю дорогу молчал, не проронил ни одного слова».

Для моего отца разговор этот прошел без последствий. Но понадобилось 5 лет для того, чтобы Суворовский очнулся, 5 лет и гонения на своих, партийных. В 1936 году он, уходя на закрытое партийное заседание, сказал своей жене: «Я им скажу все». И до чего же люди находились под гипнозом своей партии! Они говорили «все» только на своих закрытых собраниях. Ведь знал же он, что не вернется с этого собрания домой, но въевшаяся партийная дисциплина заставила его сказать «все» лишь на закрытом собрании. Домой он не вернулся. Тетя была вскоре официально информирована, что он расстрелян. Тогда она переехала в Ярославль, где жила ее старшая сестра Анна. Ее муж, путейский инженер, был арестован на несколько лет раньше, тетя Нюта была выслана из Ленинграда на 101-й километр. Она устроилась в Ярославле. Ее мужа в лагере заставили руководить стройкой какой-то железнодорожной ветки, и, когда она через два года была построена, ему сказали, что арест был ошибкой, и его отпустили. Но он был уже немолодым челове-

ком и вскоре умер от сердечного припадка. Так поселились вместе две сестры: муж одной из них погиб, не будучи ни к чему причастен, просто понадобился бесплатный специалист; муж другой был палачом, но в какой-то момент все же раскаялся, сказал им правду, хотя бы ту часть, которую понял сам.

Остается только досказать, что, несмотря на официальное сообщение, Суворовский расстрелян не был. После начала Второй мировой войны тетя вдруг получила от него письмо с фронта. Он сидел в изоляторе перед тем и был отправлен на фронт, в так называемый «батальон смертников», то есть на самые безнадежные позиции. Прошло немного времени, и тетя получила вторично сообщение о его смерти. На этот раз оно соответствовало действительности. Пал на войне и их единственный сын Сережа. Мы узнали обо всем этом уже значительно позже, находясь в эмиграции.

Часть вторая

ШКОЛА

Пятый–седьмой классы

В школу я пошла 11 лет, сразу в 5-й класс. Как это было возможно при советской власти? А вот оказалось возможным. В Пскове было большое количество бывших учеников моего отца, и среди них много знакомых врачей, а я действительно росла очень слабым и болезненным ребенком. Я не только переболела всеми детскими болезнями, кроме скарлатины, но и постоянно простужалась: ангины, воспаление гланд, гриппы и просто простуды с высокой температурой были моим почти обычным состоянием. Врачи писали справки, что я по состоянию здоровья в школу ходить не могу, а мой отец ручался за то, что обучит меня всему необходимому для начальной школы. Знала я, конечно, больше, чем большинство учеников начальной школы, перечитала массу всего как по новой, так и по старой орфографии, которая меня не пугала. Знание арифметики было тоже обеспечено, географию я знала хорошо уже из-за моего пристрастия к описанию путешествий: ведь и игры с моим другом детства не обходились без огромной географической карты, которую мы раскладывали на полу и точно определяли пути наших будущих путешествий и приключений, а русскую историю я изучала по старым дореволюционным учебникам. В школе ее тогда вообще не учили. Только по обществоведению мне пришлось взять несколько уроков у одной знакомой преподавательницы начальной школы, прежде чем я пошла на экзамен для поступления экстерном в 5-й класс. Школу мой отец выбрал для меня сознательно. Правда, невозможно было посылать ребенка в любую школу города, надо было посылать в территориально ближайшую, но мы жили как раз посередине между центральной «образцовой» и железнодорожной школой. Мой отец мог выбирать. «Образцовая» была, конечно, хорошо обставлена, но и находилась под зорким оком партии, тогда

как железнодорожные (их было две, но только одну постепенно превратили из семилетки в десятилетку) были немного запущены. Они подчинялись не Наркомпросу, а Наркомату путей сообщения, и на них обращалось мало внимания. Здание было старое, не было физкультурного зала, и мы занимались физкультурой в коридоре. Но зато это была единственная школа в Пскове, где директором был беспартийный, математик и ученик моего отца. Туда забрались, как в некое убежище, преподаватели, «не созвучные эпохе». Конечно, они преподавали согласно программе, но по своей инициативе не проявляли никакого партийного рвения. Исключением были преподаватели истории и обществоведения, но и они не были рьяными, и — короткое время — преподавательница биологии.

Я не только не была в комсомоле, но не была и пионеркой. Когда всех автоматически записывали в пионеры, я еще не ходила в школу. А когда пошла в школу, все остальные были уже пионерами и нового набора не происходило. Впрочем, одна учительница заметила это обстоятельство. Биологичка, совсем не подходившая к духу нашей школы и пробывшая в ней всего один год, была типичной комсомолкой 20-х годов. Я поступила в школу осенью 1932 года, и учительница, хотя и молодая, возможно, тогда уже вышла из комсомольского возраста и была партийной. Но этот не в бытовом, а в политическом смысле вульгарный тип людей, вышедших из простых и принявших фанатично на веру новое учение, был характерен для 20-х годов. Позже мне такого типа людей встречать не приходилось. Она придиралась, если слышала случайно, как кто-либо из детей в личном разговоре на перемене говорил «слава Богу» или «дай Бог». И она же придралась к тому, что я не пионерка. Как-то на уроке она обратилась ко мне с соответствующим вопросом. Я помню эту сцену, как сейчас. Я встала, худая и бледная, какой я была до 14 лет, несмотря на все старания моих родителей питать меня лучше. На севере и при коллективизации не было настоящего голода, хотя была введена карточная система, но все же получать продукты было можно. Но я, как уже писала, много болела. На меня смотрел весь класс, и я заговорила каким-то вдруг появившимся у меня замогильным голосом о том, что я так много болею, что поэтому и в школу пошла поздно, что едва могу справляться с учением (что было совершенно неверно, так как я по всем предметам знала больше, чем остальные ученики) и что никак не могу дополнительно вести ни малейшей общественной работы, даже бывать

на пионерских слетах. Вышло, видимо, убедительно, так как активистка промолчала. Молча выслушал и весь класс.

Вскоре она исчезла, и вместо нее биологию, а потом и химию преподавала немолодая, добрая, но апатичная Елена Александровна Дрессен. Хотя она собирала на ОЗЕТ (Общество помощи евреям), но и это делала без всякого энтузиазма, а проявлять свою политическую инициативу ей и в голову не приходило.

Мы тогда должны были хоть гроши, но жертвовать на одно из трех обществ: МОПР (помощь международной революции), ОЗЕТ, или на Общество воинствующих безбожников. Я не помню, как долго продолжались эти сборы. Когда я перешла в 8-й класс, их уже не было, а были ли они в 7-м, не помню.

Долгое время школа проходила более или менее мимо меня. Центр моей жизни был дома. Только постепенно я начала сближаться с некоторыми одноклассницами, но близкая дружба возникла позже.

Преподавание скользило, глубоко не задевая. Хорошим преподавателем русского языка с 5-го и до 10-го класса был немолодой, еще дореволюционной выучки преподаватель Гринин. В литературе он дал нам не так много, как в грамматике, но и его самого, видимо, тошнило от Серафимовича, Сейфуллиной, да и от Фадеева и Маяковского. Но и русской классики, когда мы ее проходили, он не мог подать нам живо и интересно. Ее мы усваивали уже сами и гораздо раньше, чем дошли до нее по школьной программе.

Странно, я не помню совсем, преподавали ли нам в каком-нибудь классе русскую историю. Но Покровского я, кажется, в руках держала. В младших классах — 5-м, 6-м и 7-м — историки сменялись с калейдоскопической быстротой. У меня от них не осталось никакого впечатления. Только одного я помню, хотя и не знаю теперь, как его звали. Это был бывший партизан, потом комиссар на Дальнем Востоке. Как он попал в преподаватели истории, не могу себе представить, вероятно, это было очередное партийное задание. Никакой истории он нам не преподавал, но очень красочно рассказывал истории из гражданской войны и с увлечением описывал укрепления на границах Дальнего Востока. Пробыл он у нас недолго. Значительно позже, я уже была студенткой, в Пскове рассказывали, что этот человек, решил сказать на партийном собрании своим партийным товарищам «всю правду». Это напомнило мне мужа моей тети. И он не мог никак оторваться от партии и считал нуж-

ным на закрытом собрании сказать, что делает их режим, как будто не знал, что из этого выйдет. И этот бывший учитель был там же, на собрании, арестован. Когда началась война 1941 года, он сидел в политической тюрьме. Уходя, советские войска, вернее, специальные части поджигателей подожгли и политическую тюрьму, где заключенные сгорели заживо. В том числе и мой бывший учитель.

В 5-м классе мне было 11 лет, и я была самой младшей. В среднем ученикам и ученицам было по 12 лет, а девочке, с которой я попала на одну парту и которая потом стала одной из моих лучших подруг, Зине, было уже 13. Я говорю подробно о возрасте, так как именно в эти годы нам пришлось пережить страшную акцию. Однажды были созваны три старших класса — школа была тогда еще семилеткой, и старшими классами были 7-й, 6-й и наш 5-й. Все эти подростки и дети должны были голосовать за или против расстрела «вредителей транспорта». Это было первый и последний раз для меня. Впоследствии Сталин перестал устраивать дымовую завесу из голосований граждан и детей. Он расстреливал без всякой «санкции».

Помню нашего классного руководителя, учителя словесности Гринина, для которого это голосование детей за расстрел было, очевидно, отвратительно, но который боялся отказаться. У него же была семья: дочь, учившаяся классом выше меня, и сын младше ее на 3 года. Был еще кто-то, вероятно, от партийцев, но я точно не уже помню. Сидевшая рядом со мной Зина подняла руку за расстрел. Но я не могла. Я вообще не подняла руки. Поднять против я не решалась: с ранних детских лет усвоенная ответственность за родителей не допускала такого мужественного шага. Я была еще слишком мала, такое выступление не приписали бы моим собственным убеждениям, а начали бы копать, «чем дышит семья». Мы сидели в одном из первых рядов. Неужели никто не заметил, что я не подняла руки? Не знаю. Никто ничего не сказал, а вопрос «Кто воздержался?» задан не был. Возможно, внимание от моей неподнятой руки отвлекла ученица 7-го класса, поднимавшая руку против расстрела. В нее сейчас же вцепились: почему она голосует против расстрела? Она встала и спокойно ответила, что она вообще противница смертной казни.

Я не знаю, что было потом с ней или ее родителями. Я тогда была еще мала, новичок в школе, я не умела прислушиваться к

тому, что говорят, и узнавать новости. Помню только, что в стенной газете, в отделе «Что кому снится», было написано, что этой ученице (фамилии ее не помню) снится, что советская власть построила дворец вредителю транспорта. Это была обычная коммунистическая передержка: от непринятия смертной казни до построения дворца для справедливо или несправедливо обвиняемых — большая дистанция.

В школе все шло своим чередом, и я, несмотря на частые болезни и пропуски уроков, переходила из класса в класс с похвальными грамотами.

Самое страшное время коллективизации прошло в основном мимо меня. На бедном севере сопротивление было не так велико, как на плодородном юге. Исчезли булочные, бывшие при нэпе, и, конечно, другие продуктовые магазины, выпекался только однообразный серый хлеб, потом были введены продуктовые карточки. Одно лето мы остались в городе, тогда как обычно выезжали в деревню на дачу (где снимали летнюю половину крестьянской избы), но настоящего голода у нас не было. И все ужасы коллективизации вошли в мое сознание позже, а не в то самое время, когда они происходили. Но один эпизод запомнился мне на всю жизнь.

Летом 1934 года мой очень любивший путешествовать отец решил поехать с нами в Крым. Тогда было какое-то альпинистское туристическое общество, принимавшее в свои ряды всех, в том числе и таких «альпинистов», как мою уже немолодую, полную мать и меня, ребенка. Но оно имело в городах свои пункты, где можно было питаться и ночевать.

Как члены этого общества мы и поехали в Крым. На юге с питанием было трудно, особенно моему отцу, вегетарианцу по убеждению. Мясо было, но хлеба совсем не было, хотя самое страшное голодное время уже кончилось. Когда мы проезжали через Украину, на станциях просили еды бледные, с тоненькими, как спички, руками и ногами дети-подростки, совсем маленьких не было. Пассажиры давали, что могли, но у нас, обычных граждан, самих было мало. И вот однажды на такой станции из окна международного мягкого вагона выглянуло толстое, лоснившееся жиром лицо советского сановника, и не менее толстая рука бросила детям довольно большой пакет. Дети кинулись к нему, развернули и... отпрянули, разочарованные: в пакете были окурки!

С тех пор лоснящееся, толстое лицо советского сановника, го-

лодные дети и насмешка над их несчастьем, над их голодом стали для меня символом советской власти.

Мечтать о свержении этой власти я начала довольно рано — лет с двенадцати. Мечты эти принимали характер картинок детского воображения. Я подумала, что вот если бы все вдруг перестали работать, то и власть не могла бы удержаться. То, что такая акция называется «генеральной забастовкой», я узнала позже. Тогда я представляла себе Москву почему-то всегда в жаркий и сухой июльский день. Легкий ветерок ворошил пыль на иссохших улицах — и на них все было мертво. Трамваи и автобусы не ехали, даже пешеходов не было. Все было тихо и пусто. Сталин выходит на балкон Кремля и злится, но не может ничего поделать.

Такие сладкие мечтания утешали меня довольно долго, но в 13 лет меня однажды как обожгло: а армия? Ведь они пошлют армию выгонять людей на работу, и ничего нельзя будет поделать! Почему я тогда не подумала о ГПУ, я не знаю, но мысль об армии перевернула все мои «планы». Позже, когда мы учили историю партии, мне было смешно, что я в 13 лет и чисто теоретически додумалась до того, до чего Ленин дошел только после неуспеха революции 1905 года. С тех пор направление моих мечтаний изменилось: я начала думать о привлечении хотя бы части армии на сторону народа, о военном заговоре и вооруженном восстании.

Мое полное неприятие советской власти с детства было, конечно, заложено в семье, но в 12–13 лет я уже совершенно сознательно ее отрицала как существующий факт, как власть, действующую так, как она действовала. Ясно, никакого анализа идеологии в этом возрасте я сделать не могла. Вообще в то время идеология меня еще не коснулась. От обществоведения, преподававшегося нам в этих классах (начиная с 8-го класса его уже не было), у меня не оставалось почти никаких воспоминаний. Запечатлелись в памяти только анекдотичные моменты, так, например, нам рассказывали, что Маркс весьма напряженно размышлял и при этом всегда ходил по комнате из угла в угол, так что даже протоптал в полу дорожку. Или что Маркс читал сразу несколько книг. Тогда еще у меня мелькнула мысль: оттого у него, вероятно, и была такая путаница в голове.

Но, к сожалению, я не могу сказать, что от проникновения в мой ум того, что нам пытались навязать сверху, я была защищена другим мировоззрением или сознательной верой. Мне и теперь в во-

споминаниях трудно объяснить, отчего мои родители не дали мне полного представления о христианстве. Неверующими они не были, но, видимо, и глубоко верующими тогда еще не были тоже. Они оба окончили свою жизнь глубоко верующими, но тогда, видимо, такими были не вполне.

Мой отец написал мне «Отче наш», «Символ веры» и «Богородице Дево, радуйся», и я эти молитвы добросовестно выучила. Но я не помню, чтобы мне их объясняли, равно как и не помню, чтобы со мной вечером молились. Отец одно время читал маме и мне что-нибудь, когда мы были уже в постели. Так были прочитаны «Илиада» и «Одиссея» и не раз наша любимая «Калевала» (финские сказания), был прочитан роман Виктора Гюго «Отверженные». Однако Евангелие или другие религиозные тексты не читались.

В церковь мои родители во время нэпа ходили, особенно на большие праздники. Я помню, как, отправляясь на пасхальную заутреню, они меня укладывали спать, но я никогда не спала. Горела лампадка у икон, и я все время на нее смотрела, ожидая возвращения родителей. Иконы у нас висели во второй комнате. В страшный 1937 год мама поддалась всеобщему страху до такой степени, что однажды сняла иконы и спрятала их, а в первой комнате повесила какой-то дешевенький портрет Сталина. Мой отец некоторое время терпел, но потом сказал: «Если ты не уберешь эту морду, то я сам разорву ее в клочья. И повесь снова иконы». Мама, ничего не возразив, так и сделала. Одна их этих икон доехала и до Германии и до сих пор висит над моей кроватью.

В воскресенье и я ходила с родителями в церковь и семи лет в первый раз исповедовалась. Причащалась я, конечно, чаще. Но потом преподавателям нужен был героизм для того, чтобы ходить в церковь. Да и я как дочь преподавателя не могла этого сделать, не подвергая отца нападкам: какой же это преподаватель, который не сумел из собственной дочери сделать неверующую? Повторяю: мои родители не были героически и беззаветно верующими в то время. Отец ходил иногда в церковь на Охте, когда бывал в Ленинграде, там его вряд ли кто мог узнать. Мама ходила изредка и во Пскове: жена уже взрослый человек, ее не всегда можно переделать, так она была логика властей, но потом во Пскове закрыли все церкви, так что и пойти было некуда.

Мы праздновали большие праздники. На Рождество во время нэпа ставилась елка до потолка в первой комнате, а игрушки клеи-

ли сами из разных коробочек, делали ленты из глянцевой бумаги. Потом можно было купить украшения. Во времена запрета ставить елки знакомые крестьяне привозили под дровами небольшую елочку, которую ставили во второй комнате, а окна занавешивали, как на войне, чтобы не видны были свечи. Да то и была жестокая война режима против народа. С 1936 года делали елку уже открыто, в первой комнате, но не такую большую, как прежде. Тогда была вдруг разрешена «новогодняя елка». Она оставалась, конечно, стоять до Рождества, когда начинались зимние каникулы. Весенние же далеко не всегда попадали на Пасху. Воскресенья совсем не было, была шестидневка, выходной и подвыходной дни попадали на разные дни недели.

Но я не помню, чтобы мне разъясняли значение праздников. Конечно, поверхностно я о них знала из многих прочитанных мною книг, но глубокого объяснения не хватало. Отец говорил иногда о религиозных вопросах так, как будто было само собой разумеющимся все это знать. Но для меня это не было чем-то само собой разумеющимся. В школе же не было уроков закона Божия! Отчего, я не расспрашивала. Вероятно, для меня тогда эти вопросы не имели большого значения, вернее, я не понимала их значения. Мои поиски начались позже. В описываемое время (11–13 лет) я только отрицала власть, не вдумываясь в ее идеологические основы.

В 6-м классе мы ходили в школу во вторую смену. Занятия начинались в 2 часа пополудни и кончались в 6 часов. Зимой возвращались в полной темноте. В Пскове в декабре в помещениях уже в 2 часа приходилось зажигать свет, темнело рано. Мои родители охотно встречали бы меня после окончания занятий, но я запротестовала, стеснялась одноклассников. Почти до самого дома я могла идти с одной из моих одноклассниц, но только **почти**, совсем уже недалеко от дома, где мы жили, она поворачивала в боковую улицу, и я шла небольшой кусочек улицы одна. В один из таких вечеров у меня было переживание, которое психологи называют «ключевым».

На нашей улице была банда беспризорников. Словом «банда» я не хочу их дискриминировать, это были несчастные подростки. «Наша» банда ютилась в подвале, во дворе соседнего дома. Я не знаю, когда и почему был построен этот подвал. Вход в него в середине двора, он не примыкал непосредственно ни к какому дому, и никто из жильцов им не пользовался, дверь не запиралась. Вот в

этом подвале и ютилась банда. Между жителями улицы и бандой существовал неписанный договор: жители не доносили на банду милиции, а банда не трогала жителей улицы. Помнится, мне было лет десять, когда я вместе с соседской девочкой того же возраста видела, как беспризорники стащили бутылку водки с медленно ехавшего воза, который тащили лошади. Мы стояли в воротах, и один из беспризорных, проходя мимо нас, пригрозил: «Молчите, а то...» Не могу сказать, чтоб эта угроза меня испугала, но доносить на этих несчастных за то, что они стащили бутылку казенной водки, мне и голову не приходило.

Но вернемся к тому вечеру. Я только что распрощалась с Ниной, повернувшей в боковую улицу, и заметила, что на нашей улице впереди меня, недалеко от дома, где мы жили, расположилась банда подростков. Они сидели на корточках по правую и левую стороны тротуара. Один же из них, видимо, старший, уже лет семнадцати, высокий и худой, стоял, как жердь, прямо на моем пути немного позади подслеповатого уличного фонаря. Я уже давно не видела тогда никого из позапрошлогодней «нашей» банды и даже не знала, существует ли она вообще. Во всяком случае, мысль о ней мне в этот момент в голову не пришла. Что было делать? У меня был импульс повернуться и убежать, но я себя остановила. Этот долговязый, длинноногий парень догнал бы меня очень быстро, мне было всего 12 лет. Да и куда бежать? Прочь от дома? Я решила, что должна идти дальше, и шла тем же шагом, как и до сих пор, не ускоряя и не замедляя. Когда я подходила к фонарю и к парню, стоявшему на моем пути, у меня опять возникло желание сделать шаг в сторону и обойти его, между ним и сидевшим на корточках было свободное место. Но я снова себя остановила: он ведь не случайно стоял на моем пути, если я попробую его обойти, он снова заступит мне путь. И я шла прямо на него, как будто это было пустое место. Когда я подошла под свет фонаря, парень вдруг сказал: «Своя — и отступил, пропуская меня. Вся банда поднялась с места и исчезла мгновенно. Я все тем же шагом, не ускоряя, прошла дальше и дошла до дома. Испуга не было. Все произошло так, как должно было произойти. Дома я ничего не рассказала. Странно, что только немного позже я поняла, что это «наша» банда, оттого парень и сказал «своя», то есть жительница этой улицы. Я никогда не задумывалась над тем, что было бы со мной, если б это была «чужая» банда. Но позднее мне не раз приходилось — в переносном смысле этого слова — идти прямо

на, казалось бы, непреодолимое препятствие, и оно всегда расступалось, исчезало, как будто его и не было, и я могла свободно идти дальше.

Летом этого же года было другое запомнившееся происшествие. Мы почти каждое лето проводили в деревне, на даче, снимая у крестьян летнюю половину их избы, так как отдельных дач у колхозников уже, конечно, не было. И вот однажды в деревню, где мы были на даче, приехал гэпэушник на дрезине и сказал, что им надо задать моему отцу несколько вопросов, отец должен поехать с ним в город. Мы все растерялись, боясь, что отец с этого допроса уже не вернется. В полной растерянности маме пришла в голову мысль, что хорошо бы мне поехать вместе с ним и ждать отца на городской квартире. Для чего? Ведь телефона тогда не было у нас и на городской квартире, а тем более его не было в деревне. Что если б отец не вернулся? Я, двенадцатилетняя, сидела бы на городской квартире в страхе одна, а мама беспокоилась бы за нас обоих. Но если человек растерян, он не способен ясно мыслить. Мама сказала гэпэушнику, что я никогда не ездила на дрезине и мне, ребенку, будет интересно проехаться, не разрешит ли он и мне ехать. Гэпэушник хмуро кивнул головой. Ехать на дрезине действительно приятно, но на душе было тяжело.

К счастью, отец скоро вернулся на городскую квартиру, и мы даже успели попасть на вечерний поезд, чтобы поскорее успокоить маму. При всей трагичности тогдашнего общего положения допрос моего отца не был лишен комических элементов. Сначала, после трафаретных вопросов о личных данных, моего отца спросили: «Есть орден?» Мой отец помялся: «Да, Станислава, но он давался автоматически». — «Я спрашиваю о советских орденах», — пояснил допрашивающий. Таковых у моего отца не было. Следующий вопрос был: «В тюрьме сидели?» Опять мялся отец: «Да, в двадцать четвертом году, но коротко, выяснилось, что я ни в чем не виноват». — «Нет, я имею в виду царскую тюрьму», — снова поправил гэпэушник. Нет, в царской мой отец не сидел. Все было наоборот: орден имел царский, а в тюрьме сидел советской. И все же как-то сошло. Спрашивали отца о его бывшем коллеге еще по реальному училищу, преподавателе Воскресенском: был ли он членом партии эсеров. Насколько мой отец знал, он им был, но отец сказал, что не имеет об этом понятия. Второй вопрос был, знает ли мой отец, где Воскресенский теперь находится. Мой отец знал, что еще недавно

он был в Смоленске: когда мы посещали там своих родных, мы случайно встретили его с дочкой в моем возрасте, которую он назвал Аленушкой. Мой отец тогда сказал мне, что это его бывший коллега. Но теперь отец с замиранием сердца (а вдруг им известна даже эта случайная встреча) сказал, что не знает, где находится этот человек. Сошло, отпустили. Вряд ли Воскресенского не смогли найти, что было с ним и с его Аленушкой, я не знаю.

Если говорить о детстве, надо хоть несколько слов сказать о животных, которых я всегда очень любила. В детстве даже мечтала избрать себе какую-нибудь специальность, связанную с животными, много читала о животных. Дома у нас были коты и кошки. Помню я черно-белого кота Мурзика, который разговаривал только с моим отцом. Мама даже обижалась: ведь она его кормила, а ее он не удостоивал ответом. Я, тогда малышка, уж и не претендовала. Но если отец спрашивал его: «Ну, Мурзик, как поживаешь?», кот неизменно отвечал: «Мяу-яу-яу». Когда я стала старше, моей любимой кошкой была трехцветная Мурка. Она спала у меня на постели и позже, когда я уже была студенткой и приезжала на каникулы, встречала меня, как собака. Но к собакам меня всегда тянуло больше. Во всех деревнях, где мы жили на даче, я сразу же подружилась со всеми собаками, в том числе и с несчастными цепными псами. Ни одна собака мне никогда ничего не сделала. Хотела я и сама иметь собаку. Мой отец почему-то долго не соглашался. Но вот у наших почти что соседей — они жили на нашей улице — ожидалась щенки. Это была семья агронома Гуляева, жившая в маленьком собственном домике с маленьким садиком, где хозяин занимался своим, как бы теперь сказали, хобби — разведением гладиолусов. В его маленьком садике было огромное количество этих цветов самых разных форм и красок. Летом гости должны были непременно восхищаться этими его «детьми» и не уходили без большого букета гладиолусов. Вот у них была собачка женского пола — белый шпиц, и она ожидала щенков. Они нам предложили одного, и мой отец согласился. Однако потом казалось, что из этого ничего не выйдет. Родилось только три щенка, кому-то они были обещаны раньше. И я хорошо помню тот прекрасный для меня вечер, когда к нам позвонили и вошла Гуляева, неся на руках белый пушистый комок с тремя точками — глазами и носом. «Вот, — сказала она, — все-таки и для вас хватило».

Это была моя собака. Назвала я ее или, вернее, его, Джерри — по

книге Джека Лондона «Джерри и его брат Майкл». Я сама его воспитывала и дрессировала, хотя мне было всего лишь 8 лет, когда мне его подарили. Я читала Дурова и, применяя его методы, научила Джерри не только служить и подавать лапу, но прыгать через обруч и искать запрятанные предметы. Мой отец очень любил славную собачку, а Джерри сам, кроме нашей семьи, привязался еще к уже упомянутому мною приятелю моего отца — художнику Рехенмахеру, который часто бывал у нас. Если вся семья была дома, а Джерри бежал к двери и начинал вилять хвостом, мы знали, что идет художник.

У меня вообще был хороший контакт с животными. В деревне я не раз помогала выгонять и загонять коров и овец и ездила без седла, подстелив овчинку, на смиренных деревенских лошадаках в поле и на водопой.

Но в такое уж время мы жили, что даже о животных нельзя рассказывать, не затронув страшной темы. Гуляев вскоре после того, как они подарили нам Джерри, был арестован. Трудно было себе представить более аполитичного человека, чем он со своими гладиолусами. Но и на него пала страшная рука красного террора. Домик у семьи (у них были две дочери) отняли, садик и гладиолусы разорили. Семья, правда, осталась в Пскове. Тогда еще не высылали на 101-й километр.

Когда я была в 7-м классе, стряслась беда над Зиной, становившейся понемногу моей лучшей подругой. Зина была из простой семьи. Ее отец, обрусевший латыш, православный, был членом церковной двадцатки. Для тех, кто уже забыл: власти объявили, что та церковь будет «работать» дальше, для которой найдется 20 человек, желающих ее сохранения. Неопытные люди, вместо того чтобы стараться собрать как можно больше подписей, искали именно 20 человек: домашних хозяек, простых рабочих. Отец Зины работал ночным сторожем и был уже немолод. У Зины был старший брат, железнодорожный механик. Но после того как набиралось ровно 20 подписей, одного из этих двадцати арестовывали, оставалось только 19, недостаточно, и церковь закрывали. Все очень просто.

Вот его — двадцатого — и арестовали. В то время уже вошло в практику высылать семьи на 101-й километр. Семья Зины должна была покинуть Псков.

Получив это известие, весь наш класс в большую переменку (20

минут) бегал к Зине. Жили они недалеко от школы. На первом уроке после большой перемены весь класс плакал. Это был как раз урок немецкого языка. Наша учительница, псковская немка Дора Леопольдовна, не знала, что ей делать. Она нам, конечно, сочувствовала, но боялась это показать. Смущенная, она мялась, не зная, как нас успокоить и начать урок. Наконец класс успокоился, и урок пошел своим чередом.

Семье было дано некоторое время, чтобы подготовиться к отъезду. Мать и уже женатый брат Зины продали домик, корову, некоторые вещи, другие уложили для отъезда. Зина в эти дни еще приходила в школу. Она просила нас написать ей что-нибудь на память в альбом. Написали все ученики и ученицы, а учителя отказывались, боялись, за что мы их неразумно слегка презирали. Написала только наша учительница биологии и химии, Елена Александровна Дрессен. Мы тогда не сумели оценить ее мужества. Дора Леопольдовна тоже написала, но не в альбом, а на отдельной открытке и по-немецки. Зина далеко не все поняла, да и я, зная тогда немецкий язык намного лучше, не все поняла или не могла разобрать почерк нашей учительницы, теперь уже не помню. Так или иначе, Зина и я подошли в переменку к Доре Леопольдовне и попросили ее помочь нам понять. Но она не помогла нам. Вместо этого она с испуганным лицом пробормотала: «Ах да, вы ведь не понимаете» — и буквально вырвала из рук опешившей Зины открытку, спрятала ее и поспешно убежала. Она, очевидно, уже рассказывалась, что написала эту открытку, ее одолел страх. Не ее надо винить, а ту власть, которая доводит хороших людей и отзывчивых учителей до такого пароксизма страха.

По мере того как день отъезда семьи Зины приближался, во мне росла уверенность, что они не уедут. Мне было уже 13 лет, и я хорошо понимала, что надеяться не на что. Разумом я понимала, что все кончено, но вопреки разуму в душе росла полная уверенность, что этого не будет. Эта уверенность, я бы сказала, какое-то иррациональное знание было настолько крепко и ясно, что я не могла горевать. Когда группа наиболее близких Зине соучеников и соучениц в последний день перед отъездом семьи прощалась с ней, многие плакали. Катя, близкая подруга Зины, ставшая потом и моей близкой подругой, рыдала навзрыд, у меня же не было слез. Мне было стыдно казаться такой бесчувственной, но как я могла плакать, если я знала, что Зина не уедет?

На другой день я подхватила одну из моих обычных простуд. У меня был жар, и мои заботливые родители не пустили меня в школу. После обеда раздался звонок, мама пошла открывать, и я услышала ее радостный возглас. Я уже знала, кто пришел. В комнату вошли Катя и Зина. Я не удивилась, только сказала: «Я знала, что ты не уехала».

Каким-то чудом отца Зины выпустили, семье разрешили остаться. Купившие их домик оказались порядочными людьми и вернули им домик обратно. Они устроились опять на прежнем месте и зажили по-старому. Как показало будущее, это было роковой ошибкой.

Пока же жизнь снова вошла в свою колею. Погружение во тьму всей страны шло своим чередом, но моего непосредственного окружения пока что оно не касалось. Помню, как после убийства Кирова в каждом номере газеты печатался длинный список расстрелянных (позже Сталин перестал публиковать списки жертв, их стало слишком много), мой отец хмурился, открывая утром газету. Лицо его заволакивалось темной тенью, но он ничего не говорил.

Мои простуды достигли между тем таких размеров, что врачи настаивали на том, чтобы меня взяли из школы до конца года и чтобы я потом повторила 7-й класс, ведь я была самой младшей в классе. Но я запротестовала. Теперь у меня в классе были подруги, и я не хотела менять класс. Сошлись на компромиссе: меня на три месяца освободили от школьных занятий для укрепления здоровья. Это были славные зимние месяцы. Я была все время на воздухе, каталась на санках, бегала на лыжах, иногда полностью вываливалась в снег и... ни разу не простудилась! Но едва я пошла в школу, все началось сначала. Тем не менее мне ничего не стоило догнать пропущенное за три месяца, и семилетку я кончила, как обычно, с похвальным листом. С 8-го класса началась во многом иная глава моей школьной жизни.

Восьмой класс

Переход из семилетки в восьмой класс ознаменовался различными переменами. Многие из соучеников и соучениц уходили: кто в техникумы, кто в фельдшерско-акушерскую школу или на курсы машинисток, а кто просто работать. Писали друг другу на память в альбомы — альбомы не вывелись и в советской школе. Мой альбом не сохранился, да где ж при стольких бегствах? Я жалела толь-

ко об уходе одной из соучениц, моей тетки Веры. Она хотела учиться дальше, но семейные обстоятельства не позволили. Близко мы не дружили, нас связывала только любовь к поэзии Лермонтова. Она жила немного дальше, чем я, и мы иногда провожали друг друга, возвращаясь из школы, то есть я шла немного дальше дома, где мы жили, потом она возвращалась со мной. Мне помнится зимний день с метелью. Ветер засыпал снег в рот, и говорить было трудно, но мы все же провожали друг друга несколько раз и в противоборство ветру декламировали друг другу поочередно Лермонтова.

Потом мне приходилось встречать Веру. Она стала, увы, типичной советской служащей. Советская бюрократия отшлифовывала определенный тип преданных ей людей. Они не должны были быть партийными, и все же они как-то внутренне огрублялись, советская власть их больше не коробила. Вера могла бы стать интеллигентным человеком, если б пошла учиться дальше, но советской бюрократии она противостоять не смогла.

В наш класс пришли новые ученики и ученицы: часть из другой железнодорожной школы, которая осталась семилеткой, часть даже из школ, расположенных территориально далеко. В числе последних была Инна, дочь крестившего меня священника. Моим родителям хотелось, чтобы я с ней подружилась, но они никогда не пробовали оказывать на меня давление в смысле выбора моих друзей, да это было бы и безнадежно. Дружба с Инной, к сожалению, не состоялась. Дело было, конечно, не в ее происхождении, для меня-то это не играло роли, да и вообще в классе никто плохо к Инне не относился. Просто у нас были, видимо, разные натуры. Дружба возникла с другой новой девочкой, перешедшей к нам из второй железнодорожной школы. Валя — так ее звали — была белоруска, но уже несколько лет жила во Пскове, куда перевели ее отца, железнодорожного мастера. Русским языком она владела в совершенстве, была вообще способна к языкам и литературе, декламировала мне стихи Есенина, которого я до того времени мало знала, и даже говорила о Марине Цветаевой как о гениальной поэтессе. Где она о ней узнала, я не знаю, мы, остальные, о Марине Цветаевой тогда ничего не знали.

В 8-м классе мы как-то сразу почувствовали себя уже полувзрослыми. Преподаватели начали говорить нам «вы». Даже наш классный руководитель, Василий Алексеевич Гринин, ведший нас с 5-го

класса, посмотрел на нас, покачал головой и сказал: «Теперь вы уже большие, надо вам говорить „вы”». Мы вошли тогда в переходный возраст. Здесь, на Западе, считается, что это время, когда мальчики начинают интересоваться девочками, а девочки — мальчиками; кроме того, те и другие начинают грубить взрослым, и прежде всего своим родителям. Но мы тогда были пока далеки от всего этого. Для нас это было время становления личности. Мы обсуждали и дискутировали, что хорошо, а что дурно, стараясь ощупью найти устои этики, которой нас в школе никто не учил. Долго у меня случайно хранилась записочка Кати из того времени: «Вера, я слишком скоро прощаю обиды, хорошо это или плохо? С одной стороны, это говорит о доброте характера, с другой стороны — о недостатке самолюбия». Самолюбие стояло у нас высоко, но мы понимали его не как гордыню, а как признак самоуважения. Негативных сторон самолюбия мы тогда почти не видели. Много спорили о силе воли: какую она играет роль, что в жизни сильнее: обстоятельства или собственная воля, собственный характер? Во всех этих рассуждениях было немало детского, но прорывалась уже и некоторая зрелость.

Меня лично долго мучила проблема благодарности. Как часто бывает в жизни, малая причина потянула за собой вереницу внутренних колебаний. В 7-м классе у нас стояли, собственно говоря, не подходящие для младших учеников столы на три человека, а не нормальные парты. К концу этого класса у нас был уже крепкий триумвират: Зина, Катя и я. Мы решили сесть за один стол. Но когда я, как обычно, одна из последних, вошла в новый класс, то увидела, что стоят нормальные парты на двоих. Зина и Катя уже сидели за партой и показывали мне на парту сзади себя, где они заняли мне место. Сначала я была весьма разочарована, но делать было нечего. Вскоре ко мне подошла одна из одноклассниц, Лида, и спросила, может ли она сесть рядом со мной. Я согласилась. Но разговоры или бесконечные записочки на скучных уроках летали между нами тремя. Лида была более или менее исключена, да она нашими проблемами и не интересовалась. Вскоре я заболела дифтеритом. Это была моя последняя детская болезнь. Говорят, что чем старше ребенок — мне было уже 14 лет, — тем тяжелее проходит детская болезнь, но мой дифтерит был очень легкий, жара почти не было, горло болело слегка. Однако я должна была лечь в больницу, так как таково было предписание для заразных болезней. Больница же

была на другом конце города, вполне приличная, только мне было очень скучно. Книг передавать было нельзя, или они должны были там и остаться, их трудно было дезинфицировать. Отдушиной была лежавшая в той же палате молодая женщина. Она не была больна, но находилась при больной полуторагодовой дочери, славной девчухе...

В Германии в 70-х и 80-х годах много дискутировали о том, что к больным малым детям следовало бы допускать матерей, это способствует выздоровлению. По старой русской традиции в мое время в СССР это было чем-то само собой разумеющимся.

Конечно, мать тоже была заперта в больнице. Посещать нас нельзя было, можно было лишь стоять снаружи, за стеклянной дверью, на ветру и холоде, и делать друг другу знаки. Впрочем, оказалось, что под дверью есть щелка, дверь была двойная, я как больная не подходила к самой наружной двери, от которой тянуло холодом, но молодая мать была достаточно неразумна, чтобы служить моим подругам и мне почтальоном: она передавала через щель мои записки им и приносила их записки мне. Потом навестившая меня всего один раз Мила заболела дифтеритом, но тоже в легкой форме, и ее тетки-учительницы, у которых она жила, винили меня за записки. Кроме того, молодая женщина и я много разговаривали, играли в карты, колода которых так и осталась в больнице. В общем, все было довольно уютно. Если мы заговаривались допоздна, сестры нас на другое утро не будили. Кроме нас, в маленькой палате никого не было.

Но вот Лида решила, что ее обязанность навещать меня каждый день, что было ей трудно, а мне совершенно не нужно. Я пробыла в больнице две недели и две недели должна была еще быть дома. Опять-таки Лида ко мне часто приходила. Совершив этот ненужный подвиг, Лида предъявила на меня свои права. Я должна была стать ее исключительной подругой. Меня это чрезвычайно тяготило, но я боялась оказаться неблагодарной. Тогда я много размышляла о проблеме благодарности и поняла, что никто не имеет права закабалить другого человека, независимо от того, какую услугу он ему оказал. Другое дело, что тот, кому оказана услуга, должен в свою очередь помочь другому человеку, попавшему в беду, но он не обязан насиловать себя и свои интересы. Это может показаться само собой разумеющимся, но тогда это познание стоило много размышлений и внутренней борьбы. Заметив наконец, что у нас

почти нет общих интересов, Лида нашла себе другую подругу и пересела на другую парту. Ко мне же вскоре пересела Валя. Так все пришло в порядок, и наша четверка осталась дружной до конца школы.

В 8-й класс пришли не только новые ученики, но и новые учителя. Так впервые мы получили настоящего учителя истории.

Павел Семенович Вознесенский был уже немолодым человеком, дореволюционного образования, и, конечно, он не был коммунистом. Он преподавал историю и географию, преподавал очень хорошо и был вообще сильной личностью, умевшей влиять на класс. На его уроках было тихо, и наши записочки не летали с парты на парту. Это был первый преподаватель, перед которым мы почти что благоговели. То, что Павел Семеныч не был в душе коммунистом, мы скоро отгадали. Забегая вперед, скажу, что в 10-м классе, где мы должны были изучать историю партии, он нам не преподавал. Говорили, что он сам отказался, сказав, что не знает истории партии как следует. Было ли это возможно в то страшное время, не знаю, во всяком случае, в 8-м и 9-м классах он был нашим учителем. Однако этот первый знающий учитель истории, явно не большевик по своему внутреннему складу, имел на нас не только положительное влияние. В 8-м классе мы жевали и пережевывали Французскую революцию 1789 года. Был ли Павел Семеныч старым либералом, который в этой революции все еще искал идеалы «свободы, равенства и братства», забывая зловещую приписку: «или смерть», или же он просто как хороший педагог не мог иначе, как красочно изображать то, что он преподавал, но, так или иначе, он сумел на короткое время увлечь нас этой революцией, и это кратковременное увлечение легло романтическим покровом и на нашу страшную революцию. Марксизм никогда и ни при какой погоде не мог меня ни заинтересовать, ни тем более увлечь, но романтика свободы, равенства и братства на короткое время заволокла взор и прикрыла своей переливчатой пеленой не только неприглядное фактическое лицо той революции, но отчасти и нашей.

Самым нелюбимым нашим преподавателем был математик, русский немец Альфред Альфредович Кригер, высокий, тонкий, весь какой-то рыжий с красноватым цветом лица, рыжими волосами и большими рыжими усами с закрученными вверх концами, а-ля Вильгельм II. За рыжие волосы и усы он получил у нас прозвище Таракан. Это было единственное прозвище, данное нами кому-либо

из учителей за все мое школьное время. Не любили мы его по вполне объективным причинам: он был весьма слабый педагог. Объяснять совсем не умел. Он что-то писал или чертил на доске, что-то бормотал себе под нос, но никто из учеников ничего не понимал. Он преподавал у нас уже в 7-м классе, и от школы уже тогда меня попросили в виде общественной работы заниматься с отстающими по математике учениками. На мои уроки оставался почти весь класс, не оставались только мои подруги: они по книге и сами без объяснений могли разобраться. Зина же вообще была способным математиком. Потом мне говорили мои соученики и соученицы: «Отчего, когда ты доказываешь теорему, мы все понимаем, а когда Таракан, ничего не понимаем?» Что я могла ответить? У одних есть педагогический талант, у других его нет.

В 1934 году в Пскове был основан педвуз. Сначала открыли только два факультета: физико-математический и естественный, где учились биологи и химики. Созданы были, однако, сразу все курсы. Откуда набрались студенты на старшие курсы, я не знаю. Моего отца пригласили читать в педвузе лекции, хотя у него не было ученой степени. Он специализировался на высшей алгебре и получил звание доцента. Диссертацию он защитил позже, о чем еще будет речь. Студенты четвертого курса педвуза должны были проходить практику в школе. Появились они и у нас в 8-м классе.

Студент, преподававший у нас математику, был среднего достоинства как преподаватель. Он начал было говорить нам «ты», но мы, четыре подруги, подошли к нему и вежливо, но твердо заявили, что мы просим обращаться к нам на «вы». Он удивился, но внял нашему требованию. Это он назвал нас четырех «актив восьмого класса», так это за нами и осталось до конца школы, хотя классы, конечно, менялись.

Преподавать химию пришла к нам чрезвычайно талантливая студентка, что оказалось роковым для нашей доброй, но вялой преподавательницы химии и биологии Елены Александровны: только теперь мы поняли, как можно преподавать химию и как слаба наша учительница. До того мы жаловались только на Кригера.

Нами овладело желание усовершенствовать, улучшить школу. Мы требовали от нашего классного руководителя и директора школы, чтобы нам дали новых преподавателей по математике и химии. При этом мы ссылались на интересы всего класса, особенно же слабых учеников. «Нам все равно, — высокомерно заявляли

мы, — мы и по книге сами разберемся, но более слабым ученикам трудно. Эти учителя совсем не умеют преподавать». Забегая вперед, скажу, что в 9-м классе мы получили нового преподавателя математики. А Елена Александровна осталась, только потом, по просьбе нашего директора, нам не присылали практикантов по химии. Мы тогда и не подозревали, как мы были жестоки к нашей учительнице. Лишь много позже я узнала, что ей непременно нужны были еще года работы до пенсии. Если б она ушла тогда, когда мы требовали смены преподавателей, ей было бы очень трудно. Надеюсь, что Альфред Альфредович был в лучшем положении; впрочем, в младших классах он остался. Сами же мы собирались на собственные викторины, выискивали интересные вопросы по математике и физике и задавали их друг другу, каждая из нас приносила по несколько вопросов, на которые другие не знали ответа. Валя ввела в наши викторины и вопросы по литературе. Попробовали мы устраивать и совместное чтение, перечитали «Героя нашего времени», которого все знали, а потом «Князя Серебряного» А. К. Толстого, которого тогда знала только я. Но потом эта идея была оставлена. Все мы читали много сами, чтение вслух казалось скучным.

Так как от нас требовалась общественная работа, то Валя и я вызвались помогать в библиотеке. Добрая библиотечарша скоро дала нам ключ от шкафа, где лежали запрещенные книги. Выражение это не совсем точно, действительно запрещенных книг там, увы, не было. Там лежали книги, вообще говоря, разрешенных авторов, но напечатанные по старой орфографии. Выдавать эти книги не было разрешено, чтобы эта орфография не сбивала учеников с толку. Много интересного мы в этом шкафу не нашли, для меня была знаменательна только одна книга — «Преступление и наказание» Достоевского. Мои родители почему-то думали, что в 14 лет рано читать Достоевского, но его и не было у нас дома. Мой отец до революции приобрел академические издания полного собрания сочинений Тургенева и Л. Н. Толстого и ждал такого же издания Достоевского, но сначала война его задержала, а потом революция вообще отменила. После революции Достоевского не издавали. Может быть, поэтому мы его в школе не изучали, хотя в учебник литературы для 9-го класса было включено «Преступление и наказание», но мы его все же не проходили.

Я читала «Преступление и наказание» тайком от родителей, и

оно произвело на меня огромное впечатление. До убийства Раскольниковым старушки я не могла прочесть подряд больше 4—6 страниц, мне все казалось, что я сама готовлюсь кого-то убить. Возможно, мои родители и были правы, что рано было мне читать Достоевского. Но после убийства я уже не могла оторваться. Это было так, как будто сначала надо было с величайшим трудом лезть на высокую гору, а потом все катилось быстро с горы. После этой книги я начала искать Достоевского, но мне удалось найти лишь роман «Подросток», глубокого смысла которого я тогда не поняла и который меня разочаровал. У меня наступил период разрыва с Достоевским; уже находясь в университете, я брала его книги в университетской библиотеке. В университетской библиотеке студентам выдавали книги, напечатанные по старой орфографии.

К этому же времени относится мое первое увлечение театром. В Пскове не было постоянного театра, приезжали театральные труппы из Ленинграда, однако не из лучших. Но как раз в этот год приехал театр из Петрозаводска. Я сначала не хотела идти: ну что может приехать из Петрозаводска? Потом однажды пошла и была поражена: таких хороших артистов я еще не видела. Я стала бегать на каждую пьесу. Я весьма благодарна моим родителям, что они мне не препятствовали, даже если я шла в театр не с подругами, а одна, только отец встречал меня поздним вечером после спектакля, чтобы проводить домой. Конечно, побывали и мои родители в театре, но такими театрами они уже не были.

Ставил петрозаводский театр классику, русскую и французскую, а из более новых — пьесы без пропаганды. Я удивлялась их блестящей игре, начала осторожно наводить справки, и мне удалось узнать, что труппа эта состояла преимущественно из ленинградских и московских артистов, которые находились под ударом и предпочли скрыться в провинции, а не находиться под самым носом центрального НКВД. Тогда мне стало ясно, почему они так хорошо играют.

Средний возраст моих соучеников и соучениц был в 8-м классе — 15 лет, некоторым было уже 16, только мне было еще всего 14. Но в 15 лет можно было уже вступать в комсомол, и, конечно, в нашем классе была устроена акция для вступления в комсомол. Большинство, но не все, в комсомол пошли. Я по возрасту оставалась пока в стороне. Пошли в комсомол все три мои подруги. Почему они пошли? Были они убежденными коммунистками? Верили они

в советскую власть? Мы никогда между собой прямо об этом не говорили. Несмотря на очень близкую дружбу, я лично по-прежнему находилась под императивом ответственности за своих родителей. Я не решалась говорить откровенно о политике даже с моими лучшими подругами. Но если бы они были убежденными коммунистками или верившими в марксизм, насколько они его могли понимать в этом возрасте, то отчего бы им было не заговорить со мной на эти темы? Да и могла ли я дружить с заядлыми истинными комсомолками? Ни в коем случае! Помню, как-то Зина, самая старшая из нас, сказала, что если в системе нарастают внутренние противоречия, которые потом разрешаются скачком, то есть революцией, то не пора ли у нас делать революцию? Однако дальше на эту тему разговоров не было.

Отчего же они все же пошли в комсомол? Чтобы делать карьеру? Нет, мы были тогда идеалистками, о практической жизни как-то не было и мыслей, а тем более о карьере. Думаю, что роль сыграло иное. Мне часто приходилось думать о тяжелом положении активных по натуре людей, особенно молодежи, при тоталитарном режиме. В свободном мире активные молодые люди могут пойти в организацию скаутов, в церковные молодежные организации, в те или иные, в зависимости от их вероисповедания, а в более старшем возрасте — в молодежные организации той или иной партии, если у них есть политические интересы. В СССР все это невозможно. И я была активной по натуре, и мне было интересно заниматься, например, математикой с младшими классами, потом я преподавала в младших, то есть помогала отстающим, хотя оставался почти весь класс. Это я могла делать и не будучи комсомолкой, но это было и все. Я бы охотно поехала в детский летний лагерь, но лагеря были только пионерские, а старшие ученики и ученицы, помогавшие взрослым руководителям лагеря, были только комсомольцы.

Как я уже писала, в то время нас охватила активность внутри школы. И для меня это вышло на первый план. Абстрактные мечты о свержении советской власти и преобразовании всей страны уступили временно место «малым делам», активности внутри школы, желанию улучшить то, что можно было улучшить на месте. Эта активность, думаю, и повела моих подруг в комсомол. Но мы, повторяю, об этом между собой не говорили. Я не настаивала на объяснении с их стороны, вернее, совсем не спрашивала, они не объясняли. О политике и об идеологии мы пока между собой не

говорили. Но вот политические анекдоты все же рассказывали, причем очень злые. Я знала тогда множество политических анекдотов, они ко мне как-то сами летели. Кто именно рассказывал мне тот или иной анекдот, я уже не помню, осталось лишь в памяти, что Зина, комсомолка, рассказала мне следующий анекдот.

Сталин стал как-то раздумывать, не следует ли все же чем-нибудь порадовать народ, но так, чтобы государству не было накладно. Вдруг к нему явился какой-то незнакомый человек и сказал: «Дай мне слово, что не казнишь меня, тогда я научу тебя, что сделать, чтобы доставить народу радость, а государству было бы не накладно». Сталин дал обещание. Тогда этот человек вытащил из кармана толстую веревку, дал ее Сталину и сказал: «Вот, повесься на этой веревке, народу будет огромная радость, а государству совсем не накладно, как раз наоборот». Нравился мне анекдот, который рассказывался после смерти Максима Горького, когда русские города и веси стали называть его именем. Какой-то профессор литературы предложил в честь Максима Горького назвать всю нашу эпоху «максимально горькой». И в тот год я записала себе в тетрадь, именно записала, не только запомнила, прекрасное переложение пролога к «Руслану и Людмиле»:

У Лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в торгсин снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалку паспорта лишили,
А лешего сослали в Соловки.
Из курьих ножек суп сварили,
В избушку три семьи вселили.
Там нет зверей, там людн в клетке,
Над клеткою звезда горит,
О достижениях пятилетки
Им Сталин сказки говорит.

В этот же период моей жизни начались первые размышления о смысле жизни. Кругом было все тяжело и даже страшно, хотя конец 1935-го и начало 1936 года дали некоторую передышку. Или я, занятая иными вопросами, не так замечала, что творится кругом. Показательные процессы над старыми большевиками никого в нашей семье внутренне не затронули: за что боролись, на то и напоролись. Гибель крестьян, аресты ни в чем не повинных обычно-

венных людей были ужасны, а старым большевикам туда и дорога. Но все же вокруг было грустно и страшно. Как же жить? Где внутренний выход? Как хотелось мне поговорить об этом с моими родителями! Но это было невозможно, а отчего, мне даже и теперь трудно сказать. Моя мать, правда, считала все эти запросы о смысле жизни блажью, а мой отец, казалось, мог бы их понять, но как-то не отзывался. Это не может быть объяснено страхом говорить откровенно. Мы в семье всегда говорили между собой вполне откровенно, причем на гораздо более опасные политические темы. Так, мой отец нередко высказывал сожаление, что в момент революции был Николай II, а не Николай I. «Он бы не отрекся от престола, — говорил мой отец, — а стал бы сам во главе войск и разогнал бы их всех». И у меня в душе жило тогда что-то вроде обиды на последнего государя. Он так быстро и легко отрекся от престола и оставил всех нас, тогда еще не родившихся, на произвол этих страшных людей. Не в моей натуре было вообще сдаваться без борьбы. Он должен был бороться, думала я, если б он погиб в борьбе, то такова судьба, но надо было хоть попробовать. Может быть, в его пассивном принятии мученичества был более глубокий смысл. Тогда я, во всяком случае, понять его не могла.

В то время я также ясно ощутила, что надо мной, как и над всеми нами, тяготеет огромная, искусная, страшная пропагандистская машина, которая хочет всех нас внутренне деформировать. Мои родители, которым было 38 лет, когда произошла революция, не могли, видимо, понять, что эта пропагандистская машина означает для подрастающего человека, еще полурбенка. Они были вполне устоявшимися людьми и боялись только внешней силы, могущей погубить их физически, а не такой, какая могла бы их внутренне деформировать. Я же начала понимать эту силу именно как такую. Она давила на мою душу.

Между прочим, то, что мой отец не испытывал ни малейшего опасения внутренне сломиться, зависело от его сильного характера и целостной натуры. Я уже в то время видела немало внутренне сломившихся интеллигентов, пораженных, замороженных этой огромной силой и склонившихся перед ней не только внешне, но и внутренне. Значительно позже, уже в эмиграции, я прочла у поляка Милоша о том, как сдалась часть польской интеллигенции, сдалась именно внутренне. Ход мысли был таков: если эта сила победила, то, значит, таков исторический процесс, а спорить с историческим

процессом нельзя. Я с ироническим чувством читала стихи Брюсова, спрашивавшего русскую интеллигенцию, чего же она растерялась, не этого ли она хотела, не за это ли боролась десятки лет? И в самом деле, многие русские интеллигенты не ожидали, что их деятельность, которую они сами воспринимали как сеяние «разумного, доброго, вечного», даст такие результаты. Их идеалы, которым они посвятили всю свою жизнь, обернулись перед ними страшной рожей, и у них не было ничего, что они могли бы противопоставить этому не только внешнему, но и внутреннему крушению. Все это прекрасно описано С. Франком в его «Ереси утопизма», «Крушении идолов» и других вещах как его, так и иных авторов. Но это мне тогда доступно не было. Однако я чувствовала внутреннюю червоточину в значительной части русской интеллигенции, какую-то внутреннюю порчу, которая заставляла эту ее часть капитулировать именно внутренне. Я спрашивала себя, не правы ли в этом смысле коммунисты, говорящие о мягкотелости интеллигенции. Я не знаю, почему именно один из обычных пропагандистских советских фильмов о гражданской войне, «Подруги», вызвал во мне сознание, что эта интеллигентская мягкотелость есть и во мне. Я с ужасом подумала, что я не застрахована от внутренней сдачи под давлением коммунистической пропаганды. Я и сейчас хорошо помню, как сидела за своим небольшим письменным столом, вернее, обычным столиком, превращенным в письменный стол, и давала себе слово, что эта пропаганда меня не должна сломить. Если бы даже я пришла к выводу, что коммунистические идеи правильны, я должна сделать это сама, свободно, внутренне свободно, а не под давлением пропаганды. С этого момента я начала сознательно воспитывать в себе твердость и внутреннюю самостоятельность. Через три года, к 17 годам, я пришла к выводу, что я свое внутреннее воспитание успешно завершила.

На этот самый значительный год развития в моей ранней юности пало и семейное событие, которое заставило меня много думать о верности и доверии супругов друг к другу, об их взаимоотношениях. Мой брат решил развестись со своей женой.

Он, инженер путей сообщения, после окончания института устроился в Ленинграде. Женат он был, как я уже писала, на Вере Петровне Атлантовой, певице. В семье ее все любили. Она была прелестной, образованной и шармантной женщиной, хотя, как и у

всякого живого человека, лицо у нее иногда было прекрасным, а иногда почти некрасивым, все зависело от того внутреннего света, о котором пишет Толстой относительно Наташи Ростовской. У них был сын Игорь, тоже прелестный мальчик. Все было хорошо, пока брат служил в Ленинграде. Но вот вышло новое распоряжение: молодых инженеров — на линию. Брата перевели в Старую Руссу, а его жена не захотела туда переехать, так как она продолжала совершенствовать свой голос, а в Старой Руссе вряд ли нашла бы квалифицированных учителей пения. Я не говорю, что Вера Петровна была права: семье трудно жить в территориальном разрыве, но все мы, мой отец и все сестры, считали, что и брат должен был бы проявить понимание и терпение. Только моя мама оправдывала своего единственного оставшегося в живых сына. Так или иначе, брат ждал год, а потом развелся с женой.

Тогда у него уже была новая невеста. Может показаться странным, но он не выбрал себе молодую девушку, хотя им увлекались и женщины много моложе его. Его новая жена, Лидия Александровна, была одних лет с ним, вдова с двумя дочерьми, старшая из них моего возраста. С ней мы быстро подружились. Внешне Лидия Александровна и Вера Петровна имели сходство, обе были темно-волосые и темноглазые, высокие, только Л. А. довольно полная. Лицом же она была необыкновенно красива; дочь обрусевшего грека и русской матери, она являла собой тип классической греческой красоты, как античная статуя. Черты лица были безупречны: овал, точеный нос, большие миндалевидные глаза, маленький ротик — ею можно было любоваться часами, как прекрасной скульптурой, пока она не открывала этого своего прекрасного ротика. Л. А. была малообразованной, малокультурной женщиной и в этом отношении полной противоположностью Вере Петровне. Почти ко всему равнодушная, только в припадках ревности она проявляла удивительный темперамент. В первое же посещение нашей семьи она устроила брату сцену ревности вплоть до намерения бежать топиться в Великую, хотя никакого повода для этого в тот момент не было. Для меня все это было снова предметом долгих размышлений и полного резкого отрицания ревности, чувства униженного как для ревнующего, так и для ревнуемого. Конечно, я теоретизировала, хотя и у меня самой было нечто вроде опыта ревности со стороны Лиды во время ее стараний сделать из меня свою исключительную подругу.

Брата вскоре перевели из Старой Руссы в местечко еще более захолустное, но недалеко от Ленинграда. Это был железнодорожный узел, где брат стал начальником дистанции. Работа была нервная. Беспартийный начальник дистанции имел под рукой партийного заместителя, технически мало образованного, но зато политически натасканного. Брат выбивался из сил, чтобы держать линию в порядке, постоянно натываясь на проблемы невозможности достать нужные материалы. Если он говорил в центре, что 2000 шпал подгнили и их надо сменить, то ему отпускали лишь 200 новых шпал. «А где же взять недостающие 1800?!» — «А организуйте сами». И за неумелую «организацию» и тем более за крушение, возможное при подгнивших шпалах, отвечал бы брат, и весьма сурово.

Близость к Ленинграду могла бы, возможно, сбалансировать брак моего брата с Верой Петровной, если б он немного подождал. Она могла бы ездить в Ленинград на уроки пения. Но дело было уже сделано. Старания же брата развить новую жену успеха не имели. Он пытался возить ее в Ленинград в оперу или драматический театр, но ей было скучно, из всех театров она признавала только дешевое варьете. Сына своего брат должен был навещать тайком, так как Л. А. ревновала его к бывшей жене и требовала, чтобы он не навещал и сына. Она хотела сама дать ему сына, но родилась дочь, для нее третья, и она потеряла всякий интерес к ребенку. Квартира была казенная и при службе, так что брат мог заскочить время от времени с работы, дать маленькой Гале бутылочку молока или даже перепеленать ее, в то время как Л. А. лежала на перине и читала душещипательные романы. Старшие дочери были предоставлены сами себе. Тамара, самая старшая, была доброго, но устойчивого характера и уже совсем самостоятельная. А двенадцатилетняя Людмила росла, как дичок. При этом она в противоположность Тамаре обещала стать такой же красавицей, как и мать, только в «светлом издании» — блондинка с серо-голубыми глазами. Придя из школы, она делала себе бутерброд и убегала на улицу. Горячую еду Л. А. готовила только к вечеру.

Я не помню, чтобы в связи с семейными волнениями по поводу развода и новой женитьбы брата затрагивалась религиозная сторона дела. Между тем брат венчался с Верой Петровной в церкви, развелся же и женился на Л. А., конечно, только граждански. Брат вырос еще до революции, посещал реальное училище и, конечно, учил

закон Божий, ходил в церковь. Но мысль, что брак — таинство, которое нельзя нарушать, ему, кажется, вовсе не пришла в голову. Тогда я об этом тоже, конечно, не думала, но потом мне не раз приходилось задумываться, насколько все же безрелигиозна была на деле, в жизни, русская интеллигенция до революции. Я не говорю о революционерах или убежденных атеистах, такими никто из нашей семьи не был. Тем не менее Галю брат тайно крестил, хотя ее год рождения, 1937-й, был одним из самых страшных. Но пойти один раз на риск ради ребенка это еще было возможно, работа же над собой, самодисциплина, постоянное преодоление своих обид, желаний и страстей во имя Христа — об этом мало кто думал. Да мало кто думает и теперь.

Расскажу сразу и о судьбе моих сестер. Как я уже упоминала, Таня вышла замуж еще до моего рождения, и мой первый племянник Жоржик был старше меня на полгода. Мои родители, зная ее, предостерегали от этого брака, Таня была эффектной красавицей. Позже лицо ее несколько огрубело, но миндалевидные большие серо-зеленые глаза остались очень красивы, фигура была полной, но пропорциональной, ее можно было назвать статной. В 18 же лет она была стройной, настоящей красавицей. Борис Яковлевич был вдвое старше ее и удивительно некрасив. И его я помню из более поздних лет, когда он казался каким-то четырехугольным, с круглой головой и маленькими заплывшими глазками. Тогда он, может быть, был худощавее, но, во всяком случае, почти на голову ниже Тани и с весьма некрасивым лицом. Мои родители не могли себе представить, чтобы этот брак оказался прочным. Но Таня заявила, что она его любит.

Борис Яковлевич был еврей, Таня же хотела венчаться в церкви. Он принял крещение, и они венчались. Однако опасения моих родителей оправдались. Жоржику не было еще и двух лет, когда Таня бросила мужа и маленького сына и ушла с «красавцем мужчиной». Их семья жила тогда уже в Петрограде, куда Борис Яковлевич сумел перевестись по службе.

Кирилл Александрович, с которым Таня ушла, был действительно красив: высокий, статный, с красивыми, но неприятными чертами лица. Я его смутно помню, я была тогда еще очень маленькой, а позже не встречала. Он был женат, имел двух дочерей, обещал Тане развестись с женой и жениться на ней. Конечно, теперь дело шло лишь о гражданском браке. И вот снова вопрос: отчего Таня

хотела венчаться с Борисом Яковлевичем в церкви? Оттого, что это красиво, что это была еще не совсем изжитая традиция? В таинство брака и она, очевидно, не верила, так как легкомысленно разрушила свою семью и хотела разрушить еще чужую. А ведь она училась в Николаевском институте, где, конечно, все воспитание было религиозным. Однако глубокой веры оно не дало, традиционная же религиозность быстро испарилась при новых условиях жизни.

Кирилл Александрович своего обещания не выполнил, он бросил Таню с маленьким сыном и вернулся к своей семье. Так Таня испытала ту же судьбу, которую она уготовила своему мужу и первому сыну. Борис Яковлевич уговаривал ее вернуться к нему после того, как она осталась одна с ребенком. Он говорил, что усыновит Димочку, и торжественно обещал не делать между мальчиками разницы и любить Димочку так же, как своего собственного сына. Мои родители уговаривали Таню вернуться к мужу, они были уверены, что Борис Яковлевич исполнит свое обещание. Но Таня не вернулась. Так и росли ее сыновья полусиротами, один без матери, другой без отца. Поскольку Таня должна была работать (она выучилась печатать на машинке и работала машинисткой и секретаршей), Димочка намыкался по разным семьям, куда она отдавала его за плату. Она хотела, чтобы мои родители взяли Димочку, и мой отец был согласен, но мама запротестовала. Она была уже не очень молодой, я была еще маленькой и росла болезненным ребенком. Мама сказала, что ей будет слишком тяжело воспитывать еще одного малого ребенка. А жаль. Я бы тогда росла как бы с младшим братом.

Отмечу в этой связи еще одно происшествие. Моим крестным отцом был священник о. Василий. К сожалению, он очень рано умер, мне было тогда всего 4 года. Но я его помню, так как он часто бывал у нас в гостях, почему-то всегда один, без жены. После его смерти у нас порвались все связи с его семьей. И вот много лет спустя к нам вдруг пришла матушка, его вдова; она слыхала, сказала она, что Таня свободна. Таня в самом деле развелась граждански с Борисом Яковлевичем, но церковного развода у нее не было, да он и мог бы быть лишь по требованию ее мужа, так как изменила она. А Б. Я. в этом не был заинтересован, он не намеревался еще раз жениться, жил только для сына.

Матушка сказала, что ее сын, инженер в Златоусте, на Урале,

недавно овдовел, жена умерла молодой, осталась маленькая дочь. Ему надо было бы снова жениться, хотя бы уж для ребенка, а он прежде, в совсем молодые годы, увлекался Таней. Вот матушка и решила выступить в роли свахи: не поедет ли Таня к ее сыну? Для обоих детей было бы лучше иметь полную семью. Мама написала Тане, и та согласилась. Незадолго до того, как Таня тогда уже из Ленинграда должна была отправиться в Златоуст, к нам снова зашла очень смущенная матушка и сказала, что три ночи подряд видела во сне своего покойного мужа, он был очень гневен, стучал в дверь и грозил ей. «Будет ли этот брак счастливым?» — говорила она задумчиво. Но она, вдова священника, думала только о земном счастье. Она не поняла, что ее покойный муж грозил ей потому, что она способствовала греху прелюбодеяния как со стороны Тани, так и со стороны ее сына. Таня была в церковном браке с Б. Я., церковью этот брак не был расторгнут, и она не могла ни с кем вступить в законный с точки зрения церкви брак, сколько бы ни было регистраций в загсе. Но вдова священника этого не понимала. Чего же можно было ожидать от мирян? Остается вкратце досказать эту печальную историю. Таня и сын священника граждански поженились. Были ли они счастливы, я не знаю. Через 4 года он заболел крупозным воспалением легких и скоропостижно скончался. Таня вернулась с Димочкой в наши края. Что стало с ее падчерицей, я не знаю.

О моей сестре Лене напишу позже. Уже когда я училась в университете, между нами, несмотря на разницу лет, возникла большая дружба, о ней и будет речь.

Этот во многом знаменательный для моего развития 8-й класс закончился прекрасной поездкой на каникулы.

Мой отец, даже и став доцентом педвуза, преподавал математику по совместительству в железнодорожном техникуме. Поэтому он имел право на два бесплатных билета в год по железной дороге любой дальности: один на всю семью, другой лично для себя. Мы не могли каждый год совершать длинные путешествия. В СССР они были связаны со всякими трудностями, и прежде всего с почти полной невозможностью в то время простым советским гражданам останавливаться в гостиницах. Но уже в 1934 году мы использовали такой билет для поездки в Крым, а в 1936 году решили съездить на Кавказ.

Родные уговорили и приятеля моего отца, художника Рехерма-

хера, о котором я уже упоминала, поехать с нами. Он был преимущественно художником-пейзажистом, хотя писал и портреты, и его сестра говорила ему, что должен же он увидеть и пейзажи южных стран. Вчетвером мы занимали целое купе и днем сидели привольно. Конечно, мы ехали в жестких вагонах, но вечером проводник приносил матрацы, одеяла и постельное белье. А днем верхние полки опускались, и внизу было много места для четырех человек. На станциях брали в чайник кипяток (причем настоящий кипяток, не только горячую воду, которую можно получить на Западе) и заваривали чай.

Езда по длинным железнодорожным путям России была уютной, хотя и не такой, как до революции, но все же часть традиций тогда еще сохранилась. 1936 год был в смысле снабжения лучшим из всех предвоенных годов. После страшного голода и коллективизации как-то удалось подтянуть снабжение населения продуктами. Потом оно постоянно ухудшалось. В этот же год не только не было голодных ребятишек, как два года тому назад, но женщины на станциях продавали вареную кукурузу и фрукты. Мама рассказывала, что до революции к окнам вагонов подносили всяческую еду: жареных куриц, котлеты, разные лепешки и пирожные, но по сравнению с 1934 годом и вареная кукуруза уже казалась изобилием, все же продукт питания. Кондукторша, не раз ездившая этой трассой, приходила в вагон и говорила, что вот на следующей станции будет много черешен, надо купить ведро и разделить, дешевле выйдет. Так и делали. На другой станции купили ведро абрикосов. А когда проезжали область немецких поселений, то на станции продавались букеты цветов. Это было поразительно. Только немцы разводили цветы и даже пробовали их продавать. Пассажиры покупали, хотя не знали потом, в какие сосуды можно налить воду, чтобы цветы не завяли сразу, но букеты цветов на станции в советское время были так неожиданны, что хотелось не огорчить тех, кто их принес. От Москвы до Минеральных Вод ехали полтора суток — два дня и одну ночь. И точность транспорта тогда была подтянута, но все же незачем было составлять расписание поездов так, что на одну минуту позже по той же линии за нами шел поезд в Сочи. Когда мы въезжали на станцию, ровно через минуту на параллельный путь въезжал сочинский поезд. На поворотах пути он был виден, ехал он по той же линии, только на станциях въезжал на параллельный путь. Наши плацкарты были в последнем вагоне, и

именно к нам приходила молодая симпатичная кондукторша и жаловалась, что она боится, особенно ночью: а вдруг этот поезд все же врежется в наш задний вагон? Не знаю, беспокоились ли мои родители, они ничего не говорили, но я спала великолепно и ничего не боялась.

До этого при пересадке в Москве с нами произошли два происшествия, достойные упоминания. В то время как мужчины ходили компостировать билеты и стояли в очереди за плацкартами, мы сидели на мягких вокзальных диванах. Так как мы ехали ночью через Бологое и не смогли уснуть, я предложила маме поспать на диване. Она уснула, а потом предложила мне немного поспать. Я говорила, что спать не буду, но мама настаивала, говоря, что она отдохнула и не заснет. Я разрешила себе заснуть, но, когда я проснулась, мама сладко спала, и одного чемодана не доставало. К счастью, это был чемодан с нижним бельем, было бы хуже, если б украли чемодан с верхним платьем. Но оказалось совсем не просто купить белье в столице страны социализма. Достали только купальные костюмы, что было, конечно, важно. Мы еще заехали в Смоленск к родным по отцу, и они кое-что уделили, да кое-что удалось купить в Смоленске. Все это было дело случая, вдруг в каком-то магазинчике и можно было найти рубашку. Мы пошли в Москве, на вокзале, в угрозыск сделать заявление о краже, но там только равнодушно пожали плечами: надо было самим следить, что и верно.

Второй случай на том же московском вокзале мог иметь гораздо более опасные последствия. Уже устроив себе билеты и плацкарты, мы должны были еще ждать поезда. Художник, рассматривая публику, заметил чрезвычайно хорошенькую женщину, и ему захотелось набросать ее профиль в свой блокнот. Он открыл блокнот и начал зарисовку карандашом. Вдруг на его плечо легла тяжелая рука: перед ним стоял энкавэдист: «Для чего вам нужен план вокзала?» Художника потащили в вокзальный отдел НКВД и настаивали на том, что он со шпионскими целями чертил план вокзала. Он показывал женский профиль, уверял, что о плане вокзала и не думал, но ему не верили, утверждали, что женский профиль был лишь камуфляжем, а на самом деле он хотел снять план вокзала. От него добивались ответа на вопрос, где он его спрятал. Спасло его своеобразное удостоверение, которое он наконец догадался вытащить и показать. Дело в том, что Псков считался первой погранзонай. Вся огромная граница страны была разделена на три погранзо-

ны: самая близкая — погранполоса, затем вторая и, наконец, первая, кончавшаяся на сотом километре от границы. Отсюда и высылка семей арестованных на 101-й километр, иными словами, они могли селиться, где хотелн, начиная со 101-го километра от границы. Псков, собственно говоря, должен был бы входить в третью погранзону, так как от него до тогдашней эстонской границы было всего лишь 15 километров, но города исключали из второй и третьей погранзоны и включали в первую. Все мы в паспорте имели штампель «Житель первой погранзоны» и могли с этим паспортом ездить по всей первой погранзоне, но не смели въезжать во вторую или третью. Наши родные, которые хотели нас посетить, должны были получить специальный пропуск, причем это была ужасная процедура, требовавшая массу справок и времени для ожидания. Художник же, писавший преимущественно пейзажи, имел от псковского НКВД специальное разрешение писать пейзажи вокруг Пскова. Редко он мог спокойно заниматься своим искусством, едва он ставлял мольберт на какой-нибудь полянке или лесной опушке, как к нему уже бежал какой-нибудь деревенский комсомолец-активист и требовал показать разрешение, и он должен был каждому мальчишке его показывать. Но теперь это удостоверение его спасло. Московский энкавдист хмуро посмотрел и отпустил его. Но и художник здорово струхнул, да и было отчего.

В Минеральных Водах мы долго не задержались, а проехали в Пятигорск. В отелях обычным советским гражданам по-прежнему останавливаться было невозможно, но в 1936 году было уже немало желающих сдать комнату частным образом. Так в Пятигорске мы нашли комнату. Мы побывали на месте дуэли Лермонтова и в его домике-музее. И совершенно неожиданно для нас самих вскарабкались на Машук. Мамы с нами не было, она много ходить не могла. Но мой отец, художник и я пошли погулять и начали карабкаться по скалам на Машук, думая, что мы только немного поднимемся и потом вернемся. Незаметно мы поднялись довольно высоко, а когда посмотрели вниз, увидели, что здесь мы не спустимся: было слишком круто. Как известно, по крутому склону легче подниматься, чем спускаться. Так мы вынуждены были лезть дальше до самой вершины. Вершина не была скальной, и туда по спиральной дороге даже автобус возил туристов. Мы запыхались, и нам очень хотелось пить. Но нигде не было ларька с напитками. Однако в стороне мы обнаружили старую женщину с корзинной, из которой торчали бутылки

с лимонадом. Она продала нам лимонад и рассказала, что она таскает пешком тяжелые бутылки, которые покупает в городе в магазинах, чтобы заработать несколько грошей, так как и приезжающие на автобусах туристы страдают жаждой. При этом она все время боится, что до нее доберутся и обвинят в спекуляции. Она показала нам более пологий спуск.

Из Пятигорска мы поехали во Владикавказ. Он тогда уже носил отвратительную кличку Орджоникидзе, но все называли этот прелестный горный городок Владикавказ, это имя ему так подходило, было символичным. И тут мы тоже нашли частные комнаты.

Наш железнодорожный билет был круговой, через Баку, Тифлис в Батум. Но мы хотели проехать по Военно-Грузинской дороге, по которой из Владикавказа в Тифлис ходил автобус. Баку нас не интересовал, а эту замечательную дорогу мы хотели посмотреть. Мы уже купили билеты на определенный день на автобус, когда я вдруг заболела. У меня сделался жар, температура поднялась до 40 градусов, но никаких других болезненных признаков не было: ни простуды, ни желудочного заболевания. Пригласили врача, но он ничего не смог определить, дал какое-то жаропонижающее средство и сказал, что надо подождать. Средство не подействовало, на другой день у меня была такая же высокая температура. Мы, конечно, не могли поехать с намеченным автобусом. На следующий день мы узнали, что этот автобус попал в горный обвал; благодаря хладнокровию и распорядительности молодой водительницы все спаслись, но многие пассажиры были ранены камнями. После этого свалился целый кусок горы, и дорога оказалась надолго закрытой. И в тот же день мой жар исчез так же неожиданно, как и появился. Я была снова совершенно здорова.

Проехать по Военно-Грузинской дороге было уже невозможно, но нам сказали, что можно взять такси до обвала и посмотреть самую красивую, горную, часть дороги, потом она начинает спускаться в равнину. Хотя такси и было дорого, но мы и художник сложились и решили это сделать. Стали искать такси, но не тут-то было! Нам сказали, что такси во Владикавказе существуют только для господ интуристов, а простые советские граждане обойдутся и без такси. «Впрочем, — добавили на станции такси, — вы можете посидеть и подождать около гостиницы для интуристов, если какое-либо такси освободится, а никто из господ иностранцев не будет в нем нуждаться, то вы можете взять такси». Вот мы и сидели на ска-

меечке, рассматривая разряженных интуристов, признаюсь, с весьма недобрými чувствами. Но нам повезло. Такси освободилось, и мы могли его взять. Я никогда не забуду этой прекрасной поездки. Что Альпы по сравнению с дикими кавказскими горами и Терекom, который «прыгает, как львица с косматой гривой на хребте». Дорога была небезопасна, кое-где произошли небольшие обвалы, и путь был узким; в одном месте ловкий шофер разогнал машину и проскочил на двух колесах, тогда как два других временно повисли над пропастью. Это было одно мгновение, к ужасу моей мамы и к моему восхищению.

Потом мы поехали по железной дороге через Баку, где не останавливались, в Тифлис. От Тифлиса у меня осталось только общее впечатление красоты и обилия прекрасных цветов. Подробностей я почему-то не помню, да и задержались мы в Тифлисе короче, чем предполагали, так как потеряли дни из-за обвала на Военно-Грузинской дороге.

Из Тифлиса мы выехали вечерним поездом, получили спальные места и дороги, увы, не видели. Утром я проснулась на верхней полке, взглянула в окно и ахнула. Мне показалось, что это не настоящее, а шикарная декорация: ярко-голубое море, желтый песок и пальмы. В будущем мне пришлось видеть много разных морей, желтого песка и пальм, но такое сочетание: пальмы прямо на желтом песке на берегу моря я видела, пожалуй, только еще в Эль-Арише, на исходе Синайской пустыни.

И в Батуме мы пробыли недолго, оттуда поехали в Сухуми, где хотели немного отдохнуть и покупаться. Но в Сухуми нам не очень повезло. Комнату вблизи пляжа найти не удалось, приходилось идти довольно далеко и вверх, что было для мамы трудновато. Но это еще полбеда, хуже было то, что сразу же за домиком оказался маленький водоем с малярийными комарами. По неопытности мы этого не заметили. В Сухуми тогда находилась моя двоюродная сестра Нина, дочь маминой сестры, мужа которой, инженера, арестовали. Нина была в возрасте моих сестер. Замужем она была за ученым-биологом, работавшим вместе с врачами над использованием змеиного яда в медицине. Он много ездил по Грузии, Армении и Средней Азии, по областям, где водились ядовитые змеи, особенно страшная гюрза, короткая, толстая, серая, с рожком на голове. Нина часто ездила с ним как секретарша. Теперь же всей семьей они были в Сухуми, где имелся известный террариум. Сын кузи-

ны, Додик (Даниил), был на три года моложе меня. Нина зашла к нам, увидела за домом этот маленький пруд и раскричалась на хозяйку: «Немедленно залейте это малярийное место гашеной известью, а иначе я доложу в санитарную инспекцию!» Хозяйка струхнула и очень скоро организовала ликвидацию этого прудика. Но для моего отца было уже поздно: его укусил малярийный комар. Малярия началась уже дома, в Пскове, и, на счастье моего отца, у него было только три припадка; затем немудрящий хинин ликвидировал болезнь, и она больше не возвращалась, что удивительно, так как малярия имеет коварное свойство возвращаться даже через годы.

Открыточное синее море, желтый песок и пальмы мне удивительно скоро приелись. Купание было тоже не по мне: слишком длинный плоский пляж. Надо было долго тащиться по жаре, чтобы дойти до глубокого места, где можно было плавать. Я вспоминала, как два года тому назад в Севастополе прыгала прямо с лесенки в глубину. Это было приятно. Субтропического жаркого и влажного климата я совсем не переносила, и, помнится, мы как-то с Додиком, едва волоча ноги по жаркой сухумской улице, неистово мечтали о том, о чем мечтать, вообще говоря, не полагается: об осеннем мелком, холодном петербургском дождичке.

Кое-где даже нам, при нашем кратком посещении Грузии, было заметно не очень хорошее отношение некоторых грузин к русским. Совершенно несправедливое, так как тогда как раз их соотечественник давил всех. Нина рассказывала больше. К сожалению, нужно признать, что те настроения, которые проявляются теперь, понемногу нарастали уже тогда. Но трудно думать, что это были настроения большинства.

Нина рассказывала также немало не только о романтических ночевках в старинных башнях, где, по преданиям, водились привидения, но и об обычаях грузин и армян. Она говорила, что женщины у грузин тогда находились все еще в приниженном положении. Так, они однажды были приглашены грузинским врачом на ужин. Какая-то женщина прислуживала, подавала кушанья, но сама за стол не садилась. Они думали, что это прислуга, что этот врач не женат. Но потом оказалось, что это была его жена. Армяне же, напротив, высоко ставили своих жен и женщин вообще. Это звучит немного странно, ввиду того что крестительницей Грузии была женщина, святая Нина. Но я передаю то, что говорила кузина. Она восклица-

ла полушутя, полувсерьез: «У меня сын, я посоветую ему жениться на грузинке, она будет за ним ухаживать. Если б у меня была дочь, я бы посоветовала ей выйти замуж за армянина».

Из Сухуми мы переехали в Сочи, где хотели провести одну ночь перед возвращением домой. В Сочи мы были поражены большим количеством горожан, предлагавших комнаты для ночлега и сбивавших друг другу цены. Мы нашли хорошее помещение для ночевки, и хозяева были так довольны тем, что мы выбрали их, что принесли нам целую миску прекрасных темных слив из своего сада.

Между моими родителями бывали споры, хотя и не яростные: мама хотела копить деньги, чтобы купить маленький домик с садиком, что и в советское время разрешалось, а отец любил путешествовать. Позже, уже в эмиграции, мама говорила: «Домик мы бы все равно потеряли, а наши воспоминания о поездках останутся с нами до конца жизни». Я тоже рада, что до бегства успела хоть кое-что увидеть в своей стране.

Девятый класс

В 9-м классе мы получили двух новых учителей — по математике и по физике. Новый учитель математики, Михаил Александрович, был выпускником Псковского педвуза и самым способным учеником моего отца, не без преподавательского таланта, так что мы были вполне удовлетворены. К своей прежней учительнице по физике мы относились хорошо, но выяснилось, что она закончила только учительский институт и имела право преподавать лишь в семилетке. В 8-м классе у нас она уже преподавала как бы незаконно. Ее мы жалели и уже потому встретили новую учительницу по физике, Екатерину Петровну, недоброжелательно. Однако мы должны были признать, что предмет она знает и преподавать умеет. Как человек она оставалась нам несимпатичной и, нужно сказать, ничего не делала, чтобы приобрести наше расположение. Ее отношения с классом оставались натянутыми. Забегая вперед, скажу, что в 10-м классе нам вдруг объявили, что наш многолетний классный руководитель, преподаватель русского языка и литературы Василий Алексеевич Гринин смнен и новым классным руководителем будет Екатерина Петровна. Мы были возмущены и приготовились открыть против нее военные действия. Но... она обратилась к нам сама с просьбой поддержать ее и стала вдруг такой очаровательной, что мы опешили. Целый год перед тем она у нас

преподавала, а мы даже не подозревали, что у нее столько шарма, что она может быть такой внимательной к ученикам и ученицам. Вместо войны получилось сотрудничество и даже дружеские отношения на уровне учительницы и учеников. Я много думала о том, как иной человек может почти молниеносно завоевать симпатию прежде плохо к нему настроенной группы людей. Из нежелания быть манипулируемой я пыталась сопротивляться этому новому настроению, но мне не удалось устоять, я так же, как и весь наш класс, стала относиться к нашей новой классной руководительнице с симпатией.

Чтобы закончить повествование о чисто школьных проблемах и об отношениях между учителями и учениками, не игравшими в старших классах той роли, какую они у нас играли а 8-м классе, упомяну об одной студентке-практикантке по физике. Однажды я встретила в трамвае нашего учителя по истории Павла Семеновича, который продолжал быть нашим любимцем, и он сказал мне с доверительным видом, что его дочь, студентка физического факультета, придет практиканткой в наш класс и что она безумно боится первых уроков. Я покровительственно ответила, что он может ее подбодрить, мы ей поможем.

На другой день я, вопреки своему обыкновению, пришла в класс пораньше и заявила: «Ребята, внимание: к нам придет практиканткой дочь Павла Семеновича, Ольга Павловна, очень робкая, она боится первых уроков, ее надо поддержать». Класс шумно согласился. Казавшаяся совсем молоденькой Ольга Павловна так волновалась, что иногда замолкала и не могла сказать ни слова, и класс замирал и терпеливо ждал, пока она справится с собой. Когда она показывала нам опыт, который мы уже видели и знали, мы делали вид, что видим все это впервые, что мы очень удивлены и нам все чрезвычайно интересно. И ее робость прошла, потом она уже преподавала нормально.

Когда вышла в свет новая конституция, которую потом называли сталинской, мы, четыре подруги, решили проявить политическую зрелость и собрались у нас, у радиогромкоговорителя (даже эти рупоры были в Пскове не у всех, а настоящие приемники лишь у очень немногих), чтобы послушать выступление Сталина. Пришла еще и Мила, одна из одноклассниц. Мы пробовали слушать внимательно, но тяжелый грузинский акцент в соединении с тогдашней плохой техникой делал речь почти совсем непонятной. Нам скоро надоело, мы улавливали лишь некоторые фразы и шутили над

ними. Так, Мила выхватила фразу об интеллигенции как прослойке и сказала: «Стоит ли учиться так долго, стараться, чтобы стать... прослойкой!» Я же ответила: «Утешайся тем, что ты теперь вместе с другими составляешь класс». Она округлила на меня и без того большие круглые глаза и воскликнула: «Какой?» Я: «Девятый». Общий хохот. Так из добровольных политзанятий ничего не вышло. Но потом мы попали на недобровольные. Мы пошли на какой-то игровой фильм в кино, и вдруг вместо фильма нам стали показывать эту конституционную речь Сталина. Мы сейчас же хотели потихоньку смыться, но двери оказалась запертыми. Битых 4 часа мы проскучали и уже совершенно сознательно не слушали, хотя техника была лучше и можно было кое-как понять. Я пробовала считать бутылки нарзана, которые Сталин выпил за это время, их все время уносили и приносили новые, но сбилась со счета и все время удивлялась, как человек может вместить такое количество жидкости. Юдами позже, когда уже началась война, я была, несмотря на ранний час, на улице около больницы, это было 3 июля, уличные громкоговорители передавали речь Сталина, когда он в первый раз замурлыкал: «Братья и сестры...», и тут же послышалось бульканье воды, наливаемой в стакан. Как раз пробежала молоденькая медсестра и тоном невыразимого презрения крикнула: «Попей, попей...»

Но когда я прочла новую конституцию, мне сначала показалось, что в ней есть хорошее. Меня сбило с толку то, что в более поздние годы сбивало с толку многих диссидентов, а именно статья о правах и свободах: о свободе слова, печати, собраний и прочих. Я тогда не обратила внимания на преамбулу: «Для укрепления и распространения социализма».

Когда я попробовала заговорить о новой конституции с моим отцом, он только спросил, как сейчас помню, на ходу, с лейкой в руках, поливая наши многочисленные комнатные цветы: «А руководящая роль партии записана в новой конституции?» Я ответила утвердительно. «Ну, тогда все останется по-прежнему», — сказал он. Мой отец был прав. И все же почему он не дал себе труда прочесть и эту соблазнительную статью и объяснить мне значение преамбулы? Его точный глаз математика тотчас же заметил бы ловушку. Слабые надежды на то, что новая конституция изменит что-либо к лучшему, не меняли эмоционального отношения к строю и к Сталину лично, равно как и к «железному наркому» Кагановичу, чьи бес-

пощадные глаза смотрели на нас со стен классов и зал, так как наша школа была железнодорожной. Еще в 8-м классе мы как-то разговаривали о стихотворении Лермонтова «Печально я гляжу на наше поколение...» и полушутя искали примеры в нашей жизни словам: «И не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить». Примера любви с боязнью мы не нашли, а как пример ненависти кто-то предложил нашего тогдашнего учителя математики Альфреда Альфредовича. Но это была шутка, мы его и не ненавидели, и не боялись. После я записала в дневник, что я знаю совсем другой пример ненависти и боязни, но не назвала его вслух, да и в дневник пока не записала. Я имела в виду Сталина.

И тем не менее у меня был временный порыв жгучей ненависти, даже перекрывшей на время ненависть к Сталину, к человеку, который как будто бы и не должен был вызывать ненависть. Это был Ромен Роллан. Его приезд в СССР, его лицемерно-покровительственные похвалы строю и, что еще хуже, назидания нам, что мы должны быть счастливы, живя в такой стране, тогда как мы задыхались, вызывали у меня приливы ярости и острой ненависти к этому писателю с мировым именем, живущему на свободе и вталкивающему нас своими словами еще глубже в страшное засасывающее болото, из которого нет выхода. Как он смеет, ничего не зная, ничего не понимая или... продавшись им? Сталин был враг № 1, здесь все было ясно. Но этот предатель человечности! Зато какую радость, какое облегчение мы ощутили, когда услышали, что Андре Жид, вернувшись, написал хоть отчасти правду. Уже в эмиграции Ф. А. Степун рассказал мне, что Ромена Роллана сбила с толку его жена. До революции она была гувернанткой в России в какой-то аристократической семье, вышла замуж за старого русского князя и вскоре овдовела. Уже во Франции она вышла замуж за Роллана. Ее сентиментальные склонности к стране ее первого мужа превратились в странный совпатриотизм, который, казалось, был не к лицу бывшей княгине. Она и потащила своего второго мужа в СССР. Там жил еще в крайней нищете родственник ее первого мужа, тоже какой-то князь. Ролланы выразили желание его увидеть. Князя разыскали, приехали, наскоро подкормили и предъявили Ролланам. Они выразили желание, чтобы он посетил их в Париже. И эту просьбу столь важного для советской пропаганды гостя можно было удовлетворить. Несколько позже этот князь ехал через Германию в Париж и по дороге остановился у живших тогда в

Дрездене Степунов. С гордостью он привез им подарок — целый чемодан ржаных сухарей! Степуны моргали глазами и не могли понять, что сей сон значит, а князь в свою очередь опешил: советские газеты тогда писали, что в Германии господствует такой голод, что люди падают на улицах городов и умирают от голода. Я помню это и помню, как я подсмеивалась, не веря ни одному слову этой пропаганды. А вот старый князь поверил! Он хотел спасти Степунов от голодной смерти... ржаными сухарями!

Между тем в отношении бытовой жизни 1936-й и большая часть 1937 года были в Германии очень хорошими. Безработица была ликвидирована, снабжение было хорошим, лозунг Геринга «Пушки вместо масла» еще не начал действовать.

Отчего мы, подростки, родившиеся и выросшие при советской власти, не верили ее пропаганде, а старые аристократы, имевшие возможность в зрелом возрасте наблюдать ее становление, ее жестокости и ее ложь с самого первого дня, попадались на ее удочку?

Мне было уже 15 лет, и я по возрасту могла вступить в комсомол. У нас в классе было 65% комсомольцев и 35% вне комсомола, я хорошо помню визуальную диаграмму на стене в классе. Комсомольских активистов у нас в классе, однако, не было. Никто не пробовал оказывать на меня давление. В 10-м же классе, первом в нашей школе, сделавшейся теперь десятилеткой, была яркая активистка Соня. Как-то она, пробегая мимо меня и Вали на перемене, приостановилась и обратилась ко мне: «Когда же ты вступишь в комсомол? Все подруги в комсомоле». Как оборонное оружие, я опять выставила свои болезни, хотя этот аргумент становился не очень убедительным: мой дифтерит осенью 1935 года был моей последней болезнью, и после него я ни в 8-м, ни в 9-м классе не болела. Но я все же заговорила о том, как часто я раньше болела и не могла нести общественной нагрузки, а комсомол без общественной нагрузки — что же это было бы такое? Теперь я, правда, меньше болею, но надо еще обождать. Валя меня сейчас же поддержала: «В самом деле, она же не знала, что перестанет болеть». Соня отстала и больше не приставала.

Позже Катя как-то сказала: «Вера, если ты хочешь в комсомол, то лучше еще в школе, здесь мы все можем поручиться, в университете будет труднее». За меня ответила тут же стоявшая Валя: «Вера никогда не пойдет в комсомол». Я промолчала, что было знаком согласия. Катя, конечно, не настаивала.

И тем не менее у меня было короткое искушение. Как объяснить его в свете сказанного о моем отношении к советской власти, к Сталину? Причины носили локальный характер. Если б вокруг меня были комсомольцы и комсомолки вроде Сони, активисты, к которым я чувствовала отвращение, мне бы такая мысль и в голову не пришла. Но в своем классе, с которым я тогда уже сжилась и считала себя его частью, не было активистов. Ни от одного из наших комсомольцев или комсомолок я не слышала ни защиты марксизма-ленинизма, ни восхваления советской власти. Об этом просто не говорили. Так создавалась иллюзия, что можно делать что-то полезное в местном масштабе, теснее включиться в группу, большинство которой все же было в комсомоле, и при этом ничем не запачкаться. Странное, почти островное положение нашей школы, и особенно нашего класса, смазывало контуры настоящего комсомола. «В университете будет иначе», — сказала Катя, имея в виду трудность поступления в комсомол. Но в университете оказалось иначе совсем в другом смысле, и сама Катя безумно жалела, что в школе вступила в комсомол.

Так или иначе, как-то я, полная внутренних сомнений, сказала моему отцу: «Папа, а что если я пойду в комсомол?» Мой отец ответил педагогически правильно — для того момента: «Ты в пятнадцать лет еще слишком молода для политики. Если ты через три года будешь еще хотеть вступить в комсомол, я не буду возражать». Я почувствовала облегчение — в самом деле, отложим решение. Трех лет не надо было, уже и через полгода у меня не было и тени желания вступить в комсомол. И все же я спрашиваю себя, отчего мой отец потом не поговорил со мной, не разъяснил мне, что на маленьком островочке нашей школы не удержишься? Или он хотел, чтобы я сама до всего дошла?

Первый выпуск нашей школы был торжественным актом; мы, уже на границе 10-го класса, конечно, тоже присутствовали. От выпускников выступала активистка Соня. Она ни словом не поблагодарила школу, учителей, старавшихся нам что-то дать, но расточала восторженную благодарность партии и правительству. Я слушала с отвращением и давала в душе слово, что в будущем году, на нашем выпуске, мы не скажем ни слова благодарности партии и правительству. Мне не пришлось нарушить этого слова.

Далекie поездки мы могли совершать, конечно, только изредка. Обычно мы проводили лето в одной из деревень под Псковом, а по-

следние годы — в одной и той же деревне. С собачкой и кошечкой, с разным барахлом мы отправлялись на возу в деревню (когда мы уезжали далеко, в нашей квартире жили знакомые и смотрели за животными). Лошадь наш хозяин брал напрокат в колхозе, это ему удавалось. Сдавали они нам летнюю половину избы, оставаясь в зимней. Там бывало временами жарко, так как приходилось и летом топить печь, чтобы готовить пищу. Мы же привозили с собой примус и готовили на примусе. Деревня была староверской и, нужно сказать, более подтянутой и чистой, чем «мирская», как говорили староверы, на другой стороне реки. Уже одно то, что в избе запрещалось курить, было хорошо для детей, оставляло воздух чистым. У них сохранялась еще большая моральная стойкость. Меня тогда очень поразил один случай. В молодой семье, где было уже трое детей — детей тогда у крестьян было много, 6 или 7 не было редкостью, — жена снова забеременела. Так как она чувствовала себя плохо, она пошла в город к врачу (средств сообщения с городом не было, но железнодорожная станция была в трех километрах, или же ходили в город все 12 километров пешком). У нее нашли туберкулез и предложили ей сделать аборт, так как только тогда была надежда на ее спасение. Ей сказали, что ребенок родится сам здоровым, но высосет из нее все силы, и ее невозможно будет спасти. Молодая женщина, мать троих детей, твердо ответила, что убивать ребенка она не имеет права. Ребенок должен жить, а там, что Бог даст. Она выносила и родила здорового ребенка, а сама умерла. Молодой вдовец поставил на маленьком кладбище огромный крест, трогательно ухаживал за могилой и заботился о детях, взяв в избу немолодую женщину для присмотра за детьми. Кстати, кладбище было прекрасное: на возвышенности, среди старых огромных сосен, на одной из которых было гнездо аиста. Часто можно было наблюдать, как аист, ясно выделяясь на прозрачном вечернем небе, нес в гнездо извивавшуюся в его клюве змею.

Деревня, состоявшая из 40 дворов, руководилась одной семьей. Помню еще отца патриарха и его 12 сыновей, живших со своими семьями в этой деревне. Я рада, что смогла подростком познакомиться с одним из лучших представителей русского крестьянства, неграмотным, умным, нет, мудрым стариком, истинным патриархом, авторитету которого подчинялись уже немолодые сыновья и взрослые внуки и внучки, который, однако, никого не давил, не тиранил, а решал проблемы вдумчиво, после длительного обсужде-

ния с теми родственниками, которых они касались. Уже тогда я поняла, что поверхностная грамотность не только не придает ума, не говоря уж о мудрости, но нередко лишает и того ума, который был. Мудрость возникает от наблюдения жизни, природы и погружения в молитву. Помню я и смерть уже очень старого патриарха. Вся деревня тогда сбежалась, не только сыновья и их семьи. Умер он достойно, тихо, погруженный в молитву.

Деревня была дружная, и, несмотря на колхоз, она не нищенствовала. Ясно, коров было столько же, сколько и дворов, то есть 40, тогда как прежде самые бедные имели по две коровы. Общеколхозных коров не было вообще, и вместо минимум 40 лошадей, (хоть по одной в каждом дворе) было 9 колхозных. Тем не менее хотя бы не голодали, во всяком случае — члены большой семьи.

У одного из младших сыновей патриарха мы и снимали летнюю избу.

Пропал только один брат. Во время Первой мировой войны он был в германском плену и с уважением отзывался о крепких немецких хозяйствах.

Он открыто ждал прихода немцев, конечно, не понимая, что это были бы уже другие немцы, и открыто говорил: «Вот придут немцы, распустят проклятые колхозы, и снова у нас будут хозяйства». Доносчик все же нашелся, его арестовали, и он пропал без вести. Оставшиеся братья и их семьи помогали осиротевшей семье. Другим семьям в деревне жилось хуже, у них не было такой крепкой круговой поруки, как у этих 12 братьев.

Мне навсегда запомнилось, как семнадцатилетняя девушка из более нуждавшейся семьи с выражением непередаваемой тоски мне как-то сказала: «Мне бы хоть во сне раз увидеть, как жилось прежде, при царе, как мама рассказывает».

Десятый класс

Требую себе хорошего преподавателя математики, мы невольно разыграли вариацию на тему басни Крылова о лягушках, просивших себе царя. Выученик моего отца, способный и знающий, но весьма строгий, Михаил Александрович провалил на переходных экзаменах ровно половину класса. В 9-м классе у нас было 26 учеников и учениц, по математике провалилось 13 человек. Осенью была переэкзаменовка, но ее выдержали только двое. Так нас в 10-м классе оказалось 15 человек: 9 девочек и 6 мальчиков. Зато класс был

очень сильным. Чтобы подогреть дух соревнования, директор выдумал было доску, на которую каждые десять дней записывались классы в порядке занимаемого ими места по отметкам, полученным учениками в течение этих десяти дней. Директор обещал, что если какой-нибудь класс три раза подряд выйдет на первое место, то всем ученикам будут куплены билеты в театр (как раз гостил какой-то ленинградский театр). Директор был уверен, что ни один класс не выйдет три раза подряд на первое место, что показывало, как плохо он знал свою школу. Мы только посмеивались.

Конечно, наш класс без труда вышел сразу же три раза подряд на первое место. На билеты в театр денег не набралось, нам купили билеты в кино. Следующие три раза мы с такой же легкостью вышли еще раз на первое место, иными словами, мы были уже шесть раз на первом месте и совсем не собирались его покидать. Нам еще раз купили билеты в кино, но после этого доска исчезла, и о соревновании никто больше не заикался.

Интересно, что шедший за нами 9-й класс был необыкновенно слабым, и Михаил Александрович не раз говорил в нашем классе, что не знает, как ему поступать с 9-м. Иногда нам присылали из центра задачки по математике, которые вскрывались при всех в классе, класс должен был писать работы, листочки собирались и отсылались в центр, откуда потом приходили отметки. В нашем классе не оказалось отметки ниже четверки, даже наши троечники написали на четверки, так как задания из центра были легкими по сравнению с теми, которые нам давал М. А. В 9-м же классе никто не смог написать хотя бы на тройку. Вопреки правилам директор, сам математик, посмотрел работы и ужаснулся. Опять-таки вопреки правилам ученикам 9-го класса дали ту же работу еще раз, перед этим их еще натаскивали. Только двое написали на тройку, остальные не выше двойки. Так и пришлось послать в центр.

В 10-м классе меня выбрали председателем класса. То, что я не была комсомолкой, ничуть этому не помешало.

Мы должны были изучать историю партии с новым преподавателем. Новый преподаватель был сравнительно молодым партийцем, малоинтеллигентным и довольно простодушным. Он, видимо, искренне верил всему, что ему внушили, не мог себе представить, что из иных его слов можно было сделать совсем не желаемый им вывод. Так, например, он возмущенно восклицал: «Бухарин, эта дрянь, говорил, что у нас не социализм, а государственный капита-

лизм». Я сразу же подумала: «А ведь это верно. Весь капитал находится в руках одного монополиста — государства».

Знаменитый «Краткий курс истории ВКП (б)» вышел в свет весной 1938 года. К выпускному экзамену мы готовились уже по этой книге, но весь год мы еще должны были записывать слова преподавателя, книги у нас не было. В скорописи иногда возникали странные слова и фразы. Так Валя, смеясь, показала мне тетрадку, где стояло, что Ленин сидел в бублике вместо «публике», когда крикнул свою знаменитую фразу о том, что есть такая партия (которая готова взять власть). Но у меня была гораздо более опасная запись. Наш преподаватель говорил: «Партия разъясняла народу, что война ему не нужна». Я же записала: «Партия разъясняла народу, что она ему не нужна». Когда я обнаружила эту запись в своей тетрадке, я подумала, что написала нечаянно совершенную истину, но не показала ее никому и листок уничтожила.

Газета «Искра» была основана в Пскове. Маленький домик, где состоялось первое редакционное собрание, был после революции превращен в музей и носил название «Домик „Искры“». Туда повел нас как-то наш учитель. В комнате висела большая картина первого заседания «Искры». Наивно наш педагог сказал: «На заседании были, кроме того, Мартов, Аксельрод и Вера Засулич, они были и на картине. Но потом позвали художника и сказали: треба замалювати!» Мы возмутились: это же фальсификация истории! Он совершенно смутился, «замалювание» казалось ему чем-то само собой разумеющимся, а тут подростки бунтуют. «Нет, мы ничего не искажаем, — сказал он, — мы же говорим вам, что они на заседании были. Но зачем вам видеть их лица?» Я потом не раз размышляла об этой боязни лиц. Она проявлялась повсюду. Так, нигде нельзя было увидеть портрета Троцкого, и даже во время кратковременной дружбы с нацистской Германией нельзя было увидеть портрета Гитлера. Откровенно говоря, я и сейчас не совсем понимаю, чего они боялись. По моему мнению, никто из них не обладал привлекательным лицом, а у Троцкого и Гитлера лица были даже отталкивающие. Чего же они боялись?

В то время как школьная жизнь шла своим налаженным чередом, 1937 год накрыл нас своим черным крылом тогда, когда он уже начал склоняться к концу. Снова были арестованы отец и старший брат Зины. Ее старший брат был к тому времени женат и имел двух маленьких детей. На этот раз не было благополучного конца, муж-

чины не вернулись, а семья должны были покинуть Псков и выслаться на знаменитый 101-й километр. Арестовали и отца Лиды, машиниста поезда. Тогда в Пскове были арестованы почти все машинисты, некому стало водить поезда, искали среди красноармейцев машинистов по гражданской специальности и сажали на паровозы.

Лида, та самая, которая в 8-м классе хотела сделать меня своей исключительной подружкой, была второй дочерью в семье. Ее старшая сестра уже работала, но были еще три маленькие девочки, всего 5 дочерей. Мы всем классом желали Лиде брата, которого она сама хотела, когда ее мать ожидала последнего ребенка. Но родилась пятая девочка. Теперь мать с тремя маленькими девочками должна была ехать неизвестно куда. Зине и Лиде разрешили остаться в Пскове до окончания школы. Обе устроились у родственников. Старшая сестра Лиды поехала с матерью, чтобы помочь ей и младшим сестрам. Мне трудно верить тем, кто рассказывает, что соученики и соученицы отворачивались от тех, у кого были арестованы отцы. От Зины и Лиды никто в нашем классе не отвернулся. Мы все были подавлены и все им от души сочувствовали. «О, как я их ненавижу!» — вырвалось однажды у Зины.

Зину и Лиду выкинули, конечно, из комсомола, о чем ни та, ни другая ничуть не жалели. Недавно мне пришлось видеть глубоко лживый советский фильм времени перестройки. В этом фильме школьница, у которой арестован отец и которой грозит исключение из комсомола, кончает с собой, чтобы умереть комсомолкой. Это отвратительная ложь, никто из детей арестованных так не поступал. Вообще, вся атмосфера этого фильма лживая и этим ничуть не отличается от пропагандистских фильмов времен Сталина.

Аресты шли в городе повсюду. Если в более ранние годы арестовывали преимущественно русских, то сейчас под удар попали в большом числе граждане нерусского происхождения: балтийские немцы, латыши, эстонцы, поляки, даже вполне обрусевшие. Отец Зины был, как я уже упоминала, латышского происхождения, а отец Лиды — польского, хотя они уже настолько обрусели, что владели только русским языком. Были, однако, такие, которые дома говорили на своем языке. На окраине города находилось католическое кладбище, носившее название Польское кладбище, и при нем католическая церковь, к тому времени уже, конечно, закрытая. Лютеран в Пскове было много больше, чем католиков, и

лютеранская церковь, построенная в готическом стиле, стояла на главной улице города, в центре. Ее не только закрыли, но и разобрали обе колонки с их устремленными ввысь шпилями, на кирпичи. Однако, разобрав колонки, бросили. Так она и стояла, обезображенная, немым укором атеистической власти. Ясно, что церковный разгром коснулся не только других вероисповеданий: закрывалась одна православная церковь за другой, и за два года до войны была закрыта последняя, еще работавшая церковь при кладбище, где лежали мои бабушка и дедушка со стороны матери и маленький брат Георгий. Кладбище находилось недалеко от дома, где мы жили, и я ребенком туда часто бегала одна. Я с детства любила кладбища, их тишину и покой.

В Пскове стоит красивый собор с пятью куполами-луковицами, построенный на возвышенности, детинце, там, где Пскова впадает в Великую, широкую, величественную, медленно текущую реку. Помню, как меня разочаровал Рейн, когда я увидела его в первый раз: эта узенькая река и есть знаменитый Рейн? Какое может быть сравнение с Великой? Берега Рейна, конечно, живописнее плоских берегов Великой. На восточном берегу Великой стояла прежде грозная стена с башнями. В случае нападения с запада город оборонялся с этих стен, снабжаясь водой из Псковы, входившей в черту города. В истоке Псковы в реку опускались железные решетки, чтобы враг не мог вплыть по реке внутрь города. Псков выстоял нападение польского короля Стефана Батория и шведского Густава Адольфа, башни там, где эти короли вели со своими войсками атаки, носили их имена. Около башни Стефана Батория сохранился памятник воинам князя Ивана Петровича Шуйского, защищавшего Псков при Иоанне Грозном и вместе с воинами целовавшего крест умереть, но не сдать города. В мое время стены и башни были уже сильно разрушены временем, и мы детьми по ним лазали. Теперь они восстановлены.

По преданию, святая княгиня Ольга, которая была псковитянкой, поставила на детинце первый крест. Потом там был выстроен сначала деревянный собор, он сгорел, был восстановлен, сгорел еще раз, пока не построили каменный собор, который стоит и по сей день. Из собора сделали, конечно, антирелигиозный музей. Я уже как-то упоминала, что там качался неизбежный маятник Фуко, и меня спросили, какое отношение этот маятник имеет к религии или атеизму. Для разумного человека не имеет никакого, но для со-

ветских воинствующих безбожников, он должен был опровергать существование Бога, показывая, что Земля вращается вокруг своей оси. Эти безбожники все еще думали, что Церковь руководствуется Птолемеевой системой мира, но, конечно, никто уже больше на нее не ориентировался. Ведь советские пропагандисты постоянно «ездили» на процессах Галилея и Джордано Бруно, хотя последнего сожгли не за научные открытия. Помнится, перед войной Ленинградское радио ввело отдел критических писем, которые, вероятно, писались в редакции, кто бы тогда отважился писать даже незлобные критические письма? Но одно из них было остроумно. Оно гласило: «Вы слишком часто сжигаете Джордано Бруно, смотрите, как бы вам самим не прогореть».

Прежде на детинце, кроме большого летнего собора, был отапливаемый зимний собор, небольшой. Там совершались богослужения зимой, в большом было слишком холодно. Этот зимний собор разобрали на кирпичи и построили из них единственный жилой дом за 24 года советской власти, хотя Псков был перенаселен. Особенно во время коллективизации в него нахлынули крестьяне, бежавшие от голода в деревне. Может быть, и башенки лютеранской церкви пошли на этот дом, а остальные кирпичи не понадобились.

Но вернемся к арестам 1937–1938 годов. Если в былые годы арестовывали больше так называемых «бывших», потом тех, в ком подозревали скрытых противников, хотя среди них были совсем аполитичные, вроде агронома Гуляева или начальника станции Масленникова, о которых я уже писала, то есть в большинстве случаев русских и, конечно, беспартийных, то в эти годы под волну арестов попали многие партийцы, независимо от их национальности, а из беспартийных, как я уже указывала, большой процент людей не чисто русского происхождения. Так была арестована латышка, врач-хирург, которая делала сложные операции на сердце. У нас были знакомые врачи, и они говорили, что таких операций никто еще не делал и что если бы об этом дали сведения в прессу, то была бы мировая сенсация. Все ее коллеги ждали, что ее вызовут в Ленинград или Москву и предоставят ей более широкое поле деятельности. Вместо этого Люция Саулит была арестована 21.09.37 и уже 08.12.37 расстреляна. То, что среди арестованных было много коммунистов, сделало эти годы особенно известными. К сожалению, вся мировая пресса шла и до сих пор до известной степени идет на поводу у коммунистов или бывших коммунистов, а те зачастую счи-

тают людьми только своих и шумят лишь о терроре, который был направлен против них. Между тем массовые аресты шли все время.

Семья Зины уехала в Нижний Новгород, прозванный Горьким; семья Лиды уехала в Казань.

Мы продолжали заниматься. Что же было делать? Выпускные экзамены нашего класса прошли блестяще. Приехавший из центра представитель присутствовал на устном экзамене по литературе и пришел в полный восторг: «Это не ученики десятого класса, это ораторы!» — говорил он. Василий Алексеевич сиял. Мне, помню, достался отвратительный билет — «Облако в штанах» Маяковского, которого я терпеть не могла. Но и я сумела наговорить достаточно, чтобы поразить представителя из центра. Помнится, как мы в 10-м классе не хотели читать «Дело Артамоновых» Горького, хотя мы этот роман проходили. Нам этот в общем невинный, хотя и скучный роман, казался слишком порнографичным. Как-то раз В. А. вызвал Валю и предложил ей рассказать содержание романа. Валя его не читала, но она минут пятнадцать без остановки говорила о Горьком, его творчестве и пр. Гринин посмотрел на нее и сказал: «Романа вы не читали, но пять я вам все же поставлю». Так что при случае мы могли заговорить любого представителя из центра.

На экзамене по немецкому языку присутствовала какая-то учительница из провинции. Она только удивленно открывала глаза, когда слышала, как мы пересказывали прочтенный на немецком рассказ по-немецки же. Она, вероятно, сама не могла бы этого сделать. Нашим троечникам она бы поставила пять.

На экзамен по истории партии пришли коммунисты из педвуза. Фамилия Вали начиналась тоже на П, как моя, и мы вместе вышли к переднему столу, за которым сначала сидели, изучая свои билеты. Валя отвечала первой. По билету она все знала, но гости из педвуза начали забрасывать ее вопросами по текущей политике. Всех я не помню, вспоминается мне один вопрос: «Как зовут лидера фашистов в Судетской области?» Валя не знала. Я же по текущей политике знала тогда все, что можно было вычитать в «Правде». Я шептала ей: «Гейнлейн». Техника подсказывания у нас была хорошо разработана, и она сказала это имя. Так же и в отношении других аналогичных вопросов. Не заметили они, что у них под носом подсказывали? Или не захотели заметить? Они ничего не сказали, и Валя получила пять. Мне же достался знаменитый съезд и раскол на большевиков и меньшевиков. Конечно, я его знала по «Кратко-

му курсу». Мне не было задано ни одного дополнительного вопроса (может быть, они все же заметили, что я подсказывала?), и мне тоже поставили пять. А Зину завалили. Ее коммунисты из педвуза забросали вопросами по текущей политике, а меня рядом для подсказки не было. Они, конечно, знали, что ее отец и брат арестованы. Зина получила по историн партин три и тем самым выпала из отличниц. По всем другим предметам у нее были пятерки. Отличницами кончили Катя, Валя, Инна (дочь священника) и я. Так переместился центр преследований: дети «бывших» могли кончать отличниками и поступать без экзаменов в университет.

Инна поступила в Ленинградский университет на химический факультет. А дети свежерепрессированных встречали на своем пути рогатки. Зина хотела, конечно, поступить на математико-механический факультет в Ленинграде. Она была способным математиком. К конкурсным экзаменам она была допущена. Все три математических предмета: алгебру, геометрию, тригонометрию — она сдала на пять, остальные предметы на четыре. Ей механически вывели общую отметку 4,1, не посмотрев, что у нее пять по предметам того факультета, на который она хочет поступить. Ей сказали, что ее принимают, но без общежития, а без общежития она в Ленинграде учиться не могла. Зина уехала в Горький, где тоже был университет, но сначала ей пришлось поступить на работу, так как старой матери и невестке с двумя маленькими детьми жилось слишком тяжело, и она должна была их поддерживать.

Лида уехала в Казань и поступила в университет сначала там. Потом ей как-то удалось перебраться в Ленинград.

Я много думала о том, что мне изучать. Хотя я интересовалась математикой и астрономией, я не была уверена, что это мой путь. Мой отец сделал немало для того, чтобы развить во мне интерес к своим предметам. У него был дома даже небольшой телескоп-рефрактор, и я уже небольшим ребенком рассматривала в него поверхность Луны, спутников Юпитера, кольца Сатурна и даже пятна на Солнце. У моего отца было специальное темное стекло для Солнца.

Если мой отец и не говорил со мной углубленно о религии, то от плоского материализма он меня предохранил. Для него, математика, было ясно, что если математики могут рассчитывать четырех-, пяти... n -мерные пространства, то эти пространства существуют. Мир не ограничен тремя измерениями, доступными нам в земной жизни. Он не раз говорил мне: «Представь себе двухмерное суще-

ство, совершенно плоское, которому доступны только два измерения. Если из третьего измерения в этот мир двух измерений попадет другое существо, совершенно неожиданно и для плоского существа как бы из ничего, а потом так же исчезнет как бы в ничто, так как это плоское существо не может воспринимать третьего измерения, то оно будет говорить о чуде или о галлюцинации, возможно, не поверит, что это вообще было. А между тем такое появление существа трех измерений было вполне естественно. Так и нам кажется неестественным, если неожиданно появляется или исчезает существо из четвертого, пятого или другого измерения. Между тем все эти миры есть, только *мы* не можем их воспринимать и лишь в исключительных случаях с ними соприкасаемся». Я росла в ощущении полной реальности иных миров. Впоследствии это, конечно, мне очень облегчило восприятие христианства. Но пока это ясное, почти физическое ощущение иных миров в моем сознании еще не было связано с христианством.

Если б я могла дать своим внутренним устремлениям свободную волю, то, возможно, я бы уже тогда начала изучать философию и историю. Но какую философию можно было тогда изучать в СССР? Не было даже философских факультетов, основанных позже. А история? Она излагалась в ужасном искаженном виде. От моего отца я переняла, и для меня это было неукоснительно, что лгать в своем предмете ученикам нельзя. Я не могла бы этого делать. Я и без того задыхалась в тяжелой липкой лжи, окружавшей нас. И не я одна. Помню, как Валя однажды воскликнула: «Я бы все перенесла, лишения, недостатки, только б они сказали правду, но они лгут и лгут!» А в каком предмете можно было обойтись совсем без лжи? Только в чистой математике. Даже астрономов в те времена заставляли утверждать, что астрономия доказала отсутствие Бога. Физики долгое время должны были отречься от теории относительности, хотя в 1936 году ее разрешили, запрещали только делать из нее философские выводы. Для меня было ясно: я должна укрыться хоть отчасти от всюду довлеющей и мучающей лжи за чистой математикой. Я подала заявление на математико-механический факультет Ленинградского университета и как отличница была, конечно, принята. Катя подала заявление на географический факультет, Валя — на славистику. Обе тоже были отличницами и тоже были приняты сразу же.

На нашем школьном выпускном вечере выступать со словом от

выпускников, собственно говоря, должна была бы я как председатель класса. Но я решила, что Валя еще лучший оратор, чем я. Выступление поручим Вале, но мы вместе составим текст ее выступления. Мне не надо было бороться за этот текст в смысле того слова, которое я дала сама себе на выпускном вечере предыдущего 10-го класса. Вале и в голову не пришло предлагать какие-либо благодарности партии и правительству, которыми было напичкано год тому назад выступление Сони. Мы только обсуждали, каких преподавателей мы особо отметим и что именно мы о них скажем. Нам обеим и без слов было ясно, что мы будем благодарить только школу, директора и педагогов, но никого больше. Для школы мы выдумали еще одно: мы решили нашим классным руководителям, многолетнему классному руководителю Василию Алексеевичу и руководительнице 10-го класса Екатерине Петровне преподнести по букету цветов, для чего сделали в классе сбор денег.

Вечер прошел хорошо. Я взошла раньше на сцену, чтобы в соответствующий момент Валиной речи вытащить из-за занавеса заранее спрятанные букеты, и могла с внутренней улыбкой наблюдать, как краснели хвалимые нами педагоги. Для них это было ново. Классные руководители были в восторге.

Не помню теперь, кто именно, но кто-то выхлопотал нам экскурсию в Ленинград уже после выпускного вечера. Один раз наш класс уже ездил в Ленинград. Тогда всем, кто там раньше не был, город очень понравился. Я-то знала его, но всегда была рада лишний раз побывать в городе Петра. Конечно, для меня он остался городом Петра, но в своих записках я буду называть его тогдашним официальным именем, тем более что, как ни странно, мы тогда его и между собой так называли, хотя его улицы в наших разговорах носили старые имена. Никто не говорил: «Пойдем на проспект 25 Октября», все говорили: «Пойдем на Невский». Помню, как мы тогда осматривали Петропавловскую крепость и экскурсовод у могил императоров, называя их имена, прибавлял: «Сдох тогда-то». Меня от этого внутренне переворачивало.

Теперь с нами должна была поехать Екатерина Петровна. Но она пришла на вокзал и сказала, что у нее что-то произошло, отчего она ехать не может. Руководительницей экскурсии оказалась я. Мы не намечали твердой программы, но мне благополучно удалось достать помещение для ночевки и бесплатные билеты в оперетту. Так что свою обязанность я исполнила.

Летом мои родители захотели наградить меня поездкой в Крым. Это было прекрасное путешествие. Сначала мы поехали в Смоленск к родным, а оттуда по Днепру на пароходе до Киева. В Киеве мы хотели задержаться подольше, но не нашли места для ночлега. Отели были закрыты для советских граждан, туда попадали или партработники, или иностранцы, а частной комнатки мы не нашли. Переночевали несколько ночей в Доме крестьянина, оставив вещи на вокзале в камере хранения, так как там в общих залах их негде было запереть. Киев очень красив, но мы могли осмотреть его лишь поверхностно. В Крыму, в Севастополе и потом в Алушке, мы нашли помещения в частных домах. Комнаты сдавать, конечно, не разрешалось, но многие это делали.

На Севастополь я смотрела иначе, чем первый раз, когда была еще ребенком. На этот раз меня захватила героика обороны Крыма. Мы смотрели изумительное полотно Рубо «Оборона Севастополя». С особым чувством я стояла на Малаховом кургане перед памятником адмиралу Корнилову и глубоко возмущалась, что на цоколе памятника адмиралу Нахимову возвышалась тогда уже для меня тошнотворная фигура лысого Ленина. Потом памятник Нахимову был восстановлен, он, к счастью, не был уничтожен. Но тогда на цоколе, где совершенно ясно все говорило об обороне Севастополя, был водружен идол революции. В эту поездку во мне проснулось сильнее ощущение прежней, гордой и цветущей, России и горечь за ее поругание. В Алушке же был прекрасный отдых.

Часть третья
УНИВЕРСИТЕТ

Первый курс

39-я Псковская железнодорожная школа, которую я окончила, была пролетарской школой. В ней учились большей частью дети рабочих, мастеров, машинистов, железнодорожных служащих. Я уже упоминала о семьях Зины и Вали, мать же Кати была глухонемая вязальщица, отец, тоже глухонемой, чертежник, давно бросил семью. Знаменательно, что все трое детей, старшие братья и Катя, были вполне нормальными. Но все знали, что учиться в вузе будет трудно. Стипендии были маленькими, родители мало кому из нашего класса могли помогать. Может быть, поэтому Ваня и Володя пошли в военную школу? У нас звание командира высоко не котиновалось, слишком коммунизирована была армия, и от Вани мы никак не ожидали такого выбора. Другие мальчики выбрали технические вузы, тоже в Ленинграде.

Повторяю, все знали, что будет трудно. Ни у кого в нашем поколении не было ощущения, что советская власть дала им большие возможности. Все отдавали себе отчет, что без революции они при желании тоже могли бы учиться в высших учебных заведениях, и, возможно, даже при более легких условиях. Во всяком случае, прирабатывая, чтобы не голодать, они учиться смогли бы. Таким было общее настроение.

Я одна из числа моих подруг могла бы остаться дома и поступить в вуз. Я собиралась изучать математику, а во Пскове был педвуз с двумя факультетами: физико-математическим и естественным. Но Петербургский университет был семейной традицией со стороны моего отца. Кроме того, хотя я и готовила себя к мысли, что я стану преподавательницей математики в десятилетке, университет открывал и другие возможности: работу в научных институтах, аспирантуру. Я могла бы в университете специализироваться по

астрономии, которая меня тоже влекла. То, что я поступлю в Ленинградский университет, было заранее решенным делом, о Псковском педвузе не вставало и вопроса.

Мое вступление в Ленинградский университет получило характер анекдота. Как я уже упоминала, я послала заявление и аттестат сразу же после окончания школы и, так как я была отличницей, получила открытку с извещением, что я принята. В заявлении я указала, что нуждаюсь в общежитии. Опять-таки как отличнице мне должно было быть зарезервировано место. Замечу, что в августе исполнилось мне 17 лет, а это был самый младший возраст для приема в университет.

Совершенно спокойно в конце августа я пришла к помдекана, который давал направление в общежитие. И вот этот самый помдекана вдруг заявил мне, что моих документов нет, я вообще не принята, так как у них даже неизвестна. Он хотел уверить меня, что я не посылала им ни заявления, ни аттестата. Сначала я опешила, но потом вынула из сумочки открытку с уведомлением о том, что я принята, и протянула ему. Помдекана уставился на эту открытку как баран на новые ворота, почесал в затылке, начал повсюду шарить и вдруг... вытащил мои документы из-за шкафа! Смущение его продолжалось недолго, и он заявил мне, что в университет я, конечно, принята, но что все места в общежитиях распределены и места мне он дать не может. Я возражала, что я-то ведь не виновата в их безалаберщине, почему же я должна страдать из-за этого? Он начал наседать на меня: «Где вы остановились?» По моей врожденной правдивости и моей неопытности я сказала, что остановилась у сестры. Лена, ее муж и их сын Коля, на два года моложе меня, жили в одной комнатухе. Я могла остановиться там на несколько дней, но жить долго не могла. Однако помдекана уже не хотел слышать никаких объяснений: у меня есть сестра в Ленинграде! «Вот и живите пока у сестры, а там посмотрим!» Мне потом говорили, что надо было сказать: «Я нигде не остановилась, мои вещи лежат в камере хранения на вокзале». Но ошибка была уже сделана, и ее нельзя было поправить.

Помог брат Леша, поговорив с троюродной сестрой своей второй жены. У этой сестры и ее семьи была, по ленинградским понятиям, большая квартира, действительно, большая комната и не менее большая кухня для одной их семьи. В кухне они даже отгородили себе спальню, а двое их детей, девочка 14 лет и мальчик 11

лет, помещались в большой комнате. Вот в этой комнате они предложили сдать мне угол, отгородив его одеялами и шкафом. Угол был небольшой, но с окном, с письменным столом у окна и кроватью, а в шкаф, служивший стенкой, можно было повесить одежду. Жить в этом углу было приятно, тихо. С четырнадцатилетней Ниной я скоро подружилась, а Сережа был очень тихим мальчиком; худенький, бледный, он казался болезненным и тихо возился в своем углу за шкафом. Второе окно было занято Ниной, перед ним стоял ее письменный стол, а Сережа делал уроки при электрическом свете, хотя осенью и зимой в Ленинграде вообще надо было рано зажигать свет. Сама хозяйка в комнату редко входила. В большой кухне была и довольно хорошо обставленная столовая, там было ее хозяйство, там она и проводила дни. А муж ее возвращался со службы поздно вечером. Удобно было и то, что жили они на Васильевском острове, на 2-й линии, так что до университета было рукой подать и не надо было пользоваться переполненными троллейбусами или трамваями. Только одно было плохо: моя мама, беспокоясь о моем питании, попросила дать мне за дополнительную плату возможность у них столоваться. И как раз этого не следовало делать. Обедали они очень поздно, так как считалось, что непременно надо дожидаться «папочки». Такой поздний обед был вреден, особенно для детей. Был даже случай, что хозяин дома задержался на собрании до 12 часов ночи и все, в том числе и дети, до полуночи ждали обеда. Днем же подавались чай и бутерброды с колбасой, которые мне скоро осточертели. Но мне было неловко отказаться от стола, так и приходилось терпеть.

Первые полгода в университете были нелегкими и вобрали в себя все мое внимание. Программа по математике тогдашнего 10-го класса была небольшая и нетрудная. Наш передовой класс закончил ее к середине года. Михаил Александрович охотно дал бы нам понятие о дифференциальном и интегральном исчислении, но он не имел права преподавать что-либо, чего не стояло в программе, и он не рискнул. Мы жевали и пережевывали зады. И вот после этого фактического ничегонеделания на нас сразу обрушились ежедневные 4 часа лекций, где все время давался новый материал и ничего не повторялось, и два часа практических занятий. Мы слушали математический анализ, аналитическую геометрию, высшую алгебру и курс физики для математиков. Анализ был центром первых двух курсов. Второкурсники говорили нам: «Вы счастливые, у вас чита-

ет Фихтенгольц, он все разжевывает, а у нас читал Канторович, мы ничего не понимали!» И мы благодарили свою судьбу. В самом деле, для начинающих и пришедших в университет со школьной скамьи Фихтенгольц был подходящим профессором, он напоминал школьного учителя. Вторым профессором по анализу был его бывший ученик Леонид Канторович, которому тогда было 27 лет, а ординарным профессором он стал в 25 лет. Он был гениальным математиком, но излагать доходчиво для первокурсников не умел. А сначала предполагали давать возможность каждому из профессоров доводить свой курс до конца, анализ читался только на первых двух курсах. Но как раз когда я поступила, это решение было изменено: Фихтенгольцу оставили первый курс, а Канторович должен был всегда читать на втором. И это было правильно. Если школьная манера Фихтенгольца была спасением для начинающих, то уже во второй половине первого курса она нам начала приедаться. А начав на втором курсе слушать Канторовича, мы ежились при мысли, что нам читал бы анализ снова Фихтенгольц, мы ясно заметили разницу и несравненно большую глубину Канторовича. Ничего трудного в его изложении мы не усматривали, мы уже вжились в математику. Но это было делом будущего.

Нашим любимым преподавателем на первом курсе был доцент (он был «только» доцент) по аналитической геометрии Милинский. Он умел сочетать ясность и понятливость изложения с глубиной. Мы знали, что он находится в немилости и не получает профессуры не из-за недостатка квалификации, а по политическим причинам. Говорили, что он когда-то побывал в Англии и некоторое время сохранял переписку с каким-то английским математиком. Теперь это расценивалось как «криминальные» контакты с границей. Высшую алгебру читал профессор Фаддеев, крупный специалист, но к нему мы относились нейтрально.

Вокруг профессора Фихтенгольца я впервые услышала разговоры, которые касались «еврейского вопроса», если можно так выразиться. В Пскове эта проблема нас никак не задевала. Евреев в городе было мало, никакой неприязни к тем, которых мы знали, мы не встречали. Ни у нас в семье, ни среди наших знакомых не было антисемитов, и этот вопрос вообще не обсуждался. Здесь же мы, студенты, скоро заметили, что Фихтенгольц пользуется привилегиями, отличными от других профессоров. Так, например, только ему подавали машину от университета, хотя он был еще крепким шес-

тюдесятилетним человеком с легкой, пружинистой походкой. А старику Гюнтеру, слабому, тщедушному, сгорбленному, семидесятичелтырехлетнему крупному математику, читавшему на старших курсах, приходилось мучиться в переполненных трамваях и троллейбусах. Слабость Фихтенгольца как ученого мы уже скоро начали ощущать, и злые языки говорили, что ему дали профессуру только потому, что многие его ученики уже были профессорами. И тем не менее откуда-то шло неуловимое давление и на студентов, что к этому профессору должно быть особое отношение, его следовало особо почитать и в конце каждого курса преподносить не просто букет, а огромную корзину с цветами. И вот начались разговоры, что его так ублажают только потому, что он еврей.

Эта версия, однако, не выдерживала критического анализа. Канторович был тоже еврей, но, несмотря на то, что он в такие молодые годы получил кафедру, его скорее затирали, и те же невидимые течения настраивали не в его пользу. Между прочим, мне никогда не пришлось слышать разговоры, что Канторович так рано стал профессором, потому что он еврей. Его гениальность чувствовалась слишком ясно. Забегая немного вперед, скажу, что мы отдали дань навязываемой нам с какой-то стороны традиции и поднесли в конце курса Фихтенгольцу эту самую огромную корзину цветов, принятую им как должное с высокомерной покровительностью. Но, видимо, моя судьба была попадать в строптивное общество, так как мы сознательно и подчеркнуто сделали то, чего до нас, как мы знали, не делал ни один курс: мы поднесли Милинскому не цветы, а нечто более существенное — прекрасный портфель с гравированной дощечкой и к нему золотую ручку. Стоило это довольно дорого, но на нашем курсе было 250 человек, и мы сумели собрать необходимую сумму. Мы видели, с каким стареньким, потрепанным портфельчиком приходил Милинский на лекции. Кончу рассказ о подношениях: в конце второго курса мы так же строптивно поднесли цветы, хотя и не корзину, а только большой букет, Канторовичу, которому тоже студенты еще ничего не подносили. Он ужасно смутился, покраснел, как маленький мальчик, заикаясь, благодарил и не знал, как ему нести этот букет, потом опустил его и вышел, махая им, как веником. Но мы не обиделись, слишком ясно было, что это произошло не от пренебрежения к нашему подношению, а из большого смущения.

Наш курс был политически, по меньшей мере, не слишком ак-

тивными. Приблизительно 50% были вне комсомола. В то время как на историческом факультете только 10% было вне комсомола: идеологический факультет. У нас же многие спасались от идеологической лжи; например, одна из моих новых подруг, Галя, явно увлекавшаяся литературой и весьма мало интересовавшаяся математикой. И она выбрала этот факультет как идеологически нейтральный. Вторая студентка из нашего быстро возникшего триумvirата была, напротив, очень способным математиком и астрономом — она избрала потом эту спецификацию. Уход в идеологически нейтральные науки отвечал ее интересам. Конечно, обе не были комсомолками. Кстати, Галя окончила школу в Мурманске, но ее отцу, способному инженеру, удалось перебраться со всей семьей в Ленинград, так что они все жили в Ленинграде. Мой отец тоже хотел перебраться в Ленинград и взял даже курс анализа в одном техническом вузе в Ленинграде, для чего раз в неделю на два дня ездил в Ленинград. Но нам не удалось найти квартиры, а ездить было утомительно, и мой отец остался в Пскове.

Он в то время работал над своей диссертацией по высшей алгебре. Как я упоминала, его пригласили доцентом в открывшийся Псковский педвуз без научной степени: он был известен как хороший математик, а из других городов мало кто хотел переезжать в Псков. Кое-кто ездил из Ленинграда, но такие, конечно, не имели полной ставки. Мой отец намеревался защищать диссертацию при Ленинградском университете, причем ему предложили в руководители нашего профессора Тартаковского, который читал на втором курсе теорию чисел, а на третьем — теорию групп, полей и колец. Я его пока не слушала, так как на первом курсе он не читал ничего. У моего отца были с ним очень хорошие отношения, они друг друга ценили, и Тартаковский никогда не пытался навязывать моему отцу своих методов, время от времени они обменивались идеями, а так мой отец работал самостоятельно.

Среди студентов мы вообще очень хорошо чувствовали, кто чем дышит, не нужны были длинные разговоры для того, чтобы мы видели, кто из нас настроен против власти и против идеологии. Так было с Галей и Юлей, так было и с некоторыми другими однокурсниками и однокурсницами. Но вот ко мне подошла девушка, бросающаяся в глаза своим внешним видом: у нее были черные как смоль волосы, большие темно-карие глаза, смуглый цвет лица и низкий тембр голоса — в общем, внешне полная противополож-

ность мне, светлой блондинке с серо-голубыми глазами, светлым, даже на юге не загоравшим лицом и высоким тембром голоса. Катя Т., так буду называть ее в противоположность моей школьной подруге, Кате К., заявила: «Я выбрала вас своей подругой». Вначале мы тогда были еще на «вы» друг с другом. Я внутренне съежилась. Опять меня кто-то выбрал в подруги! У меня был уже на языке резкий ответ, но я воздержалась и только пожала плечами. Чем-то вроде подруг мы все же стали, особенно когда произошло расслоение по более узкой специализации: на чистую математику из моих подруг и приятельниц пошла только Катя Т.

Первый раз я столкнулась с таким трудным, эмоциональным и внутренне мятущимся человеком. Отец Кати Т. был караимом, по ее словам, очень способным инженером, который до революции руководил крупными техническими проектами на Дальнем Востоке. Большевиков он ненавидел и после революции скрыл свое образование и работал где-то техником, чтобы прокормиться, но не помогать большевикам своими знаниями. Женился он на девушке, которая по возрасту могла бы быть его дочерью. Мать Кати Т. была полурусская-полуармянка. Ко времени моего знакомства с Катей Т. отца ее уже давно не было на свете. Мать, хотя и интеллигентная и еще молодая женщина, не получила никакой профессии и была работницей на заводе. Не знаю, принял ли отец Кати Т. христианство, но Катя была крещена.

Кружок наших школьных подруг распался. Зина была в Горьком, где она пошла на работу, чтобы помочь матери и невестке, но мечтала все же хоть на следующий год поступить в университет. С Валей мы встречались, но как-то все реже и реже. Зато между Катей К. и мною дружба все более крепла, несмотря на разные факультеты. Мы сразу же отбросили школьную осторожность и говорили друг с другом совсем откровенно. Катя ненавидела советскую власть не меньше, чем я, и была при этом эмоциональнее, неосторожнее. Даже я посоветовала ей однажды быть осторожнее. Она возразила: «Мой старший брат тоже меня предупреждает, а сам такой неосторожный». С Зиной мы вели интенсивную переписку, часто писали ей письма вместе. Помню, как-то долго не было от нее писем, мы начали беспокоиться и решили написать ей еще одно письмо. Катя пришла ко мне в мой угол на Васильевском острове. Я сидела за столом и писала, а Катя смотрела мне через плечо и подсказывала, что следует еще написать. Вдруг она сказала: «А может

быть, и Зину уже арестовали?» Я сразу же перестала писать. Катя поспешно воскликнула: «Я не боюсь!» Тогда я снова начала писать, так как про себя решила, что я тоже не боюсь. Безумный гнет, под которым мы жили, приучил нас понимать друг друга без слов. Я же в университете стала менее осторожной. Хотя тогда я даже еще не достигла совершеннолетия, мне казалось, что как студентка я буду отвечать уже только за себя, и если меня арестуют, то именно только меня, а не моих родителей. В школе ответственность за родителей заставляла меня быть сугубо осторожной. Кроме того, я считала, что теперь уже лучше могу различать людей и видеть, с кем я могу быть откровенной, а с кем нет.

Из первого полугодия моих университетских занятий мне запомнился неудачный доклад о коммунистической морали. Как-то раз весь наш первый курс, 250 студентов и студенток, собрали в большом, расположенном амфитеатром химическом зале. В этом зале мы также слушали большую часть лекций. Микрофона у профессоров тогда не было, и им приходилось немало напрягать голос для того, чтобы быть услышанными в задних рядах. На этот раз для доклада пригласили аспиранта из Института марксизма-ленинизма. Он читал тему о коммунистической морали. С моралью коммунисты никак не могли поладить. В марксистском мировоззрении нет никаких основ для морали. Нравственность только тогда заслуживает этого названия, если она опирается на вечные ценности и ее нормы одинаковы для всех людей, независимо от их классовой принадлежности. Классовая «мораль» — это не мораль, не нравственность в истинном понимании этого слова. Это лишь нормы поведения для достижения наибольшей выгоды для того или иного класса. По крайней мере, в теории следовало это понимать так. На самом деле те нормы поведения, которые коммунисты предлагали рабочему классу, даже не вели к достижению наибольшей выгоды для этого самого класса, они разве что вели к достижению наибольшей выгоды для компартии, особенно же ее аппарата. Несмотря на это, марксисты постоянно морализировали. Это делали уже основоположники. Они горели гневом при виде несправедливой эксплуатации, хотя, по их же учению, буржуазия никак иначе и поступать не могла, а потому ее действия не должны были ни у кого вызывать никаких «благородных эмоций», разве что холодную и бесстрастную решимость свергнуть ее и захватить власть в свои руки. Эта решимость у вождей и была, но они ее прикрывали благо-

родными лозунгами, не имевшими никаких корней в их же учении. Придя же к власти, коммунисты очень скоро заметили, что хотя бы минимум нормальной человеческой нравственности должен существовать, иначе общество развалится, несмотря на жестокую диктатуру и владеющий всеми страх. Но как согласовать эти требования морали с теорией марксизма-ленинизма? За все время своего владычества коммунисты этой проблемы так и не решили.

Но вот наш курс собрали, в президиуме заняли место парторг нашего факультета и комсорги старших курсов. Комсорга нашего курса в президиуме не было. Нужно отметить, что и парторг, и наш комсорг были евреи. Относительно других я не помню, кто они были. Мне лично было все равно, коммунист есть коммунист, но потом я узнала, что некоторые из студентов это обстоятельство отмечали. На кафедру вышел молодой аспирант, положил перед собой толстую рукопись и начал монотонно читать какую-то пропаганду. Было невыносимо скучно, и никто его не слушал. Довольно долго мы терпели, но потом терпение лопнуло. У нас было принято на лекциях, если что-либо было непонятно, посылать лектору записки с вопросами, на которые он отвечал после перерыва или на следующей лекции. Теперь же послали записку в президиум, и не закрытую, как обычно, а открытую. Случайно она прошла и через мои руки, там стояло: «Сколько заплатили лектору за то, чтобы он читал доклад, и сколько надо ему заплатить за то, чтобы он перестал?» Парторг прочел записку, занервничал и что-то пошептал смутившемуся лектору. Тот перевернул сразу много страниц своей рукописи и с места в карьер стал читать практические примеры коммунистической морали, прежде всего о том, что нельзя судить о человеке по внешности. На одном заводе, мол, была девушка, которая сильно красилась, и ее многие презирали, но, когда на заводе случился пожар, она оказалась героиней. Все смеялись. То, что о внутренних качествах человека нельзя судить по внешности, элементарно, и это можно прочесть в любой этической системе. Но при чем тут коммунистическая мораль? Тогда парторг сказал совсем сникшему аспиранту, чтобы он кончил свой доклад и открыл дискуссию.

Однако выступавшие в дискуссии совсем не касались вопросов коммунистической морали. Все выступавшие говорили о смысле жизни и, к ужасу то красневшего, то бледневшего парторга, говорили о том, что смысла жизни нет, жить нечем и, собственно говоря,

одна дорога — это кончать с собой, но часто на это не хватает мужества. Одна студентка, помню, сказала, что она с головой ушла в общественную работу, чтобы не иметь ни минуты свободного времени и не задумываться над жизнью и ее смыслом. Если не заглушать себя учением и общественной работой, то и впрямь впору кончать с собой. Взволнованный парторг воскликнул: «Как может наша счастливая советская молодежь высказывать такие пессимистические взгляды!» Но счастливой-то эта молодежь не была. На его восклицание никто не обратил внимания, дальше шли высказывания в таком же духе. Не знаю, чем кончился бы диспут, но выручил циник из среды студентов. Он сказал: «К чему ломать себе голову над смыслом жизни? Смысл жизни в удовольствиях. Вот, например, обо мне все знают, что я влюблен во всех хорошеньких девушек сразу». А затем, мол, «лови момент удачи» и не задумывайся над сложными вопросами. Большинство из нас были тогда идеалистами, и этот открытый цинизм нам не понравился, в зале раздался шум. Этим воспользовался комсорг нашего курса. Он вскочил с места и, не выходя к кафедре, разразился речью о необходимости идеалов, стремления к лучшему и справедливому. Большие глаза этого, нужно отдать должное, красивого парня горели, и он умело не затрагивал специфики идеалов, то есть не говорил ни о социализме, ни о коммунизме или марксизме-ленинизме, а только об общих стремлениях к добру и справедливости. Все, я в том числе, ему искренне аплодировали. Пусть его идеал, если он убежденный коммунист, не совпадает с моим, но в том, что нельзя жить цинично лишь удовольствиями дня, в этом большинство из нас были согласны с комсоргом. Парторг воспользовался общим одобрением и закончил на этом апофеозе неудавшийся диспут.

Может быть, стоит рассказать банальное последствие возбужденного диспута. В начале следующего года, осенью, я как-то мельком заметила, что отсутствует одна из студенток нашей группы, тихая, почти всегда молчавшая, некрасивая белобрысенькая эстонка Кира. Я регистрировала в уме ее отсутствие, но много об этом не задумывалась. Однако как-то раз я увидела ее на Университетской набережной, она медленно шла впереди меня. Догнав ее, я начала: «Отчего ты не ходишь...» — и оборвала фразу на середине, я заметила, что она беременна и на сносях. «А, заметила, — сказала она грустно, — а хочешь знать, кто отец? Помнишь диспут о коммунистической морали и комсорга нашего курса, так горячо высту-

павшего за идеалы? Вот тогда-то я в него и влюбилась. Он будто тоже полюбил меня, но, когда я забеременела, бросил. Я не хотела этого, но в комсомоле узнали, его даже «прорабатывали», и он уехал из Ленинграда и теперь в университете в Казани, предпочел лучше уйти туда, чем жениться на мне. Впрочем, иногда пишет». Невольно я спросила себя, как поступил бы выступавший перед тем циник, если б одна из тех девушек, в которых он был влюблен, от него забеременела. Может быть, он тоже поступил бы вопреки своим собственным высказываниям?

Кроме математических предметов и физики, мы должны были, разумеется, изучать неизбежный марксизм-ленинизм («научного атеизма» в то время, слава Богу, еще не было), военное дело и физкультуру. Последнюю мы, конечно, не изучали, но экзамены по физкультуре должны были сдавать.

Помню, как при чтении скучнейшей ленинской книги «Материализм и эмпириокритицизм» меня поразили взгляды английского позитивиста Давида Юма, которые я смогла вылущить из ленинской ругни. Мысль, что мы ничего не знаем об окружающем нас мире и полностью заключены в клетку наших субъективных ощущений, потрясла меня. Сначала мне захотелось углубиться в Юма. Нашему преподавателю в группе я сказала, что, прежде чем анализировать взгляды Ленина, мы должны ознакомиться с теми авторами, которым Ленин возражает, в частности, с Юмом. Ответ был: «Зачем вам набивать голову всякой чепухой?» Я не знаю, были ли в университетской библиотеке произведения Юма на русском языке, и, если были, выдали ли бы их мне, студентке математического факультета. Я не попробовала. Я не могла рассматривать идеи Юма хладнокровно, только как игру ума. Как и очень многие русские, я принимала их экзистенциально, и в этом аспекте они были для меня мало приемлемы. Они меня слишком беспокоили. Вероятно, поэтому интерес к Юму вспыхнул и погас, вернее, я отбросила его. Это не значило, что примитивный материализм Ленина меня удовлетворял. Я просто на время отложила размышления о философских проблемах. У меня было ощущение, что мне не хватает какой-то опоры, с которой я могла бы рассматривать проблемы философии.

Военное дело нам преподавали старые красногвардейцы. Конечно, они имели и сейчас тот или иной военный чин, но было ясно, что время их прошло, а также и то, что они были участниками

гражданской войны, даже если они об этом не говорили. На них лежал пыльный налет прошлого, вышедшего в тираж, сквозь который проступало желание сохранить прежнюю идейность, старый тон, который слово «товарищ» еще принимал всерьез, и печальное понимание, что все это прошло. Впрочем, это касается только знакомивших нас с винтовкой и учивших стрельбе, равно и к преподавателю военной политграмоты. Военную топографию нам преподавал уже более молодой и современный военный. Я любила стрельбу как спорт и, еще будучи в школе, ходила на кружок стрельбы. Так что в нашей группе я была единственной, выбившей с первого же выстрела 7 очков, и старый военный торжественно заявил: «Товарищ стреляет хорошо!»

Мы должны были сдавать экзамен и по стрельбе. Я уже не помню, сколько очков надо было выбить пятью выстрелами, чтобы получить хотя бы удовлетворительную отметку. Мне это было нетрудно. И потом я осталась добровольно в кружке стрельбы. Наш военный предложил мне сдать норму на ворошиловского стрелка. Первую норму, опять-таки какое-то (большее) число очков из пяти выстрелов я сдала, а потом перестала ходить в кружок стрельбы. При сдаче второй нормы надо было стрелять в фигуру человечка, которого тогда еще называли «фашистом», но после договора о дружбе с Германией стали называть «мужичком». Помню, я тогда подумала, что это очень подходящее название: коммунисты всегда стреляют в крестьян. Но меня остановила не необходимость стрелять в фигуру человека на бумаге, а соображение, что если будет война и если начнут призывать и девушек, то в первую очередь, вероятно, тех, которые имеют значок ворошиловского стрелка. Я же не хотела воевать за советскую власть. Поэтому я перестала ходить на кружок стрельбы и тем самым отказалась от получения значка.

Военную политграмоту на весьма низком уровне, даже с точки зрения коммунистической пропаганды, преподавал такой же вышедший в тираж участник гражданской войны. Одно обстоятельство его, видимо, весьма поразило, и он повторял его надоедливо часто. «В восемнадцатом году, — восклицал он, — на параде в честь первой годовщины Октябрьской революции над Красной площадью летал только один самолет, а теперь летают целые эскадрильи». Я пообещала некоторым моим однокурсникам, что на экзамене я это непременно скажу, все равно какой бы вопрос он мне ни

задал. А вопрос, который я получила, был знатный, — роль товарища Сталина в гражданской войне. Начала я еще осторожно со знаменитой обороны Царицына, где Сталин действительно был. Но потом закусил удила: я помещала «товарища Сталина» на все участки гражданской войны, уже не считаясь с последовательностью времени. «Товарищ Сталин» превращался у меня в фантастическое существо со свойством биолокации. Старый военный с усталым взглядом слушал меня молча. Понимал ли он, что я издеваюсь? Или принимал меня за примитивную энтузиастку сталинского культа? Под конец я воскликнула: «И вот в восемнадцатом году на параде над Красной площадью летал только один самолет, а теперь летают целые эскадрильи, и это тоже заслуга товарища Сталина!» Мой экзаменатор и тут не сказал ни слова, поставил мне пять и отпустил. Может быть, и нехорошо было пользоваться его беспомощным положением: попробовал бы он в те годы сказать, что товарищ Сталин не имел той или другой из заслуг, которые я ему беззастенчиво приписывала. Но виноват был он сам: зачем он задал мне именно такой вопрос?

Под конец военного курса студентов и студенток разделяли, мы изучали первую медицинскую помощь, а студенты — военную стратегию. Сдать экзамен по всем этим дисциплинам было нетрудно, и в конце курса мы все получили значок «Готов к санитарной обороне» второй степени.

Но и по физкультуре мы должны были сдавать экзамены. Как военное дело, так и физкультура странным образом кончалась на первом курсе. Сдать надо было определенные нормы бега на длинную дистанцию, прыжков в высоту и длину, метания диска и гранаты — здесь физкультура соприкасалась с военным делом — и даже трехкилометровый пробег на лыжах в определенное время. Каковы были все эти нормы, я уже забыла, так как сдала их без особых трудностей. И только одну — и ее я запомнила на всю жизнь — я никак не могла сдать — бег на 100 метров. 100 метров надо было пробежать за 14 секунд, а у меня получалось все время 15, как я ни напрягала силы. К каким результатам привел бы тот факт, что я не могла из-за несчастной одной секунды сдать экзамена по физкультуре, и был бы из-за этого сделан вывод, что я не могу изучать математику, я не знаю: зима 1938—1939 годов в Ленинграде не была холодной, но зато мокрой, сырой и туманной, и в феврале я заболела. На одной из лекций я сказала Гале, что не могу больше сидеть и

в перерыв уйду. Она с удивлением посмотрела на меня: «Ты не выглядишь больной». Так было обычно, я никогда не выглядела больной. Едва добравшись до дома, хотя это и было совсем недалеко, я измерила температуру, термометр показал 40°. Был вызван участковый врач, и он установил грипп. Им в эту гнилую зиму болели многие, в том числе и вся семья, где я снимала угол. Я чувствовала себя все хуже. У меня начала сильно болеть грудь, и я совсем ослабела. Приходили участковые врачи, все молодые, каждый раз другой или другая, устанавливали стереотипно грипп, давали какие-то микстуры, но лучше мне не становилось. Тут как-то заехал брат, направлявшийся через Ленинград по служебным делам в Псков. Он встревожил моих родителей, сказав им, что я сильно больна. Это он заметил и не будучи врачом. Мама сразу же сорвалась с места и с ним вместе приехала в Ленинград. Она разыскала знакомого врача, который несколько лет тому назад перебрался из Пскова в Ленинград, и привела его ко мне. Он исследовал меня и всплеснул руками: «Да у нее воспаление легких! Эти участковые врачи залечили бы ее до смерти!» Не помню, какие лекарства он мне давал, но я начала понемногу поправляться. Проболела я почти два месяца, и эта болезнь дала временное осложнение на сердце, так что мне на полгода запретили физкультуру. Проблема одной секунды разрешилась сама собой.

Однако другие предметы надо было как-то нагонять к экзамену. Для перехода на второй курс мы должны были сдавать анализ, аналитическую геометрию, высшую алгебру, физику, ну и, конечно, неизбежный марксизм-ленинизм. Но последний в счет не шел, я всегда легко могла наговорить им все, что они хотели услышать. Из серьезных же предметов я решила, что подготовлю три математических предмета, а физику попрошу отложить на осень, сославшись на свою долгую болезнь. Готовиться я решила по запискам в тетрадях моих студенток, так как по книгам было бы сложнее разбираться, что именно было в лекциях, а чего не было. Записки по аналитической геометрии я взяла от Галя. Бедная Галя, увлекавшаяся литературой, преимущественно поэзией, очень любившая, в частности, Максимилиана Волошина, пошла на математический факультет тоже из соображений идеологической нейтральности этого предмета. Но если у меня была некоторая внутренняя связь с математикой через моего отца, то у нее совсем не было. Она записывала только символически выкладки, а потом их результаты, и, когда я попросила ее развернуть выкладки, оказалось, что она сама

ничего не понимает в своих собственных записях. Конечно, я могла бы взять тетрадь от кого-либо другого, от тех, от кого брала анализ или высшую алгебру, но я решила, что скорее и легче будет, если я просто сама эти выкладки сделаю. И, в самом деле, мне это удалось, и я потом объясняла их владелице тетради. Зато и знала я аналитическую геометрию блестяще, лучше, чем другие предметы. Всегда рекомендуется до чего-либо доходить своим умом, это дает значительно более углубленные знания.

Но отложить физику мне тот же помдекана, который так элегантно вытащил мои документы из-за шкафа, не разрешил. Он разъяснил, что сначала я должна провалиться на экзамене, а потом мне отложат предмет на осень. Ну что ж, если так нужно... Я пошла на экзамен с целью провала и, конечно, провалилась. Торжествуя я снова явилась к помдекана. Но и тут мне не повезло: «Сначала вы должны пойти на переэкзаменовку через неделю, а если вы и тогда провалитесь, тогда мы перенесем на осень». Я искренне возмущилась: «Вы думаете, что я могу выучить весь полугодовой курс физики за неделю? Тем более что через три дня у меня еще экзамен по аналитической геометрии!» — «А геометрию вы сдадите?» — «Геометрию сдам». — «Ну если провалитесь по физике еще раз, приходите снова». Что можно было сделать? Получив по геометрии пять, я пошла еще раз проваливаться по физике. И что же? Наш физик дал мне вопрос из атомной физики, которую он начал читать в конце года, когда я уже ходила на лекции. Я и ее не учила, но с моей прекрасной памятью запомнила многое с лекции, тем более что она меня заинтересовала. В результате он мне поставил... четыре. Теперь торжествовал помдекана: «Что ж вы говорили, что провалитесь?» Но результатом было лишь то, что курса физики я так и не выучила.

Весной 1939 года мой отец защитил в Ленинградском университете свою диссертацию по высшей алгебре. Она получила прекрасные отзывы как Тартакоского, так и Фаддеева. Шли разговоры, чтобы перескочить кандидатскую степень и дать моему отцу сразу докторскую. Но потом они все же на это не решились.

Как я уже писала, мой отец получил доцентуру по высшей алгебре в Псковском педвузе, не имея научной степени. Теперь, несмотря на то, что он получил лишь кандидатскую степень, он мог получить кафедру по высшей алгебре. Он и так был с самого начала и. о. (исполняющий обязанности) завкафедрой. В Пскове не

было другого специалиста по высшей алгебре. Процедура была такая: ученый совет педвуза устанавливал, что данный человек имеет достаточную научную квалификацию для того, чтобы занять кафедру. Затем это решение посылалось в Москву, сопровождаемое характеристикой данного кандидата, которую давал директор, конечно, партии. Если она была положительной и в Москве не было каких-либо иных, по их мнению, отрицательных сведений об этом человеке, то Москва автоматически утверждала.

Директор пригласил моего отца к себе и сказал: «Вот передо мной решение ученого совета о передаче вам кафедры высшей алгебры. В вашей научной квалификации никто не сомневается. Но вы слишком аполитичны. Советский профессор — это не царский профессор. Советский профессор должен выступать с политическими речами. Обещаете вы это делать в будущем?» Помню, один знакомый сказал, что в иных странах требуют свободы речи, а мы были бы рады, если бы имели свободу молчания. Поистине так!

Мой отец пробовал как-нибудь извернуться, говорил, что он не оратор, говорить не умеет, что он всю свою жизнь занимался только математикой и единственно, что умеет, — это учить математику. Но директор уперся: «Если вы не дадите слова впредь выступать с политическими речами, я не пошлю решения совета на утверждение в Москву». Моему отцу надоело: «Что ж, — сказал он, — тогда не посылайте».

Решение послано не было, и мой отец остался формально только и. о. завкафедрой, хотя фактически он ею заведовал. То, что он не стал и формально завкафедрой, его не огорчало. Много хуже было другое: мой отец говорил, что он вполне отдает себе отчет в том, что если они найдут специалиста по высшей алгебре, который согласится приехать во Псков, то моего отца, по всей вероятности, арестуют. Он понимал, что его щадят лишь потому, что кто-то должен же вести высшую алгебру, а никого больше не было. Жить под таким постоянным напряжением было очень тяжело.

В публике на защите диссертации моего отца сидела не только я, но и моя сестра Леночка. Она потом мне сказала: «Как ты счастлива, что возвращаешься среди таких культурных людей». Мне было тогда немного стыдно за то, что моя молодость пришла хоть и на страшное время, но не на время разрухи, и я все же могла учиться в университете, а Леночке не пришлось. Но когда я после войны оказалась в Германии, чужой стране, без всяких документов, дока-

зывавших мое образование, — аттестат остался в Ленинграде, а зачетная книжка потерялась где-то при бегствах, — без денег или какой-либо другой материальной основы, и когда мне, несмотря на это, удалось окончить Мюнхенский университет и выйти в ту же культурную среду, я поняла, что от самого человека зависит больше, чем от внешних обстоятельств.

Леночка, самая младшая из оставшихся в живых детей моей матери от первого брака, не успела до революции окончить Николаевский институт. Она доучивалась уже при советской власти. По окончании средней школы она хотела поступить в Петроградский университет, но время было слишком трудное — разруха, голод. Мой отец не мог бы ей помогать, его жалованья ни на что не хватало, он давал частные уроки по математике в иные дни до 12 часов ночи, засыпая иногда от усталости во время урока. За часовой урок ему давали полфунта хлеба. Брат учился в Петрограде, но помогать ему мои родители не могли, он голодал, жил разными случайными заработками, найти которые было легче молодому мужчине, чем молодой девушке. Мои родители боялись отпустить ее одну и без помощи в Петроград. Мой отец говорил ей: «Подожди — тебе 18 лет, у тебя есть еще время. Если положение наладится, я охотно помогу тебе учиться в Петрограде». Но Леночка не дождалась. Неожиданно появилась на сцене младшая сестра моей матери — Анна, тетя Нюта, как мы ее звали. Она интенсивно играла роль свахи, чтобы устроить брак моей сестры с ее троюродным дядей по отцу. Это была дворянская помещичья семья с не очень богатым, но достаточным имением на Неве. Мне неясно, в каком юридическом положении было тогда это имение, но тот сын, который хотел посвятить себя сельскому хозяйству, тогда еще там жил и, несмотря на то, что имение было разорено, все еще как-то вел хозяйство, работая очень много вместе с несколькими, оставшимися верными помощниками. Он приехал свататься сам и произвел неопределенное впечатление. Кажется, Леночка влюблена в него не была, но все же он ей понравился. Она собралась ехать в Петроград, с тем чтобы выйти замуж. Мои родители считали, что все это происходит слишком поспешно. Мой отец еще на вокзале уговаривал Леночку не стыдиться вернуться обратно, если у нее возникнут сомнения. «Мы тебя примем с распростертыми объятиями и уж никак не упрекнем, что ты передумала», — говорил он. Но Леночка не вернулась. Первое время жизнь их была хотя бы сытой. Но скоро они

имение окончательно потеряли. Хорошо еще, что ее муж остался в живых. Как дворянин он был лишенцем и учиться, как он хотел, не мог. До революции он кончил Петербургскую немецкую гимназию, так называемую Петершуле. Почему туда отдали его родители, я не знаю, они были чисто русские. Но он владел немецким языком в совершенстве. Однако устроиться переводчиком не мог, опять-таки из-за дворянского происхождения. Иногда, когда не было своих переводчиков, его временно использовали, но сразу же увольняли, как только находился социально более близкий переводчик. Единственно, что он мог делать, — это работать простым рабочим. Он был высоким и физически сильным человеком, и ему часто поручали самую тяжелую работу, но его организм не был с детства натренирован для тяжелой физической работы, и он повредил себе сердце. Зачастую он вообще бывал безработным. Всю семью — у них был сын Коля на два года младше меня — тянула Леночка. Она научилась печатать на машинке, но высокой квалификации у нее не было, и она работала в бюро какого-то жакта. Все знают, как грубы были управдомы, какая некультурная обстановка там господствовала. Леночка от своего отца наследовала больше аристократизма, чем другие его дети, и ей было особенно трудно работать в такой обстановке. Материально у них часто были прорывы, и мой отец помогал им, скрывая эту помощь от мамы. Может показаться странным, что отчим помогал, скрывая помощь от родной матери Лены. Но мама была под влиянием брата, который почему-то не любил своего зятя и троюродного дядю. Он утверждал, что он не из-за своего дворянского происхождения не может работать переводчиком, а потому, что вообще не способен к систематической работе. Мне всегда казалось, что брат не имеет морального права на эти утверждения: что делал бы он сам, если бы носил ту же самую дворянскую фамилию, которую он, собственно говоря, должен был бы носить?

Здесь мне придется сделать отступление в прошлое, чтобы объяснить, отчего мой брат и сестры носили совсем другую фамилию. Их дед был старшим братом отца мужа Леночки. Он отказался от имения в пользу младшего брата, не имея склонности к сельскому хозяйству, и жил в Петербурге. Там он сошелся с недворянской девушкой. Когда она забеременела, он не захотел на ней жениться. Отчего? Потому что она не была дворянкой? Или он вообще не хотел жениться — он остался до конца своей жизни холостым, — я не знаю. Так или иначе, он нашел немолодого одинокого чиновника

небольшого ранга с маленьким жалованьем, который согласился за крупную сумму повенчаться с возлюбленной деда моих брата и сестер при условии: после венца сразу же отстраниться и больше никогда не встречаться со своей «женой». Все это еще раз доказывает, как мало роли уже играла вера в жизни части интеллигенции, да и части дворянства. Свекр моей матери по первому браку купил человека, чтобы он лгал перед лицом Бога. Понятие таинства брака не имело для него, очевидно, никакого значения. Но так случилось, что мой брат не имел никаких трудностей с дворянской фамилией, которую он должен был бы получить от своего деда. Он обязан был греху этого деда тем, что его путь при советской власти оказался более легким, чем путь его родственников. Я считала, что он должен был бы воздержаться от суждения в этом вопросе.

Лена довольно часто приезжала к нам летом в отпуск. Иногда Коля оставался у нас на даче, когда ей нужно было возвращаться в Ленинград на работу. Между мной и моим племянником, конечно, не называвшим меня тетей, было только два года разницы. Мы вместе играли, вместе водили деревенских лошадок на водопой или на пастбище, вместе старались неумело помогать жать рожь или выполнять какие-либо другие сельские работы. И с Леной я очень подружилась. Леша и Таня с самого раннего моего детства баловали меня. Леша дарил мне книги и игры, надписывая их неизменно: «Большой сестре от маленького брата». Они уже не жили дома, когда я родилась, у Тани был тогда полугодовалый сын. Леночка же жила еще дома. Кроме того, у нее был другой характер. Мама рассказывала, что в детстве только она сразу же начинала плакать, если мама хоть на короткое время куда-нибудь уходила. И как раз ее отдали в интернат, когда ей было всего 6 лет. Для нее это было травмой. Мой отец говорил, что, если бы он тогда уже был женат на маме, он бы этого не допустил. Леша и Таня не смотрели на меня всерьез, не ставили себя на одну доску с таким малым ребенком. А Леночка была в какой-то мере уязвлена моим рождением. Она ревновала родителей ко мне. Я это чувствовала, когда была еще небольшим ребенком, хотя Лена уже давно жила отдельно, имела свою семью. Но как раз потому, что Лена относилась ко мне как бы как к равной, точио соревнуясь со мной в завоевании внимания родителей, между нами постепенно развились равные дружеские отношения, так как будто разница между нами была не в восемнадцать лет, а в два-три года. Станным образом я и ее мужа, этого

большого мужчину, который был на 11 лет старше Леночки и почти на 30 лет старше меня, называла не Пантелеймон Николаевич, а просто Поня. Таких простых отношений у меня не установилось даже ни с первой, ни со второй женой брата, хотя он этого хотел. Я называла их по имени-отчеству. Помню, как двенадцатилетний Коля как-то возмутился, что его отца какая-то девчонка так называет, и сказал: «Ты бы хоть говорила „дядя Поня“». На что я ответила: «Но Поня мне не дядя, а зять». На что сам Поня отозвался: «Правильно, Верочка!» Его это очень забавляло.

Поскольку я теперь жила в Ленинграде и часто бывала в семье сестры, наша дружба еще больше укрепилась. Лена была со мной вполне откровенна. В браке она не была счастлива, хотя никогда ничего отрицательного о муже не говорила. По натуре она была полной противоположностью Тане: она была воплощением постоянства и ни при каких условиях не бросила бы мужа. Кроме того, она обожала сына и не отняла бы от него отца, тем более не бросила бы его, как это сделала со своим первым сыном Таня. Но Коля вступал тогда в переломный возраст, и у нее были с ним трудности, о которых она советовалась со мной. У меня же, семнадцатилетней, конечно, не было ни малейшего опыта в воспитании пятнадцатилетнего мальчика. Но Коля, видевший во мне, естественно, не тетку, а, скорее, кузину, в свою очередь делился со мной своими трудностями, также и в отношении родителей. И я, не выдавая ни сестру, ни Колю, старалась учесть то, что говорила мне Лена для советов Коле, и то, что говорил он мне для советов его матери. Между прочим, Коля жаловался мне и на то, что на него в школе оказывают давление, чтобы он вступал в комсомол, и делают злые намеки на «вредное влияние семьи». «Если это будет продолжаться, — говорил он, — мне придется подать заявление в комсомол». Тут уж я ничего не могла посоветовать: на меня в школе, как я уже упоминала, серьезного давления не было, и у меня не хватало в этом вопросе опыта.

Но депрессии Леночки не были связаны с некоторыми трудностями роста ее сына, ни даже отсутствием большой любви между нею и ее мужем, они обуславливались общей обстановкой. Лена переносила ее с величайшим трудом. Материальные трудности усугубляли мрачность обстановки, но не были определяющими. Поня доказал, что он умел работать: когда в 1936 году Сталин заявил, что сын за отца не отвечает, и для «бывших» открылся путь к образованию, он поступил в вечерний вуз и, работая днем рабочим, сумел

незадолго до войны этот вуз закончить и получить диплом инженера-химика, а вскоре и прилично оплачиваемое место. Матерально семья вздохнула, но не надолго...

Леночка говорила мне, что не хочет жить дальше. Пока она нужна Коле, но, когда Коля стает на свои ноги, она покончит с собой. Меня это очень угнетало, и я старалась убедить ее в том, что для Коли ее самоубийство было бы ужасным и в том случае, если бы он материально в ней больше не нуждался. Мать остается матерью и тогда, когда сын уже вполне взрослый и самостоятельный. Но она отвергала эти аргументы. Другого смысла жизни ей дать не могла. У меня самой его тогда не было.

Коля пал на войне. Поня умер в Ленинграде во время блокады. Но Леночка, слава Богу, с собой не покончила. Инстинкт жизни оказался сильнее.

Будучи в Ленинграде, я несколько чаще встречалась с Жоржиком. Он стал удивительно похожим на мать. Это была Таня в мужском издании: высокого роста, с правильными чертами лица, большими миндалевидными серо-зелеными Таниными глазами, которыми он даже поводил так же, как она; словом, он был красавцем. Но и легкомыслие своей матери он унаследовал тоже. Несмотря на все старания отца, он не закончил даже десятилетки и пошел после семилетки работать на завод. Многие девушки в него влюблялись. Когда его отец узнал, что одна из них от него забеременела, он настоял на том, чтобы Жоржик на ней женился: «Это же не только ее ребенок, это же и твой ребенок, ты должен о нем заботиться», — внушал он сыну. Жоржику не хотелось, но он все же женился. Почти перед самой войной у них родился сын, мой внучатый племянник, так что я в 19 лет стала чем-то вроде бабушки.

Иногда наезжали в Ленинград и Таня с Димочкой. Второй сын Тани был странным образом не похож ни на нее, ни на своего отца. Небольшого роста, круглолицый, курносенький, с веселыми серыми глазами, он рос солнечным мальчиком, всегда приветливым, всегда радостным, несмотря на тяжелое детство.

Петербург — именно Петербург! — оказал на меня то же чарующее, затягивающее действие, какое он оказывал на очень многих. Леночка говорила: «Как ни тяжело бывает на душе, а пройдешься по Невскому, и станет легче». То же самое я могла сказать о себе. А ходили мы много по всему городу, не только днем, но и в белые таинственные ночи, Город захватил меня какой-то магической си-

лой. Но я не ощущала в нем ничего страшного или рокового, как многие из наших великих писателей. Наоборот, я радостно повторяла вместе с Пушкиным: «Люблю тебя, Петра творенье!» Ни один город меня так не захватывал, как Ленинград. Впрочем, через десятилетия возникло несколько аналогичное чувство к другому городу, но все же в совсем ином плане.

Второй курс

Лето 1939 года мы проводили в той староверской деревне, о которой я уже писала. В конце августа вернулись во Псков, и я начала собираться, чтобы за несколько дней до начала нового университетского года быть в Ленинграде.

Первый мой университетский год и жизнь в Ленинграде меня полностью захватили. Было так много новых впечатлений, так много работы по освоению основ высшей математики — а тут еще длительная болезнь во втором полугодии, — что я мало интересовалась политическими событиями. Мельком я отметила Мюнхенское соглашение с Гитлером, даже захват им Австрии и Чехословакии прошел почти мимо меня. Я заметила, что советская пресса все меньше бранит «фашизм» Гитлера, как она называла национал-социализм, но я не сделала из этого никаких выводов. Также мельком я обратила внимание на отставку Литвинова с поста наркома иностранных дел и замену его Молотовым. Тем неожиданнее оказался для меня приезд Риббентропа в Москву и договор сначала о ненападении, а потом и о дружбе.

Не успели мы опомниться от этой сенсации, как нас грохнули известием, что германские войска перешли польскую границу, а Франция и Англия объявили войну Германии. Мой дремавший весь прошлый год политический инстинкт пробудился с бурной силой. Я вся ушла в политику, не приносящую, однако, никакой радости. Хотя у нас в семье не возлагались надежды на Запад в смысле освобождения от коммунистической диктатуры — мои родители часто говорили о позорной роли западных союзников во время гражданской войны, — все же тяжелым гнетом легло как бы исполнение коммунистических предсказаний, что «капиталистические» страны будут воевать между собой, а собирателем посеянной кровавой жатвы будет все тот же коммунизм. Тогда я начала усиленно следить за событиями и быстро научилась вычитывать из советских газет то, что стояло за их текстом.

Каждый день я покупала «Правду» и читала только ее четвертую страницу — международные известия. Даже свою собственную занудную пропаганду коммунисты не умели напечатать в достаточном количестве экземпляров: «Правду» привозили из Москвы в Ленинград после обеда, часам к четырем-пяти. Хватало ее ненадолго, газета раскупалась через час-два, и потом ее уже нельзя было достать. Так что приблизительно в это послеобеденное время я выходила из дома и осматривалась: с какой стороны шли люди с газетой в руках. Ларьки снабжались тоже неравномерно, в один или другой могли и не доставить или доставить недостаточно. По следу людей с газетой я направлялась к соответствующему ларьку. И там, как везде в СССР, была очередь. Она не стояла, а медленно шла. У каждого был приготовлен гривенник, его клали на стойку, брали газету и отходили. Все делалось молча. Лица были сумрачны. Если у кого-либо не было гривенника и он хотел разменять деньги, в застопорившейся на момент очереди раздавался недовольный шум.

В то время я жила одна в небольшой комнате прежде большой квартиры с общей кухней, где жили еще 15 семей. В этой комнатке жила прежде семья из трех человек. Как же я в нее попала? Дворянская семья, из которой вышел Леночкин муж Поня, была большая — пять детей, два сына и три дочери. Революция всех их разметала. Старшая из дочерей, Вера Николаевна, вышла замуж за простого рабочего и постоянно корила его своим дворянским происхождением, а он, мягкий человек с большим прирожденным тактом, молчал. Их семья жила в том же доме и том же коридоре, что и семья Леночки. Она, конечно, часто заходила к своему брату и Леночке, и я ее хорошо знала.

Вторая сестра, Надежда Николаевна, вышла замуж за русского еврея, мечтавшего об израильском государстве. Им удалось в 20-х годах выехать легально за границу, и о них в семье только говорилось иногда. Она не прекращала переписку со своей старшей сестрой и даже посылала посылки. Я лично познакомилась с Надеждой Николаевной много позже, уже когда я была в эмиграции. Младшей же сестре, Ире (Ираиде Николаевне), было 14 лет, когда произошла революция. Она была совсем сбита с толку и даже пыталась вступать в комсомол, но ее с насмешками отвергли. Позже она вышла замуж за своего рода выдвигенца, человека из совсем простой семьи, но имевшего действительно большие способности к

технике, ставшего инженером, и очень хорошим. Однако ему разительно не доставало общего образования и той внутренней культуры, в которой нельзя было отказать мужу Веры Николаевны. Ира с мужем и ребенком жила в этой комнатке на 10-й Советской (бывшей Рождественской) улице. Но ее мужа перевели по службе в Москву. Кто из петербуржцев хотел покидать Петербург и менять его на Москву? Ира надеялась, что ее мужу удастся перевестись обратно в Ленинград. Они имели право полгода хранить за собой жилплощадь в Ленинграде, им удалось потом продлить это право еще на полгода. Эту комнату они предоставили мне.

Комната была мала даже для одного человека: узкая, выходящая окном во двор и на другие здания, она была темноватой и немного смахивала на «гроб» Раскольниковца.

В тот период я замкнулась в себе. Конечно, у меня были университетские контакты, но там, где я жила, я была одна. На кухню, где шумели 15 примусов, я не ходила, чай я варила на электрической плитке в комнате, а обедала в студенческой столовой или в так называемой «академичке», тоже студенческой столовой в здании бывшей Академии наук, но рангом повыше и немного дороже. Я могла себе это позволить, так как мой отец давал мне дополнительные деньги. Но жить лишь на стипендию, особенно на первом и втором курсах, было очень тяжело, скорее, невозможно. Стипендия была 120 рублей в месяц. Она не освобождалась от государственных займов, на которые каждый месяц отсчитывали 12 рублей, 10%. За койку в общежитии надо было заплатить 18 рублей в месяц. Оставалось 90 руб. Самый дешевый обед в студенческой столовой, для здорового мужчины совсем несытный, стоил 3 рубля. На этот один обед уходила вся стипендия. А завтрак, ужин, стирка белья и вообще все, что еще нужно дополнительно?

Студенты работали иногда в порту, но тяжелый физический труд вызывал такой аппетит, что заработанные деньги скоро проедались. Девушки пытались вставать очень рано и работать почтальонами. Мне надо было бы подумать о том, насколько благополучно в сравнении с ними было мое материальное положение, у меня не было этих тяжелых насущных забот. Я могла спокойно учиться. Но мной тогда владели совсем другие настроения. Общие вопросы полностью заволочили повседневную жизнь. 17 сентября 1939 года металлический с каким-то скрипом ржавчины, но без всяких эмоций, даже без модуляций, голос Молотова объявил

«гражданам и гражданкам Советского Союза», что советские войска перешли польскую границу, чтобы «освободить» Западную Украину и Западную Белоруссию. Несчастную Польшу разодрали на куски. Некоторые опасались, что между новоявленными «друзьями» произойдет столкновение на демаркационной линии, что они не сумеют мирно поделить добычу.

Меня эти проблемы не заботили. Не потому, что я верила в дружбу двух разбойников, а потому, что мне тогда было не до внешних опасностей: вопросы о смысле жизни меня снова полностью поглощали. Как можно было вообще жить в таком мире? Чем жить? Иногда я часами ходила взад и вперед по сумрачной продолговатой комнате, не замечая, где я, не будучи в силах найти выход из внутреннего тупика.

Я даже не знала, кто еще обитает в этой квартире. Но один контакт у меня все же возник. Однажды я услышала тихое царапанье за дверью. Открыв дверь, я увидела на пороге молодого человека семи вершков от пола. Он вежливо представился: «Здрасте, меня зовут Миша». — «Ну, что ж, Миша, заходи». Он вошел, степенно осмотрелся, увидел стоявший в углу чемодан и, решив, что это мебель по его росту, уселся на чемодан и начал беседовать. Через какое-то время раздался стук в дверь, и в комнату влетела слегка растрепанная и точно испуганная миловидная женщина: «А, Миша у вас? Вы его гоните, если он вам мешает!»

Я заверила ее, что Миша мне не мешает. Мише было 4 года. Его родители, молодая еврейская пара, жили в соседней комнате. У отца, как я потом слышала, делавшего партийную карьеру, было надменное лицо, и, хотя он при встрече вежливо здоровался, он ясно показывал, что ни с кем здесь не хочет быть знакомым. Его жена производила симпатичное впечатление, но имела всегда странный встрепанно-испуганный вид. Может быть, ей самой было не так легко с ее мужем. Миша же был странным ребенком. Он никогда не бегал, не шумел, не играл. Он регулярно время от времени царапался в дверь, степенно заходил, садился на свой излюбленный чемодан и начинал беседовать. Иначе его разговора назвать нельзя. Не помню тем наших бесед, но однажды он даже ударился в политику. Это было во время финской войны. Подперев голову ручонкой, Миша меланхолично заявил: «Наши бьют немножко белофиннов, и белофинны бьют немножко наших». Слово «белофинны» выдавало лексику его семьи. Мы этого выражения не употребляли.

Иногда приезжала Ира с пятилетней дочерью Надей, живчиком, полной противоположностью Мише, которого ей удавалось растормошить. Моей специальностью было подкидывать детей в воздух. Надя визжала от восторга, когда я ее подкидывала, но Миша со скептическим видом отверг мое предложение произвести и с ним такую же операцию. Только уже после отъезда Иры и Нади он подошел ко мне и сказал: «И меня так, как Надю», затем закрыл глаза и отдался на волю судьбы. Я его подбросила несколько раз, но он не выказал ни страха, ни удовольствия. Так что мы этого эксперимента больше не повторяли и вернулись к нашим беседам.

Ира ненавидела коммунизм и советскую власть. Она просто тряслась, когда о них говорила. Ее муж, напротив, был полностью предан коммунистическим идеям. Он тоже приезжал, останавливался у друзей, но приходил на свою квартиру и пытался даже весьма топорно за мной ухаживать. Он мне говорил совершенно серьезно: «Знаете, почему у нас теперь нет великих поэтов? Потому что стране нужны инженеры и техники, вот мы и делаем инженеров и техников. А когда страна ими насытится, мы будем делать поэтов». Как умная Ира могла жить с этим примитивным человеком?

В это мрачное для моего психического состояния время у меня была одна отдушина — опера. Оперой я начала увлекаться сразу же по приезде в Ленинград. Ходили мы в оперу так часто, как только могли, конечно, по-студенчески, на галерку. Ходили группами студентов и студенток с моего курса, ходили иногда старым школьным триумvirатом, Валя, Катя К. и я, но иногда я ходила совсем одна. Если меня тянуло в оперу, то меня не могло остановить даже отсутствие кого-либо, кто имел бы время и деньги пойти в этот вечер в театр. Я ухитрялась доставать билеты — для себя одной или для группы — на самые лучшие голоса, также и на гастроли приезжавших из Большого театра Москвы певцов и певиц.

Незабвенным был мощный бас Пирогова, поразивший меня сначала в «Русалке», в роли старого мельника, а затем в роли Ивана Сусанина, в разрешенной как раз тогда опере «Жизнь за царя», шедшей под названием «Иван Сусанин». Потрясающей была Преображенская, особенно в роли старой цыганки в «Трубадуре». Напротив, столь воспевавшийся тогда Печковский не произвел на меня особого впечатления. Слышала я его и в его коронной роли Германа в

«Пиковой даме», о которой так много говорили в Ленинграде, но меня он не поразил. Не поразил и в своей второй большой роли — «Отелло». Печковский был драматическим тенором, для Ленского он не подходил. Но во всех отношениях ни с кем не сравним был баритональный бас Андреев. Этот уже немолодой человек, тогда ему было лет шестьдесят, имел еще старую музыкальную и артистическую школу, что ясно чувствовалось. Голос у него был изумительный и совсем еще молодой, но у Печковского его сильный голос не мог полностью перекрыть недостаток школы, а у Андреева была еще дореволюционная прекрасная школа. Каким изумительным князем Игорем был он в опере Бородина! В каждой своей роли он был прекрасен, но, как это ни покажется странным, я особенно любила его в маленькой роли Шакловитого в «Хованщине». На это были особые причины. «Была власть татарская, стала власть боярская, а ты все терпишь, страдальца Русь», — пел Шакловитый-Андреев, и Мариинский (иначе мы его не называли) театр взрывался от восторга. Мы на нашей галерке так далеко перегибались, аплодируя, навстречу певцу, что чуть не падали через барьер. Кто из нас не добавлял в уме: «Стала власть советская, а ты все терпишь, страдальца Русь». Андреев сам совершенно очевидно добавлял эти слова в душе, и они каким-то таинственным телепатическим образом передавались слушателям. То, что Андреев был «незвучен эпохе», знали все. Несмотря на нажим на него, он настойчиво пел в хоре Никольского собора, единственного собора, «работавшего» в Ленинграде все предвоенные годы. Об Андрееве рассказывали, что это его участие в церковном хоре продернула какая-то театральная газетка, но, когда ему подсунили эту газетку со статьей, он смел ее со стола со словами: «Я подзаборной литературы не читаю». Не знаю, было это истинным происшествием или легендой. Несмотря на это, Андреева не трогали. Он был очень популярен, хотя его популярность тщательно замалчивалась, тогда как популярность Печковского сознательно раздувалась.

«Хованщину» я слушала не раз. К этой опере влекло меня не только участие в ней Андреева; на меня огромное впечатление производили сильные личности раскольников, шедших за свою веру в огонь: Досифей, Марфа. Не вдаваясь в вопрос, были ли правы раскольники в этой своей вере, я завидовала людям, которые имели такую сильную веру. В одном мне не везло: мне очень хотелось услышать в роли Марфы Преображенскую, но каждый раз,

когда я доставала билет на «Хованщину», Преображенская неожиданно заболела, и роль Марфы исполняла ее дубль Мшанская, довольно средняя по уровню певица и артистка.

Реже мы ходили в филармонию на симфонические концерты и иногда на концерты отдельных певцов и певиц. Помню гастроль приехавшей из провинции певицы, колоратурного сопрано, со странной фамилией Пантофель-Нечецкая. Я была от нее в восторге и предсказывала ей блестящую карьеру. Не знаю, исполнилось ли мое предсказание, это было незадолго до войны, которая потом все перемешала. Пытаясь объяснить моему отцу, увлекавшемуся пением Барсовой (тоже колоратурное сопрано), я говорила, что Барсова поет прекрасно, но тембр голоса Пантофель-Нечецкой мне нравится больше: у Барсовой холодный, бело-голубой голос, а у Паитофель-Нечецкой — теплый, желто-розовый. Мои родители считали, что я говорю ерунду. Но для меня звуки были связаны с цветами, и я жалела, что Короленко в «Слепому музыканте» так быстро бросил эту тему.

На тот период пало мое увлечение Вагнером. Вагнер был в СССР долгое время запрещен, на него возлагалась ответственность за Гитлера. Запрещенные плоды всегда сладки или, во всяком случае, интересны. На первые же симфонические концерты Вагнера я сразу помчалась. Он мне понравился. Правда, я всегда любила Скрябина, на котором отчасти сказывалось влияние Вагнера. В ходе советско-германской дружбы, «скрепленной кровью», как тогда писали (подразумевался раздел Польши), были устроены радиопередачи: советское радио транслировало в Германию инсценированную в СССР оперу Вагнера «Лоэнгрин», а немецкое радио транслировало в СССР инсценированную в Берлине оперу Бородина «Князь Игорь». Немецкая постановка «Князя Игоря» меня не интересовала, но «Лоэнгрин», который могли слушать и советские радиослушатели, меня очаровал. Я и теперь еще люблю эту самую лирическую оперу Вагнера, но в общем мое увлечение Вагнером было весьма кратковременным.

В то время как Валя постепенно отходила от нашего школьного триумвиата (в Ленинграде остался лишь триумвират), моя дружба с Катей К., моей школьной подругой, как я уже упоминала, все более крепла. Мы разговаривали часто, несмотря на то что учились на разных факультетах и не имели возможности встречаться на лекциях. Катя очень страдала от своей принадлежности к комсо-

молу. «Как бы я хотела уйти из комсомола, — говорила она мне, — но у меня не хватает мужества прийти к ним и положить на стол свой комсомольский билет». Я тоже старалась удержать ее от этого шага, боясь за нее. «Может быть, перестать платить членские взносы?» — обдумывала Катя возможности ухода из комсомола. Она рассказывала, что на одном комсомольском собрании был поставлен вопрос об исключении из комсомола студенческой супружеской пары, не платившей больше года членские взносы. Комсорг, однако, призвал комсомольское собрание быть снисходительным, не принимать решения об исключении и дать этой паре время заплатить взносы. Но по собранию прошел словно неуловимый вздох без произнесенных слов: освободим! Большинство проголосовало за исключение!

Как я уже упоминала, мы вместе писали письма Зине, находившейся с матерью, невесткой и ее двумя маленькими детьми в Горьком. В первый год после окончания школы Зине не удалось поступить в университет, так как ей пришлось работать, чтобы поддерживать семью. Во второй год она поступила в Горьковский университет на математический факультет и была хоть этим довольна, но ей не пришлось долго проучиться: старая мать и невестка с маленькими детьми не справлялись с жизнью без ее заработка. Она бросила университет и снова пошла работать.

Катя рассказала как-то, что на географическом факультете были профессор и доцент, которых несколько лет тому назад арестовали. Сначала был арестован доцент, потом по его доносу арестован профессор. Тем не менее, как ни странно, профессора не осудили, отпустили. Возможно, в тот момент он был им нужен как специалист. Доцента же присудили к нескольким-то годам лагеря. И вот теперь, отсидев, он возвращался. Оклеветанный им в свое время профессор разговаривал с группой студентов и вдруг, посмотрев на часы, сказал, что он должен торопиться, так как едет на вокзал встречать этого доцента. Эти несколько студентов знали всю историю и спросили профессора, как же он едет встречать человека, наговорившего на него. «Ах, — махнул рукой профессор, — там такое делают, что родного отца оговоришь. Я его ни в чем не обвиняю».

Теперь часто можно слышать, что, мол, в сталинское время не знали ни о чем. Мне трудно этому верить. Слишком много лет шли аресты, слишком много, несмотря на страх, говорилось о тюрьмах,

концлагерях и пытках. Конечно, не знали подробностей, не знали, какие именно применялись пытки, но что пытки были, об этом знали. И, конечно, боялись. У меня лично с детства почти отсутствовало чувство страха. Говорят, это бывает у людей без воображения, но у меня было достаточно воображения. Тем не менее я не имела в себе чувства страха. Но пыток боялась и я. При этом я ясно отдавала себе отчет в том, что для меня непреложно наступит момент ареста, что тюрьма и лагерь — мое будущее. Я могла оттянуть этот момент известной осторожностью, но избежать этой судьбы мне не представлялось возможным. Я не могу утверждать, что меня это угнетало. Для меня это сознание было скорее выводом ума, чем предчувствием, давящим душу. Со дня на день я ареста не ждала, хотя и знала, что он может произойти, но я думала, что это будет скорее тогда, когда я начну работать, а не в университете. Не это угнетало меня, не давало дышать. Активная по натуре, я задыхалась от необходимости загонять эту активность внутрь, молчать, разрешая себе свободное слово только с самыми близкими людьми. Нестраченные силы гнивали внутри и отравляли психику.

Катя как-то рассказала мне, что она видела во сне, как по городу шла демонстрация и несла лозунги: «Долой Сталина!», «Долой Молотова!». Перед демонстрацией выстроились войска и взяли винтовки наперевес, но демонстрация шла прямо на войска. «В первых рядах шла ты, — сказала мне Катя, — и у тебя было такое счастливое лицо!» Ее подсознание, давшее ей этот сон, правильно отгадало меня. Мне надо было действовать, нужна была борьба, активная, горячая, полная опасностей, но борьба, действие. Вероятно, если бы тогда действительно возникла демонстрация, я присоединилась бы к ней, сломя голову. Но совершенно запуганные люди и не думали о демонстрациях, а на безвестное одинокое мученичество я не могла тогда пойти, я не была к нему готова. Так я молчала дальше, шла по той колее, на которую стала, но идти было все труднее.

Другой человек, с которым мне приходилось вести довольно откровенные разговоры, была вторая Катя, моя сокурсница, выбравшая меня своей подругой. Катя Т. первая начала вести со мной откровенные разговоры. И она была комсомолкой, многие считали ее даже убежденной и активной. Но в душе она была яркой противницей советской власти, хотя у нее были тенденции считать себя марксисткой. По-настоящему мы все тогда марксизма совсем не знали, Катя Т. была единственным человеком в моем окружении с

налетом антисемитизма. Это, вероятно, шло от ее отца, караима. Как известно, исповедующие разные вероисповедания одной религии, иудеи и караимы, активно не любят друг друга. Катя Т. была крещена, но я не замечала в ней никакой сознательной веры. Ее антисемитизм носил несколько примитивный политический характер, но корни его уходили в ее караимское происхождение. Она нередко указывала на какого-нибудь партийца или начальника и говорила: «Видишь, опять еврей». Дальше этого ее антисемитизм не шел, я же пропускала эти замечания мимо ушей. Но советскую власть она ненавидела яро, с присущей ей южной страстью. Помню, как удивилась одна наша учительница, узнав, что Катя Т. родилась в Петрограде; она была уверена, что Катя приехала с Кавказа. Но ее родители действительно оттуда приехали. Однажды Катя Т. рассказала мне такую историю: жила-была некая женщина, бывшая во время гражданской войны возлюбленной офицера Белой армии. С ним она прошла фронт. Но под конец войны он был убит. Ей же удалось скрыть свое участие в гражданской войне. 20 лет она спокойно жила и работала. Затем она как-то в припадке откровенности рассказала о своем прошлом лучшей подруге. Ее арестовали и расстреляли. Я не спросила Катю, откуда она знает эту историю, если та женщина поделилась лишь со своей подругой. Я спросила ее, хотя и знала ответ: «Зачем ты мне это рассказываешь?» Она ответила так, как я предполагала: «Ты — единственный человек, с которым я говорю так откровенно, если меня арестуют, то...» Я пожалала плечами. Если быть откровенной, мне иногда приходила в голову мысль: не провокаторша ли она? Уж очень быстро она стала мне высказывать антисоветские взгляды. Я решила, что это мой риск, если я иду на откровенные разговоры с Катей Т. А с ее стороны риском было заводить со мной эти разговоры. Я не стала ее убеждать, что я не донесу на нее, она сама должна была решить, доверяет она мне или нет.

Но в какой другой стране были бы возможны такие разговоры между восемнадцатилетними девушками, не принадлежавшими ни к какой подпольной группе, обыкновенными студентками университета?

Пропаганда советской прессы против Финляндии, завершившаяся сообщением, что финны обстреляли советские пограничные заставы, утверждения, что Финляндия намерена напасть на Совет-

ский Союз с целью захватить Ленинград, город, в котором было больше жителей, чем во всей Финляндии, вызывала чувство глубокого стыда. Конечно, мы не отождествляли себя с коммунистическими диктаторами. Мы всегда говорили «они» и «мы», но все же они действовали от нашего, от народного имени. Все как-то не верилось, что «мы» нападём на маленькую Финляндию.

Но нападение совершилось. И Ленинград погрузился во тьму. Хотя у финнов не было никакой возможности совершать налеты на Ленинград, затемнение было полное и требовалось оно свирепо. В СССР все проходило «кампаниями». Начиналась такая кампания, и выполнение ее требовалось самыми жестокими методами. Затем постепенно надоедало, и «кампания» спускалась на тормозах, пока о ней вообще не забывали. Так, как-то раз была в городе «кампания» по запрету переходить улицу вне маркированных семафором переходов. Повсюду вдруг появились милиционеры, и за незаконный переход взимался штраф в 25 рублей. Потом постепенно милиционеры исчезали, и все опять переходили улицы, кто где хотел. Но дело с затемнением было серьезнее, все же война. Для подъездов раздобыли синие лампочки, а так город стал жутко темным. Эта темнота усугублялась еще и тем, что в 1939 году снег не выпал.

Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе.

В самом деле, снег выпал только в январе 1940 года. Морозы же наступили гораздо раньше, и какие морозы! Таких мне в Ленинграде, где климат приморский, еще не приходилось переживать. Теперь они доходили до минус 40°, воспринимались в бесснежии еще тяжелее. Мне помнится случай, когда мне казалось, что я замерзну среди бела дня и среди большого города. Трамвай не приходил. Мне нужно было проехать только две остановки и пересесть на другой. В обычную погоду я прошла бы эти две остановки пешком, но в тот день пришлось бы идти против ветра, а при 40° мороза ветер резал лицо, как ножом, невозможно было сделать шага, а стоять и ждать становилось тоже уже невозможно, несмотря на теплую одежду. Мы коченели. К счастью, тут была дамская общественная уборная, и женщины постоянно бегали туда погреться, что вызывало протесты работавшей там женщины, так как мы выхолаживали и без того не слишком теплое помещение. Наконец подъехал переполненный трамвай. Мне удалось поставить одну ногу на подножку

и, держась за поручни, проехать две остановки до пересадки. Там трамвай, к счастью, уже стоял, это была конечная остановка. То, что этот небольшой случай удержался в памяти десятилетиями, несмотря на все пережитое во время войны и после, показывает, что субъективно у меня было действительно ощущение, что я могу замерзнуть насмерть.

Товары из магазинов исчезли, как по мановению палочки злого волшебника. Войны с маленьким трехмиллионным народом было достаточно, чтобы снабжение огромного города лопнуло, как пузырь. В магазинах был, правда, хлеб, но и только. Да еще лежало достаточное количество грузинского чая. Совсем умереть с голода было, конечно, нельзя, но, кроме хлеба, нужна была все же и другая пища. Очереди перед продуктовыми магазинами выстраивались иногда уже с 4 часов утра, что в эти сильные морозы было страшно. Поскольку я имела возможность обедать в студенческой столовой, которая снабжалась, я нечасто становилась в очередь с раннего утра, но иногда становилась: надо было достать что-нибудь и для ужина, равно как и для завтрака. Закутанные в платки, еще в полной темноте длинной северной ночи, женщины не были разговорчивы, но если иногда раздавались приглушенные голоса, поднимающиеся пар в морозном воздухе, то слышались большей частью слова восхищения финнами. Это было поразительно. Если уж эти женщины, мерзнувшие и голодные, многих из них ждали дома голодные дети, находили слова восхищения мужеством финнов, то можно было представить себе, каково было общее настроение в Ленинграде. Финская война была не только непопулярна — она была в глазах большинства ленинградцев постыдна.

Последние десятилетия до революции ни одна война, которую простые русские люди воспринимали как захватническую, не была популярной. Японская война 1904 — 1905 годов имела целью, конечно, приостановить зарождение новой сильной державы на Дальнем Востоке, но поводом к ней были лесные концессии в Корее, и многие солдаты воспринимали это прямолинейно, именно как желание России отобрать у Япоии корейский лес. Они говорили офицерам: «Зачем нам этот лес? У нас своих лесов в Сибири достаточно; если японцам он нужен, пусть себе берут». Война была непопулярна и была проиграна.

Ф. Степун в своих воспоминаниях рассказывает, что, когда он как офицер запаса собирал рекрутов на Урале в начале Первой

мировой войны, к нему подошли солдаты и спросили, зачем эта война: «Почему Германия нам ее объявила? Может быть, немцы очень бедные, так мы лучше сделаем для них сбор. Это обойдется нам дешевле, чем бросать наши хозяйства, которые теперь идут хорошо». Эти солдаты понимали войну тоже непосредственно как желание захватить землю или как-либо иначе обогатиться. В Галиции солдаты тоже говорили офицерам, как и в Корее: «Зачем нам эта земля? Она гораздо хуже нашего чернозема».

Я с ранней юности относилась к Первой мировой войне крайне отрицательно и потом, в Германии, не могла понять представителей первой волны эмиграции, считавших правильным, что Россия в нее ввязалась. Я не могла понять и простить всем, тогда правившим, включая и российского государя и правительство, что они не сумели удержать Россию от вступления в эту войну. Если муж Леночки Поня часто повторял слова Столыпина; «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия», то мой отец все время вспоминал, как Столыпин предупреждал ни в коем случае не допускать, чтобы Россия вступила в войну. России нужны были несколько десятилетий мира, тогда ее хозяйство было бы полностью налажено, революция была бы невозможна. Но уже через три года после убийства Столыпина Россия вверглась в эту страшную, губительную войну.

Однако тогда воевали против сильного государства, которое формально первым объявило войну. Теперь же огромный и сильный Советский Союз напал на маленькую Финляндию. Конечно, мы знали, что коммунизм хочет расширять границы своего владычества, если возможно, то и на весь мир. Да, у нас сразу же появились соответствующие анекдоты, как только Советский Союз заключил с Балтийскими государствами договор об опорных пунктах. Все понимали, что Балтийские государства были к этому принуждены. Тогда столицей Литвы было Ковно, или Каунас по-литовски. Так вот у нас говорили: литовцы переименовали свою столицу и назвали ее «Покаунас» — «пока у нас». Все понимали, что это «пока» очень долго не продержится. И все же разбойничье нападение на маленькую Финляндию было для нас неожиданным и наполнило нас глубоким стыдом.

Помню одну-единственную воздушную тревогу во время этой войны. Гудки раздались днем, мы как раз выходили с лекции по марксизму-ленинизму, и нас всех, вместе с лектором, загнали в какую-то подворотню. Бомбоубежищ для населения, конечно, не

было. Тогда Ленинград никто и не бомбил, вероятно, приблизился какой-нибудь разведывательный финский самолет. Мы сразу же втянули нашего лектора в дискуссию об этой войне. Ему некуда было деться. Пытаясь выкрутиться, он вдруг воскликнул: «Но ведь в Финляндии два миллиона буржуев!» Испугал, можно сказать. Я помню, как вспыхнули черные глаза Бориса: «Два миллиона буржуев и три миллиона населения? Так если у них и диктатура, то большинства над меньшинством, а не наоборот!» На счастье нашего лектора, раздался отбой, и он был избавлен от необходимости отвечать.

Наш лектор марксизма-ленинизма был странным человеком. Фамилии его я почему-то не помню, но его самого помню хорошо. Я никак не могла каталогизировать его. Руководителем практических занятий на втором курсе сначала был тот же лектор, но потом он сменился совершенно банальным типом: это был равнодушный начетчик. Но наш лектор производил впечатление живого человека. Верил он сам в это учение? Трудно дать ответ на этот вопрос. Фанатиком он не был. Читал он по обязанности и, разочаровавшись, не решался уйти? И такого впечатления он не производил. Повторяю, мне было трудно его определить. Но странным образом вышло так, что я всю свою жизнь следовала его завету. Однажды во время лекции он воскликнул: «Только не будьте обывателями! Если вы за коммунизм, то боритесь всеми силами за коммунизм, если вы против коммунизма, то боритесь всеми силами против него!» Схватившись, что перехватил через край, он поспешно добавил: «Наша задача сделать из вас горячих борцов за коммунизм». В отношении меня он с этой последней задачей не справился. Но обывательницей я не стала и по мере сил всю жизнь боролась против коммунизма.

Едва советским войскам удалось после долгих и кровавых боев захватить какое-то небольшое местечко на территории Финляндии, как там уже было организовано финское «свободное» правительство. Для этого привезли из Москвы многолетнего члена Коминтерна Отто Куусинена и еще нескольких финских «товарищей», как позже из Москвы в Берлин привезли Вильгельма Пика, и заключили с этим «правительством» договор. В тексте стояло: с «господином Куусиненом». Длинный стол, служивший кафедрой нашим профессорами, в том числе и лектору марксизма, был на его лекции засыпан бумажками с вопросами. Один из них я помню, он прочел его

вслух: «С каких пор товарищ Куусинен стал господином?» Наш лектор только усмехнулся. Что он мог ответить?..

Конечно, была создана «народная финская армия». В Ленинграде на улицах появились военные в фантастических формах. Тут я сначала снаивничала, спросив Галю В., что это за ряженые. Она ответила, что это «народная финская армия». Я — еще наивнее: «Зачем же они приехали в Ленинград?» Она: «Да что ты, они еще не уехали!» Скоро всем стало известно, что «народная финская армия» состоит из солдат советской армии родом из Карело-Финской республики. Их выделили из регулярных войск, переодели в выдуманную форму и отправили на финский фронт, конечно, только как символ: их было слишком мало для действительного ведения войны. Поскольку их и для символического присутствия было недостаточно, стали в их ряды переводить и некоторое число русских солдат, фамилия которых поддавалась переводу. Например, солдат Лебедев получал финскую фамилию, означавшую — «лебедь».

С завоеванной советской армией территории финны уходили все. Ни один человек не оставался. Солдаты находили иногда в домах накрытый стол, остатки завтрака, обеда или ужина, смотря в какое время войска занимали то или иное местечко, но ни одного человека. Советских солдат это очень угнетало. Им внушали, что они идут освобождать финнов от капиталистических эксплуататоров, а освобождать было буквально некого. Благоустроенные финские дома, обстановка их жизни потрясали советских солдат. Финны сражались с мужеством отчаяния, стреляли с деревьев, спускали плотины, так что даже в ту суровую зиму советские части иногда заливала ледяная вода. Лыжные финские отряды были очень подвижны и хорошо обучены. Со стороны Советского Союза официально воевал только Ленинградский военный округ, но на самом деле войска подвозились и из других мест. Наконец прибыли сибирские лыжные части, которые могли противостоять финнам. Днем войска по городу никогда не провозились, но ночью они текли через центр города сплошным потоком. И после наших посещений оперы мы видели их, видели и сибиряков на грузовиках, в шубах и с лыжами в руках.

Как только началась война и город погрузился во тьму тотального затемнения, так в Ленинграде сразу возник сильнейший бандитизм. Самым невинным было ограбление, особенно гонялись за часами, которых до Второй мировой войны в СССР для потребите-

ля не производили, я имею в виду ручные и карманные часы. Так называемые «ходики», примитивные стенные часы, в продаже были. Но стали происходить и страшные вещи: изнасилования, убийства и увечья ради забавы; прохожим резали бритвами носы и уши, просто так, без всякой цели. В 6—7 часов вечера служащие спешили домой, трамваи и троллейбусы были битком набиты, а потом огромный город пустел. Странно и немного жутко было видеть темный, пустой, почти мертвый Ленинград. А я его видела, так как удержать меня от посещения моей любимой оперы было невозможно, даже если не было никого, чтобы проводить меня до дому, я шла в оперу одна. Один случай мне врезался в память: я возвращалась одна и была уже недалеко от дома, где жила. Улицы были совершенно пустыми, как вдруг из-за угла вывернулись три парня. Один из них спросил меня: «Вы не знаете, сколько времени?» Автоматически я подошла к синей лампочке в подъезде, приоткрыла рукав, посмотрела на свои ручные часы — мой отец купил мне их в комиссионном магазине — и сказала, сколько времени. Он ответил: «Спасибо», и все три пошли дальше. Только после я сообразила, что наименьшее, что могло случиться, это была потеря часов. Я сама рассказывала то ли истинные случаи, то ли анекдоты о том, как похищали часы, а тут поступила так, как будто никогда ни о чем подобном и не слышала. То были порядочные молодые люди, но могло быть и иначе. Полное отсутствие инстинктивного страха тоже не совсем хорошо.

Может быть, в разговорах о бандитизме кое-что и преувеличивалось, но то, что они не были пустыми слухами, доказывал тот факт, что приблизительно в середине войны в Ленинграде были введены военно-полевые суды за бандитизм. Суд выносил приговор в 24 часа, и он тотчас же приводился в исполнение. За убийство, изнасилование и увечье полагался расстрел. «Ленинградская правда» стала в каждом номере печатать списки в 10–15 человек, расстрелянных за бандитизм. Бандитизм прекратился. Прекратились и разговоры о нем.

Потери советской армии были очень большими. Их, конечно, скрывали, но о них говорили и, не зная настоящих цифр, может быть, даже преувеличивали. Снабжение города не улучшалось. Полки магазинов были по-прежнему пусты. Город глухо волновался. По Ленинграду поползли слухи, что Путиловские заводы, «колыбель революции», будут бастовать. Читателю в наше время, может

быть, покажется, что в этом не было ничего особенного, но во времена сталинского террора даже сама мысль о забастовке казалась невероятно смелой. Это же были не только глубоко затаенные мысли, а слова, слухи, передававшиеся из уст в уста.

Помню, как-то во время этой войны не то «Правда», не то «Известия» поместили большую статью, подвал, о зверствах итальянских чернорубашечников — слова «фашисты» не было. Я удивилась. Дружба с гитлеровской Германией, «скрепленная кровью», продолжалась. Даже гибель немецкого крейсера «Бисмарк» в бою с английским флотом советское радио оплакивало так, как будто погиб советский военный корабль. В это время щадили и итальянских фашистов — а тут вдруг такой выпад! На этот раз я не реагировала наивно, я понимала, что дело вовсе не в том, хорошо или дурно поступают итальянские фашисты, но в том, что итальянское правительство сделало что-то не понравившееся советским властям. Поскольку отец Гали был крупным инженером и слышал иногда то, чего не знали другие, я спросила ее, не слышала ли она, что сделали итальянцы. Она ответила: «Они продали какое-то количество самолетов Финляндии». Все стало ясно.

В начале марта 1940 года был объявлен конец войны, так же неожиданно, как было объявлено ее начало. От Финляндии отхватили кусочек, но страна своим героизмом отстояла свою свободу и независимость. Забегая вперед, укажу на то, что и после Второй мировой войны Финляндия оказалась единственной маленькой страной, воевавшей на стороне Германии, которая не стала советским сателлитом, как Болгария, Румыния и Венгрия, хотя и должна была сделать некоторые уступки в вопросах внешней политики. И та же Финляндия была единственной страной, не поспешившей в конце войны подлизаться к Советскому Союзу. Стойкость и мужество спасли ее еще раз.

Но вернемся к 1940 году. Правительство Отто Куусинена и его «народная армия» исчезли так же быстро, как они перед тем возникли.

В магазинах Ленинграда вдруг появились все продукты, но продажа в одни руки была ограничена. Так, например, масла можно было купить только 100 граммов. Одновременно было запрещено посылать из Ленинграда посылки — все равно какие. Чтобы послать посылку, надо было ехать в какой-нибудь городок на расстоянии 50 км от Ленинграда — в районе 50 километров на почте

нельзя было сдать пакет. В Пскове давно уже не было масла, и я привозила его из Ленинграда, когда ехала домой: после ограничения до 100 граммов было не так трудно привезти килограмм, нужно было только обойти 10 магазинов.

После окончания войны на первой же лекции марксизма-ленинизма стол нашего лектора был снова завален бумажками с вопросами. Большинство из них сводилось к одному: «Куда девался наш лозунг: «Мир без аннексий и контрибуций!»? Наш лектор чувствовал себя неловко; покрутившись, он начал говорить о том, что отнятые у Финляндии земли были исконными русскими землями. Весь зал грохнул хохотом. Слишком долго вбивали марксисты нам в головы интернационализм, слишком долго издевались над русской историей, чтобы мы могли теперь без смеха слушать патристические заявления из их же уст. Наш лектор покраснел, потом побледнел, мы же хохотали. Не зная, как остановить наш смех, он вдруг закричал с угрозой в голосе: «Что же вы хотите, чтобы наши солдаты опять умирали на линии Маннергейма?» Мы поняли угрозу и притихли.

Один из наших школьных товарищей, поступивших в какой-то технический вуз, остался уже на первом курсе на второй год, и его призвали в армию. Студентов, успешно продвигавшихся, в армию не призывали, Володя был на финском фронте и благополучно вернулся. Мы, его бывшие школьные товарищи, устроили ему скромную встречу с угощением. Из молодых людей нашего класса, кроме самого Володи, был только Борис, тоже учившийся в техническом вузе, Ваня и другой Володя, ушедшие в военную школу, оказались от нас как-то совсем отрезанными. В школе из мальчиков на наши вечера четырех подруг чаще всего приходил Борис, очень спокойный и немного замкнутый, но взаимная личная симпатия у меня была скорее с Ваней. Его уход в военную школу меня разочаровал. Как я уже писала, армия нам тогда представлялась полностью политизированной в ее командном составе и потому непривлекательной. Странно, что из всего лишь шести мальчиков нашего выпускного класса двух я почти не помню, даже их имена исчезли из памяти. Девочек я помню всех. На встрече Володи после финской войны были Катя, Валя, Инна, не помню, была ли Нина, учившаяся в каком-то техническом вузе. С Ниной у нас была слабая связь, но я помню ее рассказ, столь характерный для той атмосферы, в которой мы жили. Она как-то вошла в трамвай, где была груп-

па немецких моряков. Один из них встал, предложил Нине место и сказал: «Битге». Нина автоматически ответила: «Данке». Матросы увидели, что Нина понимает по-немецки и захотели с ней поговорить. Но она так безумно испугалась, что ее заметят разговаривающей с иностранцами, что поспешно выскочила из трамвая на следующей же остановке.

Так вот, была ли на встрече эта Нина, я не помню. Других не было. Зина была в Гурьком, Лида тогда еще не перебралась из Казани в Ленинград, а куда пошли учиться Мила и Галя, я даже не знала, но они учились не в Ленинграде.

Когда наша маленькая группа встала из-за стола со скромным угощением и начала бродить по небольшому помещению, Володя отозвал меня в коридорчик и сказал: «Если б ты знала, как удручало то, что все люди от нас уходили. Все было мертво, как ипритом полито. Так стыдно и больно выдавать себя за «освободителей»! Чьих? Пустых мест?» Отчего Володя сказал это именно мне и с глазу на глаз? Понятно, что он не решался высказаться даже в нашей маленькой группе, хотя я и не думаю, чтобы кто-нибудь из нас пошел доносить, но отчего именно мне? Мы никогда не дружили. В школе он слегка ухаживал за Валею, но сказал он то, что у него наболело, мне. Думаю, что слишком ясно все вокруг чувствовали, как и у меня болит душа.

Помнится также, что, когда я в тот год ехала домой на 1 мая, я попала в поезде в купе, где были лишь командиры. Все они были подвыпившими, и я опасалась, что мне придется искать другое купе. Но они вели себя прилично. Только один сказал: «Знаете, мы на фронте видели много финок, вот таких финок, — и он вытащил финский нож, — других финок мы не видели». Безлюдие занимаемых областей угнетало всех.

После войны на армию, совсем не покрывшую себя славой, высыпались награды, ордена раздавались пачками. В Ленинграде даже ходил такой анекдот: девушка и командир познакомились по телефону, им взаимно понравились их голоса и, вообще, разговор, и они решили познакомиться лично, пойти вместе в кино. Вопрос был, как они узнают друг друга. Она сказала: «Ищите меня, я буду в синем костюме и модельных туфлях». Он: «Нет, ищите вы меня, мало ли синих костюмов и модельных туфель; я буду в форме и без ордена». У какой-то части командного состава война с Финляндией растормозила дурные инстинкты. Превышенные и большей частью

незаслуженные награды тоже сыграли свою роль. Известно, что командиры первых десятилетий советской власти выходили из малоинтеллигентной среды, но если они в военных школах все же получали некоторую шлифовку, то их жены были большей частью еще менее образованны и воспитанны. После оккупации Прибалтики именно о женах командиров, приехавших спустя некоторое время к своим мужьям, рассказывались разные анекдоты. Например, что они в Риге купили ночные рубашки и, приняв их за вечерние платья, пошли в них в театр. Впрочем, и о самих командирах говорили, что, попав первый раз на богатейший центральный рынок в Риге, они недоуменно спрашивали: «Когда кончится эта сельскохозяйственная выставка?» Что ж, коммунисты ее прикончили.

Но после финской войны распущенность иных не только солдат, даже меньше солдат, чем командиров, бросалась в глаза, и о ней много говорили. Были даже случаи, когда командиры убивали своих жен, простых баб, как они заявляли, которые больше не подходили орденосцам. Конечно, это были единичные случаи, но говорилось о них много.

Говорилось также и о судьбе пленных советских воинов, возвращенных финнами. По тогдашним нашим сведениям, они все пошли сразу же в концлагеря. Не так давно мне пришлось прочесть, что их якобы расстреляли на месте. Не знаю, верно ли это. Если б их расстреливали в Ленинграде или поблизости, то слухи бы просочились. Большой европейский город, каким всегда был даже переименованный город Петра, не держал язык за зубами в такой мере, как провинция или тогдашняя Москва.

После военных потрясений учебный год постепенно вошел в свое русло. На математико-механическом факультете (такие факультеты с отдельным физическим факультетом были только в Ленинграде и в Москве, в других университетах были физико-математические факультеты) можно было избрать одну из трех более узких специальностей: чистую математику, астрономию и математическую механику. Выбор надо было сделать уже после зимних каникул, так как во втором семестре второго года начинались факультативные курсы по каждой из трех специальностей, причем они читались в одно и то же время. Я колебалась между астрономией и чистой математикой, и мне хотелось отложить решение и посещать как курс сферической астрономии, читавшийся для астрономов, так и курс теории чисел, читавшийся для математиков. Но

поскольку они читались одновременно, это было невозможно. Юля ушла на астрономию, Галя — на математическую механику, Катя Т. пошла на чистую математику. В конце концов я тоже остановилась на чистой математике. Астрономия меня очень привлекала, но у меня было чувство, что я внутренне теряюсь в этих огромных пространствах, так же как я терялась в необъятности спекулятивной философии. У меня еще не было внутренних устоев. Я не знала, что можно противопоставить чувству бессмысленности человеческого бытия в этом океане небесных тел, где наша Земля — одно из микроскопических и ничем не выделяющихся. Мое сомнение в смысле жизни росло по мере уменьшения значения нашей планеты и всех нас при погружении в бесчисленные галактики. Я чувствовала, как почва окончательно ускользает из-под ног. Вопрос здесь стоял не о большем или меньшем интересе к тем или иным научным познаниям, а о личном существовании. Это был экзистенциальный вопрос. И я попробовала снова задвинуть его заслонкой, выбрав чистую математику.

Теория чисел мне заранее казалась интересной, но преподавалась она неудачно. Читал ее Тартаковский, тот самый, с которым сотрудничал мой отец, когда писал свою диссертацию по высшей алгебре. От отца я знала, что Тартаковский — крупный ученый и приятный в общении человек, с которым мой отец мог прекрасно сотрудничать. По внешности с него можно было писать карикатуру на еврея. Внешность для профессора неважна, гораздо хуже было то, что он был никудышным педагогом, что нередко бывает с кабинетными учеными. Он картавил, даже немного шепелявил и при этом говорил так быстро, что за ним едва можно было уследить. Так же быстро он писал на доске формулы, часто закрывая доску собой, а затем стирал их прежде, чем многие из нас успевали их освоить и переписать. Я же в моем тогдашнем внутреннем состоянии вообще не получила никакого впечатления от теории чисел в изложении Тартаковского. Еще хорошо, что отец посоветовал мне книгу Поссе, по которой я кое-как освоилась с предметом.

Заложенные на первом курсе основы анализа и геометрии были так прочны, что их дальнейшее развитие не представляло для меня труда. По этим предметам я сдала экзамены в конце курса не только хорошо, но даже блестяще. Математический анализ кончался в конце второго курса, и по нему экзаменовали особенно строго. Наряду с профессором всегда экзаменовали и ассистенты: одному

профессору было бы не справиться. Я, к сожалению, попала к ассистенту, который «гонял» меня необыкновенно долго, прежде чем поставить пять. Подписывать же отметку в зачетной книжке должен был профессор, и, когда я подошла к Канторовичу, он сказал: «Что он вас так долго мучил? Я уж хотел вмешаться, но если поставил пять, то все в порядке». Я удивилась, что этот молодой профессор — он был моложе своих ассистентов — так внимательно следил за экзаменами. Новый же предмет, теорию чисел, я сдала лишь на тройку.

На время экзаменов мама приехала в Ленинград и остановилась, конечно, в комнатке, где я жила. По окончании экзаменов мы вместе намеревались вернуться в Псков, я — на летние каникулы. Как-то раз я была у Кати Т., где мы вместе готовились к какому-то экзамену. Она жила на Петроградской стороне. Кончили мы свои занятия уже в полночь, и, когда я спустилась вниз, я заметила, что забыла у нее сумочку с деньгами, так что не могу купить билет на трамвай. Нелепо даже это писать, но мне было лень подняться по лестнице, чтобы взять сумочку, и я пошла пешком в район Смольного, по всему огромному городу. Я упоминаю этот двухчасовой марш в ясную белую ночь через город Петра, когда были «стройны спящие громады и светла Адмиралтейская игла», по огромному Марсову полю, залитому неверным светом соприкасающихся зорь, только потому, что тогда, я как никогда, вобрала в себя любимый город, оставшийся во мне таким десятки лет. Конечно, бродили мы и прежде группами в белые ночи по городу. Но в группе отвлекают разговоры, это же одиночное шествие было посвящено исключительно городу. Я и теперь рада, что его совершила. Конечно, я легкомысленно не подумала о том, что моя мама умирала от страха за меня, не зная, что со мной случилось и где меня искать, если я вообще не явлюсь. Однако в два часа ночи я появилась.

Политически лето 1940 года было апогеем дружбы СССР с гитлеровской Германией. После капитуляции Франции Гитлер сказал речь, в которой призывал Англию заключить мир. Эту речь «Известия» напечатали дословно. Это была единственная речь Гитлера, напечатанная в СССР дословно. Помню я и два подвала статьи Эренбурга «Падение Парижа». Несколько лет тому назад мне пришлось где-то прочесть, что эта статья наметила уже перелом в отношениях с Германией. Такого впечатления у меня тогда не было. Мне статья Эренбурга показалась вполне лояльной к победителям, пожалуй, даже больше чем лояльной. Германскую армию он высо-

ко оценивал не только за боеспособность, но за поведение. Видимый и вполне ощутимый перелом наступил позже.

Если прежде советская пропаганда последовательно заменяла наименование «национал-социализм» словом «фашизм», чтобы у населения не создалось впечатления общности между национальными и интернациональными социалистами, то в период расцвета дружбы, напротив, всячески обыгрывалась социалистическая общность. Газеты писали, что две социалистические страны противостоят англо-американским плутократам, империалистическому мировому капитализму. В связи с этими пропагандными стараниями связать СССР и Германию идеологически, представить их союз не только как тактическое мероприятие, но и как идеологическую близость, возникали разные слухи. Так, некоторые предполагали, что СССР все же вступит в войну, но на стороне Германии, чтобы для себя отторгнуть от Англии Индию. Вспоминались слова Ленина, что путь в Берлин и Париж ведет через Пекин и Калькутту. С другой стороны, и во время этой дружбы ронялись замечания, говорившие о том, что дружба не долговечна. Помню наш военный день 31 октября, еще в 1939 году. Тогда была шестидневка, неделю ввели позже, и лишние дни, не укладывающиеся в шестидневку, занимали особыми занятиями, нередко военными. Делавший нам в этот день доклад какой-то полковник сказал: «От Москвы до Берлина путь для самолета короткий. Мы теперь дружим, но...» Мне лично слухи о возможности вступления в войну на стороне Германии казались неправдоподобными.

Лето мы проводили в той же деревне, о которой я уже писала. Полная оккупация Прибалтики входила в то дурное, что делалось на свете. Жаль было маленькие Балтийские государства, но они не сопротивлялись, да и не могли, конечно. Был анекдот, что Ульманис позвонил эстонскому президенту и попросил прислать на помощь артиллерию, а тот ответил: «Как, обе две пушки?» Но ввиду сдачи без сопротивления не представлялось возможности так инвестировать чувства, как во время финской войны. В это лето я до известной степени отключилась и от политических страстей. Душой постепенно все больше овладевала апатия. Но в то же лето я видела знаменательный сон, который помню так, как будто это было вчера. Я видела себя на каком-то пустыре, где я заблудилась и не могла найти дороги. Видны были развалины зданий, почему-то в греческом стиле, с колоннами и какими-то фигурами наверху. Некото-

рые из фигур лежали разбитыми у подножия полуразвалившихся зданий, другие еще стояли на карнизах плоских покрытий. Сначала мне показалось, что одна из фигур отделилась и начала плавно спускаться вниз, но потом я заметила, что кто-то спускался вниз прямо с неба. Вскоре спустившийся оказался передо мной, и я поняла, что это Иисус Христос. Я подошла к Нему и хотела спросить что-то самое важное, самое главное, но забыла, что именно. Он ничего не сказал, только положил мне на голову руку и исчез. Но я после этого видения сразу же нашла тропинку, давно не хоженную, заросшую травой, но все же различимую. По ней я подошла к ограде, за которой простиралось зеленое поле под голубым небом и было много-много света. В ограде была калитка, и около нее сидела старушка. Она открыла мне калитку и сказала: «В наше время редко кто выходит этим путем». Затем я проснулась.

Сон, казалось бы, совсем ясный. Но по-настоящему я его тогда не поняла. Мои родители, которым я его рассказала, мне тоже ничего не сказали. Странно, но у меня даже не появилось желания прочесть Евангелия. Стыдно признаться, но тогда я еще не читала не только Библии, но даже и Евангелия. Должно было пройти еще больше 10 лет многих метаний и исканий, прежде чем я действительно вышла на указанный мне в этом сне путь.

Третий курс

На третьем курсе мы были окончательно разделены на три направления наших занятий: чистую математику, астрономию и математическую механику. Изменился и состав наших групп по практическим занятиям. Юля ушла на астрономию, Галя осталась на второй год на втором курсе. Она совсем не была приспособлена к математике, увлекалась поэзией и литературой, но оставалась на математическом факультете из твердого решения изучать только идеологически нейтральный предмет.

Мне как-то не приходилось ни в чьих воспоминаниях читать об этом обосновании выбора предмета изучения, а между тем оно было весьма распространено.

В детстве у меня была подруга, о которой я еще не упоминала. Одно время рядом с нами, в той же квартире, жил врач, вдовец, жена его умерла при родах. Жил он со своей дочерью, моей тезкой, которая была на два года младше меня. Они жили в этой квартире недолго, нашли другую, но, пока они оставались во Пскове, мы продолжали дружить, несмотря на разницу лет. Отец Верочки не мог

полностью оправиться от шока смерти своей жены. Они очень любили друг друга, и смерть ее во Пскове, где они тогда жили, была, как казалось, такой нелепой. Сами роды прошли благополучно, и в больнице персонал положил ее как жену коллеги в отдельную палату, где раньше лежал больной какой-то заразной болезнью, а комнату забыли продезинфицировать. Она заразилась и, будучи еще слабой после родов, умерла. Вдовец не мог тогда оставаться в том городе, где это случилось, и уехал с новорожденной дочерью в Архангельск. Потом он решил все же вернуться в Псков, но долго не выдержал и снова уехал в Архангельск. Между Верочкой и мной сохранилась переписка исключительно по моему упорству. Мне было тогда 11 лет, ей 9, в этом возрасте два года еще играют довольно большую роль, и она нередко забрасывала переписку, но я писала снова и снова, и в конце концов она отвечала. Мне тогда, пожалуй, больше хотелось доказать, что я способна на постоянство, чем сохранить непременно эту дружбу. Но когда она стала старше, наша переписка вошла у нас обеих в привычку и больше не прерывалась. Когда Верочка была в 10-м классе школы, она написала мне, что приедет по окончании учиться в Ленинград и добавила: «Меня, собственно говоря, интересует литература, но я решила изучать физику. Не знаю, поймешь ли ты меня». Я думала, как ей ответить. Мы ведь опасались, что письма вскрывают, и не решались писать откровенно. Подумав, я написала ей: «Я думаю, что я тебя понимаю. Быть литературным критиком интересно, если имеешь недюжинный талант, например, как Белинский или Добролюбов (я указала сознательно на официально признававшихся критиков прошлого времени). Повторять же чужие мнения скучно». В ответ она мне написала: «Ты, оказывается, прекрасно меня поняла».

При встрече в Ленинграде Верочка рассказывала мне об антисоветских настроениях в их школе, превосходивших наши. Она в комсомоле не была и говорила, что у них в классе было немного комсомольцев, а кто вступал, не скрывал, что делает это ради карьеры.

Но хранившаяся долгие годы разлуки дружба не получила развития после личной встречи. Размолвки никакой не было, но росток нашей дружбы завял как-то сам собой. Причиной была, вероятно, моя апатия, мое нежелание жить, не зная, в чем же смысл этой жизни. Тогда я серьезно думала о самоубийстве. Но, к своему собственному удивлению, обнвружила, что и для самоубийства нужна какая-то энергия. У меня же ее не было совсем.

В нашей новой университетской группе было только три студентки: Катя Т., я и незнакомая мне до тех пор Галя Н., которой было уже 32 года; нам же едва исполнилось по 19 лет. Сели мы на третьем курсе университета по-школьному — все три за один стол.

По этой Гале можно было ясно видеть разницу поколений. Наше поколение, как я его могла наблюдать вокруг себя, не было внутренне сломлено. Те из нас, которые относились отрицательно к советской власти и ее идеологии, поскольку мы вообще ею занимались, хоть и боялись репрессий, но внутренне не были побеждены. Мы подчинялись власти так, как подчиняются сильному внешнему завоевателю, не имея возможности его победить фактически, но будучи внутренне от него независимыми. Ни у кого из нас не было чувства, что мы чем-либо обязаны советской власти. Никого из нас не соблазняла идеология. Правда, мы мало ею и занимались. У нас не было желания ее опровергнуть, она была нам просто чужда, как, скажем, русским было чуждо мусульманство. За все свое пребывание в университете я не помню ни одной дискуссии по вопросам марксизма. Я же для себя самой к тому времени пришла к выводу, что марксизм совершенно неправильно трактует человека и его натуру, а это была основа. Если основа ложна, то ложно и все здание. На этом я поставила точку. Конечно, этого было далеко не достаточно, но у меня не было ни малейшего желания тогда глубже заниматься идеологией.

Интеллигенты же несколько более старшего поколения были зачастую сломлены внутренне. Они ненавидели советскую власть, им было все в ней чуждо, но они нередко видели в происшедшем не только внешнюю, но и внутреннюю победу коммунистов над остальной частью России. Они не только внешне подчинились этой власти, они и внутренне перед ней преклонялись. Это был часто тот тип мягкотелой русской интеллигенции, которая не была в состоянии даже внутренне противостоять самоуверенному напору «безошибочного учения». Наш тип, даже если мы были врагами коммунизма, был ей чужд. Мы были для них слишком уверены в себе, они же продолжали сомневаться и в своем отрицании. Галя относилась к этому типу старшего поколения. Я была уверена, что она не может быть на стороне советской власти. И как-то раз я зашла к ней (она жила отдельно в маленькой комнате), чтобы прочесть какую-то статью Ленина, которую мы должны были знать для занятий по марксизму-ленинизму, но которой в библиотеке мне не удалось по-

лучить. Прочтя, я попробовала закинуть удочку и сказала: «Вот прочтешь, все гладко, и так же гладко соскальзывает, ничего не остается». Она безумно испугалась и зашептала скороговоркой: «Ты права, конечно, но будь осторожней! Будь особенно осторожна с Катей!» Про себя я усмеялась: если б она знала, что говорит мне Катя! Но я промолчала. Я увидела, что она боится панически, что она сломлена внутренне и, может быть, даже может донести сама из одного только страха, что ее обнаружат. Я тогда уже знала, что трусливые люди — одни из самых опасных.

Можно отметить, что в это время была отменена шестидневка и снова введена неделя с воскресеньем как свободным днем.

Но это изменение нас мало тронуло. На нас вскоре обрушилось другое событие: не проучились мы и двух месяцев, как нас огорошили введением платы за учение и резким повышением требований для получения стипендии. Если раньше достаточно было сдавать экзамены на тройку, то теперь требовались лучшие отметки. Форма введения была очень жесткой, не щадились и студенты последних семестров. В нормальном государстве ввели бы плату для начинающих, а старшие курсы оставили бы доучиваться по прежней системе. Но коммунистическое государство нормальным никогда не было.

На общем факультетском собрании был резкий протест. Студенты стали требовать депутата Верховного Совета от нашего района с тем, чтобы дать ему задание голосовать против, когда новый закон будет утверждаться в Верховном Совете. Это требование было наивным. Если и не все, то, во всяком случае, большинство понимало, что депутаты тогда были только пешками, голосовавшими, как им прикажут. Но у студентов это было криком отчаяния. Огромный зал волновался, стоял сильный шум. Парторг, тот самый, который руководил неудавшейся дискуссией о коммунистической морали, оглядывался кругом, как затравленный зверь. Он начал что-то шептать своим помощникам. По залу шепотом пронеслось: вызывает НКВД.

Тогда вскочил наш лектор по марксизму-ленинизму и крикнул в шумевший зал: «Товарищи, мне вас очень жаль, но мы ведь ничего не можем сделать!» И вдруг шум затих, как по мановению жезла. Все поняли, что мы действительно ничего не можем сделать. Пыл как-то сразу остыл и сменился чувством безнадежности. Обошлось без НКВД.

В нашей группе преподаватель марксизма-ленинизма для прак-

тических занятий, тот самый тупой начетчик, который мне на первом курсе на мое желание познакомиться с философией Давида Юма ответил, что нечего забивать голову чепухой, решил провести с нами беседу. Не помню, что он говорил. Мы молчали. Уже когда раздался звонок, Вадим встал, подошел к двери, раскрыл ее и, обернувшись в дверях, заговорил подчеркнуто медленно, как бы равнодушным тоном, за которым, однако, скрывалась боль. Вадим был самым способным математиком в группе, одним из самых способных на курсе, но у него и так совсем не было средств. Из дома ему не могли помогать, он носил всегда старую, затасканную одежду. Даже если б ему удалось сохранить стипендию, он бы не мог на нее жить, так как от платы не освобождались и стипендиаты, а на урезанную платой стипендию существовать уже совсем не было возможности. Вадим сказал: «Ну, хорошо, я понимаю, в других странах тоже платят за учение, но зачем такая наглая мотивировка: ввиду повышения материального уровня трудящихся?» Наш преподаватель начал: «Но в общем и целом материальное положение...» И вдруг мы все, не стовариваясь, еще за секунду до того не зная, что мы такотреагируем, грохнули хором: «Понизилось!» Растерявшийся педагог пробормотал: «Но по сравнению с царским временем...» Мы снова: «Понизилось!» Тогда он сказал такое, за что ему самому могло здорово влететь: «Это для заграницы». Вадим повернулся, чтобы выйти за дверь, и бросил: «Там не такие дураки, знают, что у нас творится». Мы все тогда так думали, и только много позже я узнала, что там были именно такие дураки.

Был ряд самоубийств, особенно среди старшекурсников. Многие должны были бросить университет и пойти работать. К их числу относилась Катя Т. Работу она нашла где-то в провинции, недалеко от Ленинграда, и уехала из города. Катя К., моя школьная подруга, удержалась.

Мне еще раз придется повторить, что я должна была бы стыдиться тех материальных возможностей которые предоставлял мне мой отец. Но в моем состоянии мне было не до таких самоупреков. На третьем курсе читались предметы, которые должны были бы меня заинтересовать, в области математики я скорее тянулась к абстрактным дисциплинам, а на третьем курсе как раз читали теорию групп, колец и полей, но и она захватила меня только на очень короткое время. Теорию множеств читал крупный ученый и блестящий лектор Смирнов, но и он не смог меня увлечь.

В то время я снова поселилась в семье на 2-й линии Васильевского острова, где жила на первом курсе, в том же углу, но только без столования. Мой отец нередко приезжал в Ленинград, и однажды я последний раз попробовала поговорить с ним о моих внутренних поисках, вернее, моей безнадежности в то время. Но он снова отмахнулся от этих вопросов, посоветовав мне усиленнее заниматься математикой. Совет был теоретически правильным, но практически он мне в том моем состоянии ничем помочь не мог.

Моя школьная подруга Катя меня понимала. Она мне как-то сказала: «Я никак не могу представить себе тебя связанной с математикой, я представляю тебя связанной с чем-то хорошим в истории». И та история, которая развивалась перед нашими глазами, совсем нехорошая, единственно еще могла привлечь мое внимание.

Перед поездкой Молотова в Берлин в ноябре 1940 года я следила за газетами, чтобы постараться понять, какие требования он будет ставить Гитлеру. Что он будет что-то требовать, было ясно. В то время газеты начали пространно оплакивать несчастную судьбу румынских крестьян под властью румынских бояр. «Ага, — подумала я, — значит, Молотов будет требовать у Гитлера Румынию». Затем я прочла, что в Болгарии якобы с восторгом встречали нового советского посла, и потом следовали длинные рассуждения о старой русско-болгарской дружбе. «Он будет требовать от Гитлера и Болгарию», — подумала я с тревогой.

Уже после Второй мировой войны, когда были открыты немецкие архивы, я узнала, что я не ошиблась. Только Молотов требовал еще и проливы, чего я тогда не заметила.

После возвращения Молотова не было сомнений, что Гитлер ему во всех требованиях отказал. О посещении сообщалось скупое, газеты сразу перестали печатать обширно содержание выступлений Гитлера, ограничиваясь лишь краткими резюме. Весь тон прессы явно изменился. В ноябре 1940 года впервые потянуло ветром грядущей войны.

Вскоре после возвращения Молотова я как-то встретила Юлю на Невском. Мы остановились поболтать около какого-то кинотеатра. Вдруг Юля сказала: «Смотри, как раз скоро начнется дневной фильм, перед ним должны показать киножурнал о поездке Молотова. Пойдем посмотрим живого Гитлера». Я согласилась. В киножурнале действительно показывали поездку Молотова, но «живого Гитлера» мы, собственно говоря, не увидели: его показали со спины,

да еще в этот момент фильм затуманили, так что даже спину едва можно было различить. Выскользнув перед началом игрового фильма, который нас не интересовал, из здания, мы с Юлей переглянулись. «Чего они боятся? — спросила она. — Так ведь еще больше разжигается любопытство». Я уже упоминала, что, увидев во время войны Питлера на экране, я снова спрашивала себя: чего они боялись? Лицо Питлера совсем не вызывало симпатии.

К концу первого полугодия я написала своим родителям, что я не могу сосредоточиться на математике и не буду ею пока заниматься. Мои родители приняли это спокойно. Как обычно, причину они искали в моей болезненности, в моей молодости, в том, что я была перегружена. Конечно, я была одна из самых молодых на курсе, но вряд ли это играло какую-либо роль. Известно, что логическое мышление доступно как раз совсем молодым и вундеркинд может появиться скорее в математических предметах, чем, скажем, в области исторических исследований, где нужен жизненный опыт. Да и почему я могла в еще более молодом возрасте прекрасно справляться с математическими предметами, а тут вдруг потеряла эту способность? Что же касается болезней, то после моего воспаления легких на первом курсе я как раз совсем не болела. Но объяснять всего этого своим родителям я даже не попробовала. Я уже знала из опыта, что тут они ставят какую-то странную стену непонимания между собой и моими отчаянными поисками смысла жизни.

Мой отец приехал в Ленинград и поговорил с ректором университета, который был его коллегой-математиком. И оказалось возможным то, что в строгих правилах университета, собственно говоря, запрещалось: мне дали как бы отпуск на полгода. Вероятно, были какие-нибудь врачебные справки, не помню. Мне было все совсем безразлично. В общем, мне разрешили на полгода прервать учение, с тем чтобы с осени повторить третий курс.

Дома меня ничем не беспокоили, считая, что я должна отдохнуть. Но отдыхать мне было не от чего, я не была переутомлена. Я просто не знала, зачем нужно жить... И я не предполагала, что это состояние к осени может измениться.

У моего отца были модные в годы его молодости философы — Ницше и Шопенгауэр, в немецком оригинале и в русском переводе. Ницше меня не увлек, но пессимистическая философия Шопенгауэра отвечала моим тогдашним настроениям, и я его много читала.

Я продолжала думать о положении в стране. По моим тогдаш-

ним прикидкам, 90—95% крестьян были настроены против советской власти. Среди рабочих, думала я, соотношение 50 на 50. Хотя рабочим тоже жилось очень тяжело, многие из них еще поддавались пропаганде о рабоче-крестьянской власти. Так мне тогда представлялось. Молодая интеллигенция, студенты, были, по моим тогдашним представлениям, на 80% против советской власти. В этом пункте я, видимо, ошиблась. Я исходила из наблюдений особо оппозиционного Ленинградского университета. За два с половиной года я только раз столкнулась с приверженкой Сталина. Это была очень активная студентка, но не в политическом смысле, а в наших акциях одарения цветами любимых профессоров; в остальном же была она приветливая, но пустая девушка. Не помню, дотянула ли она до третьего курса, но еще на первом курсе мы как-то сидели на лекции рядом и заговорили о том, что Гоголь так и не смог написать ту часть «Мертвых душ», где он хотел вывести положительную личность. Я сказала: «Идеального человека невозможно себе представить». Она же возразила: «А Сталин?» Меня чуть не хватил удар: Сталин — идеальный человек?! Но, конечно, я прикусила язык и быстро возразила: «Я имею в виду выдуманную личность». Она милостиво согласилась, что трудно себе представить абстрактного идеального человека. Но таких, повторяю, было у нас очень мало. Однако потом мне пришлось убедиться, что в провинции и, вероятно, в Москве было больше приверженцев власти, а тем более приверженцев марксистского учения среди студентов.

Советскую же бюрократию, в том числе и беспартийных, я зачисляла процентов на семьдесят в сторонники советской власти и, вероятно, была права.

Под Псковом был построен военный городок, большое количество казарм, окруженных колючей проволокой. Пройти туда можно было только с пропуском. Но для слухов пропуска не нужно. И оттуда текли слухи о предстоящей войне. Говорили, что СССР нападет на Германию, «когда будет снят украинский урожай», то есть в августе.

В начале апреля 1941 года я видела странный сон. К нам в квартиру позвонили, мы открыли дверь и увидели стоявших Сталина и Молотова. Они пришли к нам в гости. Мой отец не мог скрыть своего отвращения к Сталину, сел в сторону с хмурым лицом. Сталин это заметил и тоже сел в другой угол, нахмурившись. Мама страшно испугалась и побежала на кухню приготовить какое-нибудь уго-

щение. Я тоже немного испугалась, что отец так ясно выказывает свое настроение и, воспользовавшись тем, что Молотов делал вид, как будто ничего не происходит, и любезно разговаривал, заговорила с ним. О чем мы говорили, я не помню, но вдруг он сказал ясно и резко: «Скоро будет война». Я: «С кем?» Он: «С Германией». Я: «А как же наш пакт о ненападении?» Вдруг лицо Молотова исказилось злобой, и он зашипел: «Что, я должен выдавать вам все наши дипломатические секреты?» Я испуганно отшатнулась, забормотав: «Нет, нет...», и проснулась.

Из того же источника, военного городка, в Пскове стала скоро известна засекреченная речь Сталина перед выпускниками военных академий, преимущественно его знаменитые слова, что этим выпускникам предстоит развеять легенду о непобедимости германского оружия. Яснее быть не могло. Не надо было и сна.

И тем не менее ум человеческий не хочет примириться с такой неизбежностью, как война. Просто нельзя, видимо, жить, включая в свое сознание скорое военное столкновение как составную часть обычной, привычно текущей жизни.

Весной 1941 года Советский Союз неожиданно заключил с Югославией договор о взаимопомощи. А уже вскоре после заключения этого договора, в апреле, немцы напали на Югославию. Казалось бы, Советский Союз должен был поспешить на помощь, согласно только что заключенному договору, и война неизбежна. Но советское правительство никак не реагировало. Единственная «помощь», которую Советский Союз оказал отчаянно сопротивлявшейся Югославии, заключалась в том, что газеты начали печатать югославские военные сводки на первом месте. Все годы войны немецкие военные сводки печатались на первом месте, затем французские и английские, а после капитуляции Франции — только английские. А тут югославские вышли на первое место. Так как эта «газетная честь» Югославии ничем помочь не могла, страна была разбита, и газетный порядок восстановился: германские военные сводки снова вышли на первое место. Все успокоилось.

И я не думала сознательно о войне, когда вдруг сказала своим родителям, что я поеду на 1 мая в Ленинград. Казалось бы, мне было незачем туда ехать: мне все равно в конце июня надо было поехать туда, чтобы заявиться в деканате и еще раз подтвердить мое возвращение в университет осенью 1941 года. Так что сестру я могла увидеть в июне, как и племянника. Мою любимую школьную

подругу Катю я, возможно, тогда бы уже не застала в Ленинграде, так как географы каждое лето уезжали на практику, но потом она бы приехала в Псков на остаток каникул, или, самое позднее, я встретила бы с ней в Ленинграде в начале сентября, в новом учебном году. Но какой-то внутренний императив толкнул меня неожиданно для самой на эту поездку к 1 мая. Я не собиралась в Ленинград и вдруг незадолго до 1 мая решила ехать. Мои родители не возражали.

1 мая 1941 года было в Ленинграде холодным. Шел мокрый снег и таял на голых руках и ногах физкультурников, шагавших в майках в рядах принудительных демонстрантов. Снова пришлось мне много походить пешком, так как транспорта не было из-за демонстраций, но это было нудное хождение по мокрым улицам под серым небом.

Катя достала билеты в оперу для меня и для себя. Я уже не помню, какую оперу мы тогда слушали. Но когда я рассталась с Катей и шла по Невскому к нужному мне троллейбусу, у меня вдруг екнуло сердце: я увидела длинную колонну грузовиков, наполненных солдатами, ехавшую в сторону финской границы. Лица их в серой мгле мелкого дождика, в который перешел мокрый снег, были хмурыми и сосредоточенными. Совсем как в финскую войну. Это визуальное впечатление было сильнее, чем сон и слухи о речи Сталина; оно дало мне понять, что война на носу.

Как с сестрой и ее семьей, так и с Катей я распрощалась до скорого свидания в конце июня. Но свидания этого не было. Как сестру и ее семью, так и Катю я в эту майскую поездку видела последний раз в жизни. Видимо, поэтому мне и надо было ехать в Ленинград.

И тем не менее жизнь в Пскове снова вошла в свою колею, и я сначала затолкнула в подсознание все признаки приближавшейся войны.

14 июня в прибалтийских республиках начались массовые аресты. Мы, конечно, ничего об этом не знали, хотя эшелоны с арестованными шли частично через Псков.

И вдруг в псковских магазинах появилось масло. И какое! Прекрасное сливочное масло лежало горами на прилавках. Я зашла в магазин и для проверки попросила отвесить мне килограмм. Продавщица сейчас же отрезала от горы масла кусок, взвесила и подала мне. Остолбенело я взяла килограмм масла. Можно было купить и несколько килограммов... Что же произошло? На этот раз не воен-

ные, а железнодорожники объяснили: неожиданно были остановлены транспорты продовольствия, шедшие в Германию. При тогдашней слабой технике хранения и при такой жаре долго держать масло не имело смысла, и его «выбросили» в магазины Пскова. Отчего вдруг затормозили продовольственные транспорты в Германию? Не было ли это дополнительным признаком того, что война совсем близко? Но и тут мы как-то отмахнулись от надвигавшегося.

Приближалось время ехать в Ленинград, чтобы явиться в деканат университета. Поездку мы назначили на воскресенье, 22 июня, чтобы мне в понедельник сразу же утром пойти в деканат.

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа,
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война.

Нет, в 4 часа утра, да и значительно позже, нам еще ничего не объявили. Утром этого рокового воскресенья радио передавало все время браваурные военные песни. Много раз повторялось: «Если завтра война...» А война уже шла.

Поезд, которым я хотела ехать в Ленинград, отходил в 2 часа. Мама решила накормить нас ранним обедом: обычно мы обедали в 2 часа, но ввиду моего отъезда это было бы уже поздно. В то время как мама возилась на кухне с моими любимыми котлетами, я складывала небольшой чемоданчик. Много брать с собой не надо было, я не собиралась долго оставаться в Ленинграде, может быть, неделю. Мой отец поливал цветы — это была его обязанность, — вообще занимался какими-то мелкими обычными делами. Радио почему-то оставалось включенным, хотя назойливые военные песни действовали на нервы. Почему мы не поняли, что означали эти песни? Но ведь в СССР часто паниковали и подготавливали население к возможной войне. Или подсознание сопротивлялось полному до последнего момента пониманию смысла этой музыкальной военщины?

Так или иначе, радио осталось включенным, когда мы еще до двенадцати сели за стол для раннего обеда. Обычно мы радио на время обеда выключали.

Ровно в 12 часов было объявлено о выступлении Молотова. Своим деревянным, безэмоциональным голосом, не выказавшим ни малейшего волнения даже в этой ситуации — не случайно этот ду-

бовый человек дожил до 96 лет, — Молотов объявил нам о «коварном нападении Германии на Советский Союз», сказал, что были бомбардированы Киев и другие города. У меня застряла в горле котлета...

Без всяких пререканий было сразу же решено, что я в Ленинград не еду. В такой момент семье не следовало разлучаться, а в том, что советская армия не окажет серьезного сопротивления, мы все были уверены. Я снова разложила вещи из чемодана.

На этом я заканчиваю воспоминания детства и ранней юности, кончившейся с началом войны.

Часть четвертая

ВОЙНА

Начало

Если человек замурован в могильном склепе и начинает задыхаться от недостатка кислорода, то, услышав, что кто-то ломает стенку склепа, он бросится к дыре, чтобы вдохнуть свежего воздуха, не спрашивая, кто именно сломал стену, благородные спасатели или же грабители могил.

В эпилоге романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» приведен разговор между Дудоровым и Гордоном. Гордон рассказывает о концлагере, где он сидел. Дудоров сочувствует ему, но потом говорит: «Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествовавшей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобства, война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления.

Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидному. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнаружение не рассчитанной на применение конституции, выборов, не основанных на выборном начале.

И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.

Люди не только в твоём положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всей грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной».

Конечно, я читала далеко не все отклики на этот нашумевший роман, но ни в одном, которые я читала, не указывается на эти слова. А между тем они очень глубоко показывают тогдашнее состояние. Не только коллективизация была ложной мерой, Пастернак говорит еще осторожно, коллективизация была дьявольской мерой, но и весь коммунизм был ложной доктриной, и надо было убеждать людей видеть то, чего не было, говорить то, чему они не могли верить. Тяжелая липкая ложь, «колдовская сила мертвой буквы» окутывала нас, не давала дышать. Конечно, не все это одинаково остро чувствовали, но те, у кого она отнимала дыхание, были действительно как замурованные в могильном склепе.

Слова Пастернака о колдовской силе мертвой буквы не следует понимать как метафору — это была страшная реальность. Я лично все время ощущала, что Сталин действует точно не сам, хотя диктатора с такой полнотой страшной власти вряд ли можно было найти еще раз в мировой истории. И тем не менее у меня — и, вероятно, не у меня одной — было ощущение, что Сталин — что-то вроде робота, за спиной которого кто-то стоит и им двигает. Уже одно то, что он действовал как машина, как казалось, без гнева или ненависти, как, например, Иоанн Грозный, но и без малейшего сострадания, хотя бы в виде прихоти, что у того же Грозного бывало. Даже дочь Сталина, Светлана Аллилуева, подтверждает, что если человек попадался в его клещи, то напрасно было убеждать Сталина, что этот человек даже и по его меркам ни в чем не виновен, он уже перемалывался на зубьях его машины. И вот это ощущение вызывало разные домыслы: то за Сталиным стоит «еврейская клика», то один Каганович, то масоны или еще кто-то.

Когда я уже училась после войны в Мюнхенском университете, то как-то зашел об этом разговор с моим тогдашним наставником Ф. А. Степуном. Я рассказала о своем ощущении. Федор Августович ответил мне очень серьезно, я никогда не забуду выражения его лица при этом разговоре: «Вы правы, — сказал он, — за Сталиным кто-то очень явно стоит, но это не какой-то другой человек или другие люди. За ним стоит дьявол». И мне вдруг стало ясно: в самом деле, ведь невозможно представить себе человека или даже группу людей более жестоких, более коварных, хитрых и ловких, более беспощадных, чем Сталин. Что за нелепость, не доверяя возможности, что человек может совмещать в себе все эти негативные качества, переносить эту же возможность совмещения на других

людей, кто бы они ни были. Это выходит за человеческие рамки. За Сталиным стоял поистине почти открыто сам дьявол.

И это дьявольское стояние за Сталиным не кончилось с его смертью. Невольно вспоминается повесть Гюголя «Портрет», где часть жизни дьявольского ростовщика перешла в его портрет, хотя и кажется этот ростовщик со всеми его кознями таким мелким по сравнению с тем, что пережили и переживаем мы. Но часть жизни, за которой стоял дьявол, перешла в имя Сталина. И сейчас нам пытаются доказать, что Сталин был действительно «отцом народов» или хотя бы «отцом страны». Тонко и лукаво пытался внушить монархистам, в том числе и монархически настроенной эмиграции, что Сталин намеревался восстановить столь любимую ими монархию, талантливый писатель В. А. Солоухин. Еще в июле 1991 года он давал интервью, в которых утверждал, что Сталин готовил восстановление монархии. Он, Солоухин, не сражавшийся во время войны в армии, а охранявший Кремль и Сталина, видел, как свозились в Кремль монархические инзигнии. Но Сталин пробыл после войны еще почти 8 лет абсолютным диктатором, никто не мешал ему восстановить монархию. Он этого не сделал и делать не собирался, конечно. После августа 1991 года Солоухин замолчал. Нам, по крайней мере, неизвестно, чтобы он выступал или давал интервью в годы до его кончины. Более мелкие личности сталинское знамя усиленно поднимают. Вот Михаил Антонов, сотрудничающий в распутинской газете «Литературный Иркутск», написал в газете «Правда» (№ 214 /27168/, 27.12.93) статью под названием «Откровения оракула» святого православия». М. Антонов выставляет себя весьма верующим православным и пишет в означенной статье: «Сталинская монархия, на мой взгляд, оказалась продолжением не романовской, а московской государственности и одновременно — высшим этапом развития русской государственности вообще». (Подчеркнуто самим автором.) Вот как! И восстанавливать монархии не надо было: диктатура Сталина уже была монархией и высшей точкой развития русской государственности. Понимает ли автор, что он пишет?

Несколько с другой стороны воздаёт похвалы Сталину некто Алексей Румянцев, редактор газеты «Дело». Согласно его статье в «Молодой гвардии» (№ 11–12, 1993), Сталин нашел наилучшее решение национального вопроса в многонациональном СССР, и все нации при нем процветали (за рубежом была как-то опубликована

подходящая карикатура: Сталин 16 раз в разных национальных костюмах 16 союзных республик, он-то процветал в любых костюмах). Румянцев разыгрывает не монархическую сторону Сталина, а, наоборот, пролетарскую: призывает к объединению рабочих, патриотов и сталинцев.

И все это страшно. Когда он был диктатором, он опутывал нас дьявольской липкой страшной ложью. Теперь такой же дьявольской ложью уже о нем, о его диктатуре пробуют туманить мозги русских людей его поздние последователи. Безразлично, верят ли они сами в эту ложь или нет, она дьявольски страшна. Часть дьявольской силы осталась в портрете и в имени.

Когда мы полностью осознали, что находимся в состоянии войны, мы поняли, что Псков очень скоро будет занят немецкими войсками. В боевую силу Красной армии мы не очень верили, кроме того, знали, что очень многие солдаты сражаться за коммунистов не хотели. Армия состояла в своем большинстве из сыновей крестьян, переживших совсем не так давно страшную коллективизацию. Все они потеряли родных и близких, умерших ужасной голодной смертью. Многие не хотели воевать. Я видела сама, как красноармейцы бросали винтовки, а женщины тут же совали им в руки какое-то гражданское одеяние, рубаху, брюки, и они со свертком под мышкой исчезали в толпе.

Как выглядит война, мы еще не знали. В Пскове стояло шикарное, для наших широт необыкновенно жаркое лето, температура воздуха доходила до 40° Цельсия. Я помню, я была у знакомого врача, дочь которого была на три года младше меня, но мы все же в детстве вместе играли и поддерживали дружеские отношения. Вдруг впервые раздался звук сирены — воздушная тревога. Я испугалась, что мама будет очень волноваться, так как мой отец был в пединституте, и бросилась бегом домой, Прибежала, запыхавшись, и обнаружила, что мама мирно спит послеобеденным сном и никакой тревоги не слышала. К тревогам мы скоро привыкли: немцы город не бомбардировали. Бомбы бросали только на железную дорогу, так что жившие поблизости от полотна могли пострадать и действительно страдали от бомб. Так был убит директор нашей школы. Мы же, жившие в достаточном отдалении, сидели около дома на скамеечке и смотрели, как падали бомбы, тогда еще небольшие. Многие переселились на это время из своих домиков и

квартир вблизи железной дороги к родным или знакомым в другие части города. Особенно много было таких временных переселенцев на Запсковье, в части города, лежавшей на восток от притока Великой, маленькой реки Псковы. В этом районе маленьких домиков военных объектов не было, не было и никаких фабрик или вообще чего-либо, что противник нашел бы нужным бомбардировать. Поэтому все были уверены, что на Запсковье безопаснее всего. И как раз тогда, когда советские войска уже отступили от Пскова, а немецкие еще не вошли, Запсковье подверглось бомбардировке. Тогда погибли дочь (19 лет) и сын (16 лет) нашего учителя словесности Гринина. Его самого не было дома, а жена, оставшаяся в доме, была ранена падающей балкой, но осталась жива. Мальчик же захотел посмотреть на бомбы и побежал на улицу, а девушка залезла с подругой в земляную щель, которые нас заставляли рыть вместо бомбоубежищ. И как раз туда прямым попаданием упала бомба. Гринин и многие другие утверждали потом, что Запсковье бомбардировали не немецкие, а советские самолеты, чтобы отомстить населению, не желавшему бежать с отступавшими советскими войсками. Я не могу судить, насколько правильны были эти утверждения. Советские войска, выйдя из города, обстреляли его из артиллерии, это можно сказать точно, так как мы все видели, с какой стороны летели снаряды. Но относительно самолетов я лично ничего не могу сказать. Я не исключаю версии Гринина и других псковичей, но не исключаю и ошибки немецкого командования, получившего, возможно, неправильные сведения о том, что там находятся еще советские войска. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь.

Отец подруги дочери Гринина лег просто на землю в садике и звал девочек лечь рядом, но они побежали в эту земляную щель, думая там спастись, а там и погибли, тогда как отец девушки остался жив и невредим.

Это было перед самой оккупацией. А так город бомбардировкой или обстрелом никто особенно не тревожил. Но началось другое: отряды советских поджигателей — мы и не знали, что на случай войны организованы такие отряды, — ходили по городу и поджигали здания. Делали они это довольно неорганизованно, без видимого плана. Жилые дома, к счастью, не поджигали, но жаркая и сухая погода создавала опасность, что от искр, летящих от горящих зданий, загорятся и старые деревянные дома, в которых жили люди. Зачем-то эти отряды сожгли замечательно красивое, ажурное зда-

ние бывшего реального училища, где мой отец так долго преподавал. Мой отец стоял и с грустью смотрел, как горело и рушилось здание. Пожаров, конечно, никто не тушил.

Самое ужасное было, что сожгли политическую тюрьму вместе с заключенными. Близко живущие слышали отчаянные крики горевших живьем или задохнувшихся в дыму людей. Но никто не отважился что-либо предпринять. Для нас настал опасный момент, когда подожгли находившийся недалеко от дома, где мы жили, спиртоводочный завод. С громким треском взрывались бочки со спиртом, и огромные искры неслись во все стороны. Жильцы дома начали уже выносить более ценные вещи во двор. Но все обошлось: наш дом не загорелся. Хотели взорвать электрическую станцию, но директор предотвратил взрыв, за что его в последний момент расстреляли. Так он своей жизнью спас городу воду и свет, так как строить во время войны новую станцию для населения немцы, конечно, не стали бы, да и не могли бы.

Сражение было дано перед Псковом. Город не отстаивали. Советская армия быстро отступила. И тут начался грабеж магазинов. Население тащило из магазинов все: продукты, материю и одежду, поскольку она вообще там была, разные вещи, мебель. Кто-то достал зеркальное трюмо до стены дома, где мы жили, потом, видимо, отчаявшись, так и оставил свою добычу у стены дома. Трюмо стояло довольно долго, но потом его кто-то взял. По старой русской интеллигентской щепетильности мы в этой акции участия не принимали. А, собственно говоря, отчего? Это были казенные государственные магазины. Государство обирало народ, и, по существу, весь этот товар принадлежал народу. И, кроме того, если бы товары не растащили, они достались бы немцам, но народ имел на них, безусловно, больше прав.

Советская армия отступила за Псков. Немецкая в Псков еще не вошла. Сутки полного безвластия были жутковаты, так как по городу еще бегали поджигатели в гражданской одежде, и каждый боялся, как бы они не подожгли именно тот дом, где он живет. Но и их энергия начала угасать. Странно, но, как ни страшна власть, полное безвластие и сознание, что в любой момент любой хулиган может совершить все что угодно, совершенно безнаказанно, тоже довольно страшно. Но никаких эксцессов в городе не было. Кажется, никто не воспользовался короткой возможностью творить любые бесчинства.

Когда советские войска уже отошли за черту города, а немецкие еще в город не вошли, отступившие советские войска вдруг начали обстреливать город из артиллерии. Казалось, впрочем, что это только одно орудие, которое медленно поворачивалось так, что снаряды летели по разным радиусам с севера на юг. Мы как раз сели за обеденный стол, когда слышали взрывы снарядов, но не сразу сообразили, в чем дело. Вдруг снаряд с визгом пролетел над самой крышей нашего дома и разорвался сзади него. Как потом выяснилось, он попал в малюсенький домишко, в котором, к счастью, в этот момент никого не было. Мы уже раньше думали, что, если в городе будут бои, мы спрячемся в том странном подвале, находившемся посередине двора соседнего дома, где когда-то ютилась банда беспризорных. Последние годы этот подвал пустовал. Он никому не принадлежал. И теперь в панике мы бросились в этот подвал. Едва мы успели в него спуститься, как за несколько шагов от его двери разорвался следующий снаряд. Мы только что пробежали по этому месту. По существу, мы бежали на смерть, в то время как нашему дому уже ничего не угрожало, но кто мог это знать? Если бы мы запоздали на полминуты или если б снаряд ударил на полминуты раньше, нас бы разорвало в куски. Но смерть прошла мимо нас.

Профессор Ф. А. Степун передавал мне рассказ своего знакомого немецкого журналиста, не раз посещавшего Пастернака в Москве. Однажды Пастернак рассказал ему, как он решил писать «Доктор Живаго», хотя и знал, что это грозит опасностью. Переживание это было еще во время войны. На Переделкино иногда падали маленькие зажигательные бомбы, настолько малоопасные, что жители сами их обезвреживали, если вовремя замечали. Для этого они установили круглосуточное посменное дежурство. Однажды ночью Пастернак стоял на крыше своего дома, как вдруг что-то сильно засвистело, его чуть не смело с крыши воздушной волной, но он успел ухватиться за трубу. В соседний дом попала большая (по тем понятиям) фугасная бомба, которую, вероятно, потерял подбитый немецкий бомбардировщик. От соседнего дома ничего не осталось. Пастернак же почувствовал всем своим существом, что жизнь и смерть не зависят от людей: попади эта бомба в дом, на крыше которого он стоял, и для него все было бы кончено. И никто из людей не мог этого просчитать, в том числе и летчик того бомбардировщика. В этот момент Пастернак потерял страх.

Не могу утверждать, что на меня это наше скольжение мимо смерти произвело особое впечатление, до глубины моего существа это еще не дошло. Снаряды стали удаляться. Мы вернулись в квартиру. И на этом эпизоде закончились для нас испытания непосредственных военных действий почти на три года. Настоящую войну мы узнали позже.

Немцы вошли спокойно, приветливо. Больше всего поразило население их поведение около колонок, где качали воду. Как я уже писала, директор электростанции отстоял ее ценой своей жизни, но кое-что все же было попорчено, так что в квартиры перестали подавать воду. Воду можно было получить только у колонок, которые еще остались от прежних времен, но долгие годы не действовали, так как в квартирах были водопроводы. Теперь у этих колонок выстроились очереди преимущественно женщин, набравших воду. И вот подъехали немецкие солдаты, которым тоже нужна была вода, так же и для их машин. Когда они подошли, женщины расступились, пропуская запыленных, потных от жары солдат. В СССР каждый красноармеец имел право подойти в магазине к прилавку без очереди, причем в мирное время. Сейчас же, во время войны, фронтовые солдаты, будь то свои, будь то чужие, конечно, имели право набрать воду вне очереди. Население сочло бы это совершенно нормальным. Но немецкие солдаты отказались. Они знаками показывали женщинам, чтобы те снова подошли к колонке, а сами становились в конце очереди. Это мелочь, но на население она произвела огромное впечатление. Весь город говорил об этом.

Мой отец и я пошли в город, и, конечно, прежде всего к другу моего отца, художнику, о котором я уже писала. Зная его антикоммунизм, мы были уверены, что встретим его, а также семью его сестры и поговорим о событиях. Велико было наше удивление, когда мы узнали, что они все бежали с отступавшими советскими войсками. Выжили они или погибли, мы не знали тогда. Друг моих игр, с которым я потом, однако, почти совсем разошлась, Дима был призван, попал в немецкий плен и оказался в Пскове. Мы его высвободили из плена. А потом из Минска перебралась в Псков его старшая сестра Ира. Незадолго до войны она вышла замуж за командира, который служил в военной части в Минске. При отступлении армии он ушел, конечно, с нею, а Ира, оставшись одна, перебралась в Псков, будучи уверенной, что найдет здесь всю свою семью, но нашла только младшего брата. Вся семья была бы вместе, если бы

они остались в Пскове. Говорили, что муж сестры художника, агроном, увлек их, сказав, что он должен гнать на восток совхозное стадо, иначе его расстреляют. Вряд ли ему грозил расстрел, если б он спрятался всего лишь на несколько дней. Другие наши знакомые остались.

Когда мы возвращались домой, встретили человека, которому лучше было бы в Пскове не оставаться.

В рукописи Ю. Марголина «Путешествие в страну зе-ка» есть глава, которую Чеховское издательство выкинуло из русского издания книги. Я читала эту главу в рукописи и перевела ее для немецкого издания, но я считаю, что она должна была бы быть именно в русском издании. Называется она «Иван Александрович Кузнецов». Это был созаключенный Марголина, преподаватель русского языка и литературы в сельской десятилетке. С ним Марголин подружился, и его медленную голодную смерть он описал. Марголин вспоминает слова Горького «Человек — это звучит гордо!». И горько добавляет, что эти слова относятся к Человеку с большой буквы, а Иван Александрович был человеком с маленькой буквы, который, помучившись несколько лет в лагере, умер безвестным. Попытка Марголина дать знать о смерти его родным была отвергнута лагерным начальством словами: «Лагерь не действующая армия, здесь о потерях не сообщают». Марголин замечает, что судьба его друга странная: при жизни о нем мало кто знал, а после смерти о нем пишут. Это судьба неизвестного лагерника, и теперь в России уже возникают памятники неизвестным лагерникам, как есть памятники неизвестному солдату. Я тоже хочу рассказать здесь о неизвестном для мира человеке, хотя в наше время во всем мире достаточно памятников этим неизвестным жертвам, но это мое личное скромное воспоминание.

В Пскове была фотография Цилевича. Конечно, она уже больше этой семье не принадлежала, она стала государственной, но потомственному фотографу удалось удержаться в ней уже как служащему. Для псковичей она по-прежнему была фотографией Цилевича, так и говорили: «Пойдем фотографироваться к Цилевичу». Это был очень мягкий, почти чрезмерно вежливый человек; так, выбирая лучшую позу для фотографии, он никогда не говорил: «Поверните голову», а «Поверните головку». Его жена, моложе его, была красива, но резкой, не совсем приятной красотой. В городе ее считали надменной и, в противоположность ее мужу, не любили.

Она была довольно хорошей пианисткой и преподавала ритмику в музыкальной школе. Я училась в музыкальной школе два года, от 10 до 12 лет, потом бросила, больше из лени. Но у меня не было хорошего музыкального слуха. Я запоминала музыкальные пьесы чисто механически, но сразу же. Моя учительница требовала, чтобы я сначала училась играть по нотам, но я уже знала по памяти, а потом усиленно смотрела на ноты, хотя мне этого не нужно было. А иногда я забывалась и играла, не глядя в ноты; она сердилась и кричала: «Я же говорила не учить на память». А я и не учила, я запоминала автоматически. Но если мелодия мне не давалась, то ритм я всегда держала очень хорошо; на уроках ритмики, которую преподавала Цилевич, была одной из лучших. И вот тут я видела в нашей учительнице совсем другого человека. При каждом удачном повторении ритма ее надменное и немного сердитое лицо смягчалось, и на нем выражалась искренняя радость за ученика или ученицу. Поэтому я не верила в то, что она настолько неприятная женщина, как думали многие в городе. У них был сын, к началу войны ему было лет пятнадцать.

И вот этот-то Цилевич шел нам навстречу. Он нам обрадовался и воскликнул: «Как хорошо, что и другие интеллигентные люди остались. О немцах говорят ужасы, но ведь это сказки, не правда ли?» Он, видимо, волновался. Мы тогда искренне не верили всем рассказам о нацистах, мы искренне думали так же, как и Цилевич. И все же у меня сжалось сердце. Я видела по лицу моего отца, что и он чувствует так же. Конечно, мы знали, что нацисты относятся к евреям плохо, но самое худшее, что мы могли предполагать, эта известная дискриминация, некоторые притеснения, но уж никак не убийства. Тем не менее, повторяю, у нас стало на душе смутно при виде Цилевича. Ему мы, конечно, подтвердили, что и мы надеемся на лучшее, мы на это и надеялись, но если мы сами имели основание не бояться, то было ли это так ясно по отношению к нему и другим евреям?

Сначала ничего не произошло. Комендатура выдала продуктовые карточки всему населению, в том числе и евреям. Никто их не трогал. Таких эксцессов со стороны русского населения, как это имело место в Прибалтике или в некоторых местах Украины, в России не было. Во Пскове никто ни о чем подобном не думал, хотя некоторые евреи этого опасались, как намекнул мне живший в соседнем домике старый портной — еврей Златкин. Но, повторяю,

не было и намека на что-либо подобное. Карточки, кстати, были мизерные, только на хлеб. Жили мы все годы оккупации крестьянским рынком и продуктами, выдававшимися немецкой армией тем, кто у них работал.

Закончим здесь, однако, печальную историю, которую я начала рассказывать. В одну ночь, когда все спали, совсем как НКВД, СС вывезло куда-то немногочисленных псковских евреев. Нельзя утверждать, что мы отнеслись к этому безразлично, кто как, конечно. Но в городе говорили, обсуждали, жалели. Псковская немка Б. Ф. Эман пошла в немецкую комендатуру и от имени граждан Пскова спросила, куда увезли евреев. Ей ответили, что для евреев будут созданы особые места жительства в восточной части Польши, где население не очень многочисленно. Поляки будут эвакуированы в другие места, а там будет что-то вроде Биробиджана, Еврейской автономной области, где они смогут жить и работать. Конечно, это было крайне неудовлетворительно, но мы были уверены, что есть похожий плаи и что пока евреев содержат в лагерях, где, хотя и не очень хорошо, но как-то можно жить.

Все это временно, думала я, так как когда Россия будет свободна, то русские евреи получат одинаковые права со всеми гражданами. Но сначала нужно скинуть коммунистическую диктатуру и на этом сосредоточить все внимание. О моих политических размышлениях и планах я скажу подробнее ниже.

Пока что немецкая армия удивительно просто отнеслась к населению. Так, солдаты поселились в пустовавших домах и квартирах, тех, откуда люди бежали вместе с советской армией, прямо среди русских жителей. В доме, где мы жили, было 4 квартиры, повсюду жило по несколько семей. И так получилось, что из нашей квартиры и из квартиры снизу наперекрест, никто не бежал, а из квартиры напротив и квартиры под нами бежали все жители. В этих двух квартирах поселились немецкие военные, не принимая никаких мер охраны. Под Псковом был большой военный городок, в мирное время он был окружен колючей проволокой, и граждане могли проходить туда только по пропуску. Немцы, конечно, заняли пустые казармы, сейчас же перерезали, потом совсем сняли проволоку, и население могло ходить между казармами, сколько ему хотелось. В псковском театре устраивались концерты или давались представления для всех, среди зрителей и слушателей были как псковичи, так и немецкие солдаты и офицеры. Были вечера самодеятельности,

приезжало немецкое варьете, приезжало русское варьете из Риги, и выступал с концертом Печковский, уехавший потом в Ригу. Только два кинотеатра, единственные в Пскове, немцы забрали для своих солдат. Позже для населения построили отдельное деревянное здание для кино, где и показывали немецкие фильмы. Но я забегая вперед.

Однажды в дверь квартиры раздался робкий стук. Моя мама открыла: за дверью стоял немецкий солдат и, запинаясь, подбирая слова, сказал по-русски, что он живет внизу под нашей квартирой и слышит иногда игру на рояле. Не разрешили ли бы ему иногда приходиться и немного упражняться в игре? Мы разрешили. Это знакомство оказалось очень длительным. Тогда он только рассказывал о своей невесте, а потом я встретила их в Марбурге, куда они уже с двумя детьми бежали из Бреслава, отданного Польше. Оказалось, что внизу была связистская часть, в которой служили только те солдаты, которые владели хоть немного русским языком. Мы познакомились со многими, в том числе с доцентом славистики и учителем гимназии, прекрасно владевшим русским языком. Оба они были ярые антинацисты и этого не скрывали, по крайней мере от нас. Но они, призванные в армию, служили и делали то, что от них требовалось. А что им было делать?

Я никак не забыла, что Советы в первом же финском завоеванном местечке устроили бутафорское финское правительство во главе со старым членом Коминтерна Отто Куусиненом и заключили с этим «правительством» договор. Конечно, «правительство» кануло в небытие, когда выяснилось, что всю Финляндию завоевать не удалось, и мирный договор был заключен с настоящим правительством Финляндии. Но тогда было всем ясно, что минимум 99% финского народа не примет добровольно «правительства» Куусинена. Совсем иначе обстояло дело в СССР. Недавно прошла страшная коллективизация. Крестьянские парни, призванные в армию, не могли забыть погибших в коллективизацию родных, а почти у каждого в семье были погибшие. Также и почти у каждого горожанина были арестованные родственники или друзья. Из сдавшихся в первые месяцы войны 4 миллионов пленных добрая половина, если не больше, были пассивными перебежчиками, которые только и мечтали о том, чтобы взять в руки оружие и сражаться против Сталина и коммунистической диктатуры. Мне рассказывал один сдавшийся в плен — о нем речь будет позже, — что он и с ним

300 советских солдат сдались в плен одному немецкому солдату. Они залегли в стороне, когда армия отступала, тогда как немцы думали, что отступили все, и один солдат просто пошел посмотреть местность, когда из кустов перед ним стали вставать 300 человек. Он сейчас же поднял руки, готовый сдаться: не воевать же одному против трехсот! Но эти последние положили оружие, и он их гордо повел в плен. Конечно, все они хотели воевать против Сталина, но... некоторые из них умерли в плену, другие, как мой знакомый, хотя и были выпущены, но воевать против Сталина им не пришлось.

Сначала мы не сомневались в том, что скоро, очень скоро в каком-нибудь крупном городе — мы предполагали Смоленск — образуется русское правительство, временное, конечно, отчасти из представителей подсоветской интеллигенции, отчасти, возможно, из русских эмигрантов, начнет формироваться армия и внешняя война перейдет в гражданскую. Немцы будут только давать оружие и поддерживать авиацией, которую нельзя создать скоро. Ведь не может же немецкое руководство думать, что немцы сами могут завоевать всю Россию? Ведь они же тоже изучали историю и слышали хоть краешком уха о Наполеоне.

В свое время Генрих Гейне написал, что ему пришлось принять крещение (чтобы поступить в университет, тогда и в Германии была процентная норма) из-за того, что у Наполеона были плохие учителя географии, не сказавшие ему, что в России бывают холодные зимы. Уже значительно позже, когда Гитлер объявил войну США, один немецкий военный рассказал мне такой анекдот: парень из какой-то глухой деревни достиг восемнадцатилетнего возраста и был призван в армию. Он попросил своих более образованных товарищей показать ему на карте, с кем Германия воюет. Ему показали США, потом Советский Союз. «А где же мы, Германия?» — спросил он. Ему показали маленькую Германию. «Ой, — воскликнул парень испугано, — а фюрер смотрел на карту?»

Да, смотрел ли он на карту? В начале войны мы были уверены, что смотрел, но потом в этом усомнились.

Мне помнится разговор с молодым немецким офицером на улице в Пскове. Он спросил меня, как пройти на какую-то улицу. Я объяснила. Затем он спросил: «Восстанет ли народ теперь, когда началась война, против коммунистической диктатуры?» Я ответила: «Нет». Он: «Но мы на это надеемся». Я: «Напрасно надеетесь».

Он: «Так, значит, народ доволен режимом?» Я: «Нет, большинство режим ненавидит, но все безумно запуганы. Неужели вы не понимаете, что при такой диктатуре восстаний не бывает. Но можно разложить советскую армию, она не будет сражаться, но только в том случае, если люди будут уверены, что война ведется против коммунизма, а не против народа и России». Он задумчиво посмотрел на меня. Затем дал мне свою визитную карточку. Это был полковник, граф, фамилию я его забыла, а карточку потеряла во время многих бегств. Но немецкие аристократы влияния на Гитлера не имели, напротив, он их не любил.

Трудно рассказывать о настроениях в начале войны и поведении немецкой армии, совсем не таком, как это внушалось десятилетиями. История Второй мировой войны во всем мире, а не только в СССР, теперь бывшем, существует в искаженном виде. Ни в демократических странах-победительницах, ни в побежденной Германии историки не пытались доискиваться до истины. Все работали теми клише, которые возникли во время войны. Бывали редкие исключения, но таких историков моментально заклеывало мировое общественное мнение. Я попытаюсь описать то, что я видела и пережила. Это лишь маленький отрезок из всего происходившего, и если я чего-либо не видела и не пережила, то это не означает, что другие не видели или не пережили чего-то другого. Но, может быть, как раз на этом месте следует подчеркнуть, что между немецкой армией и нацистской партией, а также войсками СС была огромная разница. Гитлер за шесть лет не смог даже начать переделывать армию. Она была такой же, как и до него, и она была беспартийной. Помню, как я была удивлена, когда узнала, что члены национал-социалистической партии, вступающие в армию, временно, пока они в армии, погашают свое партийное членство, считаются беспартийными. В СССР было как раз наоборот, членство в партии всячески подчеркивалось, а начиная с более высоких чинов (впоследствии начиная с майора), все командиры должны были быть членами партии. Немецкая армия была старая, в основном дисциплинированная и воспитанная. Она вела себя по отношению к населению корректно, что, конечно, не исключает отдельных эксцессов, которые в военное время неизбежны.

Мы прожили все время оккупации под военным управлением, и у нас не было многих отрицательных явлений, которые происходили, например, в Белоруссии и на Украине, где управление было пе-

редано рейхскомиссарам, то есть крупным партийцам, которых военные насмешливо называли «золотые фазаны» за их блестящие формы.

Мы жили все время оккупации без ежедневных газет и без регулярных известий, хотя о главных событиях, особенно на фронте, сообщало радио, а несколько позже в книжном магазине можно было покупать издававшуюся в Берлине газету «Новое слово» под редакцией В. М. Деспотули, но она, конечно, была под цензурой и не все могла сообщать. Еще позже в Риге была создана газета «За Родину», где писали преимущественно бывшие подсоветские, был еще эмигрантский «Русский вестник», но он до Пскова не доходил. Все это была, конечно, неполная информация, а потому цвели пышным цветом разные слухи. Я лично отмахивалась от всех слухов принципиально, так как не было возможности различить, насколько они отражают хоть часть правды. Мы называли их пренебрежительно агентством ОДС (одна дама сказала) или, грубее, ОБС (одна баба сказала).

Так, я уже много позже узнала, что как раз в Смоленске сразу же после оккупации возник комитет из граждан, предложивших немецкому командованию считать его зародышем будущего свободного русского правительства. Этот комитет был немедленно распущен и запрещен, кажется, члены его не были арестованы, но точно я не знаю. Украинское правительство, которое тоже сразу же образовалось в Киеве, село в тюрьму. Но обо всем этом мы узнали много позже, кое-что лишь после окончания войны.

Оккупация

Как я уже упоминала, я была по натуре активным человеком, но должна была постоянно подавлять эту активность, так как не могла быть активной в коммунистическом духе, а другой активности тоталитарная власть не допускала. Вся эта загонявшаяся внутрь активность, страстное желание говорить, быть услышанной, обсудить с другими то, что вынашивалось столько лет внутри, — все это вырвалось наружу. Это было первое опьяняющее переживание свободы.

Эти строки, возможно, многих удивят: как могло возникнуть ощущение свободы под чужой оккупацией? Но оно возникло. Конечно, стало возможным вслух критиковать коммунизм или советскую власть, но, как ни странно, стало вообще возможно свободно

разговаривать друг с другом. Убежденные коммунисты и защитники советской власти не стеснялись спорить с нами, ее противниками. Я часто вела жаркие споры с моими сверстниками, и на моей стороне были многие, но и те, кто защищал советскую власть, не стеснялись этого делать. Разве мы могли так разговаривать еще недавно? Ведь «стены имели уши», как говорилось в сталинское время. Чуть ли не каждый третий был стукачом, или мы, во всяком случае, в каждом третьем такового подозревали. Но даже самым ярким противникам советской власти не приходило в голову пойти и донести на сторонника этой власти немецкой комендатуре или тайной полевой полицией. В комендатуре вообще не стали бы и слушать, мало ли кто что говорит, за словами они не следили, — вот если б кто-нибудь сообщил, что им собираются подложить бомбу! Стала бы заниматься этим тайная полиция? Не знаю, но ни у кого не было и мысли, что свой, русский, каких бы взглядов он ни придерживался, может донести на другого русского за то, что у него другие взгляды. Это казалось совершенно диким. И все говорили, что думали, горячо спорили. Тогда я глубоко поняла, что никакое иноземное владычество не может так сильно поработить и развратить народ, как «своя» идеологическая диктатура. Идея с помощью войны сбросить эту идеологическую диктатуру, сбросить страшно-го Сталина мною овладела полностью. Тогда, я помню, записала: «Надо спасать душу народа».

Теперь, после 74 лет господства коммунистической идеологии, когда я нахожусь в Петербурге, в России, я не перестаю удивляться тому, как удалось коммунистам все смешать в умах людей. Именно в умах. В России сейчас не меньше хороших людей, чем где бы то ни было в другом месте, может быть, даже больше, и это весьма отраднo, но понятия настолько перепутаны, что нередко можно прийти в отчаяние.

Однако это отступление в настоящее. Помню, как очень близкая мне Дора Штурман написала, что русские готовы были бороться за освобождение России от большевизма ценою жизни многих миллионов евреев. Увы, и здесь полное смешение понятий. Кто же нас спрашивал, на какую цену мы согласны за освобождение России? И что мы вообще знали? Я уже упоминала о том, какой ответ был дан Б. Эман относительно псковских евреев, но сама она не пострадала за поход в комендатуру и свой вопрос. А что было бы с каким-либо советским гражданином, который пошел бы, ну хотя

бы в горсовет, и спросил, что случилось с теми, кто в Пскове в эту ночь был арестован НКВД? У нас появилось какое-то пространство для слов и для дел, и мы зачастую инстинктивно старались использовать это пространство для того, чтобы попытаться вырваться из совершенно тотальной диктатуры, в которой мы задыхались, вырваться самим и вырвать из нее Россию, что, конечно, может показаться донкихотством, но мы бились внутри бушевавших нас сил не только для спасения своей жизни, но и для своего народа и своей страны.

А вокруг нас была такая же чересполосица хорошего и дурного, человеческого и страшного. Так, например, мне приходилось нередко ходить переводчицей с немецкими военными врачами к русским больным. Официально русским больницам и практиковавшим русским врачам выдавалось известное количество лекарств, и у них должно было лечиться русское население, военным же врачам было запрещено пользоваться русское население. Но врачи с этим запретом не считались. Я не знаю случая, когда военный врач или фельдшер отказался бы пойти к русскому больному, даже поехать на открытой телеге, в мороз (затребовать свою машину они не имели права) в отдаленную деревню. Они также всегда давали медикаменты из военных запасов, списывая их на якобы заболевших солдат. Помню, я как-то была с военным врачом в простой русской семье, где заболела двухлетняя, довольно замурзанная девчушка. Врач установил ангину, дал соответствующее лекарство, затем, погладив ребенка по головке, сказал: «Про нас говорят, что мы убиваем детей, нет, мы детей не убиваем». Знал ли он об еврейских детях? Я уверена, что не знал.

Страшной была проблема военнопленных. Их можно было видеть время от времени на улице, когда их колонна шла в лагерь и они толпой бросались на хлеб, который им подавали. Лагерь военнопленных в черте города не было, а военнопленные в городе работали при отдельных немецких военных частях; они вытаскивали лотерейный билет — они не голодали. Однажды я ездила вместе с дочерью знакомого врача в один из лагерей недалеко от города навестить попавшего в плен товарища моих детских игр — Диму. Мы его потом вытаскили из лагеря, и он жил в Пскове свободно. Немцы вообще нередко отпускали на свободу военнопленных, если последние находились на территории своего родного города или деревни, особенно если у них были там родственники, которые

могли их взять. Военных советских врачей отпускали и в чужих местах; так, в псковских больницах потом работали некоторые бывшие военные врачи, хотя они не были псковичами.

Но эта поездка дала наглядное представление о положении военнопленных, о котором много говорилось в городе. После этого посещения я сделала запись: «Так, Боже мой, какой ужасный вид имеют военнопленные. Бледные, измученные, больные, грязные, обтрепанные. Они идут и просят корочку хлеба, а если им дашь пищи, они прямо бросаются и рвут друг у друга. Я знаю, как бесконечно трудно в военное время, во время такой тяжелой войны хорошо содержать и кормить около 4 миллионов пленных, но все же, неужели они не могли бы поставить их в более человеческие условия?» У меня реакция на шок всегда очень запоздалая, она сказывается через день или даже через два. Так и после посещения этого лагеря, на другой день на улице мне вдруг неожиданно стало дурно, закружилась голова, чего вообще у меня не бывает; немолодая женщина, взглянув на меня, бросилась меня поддерживать. Потом и это впечатление перекрылось идеей освобождения России. Война разразилась независимо от нас, и прекратить ее было тоже вне наших возможностей. Но, может быть, ее можно было использовать все для той же цели — освобождения России от большевиков.

Первая военная зима была весьма суровая. После необычно жаркого и сухого лета наступила ранняя и морозная зима. В эту зиму умерло много военнопленных. И сколько среди них было пассивных перебежчиков, которые не хотели сражаться за коммунизм, за советскую власть. Многие были уверены, что получат оружие и смогут сражаться против Сталина и его безумной диктатуры. Никто так и не сосчитал, сколько их тогда умерло от холода и болезней.

Было это сознательное уничтожение «унтерменшей» со стороны нацистов? Если такие намерения в верхах и были, то я все же до сих пор думаю, что командование армии в них сознательно не участвовало. За это говорит и разница в положении разных лагерей. Были лагеря, где в эту зиму не умер ни один человек. Предпосылки были:

1) Комендант такого лагеря не держался тупо предписанных правил, запрещавших брать пищу от населения для лагерей (личные передачи разрешались, не разрешалось общее снабжение и скопление гражданского населения около лагерей). Однако были коменданты, пренебрегавшие этим запретом и разрешавшие

гражданскому населению раздавать пленным хлеб и вареную картошку.

2) Комендант следил сам со своими немецкими помощниками, чтобы скудные порции раздавались всем равномерно. Это были малые порции, но их было в общем достаточно, чтобы здоровый человек не умер с голода. Однако в большинстве лагерей раздача поручалась «старшим» из самих военнопленных, а в «старшие» пробивались ловкачи или, нередко, советские агенты, тем более что они более или менее владели немецким языком. Они забирали для себя и своих большие порции продовольствия, оставляя других голодать.

3) Коменданты, которые строго следили за гигиеной. В этих лагерях пленные не умирали или лишь в редких случаях. То, что почти 4 миллиона пленных для немцев оказалось полной неожиданностью, говорит об их политической неподготовленности к войне, но в значительной степени объясняет и катастрофу с пленными.

В 1942 году пленные уже не голодали: я помню, как шла их колонна через Псков и кто-то подал целую буханку хлеба, ближайший взял, сказал: «Спасибо», и все спокойно пошли дальше. Год тому назад произошла бы свалка, на эту буханку бросились бы многие из колонны и дрались бы за нее.

Но, так или иначе, катастрофа с пленными сыграла огромную роль и не могла не сыграть: если вначале было много добровольно сдававшихся, если были надежды на превращение внешней войны в гражданскую против коммунистической диктатуры, то теперь эти надежды пропали, — слухи о положении военнопленных переходили через фронт, и, конечно, ими не только пользовались — они преувеличивались, распространялись на гражданское население советской пропагандой. Даже те, кто ненавидел Сталина и коммунистов, стали видеть в них меньшее зло и принимали решение отстаивать страну хотя бы под ненавистным коммунистическим руководством, что и понятно.

Второе, что меня мучило, была забота о Петербурге. Я вдруг начала этот город называть Петербургом или Петроградом, хотя официально он еще многие десятилетия оставался Ленинградом. Я обожала город и очень боялась, что в ходе военных действий он будет сильно разрушен. Мы все тогда думали, что немцы скоро его возьмут, но они его не брали. Мне приходилось иногда служить переводчицей летчиков-разведчиков, они летали над Петербургом

и заверяли меня, что центр города бомбардировкам не подвергается. «Мы ни в коем случае не будем бомбардировать культурные и исторические ценности. Вы можете быть спокойны». Центр города действительно бомбардировкам не подвергался. Как ни странно, я больше беспокоилась о самом городе, чем о моих родных в нем: мне почему-то казалось, что они переживут взятие города. Мои школьные подруги в Псков не вернулись, они застряли в Ленинграде. Как-то раз меня остановила на улице незнакомая девушка и сказала: «А я вас знаю». Оказалось, что на первом курсе она училась на математическом факультете ЛГУ, но потом перешла в другой вуз. Мы были в разных группах, и я ее не помнила, она же меня тогда заметила. Но она теперь попала в Псков не из самого города, а из его окрестностей, где они жили. Отца ее, железнодорожника, арестовали коммунисты, мать пошла работать проводником в поезде и уехала с поездом, на котором работала, в глубь страны за несколько дней до прихода немцев в это местечко. Люся осталась одна со своим шестнадцатилетним глухонемым братом. Они оказались на самой линии фронта, так как немцы дальше не пошли, голодали, собирали картошку с полей под снарядами, и в конце концов немцы вывезли жителей в Псков. Здесь Люся нашла работу секретарши в местном управлении, но ей было очень трудно справляться с братом, который потом сбежал к партизанам. Что делал глухонемой мальчик у партизан, трудно сказать, вероятно, он погиб. Люся же ненавидела большевиков и тоже хотела против них как-то бороться. Но ее приводили в ужас русские эмигранты, приехавшие из Эстонии помогать налаживать жизнь в Пскове. Многие из них ко всем нам относились с величайшим презрением, даже с враждой, в том числе и к тем, кто, как мы обе, рождились уже после революции и ни в чем перед их белыми предками виноваты не были. Люся очень страдала от этих эмигрантов, она рассказывала мне, что один из ее сотрудников-эмигрантов заявил: «Надо уничтожить всех, кто старше пяти лет, и затем воспитывать детей для восстановления России». Я таких кровожадных высказываний не слышала, но однажды некая дама из той же канцелярии сказала мне презрительным тоном: «Вы все косоглазые, вы не можете построить в России ничего хорошего, мы должны будем командовать вами». Мой ответ был, конечно, соответственным: «Ну пусть мы, по-вашему, косоглазые, но мы построим Россию так, как будем считать нужным, а вы нам не нужны». Закрыв лицо руками, все это слушала другая рус-

ская, из Эстонии, значительно более молодая. Когда презрительная дама вышла, она сказала: «Неужели мы России уже не нужны?» Я поспешила заверить ее, что это касается только тех эмигрантов, которые думают так же, как та, что говорила.

Но я отвлеклась. Немцы не брали Петербурга, очевидно, не желая брать на себя ответственность за снабжение многомиллионного города, но как отражается блокада на жителях, я как-то не могла себе представить. Отвлеченное другими проблемами воображение не сработало, хотя я и слышала зловещие слова Гитлера. По нашему громкоговорителю транслировали, конечно, передачи из Пскова, но иногда включали немецкое радио, и мы могли слышать речи нацистских вождей в оригинале. В одной из таких речей Гитлер сказал: «Leningrad wird verhungern» (Ленинград погибнет от голода). Меня эта фраза ударила, я ее даже еще сейчас слышу, и все же я как-то не могла себе представить, как буквально ее следовало понимать. Сознание человека не может одновременно объять всего, и страшная реальность голодной блокады прошла почти мимо моего сознания, хотя в ней погибли и близкие.

На первые дни войны пала моя первая, короткая и чисто платоническая влюбленность. Чтобы покончить с этой темой, отмечу сразу же, что меня до такой степени занимали другие проблемы, если угодно, другие страсти — страсть справедливого устройства страны и даже всего мира, страсть найти смысл жизни, — что для обычных чувств молодости почти не оставалось места. Тем не менее отдельные, всегда платонические влюбленности были как с моей стороны, так и с другой. Но они всегда шли вразрез друг другу. Если увлекалась я, мною не увлекались, если бывали в меня влюблены, иногда сильно, я оставалась совершенно равнодушна. Видимо, Господь готовил мне другую судьбу.

Вскоре после вступления немецких войск к нам как-то зашли два офицера о чем-то спросить. Говорила с ними, конечно, я, так как только я владела немецким языком. Было очень жарко, на столе у нас стоял графин с кипяченой водой. В России до сих пор не пьют воду прямо из-под крана, а кипятят ее, тогда тоже так делали. И вдруг более молодой из офицеров, высокий блондин, спросил по-русски: «Это хорошая вода? Можно пить?» Это было так неожиданно, а произношение было таким чистым, что я на момент остолбенела и не сразу ответила, что воду пить можно. Дали стакан, он напился, и они ушли. Но я не могла его забыть и была уверена, что

он скоро опять появится. В самом деле, уже через несколько дней он снова у нас появился. Теперь он зашел по делу. У него была идея собрать интеллигентных и антикоммунистически настроенных русских, чтобы положить начало самоуправлению и выработке новых идей для России. Идея эта была весьма привлекательна. Теперь стало ясно, что этот офицер не так хорошо говорил по-русски, ему нередко не хватало слов или он делал грамматические ошибки, но произношение было безукоризненно. Оказалось, что он из русских немцев. Отец погиб в гражданскую войну, дядя бежал в Германию, и ему как-то удалось вывезти племянника, когда тому было 8 лет. Мать и сестра его остались в советской России. Произношение у него сохранилось с детства, но запас слов был недостаточный, так что мне приходилось иногда помогать ему в разговоре. О матери и сестре он ничего не знал и надеялся их разыскать.

Мой отец охотно согласился участвовать в такой антикоммунистической группе.

Дуклау, так звали офицера, попрощался со словами, что он скоро снова зайдет. В этот момент я знала, что никогда его больше не увижу. Несколько недель спустя я увидела на улице того офицера, который первый раз заходил к нам вместе с Дуклау. Собрав все свое мужество — у нас тогда были строгие правила: не полагалось молодой девушке спрашивать о мужчине, — я подошла к нему и спросила, куда девался его товарищ. Он ответил, что тот был неожиданно послан на передовую линию. Проектом группы русской интеллигенции никто больше не интересовался.

Должна отметить, что это явление не было случайностью, а правилом: если появлялись офицеры, интересовавшиеся сотрудничеством с русским населением, скажем, умные и пытавшиеся понять население руководители отдела пропаганды, они быстро исчезали и на их место водворялись типичные бюрократы, тупые функционеры вроде советских, которые все портили не по злобе, а по полной неспособности к живой, инициативной работе. Одного не самого лучшего, но все же неплохого начальника отдела пропаганды «увела» красивая русская девушка, советская агентка. Он так в нее влюбился, что уехал с ней на три дня за город, не сообщив ничего своему начальству. Такое нарушение военной дисциплины во время войны, конечно, не могло остаться без наказания: он был отправлен на передовую линию фронта. На его место был назначен тупейший бюрократ. О красавице Ане будет еще речь.

Нужно сказать, что многие русские девушки и женщины влюблились в немецких солдат и офицеров совершенно искренне. Среди них было удивительно много красивых, а когда они вынимали из портмоне и с гордостью показывали фото своих жен или невест, мы только из вежливости удерживались от отрицательных комментариев: женщины были в общем некрасивые. В России же было наоборот, советские солдаты, большей частью маленького роста, носившие следы тяжелого, голодного детства, редко бывали красивы. Отчего такая же ситуация не отразилась на девушках, отчего среди них было все же много привлекательных, мне трудно сказать, но Люся как-то заметила, смеясь, что можно было бы создать красивую расу, переживнив немецких мужчин на русских девушках — почти план Александра Македонского в Персии! Люся сама была влюблена в немца, но иа связь с ним не пошла. Однако не все были так стойки. Немцы же смотрели на временные связи легко и не только потому, что во время войны при обостренном сознании кратковременности не только пребывания в этом географическом месте, но, быть может, и в этой жизни не думается о связи на всю жизнь, тем более что солдатам во время войны запрещено жениться на женщинах оккупированных стран, но и потому, что в те времена в Германии моральные понятия уже не были такими строгими, как в российской провинции, несмотря на Коллонтай с ее свободной любовью. Потом в Германии я нередко встречала молодых женщин с ребенком на руках, женихи или возлюбленные (а не мужья) которых погибли на войне. Русские же, оставшись с ребенком на руках, говорили потом советским властям, что их изнасиловали, что и понятно: если б они сказали, что сошлись добровольно, то их преследовали бы как предательниц. На самом же деле случаи изнасилования были очень редки.

Между тем жизнь шла своим чередом. Открывались церкви. Из прекрасного псковского Троицкого собора были вынесены топорные предметы антирелигиозной пропаганды — в советское время собор был антирелигиозным музеем, — и там начались богослужения, равно как и в ряде других церквей. Священники приехали из Прибалтики; в самом Пскове, где за два года до войны была закрыта последняя церковь, священников уже не оставалось. Но у меня тогда еще не было влечения к церкви. Богослужения я не понимала, и оно, естественно, меня утомляло, иногда я заглядывала на короткое время в церковь, но это было и все.

Приходится признаться, что театр и кино интересовали меня в то время больше, чем церковь. Псковский Пушкинский театр был открыт для всех. Если там давались представления, то их посещали как жители города, так и немецкие военные: кто купил билет, тот и шел. Пьесы не ставились, не было театральной труппы; большей частью давались импровизированные представления с любительскими песнями и плясками, иногда даже не такими уж плохими. Появлялось немецкое варьете, а из Риги приезжало русское, которое нам очень нравилось. Руководил им Гермейер, брат моей незабвенной учительницы немецкого языка Лидии Александровны. Она никогда о нем не говорила. Я знала, что у нее был брат врач, рано умерший, я знала его вдову и двух дочерей. Я писала о них в первой части своих воспоминаний. Но я и не догадывалась, что в эмиграции у нее есть еще живой брат. И с каким амплуа! Сам он был прекрасным комическим артистом, да и другие члены его варьете были на высоте.

Давал в Пушкинском театре концерты и знаменитый Печковский. О нем я тоже писала в первой части. В Ленинграде он гремел как героический тенор с такими ролями, как Отелло и, особенно, Герман. О нем даже был сочинен стишок:

Его успех неувядаем,
И лаврам его нет конца.
Хоть в свет вошел он Николаем,
Но Германом вошел в сердца.

Я слышала его в Мариинском театре в его коронной роли Германа, и он мне не очень понравился, особенно его игра, которой многие восхищались. Голос у него был огромный, но чего-то не хватало. Потом брат говорил мне, что слышал от первой жены, певицы, якобы Печковский мало работает над своим голосом. Под немецкую оккупацию он попал под Сиверской, ездил сначала с концертами по оккупированной зоне, приезжал и в Псков, затем уехал в Ригу. В Пскове он выступал с русскими романсами и, к моему удивлению, пел высоким баритоном, а не тенором. Тогда я поняла, что он для выигрышных ролей насиловал свой голос, хотя у него и был большой диапазон. В баритональном ключе он мне понравился гораздо больше. Слышала я потом Печковского и в Риге, опять в его теноровых ролях, в отрывках из «Пиковой дамы» и «Отелло». Тогда концерт давался в память Собинова, и большинство латышских певцов

и певец пели по-русски. Из Риги Печковский ездил на гастроли в Вену; был слух, что венцы приняли его прохладно: в Вене чрезвычайно ценят школу, больше, чем силу голоса, а как раз со школой у Печковского было не все в порядке. Привыкший к лаврам, он был недоволен и решил остаться в Риге ожидать советскую армию, видимо, рассчитывая на свою былую популярность. Но она ему не помогла, и его засадили в концлагерь. Он его пережил, вышел на свободу и был потом преподавателем пения, о славе уже не мечтал. В Пскове в один из его концертов произошел военный инцидент. Советские самолеты Псков до 1944 года не бомбили, иногда над Псковом показывался разведывательный самолет, и, если это было вечером, мы смотрели, как он серебрился в перекрещивающихся лучах прожекторов. Немецкие зенитки в такие самолеты не стреляли. Но вот как раз во время концерта Печковского над городом, видимо, пролетал бомбардировщик и уронил бомбу. Думаю, что произошло это без намерения бомбардировать город, так как бомба была только одна. Она ухнула, в театре вдруг погас свет, некоторые женщины завизжали, военные вскочили с успокоительными: «Тише, тише, ничего», а Печковский, не растерявшись, пустил такую руладу, что покрыл весь шум в театре. Свет почти сразу зажегся, и концерт спокойно продолжался. Мне импонировало самообладание Печковского. Как потом оказалось, бомба попала в жилой дом, были убитые и раненые.

Ну, а с кино было хуже. В городе было только два кинотеатра, и оба армия забрала как кинотеатры для солдат. А мы ведь так гонялись тогда за иностранными фильмами! Я помню, какой фурор произвели оба американских фильма, ленты которых оказались «военной добычей» короткого похода в Польшу. Оба фильма были музыкальные, один об Иоганне Штраусе, «Большой вальс», другой — «Сто мужчин и одна девушка» с знаменитым дирижером Леопольдом Стоковским. Советское кино решило само поставить музыкальный фильм: так появилась «Музыкальная история» с Лемешевым, но куда ей было до тех двух фильмов! Если сначала мы только облизывались, проходя мимо этих кинотеатров, то потом немцы все же построили деревянный кинотеатр для жителей города, и мы смогли посмотреть немецкие фильмы.

Немецкое кино было тогда в расцвете, ставились прекрасные художественные фильмы, была целая плеяда великолепных артистов. Я сейчас не всегда могу сказать, какой фильм я видела еще в

Пскове, а какой после войны в Германии, но относительно некоторых фильмов я знаю, что видела их еще в России, например, такой фильм, как «Романс в ключе молль», с лучшими артистами: Марианной Хоппе, Фердинандом Марианом, Паулем Дальке и Зигфридом Брауером. Огромное впечатление производил такой артист, как Генрих Георге: в «Станционном смотрителе» по Пушкину он сыграл этого смотрителя так, как будто всю жизнь прожил в России; но в другом фильме он был типичным немецким герцогом средних веков. Такие артисты встречаются крайне редко, второго такого я видела позже, это английский артист Алек Гиннес. Запомнились обе шведские артистки, оставшиеся в немецком фильме, — Цара Леандер и Марика Рёкк. Или такие комики, как Гейнц Рюман и австрийцы Тео Линген и Ганс Мозер. Кстати, насчет австрийских фильмов: перед игровыми фильмами по тогдашней моде показывали киножурнал, иногда пропагандистские кадры из прошедших лет. Так, один раз показывали захват Германией Австрии и въезд Гитлера на родину. В Вене его приветствовала масса народа, вся площадь была залита людьми (в наше время австрийцы слышат это неохотно, но что делать, так было). Толпа скандировала: «Wir wollen unseren Führer sehen». Рядом со мной сидела студентка пединститута, с которой я дружила, наклонившись ко мне, она спросила: «Что они кричат?» Зная, что она довольно хорошо владеет немецким языком, я удивилась: «Разве ты не разбираешь?» И я повторила по-немецки эту фразу. Она ответила удивленно: «Мне тоже так слышалось, но ведь это же по-немецки!» Теперь настала очередь удивляться мне: «А как же иначе они должны кричать?» Она: «А по-австрийски». Она не знала, что австрийцы — те же немцы.

Кроме киножурналов, никакой нацистской пропаганды в кино не было. Все фильмы были аполитичные, исключением был фильм «Еврей Зюсс» с антисемитской подкладкой. Да, после войны я читала нападки на якобы пропагандистский и восхваляющий войну фильм (я его видела во Пскове, после войны его не показывали) «Концерт по желанию». Я совсем забыла содержание этого фильма, сам по себе он на меня не произвел большого впечатления, но два его кадра стоят и сейчас передо мной, я их вижу и слышу. Начиналось действие фильма перед войной, летом 1939 года. В квартире молодого пианиста собрались его друзья, он играет на рояле Шопена. Окио открыто, так как погода жаркая, и вдруг в окно врываются топот солдатских ног и грубая солдатская песня, мимо дома прохо-

дит воинская часть. Нежные звуки Шопена умирают, растоптанные громким шагом солдатских сапог... Разражается война. Молодой музыкант призван в армию. Они во Франции, бои прошли, поздний вечер. Солдат-музыкант идет погулять, видит церковь, заходит в нее, она пустая. Он поднимается по ступенькам к органу и начинает играть. В этот момент чья-то сторона выпускает гранату, осколок ее, разбив стекло, залетает в церковь и попадает в висок играющему на органе. Его голова падает на клавиши, и орган кричит. У меня этот отчаянный крик инструмента и сейчас, через много десятилетий, стоит в ушах, как будто он хочет сказать: «Люди, зачем это? Зачем кровь, зачем убийства?» Если был заказан фильм, восхваляющий войну, то режиссеры явно саботировали этот «социальный заказ»; ни один фильм не мог больше оттолкнуть от войны, чем этот, всего лишь двумя своими кадрами.

Когда я была в России в конце 1994-го и начале 1995 года, скончался какой-то известный русский киноартист, видимо, много значивший для послевоенного кино. Тогда я почувствовала, что здесь существует незаполняемый эмоциональный разрыв. Фильмы из СССР доходили до нас редко, киноартистами моей молодости остаются перечисленные и многие другие немецкие артисты.

После войны немецкое кино постепенно умерло. Было еще несколько довольно хороших фильмов со старыми артистами, но по мере того, как время их отходило или они покидали этот свет, умирало и кино. Новых не было, а если появлялись таланты, то уходили в Голливуд. Мне могут указать на ряд популярных молодых режиссеров вроде Фасбиндера, но мне эти фильмы не по душе. Конечно, другие могут судить иначе.

Одной из роковых ошибок оккупационных властей было сохранение колхозов. Как раз на Украине, где ради создания этих колхозов было загублено столько миллионов крестьян, разочарование было велико. Встречая немцев с цветами, украинцы надеялись прежде всего на ликвидацию ненавистных колхозов. Тогда они существовали всего лишь несколько лет, ликвидировать их было бы очень легко. Но немецкие власти, надеясь именно на Украину как основу для снабжения их армии продовольствием, побоялись потрясений в области сельского хозяйства и приказали оставить колхозы. На наш бедный север никто не обращал большого внимания. Коллективизация проходила у нас без таких страшных жертв, как на плодородном юге, а теперь немецкое командование просто не

обратило внимания на то, что делают крестьяне, тем более что, повторяю, у нас все время было военное, а не партийное управление.

Крестьяне были так уверены, что, как только кончилась для них советская власть, кончились колхозы — то и другое было для них равнозначно, — что они сразу же колхозы распустили, землю поделили между собой, также и скот, который был, и начали самостоятельно хозяйничать. Им никто не мешал. Мой отец и я ходили в ту деревню, где мы часто проводили лето, она была лишь в 12 километрах от города. В ней было 40 дворов и, соответственно, 40 коров, так как каждый двор имел право держать только одну корову. Колхозных коров не было совсем. Но было 9 колхозных лошадей, которые кое-как выручали, когда ломалась техника, что случалось постоянно. В личном владении колхозники лошадей не имели. Сколько было овец или кур, я не помню, их разрешалось иметь в каждом дворе по несколько штук. Мы были там ранней осенью, после оккупации прошло немного времени, но все же мы остолбенели, увидев изменения. Люди были жизнерадостны, настроены по-рабочему. Один сказал мне: «Участок, который мне достался, семь лет не удобрялся, но теперь он мой, и я поехал в город, раздобыл удобрения и уже удобрил для озимых, так же удобрю и для яровых». В тех дворах, где коровы отелились, если теленок был телкой, то ее оставляли расти, чтобы иметь вторую корову, другие же тоже намеревались получить от своих коров телок. Больше всего нас удивило, что в каждом дворе была лошадь. Как же из 9 лошадей сделали 40?! Вот задача!

Впоследствии я читала в воспоминаниях Степуна «Бывшее и несбывшееся», как ловко крестьяне импровизировали после революции: реквизируют у крестьянина последнюю лошадь, а через несколько дней у него снова молодая лошадь. На вопрос, как он ее достал, тот отвечал, подмигнув: «Вчера моя кошка ожеребилась». И в этой деревне крестьяне сначала только смеялись на наши недоуменные вопросы. Но потом они объяснили. Девять лошадей распределили по жребью, и те дворы, которым досталась лошадь, внесли известную сумму в кассу общины, а потом немцы продавали крестьянам «пленных» лошадей. Тогда в армии были еще в специальных частях лошади, и они вместе с этими частями попадали в руки немцев. Немцы продавали их русским крестьянам дешево. Вот так каждый двор смог приобрести себе лошадь. Немцы наложили сначала на крестьян небольшой продовольственный налог,

но, заметив, что они с ним легко справились, они его удвоили. Однако крестьяне не унывали: ничего, справимся, теперь мы хозяева на своей земле.

Да, насколько легче было бы России, если б уродливые колхозы кончились уже тогда, если б крестьяне действительно смогли стать собственниками на своей земле. Образовались даже отряды молодых парней, которые хотели защищать свои деревни от партизан. Последние в нашей местности были редко местными, большей частью это были солдаты, спущенные с парашютом за линией фронта, переодетые в гражданскую одежду. Немецкое командование боялось сначала давать этим деревенским отрядам оружие, но потом дало. Вначале, когда немецкий фронт стоял крепко, они могли отражать партизан, но потом все покатилось.

Мы под оккупацией не голодали, но приходилось изворачиваться, одних моих заработков переводчицы было мало. Мама в поздних годах начала рисовать и даже писать красками. У нее к этому был талант, и она нередко говорила, что если б она в молодости занялась рисованием, вместо того чтобы часами играть на рояле, ничего не достигнув, кроме любительского умения сыграть ту или иную музыкальную пьеску, она могла бы стать художницей. Она даже решила поступить в заочную школу по разрисовке материи и посуды и закончила ее незадолго до начала войны. Теперь ей это пригодилось: она покупала на крестьянском рынке глиняные горшки, разрисовывала их и продавала тем же крестьянам, покупавшим их охотно и платившим натурой.

Но мой отец очень страдал от своего бездействия. Он привык всю свою жизнь содержать семью, и теперь ему казалось, что он раньше времени стал ненужным иждивенцем. И никак не удавалось полностью убедить его, что он не должен так думать. Педвуз, конечно, не мог больше существовать, профессора и доценты были большей частью приезжие и сразу же после начала войны уехали из Пскова, студентов забрали в армию, или же они просто разошлись, да и кто бы стал содержать под оккупацией высшее учебное заведение во время войны? Начальные школы во Пскове были открыты, шли разговоры и об открытии гимназии. Немецкое командование создало даже при комендатуре отделение, которое должно было заняться организацией открытия гимназии. Конечно, мой отец готов был преподавать и в гимназии.

Вместо с господином Эманом (о его жене я уже упоминала) как

переводчиком мой отец пошел в это отделение. Но как только они заговорили с немцами, из другой комнаты выскочил русский эмигрант (никто из нас не знал, что из Германии пригласили русского, чтобы организовывать открытие гимназии) и закричал по-русски, что мой отец и господин Эман не должны разговаривать с немцами по этому вопросу. «Учителей для гимназии нанимаю я, — кричал он, — но сейчас еще рано». Он так и сказал «нанимаю», а не «приглашаю» и скрылся снова за дверь. Огорошенные его грубостью, два немолодых почтенных человека повернулись и пошли восвояси. Но с гимназией ничего не получилось, и «наниматель» учителей вернулся в Берлин.

Весной 1942 года из министерства Розенберга пришло решение: в северных частях страны распустить колхозы и поделить землю между крестьянами. Как я писала, колхозы в нашей местности крестьяне распустили сами, но теперь надо было это официально закрепить. Немецкие власти стали искать русских землемеров, которые могли бы объездить деревни, размежевать землю и закрепить крестьянскую собственность на землю. Мой отец не только преподавал математику в первые годы советской власти в землемерном техникуме, но и окончил в то время землемерные курсы, на всякий случай. Он всегда понимал, что его, «несозвучного эпохе», могут отстранить от преподавания, хотя он преподавал такой нейтральный предмет, как математика, и он хотел на всякий случай иметь другую специальность. Теперь, несмотря на преклонный возраст (моему отцу было 62 года), он решил предложить свои услуги как землемер. Он получил эту работу и ездил по деревням, размежевая землю, уже разделенную крестьянами между собой. Для нашего питания это было большое подспорье, так как крестьяне, довольные, что они теперь законно будут владеть участками земли, платили землемерам продуктами, и отец привозил много вкусных вещей из деревень. Сначала землемеры опасались, что им придется быть третейскими судьями в спорах из-за земельных участков, но, как ни странно, таких споров вообще не было.

Перезезды из деревни в деревню на крестьянских телегах были для моего отца утомительны, но в остальном он был очень доволен своей работой. Повсюду колхозная земля была разделена крестьянами полюбовно, и землемерам приходилось только произвести разметку и занести в книгу точные размеры участков, отошедших к отдельным крестьянским дворам. Моего отца радовало согласие

между крестьянами и их бодрое настроение, их стремление работать на своей земле. Летом 1942 года настроение в деревне было еще оптимистическим, была надежда или даже уверенность, что с ненавистными колхозами покончено навсегда.

К зиме основная работа по размежеванию была закончена, но выяснилось, что оставшихся в Пскове землемеров не хватает. Сельскохозяйственная группа немецкого командования решила открыть землемерные курсы при Русском земельном управлении, которое было создано, конечно, под наблюдением немецкого командования. Мой отец получил наконец работу по специальности: он стал преподавателем математики на землемерных курсах.

Я же взяла место переводчицы при Русском земельном управлении. Студенткой на курсы поступила Люся, поскольку студенты получали стипендию и продуктовый паек, а ей хотелось уйти из бюро, где ей приходилось работать с этими неприятными русскими эмигрантами. Так как все это находилось в одном здании, Люся часто просила меня зайти на переменах на их курс, где она затевала политические разговоры. И снова мы говорили между собой совершенно свободно и громко, среди студентов были защитники советской власти и идеи коммунизма, они высказывались так же открыто, как и противники и того, и другого.

Как-то произошел такой случай: в доме, где жил один из сотрудников этого Земельного управления, случился пожар, тушить и вытаскивать вещи из дома на всякий случай стали помогать и немецкие солдаты расположенной вблизи части, и тут они вытащили из-под кровати ящик с патронами. Хозяина квартиры арестовали.

Нужно сказать, что, когда немцы вошли в город, они потребовали сдать оружие, в том числе и охотничье, а также фотоаппараты и лыжи. Оружия у нас не было, а фотоаппарат и лыжи мы сдали с сожалением. Нам дали квитанцию и сказали, что после окончания войны нам все вернут. К концу войны было уже не до фотоаппарата и не до лыж...

У этого землемера до войны было разрешение на охоту и, соответственно, охотничье ружье, которое он немцам сдал, а о патронах под кроватью забыл. Но у него сохранилась квитанция о сданном ружье, патроны рассмотрели, установили, что они для охотничьего ружья, и его выпустили. Все у нас, конечно, радовались благополучному исходу. Но затем вдруг явился человек из полевой полиции, меня попросили переводить, и то, что он сказал, всех поразило.

«Мы слышали, — сказал он, — что у вас оставался налет неблагонадежности на однажды арестованном человеке, даже если его выпустили. Так вот, у нас это не так: если мы кого-нибудь освободили, то он полностью реабилитирован. Вы не должны относиться к своему коллеге с опасением».

В тайной полевой полиции, связанной с гестапо, были тоже разные люди. Вообще, за 9 лет своего господства Гитлер, конечно, не мог создать стройного управления всеми отраслями. Меньше всего влиянию партии подвергалась армия, как я уже писала, а в связи с этим и в полевой полиции были еще другие люди, но были и настоящие гестаповцы, как их себе представляют, и я однажды чуть не стала жертвой такого гестаповца.

Чтобы рассказать об этом, я должна вернуться назад. Немецкие военные части давали работу многим русским: тут были и женщины, стиравшие и гладившие белье, портные и портнихи, перешивавшие формы, сапожники и другие рабочие. Мне как переводчице приходилось помогать и в контактах с крестьянами. Как я уже упоминала, на крестьян был наложен продуктовый налог, они должны были сдавать его на сдаточном пункте в городе и были довольны, если эти продукты брала военная часть, стоявшая рядом с деревней, выдавая им квитанцию о сдаче налога: им тогда не надо было везти эти продукты в город.

Однажды мне пришлось сопровождать усатого немецкого вахмистра к старосте деревни. Старосты дома не было, вахмистр попросил его жену пойти с ним к какому-то крестьянину, который чего-то не сдал, но она сказала, что пойти не может, дело было зимой (в тот год холодной и снежной), а у них с мужем одна пара валенок; сейчас он их надел, и она выйти во двор не может. Вахмистр только качал головой и повторял: «Какая нужда, какая нужда!» Затем староста пришел, но на вопрос о том крестьянине раздраженно ответил, что тот послал его к черту. Я неосторожно перевела. И вдруг вахмистр разъярился: «Как? Он оскорбил старосту, которого назначила германская армия? Значит, он оскорбил эту самую армию».

Как староста, так и я перепугались, начали его уверять, что мужик и не думал оскорблять немецкую армию, но вахмистр заявил, что надо его разыскать. Валенки не валенки, но мужику сейчас же сообщили, и он спрятался. Мы долго ходили по деревне, вахмистр молчал, я же непрерывно говорила, убеждая его, что это была про-

сто ссора одного мужика с другим и к немецкой армии она никакого отношения не имеет. В конце концов вахмистр успокоился и пошел обратно в свою часть. Но я научилась, что переводить всего нельзя, на мне лежит ответственность, надо отсеивать необдуманные высказывания и их просто не переводить.

Кстати, часть эта помещалась в школе, построенной незадолго до войны. В первый год оккупации и начальные школы не были открыты, их открыли позже. Но это школьное здание в советское время сумели построить так, что натопить его было невозможно. Дров немцы не жалели, но помещения оставались холодными, в одном конце была накалившая печь, а в другом замерзала пролитая вода. Я спрашивала детей, как же они учились в этой школе. Они отвечали, что сидели в пальто, валенках и перчатках, а в чернильницах замерзали чернила. Всем тем, кто работал при части: женщинам, стиравшим белье, портным, сапожникам, платили, но деньги мало что стоили. Их кормили тем же обедом, что и солдат, — обычно густым супом из гороха, бобов или чечевицы с мясом, а то, что оставалось в котле, раздавали ребятишкам, которые каждый день выстраивались в очередь с котелками, и еще работавшим давали вечером сухой паек: хлеб, масло, колбасу, сыр, которые были помощью в семье.

В Пскове настоящего голода не было, слишком близко были деревни, как-то перебивались, но некоторые голодали, и иные, не очень молодые, шли работать в части преимущественно ради продуктов. Между прочим, все говорили между собой свободно и о политике. Особенно жаркие споры возникали между двумя сестрами. Старшая, 22 лет, была женой командира Красной армии, он был на фронте, и она не знала, где он и жив ли вообще. Младшая, семнадцатилетняя, была горячей антикоммунисткой. Старшая говорила, что ничего не знала о существовании концлагерей, а младшая набрасывалась на нее: «Ты не знала? Все в стране знали о советских концлагерях, а ты вот не знала? Ты не хотела знать, ты спряталась за спину своего командира и делала вид, что все в порядке». И другой раз: «Ты не знала о безработице в стране? Да ведь я, твоя сестра, после окончания семилетки никак не могла найти работу. Как же ты не знала? Или после замужества ты совсем отвернулась от своей семьи и не знала, как мы бедствуем?»

Старшая говорила, что у них большая семья и сейчас им живет голодно. Это вполне могло быть так. И вот однажды она

унесла какую-то еду, другие девушки видели кражу и прибежали ко мне; я просила их молчать: это не страшное преступление, но в военное время и еда является военным имуществом. Я тогда не знала, что за кражу военного имущества полагается расстрел, но чувствовала, что надо быть осторожными. Однако кто-то уже сболтнул. Женя попала в полицию, не тайную полевую, а обычную. Вскоре они благополучно вернулась, ее даже не уволили с работы, но она была очень подавлена. Потом она рассказала: немолодой полицейский съездил ей по физиономии, сказал, чтобы она больше не шкодила, и отпустил домой. «Лучше бы меня расстреляли», — сказала она; думаю, в этот момент искренне.

Мы тогда не знали, что пощечины были в Германии обычным методом воспитания собственных детей. Когда я уже жила в Германии и, окончив университет, до защиты второй диссертации преподавала русский язык в Марбургском университете, я как-то стояла на вокзале вместе с лектором польского и украинского языков, украинцем из Львова, и мы увидели, как какая-то немецкая мамаша съездила по физиономии своему семи-восемилетнему сыну. Мы оба невольно вздрогнули и переглянулись. Восточные «варвары» не били своих детей по лицу, считая это оскорблением личности. Тогда немолодой полицейский обошелся с Женей так же, как он бы обошелся со своей собственной дочерью, если б она совершила небольшой проступок. Он искренне считал, что поступил по-отечески с этой глупой девчонкой. Но мы этого не знали, и нам это казалось страшным оскорблением личности.

Пришел день, когда вдруг объявили, что сухого пайка давать не будут. Для многих работавших это был удар, особенно для одной немолодой женщины, видимо, с большой семьей. Она и некоторые другие заявили, что они тогда не будут работать. Всех брали на работу на добровольных началах, не было объявлено никакой рабочей повинности, но, когда работавшие захотели уйти, это оказалось невозможным, было расценено как некий мятеж. Приехал представитель политической полиции, крайне неприятный, именно такой, каким можно было себе представить гестаповца, грубый, неумный. Заводилу отказа, уже упомянутую немолодую женщину, он допрашивал особенно злобно и вызывающе спросил: «Что же, тебе хуже теперь жить, чем при советской власти?» Отчего все эти слуги идеологических диктатур непременно хотят, чтобы все считали себя ими осчастливленными, даже в то время, когда идет вой-

на, еще никогда не делавшая народы счастливыми? Женщина вызывающе ответила: «Конечно, хуже». Наученная прежним опытом, я не так перевела, а сказала что-то о трудностях военного времени. Но тут центр тяжести переместился неожиданно на меня: в дверь постучали, вошел ефрейтор, которого я встречала, но не обращала на него внимания. Он обратился к гестаповцу, игнорируя старшего офицера, капитана, который тоже находился в комнате, и сказал, что должен сделать заявление. Затем он обвинил меня, что я — советская шпионка, что я, мол, достаточно владею немецким языком и свободно передвигаюсь везде. Он был прав относительно того, что среди переводчиц было немало агентов, но относительно меня он был неправ. Глаза гестаповца перебежали с него на меня и обратно.

Капитан, прислушавшись, приказал ефрейтору выйти из помещения. Тот вытянулся, еще строже вытянул руки по швам, но не только не покинул помещения, но продолжал быстро и нервно говорить; гестаповец все подозрительнее смотрел на меня. Тогда капитан вдруг рявкнул страшным голосом: «Вон!» Ефрейтор согнулся и выскочил из двери. Затем капитан стал что-то тихо говорить гестаповцу. Этот офицер спас мне жизнь, так как если бы меня арестовали, то вряд ли стали бы особенно разбираться. Но происшествие это помогло и другим. Странно, но атмосфера точно разрядилась. Капитан сказал, что попробует выдавать снова продукты, а пожелавшие уйти с работы отказались от своего намерения. Сухие пайки снова начали выдавать, хотя и в меньшем размере, чем прежде. Скоро я с этим коллективом распрощалась.

В сельскохозяйственном отделе у меня почти не было работы, и я много читала, особенно по-немецки, чтобы усовершенствоваться в языке; кроме того, мне дарили интересные книги. Так я прочла книгу Альбрехта «Der verratene Sozialismus», название этой книги можно перевести по-русски «Социализм, который предали», иначе получилась бы смысловая двойственность. Альбрехт был немецким коммунистом, специалистом по лесному хозяйству. В 20-х годах он приехал в СССР и скоро сумел занять высокий пост как в Коминтерне, так в РКИ (рабоче-крестьянская инспекция). Он мог в то интернациональное время занимать пост в РКИ, не меняя советского гражданства: он оставался немецким гражданином. Как специалист по лесному хозяйству он ездил на лесоразработки и наткнулся на концлагерь. Альбрехт пришел в ужас и был уверен, что Сталин

не знает о такой непродуктивной трате рабочей силы. Этот аспект его, кажется, больше волновал, чем гуманитарные соображения. Во всяком случае, он именно в этом смысле писал Сталину, он все же понял, что если на Сталина что-то может подействовать, то никак не жалость к людям, а только практические соображения. Но и они не подействовали. С Альбрехтом стали происходить странные несчастные случаи, он почти что чудом спасался. Тогда его арестовали.

Шел уже 1934 год, в Германии Гитлер был у власти. Тем не менее, узнав об аресте Альбрехта, германское правительство энергично потребовало его освобождения и разрешения на выезд в Германию. В конце концов советское правительство согласилось, и Альбрехт смог уехать в Германию, но без своей русской жены и дочери. В Германии он сразу же попал в тюрьму, так как было подозрение, что он засланный агент, но его скоро выпустили, предложив, однако, покинуть Германию. Он уехал в Турцию и там написал свою книгу, ее издали в Германии. Так о советских концлагерях и тюрьмах я впервые прочла по-немецки. Речь шла, конечно, о начале 30-х годов, но система концлагерей была создана.

Затем в Псков попали изданные в Германии же по-русски книги И. Солоневича «Россия в концлагере» и «Бегство из советского рая». Эти талантливо написанные книги повествовали о том же периоде, И. Солоневич и его сын бежали через финскую границу в начале 30-х годов. Солоневич ярко показал оба типа коммунистов: уходивших в прошлое фанатиков-идеалистов и идущих им на смену функционеров. Трудно забыть откровенный ночной разговор автора, тогда заключенного, с одним из начальников лагеря накануне отставки последнего. «У вас есть семья, сын, а я все отдал революции», — сказал этот уходивший в прошлое революционер.

При этом я вовсе не хочу сказать, что фанатики-идеалисты были достойнее функционеров. Именно первые сделали революцию, без них она была бы невозможна. Тип функционера нашел бы себе место при любом строе, но в правовом государстве эти функционеры ограничены законом и в худшем случае могли бы делать мелкие пакости для собственной выгоды, так как у функционеров нет стремления исправлять мир, и потому они не подвергаются искушению ради этого «переступить через кровь» (как говорил Раскольников), они далеки от глобальной криминальной энергии фанатиков-идеалистов. На расчищенном последними месте они ус-

траивают свои дела, без жалости и снисхождения, но и без усердия и азарта. Почву им закономерно готовят идеалисты, обычно способные на жестокости, на которые часто не бывают способны даже функционеры: они ведь не для себя их творят, а для будущего всего человечества, для высокой идеи.

Мне было 13 лет, когда я читала столь популярную среди интеллигенции книжку Войнич «Овод», и я, конечно, увлеклась героем этой книги, таким замечательным революционером. Но увлечение это было пресечено одним ударом, когда Овод в разговоре с прелатом, своим отцом, говорит, что революционеры, убивающие людей, убивают не людей, а крыс. Как только такой идеалист какую-то часть людей, все равно кого и все равно по какому признаку, начинает причислять к крысам, кончается всякий идеализм и начинается кровавая каша, приближающая их собственную гибель. «Взявший меч от меча и погибнет». И тогда закономерен приход функционеров, уже никаким правом не ограниченных, так как «идеалисты» первые его поправили, исключив негодную им группу людей из того самого человечества, которое им хотелось спасти. Но неполное человечество уже не человечество, а монстр, тем более что исключенных, которых вначале казалось немного, становится все больше. Большинство революционеров прошло этот роковой и неизбежный путь на практике, но вот Белинский прошел его в теории, сказав, что готов уничтожить большую часть человечества, чтобы малейшая его часть стала счастливой. И мало кто из последующих революционеров задумывался над этой жуткой фразой. Им надо было начать уничтожать на практике...

Кто-то из немцев подарил мне «Mein Kampf». Мне было, конечно, интересно познакомиться с этой книгой. К моему удивлению, чтение ее с чисто языковой стороны продвигалось не без труда. Альбрехта я читала совершенно свободно, да и раньше уже свободно читала немецкую классику, и тем не менее... Но те же немцы мне потом объяснили, не «тем не менее», а именно поэтому: воспитанная на классике, я не так легко понимала корявый язык Гитлера. Но прежде чем попробовать читать подряд, я наугад открыла книгу и сразу же попала на то самое место, главу «Ost-orientierung oder Ostpolitik» («Восточная ориентация или восточная политика»).

Под «восточной политикой» он подразумевает политику Бисмарка, стремившегося к сотрудничеству и даже дружбе с Россией.

Правда, Бисмарк искал дружбы монархической Германии с монархической Россией, и как хорошо было бы, если бы преемники Бисмарка не переменяли круто линию германской политики! Гитлер же, равно как и в наше время западные политики и журналисты, не делал разницы между коммунистической или какой-либо другой Россией и спрашивал, следует ли искать сотрудничества с Россией как таковой или же выбрать «восточную ориентацию», под этим наименованием Гитлер понимал желание колонизировать Россию. Конечно, он отвергал первую возможность и высказывался за вторую. Гитлер считал, что русские не способны сами построить или сохранить государство. Построили его норманны (варяги), сохраняли потом немцы. После Октябрьской революции место немцев заняли евреи. Но, по мнению Гитлера, евреи — деструктивная нация, они не могут не только созидать, но и долгое время удерживать государство (Ветхого завета Гитлер, видимо, не читал). И дальше идет фраза, которую я даже выписала: «Das Riesenreich im Osten ist reif zum Zusammenbruch. Und das Ende der Judenherrschaft in Rußland wird auch das Ende Rußlands als Staat sein» («Огромная империя на востоке созрела для крушения, и конец господства евреев в России будет также концом России как государства»).

Эта глава меня глубоко возмутила: так, значит, отсутствие временного русского правительства, отсутствие желания сотрудничать с русскими антикоммунистами — это не только непонимание, незнание, ошибка, это совершенно сознательные планы, планы превратить Россию в колонию германской империи, планы, которые строил Гитлер 20 лет тому назад! Произошло ли что-либо с этого времени в уме самого автора и его окружения? Эти строки писал Гитлер, заключенный в крепости Ландсберг после неудавшегося вооруженного путча. С того времени прошли два десятилетия легальной борьбы за власть и затем нелегального преобразования легально достигнутой власти в диктатуру. Изменились ли изложенные в этой главе планы и взгляды на Россию за эти десятилетия? Актуальная германская политика указывала на то, что убеждения и планы Гитлера в отношении России не изменились. Но я была совершенно уверена в том, что Россия как государство не погибнет и что либо германское руководство это поймет и заключит союз с русскими антикоммунистами, либо война Германией будет проиграна. Много времени было уже упущено, теперь оставалось не так долго ждать решения.

В 1968 году А. Амальрик в своей брошюре «Доживет ли СССР до 1984 года?» повторил концепцию Гитлера относительно России, изменив в ней только характеристику евреев. Амальрик считает, что евреи не только не деструктивная нация, но, наоборот, весьма конструктивная, но теперь они начали покидать СССР, и после их отъезда СССР развалится, да и Россия погибнет. Амальрик, правда, связывал распад СССР с тем, что в середине 70-х годов разразится война между СССР и красным Китаем. Война не разразилась, но СССР распался.

Власовское движение

У меня сохранились записки того времени. Я постараюсь ориентироваться исключительно на эти записки, просто перепечатавая большую часть из них. Только там, где в моей памяти остались факты или тогдашние размышления, я буду дополнять записки. Так читатель сможет увидеть наше тогдашнее настроение, наши наивные представления, но и наши прозрения.

21 февраля 1943 года я записала: «В Смоленске появился Русский комитет. Еще месяц тому назад появились листовки с его программой, за подписью генерал-лейтенанта Власова и еще одного генерал-майора. Но мы мало обратили на это внимания, удивляясь, почему не извещают через газету. Но вот состоялись два собрания по поводу присоединения к этому Русскому комитету, были там представители от городского управления и еще другие лица. Но как-то все это странно делается, и почему это не объявляется во всеуслышание? На 5 марта снова назначено собрание. Эман пригласил папу, и я тоже пойду, интересно посмотреть, что это такое. Хорошо было бы, если б это все вылилось во что-нибудь серьезное, если б этот Русский комитет оказался на высоте своего положения и смог бы постепенно перейти в русское правительство».

11 марта 1943 года. «Была я на этом собрании: ну что ж, поговорили, показали хороший фильм, и больше ничего. Единственно, что мне там понравилось, — это выступление одного добровольца из Карамышева (местечко недалеко от Пскова. — В. П.). Это был настоящий деревенский парень, а между тем как осмысленно он говорил, прямо-таки любо было слушать, если б у нас побольше было таких людей. Печально, что всю эту инициативную группу возглавляет Хроменко. Ему не верят, да и трудно верить.

Я слышала разговоры: «Ну вот, все те же люди и при советской власти, и теперь». И в самом деле, тяжело идти за человеком, который еще недавно писал хвалебные статьи Сталину и работал по коллективизации. И так больно и тяжело, что не нашлось других идейных и честных энергичных людей, способных возглавить это дело. Вот и глава Русского комитета — Власов, что представляет он собой? Генерал-лейтенант при советской власти, член компартии, сражался до последнего момента в Красной армии, попал в плен. И вот теперь он призывает к борьбе с большевизмом, становится во главе Русского комитета. Можно ли ему верить? Можно ли? Тяжелый вопрос. Между тем об этом комитете все больше и больше говорят и пишут, точно так же как и о Русской освободительной армии, теперь уже не добровольческие отряды, а Русская добровольческая освободительная армия. Издаются даже две газеты: «Доброволец» и «Заря» — органы Русской освободительной армии. Вот в этой «Заре» и было напечатано открытое письмо Власова. Вообще обещают, что скоро, скоро комитет оформится окончательно и вступит в роль чего-то вроде русского правительства. В этой же «Заре» пишут так, что создается впечатление, как будто армия эта уже довольно велика, у нее есть единое командование и вообще дело уже налажено. Ну, дай Бог. Итак, как ни трудно верить этим руководителям из бывших советских, но других нет, а делать что-то надо, что-то хочется, невозможно сидеть сложа руки.

И вот мы с Люсей 9 марта отравились к Хроменко с вопросом, что же делать практически. Он говорит, что нужна организация молодежи, и в этом он прав. Они собираются устроить клуб молодежи, но, кроме этого, нужна политическая организация».

Отмечу здесь, что Хроменко редактировал или соредктировал местную газету «Псковский колхозник» и был членом горкома партии. Он не бежал, когда советские войска отступали. Отступление шло так быстро, что он мог и не успеть бежать, но если он остался сознательно, то трудно сказать, что им руководило. Так или иначе, он сразу же полностью приспособился, написал и сумел напечатать брошюрку «Вечное зло», сугубо антисемитскую. К моему изумлению, предисловие к ней написал знакомый нам врач, которого мы считали порядочным человеком, но это было до оккупации, потом наши отношения резко разладились. Я этой брошюрки не читала, мне она была противна, а пожалуй, следовало бы про-

честь. Должна, однако, сказать, что потом, когда мы начали сотрудничать, а также в инициативных группах Власовского движения Хроменко никаких антисемитских высказываний никогда не делал, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Также и эта брошюрка не играла никакой роли. Она просто исчезла, и я на время о ней совсем забыла. Зато на Хроменко я тогда могла бы наблюдать вполне современное явление — перевоплощение коммуниста в националиста. Любимым выражением Хроменко, которое он повторял до полного пресыщения, было «национально мыслящие». Но тогда я еще не думала о том, что это личное перевоплощение может стать типичным явлением будущего, я только морщилась, когда именно Хроменко, подняв указательный палец, начинал свои наставления о «национально мыслящих».

28 марта 1943 года. Давно я не писала в дневник, а между тем сколько бурных событий пронеслось за это время, и окончательных результатов их я еще не знаю, да как же говорить об окончательных результатах, когда это вообще только начало. Но всего было так много, а я так давно не писала, попробую начать сначала. Итак, Хроменко сказал нам собрать группу молодежи для первого организационного собрания или беседы. Мы должны были прийти к нему в пятницу 12-го. Мы не пошли, так как собрали слишком мало людей, но отправились к нему в понедельник. Потом я об этом очень жалела, так как было общее со всех округов собрание и Хроменко хотел пригласить и меня. На собрание мы не попали, но резолюцию Хроменко дал мне прочесть, она, возможно, по его словам, пойдет в Берлин. Ну что ж, в общем, ничего. Так, есть интересное место: они пишут, что было бы хорошо, если бы Германия опубликовала декларацию, в которой опровергалась бы советская ложь о том, что Германия посягает на нашу территорию и на нашу самостоятельность. Но может ли Германия опубликовать такую декларацию? В этом все дело, может ли? Насчет второго пункта, самостоятельности, я думаю — да, насчет первого — нет. Она определенно посягает на часть нашей территории, я повторяю: на часть.

Хроменко сказал, чтобы собрали людей, сколько есть, и пришли к нему в среду. К нашему несчастью, на среду студенты договорились идти в кино, а ведь как это ни горько, может быть, но кино важнее всего, даже вопроса возрождения Родины. В результате мы пошли впятером. Четыре девушки и один юноша. Там, кро-

ме Хроменко, были незнакомый нам немолодой человек, рекомендовавшийся профессором Андриевским, а также неизвестный молодой человек, оказавшийся русским эмигрантом (фамилии до сих пор не могу вспомнить), Блюм, руководитель радиоузла, и еще два человека из местных деятелей. Сначала Хроменко начал давать нам длинные инструкции, что надо говорить, если мы вздумаем пропагандировать. Слушать было крайне скучно, мне всего этого не надо было, я знала это слишком хорошо. Но вот в разговор вступил профессор Андриевский, и все изменилось, началась оживленная беседа по душам, чувствовалось, что тебя понимают, и ты понимаешь своих собеседников, и царствуют полное единодушие и единомыслие. Андриевский рассказывал много интересного. Он читал лекции на курсах добровольцев, и там же читал полковник Боярский, тоже бывший советский полковник, попавший в плен и присоединившийся к антибольшевистскому движению, теперь он правая рука Власова. По словам профессора Андриевского, там идет большое дело. Все эти люди, бывшие советские командиры, действительно убежденные противники большевизма, и им можно верить. Боярский рассказал также и что делается на советской стороне, кое-что из того рассказал нам профессор, но здесь я этого воспроизводить не буду, для меня это не ново. Посмеялись над теми, кто думает, что Германия хочет из нас сделать колонию; это невозможно, да об этом там и не думают, сказал Андриевский. Но снова мелькнула фраза: мир без аннексий и контрибуций. Так ли? Но, во всяком случае, я вышла с этого собрания воодушевленная и окрыленная новыми надеждами. Мне казалось, что нашлись хорошие русские люди и начинается что-то действительно серьезное. Профессор Андриевский говорил еще, что эти добровольцы приходили на курсы колеблющимися и сомневающимися, а уходили убежденными и воодушевленными».

Может быть, читатель теперь, когда известны многие документы, найдет странным, что мы тогда были уверены в отсутствии претензий со стороны нацистской Германии колонизировать Россию или, во всяком случае, Украину и значительную часть России. Но сегодняшние читатели должны попробовать перенестись в нашу ситуацию. Мы росли под сталинской диктатурой среди почти тотальной лжи и полной дезинформации. Мы, двадцатилетние, мало что знали, однако у нас было достаточно здравого смысла, чтобы понимать полную абсурдность возможных притязаний Гер-

мании на колонизацию России. Мы все время ошибались, думая, что ведь и в западных странах должны быть здравомыслящие люди, знающие историю, знающие, например, историю похода Наполеона на Россию. С нашей стороны это было понятно. Но тот, кто называл себя профессором Андриевским, жил, видимо, многие годы в эмиграции в Германии. Неужели он тоже не знал о планах Гитлера? Или он сознательно говорил то, что ему было приказано? Я не знаю, кто он был на самом деле, никогда его больше не встречала и ничего о нем не слышала.

Если отвлечься от воспоминаний более чем пятидесятилетней давности, можно задать себе вопрос: отчего в Западной Европе никак не издается тенденция как-то завладеть Россией, командовать ею? В то время это выражалось в грубой форме. Уже после войны мне рассказывала дочь одного немецкого офицера, родом из Прибалтики, что один из его товарищей-офицеров сказал ему, что они, мол, загонят русских за Урал и там они могут быть самостоятельными, а европейскую Россию они будут контролировать. Отец моей знакомой спросил его, посчитал ли он, сколько квадратных километров им придется контролировать, и хватит ли у Германии мужского населения для этого? Только тогда этот офицер вдруг задумался. После трех лет войны, еще на территории России, немецкие солдаты рассказывали такой анекдот: Германия победила, Гитлер принимает парад, прошли механизированные, танковые войска, он их приветствует, они отвечают, но вот идет усталая пехота, солдаты все бородатые. Гитлер их приветствует. Они молчат. Он кричит еще раз. Они молчат. Тогда Геринг наклоняется к нему и говорит: «Мой фюрер, приветствуйте их по-русски, они уже забыли немецкий язык». В этом анекдоте нашла свое выражение интуиция огромной интеграционной силы России, умевшей вбирать в себя различные иностранные элементы. И тем не менее стремление к своего рода колонизации России не прошло до сих пор. Эти строки пишутся в 1996 году, и вот несколько лет тому назад, уже после августа 91-го, известный немецкий журналист Герберт Кремп писал в газете «Ди вельт» тоном обиженного недоумения: «Мы думали, что Россия будет теперь делать все, что ей скажут США, а она хочет иметь *собственную* (выделено мной. — В. П.) внешнюю политику». Дело не в том, хорошая это политика или плохая, умная или глупая, нет, Россия вообще не должна иметь собственной политики, она должна слушаться США. Это ведь тоже своего рода «мягкая» коло-

низация России. Отсюда и разочарование западных держав в Ельцине, и их первоначальная ставка на Явлинского, который якобы будет во всем слушаться США. Но на самом деле Россия ни при каком президенте не будет во всем слушаться США или какой-либо другой державы. Западу следовало бы наконец отказаться от своих химерных колонизационных мечтаний.

«Через день, в пятницу, состоялось очередное собрание актива. На этом собрании до обеда должны были сделать доклады руководители отдельных секторов, созданных при инициативной группе. Первым говорил старший лейтенант Федоров, руководитель военного сектора. Это немолодой, очень симпатичный человек. Говорил он о создании добровольческих отрядов в Пскове и о создании курсов сестер милосердия. Затем выступал руководитель секции пропаганды и агитации — архитектор Сабуров; говорил весьма бледно, перечислил какие-то достижения, сказал, что имеется состав лекторов, беседчиков и докладчиков, но по существу не сказал ничего. Затем выступал руководитель секции работы с населением — о. Георгий Бенигсен.

Он говорил хорошо, с литературной точки зрения лучше всех остальных. Говорил о необходимости организации помощи населению, тоже об организации курсов сестер милосердия и о помощи семьям добровольцев, особенно павших. После него говорил руководитель секции работы с молодежью Блюм. Он говорил о том, что предполагается открыть клуб молодежи, что он будет открыт уже в воскресенье. Он все настаивал на том, что сейчас нужно к молодежи подходить осторожно, не нужно ее слишком занимать политикой, а то можно отпугнуть, а вот заниматься физкультурой и другими кружками. Я возразила на это, сказав, что сейчас слишком острый момент, чтобы заниматься только этим, что время не ждет и что молодежь ищет разрешения текущих вопросов. Я согласилась с Черепенькиным (тогдашний бургомистр Пскова. — В. П.), который заявил, что, по существу, у нас сейчас нет человека, который бы мог руководить молодежью, и указал как на возможного руководителя на профессора Андриевского. Со мной многие согласились, в частности, этот молодой эмигрант и одна девушка, Раиса Матвеева, оказавшаяся тоже эмигранткой из Нарвы. На этом первая часть собрания закончилась, во второй после обеда предполагалось обсуждение отдельных докладов.

Но когда мы пришли после обеда, то увидели людей, сидящих за столом, а на столе — водку и закуску. И все переговоры свелись к пустой болтовне. Между прочим, когда я спросила Сабурова, как можно работать в его секции, он ответил: «Еще ничего нет, ничего не готово, мы вас известим», — полное противоречие с его докладом. Прошло уже две недели, и ничего не слышно. Кроме того, в тот же день договорились с Матвеевой собраться в понедельник у нее и обо всем поговорить».

Добавлю к этой записи, что о. Георгий Бенигсен был тоже из русских эмигрантов, приехавших во Псков из Эстонии. Священников в Пскове не осталось, и когда при оккупации стали открываться церкви, в том числе и Троицкий собор, то приехали православные священники из Прибалтики, преимущественно из Эстонии, они были членами так называемой духовной миссии.

2 апреля 1943 года. «К Матвеевой мы пришли с Таней, там был еще тот же молодой эмигрант. Я поняла Матвееву так, что мы поговорим о практической работе с молодежью и с детьми, но все снова вылилось в пустопорожний разговор. Оба они проектировали дальнейшие такие небольшие собрания, где, как говорил эмигрант, мы должны подготовить сами себя к руководству молодежью и разрешить ряд философских и политических вопросов. Все это очень хорошо звучит, но, судя по всему тону разговора, я поняла, что они хотят учить и наставлять нас. Они считают себя безусловно более «подкованными» (по их выражению) и думают, что должны нас учить. Я согласна, что по философии, да и политике они имели возможность читать гораздо больше и, по видимому, действительно были более начитанны. Но они не прошли той тяжелой школы, которую прошли мы, они не знают так, как мы, всех условий советской жизни. Так или иначе, худо или хорошо, но я сама обдумала все эти вопросы, нашла на них для себя ответы и могу переменить или дополнить их лишь под влиянием каких-нибудь новых фактических данных и лишь вследствие длинного рассуждения с самой собой, внимательного обдумывания новых фактов. Учиться же у молодых эмигрантов я совсем не склонна. Кроме того, все они, даже наиболее понимающие нынешнее положение, все-таки еще живут загипнотизированными мыслями о Великой России. И не могут понять, что сейчас речь идет о том, чтобы сохранить или, вернее, создать хоть какую-нибудь Россию, спасти душу русского народа. Сейчас нельзя гово-

речь о Великой России, нельзя пропагандировать великодержавный национализм, действовать на два фронта или же сразу после окончания войны с большевизмом пропагандировать новую войну. Надо посвящать себя созидательной работе, наша страна настолько богата, что, если мы будем работать, мы сможем создать еще великое государство».

Тогда я еще не знала, что все эти эмигранты принадлежали к партии НТС (народно-трудовой союз, или партия солидаристов). Я это узнала несколько позже и довольно скоро поняла характер этой партии: это была партия типа коммунистической. У них была другая идеология, но та же структура. Передо мной был тип комсомольцев, не интересующихся обсуждением проблем, а интересующихся лишь вербовкой новых членов. Кроме того, их тактикой была инфильтрация в другие группы и движения. Впоследствии я видела, как они инфильтрировали разные возникавшие движения. Я упоминала одну молодую даму, русскую из Эстонии, которой было тяжело слушать, как немолодая русская из той же Эстонии говорила мне о том, что все мы якобы косоглазые. С этой дамой я тогда подружилась, звали ее Тамара Петровна Лабутина. Только позже я узнала, что она тоже солидаристка. Она была осторожна в этом отношении. Ей тогда было 30 лет, а мне 20. Она была замужем и очень огорчалась, что не может иметь детей. Несколько позже она познакомила меня со своим мужем, он был... в форме СС. Я тогда плохо отличала эту форму от военной, но Лабутин, видимо, считал долгом оправдаться, он однажды очень горячо воскликнул: «Я ненавижу эту форму, но партия приказала войти в эту организацию. Я сделал это по приказу партии». «Партия» — партия солидаристов. Тогда говорили, что некоторых своих членов партия засылает в СС, другим же давали поручение раздавать антинацистские листовки с риском быть арестованными, причем некоторые и были арестованы, попав в концлагерь. Делалось это якобы для того, чтобы иметь козырь как в стане немцев в случае их победы, так и в лагере союзников, если победят они. После войны солидаристы категорически отрицали, что засылали своих членов в СС. У меня нет доказательств ни для того, ни для другого, здесь я записываю лишь то, что видела и слышала.

Что касается Власовского движения, то мне было непонятно, как некоторые его представители хотят вести это движение под чисто национальными лозунгами. Если б это было начало 30-х го-

дов, когда российских полководцев называли «псами кровавого царизма», тогда национальные лозунги могли бы быть зажигательными. Но Сталин ловко перестроился. Тогда были уже ордена Суворова и Кутузова, пропаганда делала ставку не на мировой коммунизм, а на защиту родины, и в известном смысле ей нельзя было отказать в истинности: противник не был благородным освободителем. Власовское движение могло, по моему мнению, противопоставить лишь лозунг свободы и социальности. Только это могло оправдать временный союз с внешним противником. Но солидаристы вводили во Власовское движение чисто национальные лозунги, и стали приходить сведения, что некоторые выпускники власовских курсов под влиянием националистических лозунгов уходят к советским партизанам сразу же после окончания этих курсов, что, конечно, не увеличивало готовности немцев дать Власовскому движению полную силу.

«Так или иначе, я хочу еще раз посетить Матвееву и потолковать с ней по душам. Итак, после этого собрания я рвалась к работе. Была я у Хроменко, он не сказал ничего определенного, но хотел лично меня перевести на работу в Псковский отдел редакции рижской газеты «За Родину», он возглавлял этот отдел, а пока предложил мне писать репортажи в газету. Он хотел получать хронику о работе в деревне. Но из этого у меня ничего не вышло, так как Дункер (немецкий начальник) запрещает писать что-либо о работе в деревне. Кроме того, Хроменко обещал устроить собрание молодежи, на котором я все время настаивала. Затем мы были у Блюма, этот отозвался крайне пренебрежительно об идее такого собрания, но заявил, что можно вести работу в отдельных учебных заведениях, на отдельных предприятиях. Мы было уже совсем договорились, что он на днях придет на наши курсы, чтобы провести там своего рода политическую беседу. Он только просил нас поставить в известность немецкого начальника, который заведует всем этим. Мы пошли к нему и узнали от него, что клуба молодежи еще пока открывать нельзя, так как он еще не получил ответа от высшего начальства на свой запрос по этому поводу, но ячейковую работу вести уже можно, вот завтра будет у него совещание с некоторыми из русских, и тогда наметят путь работы. Но когда мы на другой день пошли к Блюму, он заявил, что многие высказываются сейчас против политической работы среди молодежи, чтобы не отпугнуть ее. Вот тебе и раз! Опять все сначала, и кто это отстаивает

эту точку зрения! Одним словом, нам было недвусмысленно дано понять, что, мол, лучше не ходите и не надоедайте нам, а ждите, вы, мол, скоро о нас услышите. Он хочет иметь руководителя, свободного от всякой другой работы, и говорит, что им может быть этот эмигрант, что мне совсем не нравится. Итак, мы пошли домой и стали ждать. Но только ждать я не могла и зашла все же к Хроменко, ответ все тот же: ждать. Но мы с ним впервые разговорились на общие политические темы, и... он мне очень не понравился. Мне он показался прежде всего человеком недалеким и человеком фразы. Вообще, он слишком пропитан большевизмом, настолько, что освободиться от него он, видимо, уже не может. И в новое дело он вкладывает форму, методы и формулировки, пропитанные духом большевизма. Я чувствую, что мы еще придем к столкновению. Я не собираюсь только внимать и принимать к сведению, мои мнения слишком определены, и я слишком убеждена в них».

20 апреля 1943 года. *«По существу, следовало бы чаще писать в дневник, слишком много всего, и задним числом невозможно все описать. Коротко: началась, видимо, активная деятельность. Уже прошли два собрания молодежи, одно небольшое, а другое большое, общее, в театре, то есть такое, о котором я давно говорила. И на этом собрании было мое выступление, моя первая, хоть и небольшая речь. Я сильно волновалась, так как совсем мало готовилась, но все же была во много раз спокойнее, чем, например, при первом экзамене в университете. Однако это внутреннее волнение, которое возникло оттого, что все то, о чем я говорила, так наболело во мне, придавало моей речи горячность, и она, кажется, импонировала. Я уже много слышала не только одобрительные, но даже восторженные отзывы о ней. Это, конечно, радовало.*

Затем, я перехожу работать в Псковский отдел редакции. Это значит, что я включаюсь уже целиком и полностью в работу инициативной группы. Я вспомнила свои сомнения относительно всей группы вообще и Хроменко в частности. Эти сомнения где-то глубоко, глубоко у меня лежат и сейчас. Работа идет, развивается по тому пути, по которому мне как будто бы и хотелось, массовые собрания, новый журнал под названием «Новая Россия» (журнал так и не вышел в свет. — В. П.). Но тем не менее мне как-то не радостно, не весело на душе, а, наоборот, немного грустно... Но надо войти в это движение и поработать. У меня

сейчас нет экстаза и слишком большого воодушевления, но есть упорное желание работать. Интересно, что представляет собой Власов, ведь он, по-существу, сейчас наш руководитель. Ну да это, вероятно, скоро выяснится».

1 мая 1943 года. «Попробую дать краткую сводку всего пережитого и передуманного в эти дни. Я ничего не писала о том, что мы перед Пасхой провели сбор подарков и средств на подарки для солдат Русской освободительной армии. Набрали порядочно и распределили их таким образом: деньги на пасху, куличи, яйца, это все снесли в лазарет и устроили встречу между находившимися здесь ранеными добровольцами и инициативной группой. Подарки, полученные вещами, запаковали, чтобы отправить их в части, стоящие на фронте. В каждый пакетик было вложено по красному яичку. Все эти сборы, устройство, печение и варение доставили, конечно, много хлопот и беготни. Деньги были пожертвованы уже возникшими в Пскове купцами. Хорошее впечатление было от посещения лазарета с русскими ранеными добровольцами в первый день Пасхи. Они были очень рады, и так приятно было видеть нам самим их довольные лица».

Отмечу здесь, что среди немецких частей были русские добровольцы, готовые сражаться против коммунизма. Официально нацистское правительство не разрешало давать русским в руки оружие, но офицеры вермахта часто нарушали этот запрет. Напомню еще раз: армия была прежняя. За 6 лет Гитлер даже не мог начать ее перетрясать, тем более что он с самого начала готовился к войне и знал, что армия будет ему нужна. Власов потом очень удивлялся той независимости, какую проявляли военные, часто не слушаясь партийного руководства.

Но продолжаю цитирование своих записок.

«На второй день Пасхи мы должны были выехать в Дно для передачи остальных подарков. Нам сказали, что около Дна недалеко стоит одна часть. В Дно должны были выехать Люся, я и Боженко. О Боженко я знала только, что он пропагандист, и мама раз слышала его речь по радио, ей очень понравилось. Боженко был старшим лейтенантом и недавно вернулся из поездки по Германии вместе с еще одиннадцатью офицерами».

Здесь я снова прервусь, чтобы рассказать об Иване Семеновиче Боженко то, что он о себе рассказывал и что в мои тогдашние записки не вошло. Когда мы познакомились, Ивану Семенычу было

47 лет, тем не менее он в начале войны был призван в советскую армию. Он рассказывал, что подростком он по тогдашней моде русской молодежи из интеллигенции вращался в каких-то революционных кружках. Когда был убит Столыпин, ему было 15 лет, и при первой же встрече с руководителем его революционного кружка он с мальчишеским задором воскликнул: «Это хорошо, что убили Столыпина, но надо было бы убить Николая II!» Руководитель усмехнулся и ответил: «Нет, Николай нам не помешает, а Столыпин отодвинул бы нашу революцию надолго». Мальчика вдруг как обожгло, как от блеска молнии, перед ним осветилась вся картина: они вовсе не хотят блага народа, они хотят только своей революции! Он отошел от революционеров, и гражданская война застала его уже в рядах Белой армии. Каким образом он не бежал за границу с отступавшими белыми, я не знаю, но, оставшись в стране, он скрывался, кочуя по огромной территории от западных до дальневосточных районов. Как только у него создавалось чувство, что местные ЧК, ГПУ, НКВД начинают им заниматься, он снимался с места и переселялся куда-нибудь подальше. Так он уцелел. Не только мы, юные антикоммунисты, но и более пожилые и опытные люди были уверены, что сразу же образуются сначала отряды, а потом и армия, и временное русское правительство для борьбы против коммунизма, что Германия заключит с этим правительством союз и внешняя война перейдет в новую гражданскую, которая долго не продлится: слишком уж много народа, особенно огромная масса крестьянства, ненавидят советскую власть. На фронте, когда советская армия в очередной раз отступала, не сговариваясь, целая группа солдат, приблизительно 300 человек, залегли в кустах. Они решили сдаться, но именно затем, чтобы взять в руки оружие и бороться против коммунистической диктатуры.

Один из этих людей все время просил о возможности поговорить с каким-нибудь старшим немецким офицером. Ему отказывали. Наконец, когда он совсем ослабел от голода, к нему все же привели офицера. Умиравший сказал ему, что он военный инженер и строил какое-то укрепление, он хочет открыть его планы, он так ненавидит советскую власть, что ему все равно, только бы погибла коммунистическая диктатура. Немецкий офицер был потрясен. Он сказал, что его переведут в лазарет и выйдут, но умирающий ответил, что уже поздно. Было в самом деле поздно. Он умер. Формально он, конечно, был предателем, но для того, чтобы его понять, надо было

пережить расстрелы и концлагеря для многих и многих миллионов, страшную голодную смерть всех, в том числе женщин и детей, минимум 14 миллионов крестьян, жуткую, удушающую ложь всей жизни, ее гнетущий страх. Да и «мертвые сраму не имут» — за свои убеждения он заложил свою жизнь, но своей смертью он спас других: высшее воениное начальство обратило внимание на этот лагерь. Очень многие были просто отпущены на свободу, в том числе и И. С.

На этом месте мне хочется сделать еще одно отступление. Как-то Т. П. Лабутина, о которой я уже упоминала, рассказала мне, захлебываясь от гнева, что она познакомилась с немолодой женщиной-врачом, которая не может видеть русских в военной форме, все равно какой, в том числе и власовцев, а на немецких солдат смотрит спокойно. Я заинтересовалась этой женщиной и познакомилась с ней. Это была скромная, видимо, очень нервная женщина. Извиняющимся тоном она рассказала мне, что чекисты — русские в форме — расстреляли на ее глазах мужа и двух сыновей. «Теперь, если я вижу человека в форме и слышу, что он говорит по-русски, я начинаю дрожать. Я понимаю, что власовцы хотят совсем другого, разумом я это понимаю, но со своим чувством я ничего не могу поделать, я начинаю дрожать. А одна молодая дама на меня так напала!» Я ответила: «Не обращайтесь на нее внимания, она ничего не понимает».

Возвращаюсь к своим запискам.

26 апреля. *«Утром мы выехали, часов около четырех приехали. В Дне мы остановились у председателя тамошней инициативной группы. Он был очень гостеприимным хозяином и оказался, как многие прежние интеллигенты, страшным любителем поговорить, а он типичный их представитель. Еще не излечился от гипноза коммунизма, конечно, идеального коммунизма, далекого, по его мнению, от большевизма. Хочет после войны в России устроить Учредительное собрание, старые демократические глупости. Зато с Боженко мы сходимся почти по всем вопросам. И как отрадно было встретить такого человека. Иногда даже странно было, как наши мысли сходились. Он — за разумного диктатора, и мы с ним даже договорились до правительственной партии, против которой, кажется, возражает Хроменко, но к которой мы все равно придем логическим ходом событий. Неясные контуры ее уже намечаются в лице наших инициативных групп, или, как*

это теперь будет называться, Союза содействию русскому освободительному движению. Хотят ввести уже членские билеты и значки. Боженко против монархии именно из-за престолонаследия, против коммунизма как такового. Да и много, много у нас общего».

Здесь снова прервусь, чтобы дать некоторые разъяснения. Когда Солженицын, выехав за границу, стал говорить об авторитарном переходном периоде в России, я вспомнила наши тогдашние рассуждения. Видимо, люди, прошедшие через сталинскую диктатуру, не представляют себе выхода без хотя бы временного «разумного» диктатора. Ни разница в годах и опыте (Боженко был старше меня на 27 лет), ни разница в годах ухода, бегства или высылки из СССР не составляют разницы. Кроме того, неудача первой русской беззубой февральской демократии во всех нас сидела неизбывным шок-ом, а потому очень многие из нас относились к демократии отрицательно, особенно на первых порах. Вся беда только в вопросе: а как найти такого «разумного» диктатора, и какие критерии следует применять в этих поисках, и кто будет определять, разумен он или нет? Иной стране посчастливится, к власти придет такой диктатор, как, скажем, Франко или Салазар, который сумеет вернуть стране нормальные структуры власти после смерти или при жизни, как Пиночет. А если придет такой, как Сталин или Гитлер? Выбирать диктатора невозможно, это дело обстоятельств и счастья или воли Божьей. Но тогда у меня было слишком мало опыта и знаний, чтобы все это обдумать. Что касается до правительственной партии, то она приемлема только, если есть и разрешаются другие партии, и одна из них может в свое время сама стать новой правительственной партией. Но одна единственная правительственная партия в сочетании с диктатором — вещь в высшей степени опасная. Что же касается до престолонаследия, то я лично знала тогда только один жизненный принцип, которым, однако, в наше время руководствуется большинство людей, — принцип заслуг. Очень ярко выразил его Марк Твен, удивлявшийся англичанам, стоявшим перед дворцом и ждавшим выхода принца Уэльского, который был тогда мальчиком-подростком. А чем он заслужил народную любовь? Удивлялся американец: он еще ничего не мог сделать для страны, он еще ребенок. Но тут вступал в силу иной принцип — принцип бытия. С точки зрения чисто рационалистического мышления в самом деле нельзя понять, отчего именно старший сын или старшая дочь царствующего монарха окажутся особенно приспособленными для уп-

равления страной, да и вообще, отчего это должно быть чадо монарха? Но тогда монархия вообще отпадает, тогда лучше ввести президентскую республику. Выборные монархии в истории бывали, но монархи были уже тогда или исключительно полководцами, как князья в древнем Новгороде, или играли представительскую роль, как короли в Польше. Престолонаследие покоится на более глубоком принципе — на принципе бытия, принять который сознательно может, по существу, только верующий человек, но это принцип, изгнать который из жизни полностью нельзя, как бы ни возмущалось против него рациональное сознание. Всего этого я еще не знала и не понимала.

«Боженко в Берлине видел два раза Власова, беседовал с ним и много нам порассказал. И, откровенно говоря, это было не очень утешительно. Из его рассказов я вывела заключение, что Власов держится слишком заносчиво по отношению к немцам и слишком много требует. Территориальные уступки Власов отрицал, и Боженко сказал еще такую фразу: «Мы заплатим, но не репарационными платежами, а тесным торговым сотрудничеством». Торговое сотрудничество не плата, оно нужно как Германии, так и России, не нужно слишком гордиться своим богатством, страна слишком разорена. Боженко жаловался, что немцы не дают полной власти комитету, а последний не дает широких программ, и это тормозит все движение. Я ему сказала, что, пока Власов не пойдет на территориальные уступки, немцы и не дадут ему всей власти и эти уступки надо сделать. Он со мной согласился».

Здесь мне придется дать разъяснения по поводу моих слов о территориальных уступках, которые для многих прозвучат ужасно. Я уже писала о том, что духовное спасение, спасение души народа стояло для меня во главе угла. Материально для великой цели свержения тоталитарной коммунистической диктатуры и раскрепощения духа народа от лжи и тотального подчинения сознания одной, да к тому же порочной идеологии можно было заплатить много. В качестве долговременных территориальных уступок мне представлялся небольшой кусочек малозаселенной земли, с которой по договоренности и вполне обеспеченным образом было бы переселено в другие места то небольшое количество населения, которое там жило. Это были малореальные представления уже потому, что Германия не граничила с Россией, а распоряжаться землями Польши или Литвы мы не имели права. Кроме того, я не пред-

ставляла себе ясно, какие земли и какое их количество, собственно говоря, хотел Гитлер. Странно, что мои тогдашние, неясно мелькавшие перед моим взором представления осуществились в ходе Второй мировой войны, но с обратным знаком: уступить участки земли, и даже немалые, пришлось Германии, считавшейся столь перенаселенной, а жители этих земель были с них не цивилизованно переселены, а изгнаны самым ужасным образом. И все это Германия переварила и стала одной из самых зажиточных стран Европы.

Но, кроме таких неясных представлений постоянной отдачи больших и мало заселенных участков, я иногда говорила власовцам: «Поступайте, как Ленин, обещайте на бумаге все, если они хотят, то всю Украину, которую мы, конечно, не имеем права никому отдавать, но ведь мы все возьмем обратно! Где же Германии удержать всю Украину, а сейчас надо, чтобы немцы дали Власовскому движению свободу действий». Но, конечно, никто из моих собеседников не принимал всерьез такие «глупости».

«В связи с еще кое-какими вопросами наш гостеприимный хозяин сказал, что Власов не политик, и Боженко согласился с этим. Вообще Боженко говорил, что должен же русский народ выдвинуть из своей среды вождя. Из этого ясно, что он не считает Власова вождем. Тяжело все это. Стали перебирать людей инициативной группы, это, казалось бы, лучшие люди, а между тем... Тяжело, людей нет. «Наше движение развивается как трагедия», — сказал Боженко. Но тем не менее работать и работать. Боженко пообещал установить со мной полный контакт в работе, мы одинаково мыслим.»

Из Дна мы вернулись 28 апреля, а 29-го вечером я узнала, что Власов в Пскове и что завтра на торжественном заседании, посвященном 1 мая, он будет говорить. С волнением и страхом пошла я на это собрание, да, страхом: какое будет впечатление? Обстановка была торжественная, и встречали его тоже торжественно, немцы сумели обставить красиво. Основной доклад делал Боженко. Хорошо он говорит. Я не написала еще, как прошло собрание в Дне, где он делал доклад. Какой контакт у него установился со слушателями! С каким напряженным вниманием они его слушали, и, что удивительнее и отраднее всего, в некоторых местах раздавались восклицания: «Правильно!», и речь его прерывалась аплодисментами. Это я наблюдала первый раз. И в Пскове он говорил хорошо, не скажу, что нельзя было лучше, но хорошо.»

Затем выступил Власов. Что я могу сказать? Грубовато и со странными историческими параллелями. Так, он сказал, что Россия освободила Германию от Наполеона в 1814 году, а теперь Германия должна освободить нас. Думается, что у Германии нет долга освобождать нас от нашей внутренней диктатуры, другое дело, что ради себя самой она должна была бы заключить с нами союз и освободить нас от диктатуры, стремящейся к мировому господству. Между прочим, он сказал: «Говорят, что Германии тесно, что у нее слишком маленькая территория, а у нас слишком много, так, пожалуйста, прежние границы не будут, да и вообще понятия о границах надо изменить». Как это понимать? Немного туманно. Во время его речи я часто задавала себе вопрос: ненавидит ли он коммунизм так, как, по существу, должен был бы ненавидеть, и с горечью ответила себе: нет. Может быть, я ошибаюсь? Дай-то Бог».

Не помню, отчего в мои записки не вошли два места из речи Власова, которые мы обсуждали в нашей маленькой редакции и должны были вынуть из этой речи, когда мы ее редактировали для печати. Власов воскликнул с воодушевлением: «Я за сталинскую Конституцию. Если б она выполнялась!» То есть как это? В сталинской Конституции были записаны колхозы, от которых тогда минимум 90% крестьян хотели избавиться как можно скорее. Там было записано руководство одной-единственной партии, а именно коммунистической, не так подчеркнуто и развернуто, как в брежневской, но все же было записано. Власова, конечно, сбила с толку та статья, которая и через десятки лет сбивала с толку и диссидентов уже в брежневской Конституции, именно знаменитая статья о свободах. Он тоже не заметил ее преамбулы, где все перечисленные ниже свободы сводились к нулю, так как там стояло: «В целях укрепления и расширения социализма». Мне уже приходилось писать об этом. Я сама тогда этой преамбулы еще не уразумела, но меня огорчило, что крестьянский сын Власов уже до такой степени потерял связь с крестьянством, что мог не обратить внимания на увековечивание в Конституции ненавистных крестьянству колхозов.

Вторым неудачным пунктом речи Власова был его рассказ о том, что еще до того, как его 2-я ударная армия была окружена немцами под Волховом, ему позвонила жена и сказала, что в их квартире был обыск. Когда я выходила из зала, я слышала, как некоторые говорили, что он, видимо, не по убеждению идет теперь

против коммунистов, а потому, что уже до разгрома его армии он оказался на подозрении, а после потери армии и плена он не мог рассчитывать на милость Сталина, у него не было выхода. Справедливы были эти разговоры или нет, но ради пользы дела мы предпочли бы, чтобы он этого эпизода не рассказывал. Кстати, в своей поездке по северу России Власов на Волхов не поехал. Я не исследовала истории того, как его 2-я ударная армия попала в окружение и что было потом, но говорили, что его армия выгнала крестьян из деревень, оказавшихся в районе окружения в лес, и забрала все продовольствие. Люди же в лесу умирали от голода. Так или иначе, но после сдачи армии Власова в плен немцы привозили в Псков из лесов тех крестьян, в которых еще сохранились признаки жизни, их клали в псковские городские больницы, не всех уже можно было спасти.

«После речи, в тот же день после обеда, Власов приехал к нам в редакцию. Была даже закуска и водка, чокнулись с ним, познакомились лично. Состоялась краткая беседа. Впечатление прежнее. Он говорил, что мы честно идем с немцами, но требуем уважения к себе, мы не Untermensch'и».

То, что я этого пропагандистского нацистского выражения вообще до того времени не слышала, странно, но объяснимо тем, что в Пскове все время управляла армия, и меня потрясло, что оно есть и что Власов его слышал. Я даже спрашивала себя, где он его слышал. Лишь после я узнала, что в пропагандистских нацистских изданиях, рассчитанных на широкую публику, это выражение бытовало.

«Отрадно было слышать, что Власов надеется очень на ту сторону больше, чем на эту. И все-таки, все-таки он не Вождь (с большой буквы), даже просто культурность стоит не на должной высоте. Зажигательности, горячего энтузиазма, фанатичной веры и ненависти к врагам не чувствуется (с точки зрения моего сегодняшнего возраста, то есть пишущей эти воспоминания, двух последних качеств и не нужно, но тогда при всей моей рассудочности молодость брала свое и хотелось больше горячности. — В. П.). Вот наша трагедия: людей нет. Тем не менее кого-то иметь надо, и если другого не нашлось... Кроме того, широким массам речь Власова, кажется, импонировала, а это сейчас тоже много значит. Если он честен и искренен, то пусть действует, как умеет, и да поможет ему Бог. Наша задача сейчас работать, работать и работать. Власов сказал одну хорошую фразу: «Нам надо

укрепить дружбу. Если вы десять русских сдружите с десятью немцами, то это уже много значит». Это хорошие слова. Экстаза и восторга нет, но воля и желание работать — велики. „Наше движение развивается как трагедия”».

16 мая 1943 года. «За полмесяца ничего особенно значительного не произошло. Власов после Пскова поехал по другим городам ближе к фронту. В этой поездке его сопровождал Хроменко вместе с Мюллером (помощник начальника немецкой пропаганды). Жаль, что его сопровождал Хроменко, а не Боженко. Но ездил Хроменко и говорил, что Власова везде встречали восторженно, лучше, чем в Пскове. Это, конечно, хорошо. Работа группы пока не оживилась, но подготавливается создание комитета, который будет всем руководить, ряда секций и более определенной платформы, только после признания которой будут приниматься в члены группы. И сколько все-таки тут интриг! Боже мой! Между прочим, много споров идет вокруг Хроменко, но вижу, что он не популярен в Пскове и, пожалуй, ему следовало бы перебраться куда-нибудь в другое место. К этому склоняется и И. С. Боженко. Но Хроменко воспринимает эту версию весьма болезненно, он воспринимает это как личное оскорбление. У него даже вырвалась фраза: «Меня хотят свалить, но скорее я свалю». Дело не в сваливании, а в пользе дела. Я не знаю, как пойдет дело дальше, но думаю, все идет к тому, чтобы И. С. взял на себя руководство группой. Он как-то говорил со мной об этом откровенно и говорил, что боится ответственности перед самим собой. Я его уговаривала взяться за это дело, более достойного человека я не знаю».

Я выписала подробно эти местные псковские соображения и трудности, чтобы указать на то, что люди остаются людьми. Шла великая страшная война. Мы пытались начинать трудное дело и находились в весьма сомнительном положении: пытаться свалить безумную кровавую тоталитарную внутреннюю диктатуру с помощью внешнего врага, да еще такого, каким было тогдашнее германское руководство, это страшный внутренний груз, я уж не говорю о внешнем, более чем неопределенном положении всего Власовского движения. И вот даже не на верхах его, а в местном масштабе уже разыгрывались амбиции, играло роль мелкое самолюбие и борьба даже не за власть, а в прямом смысле этого слова за тень власти.

«Сама я сейчас начала работать журналисткой. Одна моя статья была уже напечатана передовицей, написала еще. Но не все

время будешь писать вдохновенные статьи, надо браться и за мелкие информации, что мне не очень нравится».

14 июня 1943 года. «Работа идет довольно однообразно и монотонно. Надо выискивать различные информации, никому, вообще, не нужные, но так требуется. Наши курсы сестер милосердия открыты и работают. Лабутина заботится о них, как о своем любимом детище, но и мне они очень близки. Девушки как будто собрались хорошие. Большие пока не ведется никакой работы. Группу теперь возглавляет Боженко. Сначала он как будто бы взялся за дело энергично, наметил секции, наметил руководителей секций; меня — для секции молодежи. Но затем вдруг как-то опустил руки и ничего не хочет делать. Я все хотела, чтобы он собрал нас, дал указания, но он этого не делает и на все машет рукой: Будем, мол, ждать, когда образуется наше новое правительство. Но этого можно ждать до бесконечности».

Проблему о необходимых якобы землях для Германии ставили в разговорах со мной и некоторые знакомые немцы. Это направление мысли было в Германии довольно распространено и до Гитлера. Национальные или даже националистические круги Германии твердили уже давно, что немецкий народ как таковой не выживет, если не получит новых земель. Впоследствии мне пришлось читать толстую книгу, изданную до прихода Гитлера к власти, под заглавием «Volk ohne Raum» («Народ без пространства»), автора ее я не помню, это была идея, носившаяся в воздухе. Гитлер ее не выдумал, он ее использовал для себя, конкретизировал и придал ей агрессивный характер. Как я уже указывала, в результате войны Германия не только не приобрела новых земель, но потеряла значительные части своей территории, и именно на востоке, там где многие немцы искали для Германии дополнительных земель. Но тогда многое, что они говорили, звучало для не искушенных в геополитике и неопытных ушей даже убедительно. У меня уже прошла горячность первых дней, когда я ради дела готова была отдать на бумаге всю принадлежавшую нам Украину. Такие дерзости удаются в истории редко, а уж Власов никак не был ленинским типом. Трудно было сомневаться в том, что его назвали бы предателем и отреклись бы от него, если б он рискнул на такой маневр. С другой стороны, немцев, все еще неразумно надевавшихся на собственную победу, вряд ли устраивали бы какие-нибудь пииские болота. Выпишу еще одно место из тогдашних записок:

«Мне все кажется, что Власов требует слишком много и немцы требуют слишком много, они никак не могут договориться, и все это идет только на пользу большевикам. Тяжелая штука... Во многих ошибках немцев по отношению к нам виноват Розенберг, наш министр теперь. Его политика основывается на том, что русские не способны сами собой управлять, что они могут лишь создать хаос и что, по-видимому, они должны быть управляемы немцами, тогда все будет хорошо. Они не то что собираются нас угнетать, нет, только наводят порядок. Но какая это нелепая и ошибочная политика! Розенберг — балтийский немец. Почему все балтийские немцы так несимпатичны и плохо настроены по отношению к русским? Они сами-то ненастоящие немцы, все прекрасно говорят по-русски, но именно вследствие этого стараются подчеркнуть свою немецкость. И с презрением смотрят на русских. Настоящие немцы из Германии так себя не ведут. Розенберг должен был бы быть выше этого, но все-таки его происхождение, вероятно, сказалось на его образе мышления. Он пережил первые дни революции в России, это сделало его смертельным врагом большевизма, но он-то сам сделал все-таки неправильные выводы из всего происходившего. Неужели же из всего этого не найдется выхода? Я надеюсь, что все же найдется. Но чем ближе к «верхам» и чем больше уясняешь себе положение, тем тяжелее, но отойти от этой работы я не могу и не хочу».

Здесь следует снова сделать паузу и установить, что мы тогда к Розенбергу были несправедливы. Да, формально он за все отвечал, он был министром «восточных областей», но на самом деле в те времена его влияние на Гитлера было почти равно нулю. Есть документы, говорящие о том, что он всячески стремился побудить Гитлера дать ход Власовскому движению. Сохранились письма Розенберга к Гитлеру, где он ратовал за Власовское движение. Лично Гитлер тогда Розенберга вообще уже не принимал, и последнему приходилось ограничиваться письмами. Но и они влияния не имели. Гитлером все больше овладевал его личный секретарь Мартин Борман. Что представлял из себя Борман, и теперь еще неясно, версия, что он был советским агентом, не подтверждена, но и не опровергнута.

Мы тогда не знали того, что все дело с Власовским движением запустила армия, поддерживали офицеры, генералитет, тогда как со стороны партийного руководства, главное, согласия самого Гит-

лера на эту акцию не было. Я уже упоминала, что Власов, хорошо знавший советскую армию, был поражен, что германская армия может идти так далеко без согласия политического руководства и самого диктатора, но как бы далеко ни могла зайти армия, у нее был предел, через который она не могла перейти. Надежда офицеров на то, что когда они покажут, сколько русских и в каких чинах готовы бороться против коммунизма, покажут наглядно, а не только на словах, какого мощного союзника могла бы иметь Германия, то — особенно ввиду поражений на фронте, перед лицом Сталинграда, — политическое руководство поймет наконец, что ставить на карту своей полной военной победы — безумие, и протянет руку Власову и его движению. Но Гитлер оставался глух ко всем аргументам, продолжая мечтать о новых землях для Великой Германии, где он собирался не только наводить порядок, но, конечно, и угнетать население, поскольку оно бы там осталось.

Но мы очень многого не знали, блуждали как в тумане, не понимая ясно, отчего начатое с такой помпой дело не движется вперед.

Отмечу теперь событие, записанное у меня под тем же числом 14 июня, о котором я писала уже в предыдущей главе. Вот эта запись:

«На днях германское правительство издало декларацию о передаче крестьянам земли в собственность. Вообще говоря, замечательная вещь. Земельный вопрос, так долго бывший у нас большим вопросом, разрешен окончательно. Но я представляю себе, какое впечатление произвела бы подобная декларация, если бы она была издана новым русским правительством, и как это для нас было бы хорошо: русское правительство сразу же завоевало бы симпатии многих. Теперь же это прошло почти впустую. Вчера было торжественное прочтение этой декларации на площади около почты. Все было украшено березками (вчера была Троица), сделана трибуна. Пришли немецкие части с духовым оркестром, и затем пришел отряд РОА гвардейской дивизии, стоящей под Псковом у Стремутки. Я еще ничего не писала об этих гвардейцах, а между тем офицеры из их части уже бывали у нас, с некоторыми я познакомилась. Среди них много эмигрантов: князь Голицын, полковник Сахаров (сын известного по гражданской войне генерала Сахарова), какой-то граф и другие. Вчера впервые отряд из этой дивизии прошел по городу к площади с русским национальным флагом, с песнями. Затем приехали генералы Мюллер и Иванов, они обошли германские и русские части. После прочтения

декларации с речью выступил Боженко. Говорил он, как всегда, очень хорошо, в первых рядах аплодировали, видимо, под влиянием неудержимого порыва. Хорошо, что РОА оказалась в городе с русским флагом.

Хроменко говорил, что читал советскую фронтовую газету и в ней две страницы посвящены Власову. Ругают его, конечно, очень и утверждают, что за ним два раза посылался самолет, но он предпочел попасть в плен, то есть перешел по убеждению. В данном случае советские газеты делают Власову рекламу, так как многие сомневаются в его антикоммунизме, вспоминая, как долго он был крупным коммунистом».

22 июня 1943 года. «Сегодня был снова парад частей РОА и немецких частей, играл хороший немецкий оркестр летчиков. Выступал полковник Боярский, но нельзя сказать, чтобы его речь была особенно хороша. На этот раз парад принимал вместе с генералом Мюллером генерал Жиленков, он только что приехал из Германии. Внешне он выглядит представительнее, чем генерал Иванов».

1 августа 1943 года. «Очень давно ничего не записывала. Трудно охватить все продуманное за это время, все случившееся и в политике и в местной жизни. В нашем движении пока полный застой, да я и не знаю, как сможет оно сдвинуться. Все мои опасения, зародившиеся с самого начала, стали действительностью. У нас царит такое настроение: все равно рано или поздно немцы должны будут нас признать, так как им одним не справиться, ну а если это будет уже поздно, то погибать будем вместе. И так говорит Боженко. Вообще, я положительно не знаю, куда пойдет наше движение и куда оно пойдет. Мысль, что скоро оно придет в конфликт с немцами, кажется, верна».

Здесь я хочу несколько сократить свои пространные записи и отметить лишь те версии, которые мне в то время казались возможными для будущего: 1) Немцы как-то победят собственными силами. Тогда они вряд ли будут колонизовать всю Россию, а найдут нам какое-нибудь «самостоятельное» правительство, взяв себе те земли, которые захотят взять. 2) Немцы найдут каких-нибудь стоговорчивых русских и выпустят их вместо Власова. Какой у них может быть успех, трудно сказать. 3) Немцы заключат сепаратный мир со Сталиным, потребовав от него те или иные земли. Сталин может на это пойти, так как СССР тоже очень истощен. 4) Наши

окажутся правы, и немцы, доведенные до отчаяния, согласятся на все условия и дадут движению ход. Но не будет ли это уже поздно? 5) Гитлер будет свергнут, и в Германии придут к власти другие политические силы. Что тогда будет, сейчас невозможно сказать.

Этими прогнозами, из которых реализовался прогноз № 4, закончилась та тетрадка, из которой я делала эти записи. Следующая тетрадь, увы, утеряна где-то во многих бегствах. Теперь мне придется писать уже по памяти.

Отвлечемся от Власовского движения, которое пребывало в состоянии застоя. Если в Берлине и в Дабендорфе что-то делалось, то до нас не доходило ничего.

Мне хочется рассказать об одном сотруднике нашей маленькой псковской редакции, сотруднике тихом и незаметном, в лице которого, на мой взгляд, погиб талантливый писатель.

Сергей Иванович Климушин не был псковичом. Как он попал уже во время войны в Псков и откуда, я не знаю, вернее, не помню. С. И. Климушин сотрудничал в Псковском отделе редакции рижской газеты «За Родину». С. И. провел «только» 5 лет в советских концлагерях. Олег Волков, написавший потрясающую книгу «Погружение во тьму», провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности 26 лет, но не сломился ни духовно, ни физически, дожив до глубокой старости. Но люди разные, и степень их сопротивляемости разная. С. И. был сломлен пятью годами духовно и физически: он стал запойным пьяницей. Он мог подолгу не пить, но стоило ему выпить одну рюмочку, он не только не переставал пить в данный момент, но запивал на несколько дней. С глубоким бессильным возмущением мне приходилось наблюдать, как некоторые «коллеги», приносившие в редакцию водку по какому-нибудь поводу, скажем, в чей-нибудь день рождения, уговаривали Климушина выпить рюмочку, «ну только одну рюмочку, ведь это же не страшно», прекрасно зная, что, выпив, он уже не сможет остановиться. Попытки остановить их не давали успеха, они хохотали и продолжали соблазнять слабого человека. А когда он напивался, все его бросали, и я иногда почти тащила его, спотыкающегося, домой. И мой отец, и я были достаточно известны во Пскове, и мне было весьма неприятны косые взгляды, которые иные бросали на такую сцену. Иногда на полдороге нас встречала его жена, чутьем отгадавшая, что с ним опять неладно, и перенимала его. Это была простая женщина, старше его, но только благодаря ей он выживал и мог даже работать в трезвые

дни. Чтоб закончить с этой стороной дела, сообщу, что уже в Мюнхене я слышала *post factum*, что они добрались до Мюнхена, но там он стал жертвой своей слабости: купил на черном рынке отравленную метиловым спиртом водку, отравился и умер.

Та художественная проза, которую писал С. И., носила характер тихой безнадежности. Это не было страшное и грозное тупиковое отчаяние, которое характеризует рассказы Шаламова. Это была глубокая тихая грусть, но грусть не примиряющая, а безысходная. Он давал мне читать отрывки из романа, которого он так и не написал. Мне они казались гениальными. Я бы опубликовала даже фрагменты, если б они у меня сохранились, но во многих бегствах они потерялись. Он опубликовал несколько рассказов-крохоток, но где их теперь искать, я не знаю. Я воспроизведу содержание двух из них, хотя понимаю, что без его стиля они не произведут того впечатления, которое производили, написанные им.

Должна предослать, что в 30-е голодные годы были съедены все голуби. В годы перед войной голубей в Пскове не было. Я помнила их из времени нэпа, когда была еще ребенком. Когда они вернулись в Псков, я не знаю. Видимо, там, где жил Климушин, было такое же положение. За весь СССР я, конечно, не отвечаю. Теперь — рассказ.

Голуби

После оккупации Прибалтики в 1940 году в Ригу начали постепенно приезжать семьи как военнослужащих, так и некоторых гражданских лиц, посланных туда на работу.

Один из молодых отцов шел со своим четырехлетним сыном по городу. Из-под их ног вспархивали стаи голубей. Мальчик удивился: «Папа, а что это за птицы?» — «Это голуби, сынок». — «Папа, а почему их нет у нас?» Мой глупенький малыш, ну как я объясню тебе, что Сталин и голуби — вещи несовместимые.

Мертвая природа

Какой-то русский, попавший под немецкую оккупацию и поехавший на работу в Германию, попал и в оккупированную Францию. Там он посетил выставку молодого художника, сына русских эмигрантов, выросшего уже во Франции. Среди картин выставки он увидел чисто русский пейзаж с неизбежными мелаихоличными березками. После этого он написал молодому художнику письмо:

«Удивительно, как Вы, хотя Вы выросли за границей и никогда не были в России, увидели этот русский пейзаж. А я вот жил на территории России и этого пейзажа не видел. Когда я вышел из концлагеря с волчьим билетом, и мне потом с невероятным трудом удалось найти очень трудную черную работу, то по дороге — я шел по ней ни свет ни заря и возвращался совершенно вымотанный — росли, кажется, такие березки, но я их тогда не видел, просто не замечал, не до того было». Молодой художник его понял и написал картину, на которой были только стальные зубья, колеса, какие-то темные и грозные машины, и назвал картину «Мертвая природа». Но его никто не понял.

Между тем наши курсы сестер милосердия благополучно закончились. Девушки сдали экзамены и начали работать в военном лазарете, обслуживая раненых русских добровольцев. Окончив эти курсы, пошла туда работать и Люся, та девушка из Ленинградского университета, о которой я уже писала. Люсе было очень трудно, и мы не сумели ей помочь, я, вероятно, по молодости лет — я была на год ее моложе, а мои родители были уже немолоды, им было за бо, им и так было трудно переносить все эти пертурбации — вторую войну в их жизни, а между ними годы более страшные, чем эти войны, — революция и гражданская война. У Люси был шестнадцатилетний глухонемой брат, который хотел уйти в партизаны. Люся глубоко ненавидела советскую власть, арестовавшую без вины их отца, но мальчишку тянуло, конечно, романтическое чувство: хотя что мог делать глухонемой у партизан? Отчасти ради брата Люся без особой любви вышла замуж за русского добровольца. По ее желанию венчались торжественно в соборе, но на венчание легла тень: Люся опоздала, хор два раза начинал петь: «Гряди, гряди, голубица...» — и обрывал, так как невесты все еще не было, а когда она вошла, в хоре ее не заметили, в соборе царило гробовое молчание. Мне бросилось в глаза, с каким мрачным видом жених ответил «нет» на вопрос священника: «Не обещался ли другой жене?» А во время венчания у Люси погасла венчальная свеча. Я совершенно несуеверный человек... для себя самой. Вера, по-моему, не оставляет места суеверию, но тогда погасшая свеча произвела на всех тяжелое впечатление. Как муж потом признался Люсе, у него в СССР остались жена и дети, с первой женой он, конечно, не венчался в церкви. Но повлиять благотворно на брата, как Люся надеялась, ее

муж не смог: мальчик все же сбежал из дома. Люся же вскоре забеременела. Муж хотел, чтобы она сделала аборт, но она наотрез отказалась. Когда шел уже 1944 год, к нам прибежала растерянная знакомая девочка и сказала, что с Люсей случилось несчастье: товарищ ее мужа чистил пистолет, и случайная пуля попала в Люсю, причем в живот. Я бросилась в лазарет, тот самый, где она работала. Люся была в сознании, но ее беременность была уже на восьмом месяце, а пуля попала в живот. Она родила мертвого ребенка, девочку. Ее саму, возможно, и выходили бы, но уже подошло время бегства, лазарет эвакуировали в Ригу, ее же довезли только до Валка (посредине дороги), и она скончалась, не выдержав пути. Люся сказала нам, что выстрел произвел не товарищ мужа, а он сам, но умоляла нас не выдавать его. Случайно он выстрелил или сознательно? Я видела его у постели Люси, на нем лица не было. И все же? Расследований в тот момент бегства никто, конечно, производить не мог.

У немецкого нацистского руководства не было отработанной линии поведения с населением на оккупированной территории. С одной стороны, из «рейсхкомиссариатов» Украины и Белоруссии насильно вывозили молодежь на работу в Германию, и там эти работники и работницы должны были носить казавшиеся им унижительными нашивки Ost (восток), а с другой стороны, Министерство пропаганды устраивало поездки в Германию для различных профессиональных групп населения, помещало их в немецких гостиницах, им показывали Германию, водили в театры и прочее. Нужно сказать, что о насильственном вывозе на работу я узнала позже, так как из районов, где было армейское управление, никого насильно не вывозили, биржа труда вербовала только добровольцев на работу в Германию.

Министерство пропаганды устраивало поездки по Германии групп крестьян, чтобы показать им устроенные немецкие крестьянские хозяйства. Их принимал даже Розенберг, владевший, конечно, прекрасно русским языком, и мы по радио могли слышать часть его беседы с русскими крестьянами. Но если Гитлер хотел колоний на территории России, то зачем показывали несчастным русским колхозникам прекрасные немецкие хозяйства, которые для них ни в одном случае не были достижимы? Для чего тратились деньги на эти поездки — мне пришлось говорить с учительницей работавших начальных школ, которая ездила в Германию с группой учителей, она была в восторге и от Германии и от того, как их принимали, —

тратили на эту пропаганду деньги и силы, но не делала самого главного: не разрешали временного российского правительства, не выпускали декларации о том, что воюют не с Россией, а с коммунизмом и не посягают на независимость и целостность России.

В ноябре 1943 года устроили смешанную (разных профессий) женскую группу для поездки в Германию, в нее попала и я. Сначала мы прибыли в Ригу, где к нашей группе присоединилась эмигрантка из Риги. Впрочем, многие русские в Прибалтике эмигрантами себя не считали — это те, кто жил и до революции в Прибалтике. Татьяна Александровна была лет на десять старше меня, но ее тянуло ко мне как к самой интеллигентной из группы, а меня к ней, но все же с несколько смешанными чувствами: мы были очень строгих нравов. Знакомство же с русскими из Прибалтики выявило, к нашему удивлению, большую распушенность их нравов, а это отталкивало.

Уже Рига производила впечатление немецкого, во всяком случае западного, города. Все это было ново и привлекательно. Когда я ходила по Берлину, мне трудно было поверить, что я действительно в Берлине. Нам так вбивали в голову, что граница на замке и что мы никогда не попадем за границу, что трудно было поверить в пребывание хотя бы в военном Берлине. Показали нам старинный Эрфурт и более западный, но не менее старинный Марбург-на-Лане. Удивительно было смотреть на старый университет, построенный как замок. Когда мы осматривали актовый зал с цветными стеклами, мне и в голову не приходило, что ровно через 10 лет я буду сидеть в этом зале в рядах профессорско-преподавательского состава и слушать выступление известного испанского философа Ортеги-и-Гассета. Побывали мы в Лейпциге и во Франкфурте-на-Майне, но тогда вслед за нами уже шли ковровые бомбардировки американцами немецких городов. Это был новый элемент войны, прежде бомбардировали понемногу, но теперь стали бомбардировать страшно. В Берлине первый ковровый налет произошел, как только мы оттуда уехали, во Франкфурте он нас накрыл, мы сидели в подвале, но, к счастью, наша гостиница не пострадала, а то от этих бомб подвал бы нас не спас. Нам укоротили поездку, срезали посещение Мюнхена, о чем я очень жалела, не подозревая, что проживу в нем полстолетия и смогу с ним досконально ознакомиться, и повезли снова через Берлин и Лейпциг домой.

Группа эта была сборная и малосимпатичная: были дочери уже успевших стать зажиточными новых псковских купцов, были жен-

щины, работавшие в антипартизанских отрядах. В гостиницах у нас были комнаты на двоих, только Т. А. из Риги требовала и получала отдельную комнату в каждой гостинице.

Мне удалось выбрать в соседки по комнате спокойную молодую женщину. Судьба ее была необычной, и здесь следует о ней рассказать. Полненькая, уютная двадцатипятилетняя женщина казалась типичной хорошей хозяйкой, круг деятельности которой ограничивался семьей, мужем, детьми. Вначале могло показаться, что это и был ее путь: она вышла замуж, у нее родилась дочь. Но ребенок умер еще до войны, муж, командир Красной армии, пал в самом начале войны. Она поступила в московскую школу «партизан» и диверсантов. Я поставила слово «партизаны» в кавычки, так как настоящие партизаны идут сами из рядов населения сражаться с противником, их не школят и не спускают на парашютах за линией фронта, как это делалось с выучениками московской школы. Моя знакомая выдвинулась, став единственной женщиной-инспектором этой школы. В нашей поездке, когда мы стояли в каком-нибудь городе перед красивым мостом, она иногда говорила тихо, так что слышала только я, почти с отчаянием: «Это какое-то проклятие, я не могу любоваться спокойно ни одним мостом, мой мозг начинает автоматически вычислять, сколько динамита надо положить, чтобы его взорвать».

Вся ее судьба переломилась благодаря... одному честному слову. Я не подсчитала, сколько раз она заговаривала об этом честном слове, но много, много раз за одну довольно короткую поездку. Попробую привести ее рассказ так, как он мне запомнился. Назвать его, вероятно, следует:

Честное слово

«Мы не только сидели в Москве и давали нашим ученикам теоретическую подготовку. Время от времени нас забрасывали за линию фронта, спускали на парашютах там, где не было немецких войск; чаще маленький самолет спускался на какую-нибудь равнину, и мы высаживались, так же нас и забирали обратно. За линией фронта мы бродили, выполняя наши задания и проводя разведку. Если в какой-либо деревне не было немецких солдат, мы заходили туда, требовали у крестьян продукты питания и спешно уходили. Заходили ночью; как они живут под оккупацией, мы совсем не знали, нам было не до того, чтобы разведывать их жизнь, мы ве-

рили тому, что писали наши газеты. Нередко нам так мало приходилось спать, что я засыпала на ходу. А порой просыпалась от того, что кто-то из нашей группы тряс меня за плечо, и я обнаруживала, что я уже не иду, а лежу в траве и сплю.

Но однажды меня разбудил не член нашей группы: передо мной стоял человек в немецкой форме. Он оказался не один. Однако все они говорили на чистейшем русском языке: это были русские добровольцы. Я накинулась на них с бранью, ругала их продажными шукурами. Но они только усмехались: «Ничего, товарищ инспектор, пройдем с нами, может быть, вы нас потом поймете».

Они провели меня к немецкому майору. Я не скрывала, кто я, рассказала даже, что я делала, сколько мостов взорвала и т. д. Только наотрез отказалась сказать, где сейчас предположительно находится наша группа. Он не настаивал. Вдруг он сказал: «Хотите пожить на этой стороне и посмотреть? Если вы дадите честное слово не сбежать, то я вас отпущу, поживите среди гражданского населения, посмотрите». Я совершенно опешила. Отпустить такого противника, как я, навредившего так много их армии, просто под честное слово?! Это казалось мне невозможным! Все время, с тех пор, как я попала в плен, я только и думала, как бы мне сбежать. Но, пораженная этим предложением, я дала честное слово, и тогда для меня стало совершенно невозможно его нарушить.

Я устроилась в одной из ближайших деревень и не переставала удивляться. Крестьяне жили неплохо, немцы их не притесняли. Мне пришлось видеть, как немецкий солдат приставал к девушке, она же отмахнулась от него и сказала: «Иди, ты мне не нужен», и он смущенно отошел. А по моим тогдашним понятиям, как нам рассказывали, он должен был выхватить пистолет и тут же застрелить ее. (Как это обычно бывает, преувеличенно очерненная или даже просто выдуманная картина ужасов при встрече с действительностью оборачивается сначала картиной с обратным знаком и представляется в несколько преувеличенном положительном свете.) За мной, конечно, следили, и через некоторое время этот же майор вызвал меня и спросил: «Хотите перейти на ту сторону? Я вас отпускаю, мы даже покажем вам, где можно перейти линию фронта». Я ответила, что не хочу. Он спросил, хочу ли я работать с ними, я тоже отказалась. Тогда он отпустил меня жить, где я хочу. Я осталась в той же деревне. И вот в нее пришли однажды мои бывшие товарищи и бросили в дом старосты грана-

ту. Этот староста был простым мужиком, согласившимся быть старостой для контакта с немецким командованием. Немцы требовали, чтобы каждая деревня выбрала себе старосту, через которого было бы удобнее сообщаться со всей деревней, если было что-либо нужно. Немцы, конечно, наложили на крестьян налог продуктами, за сбор которого отвечал этот староста, да и вообще, если немцам что-либо было нужно, они хотели иметь дело с одним человеком. Староста не только не обижал крестьян, но заступался за них, если было нужно, по мере своих возможностей. У него и его жены было четверо детей. Их всех разорвало на клочки. Вид был ужасный. Я не хотела верить, что это сделали мои люди, но мне не только пришлось поверить, но и узнать, что такое делалось и раньше, даже тогда, когда я сама ходила по лесам за линией фронта и не знала, что совершали некоторые из нашей группы. Я посмотрела на все с другой стороны — глазами крестьян, получивших теперь землю и, несмотря на войну, относительно довольных жизнью. У меня в ушах стояли плач и стоны родственников тех, кого разорвала на клочки брошенная моими бывшими товарищами граната. Тогда я пошла к тому немецкому майору и сказала, что хочу работать с ними».

Нет сомнения, что этой женщине очень повезло. Она попала на умного, порядочного и смелого офицера — сочетание, встречающееся достаточно редко везде. Подавляющее большинство офицеров поступили бы, конечно, по букве военного закона: ее бы или расстреляли, или в лучшем случае послали бы в лагерь военнопленных. Как правило, лиц, пойманных в гражданской одежде, расстреливали. Таков был закон войны повсюду. С другой стороны, я лично не сомневаюсь, что эта женщина рассказывала правду: слишком очевидна была ее внутренняя потрясенность этим поступком немецкого офицера.

Я не берусь судить об ее решении. Я только хотела описать одну из судеб в этой страшной войне, где два тоталитарных диктатора противостояли друг другу, а в подвластных им народах так невероятно и неповторимо смешивались самые различные чувства и побуждения, страхи и надежды, что к ним совершенно недопустимо подходить с обобщенными идеологическими мерками более поздних поколений, не имеющих представлений о реальностях того времени. Что было тогда патриотичным? Отразить внешнего завоевателя или попытаться избавиться от внутреннего страшного па-

лача, погубившего в так называемое мирное время больше людей, чем их унесла война, обречшего десятки миллионов крестьян вместе с их малыми детьми на мучительную голодную смерть, расстреливавшего пачками духовенство и интеллигенцию, взрывавшего и крушившего храмы Божии? Каждый принимал свое решение, и если им двигала любовь к родине и к своему народу, то решение его следует уважать, даже если тот или иной, судящий из более позднего времени, считает это решение ошибочным. Ведь каждый из нас закладывал за принятое им решение свою жизнь. Вот и эта женщина, рассказ которой я привела, рисковала своей жизнью и в первой части ее, и во второй. Ее дальнейшей судьбы я не знаю. Вероятно, она погибла.

Бегство

19 февраля 1944 года я была в бане, так называемой Гельтовской, на реке Пскове. Я уже вымылась, была в раздевалке, вытерлась и начала одеваться. Вдруг раздались взрывы, свет погас, стекла вылетели, морозный воздух ворвался в помещение (мороз был приблизительно 20°), из банного помещения раздался вопль мокрых, мыльных женщин, охваченных морозом. Я быстро на ощупь оделась, сошла вниз и хотела бежать домой. А жили мы в то время уже на Запсковье, так как в 1943 году немецкое командование, опасаясь сыпного тифа (хотя эпидемии, к счастью, не было), решило разделить жителей и немецких военных. Дом на Крестьянской улице, где мы жили, должен был отойти армии, а из других домов солдаты выселены. Наша квартира оказалась на Запсковье.

Однако выйти на улицу было невозможно: все гремело и блистало, бомбы падали непрерывно повсюду. В нижнем этаже двухэтажной баньки собрались постепенно успокоившиеся посетители и стали ждать конца бомбардировки. Рядом со мной оказалась женщина с двумя маленькими детьми; было очень холодно, и ей трудно было согреть двух малышек. Я взяла одного и укутала в свое пальто, а она закутала другого. Так мы и просидели пять часов. Это была первая страшная бомбардировка советскими самолетами Пскова. Иногда они сбрасывали осветительные ракеты, и тогда почему-то становилось страшнее, хотя логически должно было бы быть наоборот: ведь при свете увеличивалась точность попадания, а вряд ли кто-нибудь метил в маленькую баньку, но в темноте у нас невольно возникало ощущение укрытия. Мы слышали визг каждой летевшей бомбы, и каждая могла упасть на нашу баньку. Но... пронесло. Че-

рез пять часов все стихло, и я побежала через реку домой, беспокоясь о родителях. Однако и дом, где мы жили, стоял на месте, жители отсиделись в подвале. В квартире были выбиты все стекла. Только на кухне, выходявшей окнами на другую сторону, стекла сохранились. Все сбилось в кухне, но долго так оставаться не пришлось: снова началась бомбардировка, продолжавшаяся на этот раз два часа. Ее мы переждали в подвале. Ночь прошла спокойно. Спали чуть не вповалку на кухне. На другой день в городе было так тихо, что, казалось, повторился 1941 год, когда советские войска вышли из города, а немецкие еще не вошли. Теперь могли выйти уже немецкие, а советские еще не войти. Но вот на улице появились немецкие солдаты: значит, они еще не покинули город. Я пошла посмотреть мосты: все были целы, хотя лед справа и слева был полностью изрыт бомбами; в мосты они не попали, что сохраняло возможность бегства. Стало слышно уханье артиллерии: советские войска приблизились к городу уже на расстояние 30 километров.

Сейчас слышишь только о том, что немцы вывозили русское население на запад. Я лично, не имея возможности проверить этого по достоверным документам, отношусь к таким сообщениям скептически: зачем было нужно отступавшей немецкой армии загружать себя еще русским населением? Куда и зачем нужно было немцам вывозить стариков, женщин и детей? Хоть как-то их уstraивать, хоть как-то кормить, хотя самой немецкой армии приходилось уже очень трудно. Я лично знаю, что многие, очень многие русские сами бежали с отступавшей немецкой армией. Никто этих людей точно не считал, их биографии потом перекраивались, да и само их существование замалчивалось или отрицалось, но мне доводилось говорить со многими, из страха перед сталинскими репрессиями уходившими с немецкой армией, причем солдаты и офицеры помогали им вопреки приказу Гитлера. Один русский рассказывал мне как-то уже в эмиграции, что в том месте, где он был, немцы отступали очень быстро; он даже не успел переобуться и вскочил на немецкий танк, куда его взяли с одной ногой в валенке, а другой — в сапоге. В общей сложности, с отступавшей на запад немецкой армией ушло приблизительно 2 миллиона русских, и это был совершенно исключительный феномен: население уходило с армией противника, больше боясь «своих» властей.

Все это потом замалчивалось, размывалось, скрывалось не только советской пропагандой, но и союзниками, выдававшими

беженцев после войны в Советский Союз насильно. Так же и немецкие источники замалчивают этот факт, поскольку общая установка такова, что зверства и насилия совершал только национал-социалистский режим, и никто более. Правды о Второй мировой войне не написал еще никто, и она вряд ли когда-нибудь выйдет на свет Божий.

Люди, выданные советским властям или так или иначе к ним попавшие, а также по тем или иным причинам добровольно вернувшиеся, конечно, рассказывали, что их вывезли насильно. Так, например, и знаменитый теоретик Печковский рассказывал, что он голодал под немецкой оккупацией и вынужден был есть ради куска хлеба, тогда как на самом деле ему платили хорошо, и он пел не только во Пскове и Риге, но и в германских городах и даже в Вене.

Итак, мы бежали, как и многие, очень многие псковичи. Бежали уже на другой день, поспешно и потому неудачно. Правда и то, что жить в квартире без стекол при двадцатиградусном морозе на дворе было бы довольно трудно. Место на грузовике, ехавшем в Ригу, мы получили, но взять с собой смогли лишь самое необходимое. Мне не жаль ничего потерянного. Свой рояль мама предусмотрительно продала заранее. Большинство своих книг отец перенес в Псковский педагогический институт, а небольшую часть особенно любимых и важных для него математических книг отправил в Германию через знакомого немецкого солдата, юриста по образованию, отцу этого солдата, художнику из Эйслебена. Эти книги тоже пропали: в Эйслебен сначала вошли американцы, только потом они отдали Тюрингию советским войскам. Американцы облюбовали домик художника для своих солдат и хозяина выселили в течение 24 часов (когда немцы нас переселяли, они давали несколько дней и перевозили на другую квартиру всю утварь переселяемых). Художник не смог взять с собой своих книг и, несмотря на шикарные иллюстрации, американцы их все без жалости сожгли, а тем более книги моего отца по математике. В американском варианте английского языка нет слова «культура», есть только слово «цивилизация». Но мне из всего потерянного больше всего жаль портрета отца, написанного его другом, художником Рехенмахером. Теперь он мог бы висеть в Псковском музее, напоминая и о моем отце, и о Рехенмахере.

Когда грузовик переехал Троицкий мост и поехал по Завеличью на запад, я, обернувшись к городу, пообещала: «Я еще вернусь, Псков». Тогда я в это верила. Но шли года и десятилетия, и я все

чаще с грустью думала, что своего обещания городу я выполнить не смогу. Но Господь судил иначе: через 48 лет, в 1992-м, я снова приехала во Псков и с тех пор была там уже не раз. Совершилось чудо Господне.

В Риге нам дали квартиру в так называемом Московском форштадте. Там разместились и многие другие беженцы из Пскова. Квартира была скудно, но все же меблирована. Откуда были эти пустые квартиры? Может быть, за этим скрывалось страшное? Признаюсь честно, мы тогда как-то не спрашивали, просто не думали об этом. У каждого человека способность сопереживания ограничена. У одних больше, у других меньше, но ограничена она у всех. Внимание наше было настолько занято тем, что мы сами переживали, как в личном, так и в общем плане, что за горизонтом внимания нередко оставалось то, что при нормальных обстоятельствах заинтересовало бы или заставило задуматься.

Из домашних вещей, посуды и других предметов употребления нам много подарили бывшие ученики моего отца по дореволюционному Псковскому реальному училищу. Это были латыши, жившие до революции во Пскове. Они учились у моего отца, и один из трех братьев был товарищем по классу моего брата Алексея. Мальчиками они бывали в семье моих родителей. К ним же попал мой брат Илья и у них же покончил жизнь самоубийством. Старшего из трех братьев, Вернера, арестовали и вывезли большевики до начала войны, после оккупации Прибалтики в 1940 году, два же других и их жены старались нам помочь. Особенно приветлива была жена старшего из оставшихся братьев. Она хорошо говорила по-русски, тогда как жена младшего язык плохо знала. Оба брата говорили по-русски, конечно, в совершенстве. Они и возили нас на могилу Ильи. Упреков им мама не делала. Братья были тогда еще подростками, а лежала ли какая-либо вина на их теперь уже покойных родителях, знает только Господь Бог.

В Риге находилась редакция газеты «За Родину», в которой я сотрудничала, еще будучи во Пскове. В ней не так давно сменился главный редактор. Нужно сказать, что до тех пор все время находили каких-то малопригодных редакторов. Один раз газета даже вышла с заголовком крупными буквами, что вот, мол, теперь наступило то благополучие, которое все время обещали коммунисты, но не создали. Это был настоящий скандал. Редактора немедленно сняли.

Был это дурак или провокатор, я, конечно, не знаю. В общем же газета влачила довольно жалкое существование, но в последнее время начала быстро исправляться. Редактором ее сделали москвича, Анатолия Григорьевича Стенроса, художника-иллюстратора по профессии, талантливого журналиста по призванию, который при советской власти, конечно же, не мог применить своего публицистического дарования.

Когда я была в Берлине во время описанной мной поездки по Германии, я по совету С. И. Климушина зашла в редакцию «Нового слова» и познакомилась с его редактором Владимиром Михайловичем Деспотули. Деспотули, обрусевший грек, был участником гражданской войны в рядах Белой армии, а теперь — редактором берлинской русской газеты. Я из Пскова написала в эту газету открытое письмо, которое там и было опубликовано. Деспотули оно очень понравилось, он запомнил мою фамилию и потому сразу же принял меня. Он в свою очередь посоветовал мне в Риге зайти в редакцию «За Родину» и познакомиться с ее новым редактором Стенросом, а он ему обо мне напишет. Когда мы были на обратном пути в Риге, я зашла к Стенросу и он сказал мне, смеясь, что после письма Деспотули думал, что я немолодая женщина и старая эмигрантка из Берлина. Деспотули только предложил ему обратить на меня внимание, но больше ничего обо мне не сообщил. Тогда же мы договорились со Стенросом, что если я попаду в Ригу, — а возможность бегства уже маячила перед нашими глазами, — то зайду прямо к нему, и мы договоримся о форме моего сотрудничества.

Как только мы немного устроились в Риге, я пошла в редакцию. А. Г. попросил меня приходить на работу попозже. Сам он появлялся в редакции, где работа начиналась в 10 утра, не раньше двенадцати, но работал долго вечером, когда все служащие расходились и оставалась только одна дежурная машинистка. Поздно вечером он подписывал сверстанные листы газеты на завтрашний день. А. Г. хотел посмотреть, что я могу делать, и давал мне разные статьи, предлагая дать им оценку. Уже скоро наступил переломный момент в моей работе. А. Г. передал мне очередную статью, а я сказала, что в таком виде ее печатать нельзя. Он возразил, что статья слабая, но печатать можно. Я стояла на том, что в таком виде нельзя, но ее можно улучшить, даже не меняя содержания, только немножко выправить. «Ну, сделайте это», — сказал А. Г. с сомнением в голосе. В тот вечер он ушел домой довольно рано, я же осталась еще рабо-

тать. Уходя, я положила ему на стол переделанную статью (я стала постепенно сама печатать на машинке, так как дежурная машинистка уходила иногда раньше). На другой день я, как обычно, пришла довольно поздно. А. Г. встретил меня словами: «Что вы сделали со статьей? Это совсем другая статья, не слабая, а очень хорошая». Я ответила, что статья по смыслу та же самая, пусть он сравнит, я сделала только другую композицию.

Этот опыт оказался настолько убедительным, что А. Г. сразу же предложил мне занять вакантный пост политического редактора газеты. Тогда газета состояла всего из четырех страниц, первые две содержали политику, включая передовую, актуальные сообщения и другие политические статьи с большой подвальной на второй странице, третья страница была литературная, четвертая — иллюстрированная. Литературную страницу делал единственный у нас старый эмигрант или, может быть, просто русский, рижский житель, а иллюстрированную — тот самый Блюм из Пскова, который так плохо работал там с молодежью или, вернее, вообще не работал. Он и здесь работал плохо, но страница не была такой уж важной. А вот с политическим редактором А. Г. не везло, и он сам должен был делать эти страницы. По редакции тогда разгуливал и искал беседы немолодой журналист, писавший неплохие статьи, но скучавший в свободное время, — его незадолго до моего появления в редакции А. Г. выписал из Вильна. Читая интересные статьи этого профессионального журналиста, А. Г. решил, что он мог бы быть политическим редактором. Для этой цели он выписал его в Ригу. Но редактором он оказался никудышным. Он не мог оценить чужие статьи, не мог исправлять, он мог писать только сам. Так он и продолжал писать свои статьи и скучать в остальное время. А. Г. стеснялся отправить его обратно в Вильно, откуда он мог бы, как прежде, присылать свои статьи, а между тем ненужный приезд в Ригу обернулся для этого человека трагедией. Когда советские войска подошли близко, но еще оставалась возможность переезда из Риги в Вильно или наоборот, он получил от жены, остававшейся в Вильно, телеграмму, состоявшую из двух немецких слов: «warte, komme». Совершенно непонятно, отчего она сэкономила на коротком слове ich, которое поставило бы все на свое место, а так можно было понять телеграмму, будто жена ждет его и он должен приехать в Вильно, и, наоборот, что он должен ждать ее в Риге, а она приедет. Время же не ждало, и проезд мог в любой момент закрыться-

ся. Он очень мучился и всех нас просил расшифровать телеграмму, но как мы могли решить за него? Я не помню, чем кончилась эта история.

Вернемся к началу моей деятельности в редакции. Итак, я получила место политического редактора, комнату и рабочий стол. Напротив меня в той же комнате за другим столом сидел сотрудник, подбиравший иллюстрации для первых страниц, латыш, говоривший по-русски, но не в совершенстве. Его шутливо-дружеским прозвищем было «большучая колбаса», как он однажды выразился. Фамилии его я точно не помню, но все называли его Карлом Карловичем, чем сильно его раздражали, потому что он-то как раз и не любил русских имен и отчеств и никогда никого из сотрудников и сотрудниц так не называл. Сначала он не обратил на меня вообще никакого внимания, будто я была пустым местом. Впоследствии, когда мы хорошо сотрудничали и были в приятельских отношениях, он сказал мне, что за столом политического редактора сменилось уже столько «однодневок», что он ожидал того же и по отношению ко мне, и даже больше — думал, что главный редактор от всех огорчений сошел с ума и посадил за редакторский стол какую-то девочку, которая исчезнет скорее других. Но я не исчезла. И Карл Карлович проникся ко мне таким уважением, что стал единственно меня, самую младшую в редакции, называть по имени-отчеству.

Вскоре А. Г. заменил Блюма как редактора четвертой страницы, псковской эстонкой Хильдой. Хильда была только на один год старше меня, но работать тоже умела, а иногда мы в коридорах редакции брались по-школьному за руки наперекрест и крутились. Конечно, вокруг нас было много злословия, самыми невинными были разговоры, что главный редактор набрал, мол, девочек и командует ими. Но командовать нами было трудно, мы работали вполне самостоятельно, хотя последнее слово оставалось, конечно, за главным редактором.

Работа редактора ежедневной газеты была напряженной. Дело было не только в том, чтобы отобрать из поступавшего материала подходящий, подготовить его к печати, но иногда, даже часто, принимать решения на ходу. Сколько раз ко мне прибегала наша верстальщица и говорила, что не может сверстать имеющиеся статьи: то одна длиннее на несколько строчек, то в другой нескольких строчек недостает и т. д. И надо было тут же дописывать или сокра-

щать чужие статьи, бережно, осторожно, чтобы не поранить, не исказить материал. Кроме того, была еще немецкая цензура. Главный цензор Дроммерт, выучивший русский язык кабинетно, но знавший его довольно хорошо, был приятным человеком. Он нам ничего не навязывал — его цензура была исключительно охранительной. То или иное он считал невозможным опубликовать, но никогда не требовал напечатать что-либо, чего мы не хотели. Помню, как-то А. Г. уехал на четыре дня и оставил меня заместительницей. И вот поздно вечером, когда я уже подписала страницы, вдруг позвонил Дроммерт: он нашел в одной статье абзац, который можно было понять так, что немцы хотели бы забрать Россию до Урала. Хотел Гитлер этого? Официально, по крайней мере в 1944 году, он этого уже не хотел, да и какой Урал, когда советские войска приближались к границам Прибалтики. «Что же делать?» — спросил Дроммерт. «Вынуть абзац». — «Но мы же не можем оставить белое место!» — «Конечно, нет, я сейчас напишу другой абзац». Было уже поздно, я очень устала, но абзац написала. Никто потом не заметил, что в этой статье один абзац был вынут и заменен другим, хотя я и просила сотрудников найти его.

Но, кроме вежливого Дроммерта, было и другое начальство. Нам присылали время от времени статьи из Берлина. Кто их писал, мы не знали, но нам они не подходили. Мы писали и печатали антикоммунистические статьи, но ничего национал-социалистского, кроме официальных известий, которые мы были обязаны опубликовать в той форме, в какой они к нам поступали, мы не печатали. Антисемитских статей я тоже не брала. Из местных авторов, не постоянных сотрудников нашей редакции, мне лишь два раза приносили антисемитские статьи. Одну из них, весьма поверхностную, принесла Лабутина. От этой статьи я отделалась быстро. Другую принес брат моей любимой учительницы немецкого языка Лидии Александровны. У нее самой не было и тени антисемитизма, но брат жил в эмиграции, а там было немало людей, искренне убежденных, что советская власть — чисто еврейская власть. Мне было неловко не взять статьи. Я сказала, что должна подумать, положила ее в стол и ждала удобного случая ее вернуть. Советские войска подходили все ближе, и вот он появился в редакции. На нем не было лица, запинаясь, он попросил вернуть ему статью, если она еще не напечатана. Я охотно вынула ее из стола и отдала ему.

Сложнее было со статьями из Берлина. Мы были обязаны их

печатать, а я складывала их аккуратно в стол и ни одной не напечатала. Даже те из них, которые не содержали элементов нацизма или антисемитизма, были нам чужды. Они были написаны правильным русским языком, иногда как будто и политически подходящими, во всяком случае некоторые из них, но в них просвечивало полное непонимание пережитого нами, того, что на самом деле творилось с Россией. Нашлись, конечно, «доброжелатели», доведшие до сведения немецкого начальства, что я не печатаю берлииские статьи. Меня вызвали к так называемому группенфюреру, и он прочел мне нотацию, сказав, что статьи, приходящие из Берлина, необходимо печатать. Я промолчала. Потом я рассказала об этом А. Г., и он вспыхнул: «Если они хотят чего-либо от редакции, то пусть обращаются ко мне, я — главный редактор». А. Г. был мужественным человеком и брал ответственность за своих сотрудников на себя. Его принципом было доверие к своим сотрудникам. «У меня достаточно работы прочитывать статьи, которые редакторы отделов принимают, я не могу читать еще и те, которые они отвергают». Никто не мог заставить его прочесть отвергнутую редактором отдела статью. «Если я перестану доверять редактору отдела, я сниму его с должности, — говорил он, — но, пока он (она) редактор, я не намерен вмешиваться в его решения и проверять отдельные статьи». Однако удары со стороны немецкого начальства он готов был взять на себя. «Да, меня уже тоже вызывали, — сказал он. — Я им ответил, что буду вести газету так, как считаю нужным, а если этого не допустят, то я лучше уйду с поста редактора». — «А на что вы и ваша семья будете жить?» — спросили они. «А я пойду в лес дрова рубить». С главными редакторами этой газеты было уже столько неурядиц, а А. Г. был первым, сделавшим газету читабельной; его оставили в покое. Статьи из Берлина мы по-прежнему не печатали.

Стенрос был его псевдоним. Настоящая его фамилия была Макриди, или, вернее, Мэк-Рэди, она была явно шотландского происхождения. Но его непосредственные предки приехали в Россию из Швеции «на ловлю счастья и чинов». Как обычно, счастье, если его усматривать в деньгах, к этим иностранцам и приходило. Семья А. Г. была состоятельной. В детстве у него были бонны, он говорил по-французски, по-немецки и по-шведски. Его мать, тоже находившаяся в Риге, еще знала шведский язык. Пятнадцати лет мальчик ушел в Белую армию на гражданскую войну, был контужен и заболел

сыпным тифом. Его какие-то добрые люди скрыли и вылечили, но, когда он начал поправляться, он должен был заново учиться ходить и говорить. Он забыл все языки, включая русский. Выучил потом он только русский, других языков он так и не наверстал. Он говорил, что, когда при нем говорят по-немецки, у него появляется мучительное чувство, что он вот-вот сейчас все поймет, но понимание не приходило.

Оставшись поневоле в Советском Союзе, А. Г., конечно, скрывал свое участие в гражданской войне и выбрал политически и идеологически нейтральную профессию иллюстратора, используя свой талант к рисованию. Жена его была племянницей белого генерала Дроздовского. Их дочери Кире в то время, когда я с ними познакомилась, было 11 лет. Оба они, живя в СССР, ежедневно боялись ареста, а потому решили официально не вступать в брак, чтобы в случае ареста кого-нибудь одного из них второй мог позаботиться о ребенке. Они поженились уже в Риге. Когда началась война, они были на даче к западу от Москвы и сознательно остались там ожидать немцев. Их дачное местечко было быстро оккупировано, и немецкие части двинулись дальше. Они попросили двух молодых офицеров предупредить их, если армия будет отступать. Привыкшие к легким победам офицеры только усмехнулись: мы, мол, не отступаем.

Москву отстояли, а зимой началось то, что на языке военных сводок называлось выравниванием фронта, иначе говоря, на некоторых участках фронта немцы отступали. Семья Макриди слышала все время приближающуюся артиллерийскую перестрелку. Они решили, что надо уходить. Положили на саночки самое необходимое и готовились усадить на них тогда восьмилетнюю Киру, как вдруг увидели бегущих к ним на лыжах двух человек. Добежав на расстояние голоса и убедившись, что их заметили, они замахали руками и крикнули: «Мы отступаем!» Затем повернулись и побежали обратно. Это были те два немецких офицера, которых Макриди просили предупредить, если их армия будет отступать. Они, видимо, удалились из своей части без разрешения и спешили в нее вернуться, но своего обещания не забыли. Этот и подобные эпизоды, а также и свое собственное бегство мы все вспоминали, когда смотрели по телевидению, как равнодушно американская армия бросала на произвол судьбы вьетнамских антикоммунистов, покидая Южный Вьетнам.

Макриди добрались в конце концов до Риги, где жили к моменту

нашего знакомства уже три года. Жена его, Татьяна Николаевна, тоже работала в редакции, секретаршей. Это была удивительно красивая женщина, брюнетка с большими, очень темными глазами. Кира походила на нее и тоже обещала стать красавицей. А. Г. же был типичным шведом: белокурым, голубоглазым, с правильными чертами лица, но небольшими глазами. Он был ровно на 20 лет старше меня и принял по отношению ко мне немного отеческий тон, что я считала излишним. Помнится, как на какой-то встрече редакцин с ее друзьями, где были водка и пиво (вино в Латвии было импортным и во время войны недоступным), А. Г. предостерегал меня после водки ни в коем случае не пить крепкого рижского пива, и я, не последовав его советам, имела удовольствие видеть, как А. Г. слегка пьянел и становился необычно разговорчивым. На меня алкоголь почти не действовал.

Несмотря на этот покровительственный тон, А. Г. принимал мою работу весьма всерьез и дорожил моим мнением. Помню наш горячий спор об одной статье: я утверждала, что она вызовет определенную реакцию у читателей, которой мы бы не хотели, и потому ее не следует печатать. Он же утверждал, что она вызовет противоположную реакцию, и отдал распоряжение печатать статью. Потом он имел мужество сказать мне, что она вызвала ту самую реакцию, какую предсказывала я.

Мой рижский период был, конечно, определен работой в редакции, и особенно непосредственным и тесным общением с А. Г. Между нами господствовало не только единомыслие, но и личная симпатия. Была ли я тогда в него немного влюблена? Задним числом мне трудно определить, но если и да, то скорее подсознательно. Для меня и тогда брак был неприкосновенен, особенно если был ребенок, даже если б у меня и создалось впечатление, что он не очень счастлив. Но брак Стенросов был безусловно счастливым, А. Г. и Т. Н. любили друг друга. С Т. Н. у меня были тоже хорошие отношения, хотя она и работала в другом отделе и по работе мы не так часто встречались. Но она иногда делилась со мной опасениями и страхами, присущими нашему трудному времени, о которых А. Г., как «сильный мужчина», молчал.

Весной у нас даже возникла идея снять на взморье общую дачку, где семьи могли бы жить все лето, тогда как мы, «рабочие лошади», ездили бы туда на субботу и воскресенье. Стенросы в прошлые года снимали там дачу. Ранней весной Т. Н., Кира и я ездили на взмо-

рье, но ничего подходящего не нашли. А потом, летом 1944 года, война перечеркнула все дачные планы. Зато прямо из Риги я ездила в предместье, где был лесок и, главное, большое озеро Киш, в котором я и плавала. Ездила на озеро иногда одна, большей же частью с приятельницей еще по Пскову или же с нашим соседом Назаровым. Это был приятный молодой человек, очень простой в обращении, и, хотя мы были почти одногодки, у нас сохранились чисто товарищеские отношения, даже без налета флирта. Плавал он не так хорошо, зато мы брали лодку, и я могла прыгать в воду прямо с лодки. Если я была в лодке одна, то на это не решалась: ведь лодку могло отнести, а когда он сидел в лодке, то нетрудно было снова в нее забраться. Молодость брала свое, и на озере было весело, особенно когда мне дали в редакции две недели отпуска. Зато когда я вернулась на работу, Карл Карлович приветствовал меня с восторгом: «Наконец-то вы вернулись, без вас никто не мог угодить главному редактору!»

В лесу, около озера, был даже маленький ресторанчик. Однажды мы с Назаровым после лодки и плавания изрядно проголодались и попробовали зайти в этот ресторанчик. К чаю нам подали «бутерброды»: кусочки черного хлеба с чисто вымытыми листьями салата на них, без масла, без какого-либо майонеза или чего-нибудь еще. «А посытнее у вас ничего нет?» — спросили мы разочарованно немолодого кельнера. «О, есть», — ответил он с заговорщицким видом и... принес нам кусочки хлеба с ломтиками огурца на них. Но это оказалось и в самом деле более сытным. Брала я иногда покататься на лодке и маму, отец этим не интересовался. Но однажды мы чуть не утонули в озере Киш. К нам в поездку на лодке напросилась дочь псковской учительницы музыки Барбашиновой. Ей было уже 30 лет, но от рождения она была слабой, с поврежденным сердцем и, конечно, совершенно неспортивной. Когда мы подошли к озеру, оно оказалось беспокойным, и лодчица, увидев, что в нашей компании нет мужчин, не хотела давать лодку. Но нам не хотелось откладывать своего намерения, и я легкомысленно настояла на катании. Когда мы отплыли уже довольно далеко, волнение усилилось, лодку надо было держать носом навстречу волнам: попади она меж них, она б перевернулась. Держать лодку было бы не так трудно, если б... у нее были нормальные ключи. Но вместо них в борт лодки были вбиты две палочки, между которыми лежали весла. И вот одна из задних палочек сломалась.

Мне удалось вытащить из дырки переднюю и вставить ее в заднюю дырку, но, пока я меняла палочку, лодка уже чуть было не перевернулась. Немного погодя сломалась другая задняя палочка, снова я переставила переднюю, и снова мы были на грани «крушения». Теперь все держалось на этих двух палочках. Если бы одна из них сломалась, мы бы оказались в воде. Я бы выплыла, выплыла бы и моя мама, если бы у нее в ногах не случилось судорог, но молодая Барбашинова пошла бы как камень ко дну, и я не была уверена, что смогла бы ее спасти. Спасать человека, не имеющего понятия о том, как надо держаться в воде, очень трудно — таким сильным и опытным пловцом я не была. Моя мама понимала, в каком опасном положении мы находимся, но молчала. А наивная Барбашинова ничего не подозревала и восхищалась волнами. Палочки выдержали, и мы доплыли до причала. После перенесенного нервного напряжения я накинулась на лодчицу, упрекая ее в том, что она дала такую плохую лодку, и показала при этом на пустые дырки. Лодчица побледнела и нашла только один комментарий: «Вы очень сильная». А Барбашинова весело поблагодарила нас за приятную прогулку на лодке.

Назаровы, мать и сын, жили рядом с нами, в том же доме, по одному коридору. Я не помню, работал ли где-нибудь тогда сын, но на жизнь зарабатывала мать. У нее была весьма выгодная в то смутное, опасное и тяжелое время «специальность»: она была... прорицательницей. Она говорила, что ей достаточно всмотреться в лицо человека, чтобы узнать не только его характер, но и судьбу. Столько людей тогда боялись как за себя, так и за своих близких и дорогих людей. У нее не было отбоя от клиентов. Иногда звонили к нам, если она не открывала, и робко спрашивали, когда можно к ней попасть. Если я была дома, то реагировала нетерпеливо, отвечая, что здесь не личный секретариат госпожи Назаровой. Мама больше понимала этих бедных людей и была терпеливее. Назарову, видимо, задело за живое, что я не обращалась к ней за предсказанием будущего, хотя жила рядом. Однажды, поймав меня в коридоре, она предложила мне зайти, пообещав предсказать будущее по-соседски, бесплатно. Мне это было совершенно неинтересно, но из вежливости я пошла с ней. Фантазии у нее оказалось мало, и она «предсказала» мне то же самое клише, которое она, вероятно, говорила всем молодым девушкам: выйдете замуж, будет двое детей. Ничего из этого не исполнилось.

Хоть мой отец был, собственно говоря, уже в пенсионном возрасте, он мучился бездельем и невозможностью заработать деньги, хотя моего заработка хватало на выкуп продуктовых карточек и покупку продуктов на рынке. Мы не голодали. Теперь я уже не помню, через кого и каким образом мой отец получил приглашение из обсерватории Кракова занять там вакантное место сотрудника-астронома. Хотя мой отец все последние годы специально астрономией не занимался, но все же он был не только математик, но и астроном, и он решил принять предложение. Мама и я были скорее за то, чтобы в то тревожное время не разлучаться, но отец настоял на своем и поехал в Краков. Довольно долго мы о нем ничего не знали, как вдруг он неожиданно появился в Риге.

Во время войны сообщение было, конечно, не слишком удобным и быстрым. Когда мой отец доехал до Кракова, вакантное место оказалось уже занятым. В обсерватории он встретил нескольких русских астрономов, принявших его очень приветливо и сожалевших, что место уже занято. Но мы были рады такому обороту событий, ведь положение на фронте все обострялось. Мой отец рассказал, как его потрясла дискриминация поляков. Уже на вокзале он стоял перед надписями над двумя выходами в город, как Эдип перед Сфинксом: на одном было написано: «Только для поляков», а на другом: «Только для немцев». Поскольку отец не был ни поляком, ни немцем, он не знал, как же ему вообще попасть в город. Верх взяли практические соображения: у него были тяжелые чемоданы, а на выходе «для немцев» было гораздо удобнее. То же самое имело место и в городском транспорте: на половине поляков была давка, а на половине немцев — свободные места. Так мой отец и добрался до обсерватории. А там ему сказали, что он, как русский, имел право ехать на немецкой половине вагона: в Польше русские приравнивались к немцам! И продуктовые карточки они получали немецкие, значительно лучшие, чем поляки. В Латвии было не так — мы получали латышские продуктовые карточки (немцы получали лучшие), но и они были лучше, чем немецкие в самой Германии, как я потом сама убедилась. Никакой сегрегации на транспорте в Латвии не было, не было ее и в оккупированных русских городах. Национал-социалисты очень не любили именно поляков.

Если Назарова предсказала ерунду, то неожиданное возвращение отца странным образом предсказала мне другая женщина,

шутя бросившая на меня карты. Это была Олимпиада Георгиевна Полякова. У меня в молодости была тяга к людям старше меня, иногда намного старше. Я всегда была много серьезнее, вдумчивее и политичнее, чем молодежь моего возраста. Так я подружилась и с Поляковыми, тоже беженцами из СССР, жившими неподалеку от нас. Николай Николаевич Поляков называл себя профессором истории. Где он был профессором, не знаю. Знал он много и писал статьи для нашей газеты, причем всегда скромно говорил, что он не так опытен в газетном деле и что, если надо, я могу править его статьи. При этом он и его жена были почти в возрасте моих родителей. О. Г. тоже была образованной, особенно в области литературы, женщиной, как казалось, немного восторженной и не слишком симпатичной, но интересной. У нее была тяжелая болезнь — бруцеллез. Она получила ее, выпив в Крыму сырого молока. Это странная болезнь. Она иногда совсем отпускает человека, и он живет совершенно нормально, а затем опять схватывает и вызывает частичный, а иногда и полный паралич. Предсказать эти периоды невозможно. О. Г. болела уже 12 лет, и я думала, что это повлияло на ее характер. О немцах вообще она отзывалась восторженно, но особенно об одном военном враче, который вылечил ее. В СССР тогда не было средств против бруцеллеза, в Германии же была не так давно найдена вакцина, оказывавшая не только профилактическое, но и терапевтическое воздействие. Этот врач предупредил, однако, что пока она была испробована только на недавно заболевших, и он не уверен, подействует ли вакцина в таком застарелом случае. Но написал эту вакцину якобы для заболевшего солдата — так поступали многие немецкие врачи, помогавшие русскому населению. Средство подействовало, О. Г. излечилась. То, что она говорила с восторгом об этом враче, было естественно.

Закончу здесь историю моего знакомства с Поляковыми. После войны я их снова встретила, они жили под Мюнхеном, в лагере беженцев, под другой фамилией, что было совершенно понятно ввиду преследований со стороны советских органов и, соответственно, выданных со стороны американцев. Н. Н. не изменил хоть своего данного при крещении имени и стал Николаем Ивановичем Осиповым, О. Г. же превратилась в Лидию Тимофеевну Осипову. Теперь она рвала и метала против немцев и заявила, что всех их надо засадить в концлагерь. Я переспросила: «Всех?» Она подумала секунду и ответила твердо: «Всех». Моим следующим вопросом

было бы: «И того врача, что вылечил вас?», но Н. Н., которому эти выпады жеиы были неприятны, заговорил о чем-то другом и тем перебил мой вопрос. Макриди, с которым у меня тогда уже был письменный контакт, очень обрадовался, что Поляковы живы, написал им, но не получил ответа. Меня ведь они тоже приняли холодно, но не могли не впустить, когда я уже стояла в дверях. Макриди писал потом, что «провинциально ошибся в Полякове». Поляков-Осипов стал ярым солидаристом, восторженным не по возрасту. Даже его более молодые товарищи по партии подсмеивались над ним. Жена же его выпустила книгу по литературе, говорили, неплохую, я ее не читала.

Но вернемся в Ригу 1944 года. Как-то раз в редакцию вошел высокий человек лет пятидесяти, с военной выправкой и недовольным лицом. Он спросил меня, может ли поговорить с Пирожковой. Я ответила, что может. Это я. Его глаза широко открылись, у него был вид совершенно сбитого с толку. Запинаясь, он спросил, я ли написала такую-то статью. Не помню, какое название носила та статья, но в ней я писала о пагубности Первой мировой войны и высказывала мнение, что ее следовало во что бы то ни стало избежать. Я подтвердила свое авторство и пригласила его в свою комнату для разговора. Он отстаивал ту войну, но как-то вяло и неуверенно. Потом уже я встречала немало старых эмигрантов, уверенных в том, что та война была нужна и что ее проигрыш (впоследствии не игравший никакой роли — основное поражение в войне потерпела Германия) был худшей катастрофой, чем революция, даже Октябрьская. Такое ослепление мне было совершенно непонятно. Я рассказала А. Г. о посещении странного человека, на что он рассмеялся: «А, так он все же добрался до вас! Он написал вам ругательное письмо, но я не стал передавать его, огорчать вас». Я искренне удивилась: ругательные письма, особенно такие, как то, что теперь передал мне А. Г., могли меня только веселить. Этот человек писал, между прочим: «Вы 25 лет обманывали русский народ, и теперь опять его обманываете». Мне стало понятно его смущение при встрече: мне не было 25 лет от роду, так что я никак не могла обманывать кого-либо так долго. Уже упомянутые Поляковы, которые, как оказалось, были с ним знакомы, смеясь, говорили мне, что он и к ним пришел ошарашенный: «Я думал, что это старая, иссохшая большевичка, а это — прелестный ребенок!»

Многие старые эмигранты и тогда думали, что против Первой

мировой могли быть только большевики, которые во время войны пропагандировали пораженчество. Как могли так думать даже монархисты, зная, что результатом октябрьского переворота было убийство всей царской семьи и ликвидация монархии, совершенно непонятно. Но за долгую жизнь я вынуждена была научиться тому, что очень многие люди не способны воспринимать перемены, происходящие вокруг них, и полностью застывают в какой-нибудь стадии своей жизни. Многие старые эмигранты вообще не понимали, что делается в СССР. Так, А. Г. получил однажды письмо из Парижа от русского, до которого дошла наша газета. Он писал о своей тоске по родине, и в письме были такие слова: «Вам было тяжело, но вы жили в Москве, вы могли положить руку на стену священного Кремля». А. Г. ответил статьей под заголовком «Тоска на родине», где писал: «Вы говорите, я мог положить руку на стену священного Кремля; признаюсь, не пробовал. Если б я решил покончить жизнь самоубийством, то нашел бы более легкий способ». Попробовал бы кто-нибудь в сталинское время подойти к кремлевской стене! Но в 1992 году я могла убедиться, что даже антикоммунисты молодого поколения в России этого не знают и не понимают. Уже Хрущев частично открыл Кремль для туристов, и за десятилетия истинное положение при Сталине стало бледнеть, а многое, увы, слиняло в памяти совсем.

Мой возраст оказался забавным и в смысле дополнительных даров на продуктовые карточки к Пасхе: в тот год они — западная и восточная — совпадали, были в один день. Власти решили выдать перед праздником тем, кто моложе 25 лет, конфеты, а тем, кто старше 20 — водку. Так что я получила и то, и другое.

Мне уже не раз приходилось говорить и писать, что христианские и тем более церковные понятия были очень разболтанны в России еще до революции. Семья Макриди была антикоммунистическая, «белая», если можно так выразиться, но религиозной она не была. Я тогда начинала очень медленно приближаться к церкви и к христианству, все еще плавая в тумане самых поверхностных христианских и церковных понятий. Следует отметить, что для нашей редакции в небольшом зале того дома, где она помещалась, каждый четверг вечером показывали фильмы. Это были немецкие, лишенные какой бы то ни было пропаганды картины, часто с такими прекрасными комедийными артистами, как Гейнц Рюмаи, Ганс Мозер и Тео Линген. Большинство из нас ходило на эти фильмы,

они были отдушиной, отдыхом от страшных проблем, тяготевших над нами ежедневно. На Страстной неделе перед общей Пасхой А. Г. спросил меня, пойду ли я в четверг смотреть картину. Я ответила, что не пойду, ибо это Великий четверг, а пойду в церковь. Я уже знала, что там будет чтение двенадцати Евангелий, хотя и не представляла себе, какие отрывки будут звучать. А. Г. задумчиво взглянул на меня. После он признался, что тоже не ходил смотреть фильм.

В Риге был прекрасный православный собор на главной улице, в дореволюционное время она называлась Алексаидровской, во времена независимости Латвии ее название было Бривибас иела, то есть улица Свободы, а при немецкой оккупации ей, конечно, дали имя Адольфа Гитлера. Этот собор на главной улице не мог вместить всех желавших прийти на пасхальную заутреню, а потому распространялись входные билеты, что меня поразило. Это было как-то не по-русски. Мои родители получили два билета и жалели, что не три, но я сказала, что и при наличии третьего билета не пошла бы в собор. Мне казалось, что в это скорбное время пышные богослужения неуместны, а потому пошла в маленькую скромную церквушку неподалеку от того места, где мы жили, и была очень довольна, несмотря на жалкий хор и общую бедную обстановку.

Между тем тучи сгущались. Советские войска вступили в пределы Прибалтики. Началась эвакуация неработоспособного населения, тогда как молодым уезжать еще не разрешалось. А. Г. хотел отослать всю свою семью в Германию, но Т. Н. отказалась ехать без него, и он отправил в Германию мать и дочь. Я умоляла родителей тоже ехать в Германию. Они, конечно, не хотели оставлять меня, я же им говорила, что одна я подвижна, в крайнем случае меня возьмут на танк, — были известны случаи, когда немецкие солдаты брали русских беженцев на танки вопреки строгому запрету со стороны высшего командования, — а куда же деться с двумя стариками? Моим родителям тогда было 64 года, и у мамы были больные ноги. Наконец мне удалось их уговорить. Я стала выправлять для них бумаги на отъезд, а когда они были уже готовы, «ловушка» захлопнулась. Советским войскам удался рывок, они взяли Митава, в 40 километрах от Риги, и их танки шли на город. Наземный путь был отрезан. Рига попала в окружение. Как замороженные, мы стояли и смотрели на огромное пламя в не таком уж отдалении: горела Митава.

Странно, что в памяти у меня не сохранилось то роковое число, когда нам сказали, что советские танки находятся в 23 километрах от Риги и движутся дальше. Это было либо в самом конце июля, либо в самом начале августа 1944 года. Немецкие войска пробовали остановить наступление. Следующая ночь должна была решить, будут ли танки остановлены или же войдут в Ригу.

Ту роковую ночь мы провели в редакции. А. Г. сказал мне, что получил от немцев пистолет и что, когда гусеницы советских танков зашуршат под окнами редакции, он застрелит сначала свою жену, потом меня, а затем и себя. Я согласилась. Затем мы работали, как обычно, над следующим номером газеты. Внешне все были спокойны. Нервозность А. Г. вырвалась наружу только один раз, когда он неожиданно накинулся на меня за какую-то пропущенную в статье опечатку: «Так работать нельзя!» В нормальной обстановке я бы огрызнулась, но тут смолчала: я понимала, что на нем лежит еще бóльшая тягость — я лишь пассивно ждала смерти, а ему предстояло бы сначала еще убить двух человек, вернее, трех: его жена тогда уже ожидала ребенка, о чем никто из нас не подозревал, ведь было самое начало беременности, но муж-то об этом, конечно, знал. Впоследствии Т. Н. родила близнецов, так что в ту ночь в редакции погибли бы минимум пять человек.

В редакцию пришел и мой отец. Было, вероятно, нехорошо, что мы оставили маму совсем одну. Хотя от нее и скрывали всю остроту положения, она, конечно, догадывалась. Отец вряд ли пережил бы меня, а у мамы, если б она справилась душевно, еще были шансы сохраниться. Она всегда была вне политики, ее могли пощадить и даже разрешить вернуться к старшим детям. Но кто знает?

Господь решил иначе. Советские танки были отбиты. На другой день из трех ежедневных рижских газет — латышской «Тевия» (Отечество), «Немецкой газеты на Востоке» и нашей — вышла только «За Родину». Ее расхватывали все, кто понимал по-русски. Редакции двух других разбежались, попрятались у родных и знакомых на взморье, чтобы переждать первый натиск, если советские войска войдут в Ригу, хотя как раз первые отряды никого не арестовывали — это было дело шедшего следом Смерша. Но нам некуда было бежать, и где прятаться. Интересно, что Ригу не бомбили, но по всему городу на всякий случай были распространены указания, куда бежать при бомбардировке. Недалеко от нашего жилья на стене виднелись большая стрела и надпись по-немецки: «Дорога

спасения — большое кладбище». Видимо, там было какое-то бомбоубежище. Вот и для нашей редакции единственным путем спасения в ту ночь было бы «большое кладбище».

Всех, кто дает себе труд задуматься о прошедшей войне, я прошу попробовать заглянуть соответственно на другую сторону, через барьер. Война шла не между более или менее нормальными государствами, а между двумя страшными идеологиями и страшными диктаторами. Те, кто фактически воевал, имея все время смерть перед глазами, видя смерть товарищей рядом с собой, не могли отвлеченно обсуждать обстановку. Они были слишком сильно вовлечены в жуткую мясорубку войны, они напрягали все силы для победы и были — каждый на своем месте — уверены, что сражаются либо за правое дело, либо за свою родину. И в каком-то смысле они действительно сражались за свою родину, ибо идеология и режим противника несли их родине несчастья, хотя и собственные режимы для каждой из воевавших сторон был несчастьем. Теперь, более чем через полстолетия, стоит, оглянувшись, попробовать увидеть величайшую трагедию именно той войны: каждая из сторон несла гибель людям невиновным, достойным или просто непричастным не только в ходе чисто военных действий, но именно в случае победы. И одновременно те же самые войска могли быть освободителями для других, тоже совершенно невиновных людей. Советские войска принесли бы жизнь тем евреям, что еще оставались в живых, и небольшому числу прокоммунистически настроенных латышей, но они несли смерть или концлагерь не только нам, избравшим свой путь с открытыми глазами и понимавшим, чем он грозит, но и огромному числу латышских семей, попавшим во всю эту кашу, как кур в ощип. Они в 1940 году не звали советских оккупантов, а в 1941-м не просили Гитлера начинать войну. Они просто хотели тихо жить в своей маленькой стране и стали мячиком в жуткой игре идеологий и борьбы за господство.

Был ли у меня страх смерти в ту ночь? Вряд ли. Умом я понимала, что смерть очень близка, но сердцу все это казалось каким-то сном. Смерти я как-то никогда не боялась и жила все время больше общими проблемами и мучительным поиском смысла жизни, а конкретные события, даже такие страшные, точно соскальзывали с меня.

Непосредственная опасность отошла, но Рига оставалась отрезанной. По суше покинуть ее было нельзя. Бумаги на отъезд моих

родителей в Германию были выправлены, но казались уже ненужными за невозможностью выезда. Вдруг к нам прибежали взволнованные соседи и сказали, что у пристани стоит пароход, готовый к отплытию в Германию, а на пристани вывешены списки пассажиров, и там стоят фамилии моих родителей. Немецкое командование начало по морю подвозить подкрепления, а на обратном пути они брали на борт беженцев. Я уговорила родителей уехать. Наши несложные пожитки были уже собраны: ведь родители собирались ехать поездом, и я отправила их в неизвестность: на море были мины, да и в пароходы стреляли, — кто знал, на каком судне размещены войска, а на каком беженцы?

В редакции мне передали, что она переводится в Эстонию, где положение было немного стабильнее. А. Г. сказал, что себя он считает обязанным ехать, но не думает, что газета там будет еще долго выходить, и для меня необходимости туда ехать не видит. «Постарайтесь уехать в Германию вслед за родителями», — посоветовал он. Я тоже считала это наиболее разумным, тем более что беспокоилась за них. Узнав, что беженцев записывают на бирже труда, я пошла туда. За столом, где согласно надписи шел набор рабочей силы в Германию, сидел человек с партийным значком НСДАП, а перед ним выстроилась очередь из стариков, беременных женщин (иные уже на сносях), женщин с маленькими детьми, лишь иногда прерывавшаяся более молодыми и работоспособными людьми. Сидевший за столом прекрасно понимал, что о рабочей силе пришедших не может быть и речи, но записывал всех подряд. В ином качестве он не имел права их записать и сознательно нарушал приказ высшего начальства, наводняя свою Германию иждивенцами, понимая, что деваться им некуда.

Никогда не надо раскладывать людей по полочкам их партийной или даже идеологической принадлежности — в самых дурных партиях с самыми дурными идеологиями могут встретиться добрые люди. А каким был индивидуальный путь каждого такого человека в эту партию, смотрящие со стороны знать не могут.

Уже через три дня после отъезда моих родителей я погрузилась на пароход, шедший в Готтенхафен, по-польски — Гдыню, порт, расположенный недалеко от Данцига. Нам выдали плавательные жилетки и приказали не снимать их: пароход в любую минуту может наскочить на мину или быть обстрелянным, а мы, если останемся при этом в живых, окажемся в воде. Но спасательная жилетка

мешала мне. Я нашла высоко на нарах свободное место и легла спать, но в жилетке было неудобно. Тогда я сняла ее, бросила в угол и спокойно проспала большую часть переезда. В Гюттенхафене наш жалкий багаж выгрузили на набережную, и мы искали пожитки. Свои я нашла быстро, и нас повезли в лагерь для беженцев. Он был переполнен, был неизбежно шумным и грязным. Мне не понравилось. Но там были мои родители, безумно обрадовавшиеся мне. Они рассказали, что на их пароходе были почти одни старики и женщины с детьми или беременные. На «моем» пароходе было уже немного больше молодых. К их пароходу прислали мальчиков, Hitlerjugend, и они перетаскали им вещи. А потом пришли женщины из национал-социалистского союза и принесли кофе (конечно, суррогатной) и бутерброды. Все это было хорошо, но из лагеря для беженцев надо было уезжать. Я сказала, что мы уедем назавтра. Отец вздохнул: если б хоть через неделю! Укладываясь спать, я пробормотала: «Завтра мы уедем». На другой день мы действительно уехали из этого лагеря. Так начиналась наша жизнь в Германии.

Конец войны

Уже в Риге я слышала, что старый русский эмигрант — как теперь говорят, эмигрант первой волны — князь Андрусов организовал лагерь беженцев в маленьком силезском местечке Бирау, недалеко от Ратибора. В то время в Германии гражданским лицам нельзя было купить железнодорожные билеты на расстояние, большее чем сто километров. Повсюду висели плакаты: «Колеса должны катиться для победы». Поэтому нужно было получить разрешение от начальства лагеря беженцев для покупки билетов на дальнейшее расстояние. Постоянно прибывали новые и новые беженцы, так что начальство стремилось разгрузить лагерь. Те, у кого в Германии были родственники или друзья, легко получали такое разрешение, и потому нам сразу дали «добро» на покупку билетов до Бирау.

Сначала мы приехали в Данциг, где должны были пересесть на поезд, идущий в Бреславль. Был вечер, а поезд, как стало известно, ожидался в полдень следующего дня. Привыкнув в СССР ждать на вокзалах, иногда и всю ночь, мы уселись в зале ожидания. Неожиданно к нам подошли две женщины из Немецкого женского союза и спросили, когда идет наш поезд. Я сказала. «Разве вы не хотите ночевать?» — спросили они удивленно. Конечно, хотим, но где? В гостиницы частных лиц в то время уже не брали. «У нас есть ком-

наты отдыха, — сказали они, — комнаты сейчас пустуют. Пойдемте». Нас привели в чистенькие комнаты с кроватями и постельным бельем на них. Затем принесли кофе (конечно, ячменный) и бутерброды. Все это было бесплатно, но женщины спросили, не сможем ли мы что-либо пожертвовать для их организации, впрочем, добавив: «Только если можете». Я пожертвовала пять марок. Почему-то они нас заперли. Мы обнаружили это наутро. Комнаты были на первом этаже, и я выскочила в окно, чтобы хоть немного посмотреть Данциг. Часов в одиннадцать женщины пришли снова, отперли дверь, принесли кофе и бутерброды, и мы, закусив, сели в поезд на Бреславль. Там мы собирались пересесть в пять утра на местный состав до Бирау. Вечером, по приезде в Бреславль, я пошла, вспомнив Данциг, в такую же женскую организацию узнать, нет ли у них комнат отдыха. Мне сказали, что комнаты имеются, но, к сожалению, все места уже заняты. Ничего не поделаешь, я повернулась к выходу, как вдруг одна женщина окликнула меня: «Вы русские?» — «Да, русские». — «Тогда подождите, у нас есть пустая комната для матери и ребенка. Кроватей там нет, но есть большие столы. Мы принесем одеяла, и вы все сможете прилечь и отдохнуть». Так и сделали. Опять принесли кофе и бутерброды и сказали: «В четыре утра разбудите нас, мы дадим вам завтрак». Но будить их мы, конечно же, не стали и в пять утра сели в поезд на Бирау. Отчего эти женщины так любили русских, я, конечно, уже никогда не узнаю.

Лагерь в Бирау был хоть и чище прежнего, но все же малопривлекательный. Князь Андрусов делал, что мог, и ко всем относился очень предупредительно. Лагерь был расположен на опушке лесочка, очень напоминавшего русский: березки, ели, сосны, вереск, брусника, черника. Хоть это влияло благотворно. Каждый специалист, приехавший сюда, получал назначение на работу и разрешение сначала съездить туда и посмотреть, нравится ли оно, а потом принять или не принять его. Если беженец назначения не принимал, ему давали другое. В Германии тогда почти уже не было мужчин: все были на фронте. Работали причем и на технических, и исследовательских должностях французы, бельгийцы, норвежцы, голландцы, русские, украинцы и прочие. Теперь в этих странах неохотно вспоминают об этом. Моему отцу князь Андрусов дал направление на фабрику, производившую киноленты (а возможно, и другую продукцию) и находившуюся в городе Вольфене, что в провинции Саксония. Ее не следует путать с землей Саксония. Эта небольшая провинция принад-

лежала Пруссии со времени победы Фридриха Великого в Семилетней войне с Австрией и ее союзницей Саксонией. Вольфен от Берлина лежал в двух часах езды на скором поезде. Потом, уже после войны, он оказался на территории ГДР. В отделе технических исследований тамошней кинофабрики моему отцу, как математику, и предлагалось место. Съездив в Вольфен, мой отец сказал, что примет предложение. Решающим обстоятельством оказалось то, что там у него произошла встреча с профессором математики и инженером из Ленинграда Алексеем Александровичем Гебергом, который уговаривал отца взять эту работу, обещал, что работать смогут вместе. Мне тоже предлагалась там работа, поскольку у меня уже было несколько семестров математического факультета. Но меня, конечно, интересовало другое, и я хотела посмотреть, как обстоят дела с русскими антикоммунистическими изданиями в Берлине. Обязательный князь Андрусов устроил мне билет на поезд в Берлин, и ночью я помчалась туда. Поезд был переполнен, уснуть не удалось ни на минуту.

В Берлине я установила, что ни о каких антикоммунистических русских изданиях уже и речи быть не может, впрочем, кроме небольших власовских газетенок. Даже «Русское слово» Деспотули было закрыто, а сам он арестован. В следующую ночь я выехала обратно в Бреславль. После суток, проведенных без сна, я, конечно, на обратном пути засыпала в поезде чуть не стоя. В коридоре переполненного вагона я села на чей-то чемодан и сразу же так и уснула. Изредка просыпаясь, я обнаружила, что чемодан принадлежал офицеру, стоявшему рядом. Сонным голосом я время от времени предлагала ему сесть на его собственный чемодан, тогда как я постою, но он только махал рукой. Так он и простоял всю ночь, а я проспала на его чемодане. Нет, война не только озверяет людей, она и сплачивает их в нужде и опасности, учит помогать друг другу. В спокойной зажиточной жизни люди об этом очень часто забывают. Из Бирау я совершила и вторую поездку, недалекую и нетрудную, в соседний Ратибор. Там я хотела встретить автора многих статей, печатавшихся в «Новом слове». Это был некто профессор Иванов (имени-отчества не помню) из Киева. Его статьи мне очень нравились, и, узнав, что он находится в Ратиборе, я решила с ним познакомиться. В его кабинете мне сказали, что он куда-то вышел, и попросили подождать.

Ожидание было недолгим: дверь открылась, и вошел горбатень-

кий человек лет пятидесяти. У меня невольно возникло чувство: только бы не он! Дело было, конечно же, не в горбе; я ведь не жениха себе искала, а умный разговор может вести и горбатый. Но в его лице было что-то такое неприятное, что у меня промелькнуло желание не обнаружить в нем Иванова. И в этот момент молодой человек, предложивший мне подождать, спросил, знакома ли я с профессором лично. Получив отрицательный ответ, он мне сказал: «Вот он как раз сейчас зашел».

Иванов принял меня приветливо, разговор оказался интересным, и первое неприятное впечатление развеялось. Но впоследствии мне пришлось еще о нем вспомнить...

Иванов считал, что борьба с коммунизмом только начинается, что настоящую борьбу могут вести лишь демократы и что после поражения гитлеровской Германии они-то и поднимут знамя такой борьбы. Я была настроена гораздо более скептически, не веря в решимость демократий.

Расставаясь, мы условились держать контакт, в частности, договорились, что я дам знать, куда мы попадем на работу.

Итак, мы все перебрались в Вольфен. Тогда он был маленьким, чистеньким, очень зеленым городком. Как-то недавно мне пришлось видеть его по телевидению. За без малого полвека существования ГДР он превратился в грязный промышленный центр с чрезвычайно отравленным воздухом. Но тогда там было тихо, хотя городок и был забит беженцами, преимущественно своими же, немецкими. Сюда перевозили семьи из Рейнской области, превращенной к тому времени американскими и английскими бомбардировщиками в груды развалин. Веселым и общительным рейнцам саксонцы были не по душе: они считали их угрюмыми и неразговорчивыми. Квартир не было и для немецких беженцев — для них строили кирпичные бараки, а для русских был построен целый деревянный барачный городок. Здесь всюду царила чистота, но комнаты были общими, с двухэтажными нарами. Мне, молодой, это было не так страшно, но моим родителям приходилось трудно. Получив немецкие продуктовые карточки, мы могли даже готовить себе пищу. Мы с отцом обедали в фабричной столовой, а иногда по вечерам ходили в ресторан, где надо было отдать талоны, но картошку или морковку можно было получить дополнительно к заказываемому блюду без карточек. Дело заключалось не в деньгах, хотя нам платили и немного, но на выкуп карточек или ужин в ре-

сторане вполне хватало. Особую ценность имели продуктовые талоны, поскольку карточки сами по себе были довольно скудны.

Сначала я не хотела прочно устраиваться на работу — у меня все еще были политические мечтания в голове, и, когда начальник лагеря спросил меня, где я собираюсь работать, я ответила, что пока не знаю. На это он надменно заявил, что я буду работать там, куда он меня пошлет. Я тотчас же вспыхнула, возражая: буду работать там, где договорюсь с начальством фабрики. Он отступил, заметив, что берет нас в свой лагерь как гостей.

Тогда наступила моя очередь быть надменной — я сказала, что мне это безразлично. А между тем у него и в самом деле имелось право посылать жителей лагеря на работы, но психология чиновников тоталитарных режимов везде одинакова: если человек отвечает смело, они отступают, думая, что где-то наверху есть «рука»; тем более что мне удалось устроить поездку в Берлин из Вольфена, что было проще, поскольку расстояние было не столь велико. Но в Берлине я еще раз убедилась, что политически ничего не шевелится, и, возвратившись в Вольфен, согласилась работать как бы ассистенткой А. А. Геберга. Не знаю, над чем он работал, но я по его заданию делала разные математические выкладки, вроде решений дифференциальных уравнений, которые он включал в свои разработки.

Однако вскоре немецкий начальник отвлек меня, дав много фотографий с какими-то белыми, различно расположенными точками, по которым следовало делать диаграммы. Что это такое было и зачем оно нужно, я не имела понятия, да и до сих пор не имею. Жизнь текла равномерно, Вольфен не бомбили. Мы пребывали как бы в тихой заводи, в то время как вокруг гремели битвы.

Как я уже упоминала, мы с отцом обедали в заводской столовой. Сначала мы отправлялись туда втроем: А. А., мой отец и я, но потом вдруг наверху спохватились: иностранцы не должны обедать вместе с немцами, должна быть проведена сегрегация. Нам приказали идти в ту же столовую, но не в полдень, а на полчаса раньше; А. А., как немец, шел обедать в двенадцать. Я расспрашивала его потом, чем это их кормили, и убеждалась, что и для нас, и для них обед был одинаков. Но как-то ведь надо было выделить «высшую расу»! Потом в нашу комнату посадили русскую чертежницу, и она как-то пожаловалась, что даже туалет сегрегирован. Я посмотрела на нее с удивлением: немецкая служащая, которую я спросила в первый

день, показала мне дамский туалет немецкий, конечно, — и я даже не знала, что для иностранцев существует другой. Интеллигентные немцы стеснялись этой навязанной им сегрегации и никогда не инициировали ее проведения. Еще не очень старый, но грузный и малоподвижный профессор Геберг звонил в канцелярию, если ему бывали нужны карандаш или линейка, и девушки из канцелярии приносили ему необходимое. Недолго раздумывая, я тоже сняла телефонную трубку и потребовала что-то из письменных принадлежностей. И мне их принесли, хотя в свои 23 года я вполне могла сама спуститься этажом ниже и взять все необходимое. Ко мне прониклись таким уважением, что даже позвонили однажды из канцелярии и сообщили, что на завод приезжает театральная труппа — не хотела бы я получить бесплатный билет? Я еще расспрашивала, хороши ли артисты, потом согласилась взять билет, и мне его принесли. И все же и мне пришлось раз пережить «сегрегационное» унижение. При заводе были ванны, которыми служащие могли пользоваться бесплатно. Я узнала, где находится дамское отделение, и ходила туда брать ванну. Иногда там бывала небольшая очередь. В ней я разговаривала с немецкими служащими, хотя и свободно, но все же не без ошибок и, конечно, с акцентом. Несмотря на это, все служащие бывали со мной любезны. Но однажды мимо пробежала уборщица и, услышав мою речь, вдруг закричала, что «грязные иностранцы» не смеют ходить в эти ванны, а вот на другой стороне для иностранцев есть ванны. Те же немки, которые перед тем относились ко мне с пониманием, не стали заступаться за меня. Таким неприятным образом мне стало известно о «ванной» сегрегации, о которой прежде действительно ничего не знала. Эти отдельные ванны для иностранцев, как и обед в столовой, ничем не отличались от немецких. Там даже не было очереди, и если б я знала про это раньше, то ходила бы туда. Протнвна была только грубость уборщицы. Много позже мне приходилось читать, что за сегрегацию в южных штатах США особенно рьяно держалась низшие слои общества: не имея общественного положения, они гордились только цветом своей кожи и при ликвидации сегрегации по расовому признаку потеряли бы единственный повод считать себя выше других. То же самое было и здесь: служащие и научные сотрудники и так уже имели известное общественное положение, а уборщица могла гордиться только своей принадлежностью к «высшей расе». Я не виню тех немок, что не заступились за меня, ведь приказ о сегрегации исходил свыше. До-

носы были очень распространены, а доносчиками в немалой степени были как раз люди низших классов: дворники, уборщицы и так далее, а мне все равно всерьез ничего не грозило.

Тем временем нашу семью перевели в кирпичные бараки, и мы получили небольшую, но отдельную комнатку. Это были бараки для иностранной интеллигенции. Рядом с нами, в соседней комнате, жили две сестры. Одна, значительно старше меня, была специалистом по химии и работала в химической лаборатории. Она-то и получила эту комнату. Вторая была немного моложе меня и работала на склейке коробок для фильмов, где работало также большинство русских, живших в общих бараках. Это были большей частью артисты и артистки варьете и всяких других увеселений, которые, оставшись на оккупированной территории, выступали и перед немецкими солдатами, а потом бежали, опасаясь оставаться при приближении советской армии.

Хотя по возрасту я больше подходила младшей из сестер, но интереснее мне было со старшей, с которой я и подружилась. Она рассказывала, что приехала в Германию уже довольно давно и добровольно, когда стали (кажется, в 1942 году) набирать специалистов. Поехала она из любопытства посмотреть другую страну и попала поначалу в ужасные условия. Их поместили в общие бараки, кормили преимущественно водянистой вареной брюквой и водили гулять под конвоем, как преступников. Но по мере того, как положение на фронте для немецкой армии становилось все хуже, положение русских специалистов и рабочих улучшалось. Сначала отменили прогулки под конвоем и стали лучше кормить, потом выдали немецкие продуктовые карточки, и они таким образом получили возможность самостоятельно себя обеспечивать, и, наконец, перевели в этот хороший барак, дав отдельную комнату. Мы попали в Германию, когда все эти метаморфозы уже совершились, так что нас уже никто не запирал, мы сразу получили немецкие карточки и не должны были носить значок «Ost». Впрочем, и те, кто его носили, имели уже немецкие карточки и получали деньги за свою работу. Однажды я зашла в булочную, чтобы купить пирожное. Для этого надо было отдать маленький талончик хлеба, жиров и сахара. На стене висело объявление: «Евреям и полякам пирожные не продаются». Мне стало неприятно, и я вспомнила рассказ отца о дискриминации поляков. Как раз в этот момент вошла элегантно одетая (хотя и в явно обношенную одежду) женщина со значком

«Р» на груди. Польша на довольно хорошем немецком языке спросила пирожное и протянула свою продовольственную карточку. Но продавщица ее отклонила, указав на надпись. И тут же вошла закутанная в платок простая русская или украинка со знаком «Ost», ткнула пальцем в пирожное и протянула продавщице продуктовую карточку. Та молча ее взяла, вырезала талоны, завернула просимое пирожное и взяла деньги. Польша наблюдала все это молча. Можно вообразить, каково было ее оскорбление: ей пирожного не продали, а какому-то «быдлу», слова по-немецки не умеющему сказать, продают!

Соседка-химичка рассказала мне, что у нее есть жених-немец, но для того, чтобы он получил разрешение на ней жениться, она должна была сходить в так называемую расовую службу, где определили ее расовое достоинство. Она была шатенкой с карими глазами, но на это не обратили особого внимания, главным было измерение формы головы. Лицо у нее было продолговатое, даже значительно, что портило ее внешность. Но «специалисты по расе» нашли, что как раз это хорошо. Ее отнесли к разряду длинноголовых, а не круглоголовых, то есть к высшей, по мнению этих специалистов, расе. Разрешение на брак было выдано.

Уже после войны я читала «Миф двадцатого столетия» Альфреда Розенберга и удивлялась его яростным нападкам на «круглоголовую средиземноморскую расу», испортившую «северную расу» Европы. Способствовала такой смеси католическая церковь, провозгласившая равенство всех людей в их достоинстве перед Богом. Главным врагом Розенберга были не евреи и тем более не русские, а католическая церковь. Позже мне как-то пришлось познакомиться с человеком, немцем, ставшим верующим католиком в результате чтения книги Розенберга. Его поразили истерически яростные нападки Розенберга на католическую церковь, и он решил поближе с ней познакомиться. Пути Божии неисповедимы — книга Розенберга оказалась для этого человека «доказательством от противного».

Вольфен не бомбардировали, но у Гёбергов была квартира в Дессау, и однажды днем американцы его бомбили. А. А. был внутренне очень взволнован, хотя внешне продолжал оставаться дисциплинированным: ведь там была его жена Зинаида Григорьевна. Я с ней тогда еще не была знакома, но, конечно, сочувствовала тревоге А. А. Вдруг раздался телефонный звонок, и А. А. взял трубку. На его лице отразилось огромное облегчение: звонила З. Г., ее, оказы-

вается, не было дома, она ходила что-то покупать, тогда как дом, где жили Геберги, был разбит бомбами и их скромное беженское имущество погибло.

Политические новости до Вольфена доходили плохо. Немецкие газеты были полны обычной пропаганды. Причем ради справедливости следует отметить, что передовые Геббельса в еженедельной газете «Das Reich» были блестящими. Конечно, это была лживая пропаганда, но сделана она была чрезвычайно искусно, стиль его статей был в высшей степени изящным, несравнимым с суконным языком советских вождей. О русских делах слышно ничего не было. Я не знала сначала и о событиях в Праге: возрождении Власовского движения, о Пражском манифесте. Не знала я и то, что с немецкой стороны союз с Власовым возглавил Гиммлер, этого я не узнала и когда до меня дошли сообщения о делах в Праге. Приехав в Вольфен, я сообщила свой адрес профессору Иванову. Он неожиданно начал бомбардировать меня письмами, сообщая сногшибательные новости о Власовском движении, о Пражском манифесте и о том, что он будет сотрудничать с этим движением, что ему даже предложили ответственный пост руководителя идеологического центра движения. Что это такое и какая идеология была у Власовского движения, не знал никто. Но можно было постараться выработать хоть какие-нибудь принципы, на которые бы это движение опиралось. В Пражском манифесте были записаны основные пункты, но я его тогда еще не читала. Профессор Иванов приглашал меня тоже сотрудничать. Сначала я к этому отнеслась скептически. Мои возражения были, что все это уже поздно, Германия проигрывает — что можно сделать еще в союзе с ней. У меня за прошедшее время, когда я спокойно обдумывала прошлое, возникло много сомнений относительно движения. Не помню, что отвечал мне Иванов на первый аргумент. В письмах он не мог быть откровенным, их могла открывать цензура. Я ведь тоже не писала откровенно, только намеками. Из наших личных с ним разговоров можно было понять, что он надеется на западных союзников. На второе же он возражал мне, что, «если все честные люди отойдут в сторону, тогда действительно движением завладеют авантюристы и искатели прибыли. При этом он не скупился на комплименты мне, превозносил мой политический ум, прозорливость и, конечно, порядочность. Мне жаль, что ни одного из этих писем не сохранилось. В свете дальнейших событий было бы интересно сейчас опуб-

ликовать хоть одно такое письмо. Мне было всего 23 года, похвалы со стороны больше чем вдвое старшего профессора не могли остаться без всякого воздействия. Иванов меня в конце концов убедил.

Получить разрешение оставить работу было не так легко, но наше начальство, доктора физики и химии, интеллигентные люди и отнюдь не нацисты, устроили это для меня. Иванов, уже перебравшийся в Берлин, прислал мне приглашение, послужившее основой для разрешения мне оставить работу, а также купить билет на поезд в Берлин. К сожалению, я тогда по молодости лет и политическому увлечению не думала о том, какое горе причиняю своим родителям. Берлин подвергнулся ковровым и частым бомбардировкам. Днем бомбили американцы, а ночью — англичане. Из спокойного, не подвергавшегося бомбардировкам Вольфена я стремилась в самое пекло войны. Но родители меня не отговаривали. Задним числом я хочу воздать должное их мужеству и любви ко мне. Они знали, что меня вряд ли можно остановить, если уж я что-нибудь решила. В один декабрьский день 1944 года (точной даты я уже не помню) я отправилась в путь. Выехала я утром, а всего езды на поезде до Берлина было два часа. Я ведь должна была приехать до пяти часов вечера, чтобы застать профессора Иванова еще на службе. О дне моего приезда я ему сообщила и была уверена, что он позаботился о каком-либо пристанище для меня в Берлине, хотя бы на первое время. Ведь он приглашал меня на должность своего научного секретаря. Поездка, однако, заняла много времени. Не знаю отчего, но, когда над страной пролетали вражеские бомбардировщики, поезда останавливались. А летели американские эскадрильи почти непрерывно, и наш поезд больше стоял, чем ехал. Я уже начала волноваться, что опоздаю. Наконец мы добрались до Берлина. Я побежала к метро и поехала в довольно отдаленный район Далем, где в элегантных особняках был размещен штаб Власовского движения. Особняк, где помещался идеологический центр и резиденция профессора Иванова, я нашла без труда. Не было пяти часов вечера, хотя и начинало темнеть, и Иванов должен был быть у себя в кабинете. Войдя в комнату секретариата, я назвала себя, и секретарь пошел доложить Иванову. Последний вышел из кабинета, взглянул на меня, не подошел, не поздоровался за руку и только равнодушно произнес: «А, приехали, зайдите завтра», повернулся спиной и исчез за дверью кабинета. И снова сказала моя моло-

досье. Мне надо было пройти за ним в кабинет и спросить, в чем дело. Но я остолбенела: после таких писем, таких уговоров, таких комплиментов — такой от ворот поворот! Совершенно ошеломленная, я повернулась и вышла на улицу. Но куда мне было идти? Деньги на номер в гостинице у меня были, но совершенной фантазией было бы предположить, что гражданское лицо, да еще иностранка, сможет найти в Берлине конца 1944 года гостиницу, которая сдавала бы комнаты. Почти все гостиницы были заняты под военные нужды, а если и принимались гражданские лица, то лишь важные чины. Я никого в Берлине не знала. Был уже вечер, быстро темнело, мороз крепчал. Сколько раз я уже бывала на волосок от смерти, но в таком безвыходном положении, как теперь, еще никогда не находилась. Пойти в полицию? Там объяснить положение и переночевать хотя бы в участке или... даже в тюремной камере?

Задумавшись, я брела по направлению к станции метро, вернее, думала, что бреду в этом направлении, и вдруг услышала знакомый голос: «А-а, все дороги ведут в Берлин!» Я подняла голову и увидела... И. С. Боженко. После нашей совместной деятельности во Пскове я ничего о нем не слышала, не знала даже, жив ли он, но еще никогда не была так рада кого-нибудь неожиданно встретить, как в тот момент! Боженко вел за руку девочку лет девяти-десяти, которая называла его папой. Он потом рассказал, что подобрал ее, потерявшуюся во время бегства. Он спросил, куда я иду. Я ответила, что ~~не~~ знаю, но пока к станции метро. «Как так, — воскликнул Боженко, — вы идете в обратную сторону! Мы идем к станции метро». Так Господь направил мои шаги в сторону, обратную той, куда я хотела идти, и только потому я встретила Боженко. Он отвез меня в знакомую русскую семью, где меня сейчас же радушно приняли, накормили и устроили на ночлег — в тесноте, да не в обиде. Я глубоко почувствовала, какое это счастье — просто иметь крышу над головой, находиться в теплой комнате, а не на морозной улице в чужом городе.

Затем меня познакомили с русской лет сорока пяти, из первой эмиграции, вдовой немца, павшего на фронте. Она взяла меня временной жилищей в свою комнату, так как в других квартировали русские добровольцы. Жила она в районе Берлинского зоологического сада, то есть в центре, который американцы и англичане особенно бомбили. Все кругом было уже разрушено, но дом, где она жила, стоял наряду с еще несколькими, чудом сохранившимися домами.

Уцелевший дом был единственным счастьем этой женщины. Она рассказала мне свою биографию, и я всегда вспоминаю о ней, когда мне кто-либо начинает жаловаться на судьбу. Приведу здесь ее рассказ. Она была дочерью генерала. Молоденькой девушкой во время Первой мировой войны, как и большинство жен и дочерей военных, работала в лазарете, ухаживала за ранеными. Познакомилась с молодым офицером, и перед самым концом войны они повенчались. Но как только они вышли из церкви, подскакал гонец и вызвал его в часть, а она, сняв подвенечное платье, снова пошла в лазарет к раненым. Привезли новую партию, и среди них человека, раненного в голову и так забинтованного, что лица нельзя было видеть. Но он был в сознании, и, когда она к нему подошла, он прошептал: «Ты же моя жена». Она безумно молилась, чтобы он выжил, но он умер.

Потом наступила революция. Ее отца и мать убили большевики. Ее тогда с ними не было, но нашлись «добрые люди», которые послали дочери фото с истерзанными телами отца и матери. Друзья помогли ей бежать в Германию, где она несколько лет спустя вышла замуж за немца из России.

Брак был, кажется, хорошим. У них был один сын. Началась Вторая мировая война. Сын был призван в армию и вскоре пал на фронте. Ее муж тоже был призван и, когда началась война с Советским Союзом, был использован на фронте как переводчик. Ее тоже использовали на работе как переводчицу для русских рабочих в Германии. В немецкой армии давались регулярные отпуска. Известным феноменом было то, что в браках, которые уже некоторое время были бездетными, после таких посещений мужей с фронта рождались дети. Так и моя знакомая родила девочку. Больше того, после одного из следующих отпусков она родила вторую дочь. Но, видимо, уже не столь молодая мать была истощена, девочка умерла вскоре после рождения. Моя знакомая рассказывала, что второй раз в своей жизни отчаянно молилась о жизни, на этот раз ребенка. Но ее молитва услышана не была. Не есть ли это указание нам, что единственно правильной, хотя и трудной молитвой является «Да будет воля Твоя»? Вскоре после этого пал на фронте ее муж. Ей осталась только маленькая дочка, первая из родившихся во время войны. Берлин подвергался сильным бомбардировкам. Семьи с детьми старались временно покинуть Берлин. Моя знакомая не могла уехать: во время войны и для немцев была трудовая повинность; она

была нужна как переводчица, ее из Берлина не отпускали. Но работавшим матерям предложили вывезти их детей в более безопасные места. И она отправила свою Олю вместе с другими берлинскими детьми. Их вывезли куда-то на территорию Чехословакии. Советская армия приближалась к тем местам, где была ее маленькая дочь, и перед ней встала угроза потерять ее навсегда. Бедная мать металась по комнате, как тигр в клетке, и причитала: «Мне бы только мою Олечку, мне бы только мою Олечку ко мне». Никто из нас, конечно, не мог ей помочь. Я уехала из Берлина, не зная, чем это кончилось, и этой женщины никогда больше не встречала. Но крик ее и теперь еще стоит в моих ушах.

Профессора Иванова я больше не видела. В его отделе меня встретила стайка молодых солидаристов, членов партии НТС, которые меня к нему не пропустили. Я поняла, что идеологический центр Власовского движения полностью находится в руках НТС. Все же я пошла, как мне кто-то посоветовал, во власовский отдел пропаганды. Там меня записала какая-то девушка, и притом произошел следующий маленький инцидент: она спросила, откуда я в данный момент приехала; я сказала, что из городка Вольфен. Затем она вдруг спросила, хотя это и не было пунктом заполняемой анкеты: «А ваши родители там?» Я ответила: «Там», подразумевая Вольфен. Последний анкетный вопрос был обычный для Берлина: кому сообщить, если я погибну при бомбардировке? Я ответила, что тогда следует сообщить моим родителям. Она вскинула на меня глаза и воскликнула полуудивленно, полувозмущенно: «Но ведь вы же сказали, что ваши родители там, в СССР!» Я возразила, что сказала «там» — в Вольфене, откуда я только что приехала. «А-а-а», — протянула она разочарованно.

Зачем она спрашивала меня, записывавшуюся в антикоммунистическую организацию, в СССР ли мои родители? Чтобы дать туда знать с целью их репрессировать? И еще раз пришла мне в голову мысль, что восстановление Власовского движения в конце 1944 года — провокация и что в этом движении много советской агентуры. Зачем, в самом деле, надо было в конце войны переодеть как можно больше гражданских молодых людей и военнопленных в немецкую форму, которую носили власовские солдаты (с нашивкой «РОА» на рукаве)? Чтобы потом легче было добиться от западных союзников их выдачи в СССР как предателей? После того, как меня записали, я ровно ничего не делала для Власовского движения.

Зато в личном плане в эти несколько недель в Берлине случилось то, что могло полностью изменить мою жизнь. Как я уже говорила, в квартире жили русские добровольцы. Среди них был один, который в меня влюбился и с места в карьер сделал мне предложение.

Николай Чуксеев был из крестьянской семьи, и его родные погибли при коллективизации. Он ненавидел коммунистическую диктатуру и потому пошел в добровольцы. Сам он был уже образованным, ему было 30 лет, и он до войны успел окончить институт, был математиком, почти что в традициях нашей семьи. Мне он казался прекрасным человеком, мягким, добрым, очень порядочным. Трудно, конечно, узнать человека за несколько дней, но я была уверена, что он именно таков. Я не была в него влюблена, но у меня и не было физического отталкивания от него, какое было в отношении влюбленного в меня, еще в Пскове, немецкого солдата, юриста по гражданской профессии, человека порядочного и интересного, который, однако, сделать мне предложения не мог, так как солдатам во время войны не разрешалось жениться на жительницах оккупированных стран, что, вообще-то, понятно. Но я бы его предложение тогда и не приняла. А с Николаем я раздумывала. Я не отклонила его предложения и сказала, что подумаю. Я спрашивала себя, встречу ли в жизни еще раз такого хорошего человека (не встретила)? Но не исключалось, что я ошибалась. Каким оказался бы он в ежедневной, будничной жизни? Кто знает. Николай предложил мне встретиться в кафе, он хотел рассказать больше о себе и своей семье. Я согласилась. Но англичане решили иначе: опять был налет, всех погнали в бомбоубежище и ни о каком кафе нечего было и думать. А потом события начали разворачиваться с быстротой киноленты.

В январе 1945 года у меня вдруг появилось странное чувство страшной, апокалиптической опасности для Берлина. К бомбардировкам, даже ковровым, мы привыкли и относились к ним хладнокровно. Помню, как-то на берлинские продуктовые карточки выдали нам бутылку вина. Берлинцев баловали мелкими подачками, конфетами, вином — в награду за жизнь на краю смерти. Недалеко от дома, где я жила, находился самый знаменитый в Берлине бункер-бомбоубежище, непробиваемый даже для тогдашних американских бомб. К нему по первому сигналу тревоги тянулись люди, жившие даже довольно отдаленно. Но мы туда не ходили. Так вот, ког-

да мы, то есть моя хозяйка, молодые русские добровольцы и я, стали распивать это вино, раздался сигнал тревоги. Но мы остались наверху — это же еще только тревога, и вино еще не выпито. Защелкали снаряды зенитной артиллерии — да это ведь еще только зенитка, и осталось немного вина в бутылке. Наконец где-то недалеко ухнула первая бомба, а в бутылке уже не было вина — и мы лениво потащились в подвал, который нас не защитил бы от прямого попадания. Человек ко всему привыкает. Но вот меня охватила совершенно не свойственная мне паника. Мне казалось, что на Берлин надвигается светопреставление, и из города надо немедленно бежать. Мне с трудом удалось подавить это желание немедленно покинуть Берлин. Через несколько дней все прошло, как будто ничего и не было.

Только значительно позже, конечно, уже после войны, я прочла, что американцы хотели сначала сбросить атомную бомбу на Берлин, но их отговорили, поскольку лучи радиации могли повредить их же союзникам: в Европе все слишком близко друг к другу. Тогда они решили сбросить эту бомбу на Японию: надо же было ее где-то испробовать.

Наконец из Власовского движения пригласили меня в Далем поговорить. Разговор был назначен на 3 февраля. На этот раз мне не понравилось американцам: дневные налеты совершали они. Меня принял молодой власовский офицер, но долго мы не проговорили: раздался сигнал воздушной тревоги. Мы пошли в подвал, где долго проскучали. Далем затронут не был, но налет длился долго. Это был знаменитый в анналах Берлина налет 3 февраля.

Когда наконец раздался отбой, о продолжении беседы не могло быть и речи. Берлин полыхал. Как оказалось, на этот раз бомбы пробили подземку, где спасение от бомбардировок искало много людей. До того места, где я жила, было далеко. Метро, конечно, не работало. Я четыре часа шла пешком через горевший Берлин. Идти надо было точно посередине улицы, так как от горевших справа и слева домов поднимался иногда сильный ветер. Его создавала разница температур между жаром огня и холодным зимним воздухом. Я была почти уверена, что дома, где я жила, уже нет. Но он стоял цел и невредим! Это было настоящее чудо.

Железнодорожные пути вокруг Берлина были разбиты, сохранилось только несколько оставленных для военных надобностей. Уехать из Берлина гражданским лицам было фактически невоз-

можно. Но мне кто-то сказал, что на вокзале стоит власовский поезд: власовцев вывозят из угрожаемого Берлина. Быстро я собрала свой вещевой мешок, попрощалась со своей хозяйкой и отправилась на вокзал. Николай был тогда на своей службе, и верным знаком того, что я его не любила, был мой отъезд даже без попытки дожидаться его и попрощаться с ним.

Власовский поезд я нашла без труда, но... там мне заявили, что женщин-сотрудниц с собой не берут. Женатым офицерам было даже предписано оставлять своих жен в угрожаемом Берлине. Меня это возмутило чрезвычайно, и я заявила, что сяду в поезд — и дело с концом! В этот момент появился генерал Меандров, который меня поддержал: «Конечно же, садитесь!» Судьба его была трагичной: когда американцы начали выдавать власовцев советским войскам, он перерезал себе вены, но его своевременно обнаружили. Американцы его вылечили и... выдали.

Поезд ехал совсем не туда, куда надо было мне (в Вольфен), но в Судетскую область, в Карлсбад. Но я думала, что сейчас это единственная возможность выехать из Берлина (было это так фактически или нет, я не знаю). Поезд шел три дня и три ночи. За это время я присмотрелась к власовцам и должна признаться, что общее впечатление было не слишком приятное. Среди них были трое русских солдат-добровольцев с фронта. Гитлер запрещал брать русских антикоммунистов в немецкие военные части как солдат, но офицеры на фронте нередко игнорировали этот запрет и брали русских в свои части. Эти солдаты приехали в Берлин, чтобы после официального признания Власовского движения поговорить о присоединении разрозненных добровольцев к этому движению. Но теперь они об этом и слышать не хотели: это, мол, карьеристы, «тыловые крысы». Они собирались снова пробираться на фронт и там принять смерть, иного выхода у них уже не было. Но были, конечно, среди власовцев честные люди, искренне желавшие избавить Россию от коммунистической диктатуры. На что же они все надеялись? На западные державы. Союз западных демократий с коммунистической диктатурой был неестественным, навязанным им Гитлером, который напал на всех, напал на СССР и объявил войну США — что же им оставалось делать? Они должны были вместе воевать против общего врага. Но как только гитлеровская Германия будет побеждена, этот неестественный союз сразу же распадется. Конечно, только немногие думали, что война против Германии сразу же

перейдет в войну между СССР и западными демократиями, но они были уверены, что западные демократии будут заинтересованы в сохранении Власовской армии. Возможно, ее разоружат, но ее кадры, ее костяк западные союзники сохранят на случай будущего конфликта с коммунистическим Советским Союзом. Рассуждения эти были логичны. Западным державам весьма пригодились бы власовцы в их «холодной войне» против коммунизма. Самое существование миллионной русской антикоммунистической армии, хотя бы и не под оружием, было бы веским аргументом против коммунистической диктатуры. К сожалению, Запад всегда противоборствовал скорее России как таковой, чем коммунистической диктатуре, идеологии или системе.

Тогда и я этого не понимала, но у меня был какой-то инстинкт. Я не верила, что западные державы переймут власовцев, вооруженных или разоруженных. Я помню, с каким испугом посмотрели на меня молодой офицер и его жена из числа идейных власовцев, когда я им сказала о своих соображениях по этому поводу. «Что же тогда делать?» — воскликнули они. Этого я тоже не знала.

Приехав в Карлсбад, мы обнаружили, что для приема ничего не готово: нет помещений, особенно для женщин, которых набралось немало, хотя они и должны были оставаться в Берлине. Были и малые дети. За их устройство взялась жена полковника (потом Власов, кажется, произвел его в генералы) Буняченко. Поскольку она плохо знала немецкий язык, я взялась ей помогать. Несколько первых дней мы бегали по учреждениям, требовали, сердились, пререкались, но в конце концов достали какие-то залы, матрасы, одеяла, другие необходимые вещи, чтобы разместить женщин и детей. Когда все было как-то устроено, я решила, что пора пробираться в Вольфен к родителям. Напомню еще раз, что без разрешения нельзя было купить билет на поезд дальнего следования. Я обратилась сначала к генералу Жиленкову, который формально возглавлял отдел, куда я записалась в Берлине, и попросила его достать у немцев такое разрешение. Не думаю, что он вообще знал, кто я, но ведь женщинам было не велено покидать Берлин, и он грубо сказал мне, что я здесь вообще не числюсь, а потому ни о чем он для меня хлопотать не будет.

Мне не осталось ничего другого, как попытаться обратиться непосредственно к немецкому начальству. Я не знала, ни кто это, ни где его нужно искать. Но, как говорят, «язык до Киева доведет»:

довел он меня и до немецкого начальника. Мне указали ресторан, где он ужинал с женой, а в самом ресторане столк, за которым он снейдел. Он говорил со мной вежливо и отнесся сочувственно к желанию воссоединиться с родителями, но сказал, что чисто формально должен иметь справку от Жиленкова, что я здесь тому не нужна. «Иначе это будет некорректно по отношению к генералу Жиленкову», — сказал он. Я ему ответила, что Жиленков не считает, что я здесь вообще числюсь. Но он настаивал на своем требовании. На другой день я позвонила Жиленкову по телефону-автомату. У него сразу же изменился голос, когда я сказала, что разговаривала с его немецким начальником. Такого он, видимо, не ожидал. Теперь он был готов дать справку, но сказал, что пишущие машинки еще не распакованы. Я была слишком взволнована и слишком устала, чтобы выдержать эту новую отговорку. Я взорвалась: «Тогда вы напишите эту справку от руки! В три часа дня я за ней приду!» И, не ожидая ответа, бросила трубку. Когда я в три часа пришла к Жиленкову, его адъютант в новенькой с иголки форме вынес мне бумажку, держа ее двумя пальцами за уголок, и протянул. Она была действительно написана от руки. Я нарочно долго читала ее, как будто не могла хорошо разобрать ясный почерк, а адъютант стоял передо мной, затем кивнула, положила справку в сумочку и ушла. Конечно, было глупо с моей стороны устраивать такой театр в то страшное время. Но отчего же этот генерал именно в это страшное время не хотел помочь своей молодой соотечественнице?

Остальное пошло легко: я купила билет, села на поезд и благополучно доехала до Вольфена. В дороге мы не один раз стояли, когда над нами летели американские или английские самолеты. Один раз поезд ночью стоял особенно долго, и сильный непрекращавшийся шум самолетов наводил жуть. Мы знали, что этот шум несет смерть сотням и тысячам людей — мирных людей, женщин, детей. Только потом я узнала, что не случайно этот шум самолетов наводил особую жуть: это была эскадра, летевшая на Дрезден. Дрезден был архитектурным чудом, и все были уверены, что его не будут бомбардировать. В Дрезден набилось много беженцев с востока Германии и почти совсем не было военных. Там женщины и дети гибли и горели живьем. Бомбардировались специально архитектурные ценности, а небольшое количество фабрик на окраинах осталось нетронутыми.

Мои родители, конечно, были безумно рады видеть меня снова

живой и здоровой, но положение создалось тупиковое. С востока быстро наступали советские войска, а американцы застряли где-то в Арденнах. Здесь у меня не было никакой возможности получить разрешение на покупку билетов на поезд, да еще на троих. Но пока пришлось заняться мелкими и смешными в такой обстановке делами. Я так быстро уехала из Берлина, что совсем забыла, да и вряд ли могла бы в разбитом Берлине сдать продуктовую карточку и получить справку, что она сдана. На основании этой справки я бы получила карточку в Вольфене. Вообще говоря, это было правильно, так как человек мог оставить себе карточку предыдущего местожительства и получить другую на новом, пользуясь затем двумя карточками. Но как раз по отношению к берлинской карточке это не было возможно: на ней стоял штамп «Берлин»; нигде в остальной Германии никто не смог бы купить какие-либо продукты по такой карточке.

Эти аргументы бюрократов не убеждали, как и то, что поехать сейчас в Берлин и сдать там карточку было практически так же невозможно, как полететь на Луну. Меня сразу же взяли на ту же работу на фабрику, и представитель фабрики очень старался получить для меня продуктовую карточку. «Что же ей, с голоду умирать?» — кричал он при мне в телефон. Наконец бюрократов уломали, и карточку выдали.

Конечно, было уже не до работы на фабрике. Как замороженные кролики, следили мы за развивающимися событиями, снова не в силах повлиять на свою судьбу. Некоторые уходили пешком на запад, но для моих родителей, особенно для мамы с ее больными ногами, это было невозможно. Тогда я видела сон, что в Вольфен вошли американские войска. Я видела, как горсточка немецких солдат сопротивлялась, и с ними старики и мальчишки, которых Гитлер призывал в так называемый «фольксштурм». Какой уж это был штурм для калек и детей! В моем сне они сопротивлялись недолго, и в город вошли американцы. Наяву мы знали, что американцы еще очень далеко, и я своему сну не поверила.

Но немцы собрали последние силы и бросили их на восток, оголив совсем запад, и американцы в самом деле стали быстро продвигаться на восток. Все было как в моем сне: горсточка солдат с каким-то небольшим танком и гражданские немолодые мужчины и подростки. Тем не менее американцы замешкались. Город обстреливался. Я устроила своих родителей в бункере, откуда они не

выходили, а сама бегала в нашу комнату и варила какой-то суп, а потом несла горячую кастрюлю в бункер, чтобы накормить родителей. Над головой иногда с визгом пролетали гранаты, и я боялась расплескать горячий суп. Мысль, что граната может угодить и в меня, как-то даже не приходила в голову. Когда я потом смотрела на вереницу огромных американских танков, въезжавших в город, я не могла понять, чего они так долго мешкали. Был поздний вечер, когда двери бункера открылись и на пороге показался американский солдат. Он окинул притихших людей ненавидящим взглядом и вышел. На эту ночь все еще оставались в бункере. Я почти не спала несколько суток, а так как вблизи моих родителей не было свободного места, я, выйдя из самого помещения бункера, увидела два солдатских одеяла на полу, неизвестно кому принадлежавшие, легла на них и моментально уснула. Когда я проснулась, был уже день, многие покинули бункер, но я увидела, что, когда спала, кто-то бережно прикрыл меня третьим одеялом. Придется повторить: война не только озлобляет людей, но и вызывает в них инстинкт сочувствия и помощи товарищам по беде, даже совсем незнакомым. В надежде, что хозяева потом отыщутся, я сложила все три одеяла и пошла к моим родителям, чтобы проводить их в наше жилище. Мытарства войны окончились. Предстояли мытарства бегства — которого по счету (американцы отдали Саксонию под советскую оккупацию)? — и эмиграции.

В заключение военной части моих воспоминаний хочу еще раз сказать несколько слов о том, о чем все еще не принято говорить. Недавно в рамках телевизионной передачи «Зеркало» историк Ю. Афанасьев напомнил, что незадолго до начала войны СССР и гитлеровская Германия были военными союзниками. Об этом Афанасьев напомнил, но не возразил против все еще повторяющегося по телевидению утверждения, что советская армия освободила не только свою страну, но и всю Европу. Да, она ее освободила от Гитлера, но Восточную Европу отдала Сталину. Кто был более жесток, знает только Господь Бог. Один уничтожал одних ни в чем не повинных людей, другой — других, столь же ни в чем не повинных, причем не только в других странах, но и в своей. А отданы были эти страны Сталину, а после его смерти — советской диктатуре не на годы, а на десятилетия. Недавно по русскому телевидению говорилось — и хорошо, что это было сделано, — об арестах и массовом

вывозе эстонцев, латышей и литовцев из их стран в 1941 году, перед самым началом войны. Вывезли бы и больше — помешала война. Но после нее аресты и депортация продолжались. Теперешнему президенту Эстонии было 11 лет, когда его вместе с семьей депортировали в Сибирь. Русский язык он начал «изучать», слушая грубые окрики конвоиров в темной и тесной теплушке. Для перепуганного ребенка прекрасный русский язык, увы, навсегда остался связанным не с наилучшими его формами. Каждому понятно, что одиннадцатилетний ребенок ни в чем виноват быть не мог. Вероятно, и его родители не были ни в чем виноваты, а вывезены из этих маленьких республик были сотни тысяч людей. Многие не выжили.

Еще раз: никто не намерен умалять огромный подвиг русских солдат, их жертвы, горе их семей. И все же этот подвиг был отчасти цинично использован страшным диктатором не для освобождения, а для нового порабощения как своего, так и других народов. Пора об этом сказать вслух.

КНИГА ВТОРАЯ



Часть первая

БЕГСТВО

По проселочным дорогам

Конец войны застал меня и моих родителей в маленьком городке Вольфене, в провинции Саксония, отошедшей к Пруссии после Семилетней войны между Пруссией и Австрией. В семи километрах на притоке Эльбы, маленькой речушке Мульде, американские войска встретились с советскими. В Вольфене была фабрика для изготовления фильмо-вых лент. В научно-исследовательском отделе этой фабрики работал мой отец и я как математики, но на фабрике работало много русских просто как рабочие, большей частью они занимались упаковкой, среди них — немало работников искусства из так называемой «Винеты». Эти русские и украинские певцы, певицы, танцоры, другие артисты варьете давали представления и перед русским населением в оккупированных областях, и перед немецкими солдатами, а потому в глазах советской власти были, видимо, великими военными преступниками. Жили они в рабочем лагере, в бараках, построенных справа и слева длинной как бы улицы. Приехав в Вольфен, мы тоже временно жили в таких бараках, но потом нам, как и другим интеллигентам, дали отдельную комнату в каменных бараках, построенных для немцев, эвакуированных из Рейнской области, разбитой бомбами.

Американцы пускали своих союзников в Вольфен без ограничения. Союзники приехали с пулеметом и прежде всего пустили пулеметную очередь по улице между бараками, в которые спрятались испуганные жители. Затем советские представители собрали жителей рабочего лагеря в большой комнате и потребовали, чтобы они отнимали у немцев маленькие тележки, грузили на них свой скарб и шли пешком через Мульду на советскую сторону. Некоторые говорили, что у них есть старая мать или старый отец, которые не могут идти пешком, что же им делать? Ответ был: «Стариков нам

не надо, стариков оставляйте немцам». А на вопрос: «А что с нами будет?» — последовал ответ: «Веревок на всех хватит».

И все же люди потянулись через Мульду, обливаясь слезами. Так вот шли и плакали, но шли, как стадо баранов.

Между тем поползли слухи, что американцы отдадут всю Саксонию и всю Тюрингию советским войскам. Те, кто не собирался добровольно маршировать на восток, заволновались; мы, конечно, тоже. Не хотелось этому верить. Сначала я попробовала поговорить с одним из американских солдат, стороживших лагерь. Я выяснила, что он хорошо говорит по-немецки, и спросила его, что с нами будет. Он посмотрел на меня водянистыми, похожими на льдинки голубыми глазами и сказал: «Вы все поедете в Советский Союз». Но этот солдат не держал в своих руках нашу судьбу, сначала надо было выяснить, отдадут ли американцы эти земли советским войскам. Все, кто противостоял приказу идти на ту сторону Мульды, совещались между собой, шушукались, ловили противоречивые слухи, но никто не пытался поговорить с американским начальством, все как бы притаились. И снова, как часто бывало, я одна пошла в американскую комендатуру. Английского я тогда совсем не знала и, войдя в комендатуру, запросила переводчика. Мне прислали бельгийского офицера, говорившего по-немецки и по-английски. Ему я и задала роковой вопрос: уйдут ли отсюда американские войска и придут ли советские? Бельгиец переговорил с американцами и заверил меня, что американцы ни в коем случае не уйдут. «Где мы стоим, там и останемся» — перевел он мне слова американцев. Офицер готов был давать информацию, он даже подвел меня к большой географической карте, висевшей на стене, показал на Берлин и объяснил, что город будет разделен на четыре оккупационные зоны. Эти сведения оказались верными, но заверения, что американцы не уйдут с оккупированных ими земель, были ложными. Вполне возможно, что офицеры, американцы и бельгиец, сами верили, что не отдадут того, что завоевали, (если б не отдали, не возникла бы ГДР, территория была бы слишком мала).

Я вернулась успокоенная, поверив сведениям, полученным в комендатуре, и успокаивала других. Однако над нами нависла другая угроза: американцы разрешали советским представителям приезжать и насильно увозить того, кого они хотели. Сначала увезли немолодого мужчину как якобы «военного преступника», говорили, что он был бургомистром в каком-то городке во время оккупа-

ции. За ним бежали с криком жена и взрослая дочь: «Возьмите тогда и нас!» А американцы объясняли им снисходительно, что если он — военный преступник, то они могут и не быть ими. Доказательств никто не требовал. Затем увезли молодую женщину, мать двоих маленьких детей; не знаю, что ей инкриминировалось.

Среди желающих вернуться, но еще не перешедших Мульду, нашлись, конечно, пожелавшие выслужиться доносом: еще когда мы жили в общих бараках, там была молодая семья, все нянчились с их шестимесячным мальчиком. Теперь же они превратились в самых ярых активистов, хотя отец молодой женщины ушел пешком на запад. Вот они и пригрозили лично мне: «Следующая будете вы!» Моя знакомая, химик, дала мне маленькую бутылочку с быстро действующим ядом, я не спросила его название. Она сказала, что взяла тот же яд для себя, но своей младшей сестре дать не решилась, боясь, что та впадет в панику и применит его без крайней нужды. Хотя я была немного старше ее младшей сестры, она верила в то, что я достаточно владею собой.

Грозившая донести на меня семья отправилась через Мульду. Любопытные смельчаки бегали на берег Мульды и смотрели на ту сторону узкой речонки. Приносили оттуда нерадостные вести: тут же, на берегу, семьи разбивали, мужчин отделяли от женщин, люди кричали и плакали. Не пощадили и наших активистов, их тоже разделили, и они тоже плакали и кричали. Потенциальные доносчики исчезли с горизонта, но положение не становилось менее угрожающим. Мои родители настаивали на том, чтобы я отошла подальше от демаркационной линии на запад. Пока не было никаких средств сообщения, поезда не ходили, так как рельсы были разбиты; можно было только идти пешком, но для моих родителей, особенно для мамы, это было невозможно, и мы расстались.

Сколотилась небольшая группа. В ней была пара: она лет сорока, он лет тридцати, потом они поженились. Она работала библиотекарем в Керчи, а Керчь немцы брали два раза, сначала взяли, потом отступили, затем вошли снова. Моя знакомая рассказывала, что, когда советские войска были в Керчи, немцы бомбили город почти каждую ночь. Но когда ночь была тихой, жителей охватывал ужас: неужели немцы уже далеко отошли и скоро в город войдет Смерш, начнется расправа с жителями только за то, что они попали под немецкую оккупацию? А когда в следующую ночь снова гудели немецкие самолеты, они облегченно вздыхали. До чего же

надо довести людей, чтобы мирная женщина чувствовала облегчение, услышав шум вражеских бомбардировщиков! Третьим членом нашей группы была женщина под пятьдесят, очень культурная и образованная (чем она занималась до войны, я не знаю: все тогда скрывали подробности о себе и своей семье, боясь, что их родственники, оставшиеся в СССР, подвергнутся репрессиям). Под самый конец к нам присоединился какой-то неизвестный мужчина, мы не очень хотели его принимать в свою группу, но он совсем не знал немецкого языка, и мы сжалились над ним.

Мужчины по совету представителей с той стороны Мульды достали тележку, туда нагрузили жалкие пожитки и продукты, сухой горох, чечевицу, макароны из разграбленных магазинов (в Германии повторилось то, что было в Советском Союзе: грабили продуктовые магазины; у победителей-американцев было все, а немцы тоже достаточно голодали во время войны). Мужчины нашей группы по очереди тащили тележку. У нас, женщин, были старые испорченные велосипеды, на которые мы нагрузили немного своей одежды, по одному серому солдатскому одеялу и по простыне. Велосипеды эти мы катили, ехать на них было невозможно.

В противоположность злополучным сотрудам «Винетъ» мы направились на запад. Нас никто не задерживал, но нам приходилось обходить американские посты. Многие немцы, эвакуированные из Рейнской и других западных областей, теперь, когда бомбардировки кончились, хотели вернуться как можно скорее домой. Но американцы опасались, что беженцы запрудят дороги и помешают передвижению войск. Некоторым беженцам давали пропуск на передвижение, но большинство желавших двигаться на запад пропусков так же, как и мы, не имели. Приходилось обходить американские посты, расставленные на дорогах. Деревенские дети сделали себе из этого игру: увидев на дороге беженцев, они бежали навстречу и говорили: «Вот там стоит американский пост, а вот там вы можете его обойти». Но обходить посты было нелегко: тропинки не асфальт, тянуть тележку, которая легко могла развалиться, было особенно трудно.

Непреодолимой преградой нам представилась довольно широкая река Заале, на мосту через нее стоял американский пост. В некотором отдалении от моста ходил довольно примитивный паром, но и там на берегу стоял постовой.

Мы нашли брошенный тир и расположились в нем. Был май,

погода стояла прекрасная; такого чудного мая ни до этого, ни после я в Германии не припомню. На полянке около стоявшего в стороне от жилых мест тира мы разжигали костер и варили на огне свой гороховый суп. Ночи были ясные, ароматные, соловьиные. В одну из таких ночей произошел комический случай. Мы все улеглись спать и, затаив дыхание, слушали трели соловья, как вдруг раздался грубый голос не знавшего немецкий язык мужчины: «Вот проклятый Nachtigal, спать не дает!» Включенное в русскую фразу немецкое название соловья сразило нас наповал. Мы расхохотались, и очарование пропало.

Но соловьи соловьями, а чего мы ждали, мы сами не знали. Положение казалось безвыходным. Так мы жили четверо суток, по многу раз в день бегая по очереди к парому, не снят ли пост. А с какой стати его бы сняли? И все же... Однажды кто-то из нас прибежал с потрясающим известием: «Собирайтесь скорее, пост снят!» Молниеносно мы собрали наши жалкие манатки и бросились к парому. Немолодой паромщик благополучно перевез нас на ту сторону Заале.

Этот случай заставлял задуматься о том, как быть дальше, и мои спутники придумали план, казавшийся мне весьма опасным. Нам сказали, что в саксонском городке Заксенгаузене находится большой лагерь возвращенцев в СССР. Мы пошли прямо на пост, стоявший перед въездом в этот город. На этот раз рядом с американским солдатом стоял немецкий переводчик. На вопрос, куда мы идем, мы ответили, что идем в лагерь возвращенцев. Немец заулыбался, и нас пропустили. В городе мы спросили, где находится американская комендатура. Нам показали. Оставив вещи на улице, мы нашли переводчицу: нельзя ли поговорить с комендантом? Переводчица была весьма любезна (позже я убедилась, что по переводчику или переводчице можно судить и о начальнике), она сказала, что комендант в отъезде, но есть его заместитель, и выразила готовность нас к нему провести. Принял нас молодой офицер и сказал, что мы должны, как и немцы, записаться у бургомистра того места, где мы живем, в очередь на пропуск. Мы ответили, что не живем нигде, наши вещи сейчас на улице около комендатуры. Тогда он спросил, где мы жили, когда кончилась война, мы ответили, что в Вольфене. «Сколько это километров отсюда?» — спросил он. «Девяносто километров», — последовал ответ. Следующий вопрос показал, что мы имеем дело с умным офицером; он спросил: «Сколько это кило-

метров от советской зоны оккупации?» Мы ответили: «Семь километров». Тогда он сел к столу и выписал каждому пропуск до Касселя.

Теперь мы могли спокойно идти дальше. Сначала мы проходили 20 километров в день, затем втянулись, шли по 25, а то и 30, иногда даже больше. Ночевали мы у крестьян, большей частью на сеновале, и спали там как убитые. Что касается продуктов питания, то одного гороха нам бы не хватило. Спасало то, что, несмотря на отсутствие центрального правительства, немцы на местах сами организовали снабжение населения: каждый бургомистр определил ежедневную норму хлеба и других продуктов в своем округе, а мы ежедневно получали от того или другого бургомистра талоны на наши рационы и могли купить их в магазине. Деньги из заработанных на фабрике у нас еще были. Да и крестьяне не только пускали переночевать, но зачастую продавали, а то и давали бесплатно картошку, молоко, а иногда и яйца. Дух взаимопомощи был еще очень силен, и я помню только один случай, когда, видимо, исключительно жадная женщина начала бранить... Гитлера за то, что он нагнал в Германию иностранцев! А так никто не обращал внимания на то, что мы не немцы. Конечно, пищи для такого путешествия было маловато, ио сказать, что мы очень голодали, никак нельзя.

В дороге случались разные приключения. Помнится мне, как однажды мы хотели было остановиться в одной деревне, но решили, что можно пройти и до другой, легкомысленно не спросив, как далеко до нее. В Германии обычно деревни находились близко друг от друга. Однако на этот раз мы шли и шли, а никакой деревни не было. Наконец мы увидели дома, но это была не деревня. На безлюдной дороге нам навстречу попались люди. Мы спросили их, что это за здания и можно ли там переночевать. Они ответили, что это помещичья усадьба, и добавили: «Не ходите туда, это неприветливые люди, они вас не примут», но мы очень устали и решили попробовать. Постучав, открыли дверь и увидели двух молодых мужчин, сидевших в креслах и надменно смотревших на нас. Мы робко попросили пустить нас на сеновал, если таковой есть, переночевать. Один из мужчин сказал презрительным тоном, что они не принимают каких-то бродяг. И тут у меня сорвалось: «Я хочу, чтобы к вам пришли коммунисты, все бы у вас отняли, и вы бы сами превратились в бродяг».

Никогда никому нельзя желать зла. Мое пожелание, увы, исполнилось, коммунисты пришли, и у помещиков все было отнято...

До следующей деревни мы кое-как все-таки добрались, и нас там сразу же приняли.

Дорога успокаивает нервы. Может быть, она вообще врачует. С. Т. Аксаков думал, что именно дорога имела целительное свойство и помогла ему выздороветь от длительной и, видимо, опасной болезни его детства. Больного ребенка возили, конечно, в кибитке; мы же шли пешком, и здоровая физическая усталость укрепляла и дух, и тело. Дорога затягивает. Мы шли и шли. Давно был пройден первый рубеж, где, может быть, можно было задержаться и подождать дальнейшего развития событий. Так я вначале и предполагала. Конечно, соблазнительно было отойти подальше от линии «фронта» и потом, дождавшись, когда пойдут поезда, — а на отдельных участках они уже начали двигаться, — съездить за родителями. Но отчего я ни разу не попробовала послушать радио или порасспросить крестьян, что говорят о политическом положении. Ведь в Германии радио было повсюду, хотя бы радиоточки. Вероятно, мной владело подсознательное желание хоть на время отмахнуться от всех страшных событий, забыться, отдаться убаюкивающему ритму пути. И все же свою беспечность по отношению к родителям, слепое доверие к тому, что мне сказали в американской комендатуре, я считаю одним из самых дурных поступков своей жизни.

Но вот мы дошли до Касселя, пройдя пешком примерно 300 километров. Кассель был страшно разрушен. Целые улицы состояли из груд кирпичей по обе стороны улицы, а на глыбах развалин лежали увядающие венки с надписями погребенных под этими грудями: от семидесятилетней бабушки до семимесячной внучки.

В Касселе мы смогли купить издававшуюся американцами на немецком языке «Новую газету». Из нее я, к своему ужасу, узнала, что американцы покидают Саксонию и Тюрингию, они уже фактически отходят, а советские войска занимают оставленные земли. Это был страшный удар. Я хотела броситься обратно, мои спутники чуть не силой удерживали меня. В самом деле, в Вольфене были уже, очевидно, советские войска, ведь им достаточно было пройти лишь 7 километров! Если мои родители попали в их руки, говорили мне, я уже не смогу их спасти, только сама погибну, чего и мои родители не могли хотеть. А если им удалось выехать, то я их в конце концов найду в Западной Германии. Все, что мне говорили мои спутники, было разумно, но как трудно прислушиваться к доводам разума, когда кипят чувства.

Я стала искать по лагерям беженцев людей из Вольфена. И, как это ни удивительно, нашла таких, они сказали, что мои родители покинули Вольфен, но дали мне неправильную информацию: якобы родители направлялись в Мюнхен. Я немного успокоилась. В то время многие русские почему-то тянулись в Мюнхен; поэтому было весьма вероятно, что и та группа, к которой, возможно, присоединились мама и отец, направилась в Мюнхен; тем не менее эти ложные сведения имели в дальнейшем самые серьезные последствия...

Мои спутники не имели ничего против того, что мы бы направились в Мюнхен. В то время нас осталось четверо. Не знавший немецкого «Nachtigal» стянул у других беженцев какой-то мешок с вещами. Мы не знали у кого, но возмущенно потребовали, чтобы он вернул эти вещи. Он наотрез отказался. Тогда мы изгнали его из нашего общества, сказав, что, если он не вернет чужие вещи, мы не оставим его в нашей группе. Он упорствовал, но мы остались непреклонными. Он попытался заговорить со мной, найти во мне поддержку, и хотя мне, несмотря ни на что, было его жаль, я молча прошла мимо него. Какова была его дальнейшая судьба, я не знаю.

Итак, мы направились в Мюнхен. В полностью разрушенном Касселе мы даже не искали комендатуры и двинулись нелегально. Кое-где начали ходить пассажирские поезда, но без пропуска можно было взять билет, позволявший проехать не более 10 километров. При таком поезде был товарный вагон, куда пассажиры грузили свои тележки и велосипеды. Нам как-то удалось положить туда вещи раньше большинства других, и, когда на ближайшей станции годность нашего билета кончилась, и мы показали кондуктору, что наши вещи в самом заднем углу за грудой чужих поклаж, он только развел руками и позволил нам ехать до конечной остановки, чего мы и хотели.

Но все же вопрос о пропуске на передвижение висел над нами как дамоклов меч. В Дармштадте мы попробовали его получить, но там к нам вышла неприятная переводчица и перевела слова высокомерного американца: все мы должны ехать в СССР...

Мы продолжали двигаться без пропуска. Из газет мы уже знали, что, собственно говоря, обречены. Выдаче в СССР подлежали все бывшие советские граждане, так называемые новые эмигранты, в отличие от старых, то есть бежавших после революции. В 1923 году «старых» лишили советского гражданства, которого они ни

фактически, ни юридически никогда не имели. У нас же было это гражданство, и мы находились в отчаянном положении.

Добравшись до Франкфурта-на-Майне, мы решили еще раз попытаться счастья и получить пропуск. Ситуация оказалась неожиданной: в большом дворе комендатуры толпились люди, какая-то служащая выходила из здания, брала у людей их паспорта и отмечала, кто куда хочет податься, а потом возвращалась и вручала владельцам паспортов пропуска. Все шло автоматически. Но то были немцы с немецкими паспортами, а какие документы были у нас? У меня был временный паспорт, выданный мне в Риге, но там стояло, что я — гражданка Союза; у других тоже были советские паспорта. С замираньем сердца вручили мы свои документы секретарше и сказали, что хотим в Мюнхен. Через некоторое время она вышла и стала раздавать удостоверения и... пропуска. С милой улыбкой каждому она говорила стереотипную фразу: «Я рада, что мне удалось помочь вам продвинуться ближе к дому». В самом деле, в пропусках, в графе о цели путешествия стояло «возвращение домой». Так роцкером пера американского бюрократа Мюнхен стал нашей родиной! И в данном случае слава бюрократам! Бывают в жизни ситуации, когда и они как раз на месте.

Мне этот пропуск в буквальном смысле слова спас жизнь. Мы пробирались «к себе домой», то есть в Мюнхен, частью пешком, частью, там, где поезда уже шли, в товарных вагонах. В каком-то местечке, где точно, уже и не помню, встретившиеся нам русские, а их тогда много моталось по немецким дорогам, сказали мне, что недалеко в беженском лагере есть люди из Вольфена. Я полетела туда, надеясь узнать что-либо о своих родителях. Легкомысленно я не обратила внимания, что лагерь обтянут колючей проволокой, а у ворот стоит американский солдат с винтовкой. Когда я входила, он не пошевелился. Не найдя никого из Вольфена, я пошла обратно. Но солдат вдруг взял винтовку наперевес и преградил мне путь. Английского я тогда совсем не знала, и все попытки объяснить, что я не жительница лагеря, который был, видимо, обречен на насильственную выдачу советским властям, ни к чему не привели. Лицо солдата приняло угрожающее выражение. И тут я вдруг вспомнила о пропуске в моей сумочке! Я вынула его и показала солдату. Он посмотрел, опустил винтовку и выпустил меня из лагеря обреченных.

В тот день я узнала об удивительном случае, который произошел

в английской зоне оккупации. Англичане везли в грузовиках русских гражданских лиц, чтобы выдать их советскому командованию. Грузовики проезжали через польский беженский лагерь. Поляки, услышав, что везут выдавать советским властям русских антикоммунистов, легли на дорогу перед грузовиками. Английские шоферы затормозили. Русские выбили бока и задники грузовиков и разбежались, а немцы в окрестных деревнях попрятали их. Англичане искали вяло и неохотно и никого не нашли. Я на всю жизнь поняла, что простым людям любой национальности совсем не хочется быть палачами кого бы то ни было.

Мюнхен

В Мюнхен мы въехали на поезде, в товарном вагоне. По сравнению с Касселем город казался целым и невредимым. Хотя, конечно, и здесь были разрушения: американцы и англичане бомбили, как правило, культурные центры; известно, что на карте Дрездена были специально очерчены дворцы, музеи и памятники мирового значения чтобы разбомбить именно их. В Мюнхене были разрушены здание оперы и в значительной степени университет. Конечно, было немало повреждений и в жилых домах, но все же по сравнению с другими городами Мюнхен пострадал не столь сильно. Не помню уже, в каком беженском лагере мы тогда устроились, таких лагерей было много.

Моих родителей в Мюнхене не оказалось.

Но надо было устраиваться. Еще во Пскове я была знакома с солдатом из Баварии, который, кстати, был в меня влюблен, но мне он как мужчина не нравился, хотя и был интересным человеком, юристом по образованию. В Мюнхене он изучал русский язык и накануне нашей эвакуации дал мне адрес своей учительницы, русской, которая вышла замуж за немца еще до Первой мировой войны. Этот адрес каким-то чудом у меня сохранился, и я нашла эту даму. Она отнеслась ко мне приветливо и сказала, что сдала бы мне комнату, но ее квартира повреждена бомбардировкой. Только одна комната, где она живет (она была уже вдовой), не пострадала, стена же другой треснула от бомбардировок. Она показала мне огромную трещину. «Летом здесь жить можно, но когда придут холода, то натопить эти комнаты будет невозможно», — сказала она. Потом она сказала, что у нее хотел снять комнату какой-то мужчина, но и его она не могла взять и порекомендовала другое место, но тамош-

няя хозяйка показала ему такой ведьмой, что он не решился туда въехать. Так что, если я хочу, могу попытаться счастья. Я пошла туда. Дом находился на красивой площади с пышным названием Kaiserplatz (Императорская площадь). Меня встретила высокая, немного костлявая старуха с большими руками и ногами и пронзительным взглядом. К моему удивлению, она готова была взять меня, иностранку с улицы, в квартирантки. Пугливой она не была. Позже я узнала, отчего она спешила сдать мне комнату: в то время было уже много беженцев, и одинокая женщина, да даже и супружеская пара не имели права занимать больше чем одну комнату, все лишнее в своей квартире они должны были сдавать, и жилищный отдел мог вселить в нее многодетную семью. Этого-то моя хозяйка и боялась, тем более что комнаты у нее были смежными. Цена оказалась подходящей, и я решила комнату взять. Деньги у меня пока что были, но в обрез: надо было искать работу.

В Мюнхене американский пропуск с обозначением «возвращение домой» дал мне возможность сразу же прописаться в полиции, тогда немцы американским распоряжениям не противоречили. Тем не менее угроза выдачи в СССР продолжала висеть над нами. Поэтому все мы превратились в старых эмигрантов. Роковым годом между эмигрантами старой и новой волны был год 1939-й. Где вы жили в этом году? Если на территории СССР, то вы подлежали насильственному возвращению «домой», если вне его территории, то могли оставаться на Западе. Проще всего было украинцам из Восточной Украины: они все превратились в западных. Западные соотечественники их, как правило, не выдавали, хотя поговору понимали, что это родичи с Востока. Но что было делать русским?

Обычно назывались те страны, через которые мы прошли при бегстве на запад, города, где прожгли хоть несколько недель, так как американские комиссии предлагали описать город, где «эмигрант» якобы жил в 1939 году, или поговорить на языке той страны. Кто-то сочинил даже анонимную поэму о мытарствах русских, она была длинной, но я помню из нее только один куплет:

Я — литовец с Енисея,

Едва иоги я унес.

Запишите поскорее:

Я — литовский штатенлос (бесподанный).

Юрист Юрьев из настоящей старой эмиграции создал в Мюнхене бюро для выдачи временных удостоверений личности тем, кто их утерял. А «утеряли» их все мы, новые эмигранты. Для того, чтобы с помощью этого удостоверения превратиться из нового в старого эмигранта, нужны были свидетельства двух человек, которые «знали» данного беженца в Эстонии или Латвии, Польше или Югославии. Получив при помощи знакомых или просто сочувственно относившихся старых эмигрантов такое удостоверение, свежеспеченный «старый» эмигрант тут же давал свидетельства своим товарищам по несчастью. Было такое свидетельство и у меня, а свидетели — одна из моих спутниц по бегству через Германию, такая же «старая эмигрантка», как и я, только получившая свое свидетельство немного раньше меня, и молодой человек из Белграда, действительно сын старых эмигрантов, который в жизни не был в Латвии, но подтвердил, что знал меня в 1939 году именно в этой стране, и которого я первый и последний раз в жизни видела в прихожей бюро Юрьева. К счастью, во времена нужды и гонений растет и готовность помогать. Священники отпускали грех такого «лжесвидетельства», даваемого не для того, чтобы кого-нибудь погубить, а для того, чтобы спасти гонимых.

Нашлись, конечно, провокаторы и доносчики; американцы арестовали Юрьева, но кто-то за него заступился, его вскоре выпустили, и он снова занялся своей деятельностью помощи гонимым. Через некоторое время его снова арестовали, опять выпустили, но бюро его закрыли. Юрьева уже давно нет на свете. Царствие ему Небесное! Он многих спас!

Нужно сказать, что в Мюнхене в конце 1945 года американцы уже не разыскивали советских граждан по частным квартирам. Если кому-нибудь удавалось найти меблированную комнатуху и работу у немцев (жить, как тогда говорили, «на немецкой экономике», то есть на послевоенные продуктовые карточки, которые были гораздо хуже военных), тем от американцев ничего не грозило.

Однако это мало кому удавалось, особенно семьям с детьми было невозможно устроиться частным образом. Люди селились в опустевших казармах и других опустевших общественных зданиях, делили большие комнаты солдатскими одеялами, как занавесками, и кое-как ютились. И тут появилась американская организация УНР, помогавшая и одновременно угрожавшая. Здания, где были беженцы, обносились колючей проволокой (правда, не везде), но

часовых у входа я в Мюнхене нигде не видела. Беженцы получали продукты питания и необходимые вещи, но зато их начинали проверять, таскать на разные комиссии и фактически требовать, чтобы они заявляли, что были вывезены в Германию насильно. И теперь люди, которые бежали сломя голову и были благодарны немецким солдатам и офицерам, сажавшим их, вопреки приказу Гитлера, на танки, эти люди должны были заявить, что их силой вывезли в Германию. И они заявляли, и мне трудно их винить, ибо, скажи они правду, их лишили бы клички ДП («дисплейдит персон» означает не только перемещенный в пространстве, но и «перемещенный» в уме, то есть сумасшедший) и выгнали бы из той казармы, куда эти беженцы пришли раньше, чем УНР забрала ее в свое распоряжение. И куда бы эти люди пошли, особенно семейные и с малыми детьми?..

Сколько лежит в американских архивах лживых показаний! Сколько «научных» работ будет написано по этим документам! Нет, история никого не судит и далеко не всегда раскрывает истину.

Анкеты, анкеты, анкеты... Никто из нас нигде и никогда, даже в СССР, не видел столько анкет и с таким количеством вопросов. Как я уже упомянула, я не стремилась получить кличку ДП, но, когда я поступала в Мюнхенский университет, осенью 1946 года, здесь еще командовали американцы, и все поступившие должны были заполнить анкету, в которой было 133 вопроса! Выворачивали и перетряхивали всю биографию, искали, не скрыл ли кто чего, и все лгали. Лгали в ответ на роковой вопрос: «Где вы были в 1939 году?» (тут пригодились юрьевские удостоверения!), лгали, что их вывезли насильно, хотя они бежали добровольно, повторяю: ничего другого не оставалось. Люди горько иронизировали: «Американцы придумали новую анкету с вопросом: под какой фамилией вы были известны на планете Венера? А если вы там не были известны, то почему?» И еще: «Американцы придумали последнюю анкету с одним только вопросом: добровольно или нет вы родились на этот свет? Если не добровольно, то докажите это!»

В Мюнхене я узнала о выдаче власовцев американцами и казаков англичанами. Говорили, что, когда выдавали казаков, матери бросали своих маленьких детей в бурную горную реку и прыгали вслед за ними, что англичане так грубо бросали малых детей в грузовики, что у иных раскалывались черепа. Конечно, их, казаков, было несравненно меньше, чем убитых нацистами еврейских детей,

но убитый малый ребенок — это убитый малый ребенок. Я слышала передачу по телевидению (когда англичане спохватились и поставили памятник жертвам Ялты), как англиканского пастора спросили, не надо ли было бы судить тех солдат. Он ответил: «Нет, они действовали по приказу». Но ведь и рядовые эсэсовцы действовали по приказу.

Теперь о власовцах: часть их спаслась сначала и беспечно обоживалась в (кем-то брошенных) бараках, в Платтлинге недалеко от Мюнхена. Их выдавали американцы уже тогда, когда я была в Мюнхене. С ужасом слушали мы рассказы о том, как люди перерезали себе вены, как они запирались в бараках и поджигали их, предпочитая сгореть живыми, чем быть выданными. Американцы были злы и грубы, часто избивали прикладами уже загнанных в грузовик людей. Рассказывали это те, кому удалось каким-то чудом спастись; это были единицы. Тогда же выдали и полковника Меандрова, позже чем других власовцев. И он перерезал себе вены, чуть не умер, но его спасли. Американцы поместили его в Мюнхене в больницу, вылечили и... выдали!

Нужно отметить, что как англичане, так и американцы не придерживались в точности соглашения о том, что старые эмигранты выдаче не подлежат: они выдали всех трех Красновых, генерала П. Краснова (теперь книги П. Н. Краснова печатаются в России), его племянника, полковника, и внучатого племянника, лейтенанта. Последний попал в концлагерь (так же как и его отец, который там умер), выжил и при Хрущеве даже смог выехать на Запад; он никогда не имел советского или даже русского гражданства. О своих переживаниях Николай Краснов написал книгу «Незабываемое», и вскоре после этого он неожиданно умер. Находившийся при казаках немецкий офицер фон Паннвиц мог бы выйти из смертельного кольца (англичане ему предложили), но он предпочел остаться с казаками и был вместе с их руководящими генералами повешен в СССР. Так же вместе с власовцами были выданы некоторые старые эмигранты.

Но вернемся к моим делам. Итак, я устроилась в комнате, которую мне сдала эта старая женщина. Деньги быстро обесценивались; впрочем, хотя продуктов и карточки давали мало, стоили они недорого. Пока денег хватало.

Однажды моя хозяйка заявила мне, что ее комнату хочет снять другой жилец, племянник какого-то нового министра. Надо отметить, что федерального правительства в Германии еще не было, но

в отдельных землях стали образовываться местные правительства; в Баварии уже было свое правительство. Этот племянник министра намеревался, видимо, платить ей больше, и я ее понимала, но найти другую комнату было почти невозможно. Однако она сказала, что сама нашла мне комнату недалеко от Kaizerplatz у ее знакомой.

Комната была меньше и, как мне показалось, зимой должна была быть холодной, но я согласилась и, вернувшись, начала складывать свои немудреные пожитки. Тогда старая женщина сказала мне, что ее будущий жилец пошел через зеленую границу (нелегально) в Австрию и его могут поймать и задержать, в этом случае я могу снова въехать в ее комнату. Я возмутилась: то есть как, я должна съехать, а если знаменитый племянник не появится, вернуться сюда? Какая чуткость! «Нет, — сказала я, — я перееду, и баста!» Когда через некоторое время со всем своим скарбом я выходила из двери, хозяйка как ни в чем ни бывало спросила, куда я это направляюсь. Я ответила, и тут она указала на маленькую записочку на полу, которой я сначала и не заметила (она подсунула ее под дверь). В ней говорилось, что ее знакомая не может сдать мне свою комнату. Я положила вещи и сказала, что тогда я остаюсь. «Да, до тех пор, пока он не вернется из Австрии», — категорично сказала хозяйка. Я возразила: «Нет, совсем».

В то время были образованы жилищные отделы, которые пытались расквартировать многочисленных беженцев. Они выдавали ордера на комнаты или квартиры, и хозяева обязаны были людей с ордером впустить. Я пошла в этот жилищный отдел и сказала, что у меня уже есть комната, но я прошу выдать на нее ордер. Девушка, выдававшая ордера, заулыбалась: каждый день ее осаждала масса людей, нередко с детьми, требовавших крыши над головой, поэтому появление человека с просьбой всего лишь выписать бумажку было для нее бальзамом. Я сейчас же получила ордер.

И вот однажды появился министерский племянник, и, конечно, он требовал, чтобы я выехала, так как мне отказали в комнате. Я отвечала, что сейчас это роли не играет, выехать мне некуда и у меня есть ордер на эту комнату. При моих последних словах они в изумлении переглянулись. Хозяйка тотчас потребовала ордер, я показала. Тогда высокомерный и очень неприятный «племянник» сказал, что советская репатриационная комиссия очень интересуется такими людьми, как я. Понимал ли этот надутый господин, что ради

приглянувшейся ему комнаты он готов был послать меня в концлагерь или даже на смерть? Кое-что, вероятно, понимал. Конечно, я ответила, что такими, как я, комиссия не интересуется, так как я принадлежу к старой эмиграции. Он попробовал еще раз снахальничать, сказав, что завтра принесет свои чемоданы. Я ответила, что если у госпожи Пробст (так звали хозяйку) есть место для его чемоданов, то пожалуйста, но в моей комнате они стоять не будут. Этим эпопея закончилась, больше он не появлялся.

Хозяйка некоторое время злилась на меня, но без моей помощи ей было трудно. На послевоенные карточки давали еще меньше продуктов, чем на военные, так, например, жира давали всего 50 граммов в месяц. Жили мы картошкой, которую в Баварии можно было купить без карточек (в Северной Германии и она была по карточкам), и старались достать овощей, которые тоже продавались без карточек, но за ними стояли длинные очереди, и в одни руки их продавали ограниченное количество. Моя хозяйка не могла, конечно, стоять в очереди, и я уступала ей часть тех овощей, которые мне удавалось купить, стараясь, конечно, купить не на одного человека, что иногда удавалось, а иногда нет.

Между тем деньги подходили к концу, а работы у меня все еще не было: найти работу у немцев было очень трудно. Пришлось идти к американцам, в вышеупомянутую беженскую организацию УНРР. Мне предложили знатную работу: чистить картошку на их огромной кухне. Я согласилась.

Повар и другое кухонное начальство были поляки, картошку чистили русские и одна чешка. Среди нас были немолодой русский из первой эмиграции и совсем молоденькая русская девушка. Немцы ее вывезли на работу еще тогда, когда оккупация держалась крепко, и она сначала не боялась возвращения на родину. Ей, конечно, хотелось домой. Девушка была из простой семьи, очень хорошенькая. Она и ее подруга уже сели в поезд возвращенцев. Когда этот поезд пересек границу оккупации, советские конвоиры взяли нескольких девушек из числа русских возвращенцев, увеличили их и изнасиловали. Затем бросили через плечо этой девушке и ее подруге: «Следующие будете вы». Ночью обеим девушкам удалось спрыгнуть с поезда. Они пошли в сторону американской оккупации. Они знали, что на самой границе, но уже на американской стороне находится город Гюф, а перед ним — советский пост. Они спрятались в кустах, но постовой на них наткнулся, однако, на их счастье,

решил, что они идут из американской зоны. Ясно, что они разыграли из себя немок, не понимающих по-русски, солдат же знал только несколько немецких слов. Они по-немецки объясняли ему, что живут в Гюфе, что хотели навестить тетю, живущую в советской зоне оккупации. Он закричал на них, что это запрещено, и погнал «обратно» в Гюф. Им только того и надо было. Эта девушка пела советские песни, восхищалась фильмами, где красные побеждали белых, и старый эмигрант сказал ей как-то: «Вот вы настроены за красных и против белых, но боитесь вернуться к этим красным. Я хоть последовательнее, я всегда был против красных и потому теперь здесь». В лице этого эмигранта я столкнулась с той частью первой эмиграции, от которой страдали многие русские, бежавшие теперь: они презирали бывших советских, считая их всех необразованными и вульгарными. Мой соратник утверждал, что сразу, по одному виду, отличит старого эмигранта или эмигрантку от нового. Меня это возмутило, и я решила разыграть роль старой эмигрантки. Я делала это несколько месяцев весьма успешно, чуть не сорвалась только раз, сказав слово «неувязка», которого старые эмигранты не употребляли. Когда я потом сказала ему, что я военная эмигрантка, он мне не поверил, и мне пришлось описывать ему Петербург, приводить подробности, которые я не могла бы знать, не прожив там достаточно долго. Только тогда он мне поверил, и это несколько сбilo его спесь.

Денег нам на этой работе не платили, но давали сигареты, да и работа была сытной. Я не курила и от продажи сигарет получала достаточную плату за работу: сигареты на черном рынке стоили дорого. Я стала приносить еду в котелке своей хозяйке, и она сменила гнев на милость.

Время шло, наступили холода. Нам выдали дрова, мокрые и малопригодные. Немцы к ним не привыкли, они топили печи углем, а печи были еще во многих квартирах. В моей комнате стояла прекрасная кафельная печь, похожая на русскую. К дровам выдали охапку сухих щепок. Получив дрова, хозяйка решила «услужить» мне; вернувшись раз с работы, я встретила ее в растрепанных чувствах: «Эти дрова разжечь нельзя, — воскликнула она, — делайте с ними, что хотите!» Я посмотрела в печь и успокоила ее: дрова были положены плотно друг на друга, щепки валялись на полу неиспользованными, а перед этой грудой сырых дров она жгла бумажки. Я сказала ей, что разожгу печь, чему она не поверила. Вынув дрова,

я сложила их костром, положила под них щепки, и вскоре дрова пылали веселым пламенем.

Я никогда не любила носить с собой документы, свой временный паспорт, да и свои опасные дневники я оставляла в комнате. Но однажды меня точно что-то толкнуло: не надо все это оставлять в комнате, кто знает... Я купила большую сумку и стала таскать все с собой. Однажды в УНР был вечер самодеятельности, я осталась и вернулась домой позже чем обычно. Внешняя дверь имела два замка: обычный и наверху французский. Моя старая хозяйка не заперла дверь на французский замок. У меня был ключ только от нижнего замка. На этот раз я не смогла войти: дверь была заперта и на французский замок. Хотя я перед тем и не думала о советских представителях, я каким-то инстинктом поняла, почему дверь так необычно заперта: там сидят советские представители. Я позвонила. Хозяйка открыла мне и сказала: «Zwei Herren warten auf Sie» («Два господина ждут вас»). Я уже догадалась, что это за господа. Они сидели в комнате хозяйки, и она утверждала, что они в мою комнату не заходили. Я была уверена, что они ее обыскали, зачем бы иначе надо было хозяйке запирасть дверь на верхний замок. Но я ее не обвиняла: старая немка не могла противостоять военным властям победителей. Я сказала, что сейчас приду, только сниму пальто. Я прошла в ванную комнату и бросила свою сумку с документами за ванну — между стеной и ванной. Затем в своей комнате я сняла пальто и пошла в комнату хозяйки. Когда я вошла, оба мужчины вскочили и приветствовали меня: «Здравствуйте, Вера Александровна». Один из них был в форме, майор советской армии, высокий человек, метра два ростом, с огромными руками. Одной ладонью он мог бы зажать мне рот и унести, как пушинку. Другой был в штатском, довольно шупленький человечек, переводчик для разговоров с хозяйкой. Не скрою, у меня едва не перехватило горло. Ясно, что майор это заметил, он начал по-доброму: «Я знаю, что незваный гость хуже татарина, но мы пришли только поговорить с вами». Стараясь по возможности не выдать волнения, я села и спросила, о чем же они хотят со мной поговорить. И майор замурлыкал: мол, в разоренной Германии мыкаются русские люди, не решаясь вернуться на родину, тогда как родина ждет их и пр. «Зачем же они создали такой режим, что русские боятся возвращаться на родину? — думала я, слушая его. — В какое нормальное государство боялись бы возвращаться его граждане, попавшие в ходе жестокой

войны в чужую, да еще недавно враждебную страну». Но я не сказала этого. Разыгрывая роль старой эмигрантки, я заметила, что я не из тех, кого они разыскивают. И даже довольно дерзко спросила: «Ведь вы же не принимаете в страну потомков белой эмиграции?» Он пробормотал что-то вроде того, что через некоторое время они начнут принимать и старых эмигрантов. А затем задал ожидаемый вопрос: в какой стране я жила в эмиграции? Я была уверена, что он знает мою официальную версию о Риге, и так же не сомневалась, что его переводчик — прибалт, и именно из Латвии, а большинство балтийцев владели тремя языками: русским, немецким и языком своей страны. Если б я сказала: «В Латвии», переводчик заговорил бы со мной по-латышски и майор меня бы тотчас «раскрутил». Поэтому я ответила: «Вы сказали, что пришли поговорить, а вот наш разговор начинает походить на допрос». Майор вскинул обе руки и воскликнул: «Боже сохрани!» Он перевел разговор на другие темы, спросил меня, печатаю ли я на машинке. Я кивнула утвердительно. Они переглянулись. Я подумала, что они не все обо мне знают, о моей работе в газете они не знают, думают, что я была переводчицей и машинисткой, тем более что от моей хозяйки слышали, что я свободно говорю по-немецки. Майор предложил мне поработать машинисткой в их репатриационной миссии, никто не будет на меня нажимать, я могу продолжать жить на частной квартире, только приходиться работать. Я отказалась. И вдруг среди этих мирных разговоров, буквально посреди фразы спросил резко, властно, как будто огрел ударом хлыста: «Так где вы жили в эмиграции?» Это был уже знакомый мне тон: такой пришлось слышать во Пскове от того гестаповца, который приезжал на нашу работу. Тому, кто никогда не слышал этого тона, трудно объяснить, как он действует, как он может вызвать невольный ответ на поставленный вопрос. И я чуть не выпалила свою версию, что я жила в Риге. С огромным трудом мне удалось удержаться. Глубоко вдохнув воздух, я сказала: «Мы, кажется, уже споткнулись на этом вопросе и согласились, что он походит на допрос». Майор больше не повторял своей попытки выяснить, где я жила. Он был достаточно опытным, чтобы понять, что если он не сбил меня неожиданностью, то уже больше не сойдет. Я же поняла, что у него нет задания увезти меня силою, и успокоилась. Мы еще поговорили. Он предложил мне рассказать, где есть еще «несчастные русские, страдающие в Германии и боящиеся вернуться домой». Я ответила, что все русские, которых я знаю, такие же ста-

рые эмигранты, как и я, и ему они не интересны. Этот ответ звучал уже почти насмешкой. Прощаясь, он спросил, может ли он оставить мне несколько советских газет. Я ответила, что возьму их охотно, и затем уже откровенно насмешливо протянула: «Интересно заглянуть в мир неизвестный, незнакомый». Майор ответил мне в том же тоне: «А может быть, стоит только припомнить...» В дверях он обернулся и сказал тоном ложного пафоса: «Я был два раза ранен, клянусь своей кровью, что, если вы вериетесь, вам ничего не будет». Дешева же у него была кровь! Переводчик, все время молчавший, вдруг спросил, нет ли у меня русских книг, он бы почитал и вернул обратно. Это был предлог еще раз зайти; я ответила, что русских книг у меня нет.

Страшное посещение окончилось благополучно. Гарантии, что оно не повторится, не было, но и вероятность нового «свидания» была не слишком велика: если бы они хотели похитить меня силой, то сделали бы это сразу.

Когда я развернула номера «Правды», оставленные майором, то от удивления стала протирать глаза. Несколько раз я смотрела на дату: действительно это 1946-й, а не 1941 год? Прогремела страшная война, погибли миллионы людей, другие очутились в чужих краях, весь мир, казалось, переменялся, а страницы «Правды» были полны занудными репортажами о свинарках, о поставивших рекорды заводах и т. д. и т. п. Три первые страницы газеты я бы могла написать сама по памяти, если бы только мне сказали, какие названия совхозов и колхозов, заводов и фабрик и какие имена героев труда надо проставить. И только когда я дошла до четвертой страницы, иностранных известий, я поняла, что это все же не 1941-й, а 1946 год...

В УННР меня все же проверили, но очень поверхностно. Руководила проверочной комиссией американская еврейка Пик, хорошо говорившая по-немецки; ее почему-то все очень боялись. Но ко мне она отнеслась весьма благожелательно, приняла на веру мою версию о стране эмиграции и через несколько минут отпустила. Люди, ждавшие очереди со страхом на лице, спрашивали меня, как было. Я неосторожно упомянула о Риге, и немолодой мужчина вдруг заговорил со мной по-латышски; теперь испуг появился на моем лице, и он, добродушно усмехнувшись, сказал по-русски: «Не понимаете по-латышски, что ж, это бывает». Немолодые прибалтийцы, жившие еще в России до самостоятельности Прибалтийских стран, хорошо относились к русским и покрывали их, если было нужно. А многие

молодые злились и утверждали, что мы их дискредитируем, хотя я и не знаю как. Ничем позорным большинство из нас себя не запятнало, да мы и не утверждали, что мы латыши, говорили только, что там жили.

В коридорах УНР можно было встретить знакомых, и однажды я столкнулась с начальником трудового лагеря в Вольфеие, русским немцем Лемаиом. В мае 1945-го американцы его арестовали было, но жители лагеря ходили просить за него, так как он никого не обижал; его отпустили. Он мне сказал, что мои родители уехали из Вольфеиа на Запад, но куда именно, он не знал. Лемаи сказал, что его семья — жена и дети — осталась в Восточном Берлине и он решил ехать к ним и пойдет в советское представительство.

Потом мы снова встретились, и он рассказывал, как побывал там. Ему сказали, чтобы он написал свою биографию и пришел через неделю. Через неделю подтвердили, что биография верна, но он упустил некоторые события, и перечислили их. Он был поражен, подтвердил эти данные, но добавил, что считал их несущественными. Советский представитель снисходительно кивнул, в самом деле несущественные. Затем он спросил Лемаиа, зачем он хочет ехать в Восточный Берлин. Лемаи повторил, что там его семья, он хочет соединиться с ней. Тот пристально на него взглянул и сказал: «А на самом деле зачем вы хотите туда ехать?» Потрясенный Лемаи стал заверять, что он на самом деле хочет ехать только ради семьи. Поверили ли ему, Лемаи не знал, но обещали, что разрешение, вероятно, дадут.

Лемаи знал, что, несмотря на то, что он был немецким гражданином, ехать в советскую зону опасно, но любовь к семье была сильнее. Получив разрешение, он предложил мне переехать в меблированную комнату, которую снимал у очень милых, приветливых немолодых супругов. Я познакомилась с ними, посмотрела комнату и решила переехать; хотя со старухой мои отношения наладились, она оставалась неприятной, и еще я знала, что советские представители могут найти меня по любому адресу, однако как-то приятней было жить там, куда нога их еще не ступала. Теперь уже хозяйка уговаривала меня остаться, но я решила иначе: предложила ей взять в комнату знакомую мне супружескую пару русских эмигрантов, на что она согласилась.

Квартира, куда я собиралась въехать, принадлежала страховому обществу, и надо было получить от их представителя разрешение.

Вместе с хозяином мы пошли к этому представителю. Он стал куражиться, и я с удивлением наблюдала, как униженно просил его мой будущий хозяин, немолодой почтенный человек. Представитель обратился ко мне и спросил, есть ли у меня разрешение на проживание в Мюнхене. Надо сказать, что в августе 1945 года было распоряжение, что с первого числа этого месяца ввиду перенаселенности города все, кто в него въезжают на жительство, должны получить специальное разрешение; я же прибыла в Мюнхен в июне, а задним числом распоряжение не действовало. Я сказала ему это. Он настаивал, что разрешение нужно, и воскликнул: «Я же должен знать законы!» Я ответила: «Должны были бы, но, очевидно, не знаете». Он удивленно на меня взглянул и дал добро на въезд в квартиру страхового общества.

Но прожила я в этой комиате недолго. Неожиданно с востока прибыли не то родственники, не то близкие друзья моих хозяев, у которых не было крыши над головой. Хозяевам было очень неловко, они всячески извинялись; я могла их понять. Однако тогда я уже вошла в систему жильцов комплекса этой страховой компании, и взамен мне предоставили комнату в рамках этого комплекса. Там шли постоянные уплотнения, и от старых хозяев, владевших целой квартирой, отбиралась временно комиаты, куда вселялись беженцы, и каждый был рад получить одинокого человека, а не семью с детьми. В четырехкомнатной квартире (где раньше жили сын, павший на войне, и дочь, вышедшая замуж и уехавшая в Дюссельдорф) самим хозяевам была оставлена только одна комната. Кроме меня, здесь жила еще молодая служащая, а потом в третью комиату приехала племянница хозяина из провинции, чтобы учиться в Мюнхене. Мы, три девушки, подружились, хозяева относились ко всем одинаково хорошо, так что атмосфера была приятная.

Поиски родителей

В Мюнхене моих родителей не было. В Красном Кресте существовал специальный отдел для поисков разбитых, потерявшихся семей, которых было великое множество. У Красного Креста не было возможности искать разлученных родственников, там просто сравнивали поданные заявления и, если находили совпадающие, извещали людей. До весны я не получила ни одного известия и решила сама объездить беженские лагеря в Западной Германии. Весной 1946 года еще существовали отдельные зоны оккупации, и без

пропуска нельзя было переезжать из одной в другую; мне же надо было поехать в английскую зону, так как я полагала, что мои родители попали скорее всего туда. Я пошла в американский офис, выдававший такие пропуска. Когда я назвала причину своей поездки, американец холодно взглянул на меня и сказал, что поиски родителей не являются уважительной причиной, вот если бы у меня были какие-нибудь экономические интересы, тогда другое дело. Я вспомнила Лемана: до чего же аналогична была психология восточных и западных победителей!

Я решила ехать без пропуска и взяла отпуск с работы. Я слышала, что на границе зон пассажиров поездов, которые теперь ходили во всех направлениях, проверяют выборочно, некоторые поезда проходят без проверки, в других пассажиров проверяют. Я положились на удачу, и она не подвела: поезд, где была я, пропустили.

Ехать было непросто: поезда были переполнены, все куда-то переезжали, кого-то разыскивали, приходилось большей частью стоять, иногда и ночью. Однажды повезло, досталось сидячее место; но рядом — семья с двумя маленькими детьми и больным отцом, у которого были конвульсивные подергивания конечностей. Детей, конечно, сморило: мать держала младшего, а старшего взяла я и всю ночь просидела, не шевелясь, со спящим ребенком на руках.

Не помню, сколько беженских лагерей я объехала, со сколькими людьми разговаривала, на каких притыках ночевала в этих лагерях. Я всех спрашивала, где есть беженские лагеря, но так случилось, что никто не указал мне на Гамельн, а как раз там и были мои родители, но я проехала мимо этого городка. Зато я услышала о Макриди (редакторе газеты «За Родину» в Риге), узнала, что они живы и что Татьяна Николаевна родила девочек-двойняшек. У нас наладилась переписка.

В Гамбурге я узнала, что в городе находится о. Георгий Бенигсен, тот самый священник, который во время оккупации приехал из Эстонии во Псков, служил в кладбищенской церкви и стал руководителем одной из инициативных власовских групп во Пскове. Я очень обрадовалась — знакомый человек! Но в тот момент его в Гамбурге не случилось, он посещал какие-то беженские лагеря в провинции. Я подумала, что при таких посещениях он может натолкнуться на моих родителей, и оставила ему при церкви в Гамбурге письмо с настоятельной просьбой сообщить мне что-либо о моих родителях, написать мне и в том случае, если он о них ничего не

слышал, указав, в какой области он окормляет верующих, чтобы исключить эту область из моих поисков. Увы, я от него не получила никакого ответа. Позже он перебрался в Мюнхен до своего отъезда в США и был при церкви русской гимназии, где мой отец последние годы своей жизни преподавал математику. Столкнувшись как-то со мной лицом к лицу, о. Георгий отвернулся и сделал вид, что усиленно кого-то разыскивает. Он, видимо, боялся, что я расскажу об его активной деятельности во власовском движении и это помешает его предполагавшемуся отъезду в США. В таком случае отворачиваться от меня было не только дурно, но и неумно: можно было предположить, что, обидевшись на него, я как раз и расскажу о его деятельности. Конечно, я ничего никому не сказала, но на душе было грустно.

Вернувшись в Мюнхен, так ничего и не узнав, я получила вдруг от своих знакомых, поселившихся в моей прежней комнате, сообщение о родителях. Не полагаясь на Красный Крест, я даже не сообщила им свой новый адрес, а вот они-то и нашли моих родителей, написав, конечно, по старому адресу. А мои знакомые известили родителей, что я живу в Мюнхене, но сейчас отсутствую, и сообщили им мой новый адрес. Так мы установили письменную связь. Затем я собралась снова в английскую зону, уже по известному мне адресу, к моим родителям. На этот раз я пошла в канцелярию УННР и попросила напечатать мне по-английски, что я еду в эту зону к своим родителям. Они ответили, что такая бумажка не является пропуском. Я это знала, но все же попросила написать. Они это сделали. На этот раз пассажиров поезда проверяли, я показала молодому английскому солдату свою бумажку, он приветливо улыбнулся и пропустил меня. Так что бумажка все же оказалась пропуском.

В Гамельне мои родители были устроены неплохо. В небольшом доме, не знаю, почему пустовавшем, у них была отдельная небольшая комната. Содержала их беженская организация, то ли английская, то ли связанная с УННР. Оказалось, что группа немолодых людей, в том числе Ал. Ал. и Зин. Григ. Геберги, наняла у крестьян телегу с лошадью и доехала до железнодорожной станции, от которой уже начали ходить поезда. Геберги были тоже в Гамельне. Они почему-то попали в польский беженский лагерь среди довольно нетерпимых поляков и временно переменили свою фамилию на Геберские.

Позже, когда мои родители переехали в Мюнхен, Алексей Александрович приезжал в Мюнхен навестить нас. Однажды, когда я показывала ему город, он тоскливо сказал: «Вот бы узнать, где тот директор концерна, с которым я работал в Вольфене. Он бы меня устроил». Я спросила фамилию этого директора. Он ее помнил. Я удивилась: так за чем же дело стало? Мы как раз проходили мимо телефонной будки, я попросила Ал. Ал. подождать, зашла в будку, раскрыла телефонную книгу, которая там всегда лежит, набрала номер мюнхенского отдела соответствующего концерна, позвонила и спросила отозвавшуюся секретаршу, не может ли она сказать мне адрес директора такого-то; она мне сейчас же дала нужную нам информацию. Я вышла из будки и передала Ал. Ал. желаемый адрес. Этот небольшой случай интересен тем, что раскрывает менталитет советских граждан, оказавшихся в ином мире, мире свободного общения людей друг с другом.

Ал. Ал. написал этому директору, и тот устроил его в исследовательский отдел концерна в Дормагене, в Рейнской области, куда они переехали, вернув себе свою настоящую фамилию.

Но все это было позже, а пока у нас стал вопрос: переселяться ли мне в Гамельн или пытаться перевести моих родителей в Мюнхен? Ясно, что такой комнатки в Мюнхене они сразу не получат; жить им пришлось бы в беженском лагере, поскольку прокормить их на «немецкой экономике» я бы не могла. А вне лагерей американцы не давали поддержки и старикам.

С другой стороны, я хотела учиться в университете, это намерение мой отец вполне поддерживал. Решили, что я подам заявление сразу в два университета: в Мюнхене и в Гёттингене, ближайший к Гамельну университет (как я вообще могла подать заявление о приеме в университет, объясню позже). А затем мы посмотрим, откуда раньше придет ответ. Из Гёттингена не пришло вообще никакого ответа, а из Мюнхена вскоре пришел ответ, что я принята. Вопрос о местожительстве был решен.

Я вернулась в Мюнхен и начала организовывать переезд своих родителей. Надо было получить разрешение от УННР и место в одном из лагерей. Это оказалось очень трудным делом. Меня посылали из одной инстанции в другую, и я ходила, из первой во вторую, из второй в третью и снова в первую, и повсюду меня уже знали и встречали словами: «Вы опять здесь?» Я терпеливо отвечала, что меня опять сюда послали. Сколько раз я обошла все три инстанции,

не помню, но не раз, не два и не три. Наконец я им жутко надоела, и в одной из инстанций (где все время утверждали, что это не их компетенция) вдруг смогли удовлетворить мою просьбу.

Я снова поехала в английскую зону, чтобы помочь родителям собраться. Тем временем отменили наконец пропуск на передвижения по западным зонам оккупации, и мы смогли спокойно перебраться в Мюнхен. Мои родители приносили себя в жертву моим планам дальнейшего образования, что я тогда, возможно, недостаточно ценила. Первое время им пришлось жить в большой общей комнате, хотя и разделенной шкапами и одеялами так, что получалось что-то вроде отдельной комнатки: только позже они получили отдельную комнату при русской гимназии, где американцы снабжали их продуктами питания. Об этой своеобразной гимназии речь впереди.

Часть вторая
УНИВЕРСИТЕТ

Сквозь голод к знаниям

Как я писала в первой части книги, в 1938 году я поступила в Ленинградский университет на матмех не по призванию, а потому, что математика была самым нейтральным в идеологическом смысле предметом и я видела, как она спасала моего отца. С самого начала своего прибытия в Мюнхен я твердо решила поступить в университет на философский факультет. Но как осуществить это намерение, я не имела понятия: у меня же не было никаких документов об образовании. Аттестат остался в Ленинградском университете, зачетную книжку — она могла бы хоть указать на то, что я уже училась в университете и, стало быть, должна была окончить среднюю школу — я потеряла в многочисленных бегствах. И тем не менее я твердо знала, что в университет поступлю, не строя пока никаких конкретных планов.

Но «на ловца и зверь бежит». Когда я еще работала на уннровской кухне, я услышала, что этой организацией были созданы подготовительные курсы для тех, кто потерял в бегстве аттестат зрелости, но услышала слишком поздно: сейчас как раз начинались экзамены по всем предметам на аттестат зрелости. Я отпросилась у шефа кухни, вымыла руки и пошла сдавать экзамены. Экзаменаторы были разных национальностей, и спрашивать они должны были на немецком языке, которым некоторые из них сами не очень хорошо владели, так же как и экзаменовавшиеся молодые люди самых различных национальностей, большей частью — поляки. С экзамена по физике и по химии они меня быстренько отпустили с положительной отметкой, чтобы потом экзаменовать своих соотечественников на своем родном языке. Но вот по предмету, который я хотела изучать, все могло выйти не столь удачно: экзаменатор-поляк не намеревался задавать мне вопросы по русской истории, которую я

знала прилично, зато гонял по западной, из которой в советской школе жевали лишь Французскую революцию 1789 года. К счастью, он спросил меня об Орлеанской Деве, о которой я знала много из художественной литературы. Сдать экзамен по математике мне было легко, как и по родному языку, где экзаменатор (он был, конечно, русский) пришел в восторг от моих сочинений, особенно на вольную тему. Последняя гласила: «Какую специальность я хочу приобрести?» Я решила писать о том, кем я, наверное, не хочу стать, а именно — врачом. Но невольно услышала, что справа и слева, передо мной и за мной, все пишут, что хотят стать врачами. Я на ходу переменяла тему и описала, как прекрасно быть архитектором. Наивный экзаменатор мне поверил и сказал, что я, вероятно, буду хорошим архитектором, так красиво я описала эту специальность. В общем, все сошло, я получила аттестат зрелости, и меня приняли в Мюнхенский университет на философский факультет.

Остается добавить, что УННР открыла и свой «университет» со сборной профессурой. Это было, конечно, несерьезно, но зато студентам там выдавались пайки, что побудило почти всех, выдержавших экзамены, кинуться туда. Через два года этот университет лопнул, и его студенты бросились в Мюнхенский, а там посмотрели, что аттестаты-то липовые, и отказались их принимать. Тогда вспомнили, что и у меня был такой же аттестат, но я занималась уже на пятом семестре, получала на экзаменах и за семинарские работы хорошие отметки, и меня оставили в покое.

Поступив сразу в немецкий университет, я пошла на немалые материальные жертвы, жила, как тогда говорили, «на немецкой экономике», а по немецким карточкам давали 50 граммов жиров в месяц, немного хлеба, изредка яйца, никакого мяса. Хорошо еще, что картошка в Баварии была без карточек, на ней и выезжали. Мои родители в беженском лагере были на американском пайке, и от них мне иногда перепали мясные консервы и еще кое-что, хотя и они получали не так уж много. Следует отметить, что хозяин квартиры, где у меня была комната, работал по страховке крестьян от пожаров и других бедствий, ездил по деревням и привозил кое-какие продукты, в том числе и мясо. И каждое воскресенье он и его жена приглашали всех своих жилищ на мясной обед. Когда страна живет на полуголодном пайке, то такое отношение к чужим людям очень ценно, принимая во внимание минимальную плату за комнату — 30 марок в месяц с использованием кухни.

Денежная беда наступила в 1948 году после девальвации марки. Продуктовые карточки были отменены, в магазинах появилось, как по мановению волшебной палочки, все, но где взять деньги? Я бралась за любую работу, особенно в длинные междусеместровые каникулы, но получить работу было тоже нелегко. Основным продуктом питания оставалась картошка, однако она тоже стоила денег. 30 марок за комнату превратились в такую крутую стену, перелезть которую было невероятно трудно. Помогало то, что хорошо учившихся освобождали от платы за учебу, независимо от гражданства и происхождения. Но так было лишь в консервативной Баварии; в социал-демократическом Гессене, например, освобождались от платы все гессенцы, даже дети богатых, а бедные негессенцы, хотя бы и немцы, должны были платить за учение. Когда ввели скромную поддержку — 150 марок в семестр (6 месяцев), я уже облегченно вздохнула. Три месяца, пока шли занятия, я могла заплатить за комнату и пытаться прокормиться на 20 марок, а в каникулы все же что-то зарабатывала, хоть и гроши, конечно. Как раз тогда я вошла уже в старшие семестры, начала писать докторскую (по русским оценкам — кандидатскую) диссертацию и не могла брать работу. Когда я теперь вспоминаю то время, не понимаю, как смогла прожить и окончить университет; создается впечатление, что каждая марка в моих руках в те послевоенные годы таинственным образом превращалась в две. Из вещей я покупала только чулки, и то крайне редко, все остальное состояло из старой американской одежды, которую неимущим студентам раздавали из благотворительных пакетов. Иногда очень хотелось купить себе хотя бы новую блузку, но не было возможности.

Американская оккупация устроила перед самым началом занятий в университете, в ноябре 1946-го, — настоящий разгром философского факультета. По ничтожным причинам увольнялись лучшие профессора истории. Так, блестящего специалиста по древней истории Гельмута Берве уволили за его книгу по истории Древней Греции, где он высказал мнение, что Александр Македонский сумел легко переженить своих воинов на персианках, поскольку древние греки и древние персы были одной расы. Это высказывание определили как расизм, тогда как в южных штатах США тогда были еще запрещены браки между белыми и цветными! Из-за отсутствия преподавателей пришлось даже призвать восьмидесятилетнего профессора Гетца, и он в беглом обзоре читал всемирную историю. Для

таких, как я, плохо знавших древнюю и западную историю и совсем не знавших истории Китая и Индии, это было «как раз то, что надо». Под конец своего курса он сказал: «Вы заметили, что только об одной стране я ничего не упомянул, именно о России, но это была, есть и будет варварская страна». Пожалуй, это можно назвать оголтелым расизмом, намного худшим, чем высказывание Берве о древних греках и персах. Видимо, не Гитлер первый выдумал славянских «унтерменшен».

Добавлю, что, когда я уже окончила университет, как-то слушала доклад старого профессора Карла Бухгейма на какую-то тему из времени Наполеона I. Там он упоминал как исторический факт так называемое «завещание Петра Великого», где тот якобы завещал России завоевать всю Европу. Общей дискуссии после доклада, к сожалению, не было. Я подошла к Бухгейму и спросила: неужели он не знает, что это завещание — фальшивка, при помощи которой Наполеон хотел оправдать свое нападение на Россию в 1812 году. Бухгейм ответил, что он это, конечно, знает. Тогда я спросила его, зачем же он выдал это завещание за истинное. Его ответ буквально сразил меня: «Так ведь я говорил не перед русскими, а перед немцами!» — «А немцев можно обманывать?!» — воскликнула я. Профессор смутился и, пробормотав что-то невнятное, ретировался. Кстати, сын его, Ганс, стал крупным специалистом по новейшей истории и исследованию нацизма и, в отличие от отца, ученым объективным и точным.

Но вернемся к началу моего посещения университета. Зимний семестр, длящийся в Германии с ноября по февраль включительно, в 1946—1947 годах почти пропал. Зима стояла суровая, морозы доходили до -20° , и снег лежал аж до 21 марта (а сколько потом бывало зим, когда снега почти не было, а в декабре температура воздуха доходила до $+15^{\circ}$). Природа как бы наказывала людей за их безумства, за их свирепые, гнусные войны (сразу после них, когда людям особенно трудно, зимы зачастую необыкновенно суровы и долги). Университет не отапливался. Профессора и студенты сидели в зимних пальто, но когда мороз крепчал, то и пальто не спасало. Занятия могли производиться лишь в некоторых аудиториях, так как здание университета, разгромленное бомбами, зияло дырами. Самая большая аудитория, *auditorium maximum*, смотрела сквозь решето дырявой крыши в зимнее небо. Летом в ясную погоду в этой аудитории иногда давались симфонические концерты, а мы, слуша-

тели, сидели на обломках камней и зачарованно внимали звукам музыки, летящим в бездонное вечернее небо; зимой же оставалось только дрожать и мерзнуть. К тому же в моей меблированной комнате не было настоящей печки, а лишь какая-то жестяная печурка, нагревавшаяся лишь во время топки, а материала для топки было мало, и в комнате держалась постоянная температура 0°. Иногда я одевалась и шла на мороз, чтобы согреться прогулкой, движением, поскольку в комнате не выдерживала.

К следующей зиме в помещениях семинаров поставили буржуйки с трубами, выходящими в окна; они давали тепло, и в этих помещениях можно было заниматься (да и в моей комнате поставили настоящую печь). Читать книги мы приходили в семинары с их буржуйками. Из того времени мне запомнился завсегдатай семинаров далеко не студенческого возраста — стеснительный старичок, бедно, почти нищенски одетый, приходил в славянский семинар погреться. Сердобольные студенты приносили ему из Мензы (студенческая столовая) тарелку супа, которую он с жадностью съедал. Мне сказали, что этот старик — Сечкарев, отец гамбургского профессора славистики Всеволода Сечкарева. Сын, будучи профессором, вряд ли особенно бедствовал, но отца бросил на произвол судьбы.

Но, несмотря на все перипетии, уже в первом семестре я познакомилась с тем профессором, который и стал моим руководителем, когда я писала диссертацию, «докторским отцом», как говорят в Германии. Еще раз укажу на то, что докторская диссертация соответствует российской кандидатской. С научным званием доктора в университетской иерархии можно стать ассистентом или лектором того или иного языка, но не доцентом и тем более не ординарным профессором. Для получения профессуры необходимо защитить еще одну диссертацию, так называемую *doctor habil*, которая приблизительно соответствует российской докторской.

Федор Августович Степун

Я заинтересовалась, прочитав в расписании лекций имя русского профессора Федора Степуна, читавшего *russische Geistesgeschichte* (историю русской духовной культуры). Послушать Степуна собралось несколько сот студентов. Тогда еще не иссяк интерес к дореволюционной России, бывший в Германии до Пфитлера довольно интенсивным. Немецкая молодежь в те годы находилась в глубоком

духовном кризисе. Тоталитарная идеология национал-социализма, война, кончившаяся крахом, разбили иллюзии, если они у кого-либо и были, и оставили молодежь без почвы под ногами. Старые традиции были подорваны или даже совсем разрушены, новые еще только нащупывались. Ответов искали везде, в том числе и в духовности прежней России. Впоследствии Степун за многие годы деятельности в Мюнхене сделал себе имя, но в ноябре 1946 года его имя здесь вряд ли было широко известно. Прежде он читал лекции в Дрездене, где ему в 1937 году национал-социалисты запретили профессорскую деятельность как *judenfreundlich* (относящемуся дружелюбно к евреям).

...Быстрыми, легкими шагами в аудиторию вошел высокий, статный, немного полноватый человек с крупными чертами лица, высоким лбом и развевающимися, довольно длинными (не по моде), совершенно белыми волосами. Степуну тогда было 62 года.

Говорил он свободно, не считывая с листа, как делали многие немецкие профессора, на прекрасном немецком языке, слегка картавя. Только потом я с удивлением узнала, что дома он пишет всю лекцию дословно и заучивает ее. «Конечно, я могу говорить без всякой записи, хоть несколько часов подряд, — сказал он мне как-то, — но тема должна быть точно разработана».

В этом первом семестре Степун читал о славянофилах и западниках. Но от этого семестра у меня осталось мало впечатления, по существу, из-за морозов он для всех нас пропал: университет был закрыт. Настоящие занятия начались лишь в летний семестр 1947 года.

Если на лекции к Степуну приходило несколько сот студентов, а бывали и люди извне, даже весьма немолодые, то на семинарских занятиях присутствовало всего 10—20 студентов. Это были те, которые собирались основательно заниматься Россией. Для серьезных семинарских занятий, подготовки к докладам и семинарским работам по предмету, который читал Степун, важно было знание русского языка, однако лишь немногие студенты им владели. Может быть, поэтому, а может, и вполне осознанно Степун на семинарах избегал узкой специализации. Некоторые его коллеги ставили ему это в упрек, но крупные немецкие ученые Степуна очень ценили.

Он поощрял дискуссии, любил возражения, дававшие ему возможность углубить данный вопрос. Его семинары не только развивали остроту мышления, но и требовали постоянного пополнения

знаний. В дискуссии включались то те, то другие мыслители, появлялась необходимость прочесть то, что еще не было прочитано, или восстановить в памяти забытое. Конечно, обсуждались не только русские мыслители. Вспоминается такой курьезный случай. Как-то Степун вошел в аудиторию с книгой в руках, открыл ее и стал читать. Это был немецкий автор. Он спросил, откуда цитата. Я, обычно принимавшая горячее участие в дискуссиях, на этот раз сидела молча, предоставляя возможность ответить немецким студентам. Но никто не знал. Тогда я, к смущению немецких студентов и удовольствию Степуна, сказала: «Гёльдерлин, „Гиперион”». Однако большой моей заслуги в этом не было: я как раз недавно, знакомясь с немецкими мыслителями и немецкой литературой, прочла это произведение, а немецкие студенты читали Гёльдерлина, вероятно, еще в гимназии, и между ее окончанием и университетом у многих пролегли 6 лет фронта. В те годы в университет никого не принимали сразу после гимназии: давали возможность пройти сначала старшим поколениям.

Курс о славянофилах и западниках Степун повторял два раза. Вообще говоря, курс тогда разрешалось повторять через каждые два года для вновь поступивших студентов, но повторить курсы первого зимнего семестра пришлось всем и сразу. Степун читал этот курс, очерчивая две основные линии русского духовного развития. Он останавливался только на типичных представителях обоих течений: А. Хомякове, И. Киреевском и К. Аксакове — у славянофилов; В. Белинском, А. Герцене и М. Бакунине — у западников. Религиозная линия рассматривалась им только в ракурсе славянофилов, одновременно почвенников, и в их поздних проявлениях, которых Степун, однако, не касался, — националистов с налетом панславизма. Впрочем, такого резкого разделения по времени провести нельзя: у идеологического публициста Хомякова просвечивает уже панславизм, которого совсем нет у его современника И. Киреевского. Этим последним мы занимались больше всего, поскольку упор ставился на экзистенциальный характер русского мышления, а он особенно разработан у Киреевского. На семинарах мы всесторонне анализировали понятие Киреевского «целостность» и понятие Новалиса «единство». Внутренняя связь, хотя во многом глубоко сокрытая, славянофилов с современными или отчасти предшествовавшими им немецкими романтиками бросается в глаза. Степуна эта тема глубоко занимала. Ей посвящена и значительная часть его

книги «Bolschewismus und die christliche Existenz» («Большевизм и христианское существование». Munchen, 1956).

В каком-то смысле экзистенциалистами как в своем мышлении, так и в восприятии жизни были, конечно, и западники. Не случайно в экстремальном продолжении их линии появился большевизм, принявший всерьез слова Маркса о единстве теории и практики и, соответственно, создавший ад не на бумаге, а на практике. На кафедрах западных университетов тот же Маркс был относительно безвреден.

Эта экзистенциальность русского мышления привела молодого еще Степуна (приехавшего из Москвы в Гейдельберг изучать философию) к слишком горячим для немецких семинаров спорам с его тогдашним учителем профессором Виндельбандом, читавшим философию детерминизма. Об этом споре Степун рассказывал нам не один раз и на лекциях, и на семинарах. В моей памяти он запечатлелся немного в ином варианте, чем описан Федором Августовичем в «Бывшем и несбывшемся», но смысл его тот же: Виндельбанд разложил все по полочкам отдельных дисциплин: в философии он проповедовал полный детерминизм, а можно ли наказывать преступника, если его действия были полностью детерминированы и от него как бы не зависели, — это дело не философии, а юриспруденции; проблема же греха — это дело богословия; на вопрос, есть ли у него на этот счет свое личное мнение, Виндельбанд говорил, что дать ответ он может только дома, а не с кафедры. Такое расщепление формальной философии, теоретической философской системы и практического воздействия ее выводов было чуждо русскому сознанию. Конечно, на практике строгое разделение между университетской кафедрой и государственной и общественной практикой часто дает в жизни неплохие результаты. Что было бы, если бы каждый, увлекшийся той или иной теорией, бросался очертя голову претворять ее в жизнь? Между тем это разделение приводит и к тому, что многие немецкие мыслители успокаивались на той или иной системе спекулятивной философии, тогда как русские, преодолев искушения ложных идеологий, продолжали искать дальше и глубже, доходя до света христианства. Ряд русских марксистов в молодости — Струве, Булгаков, Бердяев — отошли от марксизма под влиянием немецких неокантианцев, но ни один из них на неокантианцах не остановился. Даже честная и глубокая попытка Рудольфа Штамmlера в рамках кантовской философии восполнить дополнитель-

ной телеологической линией разрыв между эмпирией и трансцендентностью не могла их удовлетворить. Все они кончили христианством.

Степун марксизмом не увлекался и был христианином, возможно, уже в молодые годы — точно я этого не знаю. В своих лекциях в Мюнхенском университете он не скрывал своей веры и своих христианских убеждений; следуя русской традиции, он не считал, что с кафедры не говорят о своих убеждениях. При этом следует сказать, что в его жилах не текло ни одной капли русской крови. Тем не менее я не встречала в своей жизни другого такого типично русского человека, как Степун. Он вырос в лютеранстве, потом перешел в православие. Однако он был вполне толерантен к другим христианским вероисповеданиям. Меня же друзья, смеясь, называли полуважжой, и мы не раз шутили об этих «обратных фронтах», так как, насколько я знаю, все мои предки по отцу и по матери были чисто русскими.

Тогда я еще мало что знала о христианстве, и, хотя не сомневалась в существовании Высшего Существа, представление о нем у меня было довольно туманное. Как-то в ходе одной из дискуссий на семинаре я сказала, что, поскольку все развивается, может быть, пришло время для возникновения новой религии, которая сменит христианство. Полушутя Степун возразил: «Если б я был священником, я бы сказал: Боже, будь ей милостив, — и, став серьезным, добавил: — Как философ я скажу, что глубже и выше христианства ничего быть не может». Этот ответ мне лично тогда ничего не дал. Сущность христианства мне раскрыл другой мой учитель — Романо Гуардини. И только после этого я сумела оценить истинность тогдашнего ответа Степуна.

Очерчивая две основные линии русского мышления: религиозное, почвенное, национальное с одной стороны и атеистическое, социалистическое, связанное именно с этими западными тенденциями, с другой, Степун оставлял для немецких слушателей нераскрытыми многие важные побочные линии русского мышления. Так, он совсем не затрагивал связи верующего западничества с такими крупными мыслителями, как П. Я. Чаадаев и В. С. Печерин. Не рассмотренной им осталась и яркая и неповторимая личность Константина Леонтьева. О нем у Степуна было, по моему убеждению, чрезвычайно искаженное представление (но об этом позже). Не коснулся он и отчаянных попыток, предпринятых А. К. Тол-

стым, по синтезу лучшего из православия и почвенничества, а также из западных традиций в ностальгическом возвращении к Киевской Руси.

Свою докторскую диссертацию в Гейдельберге Федор Августович посвятил Владимиру Соловьеву. Естественно, он включил его в читавшиеся им курсы. Но как ни странно, в мое время он не посвятил этому чрезвычайно важному мыслителю ни одного специального курса. Он читал в одном семестре и о Вл. Соловьеве и о Льве Толстом. В краткой биографии Вл. Соловьева Степун нарисовал образ мистика, повторив его и в своей книге «*Mystische Schau*» (München, 1964); он не затронул философские и богословские проблемы, которым Соловьев посвятил так много трудов. Возможно, это произошло и оттого, что Степуну не удалось вместить этот курс в рамки отведенных часов. Помню, как жаль мне было, что курс оборвался и Федор Августович не попробовал его повторить. Не затронул он и так мучившей Соловьева проблемы национального и даже националистического христианства и кафедры апостола Петра. В рамках его биографии Степун указал на то, что В. Соловьев за четыре года до своей смерти тайно присоединился к Вселенской, как он это понимал, то есть Католической Церкви. Но Степун не раз повторял, что философ после первого причастия больше не причащался, а перед смертью его посетил православный священник.

Это непонятное для Степуна явление прояснилось уже после его смерти, когда на Запад попала рукопись племянника Вл. Соловьева о. Сергея Соловьева, священника восточного обряда Католической Церкви, погибшего в советских концлагерях. О. Сергей Соловьев готовил книгу о своем знаменитом дяде к двадцатипятилетию со дня его смерти, наивно полагая, что в период нэпа эту книгу можно будет издать. На Западе книга увидела свет только через полвека. Как священник восточного обряда, о. Сергей был женат и имел двух дочерей. Одна из них сохранила рукопись и передала ее на Запад, (вспоминается М. Булгаков: «Рукописи не горят»). О. Сергей рассказывает в ней, что о. Толстой, католический священник восточного обряда, принявший Соловьева в лоно Церкви, должен был сразу же бежать за границу, так как до 1905 года переход из православия в другие вероисповедания карался ссылкой в Сибирь. Других католических священников восточного обряда в России не было, а в рамках западного Вл. Соловьев причащаться не хотел: он

ведь очень ратовал за сохранение восточного обряда. Но этой книги Федору Августовичу уже не удалось прочесть, она вышла в свет через 12 лет после его кончины.

В моих воспоминаниях об этом курсе, прочитанном Ф. А., образ Л. Толстого запечатлелся ярче, чем образ Вл. Соловьева. При сравнении Толстого и Соловьева главным, конечно, был спор о противопоставлении злу насилеи. Помню восклицание Степуна: «Толстой проделал огромную работу, изучил древнееврейский язык, освежил в памяти греческий, чтобы прочесть Ветхий и Новый заветы в оригинале, и вычитал только то самое, что он и до этого чтения усматривал в Библии, то есть то, что он сам в нее вложил». Яркость образа Льва Толстого в лекциях Степуна объясняется, вероятно, тем, что сам Федор Августович был не в меньшей, а возможно, и в большей степени художником, чем философом. Вернее, профессором философии, как определял он сам: «Если человеком владела одна-единственная идея, он становится философом, если же человеком владеют разные идеи, он становится профессором философии». Подобные афоризмы оживляли занятия и тоже свидетельствовали о художественной натуре Степуна.

Лекции Степуна всегда оставались в рамках дореволюционной русской мысли. Если Степун, подробно останавливаясь на Бакуине и подчеркивая его сатанизм (по словам Бакунина, сатана является прообразом революционера, так как он знает, что Бог есть, и все же против Него борется), давал хотя бы краткий очерк русских корней Ленина — Бакунина, Ткачева и Нечаева, — то о самом Ленине лекции он не читал. О Ленине он лишь иногда упоминал как о своем современнике. Так, он рассказывал, что слышал его знаменитую речь с броневика, когда Ленин вернулся в Петроград. На первый взгляд Ленин не обладал талантом оратора. Говорил монотонно, в одном ритме, подчеркивая свои слова взмахами вытянутой руки, как ударами топора. Однако, к своему собственному удивлению, Степун вдруг заметил, что ритм этот вкладывается в мозг слушателей, они начинают втягиваться в него, следовать ему вплоть до исступления. Это несколько напоминает действие современной рок-музыки, тоже состоящей из ритма без всякой мелодии.

Не читал он и курса по теории марксизма-ленинизма с соответствующей критикой. Не читал Степун и о мыслителях, которых знал близко, с которыми вместе был выслан из советской России и которые уже до революции духовно преодолели марксизм. Я имею

в виду Франка, Булгакова, Вышеславцева, Лосского, Бердяева. Возможно, у него еще не было временного «расстояния» для объективизации их мышления хотя бы в рамках субъективного восприятия. Степун не раз говорил и писал, что социолог в противоположность естествоиспытателю не может полностью абстрагировать свой субъект от изучаемого объекта: сам процесс изучения уже меняет рассматриваемый объект. Как теперь выяснилось, процесс изучения и в микрофизике меняет рассматриваемый предмет.

В те первые послевоенные годы казалось, что в Германии марксизм уже не может возродиться как интеллектуальное искушение. Тогдашняя молодежь пережила на себе искушение национального социализма и видела жалкие результаты господства в течение четверти века интернационального социализма. Война, близость собственной смерти, смерть друзей и членов собственных семей вызывали, как это бывает везде, потребность в духовном осмыслении. Решений назревших вопросов, выхода из внутреннего кризиса искали не в теориях материализма, а в духовных аспектах, и многие — в христианстве. Если на лекции Степуна приходило до 300 студентов, то несколько позже на лекции Романо Гуардини, читавшего христианское мировоззрение, когда он перешел в Мюнхен из Тюбнгена и когда отстроили «аудиторию максимум», приходило до 1000 человек, мест не хватало, сидели на ступеньках, стояли в проходах.

Мы жестоко ошибались, думая тогда, что марксизм в Германию не может вернуться. Когда в конце 60-х годов возникли бурные марксистские течения среди студенчества — образовались красные ячейки и группы спартакистов, а также марксистские объединения, — большинство немецких профессоров философии оказались духовно безоружными. Они не изучали ни марксизма, считая его бессодержательным в философском смысле, ни духовно преодолевших его русских мыслителей, живших долгие годы на Западе, но, к сожалению, не вызывавших к себе достаточно большого интереса. Жаль, что Степун систематически не читал о них лекции. Возможно, некоторые его слушатели смогли бы перенять наследство русских философов-эмигрантов как духовный ответ на неожиданно возродившийся, зачастую довольно примитивный марксизм известной части студенчества.

Как я уже отмечала, семинары Степуна бурлили дискуссиями и спорами. Я изменила свое первоначальное намерение изучать исто-

рию как главный предмет и осталась у Степуна на кафедре философии. Полушутя-полусерьезно я говорила, что осталась у него потому, что с ним можно хорошо спорить. И мы действительно много спорили. Конечно, у меня зачастую были еще незрелые мысли и вопросы, на которые Степун давал исчерпывающие ответы; иногда же я позволяла себе сознательные интеллектуальные провокации, которые Степун прекрасно понимал и ценил и которые давали ему возможность блеснуть своим ответом.

Но два спора, расколовших даже участников семинара на сторонников Степуна и моих, запомнились мне особенно (я тогда была уже на старшем курсе). Один из споров носил определенно экзистенциальный принципиальный, а не только интеллектуальный характер. И именно поэтому невозможно было уступить или хотя бы пойти на компромисс.

Степун не раз рассказывал — есть у него это и в воспоминаниях, — как он, интересуясь существовавшими между февралем и октябрём 1917 года партиями, заходил в их штаб-квартиры. Зашел он и к большевикам. Казалось, в полном синего табачного дыма помещении большевиков была не маленькая группка людей, а сотни и тысячи, невидимо стоявшие за их спинами. Так он это почувствовал тогда.

Склонный к мистике, он не сомневался, что за спиной большевизма стоит дьявол. Дьявол этот представлялся ему хаотичным, огнедышащим, подвижным и даже творческим, если под этим подразумевать слова Бакунина: «Разрушение — это тоже творческая страсть». В книге «Бывшее и несбывшееся» Степун пишет, что в Ленине было много от негативной «мистики разрушения» Бакунина, иначе он не увлек бы за собой стольких людей.

Степун *пережил* это так, и это навсегда запечатлелось в его уме и душе. Я же попала в Германию из страшного, совершенно мертвого сталинского царства. Я не могла представить себе ни огненность, ни «творческую страсть» к разрушению, пусть страшную, но все же страсть. Я вышла из могильного оцепенения 30-х годов. О них Пастернак в «Докторе Живаго» пишет как о «колдовской власти мертвой буквы», настолько страшной, что даже война с ее реальными ужасами показалась многим освобождением. Тогда я не могла опереться на Пастернака: «Доктор Живаго» еще не был написан, однако ощущала именно то, что Пастернак характеризует «колдовской властью». Не умея так сформулировать, я говорила:

пусть будет сатана, но сущность сатаны именно в том, что он мертв, что он холоден, что его дыхание замораживает все окружающее. Я ссылалась на Данте и его сатану, находящегося не в огне ада, а во льду, и цитировала Лермонтова об истинном лице Демона: «И веяло могильным хладом от неподвижного лица». Тогда я первый и последний раз видела, как Степун вспылел. «Какое мне дело до поэтов!» — воскликнул он. Отчего бы нам было не заключить компромисс на том, что в известный период искушения дьявол может прикинуться горячим, разрушительно-творческим, полным движением, хотя движение это и мнимое. Но, захватив в свои руки власть, он раскрывает свою истинную мертвенную, застывшую натуру. Такое решение вопроса было бы, вероятно, правильным и должно было бы прийти в голову несравненно более опытному Степуну. Но он его не предложил. Не было ли это его упорство внутренней самозащитой, самооправданием? Большевиком Степун никогда не увлекался, но какой-то частью своего «я» он крепко находился в узах либерально-революционного духа. Он участвовал в февральском междуцарствии и даже защищал Советы и их роль.

Этого периода его жизни я так и не смогла понять. Помню разговор, состоявшийся у него на квартире. В то время в Мюнхен приезжал Керенский. Он выступал, и многие стремились его послушать и даже пожать ему руку. Я же не пошла даже из любопытства: слишком большую горечь испытывала я при встрече с теми, кто проиграл Россию большевикам. Тогда, у Степуна, я сказала ему: «Если бы я встретила Керенского, я дала бы ему пощечину». К моему ужасу, признаюсь, Федор Августович ответил: «Можете начинать с меня, я стоял за его спиной, когда он подписывал ордер на освобождение Троцкого». Я остолбенела (этих подробностей в его воспоминаниях нет, хотя в то время, когда произошел наш разговор, воспоминания еще не были изданы). Я и сегодня не знаю, отчего ни тогда, ни после, когда я подружилась с ним и его чрезвычайно приятной и умной женой Натальей Николаевной, я так и не спросила его, как мог он сочувствовать этому. Может, подсознательно я опасалась, что его ответ оттолкнет меня, а я уже тогда ценила его и не хотела испытывать внутреннее противоречие в моем к нему отношении. Не один раз потом я перечла «Бывшее и несбывшееся», но так и не поняла, какие пружины двигали им в акте освобождения Троцкого.

Я никак не свожу движущие силы истории к действиям отдель-

ных личностей и все же уверена, что без Ленина и Троцкого большевистский захват власти 25 октября 1917 года не состоялся бы. А ситуация тогда менялась так быстро, что отложенный на месяцы или даже на недели переворот мог бы никогда не состояться. И не погибли бы миллионы лучших людей России, не пришлось бы искать нам приюта вне родины, и не было бы глубокого кризиса сегодняшней России, который ни политики, ни ученые не знают, как разрешить.

Сам Степун отвергал детерминизм. Он часто повторял, что каждый человек в глубине души знает, что мог бы поступить и иначе. «Все понять — все простить, а все простить — значит ничего не понять, так как есть вещи, которые нельзя прощать» — был один из его афоризмов. Но здесь речь идет не о прощении или непростении, в данном случае у нас на это нет права. Мне, однако, трудно его понять, поскольку Степун сам в воспоминаниях пишет, что победа Ленина казалась ему возможной и страшной.

Этические проблемы всегда интересовали Степуна не только в домашних беседах, но и на семинарах. В воспоминаниях он пишет, что и сейчас, считая правильной свою деятельность на фронте с февраля по ноябрь 17-го революции в духе революционного оборончества, одновременно вспоминает о ней с угрызениями совести, так как подавлял тогда ту часть своей природы, которая жалела старую обреченную Россию. И этот внутренний компромисс, этот грех неискренности не был неизбежен: он мог отказаться от активной деятельности и выполнять только свой долг офицера. Он рассказал нам об одной ситуации, в которой, по его мнению, греховное действие было неизбежно и все же оставалось греховным. Это было время, когда армия начала разлагаться: обстрелянные солдаты, привыкшие к дисциплине, еще держали фронт, но новобранцы не проявляли уже никакой охоты воевать и при случае дезертировали, открывая фронт и обрекая на верную гибель стоявших впереди солдат. Чтобы вернуть их в строй, он был вынужден отдать приказ стрелять по бежавшим. Некоторые были убиты, но большая часть вернулась, и старые солдаты были спасены. Федор Августович говорил, что он понимал бежавших, более того, сочувствовал им, считая стрельбу по ним грехом, и все же вынужден был это сделать, чтобы спасти оставшихся на передовой. Анализируя такие ситуации, он приходил к выводу, что иногда необходимо пойти и на грех. Это весьма сомнительный вывод, ибо не нам решать, является

ли такой вынужденный для спасения большего числа людей поступок грехом или нет. Об этом может судить только Господь Бог.

Вся трагическая бессмысленность Первой мировой войны с самого ее начала выпукло выступала в другом рассказе Степуна, воспроизведенном в его воспоминаниях. Это рассказ о разговоре с сибирскими новобранцами, призывом которых он руководил. Они спрашивали, христиане ли немцы и как можно сражаться против христиан. В памяти новобранцев были рассказы о войнах против Турции и Японии. Но в книге опущен второй вопрос новобранцев, о котором рассказывал нам Степун. На его ответ, что Германия сама объявила иам войну, последовал вопрос: «А может быть, немцы очень бедны? Мы бы сделали для них сбор; для нас это обошлось бы не так накладно, как теперь бросать наши хозяйства и ехать за тысячи верст воевать». Я слушала этот рассказ, который он не раз повторял, всегда с болью в сердце. Простые деревенские парни инстинктивно чувствовали не только ненужность, но и страшную пагубность этой войны христиан против христиан. Как могло произойти это коллективное безумие?..

Степун рассказывал не раз и об эпизодах периода национал-социализма. Он вел себя тогда очень смело, что подтверждает и один из его бывших учеников из Дрездена, который удивлялся, что Степуна тогда не арестовали. Так, на лекции, когда еще ему разрешено было читать, он как-то сказал: «Если бы мне пришлось встретиться с Гитлером, как бы я к нему обратился? Mein Führer (мой вождь)? Нет, ибо мой вождь только Иисус Христос. Господин рейхсканцлер? Нет, после Бисмарка я не могу Гитлеру дать этот титул! Просто господин Гитлер? Нет, это в моих глазах было бы слишком фамильярно, я не хочу с ним такой фамильярности». В самом деле, в СССР за такие речи его бы немедленно арестовали. Возможно, очередь дошла бы и до него, если бы национал-социализм просуществовал дольше. У него на квартире производились обыски, и однажды после очередного обыска он сказал обыскивавшим: «У меня в жизни было столько обысков. А вам, господа, нужно этому ремеслу еще учиться». Они смутились. Однако когда они ушли, Степун, к своему возмущению, обнаружил, что они съели его ликерные конфеты. Но пока все это выглядело как анекдот. У немецкого диктатора не хватило времени...

После войны Степун получил возмещение за годы, когда ему было запрещено читать лекции, и это помогло ему остаться в

Мюнхене, так как он имел всего 4 часа в неделю с окладом 500 марок, на что было бы трудно жить вдвоем. (Правда, были и доклады на стороне, и было их много.) Ему предлагали ординариат в Майнце, но эта работа предполагала и большую административную нагрузку; он же считал, что для русского необходимо время, чтобы постоять и посмотреть в окно. Это творческое ничегонеделание ему было совершенно необходимо, что в западном мире редко кто понимал. Ему вообще нужны были широта и свобода жизни, почти до самой смерти он не оставлял верховой езды.

Федор Августович, конечно, знал, что в сталинском СССР он бы не выжил. Его и здесь шантажировали представители советской власти, требуя прекращения лекционной деятельности, в противном случае угрожали: брату, оставшемуся в СССР, будет плохо. Брат его и так уже сидел в концлагере. Степун говорил мне, что эти угрозы его страшно мучают. «Но я не могу прекратить своей деятельности, это все равно что прекратить жизнь. И кто поручится мне, что брату моему станет легче, если я исполню их требования?» Никто ни за что не мог поручиться, скорее всего, судьба брата ни в чем бы не изменилась. Но тяжесть на сердце оставалась, и никто не мог ее снять. (Кстати, его брат пережил концлагерь, при Хрущеве был выпущен и даже пережил Федора Августовича, который, впрочем, был старшим в семье.) Когда пришло время моей докторской диссертации, Федор Августович предложил мне тему «Категория мещанства у Александра Герцена». Следуя Флоровскому, он считал, что отталкивание от мещанства атеиста Герцена имело религиозный характер, и он мне сразу же указал на это. Но я возразила, решив разработать эту тему в социологическом аспекте. Степун не возражал: своим студентам он предоставлял полную свободу творчества.

Однако в ходе работы над темой я все яснее видела, что Флоровский и Степун правы: религиозные аспекты чрезвычайно мучили атеиста Герцена. Вместе с тем я стала замечать и другое: Герцен не знал истинного христианства. Но и я не знала его тогда.

Однако каким-то чутьем я улавливала искажения христианства у Герцена. Вообще, работа над атеистом Герценом дала мне много в понимании христианства, хотя это была еще, так сказать, предварительная ступень. В диссертации я рассматривала также Чаадаева, Достоевского и Константина Леонтьева. У двух последних и у Герцена сходство в отношении к мещанству бросалось в глаза. Степун

не требовал этого расширения темы, но остался им доволен. Он помог мне и финансово, заплатив машинистке, перепечатавшей мою работу. Диссертации он дал очень хорошую оценку, так же как и второй референт — профессор Франц Шнабель, у которого я сдавала экзамен по новой истории.

В Германии нет защиты докторской диссертации. Надо сдавать авторский экзамен по главному предмету у руководившего диссертацией профессора, а также по двум побочным предметам. Вопросы задаются по предмету, но, как правило, темы диссертации не касаются. Однако мой экзамен у Степуна был так же необычен, как и его метод преподавания, и он сам. Почти все время, отведенное на экзамен, мы проспорили о Коистантине Леонтьеве, с чьим творчеством я впервые познакомилась в ходе работы над диссертацией. Я была полностью захвачена этим смелым, оригинальным мыслителем и провидцем, предсказавшим все гибельное развитие России вплоть до колхозов («я вижу впереди коллективное рабство»). Конечно, в какой-то степени я его тогда переоценивала, но в основных чертах мое отношение к К. Леонтьеву осталось неизменным. Я никак не могла понять, как Федор Августович, умный и вдумчивый человек, может видеть в Леонтьеве лишь поклонника авторитарной власти, которой, возможно, даже принял бы большевизм. Уверена, что именно Леонтьев никогда не принял бы большевизм. Он любил дух Византии и строгого православия, но любил и разнообразие, любил игру жизни в переливаниях ее цветов и красок. Он отстаивал право на свободное существование внутри России других конфессий и религий, польского католичества, еврейских общин и других религиозных и национальных образований. Как мог бы он принять страшное, жестокое и одновременно серое, непомерно скучное царство «научного» марксизма? Спорили мы горячо, друг друга не переубедили, но весь Степун был в том, что по окончании экзамена-спора он мне сказал: «Я ставлю вам высшую оценку, потому что мне обычно в споре удается всех прижать к стенке, а вас мне прижать не удалось».

Мы сохранили контакт и после моего окончания университета в 1951 году. Я могла наблюдать, как меняется «я» старого человека. Это не была перемена к худшему, когда наружу проступают отрицательные черты. Степуни менялся в светлую сторону. С него спадала патина относительной левизны, впитанной им в молодые годы в среде революционной и полуреволюционной молодежи, в среде

более или менее идеалистически настроенных социалистов. Трудно, видимо, рвать связи, возникшие в молодости, те связи, которыми человек до какой-то степени опутал сам себя. Вот этот налет левизны — назовем это так, хотя данный термин сильно упрощает сложную действительность, — я чувствовала с первой же лекции Федора Августовича и потом в течение моего студенчества и нашего знакомства. Часто я спорила, собственно говоря, именно с этим, хотя далеко не всегда умела это выразить в более или менее адекватных понятиях.

И вот как-то Степун мне говорит: «А я правую!» На что я ему ответила: «Я это с удовольствием замечаю». Должна пояснить свое понимание термина «правый». Правое — это органическое восприятие жизни и истории, бережное к ней отношение, отказ ломать жизнь и историю по чисто головным, выдуманым, далеким от жизни схемам и теориям. Правое включает в себя также и иррациональное, интуицию, настоящую мистику и религию. Левое же — это чистый интеллект, радио, лишенное всякой интуиции, всякого чувства жизни, это схематическое, доктринерское отношение к жизни и истории. Левое — это понимание жизни как машины, а человека как винтика в ней. Поправление Степуна никак не означало его отхода от того начала свободы, которое всегда в нем жило. Из его внутреннего «я» окончательно уходил только поверхностный либерализм, владевший им в известной степени (хотя и никогда полностью) в прошлом, уступая место той метафизической глубине, которую он всегда исповедовал, будучи христианином, но которая долго не овладевала полностью всем его «я», в том числе и подсознательным. Теперь же свобода, исходившая из истины, полностью вытеснила поверхностную, лишь политическую свободу. Степун часто цитировал из Евангелия: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн, 8, 32). Разумом он всегда принимал эти слова, но теперь они окончательно наполнили все его внутреннее «я».

Менялась, конечно, и я. Вскоре после того, как я познала сущность и глубину христианства, я присоединилась к Католической — в моих глазах Вселенской — Церкви. Этот мой шаг Степун принял совершенно толерантно. Он в свою очередь часто говорил мне, что я, став католичкой, меняюсь в положительную сторону. Правильнее было бы сказать: став христианкой.

Как и большинство начинающих преподавателей высшей шко-

лы в Германии, я работала в других университетах, прежде чем окончательно вернулась в Мюнхен. Я была во Фрейбурге, когда скончалась Наталья Николаевна; на ее похороны я уже не успела попасть. Для Федора Августовича это был большой удар. Несколько смягчен он был тем, что его младшая сестра, Маргарита Августовна, вместе со своей подругой Г. Кузнецовой (автором книги «Грасский дневник») переехала из Женевы в Мюнхен. Им удалось получить квартиру в том же доме и даже в партере напротив квартиры Федора Августовича.

После моего возвращения в Мюнхен мы с Федором Августовичем снова частенько встречались. Большею частью он приглашал меня после обеда на чай с пирожными. «Я как медведь, мне надо чего-нибудь сладенького», — говаривал он. Иногда я вытаскивала его с сестрой и ее подругой на концерты, которыми тогда очень увлекалась.

Незабываемым остался день 24 февраля 1965 года. Заранее мы условились, что я зайду к нему в этот день на чай. Но когда я в час дня включила радио, чтобы послушать известия, я узнала о неожиданной смерти Ф. А. Степуна. Я бросилась к телефону.

Маргарита Августовна рассказала мне, что накануне, 23 февраля, они вечером были на чем-то докладе; Федор Августович был бодр, с интересом прослушал доклад. Домой они вернулись около 11 часов вечера. Неожиданно у самого входа в дом Федор Августович упал. Обе женщины с трудом перетаскивали его, довольно грузного, в квартиру и положили на ковер. Придя в сознание, он попросил: «Подымите голову». Они подложили ему под голову подушечку. Конечно, немедленно вызвали «скорую помощь», но, когда она приехала, было уже поздно. Федор Августович скончался. С ним случился мозговой удар.

Профессор Франц Шнабель

Историческое отделение философского факультета начало постепенно пополняться преподавателями. Гельмуту Берве разрешили читать лекции, но кафедра по древней истории была уже занята графом Штауффенбергом (двоюродным братом полковника Штауффенберга, совершившего покушение на Гитлера 20 июля 1944 года), очень милым человеком, но слабым ученым и преподавателем. Берве же получил позже ординариат в Эрлангене, но мы успели прослушать его курс, который он читал факультативно.

Перешел в Мюнхенский университет крупный специалист по новой истории Франц Шнабель. Это был человек широкого и глубокого мышления и вполне самостоятельных взглядов по вопросам истории. Запоминались его меткие характеристики деятелей истории. Так, например, Робеспьера он назвал «моральным палачом», подчеркнув этой характеристикой, что отсутствие мелких человеческих слабостей у политиков не только не гарантирует благого результата их действия в истории, но, напротив, нередко приводит к страшным результатам. «Моральным палачом» можно было бы назвать и Феликса Дзержинского. Как-то в разговоре со мной один почитатель Железного Феликса воскликнул с восторгом, что Дзержинский работал по 15 часов в сутки. На что я могла лишь ответить, что многие человеческие жизни сохранились бы, будь Дзержинский соней и лентяем.

Шнабель не излагал нам историю в хронологическом порядке, он говорил, что отдельные факты и даты мы можем прочесть в любом учебнике истории, он же прочерчивает нам большие линии исторической эволюции. И в самом деле, он освещал нам широкие перспективы развития. В области немецкой истории Шнабель не был поклонником Бисмарка и настороженно относился к делу его жизни, объединению Германии в том виде, в каком Бисмарк ее совершил, в виде так называемого «малого решения» с выталкиванием Австро-Венгерской империи из объединенной Германии. Он много говорил нам о плане малоизвестного австрийского деятеля Константина Франца, которого политики, увы, не приняли всерьез. По этому плану следовало бы создать некую конфедерацию Центральной Европы, персональный союз в лице австрийского императора, и с большой автономией для стран, в которые бы вошли в этот союз. А войти должны были Бавария, небольшие Южно-Германские государства, Венгрия и Балканские славянские страны, повторяю, с предоставлением им широкой автономии. Пруссия осталась бы в стороне. Если бы этот план был осуществлен, по всей вероятности, не было бы ни Первой мировой войны, ни большевистской революции в России, ни диктатуры Ленина, Сталина, Питлера, ни Второй мировой войны... но, говорят, история не знает сослагательного наклонения.

Шнабель владел пятью языками: кроме родного немецкого, французским, английским, итальянским и испанским. Он не раз го-

ворил, что историк нового времени обязан знать эти пять языков, и всегда добавлял, что в наше время надо знать и шестой язык, русский, и очень жалел, что не знал его.

Однажды Шнабель порекомендовал нам только-только вышедшей в свет курс по русской истории Валентина Гиттермана. Как оказалось, сам он этой книги тогда еще не читал и назвал ее по рекомендации доцента Ирины Грюнинг, читавшей нам русскую историю. Петербургская немка, прекрасно говорившая по-русски, И. Грюнинг была очень милым человеком, но посредственным преподавателем. К сожалению, много болела. С самого начала ее прихода в университет она попала в больницу с острым малокровием. Ей сделали переливание крови, слегка подлечили. Скончалась она от диабета уже после моего окончания университета, ей было немногим за пятьдесят. О своей болезни она ничего не знала; как ни странно, но даже интеллигентные люди тогда не знали, что повышенная жажда — первый признак диабета. Грюнинг не была замужем и жила со своей тоже незамужней подругой, которая вела ей хозяйство. Обе думали, что ее беспрерывная жажда ничего не означает, она литрами пила фруктовые соки (в то время натуральные еще не продавались, только подсахаренные). Однажды ее подруга, вернувшись с покупками, нашла Грюнинг в бессознательном состоянии, вызвала «скорую помощь», но спасти ее уже не удалось, она была в диабетической коме и вскоре скончалась, не приходя в сознание.

Но вернемся к рекомендации Шнабеля. Я прочла книгу Гиттермана и пришла в ужас. Написана она была необъективно, с крайне левой тенденцией, небрежно, со многими фактическими ошибками, особенно там, где он писал о Церкви. Я подошла к Грюнинг и спросила ее, как могла она рекомендовать Шнабелю такую книгу. Она смущенно ответила, что, когда рекомендовала, сама ее еще не прочла, положила на чье-то мнение, а когда прочла, тоже пришла в ужас. «Ну так скажите об этом Шнабелю!» — воскликнула я. «Нет, как же, я рекомендовала, а теперь возьму эту рекомендацию обратно?» — мялась она. «Да, но тогда вы ошиблись, сами еще не прочитав, а теперь исправляете ошибку, это же нормально», — настаивала я. «Нет, он ординарный профессор, лучше скажите вы, студентке это легче сделать». К сожалению, такое отношение к ординарным профессорам в Германии было тогда распространено.

Я не собралась сходить к Шнабелю на прием, хотя он меня и при-

глашал, и высказалась о книге Гиттермана в самый, что называется, роковой момент, во время сдачи докторского экзамена. В немецких университетах, кроме основного экзамена по главному предмету (для меня — у Степуна), надо было сдать еще экзамен по двум побочным предметам: новую историю — у Шнабеля и восточноевропейскую — у Грюнинг.

Экзамен у Шнабеля был по-своему так же необычен, как и у Степуна. Вначале он сказал мне: «Вы в Ленинграде изучали математику, кто был самым знаменитым математиком в девятнадцатом веке?» Ответ, конечно, был ясен: Гаусс. Я добавила, что в Брауншвейге ему стоит памятник. На вопрос, была ли я в Брауншвейге, я ответила отрицательно (позже я была в Брауншвейге, но о памятнике Гауссу знала из рассказов моего отца, очень чтившего этого великого математика).

А потом Шнабель стал задавать мне вопросы о том, что я думаю о той или другой книге по истории, и сам же назвал Гиттермана. Я сказала в слегка вызывающем тоне: «Ну об этой книге у меня свое мнение!» На что он ответил: «У вас и должно быть свое мнение»; и я раскритиковала эту книгу, указав и на фактические ошибки. Шнабель молча выслушал и ничего не сказал. Как на достойную, хотя и невсеобъемлющую я указала на книгу Леонтовича, и он удивился, что я ее знаю. Затем он назвал небольшую книжку, автора не помню, написанную сумбурно и исторически недостоверно, скорее смешно, чем серьезно, и я невольно улыбнулась, приготовившись ее разгромить. Но Шнабель сказал: «Вы улыбаетесь, я с вами совершенно согласен». И разговор перешел на другие книги.

Экзамен у Грюнинг прошел легко, и я получила в общей сложности отметку *agna cum laude*, то есть с большой похвалой. В нормальной иерархии отметок это была самая высокая, хотя существовала и *summa cum laude*, дававшаяся крайне редко с предшествовавшим привлечением третьего референта (оценщика) для диссертации и другими дополнительными экзаменами.

Если учесть мое тяжелое материальное положение и то, что немецкий язык не был моим родным языком, да еще минимальное время моей учебы — 8 семестров, результат был блестящим. В связи с языком мне хочется выразить благодарность моей университетской приятельнице рижанке Ингрид Матисон, которая прочла со мной всю диссертацию на предмет возможных мелких погрешностей в языке.

Смерть отца

Эти академические успехи, однако, в тот момент меня мало радовали: экзамены я сдавала в июле 1951 года, диплом получила в конце июля, а 2 июля 1951 года скончался мой отец. У него уже продолжительное время болело сердце, но я очень надеялась, что он доживет до моего окончания; он так его ждал... Хорошо еще, что отец знал о высоких отметках за мою диссертацию. Худой от природы, он получил все болезни, приписываемые полным: высокое кровяное давление, инсульт и слабость сердечной мышцы. Он много перенес в жизни, и неудивительно, что не дожил даже до 72 лет, его день рождения был в конце августа. Моя полная мама пережила его на 9 лет, они были однолетки.

И хотя болезни отца готовили к мысли о смерти, все же его кончина была для меня оглушительным ударом. Духовно я была связана с ним сильнее, чем с матерью. И теперь шла на экзамены с чувством полного безразличия. Волноваться я не могла, мною владела апатия. Но жизнь продолжалась.

Когда я поступала на философский факультет, многие добрые люди предупреждали, что я выбираю бесхлебную профессию; некоторые всячески уговаривали продолжать изучение математики. В самом деле, это было бы много практичнее: восстанавливавшаяся индустрия нуждалась и в математиках. Но принуждать себя еще раз я не хотела, за свободу изучать то, что хочу, и говорить то, что думаю, я заплатила высокую цену: я потеряла родину.

Но действительно, для выпускника философского факультета был тогда лишь один путь: стать ассистентом у какого-нибудь ординарного профессора и готовить вторую диссертацию *doctor habil*, по русским стандартам докторскую, чтобы стать доцентом и потом профессором университета. Но Степун не был ординарным профессором, и ему ассистенты не полагались. А у ординарных были свои ученики, из которых они и выбирали своих ассистентов. Попытки устроиться сотрудницей какого-нибудь научного института по истории успехом не увенчались. И я начала пока преподавать историю в русской гимназии.

Зарубежная Православная Церковь и лично о. Александр Киселев сняли какой-то пустой дом, устроив там миссию «Милосердный самарянин» (отметим маленькую пикантную особенность: нынешний патриарх всея Руси Алексей прислуживал мальчиком при бого-

служениях о. Александра Киселева в Эстонии, где все они жили после революции).

В нанятом доме внизу была маленькая церковь, гимназия с интернатом для иногородних учеников, были и жилые комнаты, в одной из которых и жили последнее время мои родители, а после кончины моего отца — мама. К тому времени, как мои родители туда переселились, о. Александра в Мюнхене уже не было, он уехал в США, вскоре туда же уехал и о. Георгий Бенигсен, о котором я уже писала. Преподаватели в этой гимназии были с бору по сосенке, но попадались и знающие, одним из самых знающих был, конечно, мой отец, преподававший там до самой смерти. Баварское Министерство просвещения разрешило эту гимназию, чтобы дать образование тем из русских беженцев, которые были уже подростками и с трудом могли учиться в немецкой гимназии. Аттестаты русской гимназии признавались немецкими высшими учебными заведениями, поскольку из немецких гимназий на выпускной экзамен присылались задания по математике и латыни, соответствовавшие уровню немецких, а на устные экзамены по другим предметам приходил представитель министерства, знавший русский язык. Аттестаты получали печать министерства и были действительны. Но, несмотря на все это, жалованья преподавателям министерство не платило, а зарубежная церковь могла выделять только 50 марок в месяц каждому преподавателю. Время скудного существования продолжалось.

Часть третья

ОБРЕТЕНИЕ ВЕРЫ

Диссертация о Герцене

Когда во Пскове при немецкой оккупации снова открылись церкви, из Троицкого собора была выкинута атеистическая мерзость и приехавшие из Эстонии русские православные священники начали служить в церквях. Я иногда ходила на литургию, но мало что понимала; служба казалась мне длинной и утомительной, меня тогда полностью захватила политика.

Мои страстные мечты о свержении страшной сталинской диктатуры и возрождении России разбились вдребезги; я даже растерялась с родителями и осталась временно совсем одна, и тогда меня до какой-то степени потянуло к церкви. Перед Пасхой 1946 года я решила пойти к исповеди и причастию. На исповедь я шла второй раз в моей жизни, а первая была, когда мне исполнилось 7 лет (после этого советские гонения на Церковь положили конец всякой связи с ней). Конечно, я была совсем не подготовлена, а священник, к которому я попала, не дал мне самой сказать ни слова, задавал лишь стереотипные вопросы. На следующей же исповеди другой священник, наоборот, ждал, что скажу я. И это явилось для меня неожиданно. Постепенно я привыкла, посещала время от времени церковь и перед Пасхой, а потом и в день именин ходила на исповедь и причастье. И все же моя религиозность оставалась поверхностной, то есть не доходила до сознания, но, безусловно, оказывала на меня какое-то воздействие.

Мой отец стал в эмиграции очень церковным человеком, но, как и прежде, он ничего не говорил на эту тему. А я тогда уже не спрашивала. У меня снова не было смысла жизни. И появились мысли о самоубийстве, но я не искала бесед с кем-то. Я уже привыкла вынашивать все в себе.

Работа над Герценом дала мне много. Герцен обладал острым

умом, способностью к анализу, он не умел долго обманывать себя прекрасными мечтами и со своим атеизмом зашел полностью в тупик. Свою самую известную книгу «С того берега» он посвящает сыну надписью: «Религия будущего переустройства мира — это единственная религия, которую я тебе завещаю». Но в этой же книге есть потрясающая глава, «Consolatio». Она написана в форме диалога — литературная форма, часто употреблявшаяся Гёценом. Молодая дама, горячая адептка тезисов эпохи Просвещения, мечтает о счастливом будущем человечества. Ей возражает старый врач, искушенный жизнью скептик. Он рассказывает ей, что лечил двух детей, брата и сестру, от скарлатины, тогда зачастую смертельной детской болезни, и оба умерли. Мать их, сначала чуть не помешавшаяся от горя, сказала потом: хоть дети вошли на небо чистыми. Дама называет это суеверием и возмущается, а врач спрашивает: чем же ее вера в счастливое будущее человечества лучше? Она пытается уверить его, что это, мол, научные выводы, что уже сейчас есть люди, которые были бы способны создать такое счастье на земле. Да, возражает врач, есть даже летающие рыбы, значит ли это, что все рыбы будут со временем летать? И затем следует роковой для всех верящих в прогресс вопрос: хотите вы обречь ныне живущих людей на роль тех, кто держит террасу, на которой другие будут танцевать? То есть даже если будущее счастье людей возможно, то что же делать с не дожившими до этого счастья, со всеми предыдущими поколениями? «Кто этот молох, которому измученные люди кричат *morituri te salutant*, а он — только и умеет ответить, что после их смерти на земле будет хорошо». Таким образом, Гёцен уже в своем раннем произведении попадает в неразрешимое противоречие: он завещает своему сыну то, во что он сам уже не верит, — счастливое будущее человечества. И задает роковой вопрос: если это и возможно, то какой ценой? Бердяев называет такую веру вампиризмом. Как мифические вампиры высасывают кровь из человека, чтобы жить самим, так и будущие счастливые поколения будут жить за счет крови и пота всех предыдущих. Христианство же обещает справедливость каждому отдельному человеку, когда бы он ни жил, обещает, что Господь утрет каждую слезу.

Гёцен отрицал христианские заповеди, он писал, что не надо наставлять человека, чтобы он любил ближнего, следует оставить его свободным, и он найдет, кого ему любить, а если не найдет, то это его собственная беда. Можно добавить, что это и беда ближне-

го, которого он, возможно, будет ненавидеть и причинять ему зло. Словхватившись, что полностью предоставленный самому себе человек может скатиться в нравственную пропасть, Герцен спрашивает самого себя: что же, он одобряет все — разврат, пьянство и пр.? Нет, говорит он, «человек должен стоять высоко, иначе он не заслуживает названия человека». Отбросив конкретные нравственные ориентиры для человека, Герцен сейчас же выдвигает глобальное требование, расплывчатое и неопределенное, удобопретворяемое в любую форму. В самом деле, кто определяет, что высоко и что низко? Гиммлер тоже считал, что эсэсовец должен стоять высоко и не красть у убитых евреев их драгоценности, но убивать невиновных людей эсэсовец не только имел право — это было его долгом. Понятия «высоко» и «низко» различны и иногда прямо противоположны. А затем встает вопрос: что делать с теми, кто якобы стоит низко? В одной этой фразе Герцена заложены все классовые и расовые убийства XX века. Одни решили, что класс буржуазии стоит низко и его надо ликвидировать, другие решили, что семитская раса стоит низко и ее следует физически истребить, впрочем, ограничиваясь лишь одной ее частью: арабы истреблению не подлежали. Словом, открывается полный произвол в оценке «высоко» и «низко» и в решении, что делать с «низкими». Так и не найдя веры, Герцен в конце своей жизни оказался в безысходном положении. В своем произведении «Письма из Франции и Италии» он писал, что, стоя на каком-то холме в Италии, он смотрел на монастырь и на работавшего в саду монаха с глубокой завистью, хотел бы он тоже отдохнуть в этой тишине и внутреннем покое, но это ответ не на их искания, для таких, как он, страждущих духом, современная цивилизация приготовила только сумасшедший дом.

Я видела тупик Герцена, возражала ему, относившему христианство к идее прошлого, утверждала, что христианство безвременно и мать из рассказа старого врача верила так же, как и первые христиане-мученики. И все же это были чисто головные рассуждения, не затрагивавшие сердца. Я рассуждала теоретически, не определяя для себя своего отношения к христианству, хотя в то время Бог-Создатель был для меня уже непререкаем, но одновременно еще слишком удален. Работа над Герценом, однако, избавила меня полностью от иллюзий построения совершенного мира, так сказать, «царствия Божия на земле», причем своими руками, даже если иные из этих строителей были готовы призвать благословение

Божие. Мне уже не грозила опасность впасть в «ересь утопизма» (так назвал свою работу С. Л. Франк, с произведениями которого я ознакомилась значительно позже).

Еще работая над своей диссертацией, я обнаружила признаки этой ереси у автора, которого не принято в ней обвинять, именно — у Достоевского. Он ведь тоже мечтал о царствии Божием на земле, на претворении в этом мире правды Христовой, прежде всего в России, которая принесет миру истинного Христа. Только Россия сохранила, по его мнению, Его истинный образ. Об этом говорит старец Зосима в «Братьях Карамазовых». Зато в противоположность России Запад не обладает сознанием братства людей, так что знаменитый лозунг Французской революции 1789 года «*Liberté, égalité, fraternité*» может быть воспринят лишь как насмешка, и не случайно к нему было присоединено страшное «*ou la mort*» (или смерть). Но тут Достоевского начинает мучить тот же вопрос, который мучил и Герцена. Достоевский никак не отрицал заповедей Господних, но и для него вставал вопрос, могут ли все люди стать «летающими рыбами», то есть смогут ли они все стать истинными христианами, стать братьями. Ведь на Западе, по его мнению, не существует даже элемента братства, западные люди к братству не способны. Возможна ли совершенная христианская Россия, окруженная чуждыми христианству странами-соседями. А в самой России? Идеолог жаждал и ждал совершенства, но художник возражал ему персонажами своих романов столь далекими от совершенства. Так же как критика Запада особенно ясно высказана Достоевским в небольшом и не всем известном произведении «Зимние заметки о летних впечатлениях», так и его сомнения нашли выражение в небольшом рассказе «Сон смешного человека», где один-единственный землянин разрушил совершенный мир другой планеты. Один-единственный «не брат» может уничтожить совершенное братство. А могут ли все люди стать совершенными братьями? Сам же Достоевский необыкновенно ярко и горько разрушает мечту о земных утопиях в «Записках из подполья». Но ведь он хочет строить земной рай на Христе. Обещал это Сам Христос? Все свои сомнения Достоевский бросает в лицо, так сказать, «своему Христу» возражениями Великого Инквизитора. Человек слаб и мятежен, он никогда не будет таким, каким его хочет видеть Христос. Христос или... Достоевский? Разве в Евангелии не говорится не раз, что люди злы? Разве Христос, Сын Божий, строил Себе иллюзии? Разве Он был утопистом? Свои

сомнения великий писатель пытается заглушить тем, что Великий Инквизитор служит якобы дьяволу.

Но это не убеждает. Слишком очевидно, что Великий Инквизитор говорит много правды о человеке, хотя и обобщает отрицательные моменты, искажая тем самым картину мира, но не снимая правильности антиутопического взгляда на мир и человека.

Разыскивая литературу о Достоевском, которого я подключила к диссертации, я наткнулась на книгу Романо Гуардини «Религиозные образы в творчестве Достоевского» (итальянец по рождению, Гуардини прожил всю жизнь в Германии и писал по-немецки; ныне эта его книга существует и в русском переводе). Меня поразила глубина анализа Гуардини, также и его ясный взгляд на знаменитую «Легенду», объяснивший мне то, что я сама уже начала понимать. Гуардини тогда читал лекции в Мюнхенском университете, перейдя в Мюнхен из Тюбенгема, но я была слишком занята диссертацией и не ходила тогда на его лекции. Впоследствии Гуардини сыграл большую роль в моем духовном становлении.

Меня привел в восторг другой автор, которого я тоже включила в свою работу, — самый оригинальный и самый обойденный вниманием русский мыслитель Константин Николаевич Леонтьев. Смелость его мысли изумительна. Он не тешил себя земными утопиями, говоря обществу: всем лучше никогда не будет, одним всегда будет хуже, другим лучше, и если и есть прогресс, то он заключается в перетасовке и перемещении тягот и забот жизни, а вовсе не в каком-то всеобщем продвижении к прекрасному будущему. Земного рая не будет, а после каждой попытки его создать становится еще хуже. Леонтьев даже заметил, что технический прогресс совсем необязательно ведет к улучшению жизни общества. В конце XIX века он мог привести как пример совсем невинный в наших глазах поезд и писал, что это техническое усовершенствование может, например, вовремя доставить сына к умирающей матери, но также и бандита к месту, где тот задумал совершить преступление. Технический прогресс нейтрален по отношению к добру и злу и может служить одинаково и тому, и другому, а иного прогресса общества, кроме научно-технического, история не наблюдает. Теперь, в конце XX века, мы знаем, что технический прогресс не только может служить злу, но и сам понемногу превращается во зло. Уничтожение природы, загрязнение среды — все это результаты технического прогресса. Уверены ли мы, что мирное использование атомной энергии —

добро в противоположность злу ядерных бомб? Дело не только в Чернобыле и многих других маленьких «чернобылях», но и в захоронении отходов с непредсказуемыми пока результатами.

Монархист, любивший «византийскую» Россию, Леонтьев не остановил своей мысли перед предсказанием гибели именно этой России. Он не утешал себя розовыми видениями суперхристианской будущей России, а писал, что Россия бросится первая вперед под знаменами интернационального материализма и тогда появится такой диктатор, который сможет высунуть язык Великому Инквизитору господина Достоевского, то есть он будет несравненно страшнее. Незадолго до своей смерти (в 1891 году) он писал Владимиру Соловьеву, что русским, может быть, еще 20 лет разрешат молиться, потом церкви и монастыри будут закрываться, и добавлял, что у него мороз пробегает по коже, когда он представляет себе, что Соловьев в этот момент улыбается.

Для нас, переживших все это на собственной шкуре: и диктатура, и колхозы, и закрытие, даже разрушение церквей и монастырей, преследование духовенства и просто верующих, было потрясающе читать такие точные пророчества нашей трагедии, предсказанные в XIX веке. Но тогда никто не внял Леонтьеву, даже тот же Владимир Соловьев. Голос Леонтьева остался вопиющим в пустыне, в пустыне самонадеянности, поверхностного ожидания какого-то благостного переустройства, настроения розового тумана, которого вначале не смогла изменить даже начавшаяся война: граждане ликовали, и пессимистом считался тот, кто сомневался, что война продлится больше шести месяцев и кончится блестящей победой. Увы, «кого Бог хочет наказать, того Он лишает разума».

В свою диссертацию я включила даже книгу Иванова-Разумника «История русской общественной мысли», поскольку тема моей работы — «Категория мещанства у Герцена», а «мещанство», то есть средние слои общества, его опора, были, увы, главными врагами российских прогрессистов. На 1000 страниц книги Иванова-Разумника не нашлось места не только для К. Леонтьева, но даже для В. Соловьева, хотя в ней мелькает много имен, в наше время уже давно забытых. Заканчивается она апофеозом русской интеллигенции, настоящее которой прекрасно, а будущее непредставимо светло. Уже годы спустя мне в руки попала другая книга того же Иванова-Разумника, изданная в русском издательстве в США. Она называлась «Тюрьмы и ссылки». Это была совсем другая книга.

Если первая его книга вышла в начале XX века, еще в царской России, то вторая — в 60-х годах и уже вне России и повествовала не об утопическом, а о свершившемся будущем «блистательной русской интеллигенции». Заглавие второй книги достаточно ясно это будущее характеризует. Вначале автор описывает свой арест еще в царское время, когда он был бунтующим студентом. Содержание и питание в тюрьме было вполне приличными, к тому же «прогрессивное» купечество, жалевшее «бедных» студентов, завалило их продуктами и папиросами, так что, не будучи в состоянии все использовать, они раздавали часть тюремщикам и их семьям. Арестованным студентам разрешалось собираться вместе и читать по очереди доклады, а когда сидевшие в другом тракте курсистки заявили, что они хотят прослушать некоторые доклады, в частности доклад автора книги, то разрешили прочесть его и перед девушками. Затем Иванова-Разумника приговорили к высылке из Петербурга и разрешили самому определить место ссылки. Он выбрал... Крым и прекрасно там отдохнул.

А потом идут советские аресты, которые для него как-то все же оканчивались освобождениями до следующего ареста, в одну из таких пауз началась война, он попал под оккупацию и смог бежать за границу, так что свое личное будущее может обозначить как относительно счастливое. Первое тюремное заключение в 20-е годы было терпимым. В начале 30-х все стало много хуже, общая перенаселенная камера, но в ней еще можно было как-то поместиться. Новоприбывавшие арестанты могли пронести в камеру газеты, и хватало сил на обсуждение политики. Так, в 1933 году много говорили о пожаре рейхстага в Берлине. В камере сидел неизвестно за что извозчик. Следователь требовал от него признания, но в чем, не говорил; начали бить. Наконец однажды мрачный извозчик вернулся в камеру еще более мрачным и сказал: «Я признался, а он мне оплеуху дал». — «В чем же ты признался?» — «Рейштаг поджег». Следующий арест в конце 30-х привел автора в нестерпимо набитую камеру. Можно было только стоять, воздуха не хватало, по предсказанию самого же Иванова-Разумника, общество прогрессировало...

От утопии создания совершенного общества на земле работа над диссертацией меня полностью излечила. Царствия Божия на этой грешной земле не будет, а каждая попытка его создать оборачива-

ется еще худшими страданиями. Это было ясно. Но от Царствия Божия внутри нас я была еще далеко. В этот период я первый раз прочла Евангелие, но мало что поняла. Даже думающий человек с трудом может по-настоящему понять Евангелие без помощи уже живущих духом в христианстве. Я продолжала время от времени ходить в церковь, причем в две церкви. В Мюнхене была небольшая католическая церковь восточного обряда. Идея восходит к Владимиру Соловьеву, который, как известно, горячо проповедовал воссоединение церквей и стоял за главенство папы римского как преемника апостола Петра, но решительно возражал против латинизации России. Тысячу лет Церковь была едина, но обряды и обычаи существовали разные; так и должно остаться впредь, в конце концов, в Католической Церкви много разных обрядов. После октябрьского переворота папа Пий XI основал в Риме семинарию под названием Руссикум, где могли учиться русские или те иностранцы, которые хотели изучить русский и церковнославянский языки и служить по восточному обряду. В наше время начинание Пия XI разрушено. Теперь другая теория: церкви-сестры должны сходиться как таковые. Но тогда церкви восточного обряда открылись в разных городах Западной Европы и Америки, где было много русских эмигрантов. В Мюнхене такая церковь со священником-голландцем влачила довольно жалкое существование. Познакомил меня с ней русский католик, эмигрант из Болгарии Павел Викторович, помогавший в ней. В 1950 году приехал новый настоятель церкви, еще довольно молодой немец о. Карл Отт, энергичный и благожелательный. Первое, что он сделал, — довел до конца начатое было дело с поездкой русских в Рим в год, объявленный святым. Поскольку русских католиков было мало, то предлагалась возможность ехать и тем православным, которые не питали ненависти к католической церкви (все это, конечно, за счет церкви, так как денег у нас, беженцев, совсем не было). Но в связи с переменной священников дело затормозилось, многие решили, что поездка не состоит, и не стали оформлять документы.

Мне очень хотелось посмотреть Рим, а ненависти я, конечно, ни к какой церкви не питала. У нас тогда были паспорта, аналогичные иансеновским для первой эмиграции; на паспорте стояло: «бездомный иностранец», и такой паспорт давал в стране проживания все права, кроме избирательного. Но в него надо было поставить итальянскую и транзитную австрийскую визу. И все это стоило 6 марок!

Марка стояла тогда очень высоко. Для меня эти 6 марок были большими деньгами. Однако в противоположность большинству других я решила рискнуть и на всякий случай выправить документы. И вот новый священник молниеносно организовал поездку, принять участие в которой смогли только те, кто поставил заранее визы в свой паспорт. Сколотилась небольшая группа, и я была в числе ее членов.

В ноябре на неделю мы поехали в Рим. Поездка оказалась очень интересной. Побывали мы и в катакомбах, где разъяснения давал нам тоже немецкий священник, говоривший по-русски, и нам не помешало, что, в катакомбах рассказывая о римлянах-язычниках, он объяснил их суеверия: они предполагали существование в катакомбах злых духов (так он поставил ударение). Осматривали мы, конечно, и главные храмы.

Как это часто бывает, во время войны мои простудные болезни от меня отступили; я ни разу не простудилась и во время бегства из СССР. Но потом простуды и ангины вернулись. И вот в Риме я почувствовала, что заболела, поднялся жар, появилась слабость, есть мне совсем не хотелось, хотя по утрам мы не завтракали, поскольку ежедневно посещали в каком-нибудь храме богослужение и католики между нами шли к причастию. В то утро богослужение должно было состояться под Ватиканом, где не так давно археологи, между прочим, протестанты по вере, обнаружили забытую гробницу апостола Петра. Всегда было известно, что она там существует, но как раз протестанты этому не верили и, получив разрешение на исследование, они эту гробницу и обнаружили.

Я чувствовала себя очень плохо и, не зная, что мне предпринять решила пойти к причастию. Перед тем я слышала объяснение священника, что Католическая Церковь не предписывает исповеди перед каждым причащением, если человек не совершил со времени последней исповеди тяжкого греха. Служил русский католический священник. Я едва держалась на ногах и плохо слушала проповедь, которая у католиков говорится после чтения Евангелия, но вспоминаю его слова о верном пути, найденном нами. Внимания на эти слова я не обратила, но, когда священник вынес Чашу, пошла к причастию и причастилась. Почти сразу же я почувствовала, как болезнь отходит. Когда мы прибыли в столовую на завтрак, у меня появился аппетит, и я почувствовала себя здоровой. Каких-либо выводов я из этого случая не сделала и по-прежнему считала себя

православной, поскольку я вообще могла причислить себя к верующим христианам. Думаю, что тогда еще не могла. Все это было пока скольженным по поверхности, внешним принятием.

Достаточно привести один знаменательный факт. Я ведь слышала слова священника, говорившего молитву перед причастием о вере в то, что в Чаше Тело и Кровь Христа, но слова эти, сказанные в привычной уже тональности, тоже скользили по поверхности, представлялись чем-то символическим. В привычке заключается большая опасность, и хотя моя привычка была еще не очень укоренившейся, но, вероятно, отголоски детства, оставшиеся в подсознании, создавали фон, на котором смысл не воспринимался достаточно отчетливо и не будоражил сознания. Но вот когда я прочла в книге Германа Раушнинга «Разговоры с Гитлером» грубые слова Гитлера о том, что, так же как «они» (то есть христиане) едят Своего Бога, они будут верить в Вотана (древнегерманское языческое божество, соответствующее славянскому Перуну), меня точно ударило, и я поняла тот жесткий смысл Таинства, который в свое время заставил ряд учеников отойти от Спасителя («С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним», Иоанн, 6, 66).

Романо Гуардини

Моя приятельница Ингрид не раз говорила мне, что следует послушать профессора Гуардини. Но у меня совсем не было свободного времени. Я спешно писала диссертацию и брала разные работы, чтобы перебиться это время. Когда я кончила и получила степень доктора, спешка отпала, хотя я все еще старалась подработать где-нибудь. Но несчастные 50 марок в месяц, которые я получала в гимназии, давали мне возможность заплатить за комнату, а питалась я отчасти у мамы, получавшей продукты от беженской организации. Тогда я начала слушать Гуардини. Разрешу себе на этом месте напечатать вступление, которое я написала к русскому изданию книги Р. Гуардини «Господь», Жизнь с Богом, Брюссель: 1995. Вот оно:

«С профессором Романо Гуардини я познакомилась в трудный период моей жизни. Вернее, я тогда начала слушать его лекции; личное знакомство произошло позже. Когда я начала посещать эти лекции, у меня был докторский диплом Мюнхенского университета, но вопрос о смысле жизни и о христианстве оставался нерешен-

ным. Университет я закончила в рекордно короткий срок, так как мое положение беженки было в материальном смысле очень тяжелым и я должна была торопиться окончить образование. Работая над диссертацией о Герцене, я смогла убедиться в том, что атеизм заводит в тупик. Но христианства я по-настоящему просто еще не знала и не пробовала решать, принимаю я его или нет. Однако мне было ясно, что жить без осознания смысла жизни и смысла мира невозможно.

Р. Гуардини читал лекции о христианстве как таковом. Он руководил кафедрой католического мировоззрения, которая после его ухода на пенсию была ликвидирована. Сначала ее поручили было Карлу Ранеру, но у него было мало слушателей. Не более удачлив был и его преемник, после чего кафедра вообще перестала существовать.

Р. Гуардини читал в огромной, построенной амфитеатром аудитории, вмещавшей около 700 слушателей. Но мест не хватало; чтобы иметь возможность присутствовать на лекции, студенты — и не только студенты — приходили на предыдущую лекцию и читали какую-нибудь книгу. Другие сидели на ступеньках лестницы или стояли в проходах. Вряд ли его слушало меньше тысячи человек. В немецких университетах господствует академическая свобода, и никто не спрашивает, студент ли тот, кто приходит на лекцию. На лекции Романо Гуардини ходило много нестудентов, ходили люди всех возрастов и всех христианских вероисповеданий. Так я познакомилась на его лекциях с немолодой дамой — лютеранкой, которая уже много лет находилась в глубоком душевном кризисе, после того как оба ее сына погибли на войне. О Р. Гуардини она сказала: «Он поставил передо мной Иисуса Христа». Вера в Иисуса Христа, обрести которую ей помогли лекции Гуардини, душевно излечила ее. Она снова могла жить.

В своих лекциях Р. Гуардини не касался разделения христиан, и хотя темой лекций и было католическое мировоззрение, то, что он говорил о христианстве и об Иисусе Христе, вполне могло быть принято всеми христианами, особенно же православными, которых мало что отделяет от католиков, разве что традиции исторического развития.

Для тех, кто еще не познакомился с книгами Р. Гуардини, его лекции были настоящим откровением. Говорил он негромко, и ему приходилось пользоваться микрофоном, иначе в огромной аудито-

рии его не было слышно. Тексты его лекций лежали перед ним, и время от времени он в них заглядывал, но при этом не создавалось впечатления, что он «читает по бумажке». В одной из своих книг Р. Гуардини писал, что можно словом совершить насилие над душой человека, можно «заговорить» его ораторским искусством, что оратор может подчинить себе сознание человека и внушить ему свой образ мыслей, даже если тот не будет, по существу, убежден в правоте этих мыслей. Как раз этого Р. Гуардини и не хотел. Он считал, что нужно как можно яснее изложить слушателям то, что считать истиной, но затем предоставить им самим решать, примут они сказанное или нет. В книге Гитлера «Моя борьба» говорится, например, совсем обратное. Гитлер пишет, что, когда он выступал перед собравшимися утром, он чувствовал, что не может увлечь своих слушателей так, как при вечерних выступлениях. Он сам это объяснял — и, видимо, правильно — тем, что к вечеру люди устают, их воля размагничена и они скорее поддаются ораторскому искусству говорящего. Глубоко верующий Гуардини считал, что к личности другого человека надо относиться бережно. Человек должен принять в глубину своей души преподанную ему истину и признать, что это истина. Если же он не делает этого, то нужно уважать его решение, даже если ты убежден, что в данном случае он заблуждается.

Сам Р. Гуардини никак не пытался повлиять на другого человека или уговорить его. Он лишь ясно и четко излагал истины христианства. Тем не менее — или именно поэтому — его слушали, затаив дыхание. Передо мной, как и перед многими другими, истина христианства впервые раскрылась во всей своей глубине. Только пройдя через опыт этого глубинного понимания христианства, видишь, как поверхностны бывают многие христиане всех вероисповеданий. И, конечно, я тоже не сразу сумела понять и принять подлинное христианство, иначе это было бы столь же поверхностно.

Гуардини был глубоким и тонким психологом. Он не раз говорил и писал, что нельзя познать человека, не познав Бога. Человек — создание Бога, и он неразрывно связан с Богом, независимо от того, что он думает и как себя ведет. Он может отрицать Бога, может восставать на Него, может всей своей греховной жизнью отрицать заповеди Божии и Его Самого, но и здесь, в этом отрицательном аспекте, он связан с Богом, связан тем разрушением, которое он производит в самом себе и вокруг себя в мире.

Насколько глубоко Р. Гуардини понимал человека, было видно из того, что во время лекций то один, то другой из его слушателей испытывал смятение, так как ему казалось, что лектор заглянул именно в его душу и говорит о его сугубо личных проблемах. «Я буду жаловаться, — сказала мне как-то моя подруга, — откуда он знает, что меня мучают именно эти вопросы?» Гуардини этого, конечно, не знал. Лично он был знаком лишь с очень немногими из тех, кто бывал на лекциях, да он и не смог бы при всем желании вникать в личные проблемы тысяч и тысяч своих слушателей. Но он знал, какие вопросы, какие проблемы вообще мучают людей в молодости, какие в более зрелом возрасте, в старости, и в своих лекциях он касался всех этих вопросов, причем одни из них в особой степени затрагивали одних из его слушателей, другие же — других. А человека как такового и его душевные и духовные проблемы он знал так хорошо потому, что углубился в Бога.

Романо Гуардини был мастером языка. Его немецкий язык глубоко поэтичен. Он — итальянец, родившийся в чисто итальянской семье в Вероне в 1885 году, — приехал со своими родителями в Майнц, когда ему был год. Его отец получил место итальянского консула в этом городе. 20 лет семья прожила в Майнце. Романо ходил там в школу, окончил гимназию и поступил в университет, сначала на факультет экономических наук. Не закончив его, он перешел на богословский факультет, одновременно изучал философию. Р. Гуардини стал священником, потом прелатом и профессором философии. Когда его семья — родители, младшие братья и сестры — вернулась в Италию, «немец по выбору» решил остаться в Германии. Читал лекции сначала в Бреславле, потом в Берлине. При Питлере, в 1939 году, его лишили права преподавать в университете. Но ему и в это время удавалось издавать небольшие, чрезвычайно смелые брошюры, которые его друзья посылали тайком солдатам на фронт. После войны Р. Гуардини снова стал университетским профессором, сначала в Тюбингене, а потом в Мюнхене, где он и читал лекции до своего ухода на пенсию. Ему было тогда уже за 70.

Мне вспоминается, как университет праздновал восьмидесятилетие Романо Гуардини. В своем выступлении он сказал тогда: «Я прожил долгую жизнь и наблюдал много модных духовных веяний, но мода приходит и уходит, а истина остается». Р. Гуардини скончался 1 октября 1968 года в возрасте 83 лет.

Благодаря тому, что он жил как бы в двух национальных сферах, в нем не было никакой национальной узости. Какую опасную мысль высказал В. Борисов в сборнике «Из-под глыб», где в его статье «Нация — соборная личность» говорится, что человек, отходя от своей национальности, якобы уходит от Бога. Романо Гуардини вышел за узкие рамки своей национальности, но я в своей жизни не встречала человека, которых жил бы с Богом так, как он. Конечно, он не отвернулся от своей нации и своей семьи, а просто вжился с детства в другую нацию. Он в совершенстве владел итальянским, как, впрочем, и французским, но своим родным языком считал немецкий.

Знание нескольких языков всегда расширяет кругозор человека и открывает ему духовный мир другого народа — не только потому, что оно дает возможность читать книги в оригинале, но преимущественно потому, что каждый язык отражает строй мышления.

К моменту моего личного знакомства с Гуардини я уже больше года слушала его лекции. Повод к знакомству был по-своему знаменателен: я была не согласна с одним высказыванием Гуардини, которое, однако, не имело отношения к истинам христианства, Гуардини принял меня, внимательно выслушал мое возражение и обсудил его со мной, ничем не давая понять, что он значительно старше, опытнее меня и воистину мудрый человек. Как раз в таком отношении к другому и выразилась, в частности, его мудрость.

Потом я несколько раз встречалась с ним, и каждый раз, когда я переступала порог его кабинета, чувствовала, что все его внимание в данную минуту безраздельно обращено на меня. Казалось, что весь мир вокруг исчез, нет ничего и никого другого, есть только он и я, и то, что надо обсудить именно со мной. Само собой разумеется, что я в данном случае не была исключением. Каждому посетителю, которого он соглашался принять, Гуардини уделял безраздельное внимание, сколько бы ни продолжался визит. Поэтому он очень хорошо помнил все, что тот или иной человек говорил ему. А сколько вокруг него было людей! Скольким он должен был уделить хоть немного внимания! И он помнил о каждом из них все, что было для данного человека хоть сколько-нибудь важно. Этой способности полностью отключаться от всего остального и отдавать все свое внимание собеседнику я не встречала ни до, ни после, ни у одного, пусть даже хорошего священника, какого бы вероисповедания он ни был.

Как часто люди оправдываются плохой памятью, если она забывают о своем ближнем, иногда даже об очень близком человеке — о том, что ему нужно и что для него важно. Но большей частью дело не в плохой памяти, а в невнимательности, в неспособности услышать то, что говорит другой, отключиться от своих собственных мыслей, желаний, забот и проблем и безраздельно отдать свое внимание другому. Уделять время другому — это вовсе не означает проводить с ним многие часы. Часто это невозможно. Уделять другому время — это значит, что если мы и посвящаем человеку лишь 10 минут, то эти 10 минут мы должны посвящать ему полностью, безраздельно. Это значит, что в течение этих 10 минут данный человек должен быть для нас самым важным в мире, будь он всего лишь шапочным знакомым или даже случайным встречным. В этом нет ничего нового. Древнее христианское правило гласит: самое важное время — это настоящее (не будущее, во имя которого нередко приносятся так много кровавых жертв, и не прошлое, по которому так часто тоскуют), самый важный человек — это тот, с которым я сейчас имею дело, и самое важное дело — сделать ему добро.

Гуардини помогал немущим студентам и еще не устроившимся молодым ученым. Если он замечал, что человек нуждается, то просто отказывался в его пользу от своих гонораров за чтение докладов или за выступления по радио.

В одной из своих книг Р. Гуардини пишет: «Человеку нужно помогать прежде, чем он попросит о помощи». Так он и поступал, и в этом сказывалось необыкновенно чуткое, внимательное и бережное его отношение к другому. Недаром в одной из проповедей Гуардиня отмечал, что иногда человек так оказывает помощь другому, что тому хочется швырнуть ее в лицо благодетелю. Каждое воскресенье Гуардини служил литургию в студенческой церкви св. Людвига и, конечно, проповедовал. Церковь была переполнена молящимися и являвшимися послушать проповедь.

Мне приходилось беседовать с Р. Гуардиня о Достоевском, писателе, которого он хорошо знал и высоко ценил. Конечно, Р. Гуардини не был согласен с выпадами Достоевского против католичества, носившими скорее публицистический характер, но давал высокую оценку его романам. Р. Гуардини написал книгу «Религиозные образы в произведениях Достоевского» (она переведена на русский язык и вышла в Брюсселе в издательстве «Жизнь с Богом»). Я много читала об этом великом писателе, преимущественно русских

авторов, среди которых были и весьма известные, но такого глубокого проникновения в суть Достоевского, как у Гуардини, который даже не мог прочесть его в русском оригинале, я не нашла ни одного из них.

Гуардини читал и курс о Достоевском, и писал о том, что Достоевский — единственный писатель во всем мире, которому удалось спроецировать внечеловеческое существование на человека так, что он остается человеком, но сквозь него проступает другое существование, высшее или низшее. Так, в Алеше просвечивает херувим в Ставрогине — сатана, в Смердякове — легендарное человек-растение, а в князе Мышкине — Иисус Христос. Но все же все они остаются людьми и потому срываются по-человечески там, где и прообразы не выказали бы слабости.

Мы не будем перечислять здесь всего написанного Романо Гуардини. Он написал много. Он чрезвычайно глубоко и вдумчиво интерпретировал очень различных мыслителей и поэтов — Сократа, Паскаля, Гёльдерлина, Рильке. Он писал духовные наставления молодежи, углубленные статьи-проповеди о разных аспектах веры, объединенные потом в книгу «Познание веры», писал о добродетелях в свете христианства, об истинности, справедливости, доброте и пр. В одной из бесед со мной он сказал: «Наша задача — свидетельствовать об истине. Любовь выше, но нам поручена истина, мы должны освещать ее в разных аспектах». Сам он очень много для этого сделал.

Однако центральным произведением Р. Гуардини является книга «Господь». Каждый, кто возьмет ее в руки, должен постараться не перелистать ее, а прочесть. Эта книга — глубокое проникновение в христианство, раскрытие ее сущности. Автор ее был христианином во взглядах и в жизни, во всех своих поступках.

Наряду с чисто формальным, обрядовым отношением к христианству, встречающимся, к сожалению, среди христиан всех исповеданий, существует еще, тоже во всех вероисповеданиях, широко распространенное стремление ограничить христианство этикой. Конечно, отрадно, если человек стремится избегать дурных поступков и совершать хорошие. А если это делается во имя Иисуса Христа, то вряд ли можно усомниться в том, что такой человек будет Им принят. И тем не менее этого недостаточно. Христианство должно войти в мышление, пронизать его целиком. Все отношение к жизни, все ее восприятие, философия, наука, искусство должны

предстать перед ним в свете христианства. Р. Гуардини цитирует в одном из своих произведений английского писателя Честертона, который сказал, что христианство — это то солнце, в лучах которого мы видим все окружающие предметы, весь мир, всю жизнь. На само солнце мы смотреть не можем, но мы видим все другое благодаря его свету.

Этот божественный свет вносил гармонию во все мышление, всю жизнь и все поступки Романо Гуардини. Ни одна из его книг, даже «Господь», не может дать полного представления об ее авторе, тем более не могут дать его мои попытки набросать его портрет. Однако чтение предлагаемой книги даст каждому, кто захочет в нее вникнуть, очень много. Поэтому мы можем только радоваться, что издательство «Жизнь с Богом» предлагает русскому читателю эту ценную книгу».

В предисловии к книге Гуардини «Господь» говорится о проникновении в глубины христианской истины. Это проникновение предполагало полный пересмотр отношения к миру и его соотношения с Богом, Достоевский написал как-то, что его мысли всегда умнее его слов. В самом деле, нелегко выразить на бедном языке людей тот внутренний поворот, которым должно ознаменоваться погружение в христианскую веру. Обычно даже у верующих остается более или менее земное представление о мире. Этот мир, перед нашими глазами такой прочный со своими такими незыблемыми законами, представляется главной реальностью. А Бог где-то далеко или высоко. Конечно, в час нужды можно к Нему обратиться, но поможет ли Он? А помочь Он должен, разумеется, так, как этого хочет сам молящийся. Ставит ли молящийся это требование Господу сознательно или нет, подсознательно он непременно ожидает исполнения своей просьбы именно так, как этого ему самому хочется. Для церковного человека является привычкой — хорошей привычкой — ходить в церковь и принимать участие в таинствах. Все это правильно и идущих таким путем людей Господь, надо думать, примет к Себе.

И все же настоящий поворот заключается в радикальной перемене точки отсчета. В центре стоит не мир, а Бог. Не мир с его такой весомой, такой ощутимой реальностью является центром, из которого надо исходить, а, как кажется, далекий, неуловимый и в ежедневной жизни невидимый Бог. Бог реальнее мира. На первый

взгляд это кажется парадоксом. Но если перед внутренним взором однажды возникла истинная картина мира, если наш прочный мир увиделся скорлупкой в руке Господа, если хоть неясно почувствовалась вечность, то хотя мир и может снова затянуть в свои сети повседневной суеты, горестей, радостей, забот и работы, другой, однажды открывшийся взгляд будет снова и снова пробиваться сквозь оболочку мира. Конечно, для этого нужно собственное решение. Необходимо упражнение. Каждый человек знает, что для овладения тем или иным мастерством, а тем более искусством, нужно упражнение, неустанное, терпеливое, долгое. Но вот для достижения жизни с Богом упражнение большей частью игнорируется. Представляется, что нужна лишь вдохновенная, сердечная молитва. Если такое вдохновение посетит, то это прекрасно, но оно лишь короткий миг, а жить в Боге надо всегда. Упражнение также совершенно необходимо и как воспитание воли. Своя воля или примет добровольно одну из самых главных молитв: «Да будет воля Твоя», или же вера останется неполноценной, возможно, вообще даже сойдет на нет. А подчинение воле Божией требует особо терпеливого упражнения.

Когда я начала понимать, что именно надо принять, я не сразу могла решиться. Я начала понимать, чего требует христианская вера, но не была уверена, что я это принимаю как истину. И я решила сначала попробовать, то есть попытаться каждую проблему, каждое явление рассматривать так, как будто я верю, как будто я полностью принимаю христианскую веру. Я как бы экспериментировала, стараясь все в мире оценить с точки зрения христианства, из нового центра, находящегося вне мира и имеющего власть над миром, но не решила пока, верю ли я в это. И я даже не заметила, как оказалась внутри этого мироощущения и поняла, что поворот во мне совершился. Я поняла, что верю и принимаю эту веру. Невольно я вспомнила, что Гуардини писал о князе Мышкине в «Идиоте» Достоевского. Рогожин спрашивает Мышкина, верит ли тот в Бога, а Мышкин, вместо того чтобы восторженно ответить, что да, он верит, начинает говорить о другом и как бы избегает темы. Это оттого, пишет Гуардини, что Мышкин полностью живет в Боге. Он не то что верит в Него как в нечто великое, но все же внешнее, во что можно верить или не верить, он просто живет в Боге, и вопрос веры или неверия не может быть поставлен, как не может быть поставлен вопрос, верю ли я в существование воздуха, которым дышу.

Мои прежние мучительные сомнения, поиски смысла жизни исчезли, и тем более уже не приходили мысли о добровольном уходе из жизни. На этом месте хочу отметить, чтобы потом не повторяться, что процесс вхождения в жизнь с Богом длится всю жизнь и требует постоянного упражнения. Остановка всегда означает начало отката, а опасность такого отката никогда не исключена, даже после долгой праведной жизни.

Но продолжаю рассказ о моем первоначальном вхождении в веру. Как ни странно, труднее мне было принять Иисуса Христа. Мне говорили, что это не по-русски, русские прежде всего припадают ко Христу. Но моя вера должна была проходить через разум, должна была осмыслить в пределах человеческого разума то, что предлагалось в Откровении. Бог-Творец, Бог-Вседержитель, мир как явление вторичное, при всей своей материальной тяжеловесности менее реальное, чем Бог, — это воспринималось легче, относительно легче, конечно, но все же легче. Все шло по прямой линии. Ведь не случайно Европа испытала время такого сильного увлечения мыслями Тейяра де Шарлена, фактически исключавшего в своей линии развития мира Христа и Его жертву. Не случайно и то, что Церковь не разрешала Тейяру, своему священнику, публиковать его произведения. Как известно, Тейяр передал свои рукописи мирянину для их опубликования после своей смерти. Так это и было сделано, и сам автор не мог наблюдать той нездоровой эйфории, которая вспыхнула на основе его трудов. Но она так же быстро погасла, как и вспыхнула. Тейяр проходил мимо сердца христианства и не мог долго владеть умами.

С ранних лет я стремилась к свободе. Коммунистическая тирания при Сталине была для меня совершенно невыносима из-за моей неуемной жажды свободы, удушавшейся на каждом шагу в этом царстве принуждения. Я готова была бежать хоть на край света ради свободы. Жаждала я свободы не для распущенности, не для своеволия, лично я была всегда дисциплинированна, что, по Владимиру Соловьеву, и есть внутренняя свобода: человек становится свободным в той мере, в какой он побеждает свои собственные страсти. В этом плане надо мной не тяготели искушения, но я стремилась к духовной свободе, в которой, однако, тоже могут подстергать искушения, и даже самые страшные, как духовная гордость.

Но, так долго лишенная свободы духовной жизни, я мало думала об искушениях свободы и даже слегка возмутилась духом, когда

прочла у Достоевского о «страшном даре» свободы. Только постепенно я начала понимать, что может натворить свобода без самодисциплины. И еще больше времени потребовалось для того, чтобы проникнуть в действительно страшные последствия свободы без истины, свободы без Бога, бунтарской свободы, свободы, противопоставляющей себя Господу.

Бакунин писал, что сатана — прообраз всех революционеров, поскольку он знает, что Бог есть и все же борется против Него. Дешево богоборчество атеистов: они думают, что Бога нет, и борются против того, что они считают предрассудком, борются против фикции, против вредного, по их мнению, заблуждения.

Но вот знать, что Бог есть, и бороться против Него — это и есть великая заслуга. А во имя чего же идет эта борьба? Во имя отрицания истины? Но настоящая свобода не существует без истины. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн, 9, 32). Достоевский как-то сказал, что если бы ему абсолютно точно доказали, что истина не со Христом, то он все же остался со Христом, а не с истиной. На самом же деле тогда не было бы и Христа: «Я есмь путь, и истина, и жизнь», — сказал Сам Иисус Христос (Иоанн, 14, 6). Иисус Христос Сам есть истина, нет никакой абстрактной истины, отдельной от Создателя мира. Нет и абстрактной, не тварной свободы, как думал Н. Бердяев. Господь сотворил весь мир, все в мире, и истину, и свободу.

Также постепенно приходило сознание тяжести греха, сознание, что грех не просто какая-то случайность, пустяки, но нарушение того созидательного процесса, который Господь отдал в руки нам, людям, для завершения строительства мира. Вместе с этим росло понимание жертвы Иисуса Христа и ее значения. «Мы слишком легко принимаем крест!» — воскликнул как-то Гуардини во время проповеди в церкви св. Людвиг, куда я ходила каждое воскресенье вместе с моей университетской приятельницей Ингрид, чтобы, кроме лекций, прослушать и проповеди Гуардини.

Да, мы привыкли к кресту, а ведь его могло и не быть. Если бы сначала иудеи, а потом все люди приняли Иисуса Христа, когда Он первый раз пришел на землю, вочеловечившись от Духа Святого и Девы Марии, то Царствие Божие пришло в открытом виде. Как точно, мы не знаем, но все стало бы иным, и известной нам истории этих 2000 лет не было бы вовсе. Ведь и первородного греха могло не быть. Первые люди могли бы не поддаться искушению «стать

как боги». Мир был бы совсем иным. И теперь мы каждый день своими новыми грехами вбиваем гвозди в Спасителя и отдаляем возможность просветления мира, его преображения. Так внедрялось глубокое понимание Иисуса Христа и Его жертвы, шаг за шагом.

Сначала я думала, что Церковь не так важна. Она казалась по аналогии с чисто земными организациями необходимой лишь для тех, кто не может обойтись без солидарности с другими в рамках определенной организации. Время от времени я ходила как в православную, так и в католическую церковь восточного обряда, в последней только молилась, а в православной также исповедовалась и причащалась раза два в год. На исповеди я не говорила о своих теоретических сомнениях. Широко распространено мнение, что на исповеди следует говорить лишь о своих более или менее неблагоприятных поступках, но не о сомнениях в вере. Однако первая и главная заповедь призывает любить Господа Бога всем сердцем и всем помышлением, а можно ли любить Того, в существовании Которого сомневаешься? В начале 50-х годов я уже не сомневалась не только в существовании Бога, но и в Его бóльшей реальности, чем реальность мира. Но можно ли было идти в церковь, в необходимости которой не было уверенности, и не сказать на исповеди об этих сомнениях? Конечно, нет, но и понимание этого приходило постепенно.

Теперь я читала Евангелие уже с большим вниманием и пониманием. Вероятно, посещения церкви имели свое благотворное влияние, даже если не все было сразу осознано. Многие откладывались в подсознании. Необходимость установленной Господом Церкви, несущей Таинства, стала все более проясняться. Но какая церковь? Они, увы, разделились, и каждая считает себя истинной. По крещению я принадлежала к Православной Церкви, как ее называют в просторечии, поскольку почти 1000 лет тому назад единая Церковь носила название и Православной, и Вселенской, и Апостольской, и при разделении каждая из них сохранила эти наименования. Но, так или иначе, я принадлежала к той Церкви, в которой была крещена, и мне даже в голову не приходила мысль, что, поскольку веру я обрела под руководством Гуардини, а он был не только университетским профессором, но и прелатом Католической Церкви, я должна была бы склониться именно к ней. В своих лекциях Гуардини не затрагивал проблемы разделения церквей и разъяснял слушателям самую суть христианства. На его лекции ходили люди разных веро-

исповеданий. Также и при нашей первой встрече он ни слова не сказал об этом вопросе. Для меня было характерно, по какому поводу я попросила его о личной встрече: конечно, когда я первый раз не была с ним согласна. В том семестре он читал курс о Достоевском. Провозглашение Достоевским русского народа «народом-богоносцем», то есть провозглашение существования в христианстве «избранного народа», «юдаизм в христианстве», как говорил Бердяев, Гуардини оценил, по моему мнению, слишком мягко. Кстати, вышеприведенного высказывания Бердяева я тогда еще не знала, но интуитивно чувствовала опасность таких утверждений. Гуардини принял меня, и мы говорили на эту тему. Он сказал, что возвеличивание своего народа было присуще многим, возьмем того же Питлера. Я возразила, что обожествление своего народа внутри христианства более тонкая ересь, чем обожествление такового вне христианства. И Гуардини со мной согласился. Он слушал собеседницу намного младшую и куда как менее умудренную, чем он, и даже согласился с ее доводами, не считая, что унижает себя. На самом деле только очень значительный человек будет говорить с каждым как с равным в человеческом достоинстве собеседником и согласится с ним, если увидит, что он прав в том или другом отдельно взятом вопросе. Как уже упоминалось, о проблемах Церкви тогда не было сказано ни слова.

Однако я начала разрешать для себя эту проблему. Я не могла принадлежать какой-либо Церкви лишь по традиции или из-за того, что у меня именно такие национальные корни. Христианство для всех людей. «Итак, идите, научите все народы» (Матфей, 28, 19). Сам Иисус Христос по Своей человеческой природе не принадлежал ни к одному народу, принявшему христианство. Еврейский народ Его пока не принял, хотя это еще совершится: Церковь должна быть одна для всех, если Сам Господь основал ее. Вопрос был в том, какая ее часть в разделении может с правом претеидовать на то, что именно она несет в себе основные ценности Вселенской Церкви, основанной Господом. Я думала, что если приду к убеждению, что это и есть Православная Церковь, то внешне для меня ничего не изменится, а на самом деле изменится все: я буду принадлежать к Церкви не формально, а по убеждению, что это и есть Церковь, основанная Спасителем. Я начала читать православную литературу о Церкви. Конечно, очень обширной литературы у меня тогда под рукой не было. Но меня потрясло, что в учебнике по закону Божию

в той русской епархиальной гимназии, где я тогда преподавала историю, глава о Церкви начиналась обкарнанной цитатой из Евангелия, а учебник этот был копией такового еще из дореволюционного времени. Известная цитата гласит: «Я говорю тебе, ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матфей, 16, 18). В учебнике же стояло: «создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Но в общем аргументация русских православных сводилась к тому, что Церковь была основана не на личности Петра, а на той вере, которую он перед тем высказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Однако независимо от проблематики отделения веры от личности-носителя этой веры получается, что повсюду, где есть вера в Иисуса Христа как Сына Божия, есть и истинная Церковь. Некоторые лютеране так и верят, говорят, что разделение христиан лишь внешнее, земное, а там, где есть вера в Иисуса Христа как Сына Божия, там и действует истинная Церковь. Это логичный взгляд, и в каком-то смысле, может быть это и так, но все-таки тогда Церковь действует не везде в полную силу. А зачем дышать одним легким, если есть возможность дышать двумя? Но Православная Церковь с вышеуказанным толкованием не согласна. Она считает только себя истинной. А я никак не могла найти критерия этой единственной истинности. Мне говорили, чтобы я читала отцов Церкви. Но ведь и их писания в этом пункте можно толковать по-разному. Значительно позже, когда мой выбор уже давно был сделан, я познакомилась с книгой Волконского «Католичество и священное предание Востока», Париж, 1933. Там приводится много цитат из отцов церкви в пользу преемника апостола Петра как главы церкви. Кроме того, и мне не были доступны все творения отцов Церкви, хотя я могла читать на двух европейских языках (но не на греческом языке) и была интеллигентным человеком. Но ведь Иисус Христос обращался не к ученым книжникам Своего времени, а говорил с простыми рыбаками и их избрал Своими апостолами. Мне представлялся какой-нибудь простой малаец или китаец, уверовавший в Иисуса Христа и задавший себе вопрос: где же Вселенская Церковь? Ведь и теперь Господь зовет к Себе всех людей, а не только ученых богословов. Мне думалось, что Господь дал ясный знак, понятный и самым обыкновенным, простым людям. И таким знаком было: там, где распяли апостола Петра, там, где его могила, там, где его преемник.

Чтобы не подойти слишком легко к проблеме Церкви, я начала

даже читать Лютера. Но отсутствие логики в его рассуждениях побудило меня скоро оставить это чтение. Разум нам тоже дал Господь. Мы многого не можем понять нашим земным разумом, но то, что лежит в рамках нашего понимания, должно соответствовать элементарной логике. Лютер, например, возмущается, что только папа имеет право созывать собор и на него приезжают лишь епископы. Каждый христианин должен иметь это право. Но если бы я, например, захотела созвать собор, то кто должен был бы на него приехать? Все христиане мира? А как практически сие устроить? И многое в том же духе можно встретить у Лютера; я весьма сомневаюсь, что современные лютеране читали Лютера. Один православный священник сказал мне, что какие-то подробности в литургии у католиков (вероятно, западных) неправильны, я уже не помню, в чем было дело конкретно. Но какой у него был критерий для сравнения? Откуда может быть у отдельного человека, даже священника, такой критерий? Он просто верит той Церкви, которой принадлежит, что является его полным правом. Но ведь я сомневалась, что вся полнота Церкви именно в Русской Православной, хотя, конечно, в ней благодать, но вся ли полнота? А откуда еще мог взяться критерий? Церковь сама решает, каким должен быть обряд, чтобы быть правильным, и сначала надо определить, где Вселенская Церковь, а затем уж доверять ей, доверять, что если у нее и возникнут отклонения, то она сама их и выправит, поскольку она руководима Духом Святым.

Отмечу здесь, что эмоционально меня не тянуло к Католической Церкви. Хотя я росла в атеистическом государстве, в атмосфере гонения на религию, я все же до какой-то степени впитала в себя предубеждения по отношению к Католической Церкви, которые встречались в классической литературе и, так сказать, витали в воздухе России. Но я не могла переступить через высказывание Иисуса Христа об основании Церкви, а Бога надо слушаться больше, чем людей. Мой путь был, так сказать, доказательством от противного: я совсем не читала католической литературы и не разговаривала с католическими священниками, за исключением одного короткого разговора, когда мое решение уже созрело. Я все пыталась выяснить проблему поисками православной апологетики, но она меня не убедила.

Итак вопрос для меня был решен, но я тянула с исполнением, думала о матери, как примет она, хотя она ни в коем случае не была

фанатичной. Тяга к причастию преодолела все колебания. В Зарубежной Православной Церкви тогда причащались редко, самое большое два раза в год. Часто священник выходил с Чашей и словами «Со страхом Божиим и верою приступите», но никто не приступал, и он снова уходил в алтарь. Я же ясно чувствовала, что человеку, а в частности мне, необходимо частое причащение как поддержка во всех трудностях и борениях жизни. В наше время и в Русской Православной Церкви раздаются голоса о необходимости частого причащения, и благодаря общей исповеди это становится возможным. И на Западе прежде причащались редко, о более частом причащении напомнил папа Пий X. Конечно, всем можно злоупотреблять, в том числе и более частым причащением, но думается, что в наше очень трудное время секуляризации христианам необходимо частое причащение, без которого трудно противостоять давлению окружающего мира.

4 апреля 1953 года я присоединилась к Вселенской Церкви в приходе восточного обряда, настоятелем которой был о. Карл Отт. Здесь следует сказать несколько слов о восточном обряде. Некоторые православные называют его по недоразумению «обманом». Но ведь во Вселенской Церкви существует целый ряд разных обрядов. Дело ведь не в обряде, а в самой сущности литургии, основные части которой остаются неизменными. Больше 1000 лет Церковь была едина, а обряды в ее западной и восточной частях несколько отличались друг от друга. Как я уже упоминала, Владимир Соловьев, страстный поборник воссоединения распавшейся Церкви, настаивал на том, что Российская Церковь, если она воссоединится со Вселенской Церковью, конечно, не должна быть латинизирована, в ней следует сохранить ее обряд и ее традиции.

В одну из моих встреч с профессором Гуардини я сказала ему о своем приведенном в исполнение решении. К моему удивлению, он очень обрадовался, хотя прежде не было даже тени намека на то, что он приветствовал бы такое решение.

Но он предупредил меня, что у неофитов потом часто наступают кризисы в их отношении к Церкви. Сначала человек полон радости, но потом наступают будни, недостатки и изъяны в человеческой натуре Церкви становятся виднее, и так возникают сомнения. Я сказала ему, что я хорошо вижу человеческие слабости и недостатки внутри Церкви и что я сделала этот шаг не с восторгом, не полная иллюзий, а как акт повиновения Господу. Он ответил, что, возмож-

но, у меня и не будет такого кризиса. Я продолжала: «Если понимаешь, что Церковь — это тоже и я сама...», он перебил меня с убеждением: «Да, вы вполне можете сказать: я — Церковь». Вскоре Господь направил меня туда, где в те времена нелегко было быть католиком. И забота о том, чтобы достойно представлять свою Церковь перед людьми, настроенными против нее полностью, заслонила побуждение критиковать действия священства и иерархии.

Тем временем я все еще преподавала в русской гимназии, считавшейся епархиальной. Мне казалось, что епископ Александр, захвативший иногда в гимназию, поговорит со мной, и была готова к разговору. Но он не выразил такого желания. Учитель закона Божия о. Георгий, милый человек, когда-то сражавшийся в Белой армии, перестал сначала со мной здороваться, но ему это скоро надоело, и он стал прежним. Вообще, я потом с удивлением замечала, что православные зачастую не понимают бесед на религиозные темы, особенно с инославными. Они полны подозрительности (что само по себе уже грех) и в каждом желании просто поговорить усматривают хитрые попытки прозелитизма. Я очень склонна к философским и религиозным рассуждениям без малейшей цели кого-то куда-то «совратить», и меня всегда поражала болезненная подозрительность русских православных. Что это? Комплекс неполноценности? Но с какой стати? Неуверенность в себе? Но отчего?

Мое материальное положение продолжало оставаться почти нищенским. Уже при моем первом посещении Гуардини он, видимо, заметил скромность моей одежды: в течение многих лет это были старые американские вещи, присылавшиеся в Германию в рамках гуманитарной помощи. Конечно, я ни словом не пожаловалась. Но неожиданно для меня он вдруг перевел мне гонорар за какой-то свой доклад. Я была поражена и смущена, позвонила ему, и он сказал, что этот доклад относится к тем, за которые он никогда не берет себе гонорара. Впоследствии прислал письмо, что просит принимать его помощь, время от времени он несколько раз мне так помогал. Главным подарком при моем первом посещении Гуардини были его книги. Он много написал и подарил по экземпляру почти всех своих книг. Я была в восторге, и они потом хоть отчасти заменили мне живое слово его лекций и проповедей. Что касается до его гонораров, как-то я услышала от одного священника слова возмущения, мол, Гуардини потребовал очень высокий гонорар, выступая перед Союзом промышленников. Я сказала этому священнику,

что Гуардини раздает свои гонорары бедным студентам и молодым ученым, и почему бы богатым промышленникам не заплатить приличный гонорар? Это было еще одним напоминанием: нельзя судить и осуждать по внешнему виду, не зная истинного положения вещей.

Когда я получила первое прилично оплачиваемое место в Марбурге, я, конечно, сообщила об этом Гуардини: помощь, предназначенная мне, должна была теперь пойти другим нуждавшимся.

Часть четвертая

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Марбург

Летом 1953 года профессор славистики Марбургского университета Альфред Раммельмейер пригласил меня в качестве лектора русского языка в свой университет. Я немного изучала славистику, но даже не сдала по ней экзамена, лингвистом я не была. Но в Германии доктор (кандидат) наук еще не имеет права стать доцентом, он может быть либо ассистентом, либо лектором, то есть преподавателем какого-либо языка. Предлагалось жалование в 500 марок, по тому времени это была приличная сумма (в конце этого века прожить на нее было бы уже невозможно). Несмотря на то, что это предложение давало мне наконец некоторую материальную основу, меня оно не слишком обрадовало, скорее огорчило, что понимала только моя приятельница Ингрид. Мне предстояло покинуть Мюнхен и лишиться лекций и проповедей Гуардини, которые, как я думала, были мне еще нужны как руководство в более глубоком понимании христианства. Но отказаться было бы безответственно: на моем попечении была мама, ведь помощь беженцам должна была когда-нибудь прекратиться. Но полностью переселяться в Марбург мне не хотелось. Временно я устроила маму в дом для престарелых в прекрасном месте, около обширного Английского сада, зеленых легких Мюнхена. Дом этот был построен церковной благотворительной организацией «Каритас» специально для пожилых беженцев всех национальностей и вероисповеданий. Там были и русские, и поляки, жившие в России и говорившие по-русски. У моей матери было обещество, а платить за нее я должна была лишь 100 марок в месяц.

Марбург лежал среди холмов, утопал в зелени и жил тогда преимущественно университетом, старинное здание которого доминировало над городом. Конечно, это здание уже не могло вместить все

факультеты и все отделения, и они расползлись по более простеньким, но зачастую не менее старинным зданиям. В славянском семинаре скрипели полы, иногда плохо закрывались двери, по словам шефа семинара, его не утешало сознание, что эту дверь, может быть, открывал еще Ломоносов: последний учился в Марбургском университете.

Этот самый шеф, профессор Раммельмейер, был человеком необычной судьбы и полный комплексов, возникших, вероятно, в результате этой судьбы. Его отец был, если можно так выразиться, настоящий немец, имевший в России до Первой мировой войны торговое дело; он подолгу жил в России и женился там на русской. Их единственный сын — будущий профессор Раммельмейер — родился в Москве. Во время войны 1914—1918 годов они были интернированы как немецкие граждане, затем жили в советской России еще до 1925 года, когда им разрешили выехать в Германию. Будущему профессору было тогда 14 лет. Когда мы познакомились, отца его уже давно не было в живых, а мать жила с ним, но, прожив в Германии почти 30 лет, так и не овладела немецком языком; зубной врач, пользовавший и семью Раммельмейер, как-то сказал мне: «Приходите вместе со старой госпожой Раммельмейер, чтобы переводить: откройте рот, закройте рот». Ее сын, владевший, конечно, в совершенстве и русским, и немецким языками, стыдился своей матери и подчеркивал свою немецкость. Будучи крещеным в лютеранстве, он в университете наряду со славистикой изучал лютеранское богословие. К православным он относился не очень приветливо, а католиков и вовсе ненавидел. Меня об этом предупреждали еще в Мюнхене, но я не видела необходимости предупреждать его о своем католичестве; ни в одном опроснике не было, конечно, вопроса о вероисповедании, то было личным делом каждого гражданина.

Семинар был тогда немногочисленным, кафедра славистики только создавалась. Кроме Раммельмейера, было еще двое: молодой немец, выучивший многие славянские языки и преподававший тогда сербско-хорватский, и я, лектор русского языка; значительно позже к нам присоединился окончивший Варшавский университет лектор польского и украинского языков, западный украинец Гурбач, полиглот славянских языков, хорошо говоривший по-русски. Пока же вести занятия нам помогала студентка старших семестров Татьяна, дочь русского казака и чешки, также хорошо говорившая по-русски и православная. Она и была первая, спросившая меня,

православная ли я, и, узнав, что я присоединилась к Католической Церкви, ахнула. Она стала рассказывать мне, что моя предшественница, немка, была конвертиткой из протестантизма в католичество, и Раммельмейер устраивал ей скандалы, бывали страшные сцены, она впадала в истерику, в общем, создавалась невыносимая атмосфера. Сочувствовал мне и часто заходивший в семинар Татьяна знакомый, доктор истории, протестант. Татьяна же и разболтала о моей конфессиональной принадлежности, к чему Раммельмейер отнесся поначалу нормально, но потом он как-то пригласил всех трех сотрудников, включая и Татьяну, к себе послушать сначала музыку, а потом поговорить. И хотя все владел русским языком (жена Раммельмейера была балтийской немкой), сам профессор настойчиво говорил по-немецки, что было скучно его матери, не владевшей языком. Она под села ко мне, и мы начали тихо разговаривать между собой по-русски. Как мне сказала потом Татьяна, профессора это нервировало. И вот он начал «подкусывать» католиков. Заговорил о вдове недавно скоропостижно скончавшегося профессора англистики, которая была балтийкой и конвертиткой из протестантизма, мол, она была нормальной женщиной, но, став католичкой, теперь какая-то странная, почти ненормальная. Потом они начали перебирать каких-то других католиков, и все в этом роде. Конечно, это было неприлично, но меня не очень трогало. Впоследствии Раммельмейер сказал Степуну, что ему трудно выносить мою уверенность в себе. Вероятно, эта уверенность и защищала меня. И скорее мне было внутренне смешно, чем обидно. Он же унижал сам себя. Но потом Раммельмейер в очень дурном тоне стал издеваться над почитанием Божией Матери, и тут я должна была возразить. Другого ничего не оставалось. Ситуация обострилась, и я очень хорошо понимала, как должна была поступить: разрыдаться так же, как и моя предшественница. Тогда он начал бы меня утешать, выказал бы рыцарство и был бы удовлетворен. Но мне претило устраивать театральные представления, и потому я не прибегла к этому методу. Понемногу разговор стих, мы распрощались и разошлись. На другой день Татьяна с раскаянием говорила мне: «Я должна была вас поддержать, мы, православные, тоже почитаем Божию Матерь, но ведь мне же у него придется еще сдавать экзамен, я боялась». Пришел и историк, доктор Фрице. Я сказала им, что пойду к Раммельмейеру объясняться: вероисповедание и политические взгляды являются личным делом каждого человека (наш шеф был левова-

тым, а я скорее консервативно-либеральной). Все уговаривали меня этого не делать, предсказывали, что я потеряю место, которое мне так необходимо. Но я не считала нужным бояться. Уволить самолично он меня не мог, назначало и увольняло Министерство просвещения, а он уже успел похвалить мое преподавание (хотя преподавать мне еще приходилось учиться: не так просто учить родному языку иностранцев, многое, что кажется само собой разумеющимся, другим надо долго и терпеливо объяснять — это не только грамматика, это и структура языка. Но учить других я училась охотно).

Итак, я пошла в кабинет к Раммельмейеру и спокойно сказала ему то, что считала нужным. Он вяло извинялся за этот вечер, и я предложила его забыть, а на будущее договориться о взаимном уважении веры и взглядов другого. Он дал слово и сдержал его. О моем увольнении, конечно, не было и речи. Не надо бояться: таково было правило, которое срабатывало и в несравненно более опасных ситуациях.

Первое время в Марбурге мне было очень тоскливо, я бы даже сказала, что впала в уныние. Мне действительно очень не хватало направляющего слова Гуардини. В церкви мне пришлось привыкать к латинскому обряду. Священник, окормлявший студентов, был глубоко верующим и, конечно, образованным, кроме того, вполне симпатичным, так что в этом отношении все складывалось неплохо. Потом я познакомилась с весьма равнодушным ко всему священником из главной католической церкви Марбурга и поняла, как следовало ценить о. Коха.

И все же мое уныние не проходило. Стоял серый, промозглый ноябрь, и эта унылая погода давила дополнительно. Как-то я шла домой из церкви после воскресной службы, был такой же неуютный, тоскливый ноябрьский день. Даже причастие не смогло меня подбодрить, оставалось все то же давящее настроение. И вдруг я осязаемо почувствовала справа от себя... Господа. Меня охватило счастье, такое счастье, какого на Земле не бывает. Это был лишь один момент, доля секунды, но уныние исчезло, серенький, тусклый день уже не давил, ко мне вернулась бодрость. И это состояние меня больше не покидало.

Жизнь в Марбурге вошла в свою колею. О. Кох вел богословский кружок, который я тоже посещала. Кроме того, окончив университет слишком быстро, я должна была продолжать свое обра-

зование. Марбург — по преимуществу протестантский город, но при богословском факультете было маленькое католическое отделение, и я слушала курсы богословия, а также некоторые лекции по философии и истории. Русскую историю читал балтийский немец Георг фон Раух, родившийся во Пскове и прекрасно говоривший по-русски. Как оказалось, еще до революции гувернанткой в их семье была Берта Федоровна Эман, та самая, которая во Пскове ходила в немецкую комендатуру и спрашивала относительно евреев.

Мир тесен. Однажды я шла по улице и вдруг увидела, как машет руками и бежит ко мне фон Раух. Еще издали он закричал: «Знаете, от кого я передам вам привет? От Берты Федоровны Эман!» Оказалось, что она живет совсем недалеко, в небольшом городке Арользене. Я поехала туда и застала только двух женщин: Берту Федоровну и ее дочь. Александр Иванович, муж Б. Ф., скончался во время бегства. А их дочь, моя тетка, врач, еще во Пскове вышла замуж за русского врача, но его уже тоже не было в живых: он умер от рака легких. Конечно, он был курильщиком. На нервной почве у Веры появились какие-то красные пятна на коже. Сначала это казалось пустяком, но потом развилось в страшную болезнь: по-русски эту болезнь называют «волчанка». Ее привезли в марбургскую университетскую клинику, но как врачи ни старались, они не могли помочь. Воспаление распространялось все дальше, по всей коже, зараженные части уже не могли дышать, и конец был предreshен. Незадолго до смерти, когда после визита к ней я уже хотела уходить, она вдруг попросила меня остаться еще немного и начала слезно молить мать, находившуюся все время при ней, чтобы та принесла ее ребенка (детей у них не было). «Мне бы хоть одним глазом взглянуть на моего ребенка», — молила она. Страшно было слушать эту тяжело умирающую женщину, хотевшую видеть своего ребенка. Я отвела ее мать в сторону и спросила: «Она делала аборт?» Та ответила, что делала. «Я не знала, — сказала верующая мать, — она забеременела незадолго до бегства и там же, где работала, в псковской больнице, сделала аборт». Всех женщин, намеревающихся убить своего ребенка, следовало бы привести к этой умиравшей, звавшей того ребенка, которого она сама же убила. Я думала и о том, что эта женщина не умерла бы, будь у нее ребенок: потребность жить ради него придавало бы ей силы преодолеть болезнь. А так ей не для кого было жить. Она скончалась через год после смерти мужа ровно в день его смерти.

Среди протестантов господствовал еще авторитет тогда уже покойного знаменитого «модернизатора» христианства Бультмана. Я решила познакомиться с его трудами, но не смогла дочитать его главного труда до конца. Бультман считал, что христианство не должно противоречить достижениям науки и для этого следует не проверить те или иные высказывания науки, а подогнать христианство к последним научным выводам. Но, увы, он занялся неблагодарным трудом: он пытался подогнать христианство под науку... XIX века. Это обычное явление: в то время как передовые ученые в своих исследованиях давно уже ушли вперед, дилетанты донашивают обноски научной мысли прошедших лет. Я сразу заметила, насколько отсталыми были понятия Бультмана о науке, и мне стало скучно его читать. Можно сделать только один вывод: не следует пытаться исказить Откровение Господа, имеющее вечное значение, подгонять его под преходящие достижения земной науки. Когда-то казалось, что открытие Коперника о том, что не Земля, а Солнце находится в центре нашей системы, подрывает основы христианского мировоззрения, и только постепенно стало ясно, что христианское Откровение не имеет никакого отношения к структуре Солнечной системы. Но как долго открытие Коперника считалось незыблемой истиной. А теперь? Теперь мы знаем то, что Библия знала давно: время и пространство относительны, абсолютного движения нет, и с точки зрения истинной науки совершенно безразлично, что именно условно берется за неподвижную точку, от которой отсчитывается движение других тел. За такую точку отсчета можно взять и Землю, научную истину это не затронет, но только непрактично, все астрономические расчеты крайне осложнятся. Вот и все. В XIX веке совершилось много научных открытий, вскруживших головы ученых: им казалось, что человек может постигнуть все тайны мира. К XIX веку относится и тезис советского марксизма, что мир еще не познан до конца, но до конца познаваем. В наше время наука знает, что есть принципиальные тайны мира, которые земной ум человека никогда не познает. Так, например, физики не знают, что такое субстанция материи, которая, как известно, может целиком переходить в энергию. Они могут написать множество формул функционирования материи, но определить ее субстанцию не могут. Биологи давно знают, что для развития видов живых существ путем естественного отбора потребовалось бы во много раз больше времени, чем время существования Земли, определяемое

геологами. Как-то я слышала доклад одного биолога, стоявшего еще на старых позициях; он говорил, что происхождение видов можно объяснить научно естественным отбором и случаем, а на мой вопрос, как он научно определяет случай, он ответил, что не может дать тому научного определения. Но как же можно научно определять что-либо при помощи понятия, у которого нет научно-го определения? Степун называл случай атеистическим переводом чуда. Здесь я могу, конечно, дать только краткие и популярные указания на то, что стало ясно настоящим ученым: как бы глубоко ни проникала наука в глубь строения мира, всегда останутся тайны, которые не только не познаны, но и принципиально не познаваемы. Современные компьютерщики хотят стать «богами» и сделать человека «вечным», создав... копии его мозга. Посмотрим, какими монстрами они «осчастливят» человечество.

Были в Марбурге и другие протестантские направления более глубоко верующих и отрицательно относившихся к Бульману, но в меньшинстве.

В этот период в Западной Германии было много беженцев из ГДР, и среди них знающие философию, социологию, историю и успевшие познакомиться с советским марксизмом. Они организовали общество, сотрудничавшее с издательством «Пустет», Мюнхен — Зальцбург, для того чтобы дать всестороннюю критику советского марксизма. Указанное издательство выпустило целую серию книг, в которых критиковались утверждения советского марксизма под разными углами зрения, с позиций разных наук. В этой серии вышли и мои книги: переработанная о Герцене и моя вторая диссертация «Свобода и необходимость в истории. К критике исторического материализма». Это общество организовывало доклады по всей Германии, Австрии и немецким частям Швейцарии и Италии (Южный Тироль), то есть в немецкоязычных землях. Я тоже принимала участие в этом предприятии. Мы перебрасывали друг другу доклады, устраивали симпозиумы и ежегодно встречались в Западном Берлине, куда отправлялись только на самолете и где делали доклады друг перед другом. Тогда расширились и мои знания по современной физике и биологии. До построения стены в Западный Берлин тайком пробирались люди из Восточной Германии. Некоторые из них, узнав, что я выросла в СССР, подходили ко мне с личными вопросами: например, их сын или дочь хочет поступить в высшее учебное заведение, но для этого ему (ей) надо вступить в молодеж-

ный союз и при этом заявить себя атеистом. Он (она) — верующий человек. Как можно было ответить на этот вопрос? Я лично не стояла перед такой проблемой, когда я поступала в университет, гонялись за специалистами и ценились отличники, а не комсомольцы. В ГДР было иначе. Я заверяла, что никто не будет вправе их осудить, если сын или дочь перешагнет через этот порог, но правильнее было бы этого не делать. «Но тогда в ГДР не будет католиков с высшим образованием!» Что на это скажешь? Поступать следует всегда по совести, а результат предоставлять Господу. Но как это трудно живым, конкретным людям.

Когда построили стену в Берлине, мы стали встречаться в других городах: теперь уже никто не мог пробраться к нам из ГДР. Но постепенно хрущевская разрядка понизила интерес к просветительству по поводу как теории, так и практики коммунизма, да и наши ряды поредели отчасти из-за ухода из жизни некоторых соратников, отчасти от занятости других.

Но тогда я объездила всю Германию, отчасти Австрию и Южный Тироль. В каких только больших и малых городах и даже местечках я не читала доклады! У меня были три вариации: для интеллигенции, включая иногда и духовенство, затем для среднего уровня слушателей и для простых людей, хотя говорила я всегда свободно и все три вариации записаны мною не были, я их держала в памяти. Конечно, не буквально, лишь концептуально. Темами были преимущественно критика советского марксизма и положение человека в тоталитарном режиме. На последнюю тему я написала позже статью для сборника «Grenzprobleme des Planbens» в швейцарском издательстве «Benzinges» в 1967 году. В моем собственном переводе она была опубликована по-русски в «Новом журнале». Привожу ее в приложении для читателей данной книги*.

Мировоззренческая энциклопедия на русском языке

Так много разъезжать я могла, поскольку в немецких университетах почти полгода каникулы, для того чтобы студенты могли заниматься самостоятельно. Свободны от занятий — март, апрель, август, сентябрь, октябрь плюс еще 2 недели рождественских каникул. Каждые семестровые и рождественские каникулы я ездила в Мюнхен, чтобы провести время с мамой. У меня была договорен-

* См. приложение I.

ность с хозяйкой той квартиры, где я жила последнее время. Пока я была в Марбурге, в этой комнате жил ее маленький сын, а я платила символическую плату, и, когда я приезжала, мальчик спал в небольшой комнатке, имевшейся в квартире, а я поселялась снова в той же комнате и оплачивала ее полностью.

Зальцбург — очень красивый австрийский городок, родина Моцарта, столица ежегодных оперных фестивалей и грандиозных драматургических постановок под открытым небом. Эти постановки носили характер мистерий, так как содержали глубокие христианские мотивы и производили огромное впечатление. В этом же Зальцбурге в августе проводились так называемые университетские недели, куда съезжались крупные мыслители и где можно было послушать интересные доклады.

Машины у меня тогда, конечно, еще не было, и я моталась на поездах, которые постоянно опаздывали. На немцев клеветали, утверждая, что они очень точны; может быть, когда-то так и было... Раздраженная постоянными опозданиями, которые иногда даже срывали пересадку на следующий поезд, я как-то спросила кондуктора, отчего поезд так часто опаздывает. Он с невозмутимым видом дал мне классический ответ: «Весной и осенью — из-за туманов, зимой — из-за снега, а летом — из-за ремонта путей». Возразить было нечего.

В августе 1956 года я снова поехала в Зальцбург на упомянутые доклады. Лето в том году было холодным, дождливым, ветреным. Все эти годы я нередко болела ангиной, но большей частью она проходила легко. На сей раз в Зальцбурге я почувствовала себя совершенно больной: был жар, болело горло. Я решила, что это снова ангина и мне надо ехать домой, в Мюнхен. Поезд не был переполнен, и, хотя мне было неважно, доехала я благополучно. В квартире моей хозяйки было пусто: со своим десятилетним сыном она уехала в отпуск. Телефона в квартире не было (сейчас это кажется странным, но в 1956 году в Мюнхене у многих еще не было телефона). Поэтому с вокзала я отправила открытки маме и Ингрид: я в Мюнхене, нездорова. На другой день они обе приехали. Мама и жарила котлет и принесла всякой еды, а моя приятельница — коробку пирожных. Чувствовала я себя почти сносно, но мама пошла за врачом, многие врачи были в отпусках, мама привела какого-то незнакомого. Такого равнодушного врача я еще не встречала. Я сказала ему, что у меня ангина, он заглянул в горло и сказал: «Налет уже со-

шел, краснота еще есть», подтвердив тем самым косвенно, что это ангина. Затем он заявил, что лекарства не нужно, а я должна полоскать горло ромашкой и обкладывать распухшие гланды горячей картошкой или тряпками, опущенными в горячее растительное масло. На мои слова, что я живу одна и мне одной трудно заниматься таким обвязыванием, он не обратил внимания. Итак, я только полоскала ромашкой и думала, что этого будет достаточно. Уговорив маму и Ингрид, которая работала над своей диссертацией, не приезжать на другой день, так как дело идет на поправку, а еды у меня достаточно, я спокойно осталась дома.

Они уехали, и с приближением вечера час от часу мне становилось все хуже и хуже. Жар нарастал, а я обнаружила, что термометр куда-то задевался, и я не могла измерить температуру. Тем не менее я упорно сопротивлялась сознанию, что мне делается хуже: ведь налет уже сошел, осталась лишь краснота, так в чем же дело? Но постепенно я уже не могла игнорировать ухудшения. Жар интенсивно возрастал, в горле образовалась какая-то слизь, душившая меня, глотать стало так больно, что, кроме слюны, я ничего не могла проглотить. Кроме того, я заметила, что опухла левая сторона лица. Будучи профаном в медицине, подумала, не заражение ли это крови, поскольку слышала, что при ангине это бывает. Сделав из последних сил раствор ромашки в большом количестве, я легла в постель и поняла, что встать уже не смогу. Приподнимаясь, я выполаскивала душившую меня слизь, но настоя ромашки понемногу становилось все меньше, а встать хотя бы за водой я уже не могла. Жар начал давить на сердце, никогда, даже при жаре в 40°, я не ощущала давления на сердце. Я лежала в темноте, так как свет резал глаза, и смотрела на крестик, который на противоположной стенке повесил сын хозяйки и на котором фосфоресцирующими, светящимися в темноте буквами стояло: «Gott ist treu» (Бог верен). Настой кончался, давление на сердце душило меня все сильнее, но голова была ясная (я никогда в жизни не бредила и не теряла сознания). И тогда я обратилась к Божией Матери. Я сказала: «Матерь Божия, если Господь хочет, чтобы я умерла, то я готова, но если нет, то сделай что-нибудь Сама. Ты видишь, я уже больше ничего не могу». Сразу же после этих слов душившая меня слизь стала выходить через нос, жар, видимо, чуть-чуть спал, так как давление на сердце прекратилось. Вскоре я смогла уснуть. Ночью я просыпалась, снова засыпала, но мне становилось все лучше и лучше. Утром я могла встать и

даже заварить чай. Пришла мама и ужаснулась моему виду, а я уверяла ее, что жара у меня больше нет и вообще все в порядке. Тем не менее она пошла к врачу и в аптеку за термометром. Жар у меня все же оказался — 38,5°, в то время как мне по сравнению с ночным жаром казалось, что температуры нет вообще. Пришел врач, посмотрел в мое горло и... побледнел. Я первый раз видела, как врач бледнеет: «Ваше горло в ужасном состоянии», — сказал он. Я усмехнулась: «Сейчас ничего, а ночью я могла умереть». Он утвердительно кивнул головой. «Так что же произошло? Вы говорили, что ангина уже кончается». — «У вас была односторонняя ангина, она перекинулась на другую сторону и дала такой эффект». Как врач он должен был бы предвидеть такую возможность и предупредить о ней. «А почему опухло лицо?» — «Это невралгия на почве простуды».

Выздоровление пошло очень быстро, и скоро я даже смогла съездить на неделю в Италию на Адриатическое побережье: тогда Италия была очень дешевой страной.

С тех пор прошло 45 лет, за все это время у меня ни разу не было ангины.

В 1956 году я получила немецкое гражданство. Тогда для этого требовалось пребывание в стране не меньше 10 лет, отсутствие судимости, работа, обеспечивающая жизненный минимум, и знание языка. На последнем срывались многие эмигранты из России и Украины: языковые экзамены были довольно строгими. Меня не приглашали на такой экзамен: я окончила немецкий университет и преподавала в немецком университете. И стоило мне немецкое гражданство 50 марок (я знаю случаи, когда с претендентов на гражданство требовали до 5 тысяч марок).

Наша акция докладов с разъяснением сущности коммунизма продолжалась. Настрой ее (акции) был действительно антикоммунистический, не имевший никакого отношения к хоть сколько-нибудь отрицательному отношению к русскому народу как таковому. Активное участие в этом деле принимали беженцы из восточной зоны оккупации (ГДР тогда еще даже не было)... Они очень хорошо знали своих собственных коммунистов и не путали ни русский, ни немецкий народы с коммунизмом как таковым (даже Аденауэр всегда говорил: «Советский Союз», «Советы»; называть Советский Союз Россией начал впервые канцлер Гельмут Шмидт).

Но понемногу в отношениях между немцами начала расти и углубляться некая преграда. В Западной Германии срабатывало так

называемое «экономическое чудо», и, увлекшись своим неожиданно восстаивающимся благосостоянием, западные немцы в своем сознании списали восточных со счетов. Помнится, я как-то делала доклад в Любеке о положении человека в тоталитарном государстве. После доклада вместе со мной, как обычно, собралось несколько активных устроителей для продолжения разговора в более узком кругу и за бокалом вина. Одна из присутствовавших сказала: «Да, все это ужасно, но ведь это так далеко...» Сидевший рядом молодой человек ответил: «Пять километров». — «Что?» — воскликнула дама. «Да, — пояснил он, — от Любека до границы ГДР ровно пять километров, а там с некоторыми вариациями происходит то же самое». Наступило молчание, и западные немцы, жившие так близко от границы с Восточной Германией, кажется, впервые вспомнили о существовании своих сородичей на востоке.

«Экономическом чудом», которое для западных немцев все больше отводило на задний план их восточных соотечественников, Западная Германия обязана, собственно говоря... Советскому Союзу! Вначале в США был «план Моргентау», долженствовавший превратить Германию с ее ограниченными посевными площадями в сельскохозяйственную страну. Тяжелая индустрия должна была быть запрещена. Это обрекло бы западных немцев на голод и вымирание. Но когда началась «холодная война», США поняли, что их лучшим опорным пунктом в Европе является Германия. Так план Моргентау был заменен планом Маршалла, и в Германии начался экономический подъем. Конечно, немцы были обязаны и своему трудолюбию, и своей предприимчивости: они очень много работали.

Между тем 50-е годы оказались годами активной критики советского марксизма. В Риме в Institute Orientale (восточном институте) преподавал австрийский священник, член ордена Иисуса (иезуит) Густав Андрей Веттер, знавший прекрасно русский язык и проштудировавший советские книги по диалектическому и историческому материализму: «серый» курс Александрова «Диалектический материализм» и еще более «одноцветный» курс Константинова «Исторический материализм», многословный и бессодержательный. Но еще при Сталине предпринималась попытка отойти от его же совершенно примитивного изложения диалектики в «Кратком курсе». В 1948 году был основан журнал «Вопросы философии», где иногда появлялись более-менее содержательные статьи. О. Веттер изучал их с немецкой основательностью. Он систематизировал бессистем-

ные высказывания советских марксистов. Студенты записывали его лекции — он читал их, конечно, на итальянском языке, — а затем попросили разрешения издать их. Он проверил записки, и вскоре под изданием «Диалектический материализм» книга вышла в свет. Это было систематическое изложение предмета, и только в конце давалась принципиальная критика его содержания. Итальянские коммунисты не знали, где им прочесть об их собственной идеологии и советовали друг другу: «Возьми Веттера». Книга была переведена на немецкий язык и, так как ее заглавие — «Диалектический материализм» — не вызывало подозрения, проникала в Восточную Германию. Веттер написал потом более популярную книгу по диалектическому и историческому материализму с основательной критикой после каждой главы изложения. Она вышла в Германии форматом карманной книги. В нашей критике советского марксизма мы все пользовались, конечно, его книгами. Советские идеологи встали перед необходимостью отвечать. Между тем после смерти Сталина и «Вопросы философии» немного осмелели. Один из авторов этого журнала, Коблановский, определил, что сознание является нематериальным свойством материи. До сих пор одним из самых слабых мест диалектического материализма являлось определение сознания, говорилось, что это свойство или продукт материи, но является ли само сознание материальным или нет, не определялось. И вдруг было заявлено, что оно не материально. Каким образом материя может породить нечто нематериальное, не разъяснялось. Восточногерманский марксист Георг Клаус написал небольшую книжку с возражениями Веттеру под названием «Иезуиты, Бог, материя»; ее сразу же прозвали «Анти-Веттер» по аналогии с «Анти-Дюрингом» Энгельса. В этой книжке Клаус не только довольно примитивно возражал Веттеру, но и спорил с Коблановским. Клаус писал, что, назвав сознание нематериальным свойством материи, Коблановский нарушил материалистический монизм и снова ввел дуализм. Клаус был, конечно, прав. Прежде марксисты яростно отстаивали монизм (Плеханов хвалил Гегеля за монизм, хотя, по его мнению, это был ложный монизм, монизм абсолютного духа, но все же хорошо, что монизм). Теперь вводился дуализм, перевернутый вверх ногами. Не Господь, Который есть Дух, создал материальный мир, а материя создала сознание и тем самым духовный мир. Создание духа материей было, конечно, нелепостью, но дуализм действительно восстанавливался. Несмотря на возражения Клауса и других не-

мецких марксистов, советские марксисты остались при своем новом дуализме. А в 1956 году вышла первая апробированная книга по советскому марксизму, причем книга не какого-то отдельного автора, а целого коллектива Академии наук, где советские марксисты впервые попытались привести в систему свое собственное учение. Книга называлась «Основы марксистской философии». Эти «Основы» несколько раз модернизировались, отбрасывались до смешного примитивные примеры Энгельса, до известной границы вырабатывались достижения современной науки, даже теория относительности. К последнему принудил советских марксистов тоже автор из Восточной Германии — Роберт Гавеманн, крупный физик, который разгромил советский марксизм с точки зрения... физики. Особенно рьяно он напал на тезис советских марксистов о линейной бесконечности. Нужно отметить, что еще Гёгел говорил о линейной бесконечности как о «дурной бесконечности». Математика, собственно говоря, всегда знала, что параллельные линии сходятся в бесконечности, а функция тангенса из бесконечности перескакивает в нуль, так как космос закругляется. Но для советских марксистов это было слишком абстрактно. Однако физики начали рассчитывать диаметр космоса. Гавеманн смеялся над каким-то советским марксистом, спросившим его, правда ли, что космос круглый и физики могут рассчитать его диаметр. Гавеманн подтвердил. И тогда его собеседник наивно спросил: «А что же там, за этим шаром?» Он произвольно исходил из старого понятия абсолютного пространства, не понимая, что вне материи нет ни времени, ни пространства, чистое Ничто, из которого Бог когда-то сотворил мир. А ведь, как ни странно, их же кумир Ленин, написав в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» много ерунды, бросил одну фразу, о которой его верные последователи предпочитали не вспоминать, а именно: «Время и пространство — формы существования материи». Он ее не раскрыл, она, видимо, выскочила случайно и для него самого оказалась слишком сложной.

Но вот так выход за границы Советского Союза начал подтачивать основы диалектического и исторического материализма, как когда-то — после похода Наполеона и победы над ним — выход в Европу начал подтачивать принципы тогдашней российской государственности.

Роберта Гавеманна лишили университетской кафедры, ему было вообще запрещено читать лекции, его произведения, конечно, не

печатались в Восточной Германии, зато печатались в Западной и уже оттуда проникали в Восточную.

Профессор университета по философии в Майнце и одновременно богослов и католический прелат написал мне, что он хочет пробить в Министерстве просвещения (в Германии нет союзного Министерства просвещения, а каждая земля имеет свое, и они могут несколько варьировать общие правила) создание при его кафедре доцентуры, не зависящей от защиты второй диссертации, которой у меня еще не было, и пригласить меня на это место с тем, чтобы ознакомить студентов с развитием русского мышления и философии. Мне это было, конечно, интереснее, чем преподавание языка, тем более что Раммельмейер ревниво следил за тем, чтобы я ничего не говорила о литературе, а преподавала только язык. Но отказаться от занимаемого места я имела право только за полгода вперед, так что мне надо было знать заранее, удалось ли получить от министерства такое место в Майнце. Я просила сообщить мне, когда будет точно известно, что это место есть, и получила такое сообщение с дополнением, что я могу отказываться от места лектора в Марбургском университете. Я и отказалась. Раммельмейер сначала меня даже уговаривал не отказываться, потом он договорился с другой русской, заканчивавшей университет, занять мое место. И вдруг приходит письмо из Майнца: с предполагаемой доцентурой ничего не вышло. Конечно, для меня это было шоком, я не понимала, как профессор-священник мог так легкомысленно поступить: сообщить мне, что все в порядке и я могу отказываться от места, когда на самом деле ничего не было решено. Я спросила его, что же мне теперь делать, ведь он же ответствен за то, что я отказалась от места, и получила холодный лаконичный ответ, что он ничего сделать не может. Моя судьба его совершенно не интересовала.

Однако я тут же получила новое предложение, правда, уже не университетское. Находящееся во Фрейбурге известное в Германии издательство «Гердер» решило провести в жизнь смелый проект: напечатать мировоззренческую энциклопедию на русском языке. В энциклопедию должны были войти только те понятия, которые имеют мировоззренческое значение и превратно толкуются советскими идеологами. Для работы над такой энциклопедией они меня и пригласили. Оклад был не очень большой, но больше, чем зарплата лектора в Марбургском университете. Я согласилась, да и выхода у меня не было.

Первая стадия этой работы должна была заключаться в том, что нам предстояло переработать 50 томов Большой Советской Энциклопедии и выбрать те слова, которые должны были войти в будущую мировоззренческую энциклопедию.

С этой Большой энциклопедией был настоящий анекдот, еще когда я преподавала в Марбурге. Ее выписала библиотека славянского семинара, тома приходили постепенно, по мере выхода в свет. Первые пришли при жизни Сталина, там был, конечно, описанный в самых похвальных тонах Берия, а под именем Джугашвили стояло только: см. Сталин. Затем произошли радикальные перемены, и всем, даже заграничным, подписчикам, в том числе и в наш семинар, прислали новые листочки энциклопедии, где вместо Берия, изъятюго полностью, были наименования каких-то малоизвестных островков и речек; к листочкам была приложена инструкция, как ножницами или бритвой вырезать страницы о Берия и вклеить присланные. Хохот у нас стоял невероятный. Берия, конечно, не вырезали, а новые страницы вместе с инструкцией вложили туда же для назидания будущих поколений. Но вот с 40-м томом, где должен был быть Сталин, положение оказалось трудным.

Подготовку номенклатуры новой энциклопедии мы проводили в Мюнхене. Сотрудничал еще один священник восточного обряда, знавший русский язык о. Иоанн Гречель. Мне удалось получить квартиру в Мюнхене, и я взяла маму из старческого дома. Теперь мы жили вместе в квартире в новостройке, за которую пришлось заплатить хозяину стройки 3 тысячи марок — кредит, полученный мною от издательства, который я должна была отплачивать; однако средств хватало: мама получила небольшую пенсию, так как в Германии был издан закон, что работа в СССР военным беженцам защищает, и они имеют право на пенсию. И хотя мама в СССР не работала, но за несколько лет задним числом она получила за отца небольшую пенсию, так что у нее создался маленький денежный запас, который мы пока не трогали.

Итак, мы работали над энциклопедией, тома которой выходили в свет один за другим, кроме... 40-го! Как написать о Сталине, в СССР все еще думали и никак не могли придумать. Я уже хотела написать в редакцию энциклопедии и дать совет напечатать: «Сталин, см. Джугашвили». Но 40-й том наконец пришел. Нужно сказать, что о Сталине написали довольно ловко, недаром так долго думали.

Фестиваль в Вене

В 1959 году советская власть решила устроить ежегодный молодежный фестиваль не в Москве, как это было обычно, а в Вене. Австрия — нейтральная страна, но все же трудно понять, как советским властям могло прийти в голову устроить фестиваль в Вене: ведь прошло только три года после восстания в Венгрии, которое взбудоражило всю Европу...

Как мы все сочувствовали восставшим венграм, как желали им победы над коммунизмом! Как горько было слышать передававшиеся в прямом эфире непрерывные призывы SOS и знать, что на Западе никто и не думает прийти на помощь восставшим венграм: демаркационная линия Ялтинского раздела Европы ведь не была перейдена.

Когда началось восстание в Будапеште, мой хороший знакомый, русский немец-врач доктор Шульц, с помощью американцев снарядил грузовик с медикаментами и продовольствием и поехал через Австрию в Венгрию. Там, недалеко от австрийской границы, он передал все это восставшим венграм. Они поблагодарили, но сказали, чтоб он скорее возвращался в Австрию, здесь небезопасно. Все было так тихо, что Шульц даже заподозрил венгров в отрицательном отношении к себе как русскому, хотя и эмигранту-антикоммунисту. Но поскольку венгры нажимали, он повернул грузовик и поехал обратно в Австрию. Вскоре после того, как он пересек австрийскую границу, услышал по радио, что в то местечко, где он только что был, вошли советские танки; он понял, что восставшие венгры спасли ему жизнь.

В 1959 году многие тысячи венгерских беженцев уже разъехались по другим странам, но большинство их осело в Австрии; граница же, с венгерской стороны, была заграждена многократным барьером из толстой колючей проволоки.

Австрийская молодежь решила основательно подготовиться к этому фестивалю и показать наивным американцам, африканцам и азиатам настоящее лицо коммунизма. В то время в Австрии все — от левых социал-демократов до самых консервативных кругов — отрицали коммунизм, наглядно показавший в Венгрии, что он из себя представляет. Был создан молодежный центр, куда члены фестиваля могли зайти поговорить, ежедневно выходили в свет небольшие газетки на семи восточноевропейских языках, включая, конечно, и русский. Кроме главного молодежного центра, было организовано много небольших пунктов. До начала фестиваля спе-

циалисты, в том числе и я, читали лекции австрийской молодежи. - Во время фестиваля были организованы автобусные поездки к венгерской границе, и наивные латиноамериканцы с ужасом смотрели на высокую колючую проволоку.

Когда начался фестиваль, меня предостерегали от одиноких прогулок по берегу Дуная: там стоят советские суда, они экстерриториальны, если меня затащат на такое судно, австрийская полиция не сможет помочь. Ну что ж, по берегам Дуная можно было погулять в другой раз. Я бродила по Вене от одного филиала молодежного центра к другому, заходила, слушала разговоры.

Бывали забавные случаи. Так, я шла в один из филиалов и села в сторонке. Рядом советские представители беседовали с австрийцами, а переводчиком служил словак, говоривший на ломаном немецком и ломаном русском языках. Разговор зашел о популярном тогда романе Пастернака «Доктор Живаго», и один из советских объявил, что этот роман уже издан в Москве. Я вмешалась в разговор: «Как интересно, пришлите нам московское издание „Доктора Живаго“». Он вздрогнул, обернулся и сначала спросил: «А куда прислать?» Я: «Все равно, хотя бы на адрес этого молодежного центра». Он: «А я не хочу с вами разговаривать, вы слишком хорошо говорите по-русски». Это был классический ответ. Вместо удовольствия встретить в чужой стране соотечественницу или, во всяком случае, человека, свободно владеющего его родным языком, он испытывал страх. Им, советским, видимо, было строжайше запрещено разговаривать с русскими эмигрантами. Поэтому встречи были только случайными, короткими. Если «русские» сталкивались на улице и «своих» поблизости не было, то каждый охотно общался с соплеменником-иностраницем, но, как правило, советские люди ходили группами. Однажды несколько русских эмигрантов, и я в их числе, пошли в школу, где были размещены спортсмены из Союза. Сначала завязался нормальный разговор, советские спортсмены многим интересовались, но тут вокруг нас начала бегать какая-то женщина, бросая на нас недобрые взгляды. Потом она исчезла и вернулась с группой оравших и бранивших нас людей. Кричали они что попало, например: «Штраус — фашист», хотя в наших разговорах Штрауса никто не упоминал. Нам пришлось уйти.

Запомнился мне разговор с не очень молодым болгаринном, хорошо говорившим по-русски. Он сказал, что читал ряд философских книг, считающихся в соцстранах запрещенными, и грустно добавил:

«Хотя вы мне не поверите, ведь я — коммунист». Я ответила, что я верю ему, но, вероятно, он имел право читать эти книги, будучи коммунистом немалого ранга. Прощаясь, он вдруг произнес по-немецки начало «Лорелен» Гейне: «Я не знаю, почему я так печален...»

Австрийские коммунисты были весьма задеты антикоммунистической активностью австрийской молодежи; однажды они даже напали на продавщицу газет, начали рвать у нее из рук фестивальные газеты и уничтожать их. А какой-то негр-американец сфотографировал эту сцену. Тогда коммунисты напали на него, избили так, что он попал в больницу, разбили фотоаппарат, но... каким-то чудом не засветили пленку. Полиция ее проявила и смогла арестовать всех коммунистических хулиганов. А избитый ими негр... оказался американским коммунистом и, еще находясь в больнице, во всеуслышание заявил о своем выходе из компартии (у советских властей больше не было искушения устраивать фестиваль молодежи и студентов вне границ Советского Союза).

Но и в некоммунистическом мире все было далеко не безоблачно. Как-то на улице собралась небольшая группа австрийцев и иностранцев, владевших немецким языком, и мы мирно обменивались впечатлениями. Рядом со мной в этой группе стоял студент Венского университета из Южной Африки. Вездесущие фотографы снимали разные группы в надежде продать тут же свои фотографии. Когда такой фотограф направил на нашу группу свой аппарат, студент отскочил от меня как ошпаренный. После ухода фотографа он вернулся. Я с удивлением спросила его: «В чем дело?» Он ответил: «Но ведь эта фотография может попасть в Южную Африку, а я собираюсь туда вернуться, и вдруг на фотографии я рядом с белой дамой». Я удивилась: «Но ведь мы только стояли и разговаривали, в группе, среди бела дня!» Он: «Все равно, в Южной Африке этого было бы достаточно, чтобы возбудить против меня дело». Но это для Южной Африки уже прошлое...

Смерть матери

То, что у мамы развился рак, было замечено слишком поздно. Старческий рак развивается медленно и долго не дает о себе знать. Можно бы было заметить и раньше, но врачи ставили неправильный диагноз.

Интересуясь многим, я участвовала в обществе «Pax Christi» («Мир Христов»), поставившим себе, между прочим, задачу помо-

гать афро-азиатским студентам, начавшим приезжать в Германию учиться. В конце 50-х годов началось движение отпада азиатских и африканских колоний от их суверенов, и многие молодые азиаты и африканцы, учившиеся прежде в университетах Англии или Франции, принимали решение учиться в стране не имевшей колоний, то есть в Германии; кроме того, они слышали о немецком экономическом чуде, и их представления об этом феномене были часто весьма фантастическими. Иногда отцы продавали свои участки земли, чтобы купить сыну билет в Германию с трогательной надеждой, что лишь только чада доберутся до богатой страны, там уж их примут и полностью обеспечат. А в Германии никто вообще не был готов к приему хлынувших вдруг в страну чернокожих абитуриентов. И даже когда этот вопрос бюрократически отрегулировали, стипендии этим студентам начали платить только после четырех семестров и сдачи первых экзаменов. Но как они могли того добиться? Ведь работать и одновременно учиться в университете и учить совсем незнакомый язык (английский или французский они знали, так как заканчивали гимназии на этих языках) было фактически невозможно.

Наше небольшое общество могло помочь лишь немногим из этих студентов, но лучше немногим, чем никому (средства мы получали от пожертвований богатых немцев). И одним из первых, кого мы поддержали, был камерунец, изучавший медицину и приехавший в Германию уже на клинические семестры, поскольку здесь тогда у студентов было значительно больше клинической практики, чем во Франции. Кстати, интересно то, что этот камерунец как-то раз в разговоре со мной легко перечислил всех русских царей (забыв только Федора Алексеевича, что неудивительно, поскольку этот молодой государь правил недолго, хотя и основал в Москве Славяно-греко-латинскую академию по образцу Киевской Петра Могилы). Я удивленно спросила, где он учил русскую историю. Ответ его был еще более удивительным: в гимназии в Камеруне. «У нас были французские программы», — добавил он. И тогда болью отозвался во мне этот факт: французские гимназические программы включали в себя русскую историю, а в немецких гимназиях из русской истории подавались только маленькие, искаженные отрывки. Многие образованные немцы до сих пор думают, что крепостное право в России было отменено лишь после Октябрьской революции 1917 года.

Но вернемся к болезни мамы. Вот этот африканец, еще студент,

твердо сказал, что диагноз двух врачей, ишиас, неверен, но сам он не может сказать, что это. Поверив двум опытным врачам, а не студенту, я по их совету взяла отпуск и поехала в Италию, чтобы прогреть ее ногу (Италия была тогда самой дешевой страной для отдыха, позже она стала самой дорогой). Но хотя мы жили в небольшом домике, окруженном цветами, все маме нравилось, легче ей не становилось. Потом разыгрались камни в ее желчном пузыре. Итальянский врач мог только успокоить боли, и нам пришлось спешно ехать домой, а там маму сразу же поместили в больницу. Камни в желчном пузыре можно было удалить без большого риска, поскольку сердце было еще довольно здоровое. Решили оперировать, но при этом был обнаружен и установлен рак уже со многими метастазами... Мама скончалась дома, очень спокойно. Успокоение наступило после того, когда она узнала точно, какая у нее болезнь. Это еще раз показывает, что хотя люди и разные, но лучше не скрывать от больного, чем он болен. Ей как раз исполнился 81 год, был октябрь 1960 года. Она скончалась верующей христианкой.

Фрейбург

В Мировоззренческой энциклопедии уже стали думать о переезде во Фрейбург, чтобы работать над статьями для каждого соответствующего понятия. Статьи в большинстве своем писали немецкие специалисты, а потом они должны были переводиться на русский язык. Так как я одна, конечно, не смогла бы перевести все статьи, к тому же у меня была и редакторская работа, нашли и переводчицу, госпожу Ракинт, немолодую женщину с очень интересной судьбой. Дочь богатого петербургского купца, она еще до революции в очень молодом возрасте вышла замуж за князя Шаховского, и после Октябрьского манифеста 1905 года, провозгласившего свободу религий, они стали католиками восточного обряда. Богослужения совершались уж не тайно, но строить церковь было запрещено, под храм просто оборудовали большую комнату в частном доме. Так как род Шаховских был известен, к ним приезжали из Синода, чтобы уговорить их переменить принятое решение. Но они остались в том вероисповедании, которое считали Вселенской Церковью. Как известно, в России уже был назначен епископ католиков восточного обряда Леонид Федоров. Но в 1914 году, под прикрытием военной истерии, он был выслан из Европейской России. Погиб он уже при советской власти, в каком-то концлагере, кажется, на Соловках.

Князь Шаховской, муж будущей госпожи Ракинт, был убит большевиками, сама она арестована, но потом все же отпущена, и ей удалось бежать в Германию. Здесь она вышла замуж за немецкого офицера, павшего на последней войне, и в третий раз, уже немолодой, вышла замуж за австрийского профессора-вдовца Ракиннта. Она и его пережила. Женщина она была очень интересная, много видевшая и пережившая и умевшая рассказывать.

Итак, мы пока работали в Мюнхене, составляя номенклатуру будущей энциклопедии, я же продолжала ездить по докладам, хотя интенсивность их начала снижаться.

Кроме того, из нашей группы по докладам начали выбывать люди, отчасти по естественным причинам. Так скоропостижно скончался один из ведущих наших лекторов, беженец из Восточной Германии доктор Рудольф Кариш. Старым он еще не был, но измотал себя в борьбе против коммунизма, которую рассматривал как задачу своей жизни. На пике нашей просветительной — так можно ее назвать — деятельности некоторые из числа слушателей говорили, что нам надо запросить в полицию разрешение на право ношения оружия, так как коммунисты могут каждого из нас убить. Но у меня лично не было желания сделать это. Хотя я и умела стрелять — это дал еще Ленинградский университет, военные занятия, — но я считала, что если меня захотят убить, то и пистолет мне не поможет, убьют. Уже во Пскове я решила, что буду делать то, что считаю необходимым, а там будь что будет.

И все же вспоминается один случай, небольшое происшествие после моего доклада, когда я была еще в Марбурге и в этом же городке делала доклад. Возвращалась я поздно вечером по совершенно пустынным улицам, но заметила, что по другой стороне улицы идет мужчина, видимо, немолодой, каким-то странным, точно подкрадывающимся шагом. Я остановилась. Остановился и он. Памятуя правило, что если подозреваешь опасность, то надо идти ей навстречу, я решительно перешла пустую улицу и подошла к этому человеку. Он сам заговорил со мной, оглядываясь по сторонам. Он сказал, что тайно, через Берлин, временно приехал сюда. Должен вернуться, но ему хотелось бы поговорить со мной лично. Никто не должен нас видеть вместе, иначе у него будут большие неприятности по возвращении в советскую зону. Какой это все-таки был страшный режим! Человек боялся даже поговорить с докладчиком, уже одно это грозило ему тяжелыми последствиями.

Позже, когда я читала лекции по русской истории и анализу идеологий офицерам германской армии, меня перед этим проверяла служба германской безопасности, так как запрещалось преподавать лицам, имеющим близких родственников в одном из коммунистических государств, поскольку такого человека могли шантажировать. Меня спросили, получаю ли я угрожающие письма. Я ответила отрицательно. Они удивились: «Большинство эмигрантов получают такие письма». Мне вспомнился знакомый мне еще по Риге, в будущем известный литератор эмиграции Борис Филиппов, носивший тогда фамилию Филистинский и получавший много угрожающих писем, написанных, однако, странным образом — его характерным стилем. Там же, где меня проверяли, я сказала, что шантажировать меня нельзя, поскольку у меня нет близких родственников в СССР, нет и темных пятен в моей биографии, что также могло бы послужить поводом для шантажа. Что же касается угроз физической расправой, то в письменном виде их обычно не применяют, поскольку это уже уголовное дело, а так, если задумают убить, убьют.

Вскоре после кончины мамы как раз поспело решение переезда во Фрейбург, чтобы приступить к непосредственной редакционной работе. Оставив за собой квартиру в Мюнхене и сдав ее временно двум студенткам, я взяла во Фрейбурге меблированную комнату. Становление редакции шло тяжело. Сначала искали авторов для статей; они приезжали, и каждый раз для них устраивались обеды в хороших ресторанах, где все с упоением обсуждали разные блюда, как будто Германия находилась все еще в голодном режиме военного и послевоенного времени. Мне все это так надоело, что я старалась избегать очередные пиршества. Встал вопрос, кто же будет главным редактором. Поскольку энциклопедия предполагалась на русском языке, а я была единственным человеком с соответствующим образованием и совершенным знанием русского языка, то казалось естественным предложить это место мне. Сама я не спрашивалась, но это было настолько само собой разумеющееся, что представителю издательства пришлось самому определиться; мне было заявлено: «В патриархальной Германии женщина не может быть главным редактором». За это время много воды утекло, женщины занимают посты, которые раньше не мыслились, но все же трудно представить себе женщину на посту федерального канцлера Германии.

Главным редактором был приглашен некто Керник, беженец из

ГДР, нахватавшийся немного русского языка, но по-настоящему его не знавший. Ему было ясно, что фактически главным редактором в русской энциклопедии буду все равно я, так как последняя читка и проверка всех статей будет лежать на мне. Керник видел во мне соперника и старался выжить из редакции. Практически же работу всячески затягивал. Мы фактически ничего не делали, хотя и получали жалованье. Мне все это чрезвычайно надоело, и, к изумлению редакции, я заявила, что уйду, хотя у меня тогда не было на примете ничего другого. Знакомые немцы говорили мне, что психически не вынесли бы такого «висения в воздухе», хотя огорошенное руководство издательства попросило меня отсрочить мой уход, вернуться в Мюнхен и работать пока над возможными статьями в энциклопедии (обещали сохранение жалованья в течение трех месяцев). Затем предполагалась новая встреча во Фрейбурге и окончательное решение. Мне было ясно, что во время моего отсутствия Керник окончательно укрепит свои позиции, но у меня не было намерения бороться за энциклопедию. Вместо этого я написала заявление в Немецкое исследовательское общество с просьбой предоставить мне научную стипендию с целью написания второй диссертации, докторской по российским меркам, которая давала право быть доцентом и впоследствии профессором. При этом я первый и последний раз в жизни попробовала использовать столь популярный в бывшем СССР и, к сожалению, в нынешней России «блат». Я собиралась писать на тему о свободе и необходимости в истории с критикой исторического материализма. Эту историософскую тему можно было подать с более философским уклоном или же интерпретировать скорее как историческое исследование. Знакомый мне по нашим встречам группы критики коммунистической идеологии профессор философии посоветовал придать диссертации скорее философский уклон (я должна была подать в общество предполагаемый конспект будущей работы), а поскольку он в числе членов решающей комиссии, он поддержит мое заявление. Я так и поступила. Но ни он, ни я, «великие практики», не учли, что скоро будут пере выборы комиссии — в комиссиях участвовали все профессора в ротационном порядке, — а на рассмотрение заявления потребует ся время. Состав комиссий изменился. В философскую попали совершенно мне незнакомые, а в историческую — хорошо знакомые. Я много смеялась над своей неуклюжей попыткой подключить «блат». Тем не менее все прошло благополучно, и я получила сти-

пендию на два года. А во Фрейбурге тем временем Керник благополучно похоронил проект Мировоззренческой энциклопедии на русском языке, и там занялись изданием такой энциклопедии на немецком языке, в чем особой нужды не было, но что лучше соответствовало знаниям Керника.

Я находилась во Фрейбурге, когда начали строить Берлинскую стену. Впечатление было потрясающим. Мы (я и мои коллеги) сидели и слушали радио, где шаг за шагом описывались действия советских военных и бездействие американцев. У меня ни одной минуты не было опасения, что начнется война, я не сомневалась, что американцы ничего не предпримут. Впоследствии они даже не спасли семнадцатилетнего Петера Фехтера, пытавшегося бежать из Восточного Берлина в Западный через стену. Его подстрелили восточногерманские пограничники, раненый, он упал на западной стороне стены в нейтральную зону и несколько часов умирал, истекая кровью и взывая о помощи на глазах американских солдат, которым было совсем нетрудно подойти к нему и спасти. Немецкие пограничники с восточной стороны ни в коем случае не решились бы стрелять в американских солдат. Но те предпочли спокойно наблюдать, как юноша истекает кровью.

Грустно было, что закрылся еще один, хотя и весьма относительный сектор свободы: больше на наши собрания не могли тайком приезжать люди из ГДР, и мы после постройки стены только один раз встречались в Берлине: не имело уже смысла туда летать. В самом Берлине для нас прежде было не совсем безопасно. До стены метро ходило через весь Берлин, впрочем, на границе въезда в Восточный или, соответственно, в Западный никто не проверялся. Это и был путь бегства или тайных посещений из советской зоны не только Берлина. Кстати, перед началом постройки стены бегство из ГДР приняло массовый характер, хотя планы были засекречены, и для нас, живших в Западной Германии, начало стройки оказалось совершенно неожиданным. Но в тоталитарных режимах, лишенных свободной информации, подспудная информация особенно сенсильна и осведомлена.

Еще до начала строительства стены нас, прилетавших в Берлин с запада, предупреждали, чтобы мы не садились в поезда метро той линии, конечная остановка которой была в восточном секторе, так как именно таким путем происходили похищения людей восточными агентами. Делалось это так: до въезда поезда в советскую зону

человек хотел выйти, но ему вдруг становилось плохо, а причиной был сосед, весьма ловко поднесший на один момент к его носу платок с хлороформом или эфиром. А когда поезд пересекал границу, появлялся «друг», который, «заботясь о заболевшем», выводил его из поезда. На запад «заболевший» уже не возвращался.

Я, конечно, следовала этим предупреждениям и старалась больше пользоваться наземным транспортом, не ездившим в Восточный Берлин. Но один раз мне стало немного жутко. Меня попросили посетить, теперь уже не помню кого, в Берлине. Я поехала по указанному мне адресу и, когда шла от остановки автобуса по обозначенной улице и искала номер дома, увидела, что улица не только очень близко подходит к границе Западного Берлина, но она состоит почти целиком из разрушенных войной и, очевидно, еще нежилых домов. Кругом никого не было: ни машин, ни пешеходов, и вдруг сзади с визгом затормозила какая-то неожиданно появившаяся машина. Я испуганно оглянулась, уверенная, что сейчас меня схватят. Но выскочившие из машины люди не обратили на меня никакого внимания, а стали разыскивать какой-то нужный им адрес. Я пошла дальше, нашла нужный мне дом, едва ли не единственно целый среди развалин, нашла и тех, к кому меня просили зайти, оказавшихся и нормальными, милыми людьми. Такие эпизоды выявляют атмосферу, в которой жил тогда в 50–60-е годы Западный Берлин.

Когда-то давно, еще в псковской школе, я участвовала в показе даже не фильма, а еще существовавших тогда отдельных картинок на экране, которые все вместе рассказывали о каких-то героических пограничниках, задержавших нарушителя границы. Последняя картинка показывала цепь и огромный замок, висевший на этой цепи, а над ним надпись: «Граница на замке». Я понимала это так, что граница на замке для нас, советских граждан. Мы не смеем выехать за границу, хотя бы лишь на время, в качестве туристов.

Несмотря на все ужасы войны, граница на запад отчасти открылась еще в военное время. Я не верила, что это явь, когда ходила по *Unter den Linden*, знаменитой улице Берлина. Окончание войны открыло мне широкий мир. У меня тогда не было денег, чтобы купить себе хоть одну новую блузочку, а не только билет за границу, но теоретически я могла поехать и в США, и в Австралию; а потом, когда стала зарабатывать, ездила по всей Западной Европе, в США, на Ближний Восток. Для меня открылся весь мир, но закрылась... моя родина. Закрылись и страны, где воцарился коммунистический

режим. Хотя и до стены я не могла поехать в Восточный Берлин, но стена еще раз резко подчеркнула, что я не могу, например, попасть на Alexanderplatz.

Отчего именно эта площадь? Я помню, как в военном Берлине мне надо было разыскать небольшую улочку, но никто таковой не знал. А полицейских вообще не было, все способные носить оружие мужчины были на фронте. Но я вспомнила, что на Alexanderplatz я видела полицейского, регулировавшего движение. И через весь город я поехала на эту площадь и спросила полицейского, как попасть на нужную мне улицу. Он вынул свою книжечку и объяснил мне, где эта улица и как на нее попасть. Даже в конце войны в Германии не было шпиономании, я тогда говорила по-немецки с небольшим акцентом, но полицейскому и в голову не пришло к этому придрататься (вспомним рассказ Солженицына «Случай на станции Кречетовка»). И вот даже на эту самую площадь я теперь не могла поехать. Мир расширился и сузился одновременно. Кстати, после падения стены я все собиралась съездить в открытый теперь для всех Берлин, да так и не собралась.

Есть очень мудрый старый французской анекдот: когда во Франции еще была монархия, королю, чтобы его позабавить, рассказали о живущем в Парнже восьмидесятилетнем старике, за всю свою жизнь не выезжавшем за черту города. Король решил пошутить, призвал к себе старика и... запретил ему выезжать из Парижа. Старик вернулся домой очень расстроенный такой немилостью короля. Его тоже весьма немолодая жена удивилась: «А разве ты хотел куда-нибудь поехать?» — «А почему бы и нет?» — ответил муж. И он начал бомбардировать короля письмами с просьбой снять опалу и разрешить путешествовать. Король выждал некоторое время и сообщил старику, что запрет снимается. Жена старика, относившаяся сначала скептически к проекту какой-то поездки, постепенно заразилась от мужа и тоже стала мечтать о путешествии. Когда пришло разрешение, она воскликнула: «Что ж, паковать теперь чемоданы, а куда мы поедем?» — «А зачем нам куда-то ехать? Мы всю жизнь прожили в Париже. Неужели нам на старости лет куда-то трястись?» — ответил муж.

Но когда в 1993 году я была в Печорах, родине моей матери, и в Печорском монастыре, меня там спросили, бывала ли я здесь, я ответила: «Когда я жила в Советском Союзе, Печоры были для меня заграницей, Эстонией, тогда я не могла туда поехать. Когда я жила

в Германии, Печоры тоже были для меня за границей, Советским Союзом, куда я не могла поехать. Раньше меня не выпускали из Советского Союза, а потом меня не впускали в Советский Союз». «Граница на замке». Как мало ценят люди, что замка больше нет; воистину, свобода как воздух: когда он есть, его не замечают, когда его нет, задыхаются.

Оттепель

Несмотря на постройку Берлинской стены, хрущевская политика разрядки начала приносить плоды. Чувство опасности коммунизма и Советского Союза притуплялось. Беженцев из советской зоны оккупации больше почти не было, никто не мог взволновать общество своими рассказами, почти не осталось и тех, кто с самого начала ставил своей целью борьбу с коммунизмом. Наша группа постепенно распалась. У меня становилось все меньше приглашений на доклады. И в этой ситуации разорвалась бомба хрущевской оттепели внутри страны: журнал «Новый мир» опубликовал в 1962 году повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть о советских концлагерях в советском журнале! Немецкое радио гремело об этом на всех каналах с утра до вечера, сразу два издательства взялись за перевод повести. Мне не пришлось видеть этих переводов, но, думаю, они были сделаны поспешно и плохо (в наспех сделанном переводе «Доктора Живаго» Пастернака в нескольких решающих по смысловому выражению местах этот самый смысл был перевернут на обратный). Следует объяснить, на что Запад (по отношению к Советскому Союзу и к России) обращает внимание. Во время советской власти русский эмигрант мог написать замечательную книгу, совершенно талантливое художественное произведение или очень глубокое исследование, но на Западе оно оставалось почти незамеченным. Большим вниманием пользовалось произведение, написанное человеком, живущим в Союзе, но напечатанное на Западе. Особенно если этот человек в Союзе потом подвергался репрессиям.

Ну а произведение, напечатанное в Советском Союзе на тему, до сих пор строго запрещенную, должно было обратить на себя огромное внимание. Одним словом, дело было не в содержании данного произведения, а в обстоятельствах его выхода в свет. Так, на Западе за десятилетия вышло в свет много книг о советских концлагерях: талантливых, информативных, освещавших это страшное явление

со всех сторон. Но «ГУЛАГ» Солженицына для многих оказался откровением, и, по крайней мере в Германии, каждый уважающий себя немец должен был иметь на своей книжной полке эту книгу в немецком переводе. Читали ее немногие, но хотя бы листали. Тем не менее эта книга и другие произведения автора сыграли, конечно, большую роль. Для меня, кроме «Ивана Денисовича» и перла Солженицына «Матренин двор», заслуживающим внимания оказался роман «В круге первом» (больше, чем «Раковый корпус», где много длиннот). Но «В круге первом» я читала только в первой редакции, вторую я не смотрела, говорят, автор ее испортил, сделав из Володина атомного шпиона, то есть человека, наказуемого во всех, даже самых демократических, странах. Знаменательно, что в немецком переводе к заглавию было приставлено слово «ада» (предполагалось, что если русским достаточно слов о первом круге и они поймут, что дело идет о «Божественной комедии» Данте, то немцы этого не поймут. И в самом деле это так. В наше время даже немецкая интеллигенция с иностранной классикой не знакома, да и со своей собственной тоже, есть много практических навыков, но широкого образования мало).

Вспыхнувший интерес к Солженицыну снова принес мне приглашения на доклады. Между тем хрущевская оттепель подарила миру не одного только Солженицына. Еще раньше из СССР пришли рукописи под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак: «Суд идет», «Гололедица», «Любимов», «Говорит Москва» и другие. Некоторые эмигранты не поверили, что рукописи действительно пришли из Союза, думали, что какой-то эмигрантский автор захотел придать больше веса и пустил слух, что это с той стороны. Но, самое позднее после «Гололедицы», по-моему, перла Терца-Синявского, я не сомневалась о месте происхождения новых произведений: только живший в Союзе автор мог так талантливо, но, главное, так горько ответить Эренбургу на его повесть «Оттепель». Когда после оттепели грянет мороз, появляется гололедица. Мороз этот ударил и по авторам: Андрея Синявского и Юлия Даниэля раскрыли и судили. Замечательной сатирой на теорию советского коммунизма оказалось эссе Синявского «Что такое социалистический реализм?». Я много цитировала его в докладах на мои постоянные темы о советском марксизме, приглашения на которые я хотя и реже, чем прежде, но получала.

В Мюнхене на деньги американцев издавался тогда журнал

«Мосты». Редакция, подобранная американцами, оказалась настолько «высоко образованной», что не поняла в этом замечательном эссе Сиявского слова «телеологический» и «исправила» его на «теологический». А потом советский суд инкриминировал автору, что он занимался богословием, хотя он писал лишь о целеустремленности, признававшийся даже советскими марксистами, хотя и с решающим ограничением.

Так начался знаменитый самиздат и соответствующий ему тамиздат. А ввиду того, что печатная продукция начала проникать в Союз, представился интерес печататься в эмигрантской прессе. Внимательный читатель, возможно, заметил, что я ничего не писала о контактах с эмиграцией или о моем участии в эмигрантской прессе или радио «Свобода». В самом деле, первые десятилетия пребывания в Германии моя деятельность была связана исключительно с немецкой аудиторией. Печататься в эмигрантской прессе я не считала целесообразным, поскольку эта пресса в Союз фактически не попадала (а стоило ли русским эмигрантам красноречиво убеждать друг друга в том, что коммунизм ужасен, ведь они и так это знали). Мне думалось, что наша задача — рассказать, что такое коммунизм, что такое сталинская диктатура, тем народам, среди которых мы живем. Мне думалось, что и для России очень важно, чтобы мы рассказали, что такое коммунизм и что надо видеть разницу между советской диктатурой и собственно русским народом и Россией.

В ходе той же возложенной мною самой на себя миссии я согласилась дать совет одному издательству, выразившему желание издать в немецком переводе какую-нибудь книгу о советских концлагерях. Актуальными были тогда две книги, вышедшие в эмигрантских издательствах: Николая Краснова и Юлия Марголина.

Красновы были так называемыми старыми эмигрантами. Казачий генерал Краснов известный писатель, попал в эмиграцию после революции 1917 года. Особенно популярна была его книга «От двуглавого орла к красному знамени». Он и его младшие родственники, не знаю точно, сын или племянник, а также сын последнего, вместе с большим казачьим корпусом воевали против советской армии и были выданы советской власти англичанами при Лиенце в Австрии (см. книгу Толстого-Милославского «Жертвы Ялты»). Красновы не подлежали выдаче даже по букве Ялтинского соглашения, поскольку не были советскими гражданами. Но англичанам было все равно. (Я уже говорила, что это была совершенно зверс-

кая выдача, когда английские солдаты бросали маленьких детей в грузовики так грубо, что дети иногда разбивались насмерть, матери с детьми бросались в бурную горную речку Драву, предпочитая смерть возвращению, были самосожжения.) Отчего же им было не выдать заодно с казаками и несколько старых эмигрантов? Разве русские были людьми, чтобы считаться с их правами? Генерал Краснов был повешен вместе с Власовым и его генералами. Отец и сын попали в концлагерь. Отец вскоре умер в лагере, а самый младший Краснов в ходе хрущевской оттепели не только вышел из лагеря, но и поручил разрешение выехать за границу. Но в Канаде совершенно неожиданно он вскоре скончался. В эмиграции ходили слухи, что с него взяли подписку о неразглашении виденного и пережитого, а он нарушил обещание, написав и опубликовав свою книгу «Незабываемое». Тогда его убили отравленной сигаретой. Но я не знаю, может быть, эти слухи были эмигрантской экзотикой, и причиной его неожиданной смерти оказалось просто надорванное в лагере здоровье. Добавим, впрочем, что на Западе политические убийства, как правило, не раскрываются. Расследования заканчиваются ничем. Можно было бы привести много примеров: самым известным и громким остается убийство американского президента Кеннеди.

Израиль

Выбирая между Н. Красновым и Ю. Марголиным, я остановилась на книге последнего — «Путешествие в страну зе-ка» — как на более глубокой и обобщающей. Издательство со мной согласилось и попросило меня проверить выбранного ими переводчика, широко известного русского немца (потом переведившего Солженицына и, кстати, переведшего выражение «сказанный город Ростов» из «Августа 14-го» как «сказанный город Ростов», не знаю, что он еще напереводил в языково трудных солженицынских текстах). В нескольких переведенных им страницах Марголина он сделал ряд грубых смысловых ошибок. И неожиданно для самой себя я приняла решение перевести эту книгу, испробовав себя на знание литературного немецкого языка. В связи с этим я установила контакт с Марголиным, жившим в Тель-Авиве.

Но там, в Тель-Авиве, у меня был и другой контакт. Когда была жива еще моя мать, она, конечно, очень тосковала по своим старшим детям. И вдруг вспомнила, что одна из кузин ее первого мужа сразу после революции вышла замуж за русского еврея, сиониста

по убеждению (отмечу, что настоящие, а не мифические сионисты хотели восстановления еврейского государства в Палестине, а вовсе не владычества над всем миром), и в начале 20-х годов им удалось выехать из Союза. Но она сохранила связь со своей старшей сестрой, остававшейся в Ленинграде. Сестра не боялась переписки с заграницей, так как была лишь домашней хозяйкой, женой простого рабочего. Революция разметала эту дворянскую семью, и все три дочери вышли замуж иначе, чем это было бы, вероятно, не будь революции (интересно, что сказала мне Надежда Николаевна в Тель-Авиве: ее будущий муж привлек ее еще и тем, что у него была родина, хотя тогда еще только в смелых мечтах, тогда как у нее проросло чувство, что свою родину, Россию, она потеряла).

Так вот, моя мать решила разыскивать эту Надежду Николаевну, полагая, что она сохранила контакт с Ленинградом и сможет сообщить о судьбе ее старших детей. Но где искать? Последние сведения о Н. Н. были из Англии. «Но сейчас они в Израиле, — утверждала моя мама, — только вот я забыла фамилию ее мужа, помню лишь ее девичью». А дама уже 40 лет была замужем. Задача была почти как в сказке: иди и ищи, не зная чего и не зная где. В израильской общине в Мюнхене мне дали неправильный ответ, что в Израиле нет центральной службы поисков. Она, конечно, была. И вот маме пришла мысль просто написать президенту Израиля. Как и почти вся тогдашняя верхушка в Израиле, он был из России. Я не возражала. Маме было почти 80 лет — можно писать всем президентам мира. Но будет ли ответ? Ответ пришел, и Надежду Николаевну нашли. Мама оказалась права: они жили в Израиле, в Тель-Авиве. И тогда же мы узнали, что брат уже скончался, не дожив до полных 60 лет. Так моя мать пережила всех своих сыновей. Но все дочери были живы. До смерти Надежды Николаевны мы обе, а потом лишь я переписывались через Израиль с сестрой Леной (писать нам непосредственно она боялась; страх ее был так велик, что она ни в одном письме не написала слова «мама», а только «милая», «дорогая», так же и мне, не называя по имени).

Надежда Николаевна пригласила нас к себе в гости. Но мама была уже слишком слаба для таких поездок, да и вскоре заболела смертельною болезнью. А в 1962 году Надежда Николаевна первый и последний раз после того, как покинула родину, ездила в Союз, в Ленинград, встречалась и с моими сестрами. Теперь она снова пригласила меня, и в апреле 1963 года я поехала в Израиль.

Это была замечательная поездка, где я также познакомилась с автором книги, над переводом которой работала. У Марголина я взяла рукопись и потом перевела из нее несколько глав, выкинутых Чеховским издательством в Нью-Йорке, поскольку книга казалась им слишком объемной. Много поездила по стране, вскарабкалась на гору Масад, где тогда все еще было дико (а теперь испорчено цивилизацией, подъемными лифтами и прочим). Проехала по пустыне Негев до Красного моря, плавала во всех морях и Генисаретском озере и, конечно, посетила святые места, которые мне тогда были доступны. Иерусалим разделяла еще стена вроде Берлинской. Церковь Успения, стоявшая на самой границе, была изрешечена пулями, а для того, чтобы пройти в зал, где совершалась Тайная Вечеря, следовало получить пропуск. После посещения зала я пошла вдоль стены, как вдруг услышала за собой отчаянный крик и, обернувшись, увидела, как какой-то мальчик лет двенадцати бежал за мной, бросив свои велосипед, махал руками и что-то кричал. Я остановилась и, повернувшись, пошла ему навстречу. Он успокоился и, подойдя, спросил меня по-английски, туристка ли я. Я подтвердила. «Не ходите туда, — сказал он. — Арабы стреляют во всех без предупреждения». Я его поблагодарила и пошла обратно. Потом я узнала, что, возможно, он действительно спас мне жизнь: не так давно на этой дорожке была застрелена жена американского консула, решившая прогуляться вдоль стены.

От Надежды Николаевны я узнала, что обе мои сестры живы. Но муж младшей сестры Лены, Поня, брат Надежды Николаевны, умер от голода во время блокады, а на войне пал ее единственный сын Коля. Коля был только на два года младше меня, и потому мы, естественно, очень дружили. Лена его обожала, и для нее потерять Колю было очень тяжело. Тем более что она делала аборт, а если бы она сохранила ребенка, у нее было бы утешение. Нельзя убивать своих детей.

Старший сын Тани вернулся с фронта, но о его дальнейшей судьбе мать, никогда его не любившая, не знала. А младший, Дима, на фронт по возрасту не попал, поступил в Школу гражданского судоходства, достиг в жизни многого и заботился о матери и осиротевшей тетке. Надежда Николаевна говорила мне, что вторая жена брата была плохой мачехой для его сына Игоря, но я никак не могла у нее добиться сведений, что же стало с первой женой, Верой Петровной Атлантовой. Она, видимо, умерла, иначе она не отдала

бы сына Лидии Александровне. Но точного мне никто ничего не говорил. Я каждый раз, когда писала потом через Израиль Лене, спрашивала ее упорно о судьбе Веры, но она также упорно мне ничего на этот вопрос не отвечала. Только уже приехав в Россию, я узнала от ее сына Игоря, что она скончалась от голода во время блокады. Лена же в письмах писала мне только о своем сыне и о воспоминаниях нашего детства, когда мы вместе играли или в деревне верхом на лошадях отправлялись на ластбище или на водопой. После смерти Надежды Николаевны моя связь с сестрами оборвалась, а когда открылся путь в Россию, их уже не было на свете: все же Таня была старше меня на 22 года, а Лена на 19 лет. В первой части книги читатель найдет сведения об упомянутых здесь родственниках.

Потом я много раз бывала в Израиле, ездила туда и в сентябре 1966 года, когда атмосфера страны была насыщена напряжением близящейся войны. С Голландских высот стреляли, и в окрестностях Тивериады время от времени разрывались снаряды, хотя сам город обстрелу не подвергался. Правда, пока я была в Тивериаде, даже в окрестностях не падали снаряды, но вокруг было сосредоточено много частей израильской армии; того безмятежного спокойствия, которое я видела на Генисаретском озере три года назад, там не было и в помине. Кроме предчувствия войны, пропитывавшего всю атмосферу, Израиль переживал тогда кризис киббуцим. Первые русские евреи, приехавшие в Палестину, были большей частью социалисты. Кроме того, они работали пионерами на запущенной земле. Каждый, читавший Библию, знает, как много говорится в ней о виноградниках, но с течением времени они полностью исчезли с лица земли. Точно так же были запущены и другие культуры. Для восстановления всего этого требовался напряженный труд. Согласно идеологии тогдашних социалистов (да и по практическим соображениям), сельское хозяйство лучше всего можно было налаживать, живя в общинах и помогая друг другу. Такие общины назывались «киббуцами». Среди них встречались полностью коммунистические и полукommунистические. В первых их члены не получали денег на руки, у них была общественная столовая, и дети воспитывались отдельно от родителей, домой их отпускали только в субботу. Общее собрание решало, на что истратить деньги, кому купить кровать, кому шкаф, а кого отправить в дом отдыха. Одна моя немецкая знакомая и я побывали в таком киббуце, во главе его стоял

не русский, а немецкий еврей. Он охотно с нами беседовал и рассказал нам, что здесь побывала советская делегация и эти люди спрашивали: «А кто у вас следит за тем, чтобы все вовремя приходило на работу?» — «Никто. Люди сами знают, что надо идти на работу». — «А случается у вас, что кто-нибудь работает дольше срока?» — «Конечно, это же сельское хозяйство, нельзя, например, оставить коров недодоенными и точно минута в минуту уйти домой». — «А получают они за это что-либо дополнительно?» — «Да нет же, ведь у них все есть!» — «А бывает у вас, что кто-нибудь ленится?» — «Ну, бывает, люди не автоматы». — «И такой человек тоже получает в столовой обед?» — «Да, мы думаем, что и он чувствует голод». — «Ну, — воскликнули советские посетители, — при таких условиях у нас никто не стал бы работать!» «И они называют себя коммунистами, — возмущался председатель киббуца, — не они коммунисты, мы!» Он нам сказал, что и гости могут зайти в столовую и пообедать бесплатно. Мы решили проверить и, попросившись с председателем, пошли в столовую, так как наступило обеденное время, и сели за один из длинных столов. И в самом деле, нам подали обед, не спросив, кто мы, откуда, зачем сюда явились.

В полукоммунистических киббуцах люди жили семьями вместе со своими детьми и получали деньги на руки, но земля и орудия производства принадлежали обществу. А существовали и заядлые индивидуалисты, которые могли приобрести кусочек земли в собственность и обрабатывали его сами, но, поскольку сельскохозяйственные машины стоили дорого, они складывались и приобретали совместно дорогие машины, такие общины назывались «мошав».

Когда стали приезжать евреи из СССР, никто из них не шел в коммунистические киббуцы, они говорили: «Нам надоели колхозы». Но еще и до их приезда, в 1966 году, начался кризис этих киббуцев. Конечно, они вообще могли существовать лишь потому, что люди шли в них добровольно и в любое время могли их покинуть. Но все же в значительной мере они держались на идеализме и энтузиазме основателей, первых пионеров. А этот дух начал постепенно испаряться: Израиль превращался в обычную, нормальную страну. А для первых пионеров, теперь уже старых людей, это было очень трудно. Я помню, что пока я там была, забастовали медицинские сестры, требуя более высокой зарплаты. К моим родственникам приехали друзья, тоже уже немолодые люди, муж и жена. Я не забуду трагического выражения лица этой женщины, тоже бывшей медицин-

ской сестры, когда она говорила: «Сестры бастуют! Им надо больше денег! А больные? Да разве кто из нас в то время, когда мы были молодыми, думал о деньгах? Мы хотели только одного: строить свое государство, у нас свободной минутки не было. Когда мы женились, не было времени сходить купить кольца, мы их одолжили, и от раввина сразу же побежали на работу, я — на свою, он — на свою». Для старых сионистов-идеалистов это было трагедией, но в историческом аспекте — нормальным явлением: на одном голом энтузиазме ни одно государство долго жить не может, оно или погибнет, или, изжив энтузиазм, трансформируется в нормальное государство с нормальными гражданами, для которых важна и их зарплата. Израиль находился в этой фазе. И все же над страной, как черная туча, висела угроза войны; это чувствовалось во всей ее атмосфере.

В Израиле знакомства возникают быстро как среди русских, так и среди немецких евреев (я вращалась в этих двух группах). Познакомилась я и с очень приятной немолодой дамой, типичной русской интеллигенткой Розой Николаевной Эттингер. Когда в следующем году разразилась шестидневная война, все мы сначала волновались. В Германии общее настроение было весьма произраильское, но никто не думал, что все кончится так быстро и так благополучно. И почти сразу я получила письмо от Розы Николаевны: «Приезжайте, теперь можно посетить все святые места!» — писала она (до этого Иордания не впускала тех, у кого была в паспорте израильская виза; надо было сначала ехать в Иорданию, а израильскую визу просить поставить на отдельном листочке, который вставлялся в паспорт при переезде из Иордании в Израиль. Мне это показалось слишком сложным). Сразу поехать я не могла (в университете еще шел семестр), но в начале августа, на сей раз не на пароходе, а на самолете, я помчалась туда...

Мы ходили сквозь дыру, пробитую в иерусалимской стене, посещали христианские святыни, смотрели мечеть Омара и Стену плача. Но когда я спросила в туристическом бюро, можно ли поехать по Иордании, в Вифлеем и дальше, в Иерихон и пр., мне ответили, что ездить туда еще рано. Но другая знакомая сказала: «Да чего вы спрашиваете, идите к Дамасским воротам в старый город, оттуда идут арабские автобусы; можете все объездить» (в самом деле, тогда арабским линиям разрешалось работать).

И вот в стареньких автобусах (часто без стекол) я объездила всю оккупированную иорданскую территорию, Вифлеем, Хеврон,

Иерихон, конечно, Рамаллу. Туристов тогда в этих автобусах не было, паломников тоже, но израильтяне не боялись разъезжать по только что оккупированной стране, так что в глазах арабов каждая женщина в европейском платье была израильтянка. В христианском на 60% Вифлееме даже радовались оккупации, считая, что мусульмане их прежде притесняли. В Вифлееме мальчишки кричали мне приветливо: «Шалом». А в Хевроне на арабском рынке на меня бросали такие мрачные взгляды, что я предпочла уйти с базара, не стоило рисковать получить нож в спину. В Вифлееме израильские солдаты беспечно разгуливали с винтовкой за спиной, а в Хевроне стояли часовые с ружьями наперевес. В Хевроне есть мечеть, где находятся гробницы Авраама, Исаака и Иакова. В Иордании в нее разрешалось входить только мусульманам. Но для мусульман важен лишь Авраам как их предок, но не Исаак и Иаков, тогда как для иудеев и христиан важны все три патриарха. Израильские власти открыли эту мечеть для всех, лишь в пятницу мусульмане могли воспретить вход представителям других религий и совершать здесь свои молитвы. Но то, что в другие дни недели туда ходили все, чрезвычайно раздражало арабов. В Иерихоне и даже на Иордане, где еще иногда шла перестрелка через реку и где израильские солдаты проверяли документы пассажиров, обстановка была спокойнее. Между Иерусалимом и Рамаллой располагались богатые виллы и благоухали прекрасные фруктовые сады. Цены на фрукты в Израиле сразу же упали: фрукты из Иордании были дешевле и лучше. Там не было только апельсиновых плантаций. Такие плантации существовали в Газе, но настолько неухоженные, что эти апельсины нельзя было продавать на Запад, и арабам разрешили торговать своими цитрусовыми с коммунистическими странами, где и таким апельсинам были рады. Много позже, уже в начале 80-х годов я была снова в тех местах, где иорданские арабы выращивали свои прекрасные фрукты (между Иерусалимом и Рамаллой), но там уже не было ни арабов, ни вилл и садов, лишь только многоэтажные дома для приезжающих из СССР. Мои новые друзья не поняли меня, когда я спросила, куда же девались сады и виллы. Они ведь приехали в Израиль позже.

Вообще, в оккупированной Иордании жизнь была значительно более благоустроена, чем в других арабских странах. Большинство палестинцев бежало именно в Иорданию, когда было создано Государство Израиль. Но «маленький король», король Хусейн сумел для

всех построить небольшие, хоть и простенькие домики. Палестинцы получили иорданское гражданство, могли учиться за границей, если им удавалось получить стипендию той или иной страны. Потом мы со знакомыми ездили в Газу и пришли в ужас от того, как Нассер держал палестинских беженцев — в палатках из разорванной парусины. Египетского гражданства они не имели, и молодежь не знала, что ей делать в этих жалких беженских лагерях. Зачем король Хусейн ввязался тогда в войну? Теперь не было бы никакой палестинской проблемы.

Из Тивериады все же начали уже ходить туристические автобусы в оккупированную часть Сирии, к истокам Иордана. Там мы пили кристально чистую воду из ручейков, питающих святую реку Иордан и поражались сирийской нищете. Сирийцы тоже пробова-ли продавать фрукты, но те были такими неприглядными, что никто не решился купить. Никакого сравнения с сочными иорданскими! Видели мы и разбитые советские танки. Израильские военные показывали нам три ряда укреплений, построенных для Сирии советскими специалистами. Но сирийская армия сражалась, и притом хорошо, как говорили военные, только на первой полосе укреплений; когда она была прорвана, они, вместо того чтобы отступить на вторую и сражаться там, бежали сломя голову, бросив две следующие полосы укреплений. Другая психология, чем у русской армии!

Может быть, читатель удивится, что я, глубоко верующая христианка, мало пишу о святых местах. Но у меня поклонение Господу никогда не было связано с местом, ибо поклоняться Господу надо в духе и истине, а от места поклонения это не зависит. Самая местность, конечно, производила впечатление — Генисаретское озеро, гора, с которой были провозглашены заповеди блаженства, гора Фавор, — но церкви в западноевропейском стиле скорее мешали. Мне они казались чужеродным телом в этой прекрасной земле. Не знаю чего, какик строений я хотела бы на их месте, но нужно было что-то другое.

Может быть, потому, что, несмотря на большевистское опустошение, образ русской церкви остался с детства, меньше мешала Русская церковь в Гефсиманском саду. Она стояла в глубине сада, и вокруг нее была тишина. Оливковые деревья, чудесные иерусалимские сосны, нагретые южным солнцем. Они излучали необыкновенный аромат. Взятая мной с собой эта «ветка Палестины» еще больше года была ароматичной. Настоятельница жеиского мона-

стыря при церкви была матушка Варвара, приехавшая в Палестину совсем молодой девушкой в 1913 году. Несмотря на разницу лет и мою другую конфессию, мы очень подружились. Вообще, в Палестине и православные священники были толерантны.

Если год тому назад над страной висела черная туча и невольно, несмотря на солнце и голубое небо, чувствовалась тревога, то летом 1967 года вся страна утопала в блаженстве и ликовании, но не злорадном, а благодушном. Солнце как будто стало ярче и небо голубее. Я не знаю, было ли где-нибудь и когда-нибудь еще в истории такое светлое ликующее настроение. Благодушие накрыло и только что оккупированных арабов; Израиль открылся для них, и молодые арабы наводнили пляжи Тель-Авива, где они удивленно смотрели на девушек в бикини. Но если визуальное удовольствие на пляже никому вреда не приносило, то мысль о других проблемах не была вовсе нелепой. Иногда я пробовала заговорить об этом со знакомыми, но они отметали даже мысль о каких-либо неприятных возможностях. Может быть, надо было увидеть и пережить неизбежаемое. И то, что потом все пошло наперекос, не снимает памяти об этом неповторимом впечатлении. Сейчас оно уже мало кого интересует. В декабре 1990 года я пошла с совсем новыми израильтянами из России и мужем моей новой приятельницы Доры Моисеевны (о которой речь впереди) на горную площадку в Иерусалиме, чтобы оттуда показать новичкам старый город. На месте изрешеченной пулями маленькой церкви Успения, у стены, где когда-то мальчик спасал мне жизнь, была уже выстроена прекрасная большая церковь. Показывая им мечеть Омара и эль-Аксы, а также новую церковь Успения, я попробовала рассказать, как было тогда, когда стена еще разделяла Иерусалим, но никого это особенно не интересовало. Сергей Александрович даже вообще отошел в сторону. Я умолкла и на какой-то странный момент почувствовала себя более старой «израильтянкой», чем новые граждане этой страны.

В 1971 году я совершила свою последнюю экскурсионную поездку в Израиль. Мои родственники еще были живы, а Ю. Б. Марголин скончался в 1970 году. На этот раз я поехала по Синайской пустыне, которая тогда еще была оккупирована израильтянами. Замечательная поездка! Когда я еще в 1963 году ездила с профсоюзным экскурсионным автобусом — туда меня устроил Марголин — по пустыне Негев, экскурсовод спросил, все ли понимают иврит, в ответ раздалось единогласное возмущенное «Nein». Автобус наполняли

большей частью родственники, так сказать, европейских израильтян, приехавшие в гости. Тогда он сказал, что будет объяснять на иврите и на идиш. Идиш я понимала без труда, так как это немецкий диалект. И на этой экскурсии давались объяснения и на идиш. Но второй экскурсовод оказался русскоязычным, он подсел ко мне и давал мне дополнительные разъяснения. На экскурсию ехали два автобуса, один за другим, и он сказал: «Знаете, нет гарантии, что после войны были уже удалены все мины, если один автобус наедет на мину, то второй вызовет помощь». Но удовольствия от экскурсии это открытие ничуть не уменьшило. Пустыня совсем не однообразна, она удивительно красива. Камни зеленые, красные, синие, пустыня переливается всеми цветами радуги. А время от времени полагается оазис, в который мы заезжаем, и пыльная зелень вокруг воды кажется еще пышнее, чем обычно; когда ее много, она не видна. Бедуинки с завешенным лицом и платком на голове залетали свои волосы в тугие косы, стоявшие рогом прямо над лбом. «Зачем они делают себе такую прическу?» — спросила я. «А ведь им же хочется показать, что и у них хорошие волосы, а под платком их не было бы видно». Один раз прямо среди пустыни стояли два бедуина и делали знак автобусу, чтобы он остановился. Хотя это был экскурсионный, а не пассажирский автобус, шофер остановил и взял молчаливых бедуинов, присевших на корточки в начале автобуса: все сидячие места были заняты. Через какое-то время — для меня была все та же пустыня — они сделали знак шоферу, тот остановил автобус, и они вышли. «Как они узнали, где им выходить?» — спросила я. «А они знают пустыню», — ответил мой говоривший по-русски гид. Потом он начал мне рассказывать, что большинство бедуинов неграмотны, а израильтяне строят для них школы, чтобы научить грамоте. Я спросила: «Зачем?» Гид удивленно на меня посмотрел: «А разве грамотность не ценность сама по себе?» — «Нет, — ответила я, — смотрите, эти бедуины умеют «читать» пустыню, а вы хотите научить их поверхностной грамоте, чтобы они читали дешевые политические брошюры, так как вряд ли их образование превысит этот уровень. Телерь они к вам относятся мирно, а потом будут воевать против вас». Мудрость молчаливых жителей пустыни мне действительно казалась много ценнее, чем развязность полубразованных грамотеев. Мой гид меня не понял. Стереотипы владеют многими людьми. Ночевали мы в бараках, построенных для туристов при военных пунктах. Военные уверяли, что Синаи они ни-

когда не отдадут, особенно Шер-эль-Шейм. Но как раз националист Бегин отдал Синаи.

Комнаты для ночевки были на троих, и сразу же подобрались группки, со мной вместе были в комнате очень спокойная женщина моего возраста, немецкая еврейка, и семидесятилетняя дама из Голландии, несмотря на свой возраст, весьма энергичная. Умывалка была обычно в другом бараке, и мы шли кусочек по пустыне и не могли оторвать глаз от ярких звезд на черном бархатном небе. Ни до, ни после я не видела таких прекрасных ярких звезд. Днем температура в тени достигала $+50^{\circ}$, но эта была сухая жара, и ее легче было переносить, чем тридцатиградусную жару в Тель-Авиве.

Большое впечатление произвел греческий монастырь св. Екатерины у подножия Синайской горы, где Моисей получил от Господа Его заповеди. Черепа за стеклом как бы говорили: «Memento mori!» (помни о смерти!) На гору мы тоже поднимались. Нас разбудили в 4 часа, чтобы не было слишком жарко. Можно было идти на гору пешком или две трети проехать на верблюде, а потом пешком, так как для верблюда было уже слишком круто. Мы вышли в полную темноту. С трудом различались силуэты верблюдов и бедуинов, не понимавших ни одного языка, на котором мы бы могли объяснить-ся. Верблюды легли, мы залезли на них и... вдруг взлетели двумя рывками вверх, когда они снова встали на ноги. Не спеша, мерно покачиваясь, «как в море челноки», шли верблюды. Занялась короткая южная заря, и на ее красноватом фоне изумительно выглядели силуэты верблюдов и их всадников. А впереди всех ехала голландская дама. Все женщины группы надели брюки для езды на верблюдах, но эта храбрая дама восседала на «коне» пустыни в... платье с рюшами! Как некий символ устойчивости нашего мира и неизбежности прошлого возглавляла она наш караван.

Верблюды упрямы. Погонщик моего верблюда хотел провести его в одном месте по более пологой тропинке, боясь, что на крутизне я не удержусь на его спине, но верблюд мотнул отрицательно головой и сократил себе путь. Увидев, что я держусь крепко, погонщик предоставил верблюду свободу выбора. Но под конец и для верблюдов стало слишком круто. На самую вершину мы должны были карабкаться сами, пешком.

И вот мы наверху. Здесь Господь говорил с Моисеем, но... нас ожидал на вершине совсем другой сюрприз. Там стояла деревянная будочка, а в ней сидела молодая женщина. Она оказалась немкой. С

удивлением мы спросили ее, что она здесь делает. Она ответила, что дала обет сидеть здесь до тех пор, пока не прекратятся все войны, большие и малые, все вооруженные столкновения. Арабы ее очень уважают и приносят ей воду и пищу. Я вспомнила, как мой отец говорил о первой мирной конференции в Гааге, созванной по инициативе российского императора Николая II (кстати, недавно было столетие этой конференции, но я не слышала, чтобы на Западе упоминали ее инициатора). Так вот, мой отец рассказывал, что его отец, мой дедушка, говорил: «Гаага останется Гаагой, а мира между людьми не было, нет и не будет». Сидит ли эта чудачка в своей будке, или ей давно уже надоело, и она спустилась к нормальной жизни?..

Вниз мы шли уже пешком по другой дороге, по странной естественной лестнице с огромными разновысокими ступенями. Вся группа рассыпалась, и каждый шел сам по себе. Но стоило остановиться на развилке в раздумье, в какую сторону идти, как на одной из ступеней, как из-под земли, выростала фигура арабского мальчика с вытянутой, как указатель, рукой. Так мы благополучно добрались до монастыря, где нас ждал завтрак.

На обратном пути мы еще остановились перед самой границей собственно Израиля на берегу Средиземного моря в Эль-Арише. Это место интересно тем, что там пальмы растут прямо из песка без всякой другой зелени. В оазисах обычно есть разная зелень. Здесь мы купались, как перед тем и в Суэцком заливе, и в Красном море, передевались в автобусе по очереди, сначала женщины, потом мужчины. Но у меня было какое-то чувство неловкости: попрошайничать подходили арабские дети, и девочки лет тринадцати были уже с закрытым лицом, а перед ними мелькали взрослые молодые женщины в бикини, да и наши более закрытые купальники были в сравнении с ними обнаженными. О своих следующих посещениях Израиля я расскажу в другой связи.

1968 год

Этот год был во многом знаменитым. Уже за несколько лет раньше из моей личной жизни стали уходить люди старшего поколения, в том числе и мои учителя. В 1964 году скончался Алексей Александрович Геберг. Я стояла вместе с его женой Зинаидой Григорьевной у его постели, когда он умирал.

В 1965 году совершенно неожиданно от мозгового удара скончался Федор Августович Степун.

А в 1968-м скончался Романо Гуардини. Вскоре умер и профессор Франц Шнабель.

В 1965 году мне предложили читать лекции в Мюнхенском университете по истории русской духовной культуры, но пока без твердой доцентуры или профессуры. Для этого надо было защитить вторую диссертацию, *doctor habil*, или, по русским меркам, докторскую. Но передо мной возникла казавшаяся непреодолимой преграда. Тогда (потом это было изменено) кандидат сам не имел права представить свою диссертацию факультету. Ее должен был представить какой-нибудь ординарный профессор. Степун же был лишь гонорарным профессором и уже на пенсии. А у других имелись свои ученики. Они отказывались даже прочесть мою работу. Ты мог написать гениальную вещь, но если никто ее не прочтет...

Одновременно с лекциями в университете, оставлявшими мне много свободного времени, я читала офицерам бундесвера (потом там возник Университет бундесвера) учение об идеологиях и русскую историю, еще вела семинар по внешней политике СССР.

Но тут из США вернулся Николай Лобковиц, точнее, принц Лобковиц, член самой высшей чешской аристократии (в Америке он читал 7 лет лекции как профессор-гость). Я знала его по прежним встречам, так же как и его жену, урожденную княжну Вальбург-Цейль. У профессора Лобковица не было пока своих учеников, и он сразу согласился взять и прочесть мою диссертацию. Одоблив, он представил ее факультету, затем еще четыре профессора-оценщика также одобрили ее. Тема диссертации — «Свобода и необходимость в истории».

В 1970 году я наконец защитила эту диссертацию, стала уже постоянным доцентом, а потом профессором Мюнхенского университета на полную ставку. Но ординарным профессором я не стала, поскольку моя область была слишком узкой для полной кафедры, а именно — «политическая теория с особым учетом России». Зато у меня оставалось больше времени (так как ординарный профессор еще загружен и делами управления своей кафедрой), так что я могла заняться тем, что считала своим долгом.

Еще в 1964 году несколько эмигрантов из первой эмиграции — наиболее активных в борьбе словом за Россию и против коммунизма — начали издавать в Мюнхене небольшой журнал «Зарубежье». Как я уже упоминала, движение печатного слова из СССР и в СССР полностью остановить было уже нельзя. Самиздат и тамиздат ста-

ли прочными неистребимыми понятиями. Теперь имело смысл публиковаться в русской эмигрантской прессе: она все же иногда доходила до русского читателя на родине. Сперва я начала печататься в нью-йоркской ежедневной газете «Новое русское слово» и в нью-йоркском же журнале «Новый журнал», издававшемся под редакцией талантливого писателя Романа Борисовича Гуля, потом согласилась сотрудничать с «Зарубежьем». Его редакция хотела познакомить подсоветского читателя с произведениями крупных русских мыслителей из первой эмиграции, теперь уже покойных: Бердяева, Булгакова, Вышеславцева, Лосского и других. Предполагалось печатать избранные главы из их произведений, казавшиеся особенно интересными. Это имело смысл, пока ИМКА-пресс в Париже не начала издавать заново труды философов первой эмиграции: стало уже неинтересным перепечатывать отдельные главы этих заново изданных книг. Я хотела привлечь живых авторов, даже если у них не было таких громких имен, но другие сотрудники были против. Позже это привело к расколу (об этом речь впереди).

1968 год был во многом переломным. После того как первого канцлера, очень крупного, можно сказать, великого политика Конрада Аденауэра заставили уйти в отставку раньше окончания избирательного периода, «отец» экономического чуда Германии Людвиг Эрхард оказался неспособным канцлером (о чем предостерегал Аденауэр) и должен был уйти в отставку после короткого канцлерства. Партия свободных демократов, входившая в коалицию с правившими христианскими демократами, исчерпала себя. И тогда возникла идея так называемой «большой коалиции», то есть создание правительства из двух больших партий: христианско-демократической и социал-демократической. В оппозиции в парламенте осталась бы лишь маленькая партия свободных демократов.

Идеей большой коалиции было изменение избирательного закона; для его принятия требовалось 2/3 голосов в бундестаге, что и было бы достигнуто, проголосуй депутаты двух больших партий за это изменение. К 1966 году стало уже понятным, что «отцы конституции» Западной Германии ошиблись, установив выборы по партийным спискам. Избиратель покупал «кота в мешке», партийное руководство могло вставить в список, кого хотело, и избиратель не имел на это влияния. Выборы по мажоритарному принципу были предпочтительнее, так как здесь каждый депутат отвечал перед избирателями сам.

Сделаю отступление на современность. Я была огорчена, когда в новой России «слизали» с Германии выборы по партийному списку (хорошо, что лишь половина состава депутатов Думы). Уже президент Ельцин заметил ошибку и хотел отменить избирательный закон, но коммунисты не допустили. Теперь вот президент Путин сказал, что и он за мажоритарную систему выборов (записываю эти слова в мае 2000 года и не знаю, удастся ли изменить в России избирательный закон). В Германии же этот закон свел бундестаг почти что на нет, особенно при председателе партии ХДС Коле, вычеркивавшем из партийных списков всех самостоятельно мыслящих адептов на место делегата.

Но вернемся к истории. Промоторами большой коалиции были со стороны общей фракции ХДС/ХСС член последней барон фон Гуттенберг, а со стороны СДП — Герберт Венер. Общего у них было только то, что ни тот, ни другой не сражались во время войны в германской армии, а в остальном трудно было найти столь разных между собою политиков. Барон Гуттенберг, выходец из очень старинной баварской аристократии, был, как и многие аристократы, противником Гитлера, и притом достаточно последовательным: еще восемнадцатилетним юношей он бежал в Англию и участвовал в борьбе против Гитлера хоть не с оружием в руках, но словом: он говорил по английскому радио, транслировавшему свои передачи на Германию. После войны он стал горячим антикоммунистом.

Герберт Венер был значительно старше Гуттенберга: еще во времена Веймарской республики он был самым молодым депутатом в Саксонском ландтаге от компартии. Затем он стал секретарем вождя компартии Германии Тельмана, того самого, о котором мы, когда я была еще школьницей, должны были распевать на демонстрациях:

Свободу Тельману!
Дорогу Тельману!
Вождь пролетариев
Да будет жив!

Тельман в живых не остался, но более осторожный Венер своевременно бежал в Москву и жил там в отеле люкс вместе со всей элитой немецких коммунистов. Он был, кажется, единственным немецким коммунистом, которого под псевдонимом печатали в

«Известиях». Вместе с известным Димитровым он поддерживал тактику «Народного фронта», принятую в 1935 году на пленуме Коминтерна. Затем, незадолго до войны, он был направлен во внешнюю разведку. Сначала его резиденция находилась в Праге, потом в Париже. По мере продвижения германской армии должен был передвигаться и Венер, обосновавшись в конце концов в Швеции (в годы войны две нейтральные европейские страны Швейцария и Швеция были эльдорадо для шпионов обеих воюющих сторон). Согласно официальной версии, он был раскрыт и арестован шведской полицией; согласно версии неофициальной, Вальтер Ульбрихт, остававшейся в Москве, решил избавиться от своего более умного товарища (и в будущем, видимо, соперника) и, пока Венер выполнял свою задачу на Западе, добился от Сталина его назначения на шпионскую работу в саму Германию, где гестапо его бы быстро опознало (да и сам Ульбрихт мог выдать гестапо новый псевдоним и легенду Венера), и тот предпочел навести на себя шведскую полицию, неохотно ловившую шпионов, не работавших против самой Швеции. Так или иначе, Венер был арестован и осужден на год тюрьмы и интернирование как иностранец (все немецкие коммунисты сохраняли в Москве свое германское гражданство). После окончания войны Венер был выслан в Германию без права въезда когда-либо в Швецию. Здесь он стал социал-демократом и быстро занял ведущее положение.

Мне лично приходилось встречаться и даже дружить со многими бывшими коммунистами, в том числе и бывшими советскими агентами. Особенно близко я дружила с тремя бывшими крупными коммунистками, намного старше меня и теперь уже ушедшими из жизни. Это были две сестры; одна — широко известная Маргарита Бубер-Нейман, жена, а потом вдова известного Неймана, жившего вместе со всеми немецкими коммунистами, бежавшими от Гитлера, в московском отеле люкс. Группа более интеллектуального Неймана столкнулась с группой Ульбрихта. Ульбрихт победил, и в «знаменитом» 1937 году Нейман и часть его сторонников были расстреляны. Его вдова и вдовы других расстрелянных попали в концлагерь в Караганду. В 1940 году Сталин выдал Гитлеру впавших в немилость немецких коммунистов, в их числе была и Бубер-Нейман. Это спасло ей жизнь; она попала в немецкий концлагерь Равенсбрук, где условия работы и жизни были много лучше, чем в Караганде. Ее счастьем оказалось, что сама она была немкой, только замужем за ев-

реем. Автор известной книги «Пленница у Сталина и Гитлера», Бурбер-Нейман жила во Франкфурте, и потому встречались мы редко. Зато ее старшая сестра, Барбара Грос, жила в Мюнхене, и мы часто бывали вместе. Она тоже была коммунисткой, хотя и с менее драматической судьбой: от Гитлера она бежала сначала в Испанию, а потом в Мексику, где и прожила до конца войны. Третьей в их союзе была Хедэ Массинг, австриячка, очень молодой аполитичной девушкой вышедшая замуж за немецкого коммуниста Герда Эйзлера, сделавшего из нее коммунистку. Эйзер был потом министром пропаганды в ГДР. Разведясь с ним, она снова вышла замуж за другого немецкого коммуниста, Массинга, и долго работала на коммунистов.

Родилась она в США, но ее родители вернулись в Австрию, когда она была еще совсем маленькой. Теперь компартия побудила ее взять американское гражданство, причитавшееся ей по рождению, и она стала курьером между коммунистами Европы, СССР и США. Затем она работала самостоятельно в США по вербовке агентов, занимавших довольно высокие посты американской администрации. Так она завербовала американского дипломата Ноэла Филда. Она также знала, что Алжер Хисс, занимавший большую должность в государственном департаменте США, был советским агентом. Но на суде над Хиссом доказать этого не удалось, и он был осужден лишь за дачу ложного показания под присягой. Завербованный же Массинг Филд спас ей и ее мужу жизнь. Когда супруги начали сомневаться в советском коммунизме, а произошло это в роковые 1937–1938 годы, они все же решили поехать в Москву и убедиться в правильности своих сомнений. В Москве им разрешили остановиться в отеле, но выйти из него они уже не могли. Массинг жаждала одного: добраться до американского посольства, но это-то и было невозможно. И вдруг в номере появился Ноэл Филд! Почему, как его пропустили, она так и не узнала. Он стал к тому времени преданным советским агентом, возможно, его задачей было проверить Массингов. Хедэ с большим трудом удалось уговорить Филда передать в американское посольство ее просьбу о помощи, что он и сделал. Американцы сейчас же потребовали отпустить американскую гражданку. Шел 1938 год. Кажется, в советском руководстве еще не было принято твердое решение, к какой из сторон назревающего конфликта с Германией присоединится СССР; ссориться с США из-за Массингов властям не имело смысла. Хедэ очень боя-

лась, что ее мужа, германского гражданина, не выпустят вместе с ней или отправят в гитлеровскую Германию. Но его выпустили. Приехав в США, Массинги сначала вели уединенную жизнь на маленькой ферме, боясь преследований со стороны советских органов. Потом Хеде вернулась в политику (даже выступила свидетельницей по делу Алжера Хисса) и стала активной антикоммунисткой. Ее муж предпочел остаться в стороне от политики. Теперь она жила одна, полгода в Нью-Йорке, полгода в Мюнхене. Я встречалась с ней и там, и там, чаще, конечно, в Мюнхене.

Можно еще упомянуть русского, Юрия Васильевича Кроткова, работавшего внутри СССР агентом по вербовке иностранцев — представителей дипломатического корпуса стран Запада. Согласно его рассказу, ему удалось завербовать посла Франции Дежана, писавшего после этого ложные доклады министру Кув де Мюрвилю. Последний заметил неладное, но де Голль, стоявший тогда во главе Франции, доверял Дежану, своему товарищу по Сопротивлению. В 1963 году Юрий Васильевич стал невозвращенцем и раскрыл английской секретной службе все, что знал. Та сообщила Сюрете, и Дежан был отозван. Кротков, весьма второстепенный писатель, одно время сотрудничал с радиостанцией «Свобода», потом уехал в США, где давал показания в сенате. Мы познакомились и часто встречались в Мюнхене, а также в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Для чего я привела всю эту серию судеб бывших коммунистов и даже агентов, отпавших потом и отвернувшихся как от режима, так и от коммунизма? Мне хотелось указать на некоторые общие биографические моменты, объединявшие столь разных людей: все они стали яркими антикоммунистами, открыто писали о своей прошлой деятельности (история вербовки Дежана была напечатана в Readers Digest», Хеде Массинг выпустила книгу, где повествовала о своей агентурной деятельности, Бубер-Нейман и ее сестра, госпожа Гросс, выпустили несколько автобиографических книг). Затем все они на Западе тяготели к наиболее правым (не в смысле национализма) и антикоммунистическим партиям, немцы — к ХДС и ХСС. Эти два признака были как бы гарантиями их искреннего ухода от коммунизма и от советской системы.

После такого пространного отступления вернемся к германской политике 60-х годов. Венер не представил ни одного из указанных выше критериев: он не опубликовал своих мемуаров и вообще молчал о своем прошлом, и хотя ушел от коммунистов, но присое-

динился к более левой партии, социалистической. Обычно же у бывших коммунистов, часто с болью и великим трудом вырывавшихся из своих иллюзий, происходил сильный откат далеко в противоположную сторону (особенно в те сталинские времена); они не останавливались посередине, как остановился Венер.

Итак, стоял вопрос о большой коалиции. Барон Гуттенберг, не имевший опыта в общении с настоящими или бывшими коммунистами, поверил Венеру, обещавшему, что при большой коалиции в бундестаге образуется большинство в 2/3, необходимое для изменения конституции, и избирательный закон (предусматривающий выборы по партийным спискам) будет заменен мажоритарным. (Венер не мог не понимать, что тогда его партия надолго останется в оппозиции; вряд ли его обещания были искренними.) Так или иначе, он их не выполнил. Избирательный закон в Германии и по сей день остается прежним.

В то время я вступила в партию ХСС и была знакома как с бароном Гуттенбергом, так и с его зятем, молодым графом Штауффенбергом. Я пробовала посеять в бароне Гуттенберге сомнения в искренности Венера, но, конечно, это было напрасно, тем более что у меня самой не было полной уверенности. Маргарита Бубер-Нейман считала, что в страшном 1937 году Венер был в числе доносчиков на ее мужа, Гейнца Неймана, но, даже если это и имело место, не было уверенности, что и сейчас Венер — предатель. Позже я много общалась с матерью барона Гуттенберга, жившей в Мюнхене через улицу напротив меня. Она мне рассказывала, как Венер втирался в семью Гуттенбергов, как он, положив руку на плечо сына, барона-подростка, говорил: «Молодой барон, ваш отец — мой друг». В 1971 году «его друг» выступал в бундестаге со своей знаменитой речью о свободе. У него была странная болезнь, похожая на мультиплисклероз, и разрешено ему было стоять не больше 15 минут; он простоял 50 минут и не мог уже сам сойти с трибуны. Ему помогли, а «друг» Венер громко сказал: «Ну этот уже ни на что не годен». Барон Гуттенберг скончался в возрасте 51 года.

Однако вернемся к началу. Итак, в 1966 году была создана большая коалиция во главе с канцлером Кизингером и Вилли Брандтом как вице-канцлером и министром иностранных дел. В парламентской оппозиции осталась только малочисленная и слабая партия свободных демократов, представлявшая преимущественно интересы промышленников. И хотя относительно левые социал-демок-

раты были в правительстве, в стране поднялась так называемая «внепарламентская оппозиция» именно с левой стороны. Стало наглядно видно, что в парламенте должна существовать солидная оппозиция, иначе получается впечатление бесконтрольности правительства, что способствует возникновению хаотических движений, особенно среди молодежи. Однако в Германии были и другие причины волнений, преимущественно студенческих.

В высших школах ФРГ существовала в те годы весьма авторитарная система. Многие студенты и аспиранты боялись высказывать свое настоящее мнение и старались выражать взгляды того профессора, который будет оценивать их работу. Помню, как в мою бытность в Марбурге одна студентка сказала, что пишет диссертацию по Томасу Манну и Достоевскому — сравнение. Я сказала, что не очень высоко ценю Томаса Манна; она ответила, что и она тоже, но написать этого не решится, так как ее работу будет читать как профессор-славист, так и германист, а последний в восторге от Томаса Манна. Я вспомнила, как выбрала в свое время Степуна, потому что с ним так хорошо было спорить, и на докторском экзамене проспорила с ним полтора часа об оценке Константина Леонтьева. Но большинство немецких профессоров не поощряло своих студентов выражать собственное мнение. Возмущение студентов против такого авторитаризма было обоснованным, но, как это обычно бывает, перехлестнуло через край и приняло отчасти безобразные формы.

Все это совпало с неожиданным ренессансом марксизма. Когда я была студенткой, училось еще много бывших солдат, повидавших на территории СССР, до чего советский марксизм довел собственное население. Затем начали возвращаться пленные и рассказывали о советской лагерной жизни; так что среди молодежи господствовали антимарксистские настроения, что было видно еще в 1959 году на фестивале в Вене. Теперь же пришло новое поколение, не имевшее опыта практического марксизма. Появились идеологи нового его толкования, так называемого неомарксизма: Маркузе, Адорно, Хоркхейм (если назвать наиболее известных). Гёрберт Маркузе действительно овладел умами молодежи. Он выдвинул тезис: носителем революционного импульса является нынче не пролетариат (которого теперь уже и не было, так как европейский рабочий класс никак нельзя было назвать обнищавшим пролетариатом), а интеллектуальная молодежь, именно студенчество. Это

импонировало. Бурное движение охватило не только Германию, но в значительно большей степени пылкую Францию, где возникали даже студенческие баррикады. Помню, в те годы один беженец-чех воскликнул: «В Праге студенты хотят такого строя, как в Париже, а в Париже — такого, как в Праге!»

Пражская весна

В Праге осуществлялась попытка сбросить советской тоталитаризм иным, более мягким путем, чем в Венгрии в 1956 году, путем более соответствовавшим ментальности чехов. Дубчек не порывал с Варшавским пактом, не объявлял нейтралитета, как это сделал в свое время Имре Нодж в Венгрии. Сначала я подумала, что это игра, легкое ослабление вожжей, что-то вроде хрущевской оттепели. Но постепенно становилось ясно, что пресса в Чехословакии стала действительно свободной. Прекратилось и политическое преследование; в Чехословакию приезжали деятели культуры, писатели, журналисты, и, вообще, туда можно было поехать!..

Я очень жалею, что не съездила в Прагу в течение этих нескольких свободных месяцев 1968 года. По мере того, как мне становилось все яснее, что пресса в Чехословакии действительно становится свободной, мне одновременно было очевидно, что ввод советских войск в Чехословакию неизбежен, а разговоры о коммунизме с человеческим лицом — пустая болтовня: у коммунизма нет человеческого лица. При наличии свободы прессы никакой коммунизм долго просуществовать не мог; как несовместимы гений и злодейство, так и коммунизм и свобода.

Чехословакия была единственным государством Варшавского пакта, где не стояли советские войска. В 1948 году коммунистический переворот произошел без помощи советских войск, что очень испугало Запад. Просоветский президент Бенеш не оказал коммунистам серьезного сопротивления. Члены правительства, пытавшиеся его оказать, были быстро сломлены. Министр иностранных дел Масарик, сын известного чешского мыслителя и первого президента независимой Чехословакии, был выброшен из окна его кабинета, что дало повод говорить о втором пражском выпадении из окна (как известно, в XVII столетии, перед началом Тридцатилетней войны, выпавшие в Праге из окна серьезно не пострадали: они упали в кучу навоза и остались невредимыми). Но теперь шел жестокий XX век: Масарик разбился насмерть.

Я пыталась предупредить тех политиков, с которыми мне приходилось беседовать, что ввод войск неизбежен, но от меня только отмахивались, выдвигая в качестве контраргумента то, что Чехословакия (в противоположность Венгрии) не вышла из Варшавского пакта. На Западе никак не хотели понять, что идеология важнее, чем внешнеполитические пакты: Чехословакия выскальзывает из-под этой идеологии, значит, ее нужно вернуть, и, как говорил Лесной Король в стихотворении Гёте, «если ты не хочешь добровольно, я тебя возьму силой». Но в Германии царило почти что праздничное благодушное настроение. «Теперь не то время», — говорили мне нередко. Вот именно не то...

В 1956 году все было еще напряжено. Запад мог помочь Венгрии вооруженной силой. Два обстоятельства воспрепятствовали этому: 1. Начало войны за Суэцкий канал, что отвлекло силы Запада на другую цель. 2. Выборы в США. Эйзенхауэр уже не мог избираться на следующий срок, но и оставлять новому президенту в наследство, возможно, Третью мировую войну он бы вряд ли решился. И все же вмешательство Запада в Венгрию не казалось совсем невозможным: «холодная война» была еще в стадии «полугорячей»...

Теперь же все расслабилось, хрущевская разрядка сыграла свою роль. Кроме того, в США опять были выборы и опять нового президента, так как Джонсон отказался баллотироваться на второй срок. И, кроме того, Вьетнам! На Западе даже в высших политических кругах существовало идиотское убеждение, что во всем виноват красный Китай, что это он поддерживает вьетконг и угрожает СССР, а миролюбивый Советский Союз готов устроить для США почетный мир во Вьетнаме и сам боится Китая. И это при том, что даже мы, обычные граждане, знали, что оружие для вьетконга идет из Советского Союза через тот же якобы враждебный Союзу Китай! Время было на самом деле не то, но в ином смысле, чем думали говорившие эти фразы: Советскому Союзу совсем нечего и некого было бояться.

В Мюнхен стали приезжать интеллектуалы из Праги. Помню форум, устроенный профессором Лобковицем, где главным докладчиком был приехавший из Праги известный литературный критик Гюльштюкер, один из тех, кто подписал Пражский манифест интеллектуалов, с которого все началось. Я пошла на этот форум вместе со знакомым немцем из ХСС, и по дороге мы говорили на ту же тему: введут войска или нет. Он даже саму мысль о выводе войск

считал нелепой. После доклада была дискуссия, и в ее ходе, отвечая на какой-то вопрос, Гольдштюкер сказал: «Если мы устоим», и лицо его исказилось такой болезненной гримасой, что стало жутко. Мой знакомый наклонился ко мне и прошептал мне в ухо: «Вы правы, они боятся». Конечно, они боялись.

В Школе офицеров бундесвера (из которой потом вырос университет), где я по совместительству преподавала, каникулы были короткими — с месяц, от конца июля по конец августа. Я вела семинар по внешней политике СССР и, отпуская офицеров на каникулы, сказала, что советские войска скоро войдут в Чехословакию, не знаю точно когда, так как у меня нет всей необходимой информации, но думаю, до назначенного на 19 сентября съезда чехословацкой компартии или сразу после съезда, чтобы посмотреть на результаты (потом выяснилось, что именно этого съезда Москва и не хотела допустить, но, как сказано, я не обладала всей информацией). По глазам моих слушателей я понимала, что они лишь из вежливости не сказали мне, что я говорю чушь...

Следующее занятие было в конце августа, то есть после знаменитого 21-го числа... Теперь они просто впились в меня глазами: «Откуда вы это знали?» Ну как объяснить наивным западникам что в идеологии заложены параметры ее действия при тех или иных условиях? Я ответила, что у меня нет «горячего телефона» к Брежневу, и я делала предположения только из логики идеологии. Уже позже мне как-то позвонили из центрального бюро ХСС и сказали, что у них имеется тайная информация о том, что скоро советские войска войдут в Польшу. Мне стало скучно: «Бросьте эту информацию в корзину для бумаг, — сказала я. — В Польше и так уже стоят советские войска, кроме того, даже пыльные поляки, зажатые между СССР и ГДР, не решатся на открытое сопротивление».

А потом Брандт вдруг заявил, что советские войска войдут в... Румынию. Трудно было придумать что-либо более нелепое. На радио «Свобода» состоялся круглый стол по этим темам, пригласили участвовать и меня. И спросили, прав ли Брандт.

— Ну конечно же, нет! Зачем же советским войскам входить в Румынию, когда Чаушеску — ярый и жестокий коммунист! — сказала я.

— Но ведь Румыния в своей внешней политике пытается сблизиться с Западом!

— А в чем же здесь беда? Запад будет давать деньги коммунисту Чаушеску, а СССР сможет сэкономить средства, а то ведь экономи-

ческое положение Румынии отчаянное, и финансовая помощь ей необходима.

Важна не внешняя политика, важна идеология. И с Тито уже все пришло в норму. А впоследствии, в 1973 году, во время последней израильско-арабской войны, получившей название войны Йом-Кипур, поскольку в этот Судный день арабы напали на Израиль, и, когда чуть было не вспыхнула Третья мировая война, Тито открыл военный аэродром Дубровники для советских военных самолетов, если они захотят лететь на Ближний Восток, а канцлер Шмидт закрыл германские военные аэродромы для американских военных самолетов, если они захотят лететь в том же направлении, хотя Германия была членом НАТО. Конечно, у американцев в Германии были свои аэродромы, но германские для них были закрыты. Я тогда позвонила графу Штауффенбергу и спросила его, заметил ли он, что Германия фактически вышла из состава НАТО. Он ответил, что сам не заметил, но до меня ему позвонила уже другая знакомая дама и задала тот же вопрос, и тогда он это тоже заметил и поставил этот вопрос в бундестаге. Но война, к счастью, не разразилась, а США сумели потом достаточно крепко привязать Германию к НАТО и к себе.

Философский конгресс в Вене

Интеллигенция, конечно, кипела возмущением по поводу ввода советских войск в Чехословакию. Чехи по своей национальной особенности не сопротивлялись, что было бы и безнадежно. А на сентябрь 1968 года давно был намечен международный философский конгресс в Вене. Всех нас интересовал вопрос: приедут ли участники из Чехословакии? Они приехали. Разрешения им были выданы давно, и коммунисты решили, что их не следует отнимать.

Программа конгресса была тоже составлена заблаговременно (до событий последних недель), и по этой программе большое место отводилось участникам из СССР. Возможно, во время составления программы еще хотели почтить «разрядку», но ко времени открытия конгресса она была уже в прошлом. Программу, конечно, не меняли, и самым первым оратором на первом пленарном заседании был советский марксист Ойзерман. Он изложил официальную теорию исторического материализма. Отвечать было на что, но в дискуссии, объявленной сразу же после доклада, невозможно было бы возразить на все, и я выбрала исторический детерминизм, то

есть утверждение закрытого будущего: в конце истории неизбежно, мол, стоит коммунизм. Этого закрытого будущего нельзя вывести даже из писаний Маркса (как известно, он писал, что будет или коммунизм, или гибель человечества). Советские марксисты оказались оптимистичнее. У меня был уже достаточный опыт конгрессов и всяких других встреч, и я знала, что обычно люди странным образом сначала мнутя, немного стесняются выступить первыми, но смельчаки получают больше всего времени для своих дискуссионных выступлений, а потом, когда время начинает поджимать, выступления сокращаются до пяти или даже до трех минут. Что можно сказать за три минуты? Итак, как только была объявлена дискуссия, я первая подняла руку и выступила с разгромом советского исторического детерминизма. Я могла говорить четверть часа. Мое выступление произвело впечатление. После меня было только одно яркое выступление одного черного африканца. Однако журналистам, гоняющимся за дешевой сенсацией, недостаточно было яркого содержания, им нужна была еще интересная для данного момента личность, и они приписали мое выступление чешке, которую тоже звали Вера и фамилия которой была немного созвучна моей. Пикантно: чехи бьют по советским если не танками, то словами. Моя тезка была в ужасе. Она нашла меня и со слезами на глазах сказала: «Я с вами совершенно согласна, я бы охотно сказала то же самое, но мне надо возвращаться в Чехословакию, у меня там остались дети, что со мной будет?» Мне пришлось созвать краткую пресс-конференцию и не только сказать, но и раздать письменно заявление, что выступала не она, а я. Надеюсь, из-за жадности журналистов к сенсациям и полного их пренебрежения к человеческой личности ее не преследовали. В оправдание журналистов можно было бы только сказать, что не все чехи и словаки вернулись после этого конгресса на родину, иные стали эмигрантами, как, например, известный чешский философ Праха, доклад которого в свое время коммунисты предусмотрели как выступление в пользу советского марксизма, а он разгромил диалектический материализм и уехал в Париж.

Любопытно было наблюдать поведение участников конгресса из стран-сателлитов. Самыми правоверными были болгары и немцы из ГДР. Известный болгарский марксист Тодор Павлов шипел на меня на чистом русском языке: «Продолжайте в том же духе»; я отвечала: «Не сомневайтесь». Немцы вообще избегали каких-либо контактов. Поляки и венгры вели себя более независимо. Как-то я

шла по совсем пустому коридору, вдруг из одной двери, выходявшей в коридор, вышел шеф польской группы, известный Адам Шаф. Увидев меня, он сразу же бросился ко мне с вопросом: «Нет ли у вас Солженицына?» У меня, к сожалению, не было, но я ему указала, у кого он мог бы получить эти книги, и предложила ему «Зарубежье», сказав, что это русский антикоммунистический журнал. Он — быстро: «Давайте, давайте!» — сунул пачку за пазуху и убежал.

Вена решила блеснуть приемом. Сентябрь был теплым и сухим, и вечером в большом университетском дворе расставили столы со множеством яств. Я не сразу села за какой-то стол, а ходила по двору, приглядываясь к участникам конгресса. Из СССР приехало 120 участников, самая большая делегация. Они расселись за несколькими столами все вместе. Я медленно проходила мимо, поглядывая на них. Один, сидевший с краю, уставился на меня и начал приподниматься со стула. Ему, видимо, очень хотелось со мной заговорить, но он не решился и тяжело плюхнулся снова на стул. Мне стало их всех очень жаль.

Я пошла дальше, и вдруг меня начали усиленно звать, я подошла, и мне предложили присесть к их столу. Это были... румыны. Меня удивило, что румыны вели себя так свободно. Все они прекрасно говорили по-русски (они кончали университеты в Москве или в Ленинграде, некоторые учились у того же Ойзермана, о котором говорили с легкой иронией). Я спросила, кто из них каким отделом философии занимается. «Эстетикой, — ответили они хором, — мы здесь все эстеты», — провозгласили они с широкими улыбками. Все понятно: эстетика — наиболее удаленная от политики часть идеологии.

В противоположность своим товарищам Ойзерман не боялся разговаривать с такими «контрреволюционерами», как я. Встретив меня на лестнице, он сам заговорил со мной. «И почему, — сказал он, — марксистам сто лет задают одни и те же вопросы?» — «Да потому, — ответила я, — что марксисты сто лет не могут на них ответить». В это время по лестнице стали подниматься другие члены советской делегации. Меня они видели со спины, а Ойзермана в лицо, и один спросил его, где будет следующее непленарное заседание; тот не знал. Тогда я полуобернулась и сказала: «Поднимитесь, наискось будет дверь, на ней написано «Festsaal», там и будет заседание». Они со страхом на меня взглянули, не поблагодарили и прыгнули вверх по лестнице. Несчастные люди!

История с моим выступлением не прошла бесследно. Даже «Из-

вестия» в статье о конгрессе выругали меня и югославского философа Стояновича, а в «Вопросах философии» Ойзерман написал статью, где попытался мне ответить: мол, победа коммунизма, конечно же, необходима, но все же не неизбежна. Я написала открытое письмо в журнал «Вопросы философии». Сначала я иронически поблагодарила Ойзермана за то, что он оставил надежду: если коммунизм нельзя обойти, то его все же можно обещать. Затем указала на его передергивание: он утверждал, что после его заключительного слова я уже не решилась ему возражать. Но все знают, что после заключительного слова докладчика никому уже не дают возможности для дискуссионного выступления, оттого это и называется «заключительным словом». Затем я уже серьезно подтвердила в письме некоторые мои тезисы. Письмо мое, конечно, не было опубликовано, и ответа я не получила.

Два года спустя, в 1970 году, был конгресс по Канту в американском городе Рочестер, на канадской границе. На этом конгрессе я тоже делала небольшой доклад о русских неокантианцах. Тут советских участников было много меньше, чем в Вене, всего лишь двое: все тот же Ойзерман и грузин Табидзе. О Табидзе рассказывали, что он написал по-грузински довольно вольный труд, но в краткой аннотации по-русски текст был причесан под стандарт советского марксизма. А кто там понимает трудный грузинский язык? Опять Ойзерман делал доклад на пленарном заседании. В нем он заявил, что Кант предвидел прозрения Маркса. Некоторые американские участники, знавшие меня еще по Вене, подходили ко мне и говорили иронически: «Вот теперь мы знаем, кем был Кант, предтечей Маркса!»

Ойзерман подошел ко мне в кулуарах и сказал: «Знаете, мы даже хотели печатать ваше письмо, но потом редакция решила, что оно неинтересно». Я спросила: «Для кого?» Табидзе был рядом, в разговор не вмешивался и делал вид, что рассматривает книги на стенде, но в течение всего разговора широко улыбался. Ойзерман продолжал: «А вы напишите для «Вопросов философии» статью». Я: «И вы напечатаете? Без купюр?» Он: «Ну, мы вынем то, что неинтересно». Я: «Кому неинтересно? Вы вот даже художественные произведения не печатаете, набор «Ракового корпуса» Солженицына рассыпал». Он: «Но мы напечатали Солженицына». Я: «Да, „Ивана Денисовича“, „Матренин двор“, „Случай на станции Кречетовка“». Ойзерман как-то вытянулся, точно стал выше, и торжественно

сказал: «И крохотки». — «Да, вот крохотки!» Табидзе все шире расплывался в улыбке. Это была моя последняя встреча с Ойзерманом.

После этого конгресса некоторые американские университеты и колледжи в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии и небольшие, но престижные колледжи Вирджинии пригласили меня сделать доклады. Получив отпуск в Мюнхенском университете, в ноябре–декабре того же года я совершила лекционную поездку по востоку США.

Лекции и доклады, которые я читала (по-немецки или по-русски), я никогда не писала и говорила свободно, но английским свободно не владела, а потому доклады написала и, попросив знакомого англичанина проверить, читала с листа. Немного опасалась за дискуссии, но уже настолько вжиялась в американский язык, что могла дискуссировать, хотя временами приходилось подыскивать более простые выражения. Я написала: «американский язык», так как учила английский и в первый момент в США растерялась: мне показалось, что я не понимаю самых простых слов, сказанных американцами, но уже дня через три вполне освоилась.

В одном престижном колледже в Вирджинии после доклада была очень длинная дискуссия, студенты задавали массу вопросов. До того меня перед докладом познакомили с профессором математики, немецкой еврейкой; она бежала от Гитлера сначала в Англию, потом в США. Немецкий она не забыла (мы с ней говорили на этом языке) и вызвалась помочь, если у меня возникнут затруднения с пониманием вопроса или с формулировкой ответа во время дискуссии. Но когда я обратилась к ней за помощью, то увидела человека, совершенно неспособного переводить: она беспомощно повторяла вопрос по-английски и ответ по-немецки. Больше я не прибегала к ее помощи и хорошо провела дискуссию сама. По окончании она меня спросила: «Почему же вы говорили, что недостаточно владеете английским?» Я ответила: «Так и есть, но вы же не могли переводить, что же мне оставалось делать, как не заговорить по-английски?» На другой день мы вместе с пригласившей меня доценткой завтракали в студенческой столовой, и к нам подошла группа студентов, чтобы поблагодарить меня за прошлый вечер: «Это было здорово», — сказали они. Я удивилась: «Но я совсем не «здорово» говорила по-английски». — «Какое это имеет значение, — ответили они, — зато вы отвечали точно на заданный вопрос, а наши профессора просто повторяют то, что уже сказали, безотносительно к

смыслу вопроса». Эти слова заставили меня задуматься. И в Германии бытовало такое явление, отчасти против него были направлены вначале первые студенческие протесты.

Студенческие беспорядки

Между тем политическое развитие в Германии шло, видимо, по концепции Венера. Изменение избирательного закона, ради которого была создана большая коалиция, он предотвратил. Социал-демократы просто нарушили коалиционное соглашение, так что избирательный закон остался прежним и очередные выборы в 1969 году проходили снова по партийным спискам. И опять ХДС/ХСС стала самой сильной партией в бундестаге, но снова не добрали до абсолютного большинства. За спиной слабого канцлера Кизингера уже велись переговоры о новой политической конstellации. Партия свободных демократов, до сих пор коалировавшая только с ХДС, переменила ориентацию и составила новое правительство с социал-демократами против самой сильной партии в бундестаге. Новым канцлером стал Вилли Брандт (он оказался первым канцлером под псевдонимом: настоящие его имя и фамилия Герберт Фрам. Мне вспоминалось то, что Р. Б. Гуль писал о псевдонимах, захвативших в России власть после 1917 года; первые десятилетия советской власти никто не выступал под своим собственным именем).

Перемена фронта вызвала сильное волнение в малой коалиционной партии. Не все были готовы пойти на оппортунизм во имя власти. Несколько членов этой партии вышли из ее рядов и присоединились к ХДС, в том числе и ряд депутатов бундестага. Хотя выборы шли по партийным спискам, так называемый «императивный мандат» официально отрицался, то есть фракция не имела права обязывать депутатов из своих рядов голосовать согласно желанию партии, каждый депутат должен был отвечать только перед своей совестью. Конечно, на практике это правило превращалось в фарс. Но если избранные по партийным спискам депутаты выходили из рядов своей партии и даже вступали в ряды другой, они не были обязаны отдавать свой депутатский мандат, просто депутатов другой партии становилось больше. И вот вследствие таких переходов правящая коалиция потеряла большинство в бундестаге. В связи с этим ХДС решила внести в бундестаг конструктивный вотум недоверия.

По германской конституции не разрешалось парламенту высказать правительству просто вотум недоверия, по которому прави-

тельство во главе с канцлером уходило бы в отставку и начинались мучительные поиски нового канцлера (этим до де Голля очень злоупотребляло французское национальное собрание, премьеры сменялись как перчатки, и один просуществовал ровно 24 часа). Поэтому в немецкой конституции записан конструктивный вотум недоверия. Если парламент голосует большинством за недоверие данному правительству и возглавляющему его канцлеру, то они тем самым выбирают уже нового канцлера, который предлагается теми, кто вносит вотум недоверия на голосование.

ХДС, имевшая теперь в бундестаге абсолютное большинство в два голоса, выдвинула как кандидата в канцлеры своего председателя Райнера Барцеля. Голосование было тайным, но казалось предрешенным: большинство в два голоса — небольшое большинство, но большинство есть большинство. Однако произошла сенсация: два депутата из партии ХДС воздержались от голосования. Из-за этого голоса «за» и «против» вотумы недоверия разделились поровну, а в этом случае действующий канцлер остается на своем посту. Недоумение царило в рядах ХДС. Значительно позже один из воздержавшихся открыл свое имя и признался, что был подкуплен и заплатили ему немного — 50 тысяч марок. Но, так или иначе, Брандт остался канцлером.

Воспользовавшись этой купленной победой, Брандт объявил новые досрочные выборы в бундестаг на конец того же года. Затем Брандту была присуждена Нобелевская премия мира. Вокруг него создался ажиотаж, и он плыл на волне успеха. На предвыборных плакатах его изображали с глазами, поднятыми к небу, не хватало только венчика вокруг головы. Социал-демократы стали после этих выборов впервые самой сильной партией в парламенте, но абсолютного большинства не получили; сохранилась коалиция со свободными демократами. И вдруг, как взрыв фейерверка, по стране стали распространяться политические анекдоты, которые я называю «тоталитарными»...

В СССР и в национал-социалистической Германии рассказывали очень похожие, по существу, одинаковые анекдоты, только интэрьер был другой. В демократических странах, где критиковать правительство можно во всеуслышание, анекдоты если и возникают, то немногочисленные и добродушные. А тут как из рога изобилия посыпались чрезвычайно злые, чисто тоталитарные анекдоты, хотя свободу слова никто не ограничивал. «Шпигель» даже опубли-

ковал несколько страниц таких анекдотов, да и то далеко не все. Приведу только один из них: «Брандт, Венер и Шеель (внц-канцлер и министр иностранных дел) ехали в лодке, лодка перевернулась. Кто будет спасен? Ответ: Германия».

Эта волна злых анекдотов выражала недоверие значительной части населения к Брандту и, особенно, к Венеру. Вспоминалось их коммунистическое прошлое, и задавался тревожный вопрос: только ли это прошлое? В отношении Венера мало кто верил, что это лишь прошлое. Венер не пытался опровергать эти подозрения, наоборот, уверенный в своем положении, он демонстративно подливал масла в огонь. Как только в 1973 году ушел от власти в ГДР его личный враг Вальтер Ульбрихт, он полетел к его преемнику Хонеккеру пить кофе и есть торт (это свидание показывали по телевидению). А когда делегация бундестага с участием Венера посетила Москву, он отделился от группы и куда-то исчез, его коллеги даже заволновались: где же Венер? Но потом выяснилось, что Венер встречался со своим бывшим шефом, главой внешней разведки СССР Борисом Пономаревым. Смущало приветливое отношение к нему советских властей, которые, как известно, не любят изменников больше, чем открытых врагов. Так был ли Венер изменником в глазах советских руководителей? Народ ответил на это сейчас же новым анекдотом. Следует отметить, что Венер перенес инсульт, от которого оправился, однако рот его остался слегка искривленным. Все это было еще до его поездки в Москву, но анекдот игнорировал фактор времени, он гласил: «Отчего Венер вернулся из Москвы с искривленным ртом? Оттого, что его снова приняли в компартию и ему пришлось за 30 лет доплачивать членские взносы».

Между тем с самого начала стало ясно, что демагог и популист Брандт совершенно не в состоянии управлять государством. Он мог блистать по праздникам, но не работать по будням. Один из менее злых, но наиболее точный анекдот о Брандте звучал так: «Как Брандт принимает свои решения? Так же, как и удит: он предоставляет решениям проплывать мимо и ждет, какое клюнет». Когда члены ХСС, шокированные такими успехами конкурирующей партии, говорили мне, что они сейчас будут пристреливаться к Брандту, я отвечала, что это не имеет смысла, Брандт — это прошлое, в середине легислатурного периода он уйдет с поста канцлера. И снова мне не верили. Венер, конечно, ясно понимал, что Брандт не способен управлять страной. Он предложил ему почет-

ную отставку: баллотироваться в президенты. Президент в Германии не имеет никакой политической власти, он только репрезентирует, вручает ордена и пр. Правит страной канцлер. И избирается президент не народом, а федеральным собранием, специально для этого созываемым раз в 5 лет и состоящим из представителей партий, имеющих в бундестаге, пропорционально числу их депутатов. Как раз предстояли такие выборы, но Брандт вкусил власти и не хотел с ней расставаться. Тогда в 1973 году был раскрыт шпион Гийом, один из самых близких Брандту его референтов (советников). Гийом оказался шпионом ГДР, специально посланным под видом беженца. Разразился большой скандал, и Брандт должен был уйти с поста канцлера. В Германии бытовало устойчивое мнение, что Венер давно знал, кто Гийом, и раскрыл его лишь для того, чтобы убрать упрямого Брандта. Канцлером стал Гельмут Шмидт. Коалиция осталась та же, но, как по мановению волшебной палочки, все злые анекдоты канули в Лету, и в стране установилась нормальная политическая и экономическая жизнь.

В то время как в верхних эшелонах власти происходили эти перемены, охваченное волнениями студенчество все не могло успокоиться. Претенциозные устремления новых толкователей марксизма во главе с Маркузе не смогли, как это обычно бывает, удержать влияния в массах, даже если это была лишь масса студенчества. Марксистская часть студенчества быстро примитивизировалась. Появились такие студенческие объединения, как «Спартак» и более влиятельные «Красные ячейки».

Коммунисты ГДР не преминули воспользоваться представлявшейся возможностью: На длинные семестровые каникулы они приглашали западногерманских студентов в ГДР, школили их там, натаскивали на советский марксизм, а потом платили стипендию 1000 марок в месяц (в то время для студентов большие деньги), для того чтобы, вернувшись, они в своих университетах и вузах индоктринировали своих сослуживцев на Западе. И тут сказались слабость немецкой профессуры, да и вообще интеллигенции: марксизмом, а особенно советским, никто не занимался, считая его примитивным; хотя это и справедливо, но никто не умел парировать эти самые примитивные тезисы.

Меня снова приглашали с докладами. Иногда приглашали священники; один почти со страхом сказал, что среди слушателей есть

некто Аксель, которого никак не переспорить, не знаешь, что ему отвечать на дискуссии после доклада. Сначала на моей дискуссии были только нормальные вопросы, затем выступил наконец этот самый Аксель, сказав какую-то несуряцицу, на которую я ответила в несколько ироническом тоне, что вызвало смех слушателей, после чего он больше не заявлялся. Потом я спросила прелата: «Ну, где же ваш знаменитый Аксель?» Тот ответил: «Да, удивительно». Я: «Ничего удивительного, займитесь марксизмом».

Чаще всего такой дискуссионный «Аксель» выступал со словами: «Маркс писал...», но достаточно было обратить его внимание на то, что Маркс этого никогда не писал, а писал Ленин, как тот приходил в смущение и больше не рисковал дискутировать. Как правило, они не слишком хорошо знали труды и речи своих собственных учителей.

Но профессура, а тем более духовеиство, тоже не знали классиков марксизма, и их легко было смутить. Кроме того, немецкие профессора не привыкли к дискуссиям. Теперь же профессура была коифронтирована не только с возражениями в вежливой форме, но и с наглыми нападками. Если же профессор был более удачен, начиналось то, против чего ни один человек не может устоять: крик, шиканье, шум. Лекция срывалась. После таких «дискуссий» случилась, что доцент попал в нервную клинику, а один профессор, спасаясь, выскочил в окно, благо что на первом этаже.

Меня эта волна накрыла в 1971 году. Тема моего курса в тот семестр была, конечно, вызывающей: «Диалектический и исторический материализм». Первые лекции прошли спокойно. Не помню точно, на какой из лекций, войдя в аудиторию, я заметила группу молодежи, не принадлежавшую к обычным слушателям. Я начала лекцию. В аудитории не было кафедры, стояли не очень высокий стол и стул. Я никогда не садилась, и у меня не было конспекта, я всегда говорила свободно без помощи каких-либо бумажек. Так и теперь. Но мне стали указывать на стол: там, мол, что-то лежит для меня. Я посмотрела на стол и увидела листовку, не напечатанную типографским способом, а размноженную на ротаторе. Я взяла ее, сунула, не взглянув, в портфель и сказала, что отвечу на следующей лекции. Тогда стоявшие сзади стали тихоиько выходить из зала: они пришли как подкрепление в случае, если разразится скандал. Такой реакции с моей стороны они не ожидали, а перестраивать тактику по мере развития событий — это не немецкая черта, этого они не

умеют. Лекция прошла спокойно. Дома я увидела, что это листовка под заголовком «Сказочные лекции Веры Пирожковой». В ней меня обвиняли в неправильном изложении учения их основоположников и советского марксизма. В листовке было полно передержек и прямой лжи. Так, они утверждали, что я скрыла от слушателей «философское» определение материи Лениным, данное им в «Материализме и эмпириокритицизме». Однако на самом деле я даже диктовала им это определение, а затем раскритиковала, поскольку это не онтологическое, а гносеологическое определение и, кроме того, определяет целое как нечто, что может быть понято его частью! В общем, чепуха. Я решила ответить тоже листовкой, что технически сделать было не так просто. В то время еще не было ксерокса, а наше только-только создававшееся политологическое отделение достаточно ограничивалось в средствах, и у нас был только один старый ротатор, которым пользовались все профессора. Но мне удалось сделать достаточно большое количество листовок под заголовком «Фальшивка красных ячеек». Эту листовку я раздала студентам, и следующая лекция снова прошла спокойно. Одна девушка, член «Красных ячеек» (она потом вышла из их рядов), все подходила ко мне и просила не беспокоиться: «Те, кто вас слушает, знает, что вы на самом деле говорите». Ну а те, кто не слушает? «Красные ячейки» размножили новую листовку, но на моих лекциях ее не раздавали, мне принесла ее сочувствующие студенты. Там заявлялось, что я, мол, отстаиваю буржуазную философию, а потому со мной не стоит даже и спорить по отдельным вопросам, поскольку все направление ложно. Это было, конечно, самое удобное. Среди моих слушателей большинство было искренне сбитых с толку новыми учителями марксизма, я их называла «полулевыми». На всю массу было человек пять агитаторов, вышколенных в ГДР. Они утверждали, что проповедуют «генуинный», то есть истинный марксизм, отличающийся от советского. Но уже их листовки ясно показывали, что они самые настоящие советские марксисты, только неопытные студенты этого не понимали. Следует отметить, что в этом семестре они сорвали лекции даже профессору Лобковицу (которого нельзя было обвинить в незнании марксизма). После чего он читал лекции избранному кругу как бы тайно, не объявляя, в какой аудитории.

Он был деканом факультета и однажды предложил прийти на мою лекцию «для помощи», но я сказала, что хочу справиться сама.

На следующей лекции должна была начаться новая акция, теперь уже не мирная. Снова стояла «чужая группа» сзади. Когда я начала лекцию, мне сказали, что они хотят не лекцию, а дискуссию. Это была известная тактика. Если профессор отказывался, ему не давали говорить, он покидал аудиторию, и весь курс на этот семестр был сорван. Услышав требование, я увидела, что большинство хочет дискуссии, и прикинула, лучше мне капитулировать без боя или проиграть бой; я решила сделать последнее, настаивала на лекции. Тогда начались шум и шиканья, студенты кричали: «Голосовать, голосовать!» Проголосовали, конечно, за дискуссию. В этот момент профессора обычно покидали аудиторию. Я осталась и сказала: «Хорошо, но тогда надо выбрать руководителя дискуссии, и не из числа «Красных ячеек», а нейтрального». Для них это было первой неожиданностью, и наступило замешательство, затем с предложением согласились и выбрали какого-то студента, конечно, не умевшего вести дискуссий, ведь это большое искусство. Я и теперь не ушла, села боком на стол и стала наблюдать. Говорилось много глупостей, время от времени я невольно улыбалась. Пропагандистов это страшно нервировало. Один из них истерически вскрикнул: «Почему вы улыбаетесь так arrogantно?» Я возразила: «А почему бы мне не улыбаться?» После окончания дискуссионного часа ко мне подошла группа полулевых и сказала: «Мы поздравляем вас, что вы остались, на следующей лекции мы будем голосовать за вас».

Я слепо положились на это обещание. Кстати, коллеги упрекали меня, что я осталась: это, мол, унижение для доцента, я отвечала: «Дорогие коллеги, я проиграла одну битву, но не собираюсь проигрывать войну». Итак, придя на следующую лекцию, я заявила: «Теперь будем голосовать, лекция или дискуссия». Вожаки закричали, что уже было проголосовано за дискуссию. Я возразила: «Это касалось прошлой лекции, а теперь новое голосование». Они не хотели и начали что-то говорить якобы как дискуссию. Но большинство студентов стало шикать и кричать: «Голосование, голосование!» Мои полулевые меня не обманули. Проголосовали, и большинство было за лекцию. Для красных вожаков это было шоком, кажется, первый раз ошибались не профессора, а их. Лекцию выслушали молча, но под коец лидер пропагандистов, человек уже старше студенческого возраста, руководивший срывом лекций Лобковица, сказал: «Не сможете ли вы приносить тезисы следующей лекции и разда-

вать, потом читать две трети времени, а одну треть предоставлять дискуссии!» Я чувствовала, что большинство этого хочет, и согласилась. Сказала только, что у меня сомнения насчет технических возможностей делать так много копий, и добавила: «Может быть, „Красные ячейки” будут размножать мои тезисы, они богатые». Тогда один из них, которому не нравилась моя улыбка, крикнул: «Если нас называют иностранными агентами...» — и замолчал, ожидая опровержения, но я только бросила: «Вы сказали».

Размножать тезисы оказалось возможным. И с тех пор все пошло как по маслу. Руководила дискуссией, конечно, я сама, а студенты чинно поднимали руку и ждали, когда я дам им слово (я строго следила за тем, чтобы и марксисты не были обделены возможностью высказаться). На лекции, которую мне сорвали, был студент из Южного Вьетнама, антикоммунист; он говорил мне, что приходил бы на мои лекции, чтобы поддержать меня, но он изучает совсем другую дисциплину, и важная для него лекция проходит одновременно с моей. Он нашел возможность опять прийти на мою лекцию, когда все уже шло гладко. Подойдя ко мне, он с удивлением говорил: «Как вы их так усмирили?! А я думал, вас уже нет, все кончено!»

В нормальных дискуссиях вышколенные пропагандисты не могли устоять против меня: я и знала больше о советском марксизме, и была много опытнее в дискуссии. Их лидер, некто Фертель (шутники переменили в его фамилии букву «т» на «к», и получилось — «поросенок»), стал приносить на лекцию целую кипу книг и нервно листал их, ища подходящие ответы, на свою голову нашел какое-то, по его мнению, подходящее замечание Маленкова и торжественно заявил, что Маленков сказал то и то. Я же спросила его, знает ли он, что Маленков принадлежит к антипартийной группе? Все хохотали, так как к этому времени мои оппоненты полностью выдали себя. Стало ясно, что они не какие-то «генуинные» марксисты, а самые обыкновенные советские пропагандисты. Разочарованные полупевые подходили ко мне и говорили: «А мы и не знали, что они такие сталинисты». Даже «Красные ячейки» из-за этого раскололись. Отметим еще два момента. Когда мы дошли до происхождения человека по учению советского марксизма, я растрепала статью Энгельса на эту тему (в Советском Союзе предпочитали молчать, что Энгельс, кроме труда, считал причиной появления человека мясоедение, которое почему-то пришло в голову какой-то обезьяне), затем

дала слово для дискуссии. Выступил подготовившийся пропагандист и начал читать по бумажке скучнейший доклад, который студенты прозвали потом «Обезьяний трактат». Лидеры заволновались, стали требовать, чтобы он прекратил, но спасти ситуацию уже не смогли. Студенты начали покидать аудиторию.

Но когда я дошла до объективной телеологии развития мира, «истерик», был среди них и такой, не выдержал и закричал: «А вы, может быть, и в Бога веруете?» Сейчас же наступила абсолютная тишина, не было даже малейшего движения, все напряженно ждали ответа. У меня был момент искушения отговориться тем, что к лекции это не относится, но я себя преодолела, и сказала: «Это не относится непосредственно к лекции, но, если вы прямо спрашиваете, я прямо и отвечаю: да, я верую в Бога». Откровенно говоря, я опасалась, что начнутся шум и крики, но абсолютная тишина ничем не нарушилась, никто не шелохнулся. Спустя несколько секунд я продолжала лекцию.

После этого никто не пробовал нарушать мои лекции или семинары. И, вообще, студенческие беспорядки начали постепенно стихать. Да, и профессора спешно изучили марксизм, чтобы быть во всеоружии.

Студенты успокаивались, но все же достигли некоторых необходимых изменений в жизни высшей школы. Профессора уже не считали себя полубогами и допускали нормальные дискуссии со студентами. И как раз в это же время усилилась волна терроризма...

Где были корни терроризма, мне трудно сказать, я не изучала материалов этого явления, но известная помощь из ГДР, конечно, была, а с другой стороны, основные силы исходили из недр самой Западной Германии. Сначала действовала так называемая группа или банда, смотря по тому, кто как к ней относился, Баадер—Мейнгоф. Первый — Баадер — был мужчина, вторая — Мейнгоф — женщина, оба из интеллигенции (Мейнгоф — жена редактора). Была в их банде и дочь лютеранского пастора, и вообще немало идеалистически настроенной молодежи. Делали они то, что делают все террористы: устраивали взрывы, убивали лиц из руководства экономикой и политикой, брали заложников, чтобы добиться освобождения своих арестованных товарищей. Каким образом возникло это странное поветрие среди некоторой части молодежи, пытались разгадать психологи. Так, отец одного арестованного террориста рассказывал, что его сын в детстве был особенно жалостливым, он приносил до-

мой выброшенных щенков или котят, старался помочь подбитым птичкам и пр. Но, вырастая, он все больше убеждался, что все зло ликвидировать он не может, и пришел к решению уничтожить несправедливость силой — и из сердобольного мальчика вырос безжалостный убийца. Это искушение всех нетерпеливых идеалистов. Коммунисты в России показали, какой безумно-страшный размах может приобрести нетерпеливое желание построить совершенный мир средствами насилия, что приводило не к созданию рая, а к созданию ада на земле. Цель не оправдывает средства, наоборот, средства определяют цель. Дурные средства ведут к дурным результатам. Укажу на книгу С. Л. Фрайка «Падение кумиров», где описывается перерождение мягкой русской интеллигенции в жестоких палачей.

Главарей первой волны террора — Баадера и Мейнгоф, а также некоторых их сподвижников изловили, но они сумели в строго охраняемой тюрьме достать оружие и застрелились (министр внутренних дел объединенной Германии, ставший им в 1998 году, Отто Шилли был адвокатом террористов и подозревался в доставке им если не пистолетов, то, во всяком случае, нелегальной почты. Но доказать этого не удалось. Став министром, он выступит за строгие меры против смутьянов.

Когда похитили берлинского политика из партии ХДС Лоренца и потребовали выпустить нескольких арестованных террористов, власти пошли на это, но затем было принято решение: на шантаж больше не поддаваться. Так, после долгих мучений был убит председатель Союза промышленников Мартин Шлейер: требования террористов не были выполнены. Тогда начали прямо убивать. В своей квартире был убит банкир Понто, а наводчицей оказалась его крестница. В квартиру позвонили, жена Понто спросила: «Кто там?» Сусанна ответила: «я». Госпожа Понто открыла дверь, но вслед за девушкой в квартиру ворвались вооруженные мужчины, застрелили банкира, после чего беспрепятственно ушли. Сусанна была арестована в бывшей ГДР после воссоединения Германии. Она там жила мирной жизнью, была замужем, имела детей. Испытывала ли она когда-нибудь угрызения совести?..

Крупного деятеля Бринкмана застрелили через окно. Он и его жена приехали в свой загородный дом, вошли, зажгли свет и не задернули занавесок. Они были видны как на ладони, его застрелили спрятавшиеся в кустах убийцы, жену ранили. Потом было много

толков в прессе: почему его не охраняли, ведь всем было известно, что за Бринкманом охотятся?

Самым трудным решением для канцлера Шмидта было разрешение штурмовать посольство Германии в Стокгольме, когда его захватили террористы. В заложниках оказались немецкие дипломаты. При штурме несколько заложников погибли (среди них граф Мирбах, потомок того самого Мирбаха, убитого на заре советской власти; иногда судьба повторяется в потомках).

Я уже упоминала профессора Георга фон Рауха, преподававшего в Марбурге русскую историю (в мою бытность там). Из трех сыновей Рауха только старшего не захлестнула революционная стихия, он благополучно окончил университет по древним языком и преподавал латинский и греческий в классической гимназии. Второй, Иоганн, женился на коммунистке-вьетнамке из Северного Вьетнама. Он был арестован в Мюнхене. Зачем-то он со своим товарищем туда приехал, и уже на вокзале они возбудили подозрение полиции, попросившей документы. Раух полез в карман якобы за документами, но вместо них выхватил пистолет и направил на полицейского. К счастью, второй полицейский выбил пистолет из его руки прежде, чем он успел выстрелить. Его же товарищ убежал, схватил проходившую мимо девушку и, держа ее перед собой, как щит от пуль полицейских, скрылся через проходной двор. Рауха арестовали, и суд приговорил его к двум годам лишения свободы за попытку убить полицейского. В Мюнхен приезжал его отец, и я с удивлением прочла в газете его интервью, где он винил не сына, а полицию и суд. Тогда я не стремилась встретиться с Раухом-отцом. Он уже давно читал лекции в Киле, покинув Марбург вскоре после того, как я уехала в Мюнхен. Сначала мы переписывались, но постепенно наша переписка заглохла, как это часто бывает.

Младший сын профессора Рауха, носивший имя отца Георг, в мое марбургское время был еще совсем ребенком. После ареста его старшего брата пришло известие, что Георг фон Раух погиб в Берлине в перестрелке с полицией, он был членом какой-то революционной коммуны. Я тогда написала соболезнующее письмо отцу, тщательно выбирая выражения, но в таком духе, что ребенок остается ребенком, даже если он выбирает не тот жизненный путь, которого бы желали для него родители. Ответ Рауха с благодарностью за соболезнование поразил меня. Тот же тон, что и интервью в газете, Раух, очевидно, не видел в сыне трагическую жертву его соб-

ственных заблуждений, но — героя в борьбе за правое дело. На одной из философских конгрессов я разговорилась с профессором философии из Киля, и он, узнав, что я знаю Рауха, заговорил о странной перемене в нем. Он, написавший книгу «История большевистской России», где описывал все ужасы русской революции, не только «пересмотрел» свой взгляд на прошлое (и в следующих изданиях переименовал свою книгу — «История СССР»), но стал адвокатом нынешних смутьянов и террористов. Я вспомнила, как в Марбурге Раух спрашивал, что я думаю о его книге (в ее первом издании). Я отозвалась о книге положительно; к новому ее изданию я вряд ли бы так отнеслась, впрочем, я этой книги не читала. «Это все его жена, — сказал мне профессор из Киля, — сыновья полностью перевернули ее, а она — мужа». (Жалела ли она, что поддерживала пыл своих сыновей, после гибели младшего?) Но чего я не в силах понять: как мог историк, знавший прекрасно русский язык и изучивший досконально страшные результаты русской революции, забыть все, что знал, и желать для своей этнической родины (Германии) того же несчастья, какое постигло страну, где он родился (Раух родился во Пскове)?..

Волна терроризма начала постепенно спадать, большинство террористов было выловлено, некоторые раскаялись. Трудно сказать, отчего в той или другой стране возникают вирусы насилия, почему они заражают многих людей, а потом затихают, уходят прочь, как чума или холера. Ведь в Германии не было объективных условий ни для возникновения этой эпидемии, ни для ее окончания: радикально в стране ничего не изменилось — ни в политическом, ни в экономическом плане.

А. И. Солженицын

В начале 70-х годов из СССР начали выпускать евреев. С некоторыми из них мне удалось встретиться и поговорить, когда я была в Израиле в 1971 году. А одновременно выпускали или высылали некоторых «несозвучных» режиму известных людей.

Д. М. Панин выехал в 1972 году благодаря своей жене, еврейке, согласно тогдашнему горько-ироническому анекдоту: «Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения». Они приезжали в Мюнхен, и мы познакомились. Дмитрий Михайлович был человеком мужественным с интересными мыслями, но слишком прямолинейным в попытках решить сложные вопросы жизни. Он во всем

был слишком категоричен, так же и в отношениях с людьми. С ним было нелегко. Панины обосновались в Париже. А в 1973 году туда же приехал А. Синявский со своей женой М. Розановой. Панины пригласили меня к себе, и осенью 1973 года я поехала в Париж, где до того бывала не раз. Я была наивна, полагая, что все эти борцы за свободу слова, бывшие заключенные, если и не друзья (люди ведь разные), то, конечно же, товарищи по несчастью, единомышленники, находятся в каком-то контакте. Я сразу же попросила Паниных устроить мне встречу с Синявскими. Я ценила литературное творчество Синявского-Терца. Среди эмиграции с ее преимущественно консервативными литературными вкусами сюрреализм Синявского не был популярен. Мне же некоторые его вещи очень нравились. Сюрреализм, правда, не может быть средним, это или мастерское произведение, или ничто. Шедевром Синявского был рассказ «Гололедица». За «Гололедицу», «Суд идет» и «Что такое социалистический реализм?» я готова была признать Синявского мастером высокого класса. Можно еще прибавить отдельные блестящие места из несколько растянутого «Любимого». Этого мне было достаточно.

К моему изумлению, Панины сказали, что не поддерживают контактов с Синявскими, но Исса Яковлевна (жена Панина) предложила достать мне приглашение к Синявским, она узнает, через кого это сделать. Приглашение состоялось, и весьма тактично Панины ничего мне не говорили, предоставляя самой составить впечатление.

Добиралась я до Синявских долго. Тогда они еще жили в предместье Парижа (как и Панины, только на противоположном конце города). Пригласили меня на поздний час. Разговор оказался довольно бессодержательным (выручали щенки пуделя, и Мария Васильевна уговаривала меня взять щеночка, но, несмотря на всю мою любовь к собакам, у меня не было условий воспитывать щенка). Все время я, как загипнотизированная, смотрела на длинную стену — комната была продолговатая и довольно узкая, — завешанную иконами, как в музее. У меня не хватило духа спросить, как им разрешили вывезти такое количество икон. Затем Розанова вдруг сказала, что намеревается съездить в Москву. В те времена выезд или бегство из СССР для политических эмигрантов были только однократные: люди, едущие в СССР и возвращающиеся в другие страны, не эмигранты, а советские граждане, временно легально

проживающие за границей. Ну, а кому разрешают жить за границей — это в те времена было тоже понятно. Я спросила Марию Васильевну: «Как посмотрит эмиграция на вашу поездку? Ведь в Союзе режим». Она воскликнула насмешливо: «Ах, какой режим!» Я удивилась: «А разве вы не знаете, какой режим? Ваш муж шесть лет сидел!» Он тут же пришел на помощь своей жене: «Мы знали изнутри, но не снаружи». Станный ответ. Немного позже Синявский вдруг спросил меня: «Вера Александровна, есть у вас родственники в Советском Союзе?» У меня перехватило дыхание, поскольку такой вопрос, обращенный к политическому эмигранту, считался тогда неприличным. Мне осталось лишь ответить контрвопросом: «Андрей Донатович, а по какому паспорту вы живете?» Он замаялся, сказал, что по советскому, но собирается менять. Я из вежливости посидела еще немного и распрощалась. Было уже очень поздно, и я опасалась, работает ли городской транспорт, однако в Париже метро ездит долго.

Когда я добралась до Паниных, Дмитрий Михайлович уже лег спать, но Исса Яковлевна ждала меня. Посмотрев на мое лицо, она спросила: «Теперь вы знаете, отчего мы не общаемся с Синявскими?» Я ответила утвердительно. Больше мы о них не говорили.

Когда в июне 1974 года я разговаривала с тещей Солженицына (в Цюрихе), разговор зашел о Розановой. Екатерина Фердинандовна спокойно сказала, что после того, как ее муж был осужден, Розанова, чтобы добиться его более скорого освобождения, сотрудничала с КГБ (Синявский был освобожден на полгода раньше срока). «Но Розанова никого не выдала, — сказала Е. Ф., — она давала „игровой материал“». Давать КГБ «игровой материал» в течение лет? И там ничего не заметили? ... Ну да это все прошлое.

Как я уже упоминала выше, ажиотаж в Германии по поводу «Ивана Денисовича» был большой, да и за дальнейшими произведениями Солженицына на Западе следили весьма пристально. Мне пришлось прочитать не один доклад о Солженицыне и его произведениях. Я читала все, что до нас доходило, а «В круге первом» прочла дважды, причем подряд: дочитала до конца, перевернула и прочла книгу еще раз.

Конечно, мы тревожились о судьбе Солженицына. И вот в феврале 1974-го пришло печальное сообщение об его аресте. В нашем институте как раз было заседание директории (политологический факультет университета и, соответственно, научный институт уп-

равлялся директорией, в которую автоматически входили все профессора и доценты, а председатель избирался по годовому турнусу из числа ординарных профессоров). Я сразу предложила послать от имени нашего факультета советскому правительству протест по поводу ареста Солженицына. Конечно, я понимала, что такая телеграмма ничего не изменит, но надо было подать голос, нельзя промолчать. Коллеги не возражали. Составили текст телеграммы и поручили научному секретарю пойти на почту и послать ее. Но вскоре после того, как я вернулась домой, мне позвонил наш секретарь и сказал, что по радио передали сообщение о высылке Солженицына в Германию и что он уже на пути сюда. Так посылать ли телеграмму? Я была поражена и попросила секретаря придержать телеграмму, и если это сообщение подтвердится, то, конечно, не посылать. Сообщение подтвердилось. Со стороны советской власти высылка Солженицына была умным шагом. Как я уже упоминала, то, что говорили или писали люди, жившие на Западе, не имело и доли того влияния, которое исходило от смельчаков из самого Советского Союза.

Солженицын сразу же сделал ряд ошибок в общении с западной прессой. Но не сделать ошибок было трудно: слишком резким был переход в непривычную атмосферу, слишком жадна до сенсаций, слишком назойлива и нагла западная пресса. И эмигранты хотели установить контакт с Солженицыным. Многие в среде эмиграции его буквально боготворили. В такой ситуации, в которой оказались эмиграция с одной стороны и сам Солженицын с другой, трудно определить правильный образ действий. С одной стороны, надо дать человеку осмотреться, с другой же — можно пропустить тот момент, когда человек уже готов к контактам, и эти контакты, если упустить время, могут начаться с более настойчивыми, но не с более достойными представителями эмиграции. И самому Солженицыну, по-видимому, нелегко было решить, с кем следует контактировать в первую очередь.

Не скрою, мне тоже хотелось с ним встретиться, но я не намеревалась предпринимать какие-либо шаги для осуществления этого желания. Однако встретиться с Солженицыным меня попросил Иосиф Антонович (как он любил называть себя по-русски) Мацкевич, очень крупный польский писатель и политический мыслитель.

Позволю себе рассказать о нем поподробнее — он этого заслуживает. Родился он в 1902 году в Петербурге, где служил его отец.

Он был малым ребенком, когда семья вернулась в Вильно. Шестнадцатилетним юношей он пошел сражаться против большевиков, причем одно время сражался в рядах русских казаков. После окончания гражданской войны Мацкевич жил в Вильне и, работая как журналист, начал писать. Один из его известных первых романов — это «Дело Мясоедова», об агентурной афере русского полковника Мясоедова в Первой мировой войне. Иосиф Антонович прекрасно владел русским языком и любил Россию, будучи одновременно ярким антикоммунистом. Он не раз говорил, что среди поляков он один антикоммунист, другие же — антирусские (оказалось, что так дело обстоит не только среди поляков; после свержения коммунизма в России на Западе почти все антикоммунисты оказались просто антирусскими), и он один антинацист, другие — антинеццы.

В 1940 году Мацкевич попал под советскую оккупацию и... стал работать ломовым извозчиком. Его вызывали в НКВД и спрашивали, почему он, писатель и журналист, работает ломовым извозчиком. Его отговоркам, вероятно, не верили, но пока оставили в покое. Затем пришел 1941 год и немецкая оккупация Польши...

И прежде в СССР, и нынче, после падения коммунизма, в России можно иногда слышать, что советская армия освободила восточно-европейские страны. Да, она их освободила и из одной тирании ввергла в другую. Одна губила ни в чем не повинных людей, и другая тоже, только иных. Об этом хорошо говорит горький анекдот того времени: когда Гитлер и Сталин делили Польшу, то, заспорив о каком-то местечке, вождь и фюрер решили в виде исключения спросить население. И вот на общем собрании встал человек и говорит: «Я еврей, я фабрикант, Гитлер для меня — смерть, советская власть — тюрьма, так я за советскую власть». Но и тюрьма, концлагерь могли обернуться смертью, только более затяжной и мучительной. Об этом пишет тоже еврей Ю. Марголин в своей замечательной книге «Путешествие в страну зе-ка»...

Мацкевич был в числе коммисии, ездившей в Катынь, и написал об этом книгу. После войны он жил со своей женой сначала в Италии, потом в Лондоне, а под конец своей жизни в Мюнхене, где и скончался в 1985 году, как раз, когда начались перемены в социалистических странах и на его родине.

Жена его была тоже писательницей. Она писала под своей девичьей фамилией — Барбара Топорская. Она скончалась через 5 месяцев после смерти мужа, хотя была на 10 лет моложе его.

Отмечу два произведения И. Мацкевича: одно — политическое эссе «Победа провокации», а другое — роман «Нельзя говорить громко». Первое произведение было переведено на русский (плохо) и издали в эмигрантском издании «Заря» в Канаде. (И. Мацкевич хорошо говорил по-русски, но писал свои произведения по-польски). Между тем его роман, увы, на русский язык не переведенный, говорит о начале войны против СССР, настроениях в Москве и о Власовском движении. Иосиф Антонович не очень высоко оценил «Архипелаг ГУЛАГ», указывая на то, что это произведение — компиляция, кроме личных переживаний автора, почти все было уже описано в более чем 40 книгах о советских концлагерях (в самом деле, даже эффектный рассказ о мальчике-правдолюбце, посвятившем Горького на Соловках в истинное положение вещей, за что он и был расстрелян, содержится в воспоминаниях о Соловках Геннадия Андреева (Хомякова), написанных прекрасным литературным стилем). Это вовсе не означает, что Солженицын что-то позаимствовал из других произведений (их у него в СССР могло и не быть), но, думается, позже ему следовало бы указать, что большая часть им написанного уже была опубликована.

И все же мне кажется, что Мацкевич недооценивал психологического фактора: «ГУЛАГ» был написан внутри Советского Союза, поэтому широко разрекламирован на Западе. Эта книга произвела большое впечатление на левую интеллигенцию, особенно во Франции, тогда как на книги, написанные эмигрантами, мало кто обращал внимание. Так, Троицкий, написавший подробный отчет о всех концлагерях, существовавших в СССР, рассказывал мне в США, что Солженицын приезжал к нему, чтобы спросить, откуда у него такие точные сведения о концлагерях. Но скрупулезное историческое исследование Троицкого не было рассчитано на массового читателя, его читали лишь специалисты. А в самом СССР, где о «ГУЛАГе» почти не знали, наивно думали, что Солженицын был первым, описавшим это страшное явление. Ценность «ГУЛАГа» не в том, что книга эта сообщала что-то новое, нового ничего в ней не было, а в том, что уже известное она сделала документом нашей совести, заставила всех обратить внимание на этот феномен.

Скептически Иосиф Антонович относился и к обстоятельствам высылки Солженицына, не к самой высылке и даже не к тому, что отпустили семью, — если б не отпустили, шум на Западе был бы велик, — а к тому, что разрешили вывезти архивы и даже любимую

мебель. Из-за архивов, а тем более из-за мебели, шума на Западе бы не было. Любезность советской власти казалась Мацкевичу странной.

И вот он попросил меня попробовать встретиться с Солженицыным, посмотреть на него, составить о нем впечатление. Сам он с ним встречаться не хотел, я должна была стать «разведчиком». Я же воспользовалась этой инициативой Мацкевича, чтобы самой себе не казаться навязчивой, — я выполняю просьбу другого, но, конечно, мне самой хотелось познакомиться с Солженицыным для себя, а не для кого-либо другого.

Итак, в июне 1974 года И. А. и я поехали на моей машине в Цюрих. В небольшой гостинице мы нашли свободные номера, и я позвонила Солженицыным. Теща Солженицына сказала, что Александра Исаевича и его жены в Цюрихе нет, они отдыхают в горах, но он бы меня все равно не принял, а вот если я хочу поговорить с ней, она согласна. Ну что ж, поговорим с тещей. Мы договорились, и она попросила прийти точно, так как у них нет звонка, она просто выйдет и откроет калитку. Я подошла точно, однако калитка оказалась запертой. Но тут ко мне подошел мальчик лет четырнадцати, как оказалось, сын второй жены Солженицына от ее первого брака. Мальчик открыл дверь и любезно меня пригласил.

Говорили мы с Екатериной Фердинандовной о разном (в ходе этого разговора она мне и сказала о Розановой). Говорили и о журнале, который намеревался издавать Максимов. Я удивилась, что ему хотят дать такое неопределенное название «Континент». Она, однако, защищала это название и добавила, что его придумал Солженицын. Я знала, что на журнал возлагали большие надежды не только русские эмигранты, но и многие антикоммунистически настроенные немцы. Ожидалось, что журнал будет печатать талантливые художественные произведения из числа тех, которые в СССР пишутся «в стол», а в своей публицистической части он станет ярким и целенаправленно антикоммунистическим, но уже само название предвещало ему скорее неопределенность, размытость и известную серость содержания; таким он и оказался. Интерес к нему быстро пропал. Е. Ф. сказала, что Александр Исаевич сам начал бы издавать журнал, но у него другие планы, и времени на все не хватает. Говорили и о книге Решетовской, первой жены Солженицына, «В споре со временем». Е. Ф. сказала, что там можно легко отчертить, что правда, а что подсказано КГБ...

Сама я прочла эту книжку много позже. В эмиграции Решетов-

скую очень винили за то, что она поддалась КГБ и написала эту книгу, а я ее всегда защищала, говорила, что она была в руках КГБ, и я не вижу для нее оснований проявлять героизм и жертвенность, защищая бросившего ее мужа, находящегося к тому же в безопасности. Когда я прочла книгу, мне стало ее очень жаль. Даже я могла заметить, где были вставки, подсказанные ей КГБ, но вся книга проникнута все еще живой любовью к мужу, ее бросившему. Позже в Израиле я встречала людей, знавших обоих Солженицыных, и они говорили, что она его очень любила и была совсем уничтожена, когда он ее бросил. Я спросила, отчего они не обвенчались, ведь Солженицын же писал, что обрел веру в лагере. Она не хотела? «Она бы сделала все, что он бы захотел», — ответили мне. Но сама я, конечно, судить не могу. Панин, ставший верующим в лагере, рассказывал, что предложил своей первой жене снова пожениться, но условием было — венчаться в церкви; она отказалась. Тогда он счел себя свободным. Граждански они давно были разведены. Его вторая жена приняла крещение, и они венчались в церкви. Возвращаясь к книжке Решетовской, отмечу, что сначала я не могла определить, что означает ее повествование о предложении Солженицына брака втроем (не с его будущей второй женой, а с какой-то ленинградской научной сотрудницей), может быть, этот пассаж был подсказан КГБ? Но когда я прочла в каком-то из томов «Колеса», как Воротынец предлагает своей жене брак втроем, я поняла, что Решетовская описывала то, что было.

Всех томов «Колеса» я не одолела, целиком прочла только «Август 14-го» в обеих редакциях и «Март 17-го», где, к счастью, нет почти ничего о вымышленных им героях, о которых трудно читать, настолько они нереальны. Солженицын, конечно, не художник, он талантливый публицист, а русские публицисты умеют зримо и ярко описать собственные переживания, но не могут создать живые вымышленные образы: «Былое и думы» Герцена читается легко и с интересом, а роман «Кто виноват?» никуда не годится. Так и во второй редакции «Августа»: есть прекрасное место о Столыпине и очень скучный, невероятно растянутый спор старых революционеров с их инакомыслящими племянниками...

Но вернемся к разговору. Е. Ф. рассказала мне, что многие присылают им книги Солженицына в переводе на разные языки для автографа. «Мы же не можем их всех потом рассылать обратно по адресам, — сказала она, — мы их просто выбрасываем, но мне как-

то неловко, люди же платили деньги, а А. И. смеется». И меня поко-
рбило это «смеется».

Во время нашего разговора позвонил Солженицын, и, окончив разговор с ним, Е. Ф. передала мне, что сказала Солженицыну, кто сейчас у нее в гостях, и он ответил, что меня бы он принял. Вероятно, на моем лице отразилась радость, так как Е. Ф. усмехнулась (возможно, меня включили в число безоговорочных поклонниц, что не совсем благоприятно отразилось на моем разговоре с А. И. впоследствии; всегда нехорошо, когда один из собеседников исходит из ложных предпосылок). Далее Е. Ф. сказала мне, что Солженицын даст мне знать, когда у него будет время, и, если я смогу снова приехать в Цюрих, мы встретимся. Интересно, как прошли бы эта встреча и разговор, если бы я тогда застала его дома?

Вернувшись в Мюнхен, я стала наивно ожидать звонка из Цюриха, но его не было. Наконец приглашение пришло, но не лично, а через третье лицо.

Я уже упоминала о своем сотрудничестве в журнале «Зарубежье», который я постепенно стала делать одна, другие немного помогали, особенно в корректуре, делать которую я никогда не умела. Идея этого журнала принадлежала русскому немцу С. Б. Фрелиху, участвовавшему во Власовском движении. Впоследствии он написал книжку о Власове. Его дочь была замужем за неким Шлиппе, человеком интересной судьбы: вместе с отцом, специалистом по ракетам, его после войны вывезли из Германии в СССР, где старший Шлиппе и работал по специальности (это было аналогично тому, как американцы использовали фон Брауна). Шлиппе был, конечно, не единственным вывезенным из Германии специалистом. В Германии, когда и американцы уже смогли запустить свой спутник ходил анекдот: советский и американский спутник встречаются в космосе, американский говорит: «Morning», советский отвечает: «Здрасьте», а потом оба решают: «Собственно говоря, мы могли разговаривать по-немецки». Так вот семью Шлиппе потом отпустили (не знаю точно — самого специалиста или только семью после его кончины). Оба сына Шлиппе выросли в России, посещали русские школы и в совершенстве говорили по-русски, но знали и немецкий. В Мюнхене старший Шлиппе работал переводчиком на радиостанции «Свобода», а также был прикомандирован как переводчик к Солженицыну. Он и сказал своему тестю, а тот мне, что меня приглашают на пресс-конференцию Солженицына по поводу выхода в свет сборника «Из-под глыб».

И я снова направилась в Цюрих. В доме Солженицыных двери между комнатами были открыты, встречала нас жена Солженицына и всех русских просила садиться во второй комнате, дабы иностранные журналисты, хотя и знающие русский язык, но не в совершенстве, могли сидеть ближе и лучше понимать, что говорит Солженицын.

В своем выступлении Солженицын очень хвалил статью Вадима Борисова «Нация как соборная личность». Потом был перерыв, когда разносились чай и малюсенькие бутерброды, а после перерыва Солженицыну можно было задавать вопросы. Но спрашивать о чем-либо было трудно: никто из нас «Из-под глыб» не читал, только Никита Струве бегал по комнатам и размахивал уже сверстанными страницами готовящегося к печати сборника. Я спросила лишь, как Солженицын относится к первой и второй эмиграции. Ответа он не дал, а стал говорить, что сейчас не надо эмигрировать. В перерыве я познакомилась с Солженицыным лично, и он сказал, что на другой день он будет принимать тех людей, с которыми хочет поговорить подробно, и что я включена в этот список, могу ли я остаться в Цюрихе еще на один день? Я могла, и мы договорились о времени.

На другой день я приехала к назначенному сроку. Пришлось немного подождать, но Наталья Дмитриевна была любезна, предложила чаю, и я увидела всех трех маленьких сыновей Солженицына (с двумя старшими я познакомилась еще летом, когда была у Е. Ф.). Затем последовал часовой разговор с Солженицыным. Начался он с комплиментов. Он сказал, что читал мои статьи, еще находясь в СССР, ценит их и т. д. Но затем началось внушение, индокринация. Солженицын говорил, что издающийся сборник будет водоразделом в эмиграции, что вся эмиграция разделится на тех, кто «за» и кто «против». Мне внушалось, что я, конечно, буду «за». Сказать я ничего не могла, сборник я еще не видела, но зачем раскалывать эмиграцию? Затем Солженицын спросил меня, в каком немецком органе прессы я могла бы написать о его пресс-конференции? Я мало писала в немецкой прессе, подумав, сказала, что газета «Die Welt» могла бы опубликовать мою статью; Солженицын ответил, что там уже пишет Штрём, балтийский немец, хорошо владевший русским языком. Я предложила ему консервативный еженедельник «Рейнский Меркурий», но он не проявил интереса (тем не менее я потом написала в этот еженедельник статью, и она была напечатана).

Я же указала Солженицыну на то, что он не ответил на мой вчерашний вопрос об его отношении к эмиграции. Он согласился: да, не ответил — и снова заговорил о том, что сейчас из СССР эмигрировать не следует (значительно позже он как бы оправдал первую и вторую эмиграции, сказав, что первая уходила, из-под пули, а вторая из-под петли). К третьей эмиграции он, а особенно Шафаревич, относились крайне отрицательно. Разрешалось эмигрировать только евреям, и то лишь тем, которые едут в Израиль, считая эту страну своей национальной родиной. Иными словами, критерием для эмиграции мог быть только национальный вопрос, а не жажда свободы.

Вообще чувствовалось, что Солженицын свободу не особенно ценит, что было особенно удивительно у бывшего заключенного. В вопросе же об эмиграции неистовствовал Шафаревич. На этой почве у него произошло столкновение с известным эмигрантским литературоведом профессором В. Вейдле. Шафаревич тогда часто печатался в эмигрантской прессе, нападая на новых эмигрантов. Один раз он издевался над каким-то отцом, сказавшим, что, если ему с семьей удалось бы выехать из СССР, он бы это сделал, чтобы его дети ходили в свободную, неидеологизированную школу. Этому отцу Шафаревич ставил в вину, что он, мол, считает своих детей какими-то лучшими, ведь миллионы других детей ходят в советские школы. Вейдле в статье, опубликованной в июне 1975 года в парижской «Русской мысли», ответил очень резко, написав буквально: «Замолчите, Шафаревич!» Вейдле указывал на то, что ни один человек не может вывезти из СССР миллионы детей, но данный отец за все эти миллионы и не отвечает. Он отвечает только за своих собственных детей, и если он может создать для них нормальную жизнь, то он не только имеет на это право, но это его обязанность, и не потому, что его дети лучше других детей, а потому, что это *его* дети, за которых он непосредственно отвечает. Эта перепалка в прессе имела последствия. Вскоре появилась новая статья Вейдле в той же «Русской мысли», где Вейдле сообщал, что получил от Солженицына письмо, где последний предлагает ему, Вейдле, публично отказаться от высказанных им взглядов. Вейдле сожалел, что столь крупный писатель оказался под влиянием советской практики и требует от него публичной самокритики, вместо того чтобы ответить ему в прессе. Вейдле писал, что страницы всей русской прессы открыты для Солженицына, он мог бы возразить ему публично. В спорах рождается истина, и эмигрантская печать всегда

открыта для дискуссии и даже для полемики в рамках уважения к инакомыслящему. Но келейно требовать от человека публичного отказа от его мнения, это было, конечно, недопустимо.

Вериемся к нашему разговору. Солженицын сказал, что нам, конечно, надо будет поговорить дольше и подробнее, расспросил меня, когда я свободна от университетских занятий, и сказал, что сообщит мне время, чтобы я могла еще раз приехать в Цюрих уже для более длительной беседы. Кроме того, он попросил меня написать ему, какие свои статьи в издававшемся нами журнале «Зарубежье» я считаю наиболее важными; он их прочтет. Все он читать не может, что было понятно.

Вернувшись в Мюнхен, я ломала себе голову, какие же статьи мне отметить, чтобы их не было слишком много, чтоб не перегружать занятого человека. Кроме того, я сразу же позвонила латышу Нейманису, продававшему русские книги, вышедшие за границу, и попросила его прислать мне сборник «Из-под глыб», как только он получит книги. Он пообещал мне прислать свой пробный экземпляр, который скоро получит, и сдержал свое обещание.

Меня этот сборник, так понравившийся Солженицыну, конечно, очень интересовал. Но по мере чтения росло мое изумление. Сборник был разношерстный, одни статьи противоречили другим. Не могло быть и речи о том, чтобы высказаться целиком за этот сборник или целиком против него. Вероятно, под наиболее определяющими подразумевалась статья Борисова, которую Солженицын особенно хвалил, затем его собственные и статьи Шафаревича. Статья Борисова, с некоторыми тезисами которой можно было согласиться, в целом никак не могла быть принята. Ничего нового в ней не было: старый национализм, банальный грех атеистов против все той же заповеди «Не сотворю себе кумира». Кумиром на этот раз провозглашалась нация, что ведь тоже совсем иеново. Достаточно было взять в руки «Бесы» Достоевского: Шатов испуленно проповедует веру в нацию, но своими настойчивыми вопросами Ставрогии принуждает Шатова признаться, что в Бога он не верит. Вера в Бога Живого несовместима с верой в кумира, каков бы он ни был.

Теперь настала необходимость встретиться с Солженицыным и выяснить, действительно ли он разделяет крайние тезисы Борисова. Но звонка из Цюриха не было. Тогда я начала сама звонить, но трубку всегда брала жена Солженицына и ледяным тоном говорила, что у А. И. нет времени. Мне очень хотелось обсудить с Солже-

ницыным мои возражения на статью Борисова, но, убедившись, что это невозможно, я написала статью с анализом высказываний Борисова.

Я очень старалась при всей определенности высказываний не допустить резкости в тоне и просила знакомых прочесть статью и сказать мне, не сорвалась ли я где-либо на резкость. В июне 1975 года статья была опубликована в «Новом журнале». Роман Борисович Гуль прислал мне несколько оттисков, один из них я послала Солженицыну.

Через некоторое время я снова позвонила в Цюрих, опять у телефона была его жена; она неприветливо сказала, что А. И. бросил мою статью в угол. Разговаривать дальше не имело смысла. Я написала ей короткое письмо: бросать в угол серьезную критику не рекомендуется, ее следует прочесть и определить свое отношение к ней. Вскоре получила ответ: Наталья Дмитриевна писала, что я ее не поняла (?!), А. И. собирает все отзывы, положительные и отрицательные, и потом будет отвечать; она же сделала нечто более важное: послала отпечаток моей статьи автору в Москву. Стало быть, решила я, моей статьи у Солженицыных нет, и послала им еще один отпечаток.

Позже я поняла, что на серьезную критику Солженицын не отвечает. Он предпочел переругиваться с «нашими плюралистами», иные из коих, действительно, бросали Солженицыну абсурдные обвинения, называя его «русским Хомейни» и высказывая разные благоглупости.

Сборник, конечно, не стал водоразделом эмиграции, отношение к нему было скорее благосклонное, но в том смысле — как приятно, что в СССР уже додумываются до каких-то отличных от марксизма идей. На фоне блестящей плеяды мыслителей первой эмиграции статьи в сборнике, конечно, казались незрелыми и несколько примитивными, но никто не хотел резко о них высказываться, чтобы не спугнуть авторов, начинающих думать. Так снисходительно относятся к литературному опыту подростка, чтобы не пресечь в нем желания писать и пробовать свои силы. Мою статью из «Нового журнала» можно прочесть в приложении.

Когда стало известным, что Солженицын пишет книжку «Ленин в Цюрихе», С. Е. Фрелих стал меня просить позвонить Солженицыну (все же я с ним знакома) и спросить, не согласится ли он дать главу из этой будущей книжки для предварительного напечатания

в «Зарубежье». Мне не хотелось звонить, но он очень просил. Я позвонила, все было как обычно: жена Солженицына у телефона и пр. Но на этот раз я настойчиво попросила, чтобы к телефону подошел сам Солженицын. Он взял трубку. Сразу же отказав журналу (что и было понятно, так как журнал не был широко распространен), сказал: «Это надо сразу на языки», я сначала не поняла: какие языки? Потом догадалась, что это нелепое советское сокращение для понятия «иностранные языки». Я вспомнила о списке тех статей, который он просил меня составить, и спросила, читал ли он эти статьи (кипу «Зарубежья» я тогда привозила ему).

Он ответил довольно насмешливо, что не читал. Я до сих пор жалею, что не сказала ему то, что следовало, а именно, что он сам просил составить этот список, лишь растерявшись, сказала: «Вы же обещали». Ответ его был феноменальный: неприятным, каким-то развязным тоном Солженицын сказал: «Я всегда все всем обещаю и никогда ничего не выполняю!» Ну что ж, вольному воля... Больше я с Солженицыным не разговаривала. Что до «Ленина в Цюрихе», я так и не смогла эту книгу дочитать, слишком скучно. Вместо этого я снова перечитала «Самоубийство» М. Алданова, где Ленин как живой со всей его демонической силой.

В «Новом мире» № 9 за 1998 год Солженицын написал: «А из приехавших на пресс-конференцию эмигрантов — вожди НТС и Пирожкова, редактор «Глобуса зарубежья», ждали от нас обещания скорой революции в СССР — и никак не устраивало их всего лишь «жить не по лжи», революция нравственная» (с. 92).

Не знаю, изменила А. И. память, или же он поддался искушению изобразить своих собеседников идиотами, чтобы самому больше блистать умом, но, конечно, ни о каком «требовании революции» от него с моей стороны не было и речи. Отметим еще формальную ошибку: когда я приезжала в Цюрих, я не была редактором «Голоса зарубежья», поскольку этого журнала еще вообще не было. Я основала его через полтора года, весной 1976-го. К этому мы сейчас и перейдем.

Часть пятая
«ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ»

Предыстория

Несколько слов о небольшом журнальчике «Зарубежье», где я сотрудничала, коеично, бесплатно; хорошо, если удавалось достать деньги на бумагу и печатание. Печатали журнал сначала в сербской типографии, где издавалась сербская эмигрантская газета «Искра». Как это ни странно, но многочисленная русская эмиграция не сумела основать свою, русскую, типографию, хотя была еще украинская, ведомая западными украинцами (и там, и тут было много опечаток, поскольку слова часто близкие, но все же с другим правописанием; наборщики же автоматически набирают знакомое им слово). Но потом был убит директор сербской типографии Обрадович...

Вообще, убийство югославских политических эмигрантов в 60-е годы стало в Германии, особенно в Мюнхене, постоянным явлением, достаточно сказать, что вся редакция хорватской эмигрантской газеты, находившаяся в центре Мюнхена, была расстреляна в комнате самой редакции. Живым остался только опоздавший сотрудник, он же и вызвал полицию, поскольку ему не открывали. Тито разрешал югославским рабочим ездить на заработки в Германию, а вместе с ними под видом рабочих приезжали агенты и политические убийцы. Как официальная югославская сторона, так и немецкая полиция старались свалить эти убийства на разборки сербов и хорватов между собою, но на самом деле политические эмигранты при всей взаимной антипатии чувствовали себя союзниками в противостоянии коммунизму и друг друга не убивали. Однако ссориться с Тито, любимцем США, Германии не хотелось.

Тогда мы начали печатать журнал в украинской типографии, где все же был один наборщик из Восточной Украины, знавший русский язык.

Деньги на «Зарубежье» С. Б. Фрелих, задумавший это издание,

доставал, по его словам, от немецких промышленников, жертвовавших небольшие суммы. У него, инженера по образованию, была небольшая посредническая контора для продажи немецких машин в другие страны Европы, чаще всего — Восточной. Уже много позже я узнала, что после войны он сотрудничал в немецкой разведке, находившейся под началом знаменитого Геллеа. Однако когда в конце 50-х годов выяснилось, что Фельфе, начальник отдела, работавшего на Советский Союз, был... советским агентом, Фрелих, работавший в том же отделе, должен был покинуть место работы. То ли тогда сменили всех сотрудников, то ли Фрелиха тоже подозревали в том, что он двойной агент, но не могли этого доказать и потому не могли отдать под суд. Тогда он основал эту контору. В то время, о котором сейчас пойдет речь, я знала лишь, что он имел какое-то отношение к Гелену, но не знала, что он вынужден был уйти с работы в связи с делом Фельфе. Много позже — я уже с ним не сотрудничала — мне сказали, что он был агентом ЦРУ; не могу сказать, насколько это была правда.

Так вот, после того, как я вернулась с описанного мной философского конгресса в Вене в 1968 году, после всего, что там произошло, мне вдруг позвонил Фрелих и сказал, что ему звонили из Министерства иностранных дел (а это было время большой коалиции, и просили передать мне, что там недовольны моими спорами на конгрессе с Ойзерманом — это, мол, может испортить отношения Германии с СССР, и ко мне придут два представителя из министерства поговорить об этом. Я сразу даже не спросила себя, какое отношение Фрелих имеет к МИДу, меня охватило возмущение, и я сказала ему: «Перезвоните им и посоветуйте не тратить времени и сил, я все равно пошлю их к черту вместе с их министром. Мы живем пока еще в свободной стране». После такого ответа ко мне, конечно, никто не пришел, и я почти забыла об этом эпизоде. Только позже я подумала, вряд ли Фрелиху звонили из МИДа, скорее звонили из каких-то спецслужб. Впрочем, члены этой коалиции старались парализовать антикоммунистическую деятельность. Вот пример тому.

В Мюнхене жил русский эмигрант Андрей Косырев, по специальности фельдшер, бывший узник сталинских концлагерей. Не слишком образованный, плохо говоривший по-немецки, он обладал какой-то феноменальной способностью доставать снимки советских концлагерей и их узников. Он сделал из них выставку и разъезжал с ней по Германии. С ним всегда ездил кто-нибудь, кто перево-

дил его объяснения на немецкий язык. После того, как в 1966 году образовалось правительство большой коалиции, к нему пришли из Министерства по общегерманским делам (тогда существовавшего и потом упраздненного, доставшегося пресловутому Герберту Венеру) и потребовали, чтобы он дал подписку в течение года не показывать эту выставку, он испугался и дал подписку, потом ему разъяснили в бюро партии христианских демократов, что совсем не нужно было давать подписку. Но, дав ее, он держал свое обещание потом, однако, возобновил свою деятельность. На его коллекцию были прямые нападения. В 1967 году советское правительство с разрешения городских властей устроило в Мюнхене павильон с выставкой «50 лет советских достижений», а Косырев, тоже с разрешения тех же властей, установил перед входом в павильон выставку со своими фотографиями под названием «50 лет советских преступлений». И вот в один из дней к павильону подъехал грузовик, с него соскочили немецкие коммунисты и стали громить выставку, рвать фотографии, кто-то вызвал полицию, и она прекратила безобразия. После этого выставку охраняла полиция. Но приблизительно треть экспонатов была уничтожена. Кое-что Косыреву удалось восполнить. А значительно позже произошло нападение прямо на него. Однажды ночью ворвались к нему в квартиру; спросонок этот уже немолодой полный человек вышел с револьвером в руке (с разрешения полиции у него было оружие), не заметив, что нападавших двое. На одного он направил оружие, а другой стукнул его сзади по голове. Косырев упал без чувств, а преступники скрылись. Взяты были документы и фотографии, к счастью, далеко не все, и пишущая машинка, ее нашли разбитой на каменной лестнице. Деньги взяты не были. Косырев оправился, но активности больше не проявлял, сказывались и года. Когда выехал на Запад Солженицын, Косырев писал ему, предлагая уникальные фотографии, но Солженицын даже не ответил. Многие эмигранты действительно ждали, что Солженицын организует активную эмиграцию, возглавит ее борьбу. Вероятно, это было наивно, и Солженицын имел право заниматься своим делом, однако не следовало так пренебрежительно относиться к эмиграции и к той борьбе, которую она вела в тяжелейших условиях.

Но я снова отступила от линии рассказа. Однажды Фрелих заявил, что немецкие промышленники денег больше не жертвуют и журнал «Зарубежье» не на что будет издавать. Я сказала, что попробую сама достать деньги для печатания журнала. И тут снова

придется сделать отступление, но рассказать о таком встретившемся на моем пути феномене следует.

После войны в обкарнанную Германию было выброшено 12 миллионов немцев только из областей, отошедших к Польше, к тому же были еще изгнанные из Судетской области, беженцы из Восточной Пруссии и тех областей, которые стали впоследствии ГДР. Все они пристраивались, где и как могли. Конфессиональная структура была полностью нарушена. Если раньше в Северной Германии жили почти исключительно протестанты, то теперь там появилось много немцев-католиков, а в Южной Германии — протестантов. Особенно трудно было католикам, разбросанным малыми группами по местечкам и деревням Северной Германии. В католической церкви предписание посещения воскресного богослужения много строже, чем в православной, а католические церкви в Северной Германии были только в больших городах, из отдаленных местечек добраться до них было порой очень сложно, а для многих — невозможно. Немногие католические священники, зачастую тоже беженцы, старались обслужить эти маленькие селения и городки, служа иногда в воскресный день по шесть служб, а средством передвижения из одного местечка в другое служил им только велосипед. Все были истощены (на карточки почти ничего не давали), люди сильно голодали, и случалось, что иногда такой священник падал с велосипеда и умирал прямо на большой дороге от переутомления и истощения. Об этом узнал молодой монах ордена редемптористов, фламандец, живший в Голландии, о. Веренфрид ван Страатен. И он решил помочь. Сначала он поставил перед собой скромную задачу: подкормить хоть этих разъезжавших священников, для чего и начал собирать пожертвования. От ордена он получил благословение на свою деятельность. К нему присоединились другие. Он все расширял круг помощи, сначала на немецких беженцев вообще, особенно детей, потом на всех беженцев из коммунистических стран, а когда и те обустроились, то стал поддерживать разноязычную свободную прессу, пытался даже перекинуть деньги на помощь церквям в коммунистических странах, причем не только католическим. Организация разрасталась и постепенно, увы, бюрократизировалась, как это обычно бывает. Но организация, названная «Церковь в беде», возникла и разрослась благодаря благородному порыву о. Веренфрида. Он шел к голландцам и бельгийцам и просил их пожертвовать на немцев, на представителей того народа, который их

так обидел во время войны. Он говорил: «Какая польза вашей душе, если вы подарите тем, кого вы любите, или хотя бы тем, к кому хорошо относитесь? Вы пожертвуйте тем, кого не любите, кто вас обидел». Сначала его не хотели слушать, а потом, стыдясь друг друга, просовывали конверты с деньгами под дверь. Он действительно зажигал. Слушая его, хотелось полезть в карман или сумку и отдать последнее. Когда немецкие беженцы понемногу обустроились, он стал просить пожертвования и у них: поляки вас выгнали, так пожертвуйте на польских беженцев. Я знала о Веренфрида лично. Священники нашей церкви восточного обряда — о. Карл, о. Иоанн — нередко включались в эту кампанию и вносили свою долю в общее дело помощи пострадавшим.

К тому времени, как прекратилось финансирование «Зарубежья», у о. Веренфрида была уже большая организация с центром в Риме. Я помчалась в Рим, и о. Веренфрид сразу же согласился поддержать журнал. Он дал мне деньги на руки. Много не требовалось, ведь все работало бесплатно. Условий касательно содержания журнала никаких не ставилось, но мое участие было гарантией, что не будут проповедоваться ни атеизм, ни коммунизм или нацизм, ни что-либо подобное. Первое время мне присылали деньги, а я их отдавала Фрелиху, заведовавшему кассой. Затем он предложил, чтобы деньги переводились на тот счет, который под его именем был открыт для журнала, туда, мол, еще иногда приходят и некоторые пожертвования промышленников. Так будет удобнее. Я подумала, что действительно удобнее, и согласилась, не предвидя подвоха. А через некоторое время о. Веренфрид закрыл свое бюро в Риме и переехал со всей своей организацией в Кенигштейн под Франкфуртом, где было построено специальное здание для организации и ежегодных конгрессов «Церковь в нужде».

Фрелих заметил, что деньги стали приходиться не из Италии, а из Германии. В этот период между им и мной начались разногласия. В связи с возникновением самиздата и тамиздата, с возможностью проникновения в СССР, пусть и с трудом, не только газет и журналов, но и книг из-за рубежа издательство Никиты Струве в Париже переиздало почти всего Бердяева и многих других мыслителей первой эмиграции. А «Зарубежье» его основателями изначально было задумано как издание-дубликат наиболее интересных страниц из книг именно этих философов, поскольку самих книг нельзя было купить в магазинах. Но теперь они почти все были заново изданы,

необходимость в их перепечатке отпала. Я хотела привлекать живых авторов, пусть даже и не таких знаменитых, тем более что началась третья эмиграция, и на Западе появлялись новые имена. Представители первой волны, которые задумали этот журнал, были против живых авторов, и мне лишь иногда удавалось пробить того или другого. Меня, конечно, печатали. Но в то же время они вдруг решили печатать явно провокационные материалы с дурными нападками на диссидентов, которые Фрелих каким-то образом получал из СССР. Однажды он отдал такой материал в набор, не спросив мнения других членов редакции: А. Н. Цурикова, сына известного деятеля русской эмиграции, тогда уже покойного Николая Цурикова, и меня. Номинальным редактором «Зарубежья» был И. Гарднер, специалист по церковной музыке, бывший епископ православной церкви, снявший с себя сан, чтобы жениться. Причислялся к редакции еще один малоизвестный эмигрант и поэтесса Ирина Бушман. Вообще, редакция была громоздкая и малоэффективная, материалы задерживались только потому, что фактически неработавшие ее члены не успевали их прочесть. Когда упомянутый провокационный материал, уже набранный, был представлен редакции, голоса разделились, и мне даже пришлось поставить нечто вроде ультиматума: если этот материал все же напечатают, я ухожу из журнала.

Второй конфликт между мной и Фрелихом возник по поводу материалов из воспоминаний Ю. Кроткова, о котором я упоминала как об агенте, работавшем в СССР по вербовке иностранцев, а затем попросившего в Англии убежища и открывшего все имевшиеся у него данные английской секретной службе. Один такой материал мы опубликовали, подобрали и второй, который должен был появиться в летнем сдвоенном номере нашего квартального журнала. Я собиралась ехать отдыхать, последний день перед отъездом намерена была посвятить сборам, а журнал должен был выйти без меня. Днем ранее Фрелих и я договорились о содержании, обсудив его по телефону последний раз в 11 часов вечера. Но на другой день уже в 9 часов утра он мне вдруг позвонил и заговорил о какой-то интересной книге об Иоанне Кронштадтском, из нее, мол, можно сделать перепечатку. Я удивилась, сказала, что сейчас мне некогда, а вернувшись, я ознакомлюсь с этой книгой, и в следующем номере можно из нее что-нибудь перепечатать. Он ответил, что хочет перепечатать как раз в этом номере. Я еще больше удивилась и ответила, что в номере нет уже места, он согласован и заполнен. Только тог-

да Фрелих заявил, что хочет дать эту перепечатку вместо материала Кроткова, против которого он категорически возражает. Как могло так резко измениться его мнение в течение одной ночи? Потом он объяснил другому сотруднику, присоединившемуся к нам и делавшему корректуру, что ему звонили читатели по поводу напечатанного в предыдущем номере материала Кроткова и называли его неинтересным. Но предыдущий сдвоенный номер вышел несколько месяцев тому назад, и невозможно было поверить, что читатели ждали несколько месяцев, а затем стали звонить ночью, причем все в одну и ту же ночь, чтобы выразить свое неудовольствие. Конечно, Фрелиху позвонили, но не обыкновенные читатели, к тому же во множественном числе, а кто-то, кого он должен был слушаться, видимо, из какой-то спецслужбы.

Я здесь обо всем этом пишу, поскольку многие наивно думают, что только в СССР КГБ применял тот или другой метод, тогда как на самом деле методы спецслужб, также и западных, были похожи между собой. Решающим являлось то, что человек в свободном государстве не был подвластен спецслужбам и мог уйти от них, хотя, если он материально зависел от работы, которой данная спецслужба интересовалась, не всегда легко.

Тогда в мое отсутствие Фрелих неожиданно заменил материал Кроткова на какую-то перепечатку из Бердяева, а о книге об Иоанне Кронштадтском не было больше речи. Замененный материал не был столь важным, чтобы из-за него стоило копыя ломать, дурна только была зависимость от кого-то мне неизвестного, но пока эта зависимость проявлялась лишь в редких случаях. Я продолжала сотрудничество в журнале, повторяю, я делала журнал почти одна. Бушман скоро отпала, но мне удалось привлечь к работе еще одну сотрудницу, которая когда-то ездила с нами по Германии, а затем работала на «Свободе» и после выхода на пенсию начала сотрудничать с нами.

Фрелих, видимо, получил задание не терять меня как сотрудницу журнала, но придать журналу какой-то характер, о котором он открыто не говорил. Он начал очень своеобразным методом меня «окружать», чтобы взять под свою власть, виушал не другим или, вернее, не в первую очередь другим, а мне самой, что я невозможный человек и со всеми ссорюсь. Как коронного свидетеля он избрал тогдашнего декана нашего факультета в университете, уже упоминаютого мною профессора Лобковица. Он якобы на меня жа-

ловался. На следующем же заседании нашей факультетской дирекции я спросила Лобковица, правда ли это. Он очень удивился и заверил меня, что никому на меня не жаловался, предложил даже позвонить Фрелиху, но я отказалась, думая, что достаточно будет моего рассказа Фрелиху о разговоре с Лобковицем. Я тогда еще не поняла, что это была не ошибка, а метод. Фрелих очень умело выискивал мало знакомых мне людей, с которыми у меня были хотя бы маленькие недоразумения, раздувал их, причем зачастую я уже и не помнила этих людей. Иногда он просто высасывал что-то из пальца. Так, однажды он заявил мне, что за последние три года я поссорилась со всеми своими знакомыми в США. Я ответила, что за последние три года я в США не ездила, он возразил, что это было в письмах или по телефону. А я даже ни разу в Штаты не звонила, мне же только раз звонил профессор Полторацкий, чтобы договориться о дате, когда я пришлю ему свою статью для его сборника «Русские в Германии», и это был нормальный деловой разговор. И в письмах я ни с кем не ссорилась. Присказкой же Фрелиха было: «Только я один могу с вами ужиться». Иногда я просто в середине этой фразы клала трубку, если разговор велся по телефону. Но он продолжал гнуть свою линию, переходя уже просто на явную клевету. Сотрудничать дальше было вряд ли возможно. И все же я тянула. Я привыкла к журналу, а поскольку я человек постоянных привязанностей, то могу долго терпеть, но до известной черты, и если я ухожу, то уже навсегда.

Последняя капля пролилась в связи с первыми Сахаровскими слушаниями в Копенгагене в 1975 году. К своему сожалению, я на эти слушания поехать не могла, я тогда заболела тяжелым гриппом. Один из участников слушаний, бывший узник советских концлагерей, выехавший не так давно по еврейской квоте и работавший на «Свободе», Варди, привез мне ленту записи главных выступлений и событий. Мы сидели у меня и часами вместе слушали эту ленту, а он рассказывал подробности. Вернулся он со слушаний буквально взъерошенный, возмущенный всем происшедшим. Я точно не знаю, кто был инициатором этих слушаний, но задуманы они были как некий суд над советским режимом. Должны были выступать свидетели, и было жюри, которое должно было вынести решение. Я считала очень неудачным, что слушания называли Сахаровскими. Сахаров жил в СССР, и на него могли оказать давление, применить репрессии. Следовало назвать именем кого-то другого, уже выехавше-

го за границу, например, Солженицына. Но Солженицын своего имени, видимо, не дал бы, он отказался даже приехать на слушания. Свое приветствие Сахаров, вероятно, через жену, которой как раз разрешили выехать в Италию для лечения глаз, передал Максиму. Но и Максимов на слушания не приехал: в датском консульстве ему отказались поставить визу в советский паспорт, срок которого кончался через несколько недель. Действительно, по международным правилам виза ставится только в паспорт, действительный еще минимум три месяца, но если б Максимов связался с устроителями в Копенгагене, ему бы устроили визу. Панины вообще забыли взять с собой паспорта, но с датской границы позвонили устроителям, и их пропустили без паспортов! Однако Максимов остался в Париже, а приветствие Сахарова передал тогдашнему редактору «Русской мысли» Зинаиде Шаховской.

Главным руководителем предприятия был датчанин Андерсен, горячее участие принимали князь Эстергази, выходец из очень известного исторического рода венгерских князей, и Бернгард Каравацкий, польский еврей, выросший в России.

Я упомянула национальность Каравацкого, чтобы рассказать удивительную историю его спасения. Когда началась война, мальчику было 4 года и у него был младший брат, грудной младенец. Отца призвали в армию, а мать с младенцем на руках и четырехлетним малышом решила попытаться перейти демаркационную линию, разделявшую германские и советские войска. Она не успела раньше бежать, немцы очень быстро заняли Польшу. Но в лесу она наткнулась как раз на отряд СС. Если б это были армейские солдаты, могло бы вполне сойти, но это были СС. Их начальник посмотрел на мать с детьми, затем выбрал высокорослого блондина из числа своего отряда — мальчик Бернгард запомнил его на всю жизнь — и сказал ему: «Отведи их поглубже в лес и прикончи». Эс-совец отвел их подальше, погладил младенца по головке, сказав «Schönes Kind» (красивое дитя), показал им, где демаркационная линия, затем сделал несколько выстрелов в воздух и ушел. Так Каравацкие добрались до зоны советской оккупации. Бернгард посещал русскую школу и говорил по-русски лучше, чем по-польски, но все же решил вернуться в Польшу, где занялся переброской русского самиздата на Запад, а тамиздата в СССР, за что и сел в польскую тюрьму. После отсидки ему разрешили выехать из Польши, и он жил с семьей: женой, сыном и маленькой дочкой — в Копенгагене.

С ними я познакомилась в 1976 году, когда ездила в Копенгаген на слушания по ГДР.

Все они были потрясены тем, что произошло на Сахаровских слушаниях 1975 года. Шаховская заявила, что она не прочтет приветствия Сахарова, если из жюри не удалят пастора Вурмбрандта. Кроме того, выступать как свидетели не смеют Панин, Абрам Шифрин, отсидевший в СССР 10 лет и выехавший не так давно в Израиль по еврейской визе, и еще две женщины, фамилий которых я не помню.

Пастор Вурмбрандт-старший был очень известным лицом. Этнический немец и лютеранский пастор, он жил в Румынии, где и отсидел в очень тяжелых условиях 14 лет в тюрьме. Когда он вышел и даже смог выехать за границу, у него было уже много помощников, хлопотавших за него еще во время его бытности в тюрьме. Ему удалось создать сильную организацию для помощи, насколько возможно, заключенным в коммунистических странах, а также всем бывшим заключенным, беженцам, нуждающимся эмигрантам и пр. Эти слушания тоже проводились на пожертвования, и наибольшую сумму пожертвовал пастор Вурмбрандт. Его пригласили в жюри, но сам он не мог проехать по старости и болезни, а прислал своего сына, тоже пастора. И вот от Вурмбрандта-младшего потребовали, чтобы он вышел из жюри и покинул зал. Тот возмущенно отказался. Тогда дюжие охранники стали вытаскивать его из зала насильно. Вурмбрандт яростно сопротивлялся, его буквально волокли. Это была омерзительная сцена. И, конечно, смысл слушаний потерялся, ибо вся мировая пресса обратила внимание на скандал, а не на показания свидетелей. Панину и Шифрину разрешили наконец выступить, но, повторяю, все было смазано. Кроме того, выступали какие-то инициативные группы с требованием, чтобы советский строй не подвергался принципиальной критике, а критиковались лишь отдельные недостатки и все в этом роде. В общем, идея слушаний фактически утонула в волне споров и скандалов.

Изгнание Вурмбрандта объясняли потом тем, что члены жюри должны были быть непредвзятыми и не иметь заранее своего мнения. Но где найти людей, ничего не слышавших об СССР и не имевших о нем никакого мнения? Я не знаю подоплеки такого требования Сахарова и не знаю, отчего Зинаида Шаховская согласилась его зачитать. Я могу только описать то, что произошло.

Я написала об этом статью в «Зарубежье» уже после того, как

Роман Борисович Гуль опубликовал в «Новом журнале» крайне критическую заметку обо всем происшедшем. Фрелих неохотно согласился на публикацию моей статьи, но она все же появилась и вызвала много откликов. Открытые письма в журнал написали Панин, Шифрин и Каравацкий. Кстати, последний вышел из организационного комитета слушаний (а они должны были производиться каждые два года), вышел также и князь Эстергази. Я хотела опубликовать эти письма вместе с моим предисловием, Фрелих прямо не возражал, и мы долго согласовывали предисловие, обсуждая чуть ли не каждое слово. Наконец все было согласовано. Журнал должен был выйти в свет в марте–апреле 1976 года. И снова я уехала, оставив на Фрелиха выпуск согласованного во всех мелочах журнала. Со мной уехала и новая завербованная мною сотрудница Татьяна Александровна.

Уехали мы на неделю в Рим по не совсем обыкновенному делу. В Мюнхене жила оригинальная писательница, по второму браку баронесса Розенберг (муж ее был балтийским немцем), но более известна она по литературному псевдониму — Ирина Евгеньевна Сабурова. И вот к ней пришло письмо от совершенно неизвестного человека из Остии, местечка под Римом. В это время шла полным ходом эмиграция евреев из СССР. Для них были организованы промежуточные временные беженские лагеря под Веной, но там уже не хватало места, и часть выехавших начали размещать в Италии, в Остии. Там работали израильские и американские комиссии, организовывавшие отъезд этих новых эмигрантов в Израиль или США. Адресат Сабуровой писал: в израильской комиссии он сказал, что его мать — немка и был отвергнут, как не еврей, так как евреем считается только рожденный от еврейской матери. Он пошел в германское консульство с просьбой разрешить ему поселиться в Германии, но там ответили, что у них национальность определяется по отцу, и он не немец, поскольку его отец — еврей. Его брали в США, но ехать он туда не хотел, потому что ему было 54 года, немецкий он немного знал от матери, а английский не чаял выучить. И он умолял Сабурову, которую знал как писательницу, помочь. Она готова была принять его на первое время к себе и даже написала ему подложное свидетельство, что он ее родственник, но немецких чиновников это не растрогало. Тогда Ирина Евгеньевна попросила меня поехать в Остию и посмотреть на него.

Борис Яковлевич Зельцер являл собой необычный экземпляр

homo sapiens. Внешность у него была очень еврейской, но по своей психике он был совсем старомодный немец, аккуратный, педантичный, медлительный и немного туговатый на восприятие. Английского языка он бы, конечно, никогда не выучил. Как ему помочь? Итальянцы выдавали этим эмигрантам право на жительство на три месяца, и эти три месяца у него истекали. Конечно, ему бы выдали еще одно такое свидетельство, пока шла организация его въезда в США, но туда-то он ни за что не хотел. И мы решили его попросту нелегально перевезти в Германию. Обратного в Италию его выслать не могли, срок кончался, а итальянцы были только рады избавиться от лишнего эмигранта.

Татьяна Александровна и я приехали на моей машине, которую вела я, так как у нее не было водительских прав. Прожив несколько дней в Остии, посетили Рим. По Риму ездить на машине крайне трудно: он забит машинами, а итальянцы ездят почти без правил, у меня же в Германии немного притупилась способность эластично реагировать...

Мы посадили Зельцера сзади, где лежали небрежно брошенные наши пальто: был март, в Германии было еще холодно, а в Италии уже тепло. Так и ехали. Переночевали во Флоренции, где в гостинице показали его пока еще действовавшую справку и, конечно, наши паспорта, и отправились дальше. Перед австрийской, а также перед германской границей он нырнул вниз, и мы накрывали его нашими пальто. Ни на той, ни на другой границе пограничникам и в голову не пришло, что две солидные дамы везут живую контрабанду. Мы благополучно доехали до Мюнхена. Там он заявился властям. Нас он не выдал и сказал, что перешел границу пешком по лесным тропам. Сначала его хотели отправить обратно в Италию, но срок его трехмесячного пребывания как раз истек. А в СССР никого, даже преступников, не отправляли. Так и остался наш Борис Яковлевич в Мюнхене, устроившись работать в русскую эмигрантскую библиотеку. Все кончилось благополучно.

В то время как мы занимались не вполне легальным устройством незнакомого нам человека, Фрелих не дремал. Только я вернулась из Рима, как раздался звонок одного из наших новых и действительно работавших сотрудников А. Акименко, занимавшегося корректурой и державшего связь с типографией. Он сказал, что в мое отсутствие меня исключили из числа сотрудников редакции. Он рассказал, что Фрелих срочно созвал собрание из больше номи-

нальиых, чем работавших членов редакции (сам Акименко отказался пойти на совещание до возвращения меня и Татьяны Александровиы), и на этом собрании меня исключили. Я удивилась. Кто же у них будет работать? Позвонила иоминальному редактору Гардиеру. Он заявил, что я получу письменное уведомление, а работать у них будут другие дамы. Мне не было ясно, чего Фрелих добивается. Никаких «других дам», которые могли бы работать, у них не было. Если Фрелих хотел ликвидировать журнал, то были и другие методы. Может быть, он думал, что мне трудно будет расстаться с моим «хобби», и я вернусь, но уже на его условиях: буду работать, а не бунтовать.

Затем мне позвонил настоятель нашей русскокатолической церкви о. Карл Отт. Он поддерживал «Зарубежье» и ежегодно писал для организации о. Веренфрида рекомендательные письма в пользу журнала. Конечно, я сказала ему о моем исключении, он возмутился. Оказывается, в мое отсутствие Фрелих посетил его и попросил написать в организацию рекомендательное письмо для журнала на его, Фрелиха, имя. О. Карл удивился, но, будучи очень прямым и открытым человеком, притом немного наивным, согласился, думая, что возникли неожиданные трудности и нельзя ждать моего возвращения. Эта хитрость работника многих спецслужб сама была необъяснимо наивной, хотя и подлой. Узнав, что случилось, о. Карл, конечно, позвонил в Кенигштейн и просил не придавать значения его письму: оно было написано, когда он еще не знал изменившихся обстоятельств.

Уже раньше, видя, что сотрудничество с Фрелихом становится все более затруднительным, я обдумывала создание своего журнала, но все тянула. Не так легко было порвать со старым и начать новое. Было достаточно сомнений, одолею ли я все трудности. Теперь же сами обстоятельства толкнули меня в холодную воду нового начала. Фрелих, сам того не желая, сыграл роль повивальной бабки нового журнала. Я попросила о. Карла поехать со мной в Кенигштейн, так как обговорить все это надо было лично. Конечно, я была возбуждена и потому быстро мчалась по автостраде. О. Карл, сам водитель маленького автобуса, на котором он возил детские группы, ездил со скоростью, не превышавшей 100 километров в час, я же мчалась — минимум 160, и он признался потом, что иногда боялся. Но когда чувства и способность реакции особенно обострились, ничего не случится; мы благополучно доехали.

К самому о. Веренфриду доступа уже не было, организация бюрократизировалась. Занимавшийся делами печати венгерский священник сразу согласился выделить необходимую сумму на новый журнал, и мы вернулись в Мюнхен уже с деньгами в руках.

Отметим еще одну не самую приятную попытку Б. Фрелиха подставить мне ножку. Через несколько дней о. Карл позвонил мне и сказал: «Я полночи не спал, думая, как вам выкрутиться; вчера вечером мне позвонил Фрелих и сказал, что он обратится к прокурору, так как вы присвоили себе деньги, принадлежащие журналу «Зарубежье», из редакции которого вы были исключены». Я ахнула: «Отец Карл, голубчик, вы же присутствовали при разговоре, и он шел на немецком языке. Я не взяла ни одной марки из денег «Зарубежья», я взяла деньги на новый журнал, который намерена издавать». Попытка шантажировать очень честного, но немного наивного и далекого от мирских дел священника меня возмутила. Я написала письмо И. Гарднеру и просила его разъяснить господину Фрелиху положение дел. Потом мне передавали, что Фрелих подсмеивался над моим намерением и прочил новому журналу скорую гибель. Но, забегая вперед, скажу: мой новый журнал продержался 22 года, и последние его номера — кто бы мог тогда это предполагать! — были изданы в Санкт-Петербурге. А вот «Зарубежье» скоро прекратило свое существование, вышло еще два или три номера.

Может быть, сейчас стоит рассказать вкратце о том приходе, где я присоединилась к Католической Церкви, и о священнике о. Карле Отте, о котором я не раз упоминала и который покровительствовал журналу и ежегодно рекомендовал его финансировавшей журнал организации.

Для этого заглянем сначала в историю. После революции в советской России началось кровавое гонение на все религии, но особенно на христиан всех вероисповеданий. Православным доставалось особенно, поскольку в России это была самая сильная и поэтому самая опасная для коммунистического атеизма церковь. Тогда у папы Пия XI появилась мысль создать в Риме семинарию для священников. В России, казалось, скоро уже ничего от церкви не останется, может быть, и священников почти уже не будет. Семинарии для подготовки священников открылись только во время войны, до этого их не было, новых рукополагали тайно, без должной подготовки, и многие из них гибли тоже. И в эмиграции, в так называемой Зарубежной Церкви, положение было тяжелое. В Европе только в

Париже существовала семинария, а так готовились к рукоположению тоже самостоятельно и иногда весьма недостаточно.

Каких священников могла выпускать семинария в Риме? Конечно, только таких, которые были подчинены римскому престолу. Это была давняя мечта Владимира Соловьева: не внедрение в России западного, латинского обряда, а воссоединение православной традиции и обряда с римским первопрестолом. Тайно такие приходы православного обряда римского престола существовали в России уже в XIX веке, в одном из них сам Владимир Соловьев присоединился ко Вселенской Церкви, а после Октябрьского манифеста императора Николая II в 1905 году они стали действовать открыто.

Семинария в Риме принимала прежде всего русских, но таких было мало. Тогда начали принимать иностранцев, готовых изучить русский и церковнославянский языки и служить литургию по восточному обряду. Больше 1000 лет Церковь была едина, а обряды были разные. Есть в Церкви и другие обряды: сирийский для христиан-арабов, томистский для индийских христиан и еще ряд других, я их всех не знаю.

Мысль была та, что если в России большевики истребят всех или почти всех священников, в том числе и православных, то, когда большевизм падет, на помощь тем немногим, которые, возможно, сохранятся, придут еще эти священники. Не надо забывать, что основывался этот Collegium Russicum (так его называли) в 20-е годы XX века во время самых зверских гонений на христианство, разрушения церквей, убийства священников.

Хотя Православная Церковь во время войны была снова допущена, полностью свободной она не стала.

За невозможностью открывать церкви в самой России, находившейся все еще под безбожной властью, начали возникать церкви восточного обряда, связанные с Римским престолом, в разных городах Западной Европы, Северной и Южной Америке. В Мюнхене на заброшенной вилле на улице Рентгена, 5 была оборудована церковь с иконостасом, и шли службы по православному обряду. Когда я о ней узнала, в ней служил священник-голландец, и в ней была только горсточка прихожан. В 1950 году вместо него прислали молодого немецкого священника, окончившего Руссикум, семинарию по подготовке священников восточного обряда, о. Карла Отта. Этот энергичный священник привлек к церкви многих.

В 1950 году в Мюнхене жило немало военных беженцев, кото-

рых потом стали называть эмигрантами второй волны. Многие из них были уже советского воспитания, некрещеные, супружеские пары невенчаные. Конечно, в Мюнхене существовали приходы Зарубежной Православной Церкви, но священники этих приходов были, увы, большей частью пассивны. Если люди к ним приходили, они, конечно, выполняли все требы, но сами редко шли к людям с проповедью.

О. Карл старался помочь людям и материально, а также в защите их интересов. Он стал особенно популярен, когда предотвратил выселение беженцев из пустой казармы, которую город хотел использовать как-то иначе, а беженцев выселить далеко за город. Люди просили епископа Зарубежной Церкви Александра поехать к мюнхенскому кардиналу и попросить его вмешаться в дело, но Александр отказался, хотя епископа Православной Церкви кардинал принял бы немедленно (это простому священнику, хотя бы и католическому, было нелегко добиться аудиенции у кардинала). О. Карл добился аудиенции в последний момент; кардинал позвонил в городскую управу, и беженцев оставили в покое, хотя к казарме уже подъезжали грузовики, чтобы их вывезти. С указом из городской управы в кармане о. Карл выехал в своей маленькой машине на середину улицы и поставил ее поперек дороги. Остановив таким образом колонну грузовиков, он вынул из кармана новое распоряжение, и грузовики повернули обратно. Эта сенсация, конечно, разнеслась по всему русскому Мюнхену, о. Карлу писали благодарственный адрес, еще больше людей потянулось в церковь. Конечно, и такое происшествие не причина прийти в церковь, но иногда нужен внешний толчок, чтобы вообще заинтересоваться церковью, а потом уж видно будет, придет человек действительно к вере или только удовлетворит свое любопытство и отпадет снова.

Еще в русской гимназии, о которой я писала, один ученик сказал мне, что в СССР было бы много больше крещеных, если б люди знали, что таинство крещения — единственное таинство, для которого не обязательно нужен священник. Каждый крещеный, мужчина или женщина, имеет право совершить таинство крещения. Конечно, если священник рядом, церковная дисциплина требует, чтобы его позвали, но обряд крещения, совершенный мирянином, так же действителен. В этом отношении даже такой знающий писатель, как Лесков, оставил своих читателей в недоумении: в его рассказе «Некрещеный поп» описанный священник был, конечно, крещен

своей крестной во время метели. Епископ не оставил бы его священствовать, если б не знал, что на самом деле он был крещен.

Но вернемся к церкви на улице Рентгена. Одно время там было много прихожан. О. Карл служил хорошо и обладал красивым баритоном, так что и пел сам, и следил за хором.

Он рассказывал, что, когда был с группой молодежи еще в СССР, в Ленинграде, он попал как раз на православную Пасху. Они пошли на ночное богослужение, но милиция не пропускала молодежь, только после предъявления немецких паспортов их пропустили. Хор не был сильным, и о. Карл начал подпевать из толпы молившихся. Скоро к нему подошли и сказали: «Вы знаете песнопения, идите в хор, поможете петь». Он: «Но я католический священник». Ему в ответ: «А какая разница?» (Тогда в СССР преследовали всех христиан без разбора, и католический священник восточного обряда мог петь в хоре православной церкви; а теперь, когда церковь свободна, отношение почему-то враждебное.)

Однако потом церковь в Мюнхене начала пустеть, поток эмигрантов потянулся за океан, в США, в страны Латинской Америки, в Австралию. Многие писали о. Карлу. Если они попадали в города, где не было восточного обряда, то некоторые привыкали к латинскому обряду, а иные шли в православную церковь, если она там была. Этим письмам о. Карл радовался и говорил: «Пусть ходят в православную, только бы вообще ходили в церковь». Не было никакого желания кого-то куда-то переманивать, было желание помочь тем, кто в советских условиях жил без церкви.

Но российская церковь благодаря войне снова встала на ноги. Периодами ей было лучше, периодами хуже. Хрущев закрыл много церквей, шла инфильтрация, но церковь ее пережила.

Епископ Никодим, часто ездивший в Рим и скончавшийся на приеме у папы (причем последний сам скончался через несколько месяцев), имел на Рим большое влияние. Он говорил, что церкви должны воссоединяться как церкви, а пока каждый должен оставаться при своей церкви или приходить в нее, если он из атеиста делается верующим.

Но дух дышит, где хочет, и никому нельзя приказать, к какой церкви он придет, если начнет от первоначального атеизма приходить к вере в Господа и к церкви. Христианство — это не национальная традиция. Христианство — это личное решение каждого человека, приходящего к Богу, и его личная ответственность.

Но восторжествовала идея сближения церквей как таковых — не поэтому ли патриарх Московский упускает уникальную возможность встретиться с папой, владеющим русским языком? Когда еще будет такой человек на римском престоле?

Католическая Церковь приравняла посещение литургии в православной к таковой в католической церкви для каждого католика. Католики также имеют право принимать причастие в православной церкви — это разрешение со стороны Католической Церкви. Православная же Церковь не идет этому навстречу.

Начало

Нас собралось трое: кроме меня, Алексей Харитонович Акименко и Татьяна Александровна Шюргольц, отколовшихся от «Зарубежья». Решали вопрос о заглавии, формате и оформлении. Я хотела назвать журнал как-нибудь совсем иначе, но мои сотрудники настаивали на сохранении преемственности с тем журналом, в котором мы прежде сотрудничали. Так возникло название «Голос зарубежья». Помещения для редакции у нас, конечно, не было. На редакционные совещания мы собирались в квартире Татьяны Александровны, а всю подготовку материала и переписку с авторами я вела в своей маленькой квартирке. Скоро она утонула в книгах и бумагах. Печатать журнал мы начали в той же украинской типографии, где прежде печаталось «Зарубежье». Но цены там росли: наборщики должны были получать жалованье по немецким стандартам, а в Германии этот труд оплачивается высоко. Кроме того, типография стала центром сплетен вокруг двух журналов, но пока других возможностей печатать журнал не было.

Первый пробный номер мы составили из случайного материала, нельзя сказать, чтобы он оказался очень удачным. Мы нашли 30 адресов русских эмигрантов, преимущественно в Германии, Франции и США, и разослали им этот первый пробный номер — это было все, что мы сделали для рекламы. Совершенно любительская, кустарная попытка, казалось бы, обреченная на неудачу. Но каким-то непонятным образом журнал разлетелся необыкновенно быстро. Довольно скоро у меня появилась толстая картотека подписчиков из Европы, США, Южной Америки и Австралии. Следом появились и авторы.

Сама я не написала никому из известных эмигрантских журналистов с просьбой сотрудничать в журнале, сотрудничество они пред-

лагали мне сами. Одним из первых предложил сотрудничество некто Владимир Рудинский из Парижа. О нем еще будет речь, пока скажу только, что он предложил постоянный отдел «Обзор зарубежной печати» и сотрудничал почти все время издания журнала. Он читал чуть ли не все эмигрантские газеты и журналы, писал остроумно и точно, но — по-своему, обычно едко иронически и даже зло, и поссорил меня со многими авторами и читателями. Удивительно, что даже журналисты из первой эмиграции не могли поверить, что я не вмешиваюсь в авторские материалы: видимо, и в старой русской традиции было заложено представление о цензуре, хотя бы редактора, но статьи, подписанные автором, на его же ответственности. Кроме европейских, появились и другие авторы, в частности из США. А ведь мы никакого гонорара авторам не платили, денег хватало лишь на бумагу, печать и рассылку; иногда я добавляла из своего университетского жалованья (всю работу в журнале я вела совместно с полной нагрузкой в университете). Видимо, желание русских эмигрантов высказаться было так велико, а чувство ответственности перед родиной, где они были лишены свободного слова, так сильно, что гонорара они не просили (совсем другими оказались эмигранты третьей волны, хотя и тут были исключения).

Наша тройка продержалась недолго, журнал был квартальным, и приблизительно через год 4-й мартовский номер вызвал первый кризис. В Мюнхене на радио «Свобода» работал некто Белоцерковский, приехавший из СССР по еврейской визе. Вскоре он выпустил сборник «СССР — демократические альтернативы». Эта книжка была не столько демократической, сколько левой, социалистической. Он там напечатал и «Гуманистический манифест-2», где главными врагами человечества провозгласил фашизм и... религию! Печально, что Сахаров подписался под этим манифестом, хотя и сделал оговорку насчет религии. Вообще, статьи авторов этого сборника отличал весьма невысокий интеллектуальный уровень. В 4-м номере нашего журнала я этот сборник жестоко раскритиковала. Белоцерковский не нашел ничего лучшего, как подать на меня в немецкий суд. Не знаю, какой горе-адвокат посоветовал ему это сделать, не знаю также, имел ли господин Фрелих какое-нибудь отношение к этой акции, но он не преминул ею воспользоваться.

Здесь я сделаю небольшое отступление. Фрелих сохранял личное знакомство с Татьяной Александровной. Когда мы начали печатать

тать «Обзоры» Рудинского, Фрелих как-то спросил ее: «Рудинский — ведь это Вера Александровна?» Татьяна Николаевна засмеялась и сказала, что знала его еще в Риге во время войны. Я же никогда не писала под псевдонимом, тем более под мужским. В начале моей работы в рижской газете я, правда, опубликовала две статьи под псевдонимом Александрова, но сразу поняла, что это не для меня. С тех пор везде, где бы я ни печаталась и на каком бы языке ни была написана моя статья или книга, я все публиковала под своей настоящей фамилией. Кроме того, эти «Обзоры» были написаны совсем не моим стилем. Так Фрелих стал жертвой своей собственной пропаганды против меня.

И вот когда на меня подали в суд, Фрелих начал внушать Татьяне Николаевне, что на редакцию нашего журнала могут наложить большой штраф, и он будет разложен на всех членов редакции. Козни Фрелиха имели успех: еще до суда Татьяна Николаевна под предлогом слабого здоровья отстранилась от работы в журнале. В Германии есть правило: суд должен принять и рассмотреть любую жалобу, как бы вздорна она ни была. Я могла сама пойти в суд и, конечно, выиграла бы дело, но я поступила по отношению к Белоцерковскому достаточно жестоко: я пригласила самого известного и самого дорогого адвоката по делам прессы в Мюнхене и с некоторой опаской спросила его, сколько должна заплатить ему первоначального гонорара. Он ответил: «Ничего. Заплатит ваш противник». По немецким законам проигравшая сторона платит не только судебные издержки, но и гонорар адвоката выигравшей стороны. После суда адвокат сказал мне, что разбирательство продолжалось 5 минут. Судьи недоумевали. Они сказали Белоцерковскому: «Она раскритиковала ваш сборник в своем журнале? Так раскритикуйте ее журнал в каком-нибудь другом издании. У нас свобода слова, за критику книг у нас не судят». Как мне передали, Белоцерковскому пришлось заплатить за судебные издержки и гонорар моему адвокату 4000 марок. Сколько он заплатил своему незадачливому адвокату, я не знаю. После этого мой журнал оставили в покое.

Но и Акименко не пришлось долго сотрудничать в журнале: он начал быстро слепнуть, а что такое слепота для корректора, объяснять не надо. Ему сделали операцию глаз, но и потом он мог видеть только крупные предметы. Так и распалась наша первоначальная тройка. Но тогда предложила свое сотрудничество И. Е. Сабурова.

Ирина Евгеньевна Сабурова

Ее книги я знала уже давно. Но странно: мы жили в одном городе, а у меня было ощущение, что я читаю какого-то далекого, может быть, даже по времени отдаленного автора, хотя ее единственный большой роман «Корабли старого города» рассказывал о Риге совсем недавних лет, отчасти и того периода, когда я сама там была, о военной Риге.

Года два до нашего знакомства произошло странное недоразумение. Из Парижа приехала тогдашний редактор «Русской мысли» Шаховская и пригласила для беседы русских эмигрантов Мюнхена. Я немного опоздала, и, когда вошла в зал библиотеки, почти все места за длинным столом были заняты. Сидевшая во главе стола Шаховская поманила меня и указала на свободный стул. Я села рядом с незнакомой мне дамой. Она тотчас же встала и вышла из зала. Я посмотрела ей вслед с недоумением, спросив себя, кто же эта женщина, которая даже на общем приеме не хочет сидеть рядом со мной? Мне сказали, что это Ирина Евгеньевна Сабурова. Я удивилась: откуда у нее такое предубеждение против меня? Как потом оказалось, никакого предубеждения не было и в помине, просто в этот момент ей спешно надо было куда-то бежать. Отсюда нравоучение: прежде чем что-то сделать, всегда следует подумать, дабы не обидеть ненароком другого человека. Нельзя думать только о себе и своих делах, всегда следует учесть и людей вокруг тебя.

Татьяна Александровна знала Сабурову еще по Риге, и, возможно, от нее Ирина Евгеньевна узнала, что наша тройка развалилась. И она, зная несколько европейских языков (прежде она работала переводчицей на радио «Свобода», теперь была уже на пенсии), предложила мне сотрудничество.

Ирина Евгеньевна была старшей из трех дочерей русского морского офицера, служившего на флоте, дислоцировавшемся в Риге. Она не была эмигранткой, просто оказалась после революции в другом государстве. Революции Сабурова не приняла всей душой и оставалась непримиримой антикоммунисткой, но она не была ни монархисткой, ни демократкой. У нее есть грустное стихотворение, где она говорит о своей внутренней бездомности, о том, что она ни к одному из существующих обществ не пристала, что все они ей чужды. Ее личная жизнь тоже не сложилась. Она пережила всех своих близких, хотя, когда мы начали сотрудничать, ей было лишь немного за семьдесят. Первым ее мужем был эмигрантский поэт

Александр Перфильев. По второму мужу она была баронесса Розенберг. Она пережила обоих. Но еще хуже была смерть ее единственного сына (в возрасте 34 лет) от такой обыкновенной и, как считается, неопасной операции отторжения слепой кишки. Женат ее сын не был, но у него была невеста, которая после его смерти часто бывала у Ирины Евгеньевны, но затем вдруг без какого-либо объяснения порвала все контакты. Ирину Евгеньевну это очень травмировало. «Я же понимаю, — говорила она, — молодая женщина не может горевать всю оставшуюся жизнь по мертвому жениху, понимаю, что она полюбила другого и, вероятно, вышла замуж, но зачем рвать со мной? Я бы ее не упрекала, я бы только за нее порадовалась». Ирина Евгеньевна пережила и обеих младших сестер. Осталась у нее одна племянница, но далеко — в США.

Ее одиночество скрашивал вдовец одной из сестер Сабуровой, однорукий латыш, потерявший на войне правую руку. Любившая все живое, Ирина Евгеньевна пыталась создать свой маленький уютный мирок. Сразу после войны они явочным порядком построили на окраине Мюнхена небольшой домик, «избушку на курьих ножках», а вокруг на небольшом участке разбили садик со сливовым деревом, большим количеством разных цветов, с грядками всяческих овощей. Рядом выросли другие домики и садики. Город не давал лицензии на застройку этого участка, и все «дачники» жили постоянно под угрозой, что их куда-нибудь переселят, а их гнездышки сровняют с землей. Но городские власти все не решались их трогать, и наконец постройки были легализованы.

У Ирины Евгеньевны были собака и две кошки. Последние приبلудились, а собаку, овчарку огромных размеров по кличке Арекс, им удалось высвободить от человека, который очень жестоко с ней обращался, отчего людей этот пес не любил, зато любил всех животных, даже и кошачьей породы. Меня он вполне признал, когда я взяла себе собаку и с ней приходила. И хотя мой значительно меньшего размера песик был тоже мужского пола, Арекс разрешал ему есть из своей миски и только вилял хвостом. Таких гостеприимных собак я еще не видела. Но двери домика Ирина Евгеньевна могла не запирать: Арекс разорвал бы каждого, кто попытался перелезть через низкий забор. Ирина Евгеньевна отдыхала в этом маленьком мирке, в шутку называя себя «старосветской помещицей».

В ее духовном мире было много поисков, шедших не в ту сторону, где она могла бы действительно найти душевный покой. Ей хоте-

лось верить в переселение душ, карму, над ней довлела непродуманная смесь индуизма с буддизмом. Эта мешанина отразилась в ее небольшом и в литературном отношении особенно слабым произведении «После». Еще в Марбурге я как-то слышала доклад лютеранского пастора и профессора Бенца. Он говорил, что в протестантской части Германии, особенно во время Лессинга, расцвело учение о переселении душ, поскольку протестанты отрицают существование чистилища. Учение протестантов очень жестоко. Человек, умирая, идет сразу или в рай, или в ад. Но каждый рядовой человек чувствует, что он, с одной стороны, не настолько чист, чтобы сразу идти к Господу, к Которому не может войти кто-либо нечистый, а с другой — не такой великий грешник, чтобы идти в ад. Выход они начали усматривать в переселении душ, в этой «перезамене», как пишет Сабурова в своей книжке. Но Господь дал человеку сознание, и очищаться от оставшихся грехов человек должен сознательно, а учение о переселении душ говорит о страданиях человека в искупление грехов, сделанных им якобы в прошлой жизни, которых он, однако, не помнит и не знает. Такое понятие унижительно, оно недостойно человека. Господь, сотворивший человека по Своему образу и подобию, сотворил его не таким, чтобы он искупал, не сознавая что. Человек способен осознать свои грехи, и, когда он очищается после смерти, в переходном состоянии, он сознает и понимает, в чем состояли его не искупленные еще в земной жизни грехи.

То, что протестанты не верят в переходное состояние, можно понять: они не молятся за усопших. Непонятно, однако, что православное богословие отрицает существование чистилища, но молится о прощении грехов умерших. Если душа в раю, то ее грехи уже прощены, если в аду, то молиться бесполезно: перехода не существует, как ясно сказано в Евангелии.

Ирина Евгеньевна мне действительно помогала. Она многое перепечатывала, если это было нужно, делала корректуру (когда-то давно она была корректором в рижской русской газете «Сегодня», и навык сохранился). Но знаменательно: она вычитывала слова, не обращая внимания на общий смысл текста. Однажды в какой-то статье было вместо слова «мироздание» набрано «мировоззрение», которое к тексту, конечно, совсем не подходило. Исправлять пришлось мне, часто не замечавшей опечаток в отдельных словах.

Но вот Ирина Евгеньевна стала иногда как-то странно печатать: отсутствовали концы слов; жаловалась, что у нее временно ухудша-

ется зрение, затем снова возвращается. Я уговаривала ее пойти к главному врачу, но она тянула. Позже я прочла в каком-то популярном медицинском журнале, что при таком явлении дело не в глазах: это бывает при отливах в снабжении мозга кровью и может служить предвестником мозгового удара (инсульта). Если бы она пошла к главному врачу, он бы ее послал к невропатологу; если бы... Она не пошла, и ноябрь 1979 года оказался для нее роковым. После удара, лишившего ее речи и владения правой рукой, она прожила в больнице только 5 дней и скончалась.

Ирина Евгеньевна была заядлой курильщицей и жидкости пила очень мало, причем только кофе. Да и пища ее была нездоровая, по преимуществу мясная, о чем и помыслить не могли читатели, знакомые с ней по ее оккультным произведениям. Но, вероятно, все это побочное. Плавное, что она все больше чувствовала себя неостребованной. Ее грустные глубокие сказки едва ли воспринимались: на смену старой русской эмиграции пришло новое поколение, а также новая эмиграция из СССР; их она не всегда могла принять уже потому, что многие из «новых» были терпимы, а то и разделяли идеи, которые она полностью отвергала. Со временем они менялись, менялось их мировоззрение, но И. Е. Сабурова была слишком цельной и... недостаточно великодушной, чтобы это понять. Так что уход ее из жизни при взгляде из перспективы представляется логичным.

Тогда я написала следующий некролог:

Памяти Ирины Евгеньевны Сабуровой

Ничто не предвещало катастрофы в маленьком домике на окраине Мюнхена. В этом домике и садике все было сделано с любовью своими руками. Хозяйка трудилась неутомимо и почти чудом создала на маленьком участке разнообразие цветов. Тут цвели розы, душистый горошек, далии, десятки сортов тюльпанов и ирисов и многое другое, весенние, летние, осенние цветы, — все там было. И, кроме сада, еще огород, в котором даже выращивались огромного размера тыквы и кабачки. Были тут и деревья: сливы, рябины для домашней рябиновки, были и кусты смородины и крыжовника. Из всего этого готовились варенья, ягодные соки и всякие другие яства и питье, щедро предлагавшиеся многочисленным гостям.

Можно было подумать, что хозяйка была своего рода «старо-светская помещица» нашего времени, милая и гостеприимная, но и только. Однако на самом деле домик и садик принадлежали высо-

коинтеллектуальной и талантливой женщине, писательнице, журналистке, имя которой известно русской читающей публике на всех континентах.

Ирина Евгеньевна Сабурова родилась 19 марта 1907 года в Риге, в семье офицера. Десятилетней девочкой она пережила в Петербурге, гостя у бабушки, Февральскую революцию. Распушенные толпы с красными бантами произвели на нее отталкивающее впечатление. Последствия этой революции — Октябрьская революция — были уже не только отталкивающими, но жуткими.

Отец Ирины Евгеньевны сражался в Белой армии и пропал без вести. Видимо, погиб. Мать работала с утра до вечера, чтобы прокормить трех детей и себя. Уже двенадцатилетним ребенком старшая из трех сестер Ирина заменяла нередко младшим занятую на работе мать, хозяйничала и быстро приобретала ту самостоятельность, которая отличала ее всю жизнь.

Ирина Евгеньевна любила Балтику, особенно свою родину — Ригу, с ее суровым климатом, недалеким взморьем и морскими ветрами. Она выросла в Риге, училась там, в 19 лет вышла замуж за поэта Александра Михайловича Перфильева. И в те же годы она начала сотрудничать в русской рижской газете «Сегодня», сначала как корректор, потом как журналистка. Когда начал издаваться русский иллюстрированный журнал «Для Вас», она стала его постоянной сотрудницей. В 30-е годы Ирина Евгеньевна сделала много для Театра русской драмы в Риге.

В 1938 году вышел первый сборник ее рассказов «Тень синего марта». А затем Ригу захватил вихрь, промчавшийся по Европе. Оккупация Балтики советскими войсками, поздний выезд в Германию вместе со вторым мужем, бароном Розенбергом, затем возвращение в Ригу во время немецкой оккупации и жертвенная помощь с риском для своей жизни гонимым того времени — евреям, снова бегство в последний момент и окончательное прощание с любимым, родным городом.

Об этом написано много в ее романе «Корабли старого города», о котором мы в следующем номере нашего журнала будем говорить отдельно и в связи с романом так же о многих событиях того страшного времени, о ситуации людей, затертых и смятых в борьбе двух страшных идеологий — нацизма и коммунизма.

После войны начинается тяжелая беженская жизнь. Об этом Ирина Евгеньевна рассказала в своей книге «О нас».

Несмотря на тяжелое время, в 1947 году выходит в свет сборник ее прекрасных сказок «Королевство алых башен». Недавно этот сборник, дополненный новыми сказками, написанными уже в Мюнхене, был переиздан.

В 1956 году вышли в свет ее книга «Бессмертный лебедь» (о балерине Анне Павловой) и сборник стихов «Разговор молча».

Написанный в 1947–1948 годах роман «Корабли старого города» был сначала опубликован на немецком языке в 1950 году, вскоре книга была переведена на испанский язык и вышла в Испании. По-русски «Корабли» увидели свет только в 1962 году. В последние дни своей жизни Ирина Евгеньевна вела переговоры с одним немецким издательством о переиздании «Кораблей» на немецком языке.

Начиная с 1953 года вплоть до выхода на пенсию Ирина Евгеньевна работала переводчицей на радиостанции «Свобода». Она хорошо владела английским и французским языками.

Ирина Евгеньевна много лет была постоянной сотрудницей нью-йоркской газеты «Новое русское слово». Она написала много прекрасных статей, рецензий, делала переводы.

Наряду с работой на радиостанции, литературной и журналистской деятельностью, Ирина Евгеньевна занималась еще и рукоделием, в котором она достигла высокого искусства. Талант к рукоделию она унаследовала от своей матери.

В Мюнхене ей пришлось пережить тяжелый удар: ее единственный сын умер в возрасте 34 лет от, казалось бы, пустяшной операции — удаление отростка слепой кишки.

Выйдя на пенсию, Ирина Евгеньевна не сложила рук. Все перечисленные занятия продолжали интересовать ее, и она трудилась неустанно, находя при этом каким-то таинственным образом время и для многочисленных гостей, и для учеников, занимавшихся русским языком, читала много книг. Знаменательно, как к этому человеку совсем «немодерных» взглядов и устоев была привязана молодёжь, притянутая ее сильной личностью и одновременно ее добротой и гостеприимством.

А когда Ирина Евгеньевна узнала, что принципиальный антикоммунистический журнал «Голос зарубежья» нуждается в помощи и поддержке, она сейчас же предложила свои услуги. Непримиримый и твердый антикоммунизм Ирины Евгеньевны не допустил ни минуты колебания, когда пришла возможность помочь делу борьбы против этого страшного интернационального зла. Она стала

секретарем, незаменимой сотрудницей и другом нашего журнала. Потеря, вызванная ее смертью, для журнала бесконечно тяжела.

«Человек не должен терять связи с землей», — говорила часто покойная. И вокруг нее цвела жизнь земли, растения, животные, — были собака и две кошки. Душой этой цветущей жизни была сама хозяйка. Для многих ее мирок был полюсом покоя, некоей тихой пристанью, чем-то твердым и непоколебимым, пристанищем в нашей трудной, бурной жизни. Что бы ни случилось, какие бы трудности или несчастья ни постигли человека, он знал, что всегда найдет у Ирины Евгеньевны внимание, сочувствие и действенную помощь, если она возможна. В наше время редко на кого можно положиться. Люди меняют мнения и направления очень быстро. Они обещают поддержку и помощь, но им скоро надоедает, и они стараются поскорее отвернуться от того дела, за которое сначала горячо взялись. И здесь Ирина Евгеньевна была чем-то вроде твердого якоря. На нее можно было положиться.

И казалось, что этот маленький островок в нашем быстротекущем мире устойчив и непоколебим. Но всякая земная прочность призрачна. 17 ноября утром с Ириной Евгеньевной случился первый удар. Ничто его не предвещало. Накануне она была весела и радовалась, что пришел пакет с заказанными ею английскими книгами, за чтение которых она принялась вечером. Как только мне сообщили утром 17 ноября, что Ирина Евгеньевна отвезена в больницу, я поехала туда и застала ее бодрой и в полном сознании, но потерявшей речь. Парализована она не была. Только пальцы правой руки плохо слушались, и она не могла писать. Она все понимала, живо реагировала и смеялась над тем, что не могла передать то, что хотела сказать. Этот ее добродушный смех над своей собственной беспомощностью был очень характерен для этой мужественной, стойкой женщины.

Но уже на другой день положение резко изменилось. Видимо, случился второй удар, хотя врач сомневался в этом. Но если в субботу, 17 ноября, он еще выражал твердую надежду на поправку, на то, что речь восстановится, то теперь был настроен пессимистично.

В воскресенье Ирина Евгеньевна еще явно узнавала посетитель и протягивала сама руку. В следующие дни уже трудно было сказать, узнавала ли она тех, кто стоял около ее постели.

22 ноября в 7 часов утра Ирина Евгеньевна скончалась.

Быстрая и неожиданная смерть человека, казавшегося символом самой жизни, смерть, которую мы, ее друзья, все еще не можем осознать, — это еще одно указание Господа на преходящую непрочность всего земного, даже самого прекрасного. Только вечная жизнь, в которую перешла Ирина Евгеньевна, истинно непоколебима и непреходяща.

Царствие ей Небесное. Мы же ее никогда не забудем.

Сахаровские слушания в Риме

В 1975 году в Копенгагене было решено устраивать эти слушания каждые два года. В 1977 году они должны были состояться в Риме. На этот раз меня не мучил грипп, и я поехала в Рим. Ни Караватского, ни князя Эстергази, ни других, в том числе и датских инициаторов слушаний, уже не было. Трудно сказать, кто, собственно говоря, их организовал и ими руководит. Не было, там, конечно, ни Панина, ни Шифрина, не было и Максимова, и Шаховской. Зато приехало много диссидентов из СССР: Кронид Любарский; сын и дочь Е. Боннер по ее первому браку; Татьяна Великанова; Евгений Вагин из ленинградской группы студентов ВСХСОН, во главе которой стоял Огурцов; Юрий Машков (двум последним слова для выступления, однако, не дали, хотя Машков еще совсем недавно был узником советского концлагеря). Присутствовало немало представителей стран-сателлитов.

Установка была такова:

Первое. Мы не критики советской системы и коммунистической идеологии как таковых, мы критикуем только некоторые недостатки. Когда один из участников выступил с таким заявлением, дети Е. Боннер (особенно ее сын Янкелевич) аплодировали до иступления и кричали слова поддержки этой позиции.

Второе. В каждой из коммунистических стран сейчас имеется по 10 000 политзаключенных. Проходили скучные монотонные выступления: в Румынии 10 000 политзаключенных, в Болгарии 10 000 политзаключенных и т. д. В Советском Союзе тоже было 10 000 политзаключенных. На этом фоне Советский Союз выглядел весьма гуманной страной: если в маленьких странах-сателлитах имеется по 10 000 политзаключенных, а во всем громадном СССР не больше, то он довольно гуманен. Когда Вагин рискнул усомниться (не с трибуны, а в зале), что в СССР — всего 10 000, Кронид Любарский стал стучать кулаком по столу и истерически кричать: «Толь-

ко десять тысяч, и ни одного больше!» Откуда у него была такая точная статистика?

Говорилось о притеснении церквей в странах соцлагеря, и единственным красочным выступлением всего слушания было выступление престарелого кардинала украинской католической (униатской) церкви Слипиha, просидевшего восемнадцать лет в советских концлагерях и не так давно выпущенного за границу. Ни одному из находившихся на слушаниях русских православных не разрешили выступить по вопросу положения православной церкви в СССР; об этом сказала лишь одна молодая еврейка, фамилии которой я не помню. Надо отдать ей справедливость: она говорила о Православной Церкви в Советском Союзе с симпатией и старалась показать, в чем состоит ущемление Православной Церкви при внешнем, как будто свободном, допущении ее деятельности. Но было видно, что она не так много знает и, главное, не в состоянии осмыслить и оценить состояние Церкви изнутри.

В общем, стало ясно, что первоначальная идея слушаний окончательно погублена и интересы эти собрания больше не представляют. Следующее собрание было намечено на 1979 год в Вашингтоне. Кажется, оно даже состоялось, но лететь туда у меня не было уже никакого желания.

Американские соблазны

В конце 1978 года в Мюнхен прилетел из Сан-Франциско некто Азар, русский эмигрант, настоящая фамилия которого была, кажется, Азаровский, — издатель и книготорговец. Он посетил Ирину Евгеньевну, книги которой продавал, и говорил с ней о нашем журнале. При встрече со мной он предложил печатать журнал в Сан-Франциско. Американским подписчикам — по его версии — журнал они могут рассылать сами, а для Европы будут высылать нам издание воздушным фрахтом, что раз в 10 дешевле, чем воздушная почта (фрахт надо забирать в аэропорту самому адресату, почту же ему доставляют на дом). К тому же манил он меня на удивление низкой платой за издание журнала. Было решено, что я прилечу в Сан-Франциско, и мы там все обсудим.

В марте 1979 года я полетела в Сан-Франциско (отметим, что в немецких университетах семестровые каникулы — март и апрель). Летела я через Лондон и там, ожидая рейс на Сан-Франциско, встретилась с Анатолием Павловичем Федосеевым. Анатолий Павлович

был невозвращенцем. Крупный ученый, руководивший в Москве исследовательским институтом, во время поездки в Англию попросил там убежище; потом он написал книжку «Западня» с обоснованной критикой советского режима. Позже он был одним из авторов «Голоса зарубежья», по моему приглашению читал лекцию в Мюнхенском университете (а я ее переводила); на своей машине я возила его в горы, в Берхтесгаден и на Королевское озеро, поднимались мы и к чайному домику Гитлера.

Но затем Федосеев решил разработать новую конституцию для России, что вообще не под силу одному человеку, особенно не юристу. Конституция, конечно, не состоялась. Однако Анатолий Павлович предсказал, вернее, рассчитал конец советской власти в 90-х годах. Мы отнеслись к этому недоверчиво, но, как показало время, напрасно: он оказался прав. Но России после перестройки он не принял; он все хотел сделать по-своему, а это никому не под силу. Словом, с годами наше сотрудничество понемногу расклеилось и даже общение прекратилось.

Однако я отвлеклась. В Сан-Франциско меня очень гостеприимно приняла русская семья, друзья Азара. Плава семьи бежал из СССР во время войны, его жена выросла в семье старых русских эмигрантов в Польше, точнее, в Западной Украине. В юности она хотела делать что-то для родины, а потому во Львове вступила в НТС (ту самую партию, с которой я познакомилась во Пскове во время оккупации). Моей новой американской знакомой было тогда всего 19 лет, ее сестра и брат тоже стали членами этой партии. Это была полная энтузиазма и жертвенности молодежь, мало что понимавшая в политике. Тайной покрыта роль их первого руководителя Георгиевского; многие считали его предателем, но это не доказано. Так или иначе, перед советской оккупацией руководители НТС покинули Западную Украину, а доверчивых мальчиков и девочек бросили на произвол судьбы. Брат моей новой знакомой бежал в лес, а обеих сестер в числе многих других представителей русской эмигрантской молодежи арестовали. Сестру (ей был 21 год) расстреляли, и моя знакомая ждала, что и за ней придут и поведут на расстрел. Каждый раз замирало сердце, когда раздавались тяжелые шаги солдат по коридору тюрьмы. Однажды ей показалось, что шаги звучат как-то иначе. Дверь их камеры открылась, и на пороге появился... немецкий офицер. Он сказал, что они свободны, но должны пока оставаться в здании, так как весь город находится еще в советских

руках, немцы же взяли только западную его часть (где и находилась тюрьма). Счастье ее и других заключенных было в том, что советская власть не очень торопилась с расстрелами. Так моей знакомой удалось спастись.

«Некоторые жители Львова, — рассказывала моя новая американская знакомая, — пробрались через фронт и умоляли командовавшего ближайшей группой войск поторопиться, так как идут расстрелы ни в чем не повинных молодых людей. Офицер колебался: его часть тогда слишком бы оторвалась от главных войск и могла попасть в окружение. В конце концов он согласился занять только ту часть города, где находилась тюрьма.

Во Львове сторела в тюрьме невеста моего коллеги по Марбур-гскому университету, преподававшего там польский и украинский языки, жителя Львова, успевшего еще до войны окончить Варшавский университет по славистике. При соприкосновении с судьбами людей моего поколения всюду натыкаешься на трагедии...

Русская эмиграция Сан-Франциско была вообще более консервативна, чем та, что жила на восточном побережье. В Нью-Йорке были еще остатки левых российских партий и гораздо больше эмигрантов второй волны (то есть военных беженца 1945 года), чем на западном побережье. Здесь же было много «китайцев». После своей победы китайские коммунисты предложили многочисленным русским, особенно жителям Харбина, покинуть страну — либо выехать в СССР, либо в Австралию. Из тех, кто выехал в Австралию, многие перебрались потом на западное побережье США. Они были, с одной стороны, консервативны, с другой же — настроены несколько более просоветски. Этот феномен смычки моиархистов с коммунистами на основе внешнего величия страны наблюдался потом во время крушения советской власти и распада СССР. Но тогда подобные шатания можно было проследить в сан-францискской газете «Русская жизнь», самой безграмотной среди эмигрантских русских газет. Это были потомки старых эмигрантов, все они окончили школы на других языках, и русский их был ужасен. Построение фразы было сугубо английским, сильно отличным от русского. У меня тоже были такие авторы. Некто Нефедов писал иногда так, что с великим трудом приходилось догадываться, о чем же он хочет сказать; при этом он еще обижался, когда я переводила его писания на нормальный русский язык. Кроме того, старые эмигранты не ладили с некоторыми новыми правилами и перебарщивали.

Так, например, они думали, что форма «обе» отменена, так же как и «оне», и писали «по обоим сторонам». В «Русской жизни» некому было все это выправлять.

В Сан-Франциско была также очень активна НТС (Национально-трудовой союз) с его тоталитарной идеологией. Их девизом было: кто не с нами, тот против нас. Я никогда не вступала в полемику с этой партией, никогда ее не критиковала, тем не менее ее членов возмутило предположение, что в Сан-Франциско может выступить независимый человек, не член их партии. Азар договорился с каким-то органом тамошней эмиграции о моем докладе. О нем было объявлено. Собралась публика. Но солидаристы (так иначе назывались члены НТС), решили не допустить такого «безобразия». Им удалось нажать на организаторов и добиться, что вначале выступит некто Рождественский — местный энтээсовский оратор. Он говорил целый час, нудно и скучно. В фойе был столик с моими журналами, а рядом расположились энтээсовские издания. После доклада Рождественского мне сказали, что теперь будет буфет, а потом я могу выступить. Я ответила, что тогда я сразу уйду, потому что какой русский человек придет слушать выступление после буфета. Мне предоставили слово. Зал остался полным, и слушали заинтересованно. Но минут через двадцать пять мне подали записку с одним только словом: «Кончайте». Я показала эту записку залу и сказала: «Я приехала в Сан-Франциско из Мюнхена в первый и, вероятно, в последний раз, а меня уже грубо обрывают, не дав мне даже полчаса». Зал зашумел и потребовал, чтобы я говорила дальше и чтобы меня не ограничивали во времени.

Потом я совершила поездку по западному побережью. Азар хотел дать мне машину, чтобы я ехала сама, но, хотя по Сан-Франциско я ездила на его машине, в поездке по побережью мне хотелось осматривать окрестности, а не смотреть во все глаза на дорогу. Нашелся любезный человек, который довез меня сначала до Монтеррея, где находится американская военная школа. Там преподавался русский язык, история и пр., и там было много русских. Там я тоже делала доклад, посвященный тогдашнему состоянию русской эмиграции и течениям внутри ее.

На ужин меня пригласили в особенный ресторан, располагавшийся на террасе, висевшей над морем. Блюда там были только морские, и я первый и последний раз в жизни ела необычно вкусно приготовленное сочное мясо морского краба. За ужином разговор

шел, конечно, о темах моих докладов. Мне был задан правомочный вопрос: отчего я не упомянула в докладе самого известного эмигранта — Солженицына? Я хотела ответить, что о нем речь должна была бы идти отдельно, как вдруг один очень немолодой человек застучал кулаком по столу и закричал: «Солженицын для меня второй Иисус Христос!» Все как-то вздрогнуло от этого кощунства и замолчали.

Нашелся другой любезный человек, который провез меня на машине от Монтеррея до Санта-Барбары. Поездка по побережью была очаровательной. В Санта-Барбаре я остановилась в семье нашего автора Виктора Сергеевича Кобылина. Очно с ним я познакомилась только теперь, хотя он давно предложил «Голосу зарубежья» свои услуги и регулярно писал для нас статьи. Это был человек из первой эмиграции, в его квартире висели большие прекрасные фотографии последних императора и императрицы. Он был монархистом, но не фанатиком, понимая, что о восстановлении монархии пока говорить рано. Он писал умные и интересные статьи, но, к сожалению не так долго, как мне бы хотелось: у него развилась болезнь печени, он жил некоторое время на диализе и все же продолжал работать, потом Господь призвал его к Себе.

Мне хочется здесь еще раз отметить, что авторам мы не платили, все писали бесплатно, ради идеи, ради России, которую мы хотели видеть свободной от коммунистической диктатуры. Мало что могли мы сделать, но все мы, особенно представители первой эмиграции, жили мыслью о России. Жаль, что они не дожили до исполнения своей мечты. А приняли ли бы они ее, новую сегодняшнюю Россию? Исполнение наших желаний часто получается иным, чем мы сами это себе представляем. Даже из второй эмиграции не все приняли исполнение мечты, хотя мне это непонятно: я приняла ее с великой радостью. Но об этом позже.

Отметим маленькую бытовую деталь. Обратю в Сан-Франциско я хотела лететь по местной линии на маленьком самолете, которые летали вдоль побережья, и попросила Виктора Сергеевича позвонить в аэропорт и спросить, есть ли у них на завтра свободное место, у него американский акцент лучше, чем у меня. Виктор Сергеевич с сожалением улыбнулся и сказал, что это не имеет смысла: билеты надо заказывать заранее, и... счел вопрос исчерпанным. Я удивилась: но ведь позвонить ничего не стоит! С выражением лица человека, делающего нечто бессмысленное, он снял трубку и позво-

нил. Но затем на лице его появилось изумление: там было свободное место, и я получила билет на самолет. Моя тактика — ни от чего не отказываться наперед, а все сначала попробовать — оказалась опять правильной.

Я договорилась с Азаром о печатании журнала у него в Сан-Франциско и полетела обратно через Нью-Йорк, где задержалась на несколько дней, чтобы встретиться со своими знакомыми, в частности с Р. Б. Гулем.

Роман Борисович Гуль

Роман Борисович Гуль, небольшого роста, весь дышавший энергией, был интересным человеком и талантливым писателем. Он был участником гражданской войны, даже знаменитого Ледового похода. Впрочем, он ушел из Белой армии прежде, чем гражданская война окончилась, потому что в этой войне русские стреляли в русских. Многие его за это осуждали, но в таких ситуациях нет стандартных ответов.

Когда произошла Октябрьская революция, Роману Борисовичу и его брату удалось бежать. Мать их находилась тогда совсем в другом месте и потом выбралась за границу чрезвычайно опасным, приключенческим путем. Сначала вся семья жила в Германии, но после прихода к власти Гитлера жить в ней стало невыносимо. Роман Борисович, жена и мать переехали во Францию. Для Гуля свобода всегда была определяющим фактором, в этом мы сходились. Он возражал Аине Ахматовой на ее известное четверостишие:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим иародом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Если мой народ попал под власть бандитов, зачем же и мне туда лезть, если я могу уйти? Так отвечал ей Гуль. В России правят псевдонимы, говорил он. И в самом деле, еще долгое время после революции страной правили псевдонимы, и из них самый страшный — «отец иародов» под псевдонимом Сталин. И в самом деле, есть что-то мистическое в том, что страной правят люди с фальшивыми именами, как символ всеобщей фальши, покрывшей страну серой пеленой. Может быть, злые анекдоты о Вилли Брандте — о них я писала — возникли именно потому, что из всех послевоенных немецких

канцлеров он был единственным псевдонимом. Гуль хранил Россию в себе. Его автобиографические книги носят общее название: «Я унес Россию», «Россия в Германии», «Россия во Франции» и «Россия в Америке». Кроме того, Гуль — автор исторических романов «Азеф» и «Дзержинский», а также автобиографического романа о своей юности «Конь рыжий» и книжки о Ледовом походе.

После войны друзья уговорили Гуля и его жену — так он рассказывал — перебраться жить в США. Они сначала не хотели, но потом не раскаивались, что переехали. Жили они на берегу Гудзона, где хватало зелени и было где погулять. Нью-Йорк, конечно, не уютный город для жизни — глыба каменных громад. Но в нем есть своя фансиация. Я охотно приезжала в Нью-Йорк — на одну-две недели — и также охотно из него уезжала.

Остановившаяся я всегда в одном отеле, куда принимали... только женщин. Отель находился на 57-й улице, то есть на востоке, престижной части Нью-Йорка, недалеко от всемирно известного Уолл-стрита, и все же в комнатах отеля иногда появлялись тараканы, а постельное белье было застиранным, серым.

Когда я первый раз была в Нью-Йорке, жена Гуля, которую он очень любил, еще была жива, но вскоре неожиданно скончалась, что для Гуля было большим ударом, но он не потерял энергии, работа стала его жизнью. Еще в 1942 году М. Алданов и М. Цетлин основали в Нью-Йорке солидный журнал под названием «Новый журнал». Марк Алданов (настоящая фамилия Ландау) был талантливым писателем преимущественно исторических романов. Есть у него и философские произведения. Из романов упомяну «Ключ» и «Самоубийство».

В 1946 году редактором журнала стал М. Карпович, а после его кончины в 1959-м журнал перенял Гуль и руководил им иногда один, иногда вместе с редколлегией до самой своей смерти в 1986 году. Он скончался в глубокой старости. В 1982 году я была последний раз в Нью-Йорке, куда полетела только для того, чтобы еще раз встретиться с Гулем и, возможно, уже попрощаться. В самом деле, это была наша последняя встреча.

При моем посещении Нью-Йорка в 1979 году Гуль передал мне письмо, посланное на адрес «Нового журнала», от неизвестной мне дамы из Израиля, Доры Штурман. Она предлагала свой материал для «Голоса зарубежья». Это стало началом ее многолетнего сотрудничества с журналом и нашей дружбы. Но пока, вернувшись в

Мюнхен, я ответила ей так же, как отвечала всем, предлагавшим что-либо для журнала: пришлите мне ваш материал, мы его доброжелательно рассмотрим и, если он подойдет для журнала, напечатаем. Присланные ею материалы о Ленине оказались очень интересными, и я их сразу приняла к печати.

Дора Моисеевна Тиктина-Штурман

Мое решение печатать журнал в Сан-Франциско носило налет авантюризма. Слишком велико было расстояние, и слишком высоко стоял доллар. Как и следовало ожидать, Азар начал повышать плату за печатание, причем сразу после моего возвращения в Мюнхен, довольно бесцеремонно. Сотрудничество продлилось недолго. Но я все же съездила в Сан-Франциско и повидала западное побережье США, Тихий океан. Под конец Азар меня еще и надул: в общую оплату входила и отправка журнала в Мюнхен воздушным фрахтом. Но за № 9 (последний изданный в Сан-Франциско номер) Азар запросил за отpravку особую, очень высокую цену. Я не могла ее заплатить, так что почти все издание пропало, я получила только небольшую часть.

Между тем у меня возникла регулярная переписка с Дорой Моисеевной Штурман, и она посоветовала мне печатать журнал в Иерусалиме. В Израиле появлялось все больше русских евреев, многие были из интеллигенции, и им не так легко было найти подходящее занятие. Иврит — трудный язык, его не скоро выучишь в совершенстве, а русский они, конечно, знали. Открывалось все больше русских типографий, и они были рады работать даже за весьма скромную плату.

В 1980 году после девятилетнего перерыва я снова полетела в Израиль. Моих квазиродственников уже не было в живых. Скоичались и другие старые знакомые. Зато меня ждали новые! И в первую очередь личная встреча с Дорой Моисеевной и ее мужем Сергеем Александровичем Тиктиным, ученым-физиком.

Мы подружились еще в письмах, с первой же встречи оставались в дружеских отношениях, и все же к полному взаимопониманию мы шли постепенно. Наши взгляды, оценки как коммунистической идеологии, так и лиц, ее создавших и проводивших в жизнь, были очень близки, даже на удивление, но шли мы к ним разными путями. Дора Моисеевна шла из коммунистической семьи, в ее детских играх от важными героями и добрыми спасителями были... Буденный и Во-

рошилов. Мне такое и в голову не могло прийти. Из гражданской войны если и доходили до меня какие-то отголоски, то лишь как печальные знаки поражений: заунывный гудок сирены (о котором не раз говорила мама), гудок, которым Юденич прощался со Псковом, уходя навсегда; залпы расстрельных винтовок, покончивших жизнь Колчака, на которого мои родители короткое время возлагали надежды; а еще раньше — подписанное в том городе, где я родилась и росла, отречение, которое я в молодости не могла простить Николаю II: зачем он не боролся? Зачем предал нас, не родившихся? Но играли мы не в войну, не в белых и красных — играли в животных и путешествия, в игры, далеко отстоявшие от человеческой действительности нашего времени.

Но затем, когда Дора Моисеевна была еще ребенком, ее накрыла тень тех самых героев, если не лично их, то того дела, которое они героически пробивали. Ее отец, врач, начал помогать хотя бы отдельным, истощенным голодом детям, доползшим до Киева, где тогда жила семья Штурман, — это был период коллективизации. Отца начали таскать в ГПУ. Однажды, вернувшись оттуда, он повесился на чердаке.

И все же у его дочери и ее друзей осталась мечта о совершенном обществе будущего, достигаемом путем жертвы целого поколения и даже поколений, живущих в настоящем. Так, не особенно считаясь с живыми людьми, теоретизировали она и ее друзья-студенты в Алма-Ате, куда они бежали подальше от фронта. Но одно становилось им все яснее: современная им советская власть не воплощала в жизнь заветов классиков, да и вообще не занималась построением совершенного общества, хотя бы и для будущих поколений. Их кружок юных теоретиков был, видимо, слишком большим, чтобы сохранить тайну, да они и не были достаточно осторожными: ведь в то время они не отрицали марксизма и его основателей, они хотели лишь добраться до «настоящего» Маркса. Но власть имущим такая любознательность особенно понравиться не могла, и юные теоретики оказались в концлагере, где могли изучать жизнь уже не в теории, а на практике. Эти крайне тяжелые 5 лет подорвали ее здоровье. Потом, на воле, были ограничения. После окончания института преподавание в сельской школе. И все же надежда на перемены к лучшему осталась: когда началась хрущевская оттепель, Дора Моисеевна вступила в ряды компартии.

Понять это мне было труднее всего, хотя, вероятно, это-то я и

должна была понять. Тут была уже не теория, а просто невозможность Доры Моисеевны загонять в себя собственную активность, ее постоянное желание что-то делать. Но и мне всегда было свойственно страстное желание что-нибудь сделать! Оно бросило меня во время войны в иллюзорные надежды использовать эту войну для освобождения России от смертельной сталинской диктатуры. И как раз это Доре Моисеевне, еврейке, было в свою очередь не так легко понять и принять. И я ей была благодарна за то, что она сумела это сделать.

Долгой, упорной интеллектуальной работой она преодолела все искушения социалистической теории. Она поняла порочность самих построений классиков марксизма, поняла, что порча заложена в них самих и что они нигде не могли дать благих результатов. Идеи и теории — это тоже семена, из которых произрастает не что угодно, а нечто вполне определенное. Как из биологических семян терния вырастут именно тернии, а не розы, так и из дурных духовных и идеологических семян не возникнет не только оптимального, но даже сносного общества. Идеалистически настроенным адептам таких ложных идей чается и мнится, что они могут своими руками создать прекрасное общество, но зло, заложенное в самых корнях идеологий, которым они служат, сметает их самих с пути, и на смену им приходят те, кто проводит в жизнь не идеалистические мечтания ранних адептов коммунистической идеологии, а то, истинное, — губительное и тлетворное, — что в этой идеологии действительно есть.

Дора Моисеевна написала целый ряд глубоких исследований об основоположниках марксизма и их идеях. Она шла путем тщательного расследования их трудов. Это очень важно, и жаль, что ее работы не нашли пока достаточно широкого распространения в России, хотя и печатались в «Новом мире».

Я шла более интуитивным путем, быстро схватывая сущность марксизма-ленинизма. Мне было нудно заниматься чтением всех опусов и анализом «великих» писаний, часто пережевывавших одно и то же. Мне до известной степени пришлось все же это делать, когда я начала читать лекции в университете: мои интуитивные прозрения были убедительны для меня самой, но — не для других. Так, идя разными путями, мы сошлись не только в теории. Близко общаясь, несмотря на дальность расстояния, работая совместно над журналом, мы, иногда сами того не замечая, все больше синхронизи-

вали наши взгляды на современную политику и просто на жизнь. Особенно ярко это выявилось после решающих событий в России.

Я была в Израиле после 1980 года еще три раза: в 1981-м, в 1985-м и в 1990—1991 годах. Я встречала новый 1991 год в Иерусалиме и думала, что в наступающем году должно произойти что-то решающее, что-то огромное, необычное. Оно и произошло. Я имею в виду, конечно, события в России; война в Ираке, которая тогда была на носу, меня особенно не беспокоила — не такие войны переживала. Когда все европейские авиалинии прекратили полеты в Тель-Авив, я вернулась в Мюнхен на летавшей по расписанию как ни в чем не бывало израильской «Эль-Аль». Израильтяне были спокойны: привыкли. А в Мюнхене мое возвращение сочли чуть ли не чудом. До чего же западная Европа избаловалась миром и спокойствием.

Я всегда удивлялась работоспособности Доры Моисеевны, ее способности кропотливого, тонкого и совершенно объективного анализа разных авторов. Она не только работала над прошлым советской страны и своим собственным, над трудами когда-то соблазнявших ее авторов, но и — далеких их идеологических предшественников, таких, как Кампанелла и Томас Мор, а также современников, о чем свидетельствует заглавие книги, на которую мы здесь указываем*. Написала она и отдельную книгу о публицистике Солженицына. Все эти труды должны были бы найти более широкое распространение в России, и придет время, они, безусловно, будут востребованы. Первая волна разоблачений того, что было, прошла, нынче ее сменили заботы настоящего. Но более углубленное разбирательство с тем, что было в СССР и России, еще впереди. И труды Доры Моисеевны сыграют здесь свою роль.

О нашем синхронном восприятии настоящего речь впереди, когда в эпилоге этих воспоминаний возникнет то, о чем я десятилетиями не смела даже мечтать — о моем возвращении в Россию.

Владимир Рудинский

Я обещала еще рассказать об этом сотруднике. Он один из первых написал мне и предложил делать обзоры эмигрантской печати. Эти «Обзоры» он делал много лет. Читал он — и только читал! — уйму газет журналов и книг. У него не было ни радио, ни телеviso-

* Дора Штурман, Сергей Тиктин. Современники. Иерусалим: Лира, 1998.

ра, даже телефона не было, и сообщения из Парижа, где он жил, в Париж же... он посылал по экстренной почте.

Даниил Федорович Петров (Рудинский — это литературный псевдоним) в самый канун войны окончил филологический факультет Ленинградского университета, по отделу романистики, сосредоточившись на испанском языке. Он вообще полиглот, знает все основные европейские языки и некоторые полинезийские. Но он не мог найти применения своим способностям из-за своего странного, очень тяжелого характера. Работал он ночным сторожем, писал бесплатно или почти бесплатно (он был единственным автором, которому я за его «Обзоры» платила небольшую сумму) и со всеми ссорился. Рудинский писал минимум половину газетки «Наша страна», издававшейся в Аргентине. Газетка была создана когда-то Иваном Солоневичем, одним из первых поведавшим миру о советских концлагерях. После смерти Солоневича газета постоянно сползала влево, кончив союзом с национал-коммунистами, хотя и называла себя монархической. Случилось это сползание уже после падения в России коммунизма. Рудинский писал в этой газете под шестью или семью разными псевдонимами, в том числе и женским — Веденева.

То, что Рудинский читал, он обзирал весьма выборочно, замечал только то, что лично на него производило впечатление, писал нередко иронически и даже зло, но не без меткости и остроумия. Как раз это и задевало авторов. Меткость ранит. Я уже упоминала, что многие сердились на меня за его публикации, не понимая, что редактор не вправе вмешиваться в суть статьи, если под ней стоит подпись автора. Обиженные Рудинским требовали непременно цензуры с моей стороны, хотя я даже объективно никак не могла ею заниматься: большинства журналов и газет, упоминавшихся в «Обзорах», я вовсе не читала.

Рудинский хорошо знал литературу разных стран, а тем более русскую, хотя у него были очень странные пробелы. Так, он не знал знаменитого «Реквиема» Ахматовой. Хорошо владея английским языком, не читал такого прекрасного современного английского писателя, как Брус Маршалл и т. д. Но никто не может объять необъятного.

Сотрудничать с Рудинским было крайне трудно. Он постоянно раздувал из мухи слона, а иногда обходился и без мухи, писал злоющие письма. У него был инстинкт, более свойственный женщинам: чувствовать, что именно может причинить другому боль, и он безза-

стенчиво этот инстинкт использовал. Мне не раз хотелось порвать сотрудничество с ним, но всегда было его жаль: больше всего он своей постоянной злостью вредил самому себе. Кроме того, его «Обзоры» были интересны. Так я терпела почти 20 лет.

Жизнь журнала

После кончины И. Е. Сабуровой вся редакторская работа легла на меня. Я сама ездила на аэродром и привозила пакеты с журналами. Делать экспедицию помогал мне один мой бывший студент, а помещение для хранения и рассылки журнала предоставил о. Карл в подвале Русской католической церкви восточного обряда, к которой я принадлежала. Все это я делала наряду со своей университетской работой, которой тоже было немало.

От немецкой политики я в ту пору отошла. Одно время я и там принимала некоторое участие. Я уже упоминала, что состояла членом Христианско-социального союза, председателем которого был Штраус, и принимала некоторое участие в выработке внешнеполитической линии этой партии, стараясь объяснить немцам, что надо проводить четкую грань между коммунизмом и советской властью с одной стороны и русским народом — с другой. Это было нелегко. Американцы никакой разницы не делали, для них это была просто Россия, им было все равно, какая она. Аденауэр четко различал и всегда говорил «Советский Союз», а не Россия. Но Шмидт окончательно перешел на «Россия», и грань все больше смывалась. После падения коммунизма мы увидели, к каким негативным результатам это привело: Россия осталась образом врага.

В 1976 году на выборах в бундестаг объединенные партии ХДС и ХСС получили 48% голосов. Для абсолютного большинства не хватало 2%. Партии ХДС и ХСС были территориальными: ХСС — в Баварии, а ХДС — во всей остальной Германии. В бундестаге они образовывали общую фракцию. Несмотря на 48%, правительство создало СДП вместе с партией свободных демократов, а ХДС/ХСС остались в оппозиции. Тогда в ХСС возникла идея отделиться полностью от ХДС и распространиться по всей Германии, соответственно ХДС распространилась бы и на Баварию, где ее не было. Расчет был на то, что в Северной Германии есть более консервативные круги, которые неохотно голосуют за ХДС или даже совсем не голосуют, не идут на выборы, а за ХСС они бы голосовали. А в Баварии есть избиратели, для которых ХСС слишком консервативна и они, скрепя

сердце, голосуют за свободных демократов, а будь здесь ХДС, они голосовали бы за нее. Таким образом, разделившись, обе партии вместе набрали бы больше 50% голосов и затем заключили бы коалицию без свободных демократов. Но, согласно традиции межпартийных коалиций, вице-канцлером и министром иностранных дел становился лидер меньшей партии в коалиции. В случае коалиции ХДС и ХСС вице-канцлером и министром иностранных дел стал бы Штраус.

Штраус был политиком значительно большего формата, чем Коль, и последний знал это. Способности Штрауса к успешной внешней политике так и не были востребованы. Коль знал, что рядом со Штраусом он будет выглядеть бледным, и потому яро был против отделения ХСС и распространения ее на всю Германию. Ни прежде, ни после я не видела на экране телевидения у политика такого злого лица (обычно они стараются выглядеть более приветливыми), какое было тогда у Коля. Он хотел стать канцлером без Штрауса, что ему потом и удалось. Но Коль не смог бы помешать ХСС принять нежелательное для него решение, если бы не другие факторы.

В 1977 году в маленьком живописном местечке в горах под названием Бад Крейт собралась верхушка партии решать этот вопрос. Рядовые члены партии были скорее за отделение и распространение на всю Германию. В «моем» округе мне удалось почти всех убедить послать в Бад Крейт коллективную телеграмму, поддерживающую такое решение. Кроме того, я была в постоянном телефонном контакте с графом Штауффенбергом, находившимся в Бад Крейте. В последнем разговоре он сказал: «Мы ничего не можем сделать. Штраус капитулировал». Капитулировал он под давлением средних и мелких партийных функционеров. В Баварии на выборах ХСС, начиная с 1962 года, неизменно получал абсолютное большинство голосов, при Штраусе больше 60%. Многие члены этой партии занимали как внутри партии, так и в баварских государственных структурах теплые местечки. Если бы в Баварии ХСС должна была конкурировать с ХДС, то часть голосов она неизбежно потеряла бы в пользу ХДС. Число теплых местечек для членов ХСС тогда бы уменьшилось, а кто именно потерял бы свое место, никто не знал. Поэтому почти все эти функционеры дружно восстали против таких планов. Когда стало ясно, что ХСС не выйдет за пределы локального значения, я потеряла интерес к этой партии. Последний раз я получила приглашение на высшем уровне от нее, когда она пышно принимала Горбачева. Но я не пошла на этот прием.

Я вышла из рядов ХСС после того, как она включилась в кампанию расширения НАТО на восток. Но об этом периоде истории позже.

Двадцатилетняя деятельность, связанная с изданием журнала, приносила как радости, так и горести. Не обходилось без провокаций, не обходилось и без предательства. Так, некто Нефедов, человек из первой эмиграции, много писавший о гражданской войне, хотя и не испытывавший ее по малолетству (ему было 6 лет, когда эта война началась), странным образом подкупил меня на сентиментальности, чувстве, мне почти не свойственном. Он рассказал, что его старший брат в 16 лет погиб в армии Юденича, и я вспомнила ушедшего в 15 лет в армию Юденича и погибшего своего брата Ильюшу, которого никогда не видела, но о котором так много говорили в семье. Я как-то доверилась Нефедову, иногда неосторожно писала ему свое мнение о других эмигрантских изданиях или отдельных лицах, конечно, конфиденциально. Он печатался в нашем журнале. Решив порвать с сотрудничеством, Н. Нефедов не нашел ничего лучшего, как дать некоторые из моих доверительных писем в прессу. Помню, как волновалась милая Дора Моисеевна, уговаривая меня не обращать внимания на эту публикацию. Но я знала, что единственное средство борьбы — это гласность. Я настояла на перепечатке этих отрывков своих писем в нашем журнале с указанием фамилии того, кто их дал в печать (он себя, конечно, не называл), не отрицая, что писала их я, но и называя предательство предательством. Последовали, конечно, уверения в невинности со стороны Нефедова, но зато впредь ни один отрывок из моих личных писем в печати не появился. А сделай я вид, что ничего не заметила, стали бы брать измором, печатая один отрывок за другим. Конечно, многие старались опорочить журнал слухами.

Так в либеральных и еврейских кругах эмиграции распространился гнусный слухок, что журнал реакционно православный и антисемитский. Владельца типографии в Иерусалиме, где я печатала свой журнал, Дектора, когда тот был в Париже, даже спросили, как он может печатать такой антисемитский журнал. Спрашивавшие «Голос зарубежья», конечно, и в глаза не видели. В православных же и консервативных кругах не только подчеркивалось, что я «злая» католичка, но и намекалось, что я чуть ли не перешла в иудейство. На слухи, конечно, реагировать мне приходилось.

Опасный для журнала момент наступил в связи с о. Дмитрием

Дудко. Об этом священнике в самой России мало кто знает, но в эмиграции он стал одним из самых популярных оппозиционных деятелей СССР. Вокруг о. Дудко возникла настоящая истерия. Печатались открытки с его портретом и надписями вроде: «С такими пастырями воскреснет святая Русь!» Служил о. Дудко где-то под Москвой и был очень смел в своих высказываниях. Он одним из первых высказал мысль о канонизации царской семьи. Среди всеобщего, почти истеричного поклонения этому священнику начали раздаваться скептические голоса: а почему о. Дудко все разрешается? Первым озвучил такие сомнения Сергей Львович Войцеховский, теперь покойный, тогда уже очень старый человек. В молодости, живя сначала в эмиграции в Польше, он поддался на провокацию знаменитого «Треста» (помните телесериал «Операция „Трест“»?), но потом был одним из тех, кто вместе с польским сотрудником органов безопасности Врагой разоблачил эту провокацию. Теперь Войцеховский осторожно усомнился в том, что все исходит действительно от самого о. Дудко, и напечатал об этом несколько писем в «Нашей стране» и одно в «Голосе зарубежья». На самом деле то, что печаталось от имени о. Дудко, становилось все более странным. Так, на многих страницах одной из своих статей он разве что не плакал по поводу того, как однажды крестил подростка, а родители-атеисты, узнав об этом постфактум, его выбрали. Обычная ситуация в жизни священника. В Марбурге был случай, когда пятнадцатилетний сын квакера попросил католического священника крестить его, что священник и сделал (в Германии по закону с 14 лет человек может определять свою религиозную принадлежность самостоятельно). Отец-квакер выгнал своего сына из дома и, уж конечно, обругал священника. Но в СССР тогда ведь, кажется, человек только с 18 лет мог сам определять свою религиозную принадлежность. Однако власти не вмешались, только родители рассердились. А затем в «Посеве» появилось письмо о. Дудко, где тот призывал Зарубежную Православную Церковь тайно засылать в СССР епископов, чтобы те рукополагали священников, если Зарубежная Церковь считает Московскую патриархию безблагодатной. Это было очень странно: зачем же писать явно о том, что якобы надо делать тайно. Я осторожно высказала на страницах «Голоса» сомнение в том, что это действительно писал о. Дудко, полагая, что этот текст был фальшивкой, подкинутой от его имени.

Теперь уже можно сказать, что я получила из Союза три аноним-

ных письма с предупреждением: о. Дудко — провокатор. Письма были брошены в почтовый ящик в Голландии и во Франции. Видимо, иностранные туристы брали их с собой и посылали из тех стран, где жили постоянно. Я ничего не могла предпринять по поводу этих писем: свои адреса и фамилии ни туристы, ни авторы писем не сообщали, все было анонимно. Можно ли было этим письмам верить, или следовало их самих принять за провокацию? Я была склонна к тому, чтобы верить, но как-либо использовать их я не могла.

«Голос зарубежья», конечно, проникал в СССР, но не в массовом порядке. Брали матросы, брали те же туристы (в 1993 году в Москве бывшие диссиденты говорили мне, что читали отдельные номера, хвалили журнал; видимо, у кого-то он вызвал доверие, и теперь я хочу поблагодарить моих анонимных корреспондентов, может быть, эта книга попадет в руки кого-либо из них).

В № 14 я напечатала одно письмо С. Войцеховского с сомнениями относительно деятельности о. Дудко. Сомнения были высказаны очень осторожно. Странной была также статья о. Дудко в похвалу художника Глазунова, где о. Дудко проводил мысль, что нация важнее религии, — мысль для священника более чем странная.

И вот весной 1980 года грянул гром: о. Дудко арестовали. Тотчас же начали падать шишки на тех, кто как-то сомневался даже не в самом о. Дудко, а в подлинности всех печатавшихся под его именем материалов.

В акцию вступил Солженицын, который и перед этим до известной степени симпатизировал о. Дудко, не высказываясь об этом открыто. Только его жена написала небольшую восторженную статью об о. Дудко, но и теперь, после ареста священника, Солженицын не выступил открыто. Он разослал по ряду изданий письмо четырех. Для меня это был последний, лишь письменный контакт с Солженицыным. Я получила от него короткое письмо с просьбой опубликовать в моем журнале письмо Борисова, Бородина, Шафаревича и Хохлушкина по поводу ареста о. Дудко. Тогда наш мартовский номер только что вышел в свет, а до июньского (журнал был квартальный) оставалось еще много времени. Прочтя письмо четырех, я увидела, что оно полно передержек и неправильного освещения того, что печаталось в эмигрантской прессе. Совершенно искренне я подумала, что такое письмо может только дискредитировать его авторов, и написала Солженицыну, указывая на передержки и неправильности, что, может быть, даже для самих авторов

лучше это письмо не опубликовывать. Но если он настаивает, я, конечно, опубликую, однако не без комментария. Солженицын ответил лаконично, что если они там рискуют и пишут, то наше дело не рассуждать, а печатать. Кроме того, он писал, что мы (военные эмигранты) уже 40 лет как оторваны от родины и не знаем, что там густо нарастает. В последнем он был прав, хотя я тогда отнеслась к этому несколько скептически, но одно с другим не имело ничего общего. Я ответила, что напечатаю письмо с комментарием, а что касается нашего незнания ситуации в России, то не согласится ли он дать интервью нашему журналу; я бы прислала вопросы и предоставила ему возможность дополнить их своими вопросами, если мои не охватят всего, о чем он хотел бы сказать эмигрантам первой и второй волны. На это я уже не получила ответа.

Ниже я привожу письмо четырех и мой комментарий. Это было напечатано в июньском номере «Голоса зарубежья» за 1980 год (№ 17).

К аресту о. Дмитрия Дудко
(письма в редакцию)

Несколько месяцев назад одновременно во многих выходящих на Западе на русском языке газетах и журналах началась враждебная кампания против о. Дмитрия. Направленные против него статьи располагались в широком диапазоне — от мелких уколов («о. Дмитрий потускнел», «о. Дмитрий не интеллектуален» — «Вестник РХД», № 128) до грубой брани. Мысли о. Дмитрия — «сознательная чушь», «слабоумие» («Наша страна», 9-Х1-79), и вплоть до совершенно чудовищных намеков, что, по-видимому, не случайно, несмотря на столь смелые статьи и проповеди, о. Дмитрий все еще находится на свободе («Голос зарубежья», № 14, «Часовой», № 621, «Русская мысль», 29-Х1-79). Одна из статей, развивавших эту последнюю тему, так и называлась — «Загадка» («Наша страна», 30-Ш-79). Загадка теперь разгадана.

Мы полагаем, что лица, поддержавшие и осуществлявшие эту кампанию, серьезно отягчили свою совесть. Вполне возможно, что появление этих статей способствовало тому, что именно сейчас арест о. Дмитрия был признан целесообразным; направленные против него статьи могли быть восприняты властями как признак того, что сейчас защита его на Западе не будет слишком эффективной.

У нас нет оснований предполагать, что указанная кампания является результатом злого умысла, и мы надеемся, что участвовавшие

в ней попытаются искупить свою вину, отдав все силы защите отца ДМИТРИЯ ДУДКО.

Москва, 6-1-80.

Вадим Борисов, Леонид Бородин, Игорь Шафаревич, Игорь Холушкин.

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам недавно переслали для публикации письмо четырех из Москвы. Имена известные, а потому это письмо ставит в тупик. Первая его часть дает искаженное представление об эмигрантской прессе. Авторы говорят о «кампании против о. Дмитрия Дудко» и создают тем самым впечатление, что в означенных органах печати были исключительно отрицательные высказывания относительно этого священника. На самом же деле в них в отделе «Письма в редакцию» (за письма в редакцию сама редакция не отвечает) велась дискуссия относительно некоторых мест в письмах и статьях, подписанных именем о. Дудко.

Так в нашем журнале было напечатано только одно письмо с сомнениями в № 14 и другое, скорее восторженное по отношению к о. Дудко, в № 16. В «Нашей стране» велась более длинная дискуссия, в ходе которой было больше восторженных писем об о. Дудко, чем таких, в которых высказывались сомнения. Назвать это «кампанией» совершенно невозможно.

Так же неточно цитируются примеры отрицательных выражений. Они вырваны из контекста и вызывают совершенно иное впечатление, чем в контексте. Например, слова «слабоумие» и «чушь» относились совсем не к мыслям о. Дудко, как утверждают авторы письма, а к факту опубликования призыва тайно засылать епископов в Советский Союз. Если их засылать тайно, то зачем же публиковать это явно? Это вызвало недоумение, в связи с чем мы, например, высказали предположение, что это вообще писал не о. Дудко или что он именно такими странностями в письме хотел указать, что пишет его под давлением, что он несвободен. Это не только не кампания против о. Дудко, но, наоборот, попытка объяснить себе это странное письмо, не затрагивая о. Дудко.

В связи со странными искажениями в письме четырех того, что на самом деле писалось в эмигрантской прессе, у нас встает следующий вопрос: имеют ли авторы, живущие в Москве, широкий и свободный доступ ко всей эмигрантской прессе? Или их информирует кто-то, выдергивающий из эмигрантской прессы отдельные куски

или даже отдельные слова и дающий им тем самым искаженное представление об этой прессе?

Если они имеют широкий и свободный доступ к эмигрантской прессе, то этот номер нашего журнала до них дойдет — мы сами все же не решаемся послать его кому-либо из авторов по почте из опасения им повредить. Но в предположении свободного доступа к эмигрантской прессе следует думать, что этот журнал до них дойдет. В этом случае мы просим авторов письма как можно скорее ответить нам и объяснить, чем вызваны явные передержки и искажения, которые имеются в печатаемом выше их письме.

Если мы ответа не получим, то будем предполагать, что авторы письма информируются кем-то однобоко и неправильно. В этом случае нам остается только пожалеть, что они стали жертвами дезинформации.

Предположение, высказанное во второй части письма, что КГБ при аресте о. Дмитрия Дудко ориентировался на эмигрантскую прессу, вряд ли можно взять всерьез. Не говоря о том, что КГБ с эмиграцией не считается, для нас, христиан и свободных людей, ясно, что мы будем по мере слабых сил заступаться за каждого узника коммунистической тирании, независимо от того, согласны мы с тем, что он пишет, или нет, понимаем мы его или нет. Наш журнал в № 16 опубликовал такой же протест против ареста о. Дудко, как в № 15 — против ареста о. Плева Якунина. Разницы мы не делали.

Но отказать от свободного обсуждения возникающих вопросов и проблем мы не можем, иначе мы предали бы то, является единственным оправданием нашего эмигрантского бытия, — свободную российскую прессу, задавленную на нашей родине.

Значительно раньше письмо четырех появилось в изданиях, выходявших в свет чаще, чем «Голос зарубежья». Так, в еженедельной газете «Наша страна», где наиболее широко велась полемика вокруг о. Дудко, письмо появилось тоже с комментарием, но с униженными извинениями, что они вообще что-то печатали, и заверениями, что в подлинности этого письма они не сомневаются, оно прислано таким лицом! Отчего Солженицын не выступил открыто? Отчего он не дал право прессе опубликовать его имя в связи с передачей этой прессе вышеозначенного письма?

Нужно ли говорить, что никакого ответа на наш комментарий мы не получили ни от четырех авторов, ни от Солженицына.

Отмечу в этой связи два небольших факта. В 1979 году, когда я была в Париже, Т. Великанова передала мне письмо от Шафаревича, где тот высказывал желание напечатать какую-нибудь свою статью в нашем журнале, причем сделал странный комплимент журналу, что он не боится быть русским. Шафаревич писал, что если мы не захотим печатать статьи автора, живущего в СССР, так как мы — «голос зарубежья», то он это поймет. Ответ я должна была вручить той же Великаиовой.

Я не имела ничего против авторов из СССР, если они не боялись печататься в нашем журнале, но, откровенно говоря, имела кое-что против самого Шафаревича, его ультранационализма и явного антисемитизма. Поэтому я ответила сдержанно, а именно: русская эмигрантская пресса вообще не боится быть русской, но мы не ярые националисты; я ничего не имею против авторов из СССР и, если он пришлет статью, благожелательно ее рассмотрю и решу, подходит ли она журналу; то есть то самое, что писала каждому, предлагавшему свои статьи. Шафаревич статьи не прислал; думаю, он был разочарован, ожидая восторженного ответа, ведь нам предлагал свое сотрудничество автор с таким именем! Сама Великанова при нашей встрече в парижском кафе сказала мне, что наш журнал ей не очень нравится, ибо он слишком антикоммунистический.

От Бородина я получила, на сей раз через Красовского, издателя журнала «Вече» в Мюнхене, маленькое, написанное от руки письмо тоже об о. Дудко. От руки оно было написано, так как прежде тот же Красовский распространял письмо (якобы от о. Дудко) с похвалами своему журналу, напечатанное на машинке с машинописной подписью. Когда я усомнилась в подписи, одна сотрудница Красовского сказала наивно: «Но оно же подписано!» Я ответила: «На машинке. Хотите я напишу сама себе на машинке письмо от имени Брежнева и подпишу его фамилией, уверяю вас, машинка выстукает». Но ведь я не знала почерка Бородина, поэтому и письмецо от руки мне ничего не говорило. Красовский грозил разослать его во все органы эмигрантской печати, но, кажется, никто его не напечатал. Красовский не Солженицын.

Но все это были лишь легкие уколы, а потом грянул удар молотом. В энтээсовском журнале «Посев», издававшемся во Франкфурте, и в журнале «Русское возрождение», издававшемся в Нью-Йорке, появилась статья о. Дудко, не то присланная им из тюрьмы, не то

написанная до его заключения. Кто именно передал эту статью в журналы, я не знаю.

«Русское возрождение» издавалось недавно. Начал издание известный в Париже князь Сергей Оболенский. В прошлом он был участником движения младороссов под руководством А. Казем-Бека (оказавшегося советским агентом). После войны князь Оболенский стал советским патриотом (так называли в эмиграции людей, перешедших идейно на сторону Советского Союза) и даже, кажется, взял советский паспорт, но в СССР, однако, не поехал. Теперь он вернулся к своей надежде на возможность перерождение советской власти к лучшему и начал издавать журнал. Но князь был очень стар и болен, вскоре он скончался. Журнал перенял о. Александр Киселев и перевел его в Нью-Йорк. До Второй мировой войны о. Киселев жил в Эстонии. Именно у него на богослужениях прислуживал мальчиком теперешний патриарх Алексей. После войны о. Киселев основал в Мюнхене Дом милосердного самарянина, где была русская гимназия, о которой я писала, но уехал в США раньше, чем я познакомилась с этим домом и гимназией (с о. Киселевым я встретила в 1970 году в Нью-Йорке и даже останавливалась в его доме). Редактировал журнал Геинадий Андреевич Хомяков, тот самый, который написал литературно изумительные воспоминания о Соловках; он был редактором в издававшемся в Мюнхене американцами журнале «Мосты», а после его закрытия уехал в США. Журнал «Мосты» издавался с 1958-го до 1970 года. Однажды там произошел следующий казус: редакция «Мостов» первой получила и опубликовала текст блестящего эссе Андрея Сиявского (Абрам Терц) «Что такое социалистический реализм?». Либо в полученном редакцией тексте была ошибка, а редакторы ее не заметили, либо они сами не поняли того, что хотел сказать Сиявский, и вместо слова «телеология» (целеустремленность, от греческого «телеос» — цель) они напечатали «теология» (богословие). И Сиявскому на советском суде потом ставилась в вину религиозная пропаганда... Но вернемся к нашему священнику

В журнале «Русское возрождение» статья о. Дудко появилась под заглавием «Ночи бессонные». Не знаю, кто подсунул священнику для заглавия первые слова известного романа «Ночи бессонные, ночи безумные... речи бессвязные». В «Посеве» это заметили и озаглавили «Бессонные ночи», да и текст «посевцы» немного почистили. «Русское возрождение» лягнуло все, как было. Статья была ужасная

и направленная лично против С. Войцеховского и меня. На нас возводилась клевета, что мы называли его агентом КГБ, и даже «рьяно», хотя мы его никогда так не называли. И делался вывод, что мы сами агенты, а доказательство — нас еще не убили, хотя мы воюем против коммунизма. Непостижима эта топорная угроза убийства из-под пера священника, но не менее странно: как редакторы эмигрантских журналов решились такое печатать? Ведь их тоже не убили, а они тоже считали, что воюют против коммунизма.

А еще о. Дудко заявлял, что Войцеховский и я — агенты сионизма, и тут уже более грубой советской агитки нельзя было и придумать. Редакция «Посева» это место изъяло, но в журнале о. Киселева все осталось.

На некоторых редакторов эмигрантской прессы это письмо, в котором, кстати, о. Дудко отрицал какое-либо и чье-либо давление, произвело очень сильное впечатление. Так, редактор «Нового русского слова» А. Седых (Яков Моисеевич Цвибак) принял эту агитку за крик сердца, но, как он мне потом говорил, отказался печатать в своей газете только из-за меня.

При той истерии, которая была возбуждена вокруг о. Дудко в эмиграции, да еще при поддержке широко известных личностей, несмотря на очевидный характер советской агитки, «Ночи бессонные» могли сойти за «крик души». Сможет ли мой журнал пережить этот удар, я не знала. Будущее должно было показать...

Я хорошо помню теплый июньский день, воскресенье. Когда я выходила из церкви после богослужения, ко мне подошли и спросили, знаю ли я о выступлении о. Дудко по советскому телевидению? Он там отрекся от всех своих прежних крамольных высказываний, обругал некоторых своих эмигрантских почитателей поименно, например, профессора Небольсина из США, назвав их провокаторами, призвал объединяться вокруг советской власти, данной Россией от Бога (несть власти аще не от Бога). Это снова был оглушительный удар, но уже с другой стороны. После церкви я поехала на машине к дальней части огромного Английского парка, постепенно переходящего в лесок. Оставив машину у входа в парк, я пошла гулять по лугу под деревьями. Карманов в платье у меня не было, а таскать сумочку не хотелось, и я держала ключи от машины в руках. Все еще точно оглушенная неожиданным поворотом дела, я шла, погруженная в свои мысли, и вдруг заметила, что ключей у меня в руке нет: я их где-то обронила. Ключи были в маленьком зеленом

футлярчике, и искать зеленый предмет в зеленой траве было не так легко, а мое внимание все еще не вернулось в нормальную жизнь. Вдруг ко мне подбежал молодой человек, один из моих студентов, японец: «Что вы ищете?» Я сказала. Он: «Я найду!» — и, активно принявшись за поиски, вскоре торжествующе принес мне ключи. Это маленькое происшествие вернуло меня в повседневную жизнь.

Журнал был, конечно, спасен, но никто не извинился. И Солженицын не прокомментировал столь скандальное развитие событий. Больше того, весной 1981 года на съезде в Вашингтоне, о котором речь ниже, ко мне подлетел о. Киселев, и я, конечно, спросила его, почему он напечатал тот пасквиль. Он забормотал, что этого хотел главный редактор, и сразу же ретировался. Как трудно людям принять ответственность за свои поступки, даже священникам. Тот же главный редактор, который якобы был ответствен за печатание, Г. А. Хомяков, позже позвонил мне в Мюнхен и хотел пристроить какую-то свою статью в моем журнале. Я и его спросила о том же, он как-то странно взвизгнул и положил трубку. И он бежал от ответственности.

А Леонид Бородин, талантливый писатель, не раз арестовывавшийся в СССР, в своем романе «Расставание» разгромил о. Дудко, еще когда последний служил и «диссидентствовал», и задал наш же вопрос: как ему это позволяют? Имен он в романе не называет, но слишком ясно, о ком идет речь. Моя рецензия на этот роман Л. Бородина напечатана в № 36 «Голоса зарубежья». Были ли письма Бородина ко мне его письмами? Не знаю. Не знаю также, отчего советская власть развенчала кумира эмиграции, тем самым отрезвив ее. От имени журнала могу принести ей за это благодарность.

Отмечу еще, что после падения советской власти о. Дудко сотрудничал с национал-коммунистической газетой «День», а сейчас он духовник наследницы газеты «День» — красно-коричневой газеты «Завтра».

10 марта 2002 года по российскому радиоканалу «Слово» было интервью с о. Дмитрием Дудко по поводу его 80-летия. В этом интервью юбиляр сказал страшные вещи. Он не только заявил, что коммунисты спасут Россию, что они приняли Бога — снизошли, так сказать, что ему из всех современных политиков больше всего нравится Зюганов, но... определяя свою позицию принципиально, священник Дудко поставил поистине дьявольский знак для своей страны: он назвал идеалом политического деятеля... Сталина. «Я его

люблю, — воскликнул Дудко, — он создал такую империю, какой не было и у царей!» И этим «священник» (без кавычек я не могу употребить этого слова по отношению к такому человеку) Дудко взял на свою совесть десятки миллионов невинно убиенных, замученных, погибших от искусственного голода, в том числе и детей. Взят на свою совесть надругательство над святынями, разрушение церквей, гибель православных священников!.. Вот куда заводят «Ночи бессонные»...

В конце 1980 года на Западе появился странный человек с придуманной фамилией, чего он не скрывал (поэтому я не буду ее называть), не скрывал и своего прошлого в качестве советского разведчика на Ближнем Востоке. Потом он якобы переменял свои убеждения, сбежал на Запад. Он связался с А. П. Федосеевым, тесно с ним сотрудничал и вскоре устроил невероятную вещь: широкий съезд в Вашингтоне в здании сената под названием «Свободная Россия». Патронировал этот съезд сенатор Лоуренс Макдональд.

Здесь необходимо небольшое отвлечение. Американцы, как правило, не верили в то, что есть какая-то скрытая антикоммунистическая Россия, как не верил этому Гитлер, и потому ему пришлось кончить жизнь самоубийством (американцам это, конечно, не грозит). Единственный американский политик, который говорил о внутренне свободной подпольной России, был кандидат в президенты в 1964 году Барри Голдуотер. За это его буквально затравили, полностью исказили его образ, сделав из него, члена Лиги по поддержке цветных граждан Америки, расиста, чуть ли не фашиста. Тогдашний редактор «Нового русского слова» Марк Ефимович Вейнбаум сказал потрясенно: «Я сорок лет журналист в США и никогда еще не видел, чтобы какого-нибудь политика так отчаянно травили, так клеветали, переворачивали каждое его высказывание, вырывали фразы из текста и переиначивали их». В эту дикую травлю включилась и европейская пресса. Мне приходилось говорить с редакторами крупных консервативных газет в Германии. Они знали, что Голдуотер совсем не такой, каким его представляют. Я их спрашивала, зачем же они печатают клевету. Ответ был странный: у нас не заказной журнализм, какие статьи нам присылают наши американские корреспонденты, такие мы и печатаем. Обещали, что будут другие авторы и другие статьи. Но они не появились. В советском журнале «Вопросы философии» потом было написано: «Мы покон-

чили с Голдуотером, теперь черед Джонсона». И с ним тоже покончили: он не кандидировал на второй срок. А за сим последовал крах американцев во Вьетнаме... Но вот появился сенатор Л. - Макдональд, который поверил, что есть и антикоммунистическая Россия.

Меня попросили выступить на вашингтонском съезде. Я уже не помню тему, которую мне предложили, но она меня не интересовала, и я в свою очередь предложила другую — о взаимоотношениях СССР и Китая. Тогда еще популярна была теория вражды между этими странами, весь мир гремел предсказаниями: скоро, скоро Китай избавит Запад от угрозы Советского Союза. Одни провозглашали красный Китай самым страшным врагом и предсказывали, что из страха перед Китаем СССР отдаст Вьетнам под протекторат США. Другие же думали, что СССР завязнет в войне с Китаем так же, как США завязли во Вьетнаме, но с худшими для себя последствиями: СССР развалится. Амальрик в своей книжке «Просуществует ли СССР до 1984 года» предсказывал войну СССР с Китаем, в которой СССР так же завязнет, как США во Вьетнаме. Появлялись не только статьи, но и наскоро сфабрикованные книги о том, что Африка уже под влиянием Китая, что Советский Союз свое влияние всюду теряет и очень боится Китая и пр. и пр.

А в то же самое время 90% поставок советского оружия во Вьетнам шло через Китай! Но кому нужны факты, если есть такие прекрасные иллюзии? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Только никем не услышанные миссионеры, долго жившие в Китае, говорили о китайской игре теней.

Сначала и я поверила в ссору между СССР и красным Китаем, но скоро поняла, что это всего лишь игра. Показательно было и то, что так удачно по-английски называется *timing* (совпадение времени). Можно было заметить, что, как только в мировой политике происходит что-либо неблагоприятное для СССР, на границе с Китаем вспыхивает перестрелка, и все внимание Запада жадио устремляется туда. Другое забывается. Когда американцы потерпели полное поражение во Вьетнаме, кончилась и активная фаза противостояния между СССР и Китаем — за ненадобностью.

В то время, когда между Китаем и СССР возникали перманентные стычки, у меня появился новый студент. Это был молодой священник из Испании, но не испанец, а баск. Баски — совсем другой народ, у них другой, не индоевропейский язык; филологи говорят,

что он имеет сходство с грузинским — другой строй общества, другой менталитет. Испанцы загубили свою империю постоянной де-лежкой владений между многими сыновьями, у них не было майората. У басков был майорат, а младшие сыновья шли на службу. Из них вышло немало выдающихся личностей в армии и флоте: Боливар, отторгший от Испании страну, получившую имя Боливия, был баском, баском был и св. Игнатий Лойола.

В 1979 году летом я по приглашению этого бывшего студента, написавшего тем временем у меня докторскую диссертацию и окончившего университет, была в Басконии и также в местечке Лойола. Там огромная церковь имени св. Игнатия доминирует все маленькое местечко.

Не побоюсь признать, что св. Игнатий, невероятно оклеветанный, особенно в России один из моих любимых святых. Его даже и теперь в медиах иногда называют инквизитором, тогда как на самом деле он был жертвой инквизиции. Его два раза инквизиция арестовывала по подозрению в ереси, но оба раза ему удалось оправдаться. Человек пламенной любви к Богу и людям, необыкновенной силы воли, он, конечно, не создавал ордена с правилом «Цель оправдывает средства» или чем-либо подобным. Но его орден основывал прекрасные школы, куда и протестантские родители охотно отдавали своих детей. Их там никто не «обрабатывал», но пример производит впечатление, а потому немалое число этих детей, вырастая, возвращались в Католическую Церковь. Это раздражало некоторые протестантские круги, и ими была сфабрикована фальшивка о правилах ордена Иисуса Христа. Когда Ю. Самарин писал свою книгу «Иезуиты», он исходил из этой фальшивки, не ведая об ее измышлениях. Но в наше время фальшь эта хорошо известна, сами протестанты ее не отрицают. Так что и в России тем, кто дурно говорит об этом ордене и его основателе, следовало бы сначала ознакомились с фактами.

Мы тогда проехали на машине по Стране Басков, через Андорру снова во Францию и посетили Лурд. Но я могу только еще раз повторить, что места паломничества меня как-то не захватывали, хотя я верю в чудесные исцеления и читала захватывающую книгу австрийского писателя Франца Верфела «Песнь о Бернадетте»...

Вернемся, однако, к моему студенту, когда он стажировался в Мюнхенском университете. Как-то он подошел ко мне и начал осторожно высказывать мысль о том, что ссора между СССР и Китаем

лишь политическая игра. Я легко, почти небрежно ответила: знаю, это, конечно, так. Глаза студента широко раскрылись. Оказывается, он подходил с этой идеей ко многим профессорам-международникам, но все от него отмахивались. Чего он от них хотел? Думать нестандартно — хлопотно, стандартное мышление гораздо спокойнее.

Мои указания на практическую политику, из которой следует, что эта вражда лишь игра, не очень удовлетворили студента. Он хотел доказать эту тактику теоретически, исходя из коммунистического учения. Его политический наставник, старый профессор, живший в Южной Франции, где тоже есть баски, написал толстую книгу под заглавием «Раздели один на два». Прочсть эту книгу целиком я не могла, так как она вышла в свет лишь на языке басков и на испанском. Я читала лишь небольшие выдержки, переведенные на немецкий или английский языки. Они были интересны, но я считала, что на практических политиков они впечатления не произведут; более впечатляющим для них будет тот же транспорт оружия через Китай. Издать книгу на английском им так и не удалось.

На эту тему — СССР и Китай — я и хотела сделать доклад на съезде в Вашингтоне. Хотя организатор и согласился, но тема ему, видимо, не очень понравилась: он перемещал время моего доклада, пока я не оказалась в программе последнего, третьего дня, когда американцы уже разошлись. Я все же передала его краткий текст на английском языке сенатору Макдональду, причем монархист Колтыпин (а монархисты хотели захватить этот съезд в свои руки) старался мне помешать самым грубым образом, даже просто оттащить меня за рукав от сенатора. Увы, достойных представителей этой самой свободной России как-то не было видно. Ни один доклад не был ярким, и весь конгресс не дал видимых результатов.

Вскоре сенатор Макдональд погиб в сбитом советской ПВО южнокорейском самолете (говорили, что именно он, а не нарушение границы СССР было истинной причиной гибели авиалайнера). А затем скончался, как сообщалось, от рака бывший разведчик, организатор тогдашнего съезда. Снова был задавлен в зародыше росток понимания того, что не все русские — коммунисты, что есть и другая Россия.

Но вериемся к журналу. Отдельные провокации против журнала продолжались, но серьезно повредить они не могли. Бывали и примитивные попытки «задушить в объятиях», приходили письма, которые захваливали журнал, но в конце авторы писем замечали, что

он был бы еще лучше, если б выступил, например, против «еврейской опасности». Были попытки повернуть журнал в другую сторону — предложением серии «серьезных статей». Все это было слишком прозрачно, а авторы писем не были сколь-либо известными героями эмиграции. Кстати, о героях: Солженицын в момент пика истории с о. Дудко подписался на «Голос зарубежья». Журнал стоил 20 долларов в год, и эти суммы всегда входили в мой отчет той организации, которая нас субсидировала. Эмигранты старались немного помочь журналу, даже пенсионеры докладывали иногда 5 или 10 долларов, а более состоятельные присылали даже по 50 или 100 долларов. От Солженицына всегда приходили ровно 20. Какого-либо отклика на журнал не было от него ни в печати, ни мне лично. Прекратил он подписку где-то в конце 80-х, причем весьма характерно: просто не перевел деньги на следующий год. Но я привыкла к неточности русских, многие забывали про подписку и после напоминания сразу же присылали деньги. Поэтому я и ему послала мартовский номер и вложила печатное стандартное напоминание. Тогда мне снова прислали 20 долларов, и секретарь Солженицына снизошел до оповещения, что со следующего года они от подписки отказываются.

Над журналом я работала в Мюнхене одна. Мало кто верил, что вся редакция — это *только* я. Я переписывалась с авторами, читала статьи, подготавливала их к печати и отсылала в Иерусалим. Там Д. М. Штурман их еще раз просматривала, корректировала и сдавала в печать. Готовые журналы мне посылали в Мюнхен воздушным фрахтом. Я сама ездила за ними на аэродром, платила кому-нибудь, чтобы мне донесли их до багажника моей машины, привозила к зданию нашей небольшой церкви, где делала в подвале экспедию. Мне помогал один мой бывший ученик. Сначала за журналами он ездил со мной, а потом — один. Это немного облегчило мне работу. Конечно, я одновременно писала и статьи для журнала, причем почти все передовые, и те, что были подписаны «Редакция».

И все это наряду с полной университетской деятельностью.

А еще была и бухгалтерия, отчет перед организацией о. Веренфрида и заявление на поддержку в следующем году. Деиэг за работу в журнале я, конечно, не брала, иногда даже докладывала свои из университетского жалованья. Перед отправкой отчета я каждый год мысленно клала журнал перед стопами Господа и говорила:

пусть Господь поможет, если журнал еще должен выходить в свет, а если нет, то, значит, я приму конец издания. Так я его издавала 22 года. Последние номера вышли в свет в Санкт-Петербурге.

«Создавала эпоха поэтов»

Конечно, все послевоенные годы мы, русские эмигранты, знали о тех движениях, которые происходят в СССР. Хрущевская оттепель возбудила и в нас надежды. Но, увы: после «Оттепели» Эренбурга появилась «Гололедица» Абрама Терца и вслед за нею — процесс Синявского и Даниэля; увидел свет «Доктор Живаго» — и непрерывная до самой его кончины травля Пастернака. «До чего ж мы гордимся, сволочи, // Что он умер в своей постели!» (А. Галич)

В начале 60-х вышло несколько номеров подпольного «Феникса». Там были потрясающие стихи — в пераом номере, — очень созвучные мне, какой я была в молодости: «В двадцать лет дыхание старости...», и стихи более позднего времени:

Эх романтика, синий дым
И горящее сердце Данки —
В Будапеште советские танки.
Эх, романтика, синий дым
И горящее сердце Данки —
Наши души пошли на портянки.

Страшные, пронзительные и... точные строки. Но были и не только стихи отчаяния:

Нет, не нам поднимать пистолеты
В середину зеленых колонн:
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.

Но для самых решительных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

Потом были процессы Ю. Галаскова и А. Гинзбурга.

И все же мы, может быть, недостаточно оценили поэтов. Окуджава проникал в сердце, но это была поэзия грусти и даже безнадежности.

И тени их качались на пороге...

.....

Красивые и мудрые, как боги,

И грустные, как жители земли.

Я видела и слышала Окуджаву лично. Ему разрешили приехать в Мюнхен еще в 1967 году, в 50-ю годовщину революции. Он пел на сцене, и для немцев его песни переводила сотрудница «Свободы» Виноградова, оказавшаяся потом советской агенткой. Однажды, кстати, приезжал и Евтушенко. Но мне казалось, он чего-то или кого-то боялся. Бодро продекламировав свои стихи, он отступал в тень, пока стихи переводили на немецкий, и лицо его принимало какое-то загнанное и напряженное выражение, сразу же слетавшее, когда он снова должен был выйти на свет рампы. Я думаю, он боялся своей собственной смелости.

Но почему я не попыталась познакомиться с Галичем, когда он был в Мюнхене?.. Окуджава, Евтушенко... Те возвращались в СССР, и им можно было повредить попыткой контакта, но Галич-то был уже изгнан из страны. Тогда я еще мало знала творчество Галича: потрясающие стихи на смерть Пастернака, «Аве Марня», да и песнь о молчальниках:

Вот как просто попасть в палачи:

Промолчи, промолчи, промолчи!

А разве этого мало?

Но я не хотела продираться сквозь толпу окружавших его людей, которым был нужен не столько Галич, сколько сенсация. Может быть, и следовало... Но никто же не знал, что скоро он будет изгнан не только из страны, но и из жизни (отсылаю читателей, желающих прочесть о Галиче, к главе «Такое кино» в книге Доры Штурман и Сергея Тиктина «Современники»)...

Высоцкого я не знала совсем, только слышала о нем.

Может быть, я не придавала достаточно значения поэтам-шестидесятникам, но их значение было на самом деле велико. Если они и не создали «солдат», то изменили атмосферу, в которой могло произойти то, что произошло в 80-е годы.

Именно в эти годы произошли некоторые события и в моей жизни, определявшиеся ходом времени.

Прежде профессор в Германии, если он был достаточно бодр, мог читать лекции до 68 лет. Но затем вышел закон по высшей школе, что все профессора, за очень редким исключением, автоматически должны выходить на пенсию в 65 лет. Еще год назад мне казалось это слишком ранним пенсионированием, но как раз в апреле 1986 года, перед моим последним семестром университетской работы (в Мюнхене летний семестр длится май, июнь и июль), я заболела, и возникла необходимость операции камней желчного пузыря. После того, как врачи временно подправили мое здоровье, я вышла из больницы, хотя они настаивали на немедленной операции. Но у меня было еще довольно много студентов, которых надо было довести до конца и только потом уходить; и я врачам ответила, что проведу семестр, потом поеду на озеро на четыре недели отдыхать, и 1 сентября приду на операцию. Меня пробовали напугать воспалением, угрозами того, что привезут на машине «скорой помощи», но запугать меня трудно. Когда 1 сентября я пришла в больницу, профессор удивленно сказал, что выгляжу я гораздо лучше. Но ничего удивительного в этом не было: я четыре недели отдыхала, плавала, загорела, конечно, выглядела лучше.

Тогда это была еще довольно сложная операция (теперь ее делают легче), и она подорвала мой иммунитет. Весь 1987 год я проболела, хотя и с перерывами, преимущественно меня мучили бронхиты. На следующий год меня послали на йодистое Северное море, и это помогло.

Тот же закон, по которому мы должны были в 65 лет выходить на пенсию, определял, что вышедший на пенсию имеет право до конца жизни преподавать и экзаменовать, — конечно, бесплатно! Для собственного удовольствия. Я этим воспользовалась и еще 10 лет вела в зимний семестр один двухчасовой семинар раз в неделю. Последний прошел зимой 1995 — 1996 годов, и тема его была актуальная: «Россия и НАТО».

Великий переворот

Когда Горбачев стал генсеком, мы отметили, конечно, что относительно молодой человек сменил стариков, смотревших в могилу. Он должен был что-то предпринять. Только что? Так же скептически, как в 1968 году, мы смотрели на свободу прессы в Чехословакии (пока не поняли, что это всерьез), смотрели мы 20 лет спустя и на гласность в СССР. Хрущевская оттепель оказалась несерьезной, ее

ликвидировали изнутри. А как будет теперь? Антиалкогольная кампания породила насмешку, Горбачева переименовали — «минеральный секретарь» или «генсок». Но приходили из СССР и менее веселые анекдоты и перифразы вроде:

Товарищ, верь, пройдет она
Эпоха перестройки, гласности,
А Комитет госбезопасности
Запишет наши имена.

Читать самого Горбачева было трудно, он был стандартным генсековским мастером бессодержательного многословия. Не было никакой ясной программы, да что программы, не было даже общих принципов. Провозглашенное возвращение к «ленинским нормам» звучало как насмешка: к каким нормам? И какого по времени Ленина? Ленина периода продразверстки или Ленина нэпа? Все это была пустая болтовня. Но и она делала свое дело: пресса, радио и телевидение день ото дня становились смелее.

Затем зашевелились сателлиты. Как и прежде, первой была Венгрия. Из ГДР началось бегство населения в другие страны-сателлиты (Ульбрихт был наиболее консервативным). Чехи, обращавшиеся сначала издевательски с восточными немцами, вдруг перевернулись на 180° и прыгнули в свою «бархатную революцию». В ГДР люди открыто выходили на улицу и с возгласами «Народ — это мы!» требовали воссоединения с Западной Германией. Ульбрихт пробовал еще праздновать какие-то юбилеи, но приехавшему в Восточный Берлин Горбачеву люди кричали: «Горби, помоги». И Горбачев сказал свою знаменитую фразу о тех, кто приходит слишком поздно и кого за это наказывает история.

Заслуга Коля заключается в том, что он раньше многих других понял неотвратимость скорого воссоединения Германии. Свои 10 пунктов воссоединения он составил, когда многие из его окружения посматривали скептически или недоуменно качали головами. Коль поехал к Горбачеву на Кавказ и добился от него согласия на воссоединение.

Мы заворожено смотрели, как разваливалась империя сателлитов, как одно государство за другим становилось самостоятельным. И вот пришло время разрушения Берлинской стены, у которой произошло столько трагедий.

Нет сомнения, Германия должна была воссоединиться. Это стало неизбежно и было исторически справедливо. Но как случилось, что Горбачев поверил устным заверениям западных политиков, что НАТО не будет расширяться на восток? Как случилось, что об этом не был заключен договор с последующей его ратификацией всеми парламентами стран-членов НАТО еще до того, как будет дан старт к воссоединению? Неужели Горбачев поверил в образ Запада, противоположный образу, созданному его же собственной советской пропагандой? Позже я видела на экране телевизора его бессильное возмущение: ведь ему же обещали! Так неужели он верил?..

То, что немцы из Восточной Германии хлынули, как в опьянении, на Запад, понятно. Они использовали все возможные и невозможные средства передвижения, а в Берлине просто шли пешком с востока на запад. Конечно, большинство из них хотело лишь поглазеть на богатый запад и, посмотрев, возвращалось домой, но были и трагедии. Не возвращались не только холостяки или бездетные молодые пары, были случаи, когда родители бросали своих несовершеннолетних, маленьких детей (иногда одного ребенка, иногда нескольких), уходили и не возвращались. Они начинали «новую жизнь» без груза прежней, а к «грузу» относились и дети...

Общее настроение было благостное: на глазах совершалось чудо, как восклицал чешский драматург и диссидент Гавел, будущий президент Чехии. Без кровопролития, без борьбы и ожесточения сами собой рушились, казалось, такие незыблемые, такие жесткие, если не сказать — жестокие, такие «крепкие» режимы. Народы высвобождались и радостно протягивали друг другу руки. В самом деле казалось, что теперь уже не будут нужны военные союзы и взаимные угрозы. Теперь все будет иначе! Может быть, и Горбачев подпал под это сладкое чувство свободы и потому поверил западным политикам на слово?

В сентябре 1990 года состоялось заседание Верховного Совета, на котором наконец должны были быть обсуждены программы экономической перестройки. Горбачев все не решался начать реформировать экономику, а сделать это было бы гораздо легче, пока еще существовало единое экономическое пространство Советского Союза. То, что этот Союз развалится, если не произойдет нового зажима гласности, было довольно ясно: под поверхностью тлели не только стремление к свободе слова, но и националистические страсти чем сильнее подавлялись, тем более они были горячие и нера-

зумные. А ведь именно ужасающее состояние советской экономики заставило Горбачева заговорить о перестройке. Несвободная, жестко регулируемая государством, лишенная личной инициативы экономика была на пределе. Ее надо было менять, а как раз это было неимоверно трудно. Но на что-то надо было решаться. Сообщалось, что обсуждаться будут три проекта: 500 дней Явлинского, 500 дней Шаталина и консервативная программа Рыжкова. Но когда съезд собрался, об экономических программах не было и речи. Вместо этого Горбачев путем голосования Верховного Совета дал сам себе особые полномочия. Появилось зловещее ощущение, что вместо реформ надвигается новый зажим. Интересно, что в Германии комментаторы вообще ничего не заметили. Фасцинация Горбачева была так велика, что ничего тревожного от него якобы исходить не могло. В Германии он был кумиром, критиковать которого было нельзя. После свержения Горбачева с поста президента шутили, что он должен кандидировать на пост президента Германии и будет избран подавляющим большинством. Но в Германии президент избирается не всенародно, а национальным собранием, состоящим из депутатов, отобранных соответственно с тем, какая партия сколько процентов получила на выборах в ландтаги, а при всей любви к Горбачеву партийные деятели — люди прагматичные.

Но у меня тогда было впечатление, что Горбачев на этом съезде, как фокусник, бросил в цилиндр три цветных платочка (три экономических программы), а вытащил из него крокодилочка (свои особые права).

Конгресс в Неаполе

В начале ноября 1990 года Витторио Страда, бывший известный итальянский коммунист, перебивший свои радикальные взгляды, специалист по советской идеологии, знающий русский язык, устроил в Неаполе международный конгресс по Ленину. На конгрессе были преимущественно москвичи и итальянцы. Причем русские говорили о Ленине отрицательно, а некоторые итальянцы старались охарактеризовать его как крупного мыслителя. Докладчики из России страха уже, очевидно, не испытывали. Были там и делали доклады И. Виноградов, П. Гайдено, Ю. Давыдов, В. Аксютин, В. Киселев, Р. Гальцева и Ю. Карякин. Постоянные контакты у меня сохранились только с Р. Гальцевой. В. Аксютин, приехавший прежде в Мюнхен, сделал очень слабый доклад, зато в перерывах расска-

зывает мистические, похожие на сказки события из жизни о. Дудко. Дора Моисеевна по состоянию здоровья не смогла приехать в Неаполь, и я прочла ее доклад. Мой же доклад «Ленин и Богданов» — в приложении к этой книге.

В. Аксютин приезжал в Мюнхен несколько раз. Приезжали и другие «диссиденты»; так, приезжал Владимир Осипов, издававший полуподпольное «Вече». Кстати, насчет этого журнала.

Сначала он выходил в свет без рекламы, но и без преследования. С некоторым ужасом мы, эмигранты, находили там такие «перлы», как прославление... Сталина. Осипов наконец заметил, что его журнал инфильтрирован, отказался от него и начал издавать другой журнал под названием «Земля». Тогда его арестовали. Осипова выпускали и снова арестовывали. Но каких либо интересных идей он принести не мог. Кстати, он въехал в Германию без визы. Он был в Австрии на какой-то встрече, где присутствовали и немцы. Последние предложили ему на одной из их машин поехать в Германию вместе с ними. Проверка на границе между Австрией и Германией весьма поверхностна, это были машины с немецкими номерами, и ехали в них немцы. Их пропустили, не обратив внимания, что между ними затесался русский. Но затем он должен был ехать во Францию и... не мог выехать из Германии, так как при выезде надо было показать на границе визу. Легкомысленно перевезя его через границу, немцы бросили его на произвол судьбы. Пришлось мне уговаривать немецкие власти поставить ему задним числом визу, хотя по закону визу надо получать в стране своего гражданства. Для него сделали исключение. Но дальнейшие контакты с ним ничего приятного не принесли. Так, он написал мне из России, что какая-то христианская съемочная группа в 12 человек собирается приехать в Мюнхен для каких-то съемок, и просил прислать им приглашение. Деньги у них, мол, есть, но нужно приглашение. Я отказала и получила возмущенное письмо, что не все советские люди жулики. Я ответила, что никогда ничего подобного и не утверждала, но я не могу принимать ответственность за жизнь в отеле и пропитание двенадцати человек, у меня просто нет таких денег, а подписывая приглашение, я такую ответственность принимаю. Я готова верить, что у них есть деньги, ну а если они их потеряют, или у них украдут, или еще что-нибудь случится? Я фактически не смогу их возместить, а потому такой ответственности на себя не беру. Осипов все же прислал мне свой теперь уже легально издававшийся журнал

«Земля», и мне стало грустно: антисемитизм и враждебность к другим христианским вероисповеданиям выдавались в нем за христианство. Доходило до гротескного утверждения, что в Бабьем Яре евреев убивали не немецкие СС, а... переодетые евреи. В виде доказательства сообщалось, что это поведала одна старая еврейка, которая, будучи тогда молодой, выжила и сама слышала, что эти «эсэсовцы» говорили между собой по-еврейски. Умалчивалось только — на идиш или на иврите; а ведь идиш — это диалект немецкого языка. Но мне вспомнилось, как во время войны мы говорили о многочисленных, зачастую вздорных слухах: это откуда известно? А это сообщение агентства ОДС (одна дама сказала), в данном случае — ОСЕ, одна старая еврейка. Католиков и протестантов Осипов называл еретиками и отвергал их полностью. В то же время Игорь Огурцов, пытаясь создать (вместе с Осиповым) международную христианскую группу, просил нас всех достать деньги у богатых немцев, просить их жертвовать. Я сказала с наигранным удивлением: «Но ведь они же или католики, или протестанты!» Огурцов: «Ну и что ж?» — «А как я их буду просить о пожертвованиях? Скажу такому человеку: вы — паршивый еретик, но деньги не пахнут, поэтому гоните монету?» Огурцов поморщился и ответил, что надо говорить с Осиповым, когда он снова приедет в Мюнхен. Все это было несерьезно.

Виктор Аксютин приезжал сначала один и поразил меня очень точным знанием эмигрантской сцены, вплоть до незначительных подробностей. Это заставило меня задуматься. Вторично он приезжал, когда здесь уже был Огурцов, который почему-то выдвигал его на первый план, хотя в ВСХСОН его фамилия не фигурировала.

Всенародный социально-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН) — так называлась организация ленинградской молодежи, студентов и некоторых молодых научных сотрудников, постулировавших наиболее радикальные тезисы. Они даже допускали применение силы при свержении коммунистической диктатуры, чем сразу же заслужили осуждение большинства диссидентов-непротивленцев. Название было почти скопировано с Баварского христианско-социального союза и, естественно, привлекло внимание эмигрантов христианского направления.

Группа была арестована, а ее члены приговорены к разным срокам заключения. Главой группы считался Игорь Огурцов, о стойкости и непоколебимости которого ходили легенды. Его представля-

ли героем, рыцарем без страха и упрека. Приговорен он был к 15 годам заключения, вернее, пребывания в концлагере.

Первым вышел на свободу и появился за границей Евгений Вагин. Обосновался он в Италии, в Риме, приезжал и в Мюнхен. Он дал пару не слишком примечательных статей для нашего журнала, дальнейших контактов с ним не получилось. Затем начались странности: в Италии он говорил на радио Ватикана, а в других странах, выступая с докладами, громил католиков. С Вагиным связан и скандал, происшедший с библиотекой имени Гоголя в Риме, которая была основана еще в 1910 году и которой из России были подарены многие уникальные издания русских классиков. Руководили ею русские эмигранты, после того как выиграли суд против советской власти, требовавшей вернуть эту библиотеку. С годами эмигрантов становилось все меньше и меньше, они старели и уходили из жизни, и потому, когда появился новый эмигрант христианского направления, там были рады. Вагин перенял эту библиотеку. Тогда начались обвинения, что он вывез неизвестно куда самые ценные издания. Затем выяснилось, что жена и дочь Вагина проводили каникулы в Крыму, то есть в СССР, что для политического эмигранта было противоположено. И, наконец, поползли слухи, что он в лагере «раскололся» и потому так скоро вышел на свободу и мог уехать за границу. Насколько эти слухи соответствовали действительности, я не знаю и не помню, чем кончилось скандальное дело с библиотекой Гоголя, но с первой ласточкой ВСХСОНа получился конфуз.

Наконец в 1988 году Огурцова освободили, и ему разрешили выехать за границу. Приезжал герой. Как и большинство, выезжавших легально из СССР (а это были преимущественно евреи), он сначала прибыл в Вену. Австрийская столица служила перевалочным пунктом. Из Мюнхена в Вену ему навстречу выехала делегация под водительством Красовского, издателя журнала «Вече». Я никогда не рвалась делать знакомства со знаменитостями, тем более что Огурцов был уже оккупирован группой, относившейся ко мне недоброжелательно.

В начале своей деятельности бывший корреспондент радио «Свобода» и тоже бывший член НТС Красовский решил начать политическую деятельность и сначала организовать группу. Идеей она должна была стать националистической, но, кажется, не слишком крайней. На первое собрание пригласили и меня. По немецким законам объединение может быть официально зарегистрировано,

если документ об его основании подпишут минимум семь человек, но Красовский не нашел подписантов. И хотя я тоже не подписала, сразу же была сделана попытка перехватить мой журнал. Мне сказали, что у них есть деньги, они поставят журнал на солидную финансовую основу, найдут новых авторов, а я даже могу остаться редактором. Я спросила: «Почетным?» Ответ — молчание. Было заманчиво перенять уже существующий журнал, постепенно изменить его профиль, а потом и название. Но когда это не удалось, Красовский создал свой журнал, а денег у него было действительно много: «Вече» оказался толстым журналом, не чета скромному «Голосу зарубежья», печатался на меловой бумаге, и обложка была шикарной...

Хотя Огурцова встретили с почетом, сотрудничества его с Красовским не получилось: видимо, оба хотели друг друга использовать. Огурцов сам хотел создать свою группу и свой журнал. Наиболее удобным — и ему, как Красовскому, — показалось захватить уже существующий журнал, то есть мой. Мне предложили широкое распространение «Голоса зарубежья» в Советском Союзе, но сказали, что для этого надо выбрать соредактора, живущего там. Относительно средств были туманные обещания, но никаких средств Огурцов не получил. Летал он в США к Солженицыну, но был разочарован. Признание Солженицыным, что он, Огурцов, вождь, надо было, видимо, заслуживать среди эмиграции заново, а на это не оказалось ресурсов.

Я не отказывалась вести переговоры, ждала конкретных деловых предложений, а не общих фраз о великих возможностях журнала, если я буду с ними сотрудничать. В качестве соредактора Огурцов сначала предложил Осипова, которого я сразу же отвергла, потом Леонида Бородина. Здесь меня не так отталкивали злые письма Бородина ко мне (по поводу о. Дудко), как топорно-националистические статьи, печатавшиеся прежде в разных эмигрантских журналах. Как писателя я Бородина ценила. Прекрасна его неполитическая книга о легендах Байкала «Год чуда и печали», неплох и политический роман «Расставание», хороши были и многие рассказы. Надо было бы выяснить, были ли те топорные статьи действительно написаны им самим. Я дала Огурцову свою короткую статью с критикой высказываний Бородина, но Огурцов мне ее молча вернул. Я сделала еще одну попытку, сказав Огурцову: у меня — журнал, авторы, читатели, деньги, а что есть у него? Он

морщился и говорил, что авторы будут, но пока он передал мне для журнала две статьи Осипова: одну — с нападками на эстоицев как таковых, другую — с разборками между ним и Красовским. Я отвергла обе статьи и сделала Огурцову последнее предложение: если серьезные авторы есть, то пусть он даст для журнала хоть одну серьезную статью. Он обещал, я даже задержала выпуск следующего номера, но никакой статьи так и не получила. Увы, у так называемой христианской, правой оппозиции людей не было.

Может быть, здесь стоит сказать несколько слов о второй эмиграции. Плавным местом ее работы и одновременно местом общения, дружбы и вражды, сплетен и любовных страстей, браков и разводов была радиостанция «Свобода». Я видела становление «Свободы», тогда (вскоре после войны) приехали люди из США, созвали всех эмигрантов-интеллектуалов и попросили их пройти тестирование, столь любимое американцами: ответить письменно на некоторые вопросы. Среди них было много нелепых, вроде: кем вы хотели бы быть, растением или животным? Ответ должен был показать, активный человек или пассивный. Я ответила, что ни тем, ни другим, вполне удовлетворена своим бытием человека. Были и вопросы по истории СССР, где я вписала им поправки. Мне, однако, сказали, что решающим был вопрос: какую работу вы бы предпочли, прочную, без опасности ее потерять, но и без шансов продвижения, или же рискованную, но с шансами продвинуться? Я выбрала вторую. Якобы никого, кто так ответил, не пригласили сотрудничать. Не знаю, так ли это, но приглашения сотрудничать я не получила.

В начале во главе радиостанции встали старые эмигранты, но через некоторое время они ушли. Они думали, что американцы только помогут деньгами, а станция будет русская, но американцы были на «Свободе» полными хозяевами, цензура у них была жесткая, и свободы слова там было мало. Я знала только двух из ушедших: Николая Полторацкого и Анатолия Михайловского. Первый уехал в США и стал профессором в каком-то американском университете, второй перешел работать на «Немецкую волну», где было больше свободы слова. К сожалению, обоих уже нет в живых. На станции работало больше людей из второй эмиграции, что и понятно, но на руководящих постах были еще и некоторые из первой: например, оба сына Семена Людвиговича Франка, Виктор и Василий, также Бахрах, знавший еще Марину Цветаеву (в конце 60-х годов Бахрах пригласил меня сделать на «Свободе» две серии

докладов: одну — с критикой диалектического и исторического материализма, другую — о проблеме прогресса; после его ухода на пенсию никаких предложений больше не было).

Вторым пунктом средоточия второй эмиграции в Мюнхене был Институт по изучению СССР, тоже основанный американцами. Здесь работали в основном люди из второй эмиграции, а директором был русский иемец Шульдц, врач по образованию. Никаких глубоких анализов или смелых обобщений из-под пера сотрудников института не вышло, но собиралась статистика, давались сведения о происходившем. Институт издавал несколько журналов на русском, немецком и английском языках, собирал ежегодные конференции, на которые приезжали эксперты из других стран, преимущественно из США. Я тоже опубликовала несколько статей в разноязычных журналах этого института, бывала на конференциях, но тесно с ним не сотрудничала. В начале 70-х годов президент Никсон (по желанию Советского Союза) закрыл этот институт: хорошо, что большинство его сотрудников уже входило в пенсионный возраст и могло плавно выйти на пенсию.

Третьей точкой средоточения второй эмиграции была американская школа в Гармише. Здесь учили американских военных русскому языку, читалась русская история, советская идеология и пр. И к этой школе я слегка прикоснулась, делала там два раза доклады по диалектическому и историческому материализму и его критике. Разговаривая с американцами, я поняла, что, хотя они и занимаются советской идеологией, никакого значения ей не придают. Они не видели различия между Советским Союзом и Россией, для них все это была Россия.

Я стояла в стороне от всех трех средоточий. Центром моего существования был Мюнхенский университет, и я была совершенно независима от всех американских «кормушек». Этой моей независимости многие русские завидовали. Она их раздражала.

Но когда на «Свободе» вспыхнула борьба против русофобии, то обратились и ко мне за помощью. Открытая русофобия началась, когда место второй эмиграции постепенно начала занимать третья. А она в некоторой своей части была яро русофобской. Вторая же постепенно старела и готовилась уйти со сцены. Поскольку русофобское настроение соответствовало общей направленности американской политики, на «Свободу» пришли именно эти, антирусски настроенные люди. Даже от такого сильного и глубокого автора,

как Дора Штурман, они только вначале взяли несколько материалов, а потом и вовсе не отвечали на присланные ею материалы. На «Свободе» дело дошло даже до суда между прежними сотрудниками и новыми. Я помогла прежним, порекомендовав им хорошего адвоката, который и выиграл дело (кое-что я напечатала об этом в своем журнале). Временно был достигнут компромисс, но теперь эта радиостанция стала уже открыто русофобской.

Сразу же после Рождества 1990 года я полетела в Израиль — в последний раз. Целью были, конечно, встреча с Дорой Моисеевной, ее семьей, другими друзьями, а также с хозяином типографии, где печатался мой журнал: надо было поговорить о делах. Но мне хотелось и посмотреть советское телевидение, те смелые критические передачи, которые начали появляться на экране: например, «Взгляд» (в Израиле можно было видеть советское телевидение, в Германии — нет).

Но тут меня постигло разочарование: «Взгляд» как раз был запрещен. Сменилась заставка «Времени» и, соответственно, содержание передач. В Москве Горбачев занялся кручением колеса истории вспять. Он разогнал реформаторов, окружил себя фигурами прошлого: Янаевым, Пуго, Крючковым и пр. Эпоха перестройки и гласности, казалось, заканчивается, но... времена оказались не теми...

Первый и последний раз я праздновала Новый год в святом городе Иерусалиме с Дорой Моисеевной, ее семьей и друзьями. И, несмотря на тревожное развитие дел на родине, я сказала, что в наступающем году должно произойти что-то очень большое, решающее и положительное.

9 января я вернулась в Мюнхен, не потому, что испугалась надвигающейся войны против Ирака, а потому, что в Мюнхенском университете рождественские каникулы кончались 10 января, а я в том зимнем семестре вела семинар.

Освободить Кувейт, конечно, следовало, но эта война («Буря в пустыне») сопровождалась информационной шумихой, сдобренной бесцеремонной ложью. Один пример: кувейтская медсестра давала показания перед конгрессом США о том, что иракские солдаты, заняв Кувейт, выбрасывали из инкубаторов недоношенных младенцев, которых в этих инкубаторах старались спасти. Были даже фильмы, запечатлевшие факты этих страшных деяний (кто их снимал? Иракские солдаты?) Потом эта сестра призналась, что ничего подобного не происходило, что за ее ложь ей заплатили, а извест-

ный немецкий журналист Петер Шор-Латур объяснил по телевидению, что снимки делались в лондонском родильном доме и младенцев, конечно, не выбрасывали, а делали имитирующее движение, потом вводили камеру, а младенцев снова клали в инкубаторы. Дальше эти методы пропагандистской лжи стали широко применяться перед бомбежкой Сербии, по отношению к демократической России и пр. А разоблачений уже почти нет, хотя иногда прорываются. Так, в феврале 2001 года на немецком телевидении была передача под названием «Вначале была ложь» о пропагандистской подготовке бомбежек Сербии. Но мы забегаем вперед.

США победили Ирак, но не довели дело до конца, не свергли Саддама Хусейна (что могли бы сделать), а побудили курдов и шиитов на безнадежное восстание против него, отказав им в помощи, как когда-то Кеннеди отказал антикоммунистическим кубинцам в Свиной бухте. Гюнимые войсками Саддама несчастные люди бежали в горы, где умирали семьями от холода и голода. А на экране телевизора все время мелькал образ президента Буша, идущего играть в гольф, как будто у него других забот не было. Только когда одна американская газета напечатала карикатуру, как Буш играет в гольф вместо мячей детскими черепами, американцы стали сбрасывать погибавшим в горах людям теплые вещи, палатки и продукты питания. У каждого народа есть не артикулированный им самый инстинкт, и Буш проиграл выборы, хотя его рейтинг сразу же после победы в Ираке был очень высок.

Между тем в СССР стали сказываться последствия горбачевского поворота вспять: выстрелы в Вильнюсе, забаррикадированный парламент, выстрелы в Риге. Обо всем этом Горбачев якобы не знал... Но Россия начала обретать себя. Провозглашение независимости России; на Западе недоумевали: от кого она становится независимой? Ведь Россия — это СССР! Вместе с тем внимание Запада начала привлекать фигура Ельцина.

Я была удовлетворена, что Ельцин избран Президентом РСФСР, но все это еще не воспринималось полностью: были еще СССР, ЦК КПСС, красные стяги над Кремлем. Однако демонстративный выход Ельцина из партии произвел большое впечатление и, конечно, сильно прибавил ему симпатии.

Между тем на Запад из СССР приезжало все больше людей. Помню, как-то за столиком летнего рестораника я разговорилась

с одним из приезжих (фамилии не помню). Мы говорили о настроениях и возникающих движениях и группах в России. Он меня спросил, когда я последний раз была там. Я ответила: «Пятьдесят лет тому назад». Он остолбенел: «А я думал, несколько недель тому назад! Откуда же вы все так хорошо знаете?» Иногда можно следить за развитием и издалека. Но перспективы все же несколько сдвинуты, кое-что видишь даже яснее, чем изнутри, а кое-чего не чувствуешь.

Среди приезжавших попадались люди, мягко говоря, странные, а говоря прямо — авантюристы. Большого шума наделал некий епископ Викентий, несколько раз посещавший Мюнхен. Это был еще молодой человек 39 лет. Он привозил документы о своей хиратонии, но епископы, чья подпись там стояла, были уже покойные. Затем он якобы перешел в католичество и принимал его митрополит Западной Украины, тоже уже покойный. Он хотел руководить церковно всеми русскими католиками восточного обряда. Но все это не было согласовано с Римом. Ему говорили, что, если он хочет быть легитимным, он должен поехать в Рим и оттуда привезти подтверждение. Наконец он собрался в Рим. Выехал он из Тулы, где жил и действовал, и... оказался в Южной Африке. Как ни крути глобус, Южная Африка не появляется на пути из Тулы в Рим. В Южной Африке он служил просто как православный священник — чин богослужения он знал. Но потом что-то произошло, может, там узнали о его «играх» с Католической Церковью и его выгнали. Он вернулся в Тулу. Одно время между нами была переписка, еще до его приключения в Южной Африке; в своих поисках зацепки в Мюнхене он пытался задействовать меня как девочку на побегушках, сопровождая это примитивной лестью, что я напоминаю ему любимую тетюшку. А я какое-то время еще надеялась объяснить ему глубинный смысл Церкви, поскольку в письмах затрагивались церковные вопросы. Я ничего не знаю о его дальнейшей судьбе, но в то время мои старания падали не на плодотворную почву...

Однако когда я размышляла о Церкви, у меня было видение. Передо мной предстала Церковь: очень больная, очень ущербная, с выпавшими из нее большими частями. Но Церковь, через которую проходил мощный здоровый поток, поток непобедимый, негасимый, поток, который ее держал и который не мог иссякнуть, — поток Причастия, поток Тела и Крови Христовой. И во мгновение этого видения я испытала снова то огромное, ни с чем несравнимое, неземное счастье, какое я испытала в тот серый ноябрьский день в Марбурге.

Летом 1991 года решили устроить съезд соотечественников в СССР и пригласить в Москву эмигрантов второй волны, хотя в консульствах еще существовали черные списки лиц, которым визу давать не следовало. Одна моя знакомая, тоже эмигрантка второй волны, поехала, но когда она была в консульстве, то слышала разговоры об этих списках. Я долго не получала приглашения, думала, что и не получу, но все же получила в последний момент, когда уже сняла комнату на Вагинском озере, недалеко от австрийской границы, для отдыха там. Я до сих пор жалею, что не отменила всего и не попробовала получить визу и поехать: я пережила бы самый яркий сюжет — исторический момент падения коммунистической диктатуры. Моя знакомая вернулась, полная воодушевления. Но прошлого не вернешь.

Между тем, хотя референдум по вопросу о сохранении СССР прошел для этого государства положительно, балки «дома» потрескивали все громче. На 21 августа было назначено рассмотрение вопроса, удовлетворить ли желание республик — самим, без «помощи» Москвы, собирать налоги, а незадолго до этой даты Горбачев с семьей уехал отдыхать в Крым. Все это меня немного удивляло.

Итак, я отдыхала на озере, много плавала и смотрела известия только вечером в общей комнате для отдыхающих. В моей комнате телевизора не было. И вдруг... Путч в Москве, Горбачев заперт в Форосе и т. д. А тут еще появились дачники, которые даже вечером не хотели слушать известий, хотели смотреть какие-то глупые фильмы. Мне оставалось отдыхать еще дней десять, но я спросила хозяйку, не обидится ли она, если я уеду раньше. Она меня поняла, не потребовала денег за оставшиеся дни, и я, собрав наскоро вещички и бросив их в машину, помчалась в Мюнхен, где телевизор был в моем распоряжении целый день. Все знают, что тогда произошло: подъем народа, Ельцин на танке, капитуляция путчистов и совсем нетриумфальное возвращение Горбачева из Фороса. Второе австрийское телевидение сняло все свои программы и давало события в Москве (заседание Верховного Совета) в прямом эфире, тогда как немецкое телевидение ограничивалось короткими сообщениями. Но я могла видеть все происходившее, слышать, как Горбачеву кричали с мест: «Неужели вы не видели, каких мерзавцев вы набираете?»

Выяснится ли когда-нибудь настоящая роль Горбачева во всех этих событиях, неизвестно, но в России тогда придумали анекдот: Горбачев получил сразу три «Оскара»: за сценарий, постановку и

лучшую мужскую роль в спектакле «Путч». В самом деле, трудно было поверить, что Горбачев не играл во всем этом некую роль, которая, однако, оказалась не лучшей: он проиграл, чего немцы долго не могли простить Ельцину.

Произошло нечто ошеломляющее: коммунистическая диктатура пала бескровно! Это было настолько неожиданно, несмотря на все признаки приближения такой развязки, что трудно было осознать. Нужно было внутренне перестроиться, принять другую действительность. 50 лет видения, обычные стандарты, я бы сказала, шаблоны мышления надо было коренным образом изменять. Многие не смогли этого сделать. Запад сначала понял только то, что Россия ослабла, особенно когда развалился Советский Союз. Но и русские эмигранты долго не могли всего полностью осознать.

Мой организм реагировал на случившееся повышением кровяного давления. Я уже 7 лет боролась против повышенного давления крови. Это было, видимо, наследственное: мой дедушка с отцовской стороны после удара жил парализованным еще 8 лет, у моего отца было повышенное давление крови (он был, кстати, очень худеньким, и я с тех пор скептически отношусь к уверениям, что повышение кровяного давления бывает только у полных). Мне приходилось менять время от времени лекарства, когда организм привыкал к прежним. Но на этот раз перемена лекарств не помогала. Вообще, я не чувствую повышенного давления, даже экстремального (у меня раз было 260 на 150), — ни головной боли, ни головокружения. Но тогда, во время крушения коммунистической империи, перманентно высокое, ничем не сбиваемое давление мое начало давать «результаты»: я чувствовала вялость, усталость, слабость — все то, что чувствуют люди со слишком низким давлением. Днем я еще могла что-то делать, но уже рано вечером должна была ложиться. Когда я потом увидела жизнь в России, поняла, что здесь меня бы сразу поместили в больницу, но на Западе так быстро в больницу не кладут. Врач продолжала менять лекарства, и, когда я уже думала, что активная жизнь для меня кончилась, какое-то лекарство подействовало. Просто организм справился с радостным шоком и начал сам восстанавливаться.

Зимой произошел распад Советского Союза. Хоть это было и печально, но у меня не было сомнения в напоре центробежных сил. Союзные республики бежали от коммунистического центра, а оторвались уже от некоммунистической России. Размах движения оста-

новить было нельзя. Временно эти республики должны были оторваться. Мудрость Ельцина заключалась в том, что он не попытался удержать их военной силой, как сделал Милошевич в Югославии. Страшный результат югославских войн известен, но на огромной территории СССР при наличии больших армий и ядерного оружия это мог бы быть настоящий апокалипсис. Я не сомневалась в том, что центробежное движение рано или поздно сменится центростремительным. Известное объединение снова произойдет, но, конечно, уже в других формах.

В 1991 году из журнала ушел Рудинский. Он обвинил нас в расчленительстве, хотя мы ясно высказывали, что не хотели бы разделения, но видим его неизбежность. В то время сохранить единство можно было только сохранив коммунистическую диктатуру. Я пробовала выяснить у Рудинского, что же он предпочитает: сохранение этой диктатуры и единства под ее владычеством или свержение диктатуры и разъединение? Он не отвечал, предпочитая известную тактику Головы из «Майской ночи» Гюголя — притвориться глухим или слепым. Он тупо твердил, что разделения не должно быть, и прекратил сотрудничество с нашим журналом.

Между тем еще до окончательного свержения коммунистической диктатуры появилась возможность посылать журнал на родину по почте. Нашлись желающие его распространять. Появились авторы из России. В частности, я списалась с Зоей Александровной Крахмальниковой, статьи которой мы печатали.

Наконец весной 1992 года после почти столетия эмиграции я собралась в Россию.

Часть шестая

ЧЕРЕЗ ПОЛСТОЛЕТИЯ В РОССИЮ

Первая поездка

Так называемая первая русская эмиграция, беженцы после революции и гражданской войны, жили еще долгие годы после бегства, как говорили они сами, «на чемоданах». Они надеялись на скорое возвращение в Россию. Психологически это было понятно: многие поколения предков жили в монархической России, и, несмотря на те или иные передряги, эта Россия всегда восстанавливалась, хотя и видоизменяясь с течением времени. По инерции того же ожидали и теперь. Но время шло, а надежды эмигрантов не оправдывались. Война могла дать толчок к свержению в то время особо ненавистной кровавой диктатуры Сталина; репрессии, жуткая коллективизация создали настроение ожидания. Казалось, достаточно толчка извне, чтобы смести эту диктатуру, и если не восстановить монархию, то установить иной строй. Но толчок исходил из другой идеологической диктатуры и принес не свержение, а укрепление сталинской диктатуры. Мы, люди так называемой второй эмиграции, попали на Запад с нашими перегоревшими надеждами и уже не ждали скорого освобождения своей родины. У нас тоже была своя инерция, инерция безнадежности. Конечно, коммунизм однажды падет, ничто не вечно, но вряд ли это произойдет при нашей жизни. Очень многие из второй эмиграции действительно не дожили до падения коммунизма — иные из них были младше меня. И я тоже не думала, что доживу до его конца.

Но вот он пал, но... многие эмигранты второй волны в Россию не поехали. Здесь сказалась инерция восприятия: в то время как советское правительство постепенно «прощало» потомкам старой, первой эмиграции, и им можно было без опасения посещать СССР, мы, вторая эмиграция, оставались в черных списках. Но вот первый Президент свободной России сказал, что все эмигранты равны, все

оии — соотечественники и приезду всех в России будут рады. Мы были реабилитированы. Но многолетний страх, многолетнее недоверие останавливали многих от поездки. А у иных просто не было денег, да и возраст немалый.

В мае 1992 года пришло мое время поехать наконец на родину! Приглашений я получила: личное — от З. А. Крахмальниковой в Москву, туда же от какого-то российско-американского института (раздобыл мне его человек, распространявший наш журнал).

А в Петербург меня пригласил Эмаи, брат той самой молодой женщины, которая так мучительно умирала в Марбурге. Он услышал меня по передаче Би-би-си (знакомый сотрудник этой радиостанции взял у меня три интервью) и какое-то время спустя, будучи в восточногерманском Эрфурте, позволил мне. Я пригласила его в Мюнхен, благо дополнительной визы уже не требовалось, достаточно было общегерманской. Я не спала ночь, обдумывая, рассказывать ли ему, как трудно умирала его сестра, но его это совсем не интересовало — он думал лишь о том, как бы перебраться в Германию.

З. А. Крахмальникова публиковалась в нашем журнале. Я очень высоко ценила ее статью о бюрократической РПЦ, которую мы перепечатали из журнала «Нева». Она пригласила меня жить в Москве у нее.

Москвы я не знала. Была там два раза короткое время до войны (последний раз в 1938 году), и город казался мне разрушенным бомбами и снарядами, хотя такие сравнения можно было делать только впоследствии, тогда я еще не могла видеть разрушенных бомбами городов. Уничтожали старую Москву не внешние враги, а свое правительство. Москва производила тяжелое впечатление, и мы в ней не задержались. И вот теперь в посткоммунистической Москве меня часто спрашивали: что в ней изменилось? Но я ничего не могла сказать; город казался очень обшарпанным, чего я никак не ожидала, ведь это была визитная карточка страны и власти.

Но самое важное для меня было то, что я снова в России. Не скрою, что-то очень важное надо было в себе перебороть; хотя Ельцин и сказал, что нет разницы между русскими эмигрантами (я лично буду всегда ему за это благодарна), но все же пришлось преодолеть инерцию полувекового «табу», инерцию полувекового сознания, что родина закрыта, и, как мне казалось, навсегда.

Эти строки я пишу уже почти через 10 лет после моего первого посещения постсоветской Москвы, я бывала в ней и после, даже

совсем недавно. Она была уже не обшарпанная, даже красивая, но с длинными своими подземными переходами, с дорогами, даже для нас, русских иностранцев, такси, она показалась мне мало пригодной для нормальной жизни, особенно жизни пожилых людей.

Тогда для меня впервые открылся Кремль с Успенским собором, с палатами Ивана Грозного, и молодые москвичи с удивлением слушали мои слова о том, что до войны даже попытаться приблизиться к кремлевской стене было опасно для жизни. Ведь Кремль открыли для посещений еще при Хрущеве, молодые думали, что так было всегда.

В Мюнхене я познакомилась с молодой московской журналисткой, с которой потом подружилась. Мы пошли гулять по Кремлю, и у меня вырвалось: «Они (то есть большевики) сломали мою жизнь». Елизавета Андреевна удивилась: в чужой стране я сделала относительно блестящую карьеру, стала профессором университета, издавала книги, печатала статьи, материально не нуждалась. Но я знала, что в атмосфере родного языка, духовной атмосфере нормального российского развития я могла бы сделать больше, дать родине и миру нечто более значительное. Сейчас, к сожалению, эта связь с родной духовной атмосферой сильно нарушена. Многие «новые русские» ценят лишь материальные блага. От русских, сумевших уехать в Германию и устроиться в ней, можно иной раз слышать заявление, сделанное гордым тоном, что через 3–5 лет они уже забыли русский язык. Но когда эти люди начинают говорить по-немецки, то впору затыкать уши. В России многие удивлялись, что я за 50 лет эмиграции не забыла родной язык. Враждебного отношения к себе за то, что я когда-то ушла с немцами, мне встретить не пришлось, что, конечно, не означает, что такого враждебного настроения ни у кого не было. Я могу говорить только о тех, с кем мне приходилось встречаться. Иногда это были совсем случайные люди. Так, одна молодая женщина в поезде из Москвы в Петербург, услышав, что я полвека не была в России, ахнула и, не зная, как реагировать, сунула руку в свою сумку, вытащила оттуда яблоко и протянула мне: «Скушайте яблочко!»

Между тем принявшая меня Зоя Александровна все больше меня удивляла. Она жила в большой квартире со своей единственной дочерью, зятем и тремя внуками, очень милыми мальчиками. Особенно ласковым был младший, Тихон. Но Зоя Александровна всем была недовольна: воспитанием внуков, ведением хозяйства

(они потом и разъехались, разменявшись квартирами), но больше всего положением в стране. Она все и всех бранила, прежде всего Ельцина. Я никак не могла понять: при коммунистической диктатуре ее арестовывали, она два раза сидела в тюрьме и концлагере, казалось, она должна была радоваться падению комдиктатуры. Но она только злилась. Раз она крикнула: «Мне-то хорошо, а народу плохо!» Я спросила ее: неужели народу так хорошо жилось при советской власти? Но она в гневе убежала и ничего не ответила.

Конечно, многим было очень трудно. Переходное время от командного хозяйства к свободному не могло пройти легко и быстро (не прошло оно и сейчас). Так же и переход от тоталитарной диктатуры к демократии. Но ведь не было гражданской войны! Не было и войны между республиками, как в Югославии. Все это было просто чудом Божиим! Я боялась гражданской войны, но считала ее почти что неизбежной при падении коммунистической диктатуры. Как могло быть иначе?

Помню наши эмигрантские теоретизирования. Как-то мы сидели в квартире Аниных (эмигрантов первой волны), он был автором дельной книжки о революции 1917 года. Из первой эмиграции был еще Варшавский, автор книги «Незамеченное поколение», — о молодежи после революции и гражданской войны, молодежи, горевшей желанием что-нибудь делать, бороться с большевиками и нарвавшейся на провокацию младороссов, знаменитого А. В. Казем-Бека. Из второй эмиграции, кроме меня, был еще Варди, о котором я уже упоминала в связи с Сахаровскими слушаниями (или он был уже из третьей?). Он не так давно выехал из Союза по еврейской визе и опубликовал книгу «Подконвойный мир», поскольку успел посидеть в советском концлагере. И мы рассуждали: можно ли согласиться на свержение комдиктатуры (если б от нас зависело), зная, что тогда разразится гражданская война, или никак нельзя? Анины и Варшавский говорили, что нельзя, а Варди и я — что можно. Раздел проходил по линии испытавших на себе эту диктатуру и не испытавших. Тот, кто испытал, готов был следовать немецкой поговорке: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Но гражданской войны не случилось! Какое счастье! А переходный период придется перетерпеть. Как же не могут понять это те, кто были жертвами страшной диктатуры? — недоумевала я. Но потом у меня вдруг открылись глаза: да ведь это ломка! Ломка, как у наркоманов, которых лишили наркотика. И тогда я поняла, какой

страшный наркотик — статус жертвы и героя! Позже мне пришлось наблюдать этот феномен у многих бывших диссидентов и борцов против коммунизма. Из жертв, которым так сочувствовали, из героев, о которых трубили всяческие иностранные голоса, они превратились в обыкновенных граждан. Время борьбы прошло. Пришло время строить новое, но этого они как раз и не умели. Они жили пафосом протеста и начали переносить этот пафос в новую жизнь. Они постоянно против чего-то протестовали, они как бы ждали новых преследований со стороны теперь уже другой, новой власти. Но хотя они иногда переходили все границы допустимого даже в самом либеральном государстве, преследований не последовало. Вот это и было для них страшно.

Не избежал этой ломки и Солженицын. Перед возвращением в Россию он заявил, что будет говорить правду, даже если его за это будут преследовать. Никто его не преследовал, просто его пятнадцатиминутные регулярные телепередачи стали постепенно такими скучными, что их мало кто слушал. Их сняли с экрана не из-за политики, а по законам рынка: если включений мало, серию снимают.

Мне запомнились две передачи. Одна, где Солженицын возмущался поведением гаишника, получившего взятку от нового русского. «Ну разве такое бывало на Руси!» — восклицал он. Журналист, весьма подобострастно ведший беседу, пробормотал: «Да бывало». А мне потом позвонил знакомый и сказал: «Хоть бы Гюголя почитал!» Вторая запомнившаяся мне передача — разговор Солженицына с Никитой Струве (внуком известного Петра Струве, заведовавшим издательством ИМКА в Париже), издавшим все произведения Александра Исаевича. Струве удивлялся, что Солженицын в своих передачах ничего не говорит о Боге. Солженицын почти кричал, что голодным говорить о Боге нельзя. «Но разве вы сами не пришли к Богу в концлагере, где голодали, вероятно, более, чем голодают теперь?» Прямо на этот вопрос Солженицын не ответил, но, размахивая руками, как крыльями мельницы, продолжал утверждать, что о Боге говорить нельзя.

Много позже — я читала тогда в Петербургском университете краткий курс об идеологиях — Солженицын выступал перед Думой. Не все думцы хотели его выступления, но коммунисты на нем настояли (один из доцентов университета сказал мне: «Кто бы мог раньше подумать, что именно коммунисты будут пробивать выступление Солженицына в Думе!»). Тогда Солженицын принадлежал к

категории так называемых «катастрофников», предрекавших скорую гибель России, и коммунисты, видимо, ожидали от него разгрома демократической власти. Но они ошиблись. Разочаровались и сторонники Солженицына, ожидавшие от него более глубоких высказываний по существу. Он же сел на своего любимого конька: земля — панацея от всех зол.

Но я забежала вперед. Пока я гощу в Москве, а до возвращения Солженицына в Россию остается два года.

В Петербург из Москвы я ехала с трепетом. Вся моя тоска по России сосредоточилась, как в фокусе, на этом любимом городе. Поезд идет только 6 часов, но мы выехали под вечер, так что приехали поздно. Меня встречали с машиной, сказали, что поедem по Невскому. От волнения и неверного света почти белой ночи я не сразу заметила, что мы уже выехали на Невский. Вдруг передо мною в сером полусвете возник такой знакомый шар. Неужели Дом книги? Да, это он! А напротив Казанский собор! Дальше — арка! Дворцовая площадь, Александровская колонна, Зимний дворец, впереди Нева, мост, Ростральные колонны, Фондовая биржа!.. «Вот ваш университет», — говорит мне госпожа Эман, приехавшая встречать меня вместо своего мужа. Да, вот длинное красное здание бывших петровских коллегий. Для меня объезжают университет кругом, а затем путь идет в новый район, называющийся Приморьем, где живут Эманы.

Меня пригласили к себе петербургские знакомые Зои Крахмальниковой. Я взяла такси, и мы поехали в центр. Вот Медный всадник, Исаакиевский собор, а я все еще как во сне: я так часто ездила во сне в свой любимый город. Может быть, это и теперь сон?..

У пригласивших меня я встретила немолодого человека, попавшего в руки советской власти во время войны. Он вырос в эмигрантской семье, поехал на оккупированную немцами территорию и не успел бежать при наступлении советской армии, 10 лет отсидел в концлагере, в настоящее время живет во Пскове, но часто бывает в Петербурге. Он мог бы теперь вернуться в Западную Европу, но любит Россию и не собирается ее покидать.

На обратном пути мы поехали с ним на Невский, и в том же призрачном свете белой ночи я смотрела снова на Казанский собор и вдруг ясно почувствовала, что я в Петербурге наяву, что чудо совершилось, что я не ушла в вечность, не побывав в России, не побывав в своем любимом городе, увидеть который я уже не надеялась. «На

Казанском соборе еще нет креста», — обращает мое внимание на голый шпиль мой спутник. Да, нет еще, но будет. Я иду к метро, к станции «Гостиный двор». С этого вечера я уже окончательно в Петербурге...

Снова меня спрашивают, какую я вижу разницу. Ну, появились новые районы, а центр? Не были ли улицы чище? Как подметали улицы полвека тому назад? Право, не помню. Но вот Зимний дворец стал красивее, он снова зеленовато-синий, а был красным и уже отчасти облупленным, куски штукатурки падали. Люди удивлялись, что он был красным, ведь его первоначальный цвет восстановлен давно, еще при советской власти. Но вот я зашла в Дом книги. Там полно покупателей, и книги... какие книги! Русские философы из эмиграции, переводные книги с разных языков, религиозные, шикарное издание Библии и пр. и пр. И я вспомнила, как до войны я зашла в иностранный отдел Дома книги. Он был пуст, только одна продавщица позевывала за прилавком. На полках, кроме неизбежного «Спартак», тянулись ряды Ленина, Сталина на немецком, французском, английском и других языках. Пока я их рассматривала, дверь открылась и вошел молодой человек. Взглянув на полки, он спросил продавщицу: «А иностранная литература у вас есть?» — «А вот», — она указала на полки. «Но это же наша, переведенная на иностранные языки!» — воскликнул он. Я подумала: как смело он говорит. Продавщица пожала плечами, он повернулся и вышел. Я тоже ушла.

Вот это для меня перемены, радикальные, кардинальные! А сколько стоила колбаса и как подметали улицы, я не помню.

Из Петербурга я ездила во Псков, исполнив тем самым свое обещание, данное мною во время бегства: «Псков, я вернусь!» Господь соизволил вернуть меня в город моего рождения, детства и юности. Дома, в котором я выросла, уже не было. Но снесли его совсем недавно, он простоял еще столетия. Сначала мне было немного жаль, что я опоздала, но потом я поняла, что так лучше. Если б он сохранился, мне бы захотелось зайти в квартиру, где я выросла, увидеть ту же мебель, ту же атмосферу... Лучше пусть все останется лишь в воспоминаниях. Но в доме священника, где я остановилась, я познакомилась с молодой женщиной, которая долго прожила после войны в этом доме. И сразу же возникли какие-то странные, точные родственные, отношения. Эта связь сохранилась. В следующие приезды во Псков я останавливалась уже в семье этой женщины.

Больше всего меня потрясло то, что сохранилось кладбище, сохранились могилы моих бабушки и дедушки по матери, моего дяди, трагически погибшего под паровозом, и маленького брата, умершего от скарлатины. Гранитные памятники дореволюционного времени и надписи на них такие, как будто бы они были сделаны вчера, а вот дощечка с именем дедушки, уже послереволюционная, стерлась совсем. Церковь при кладбище и само кладбище были полвека закрыты, оттого и сохранились. Теперь в церкви шли богослужения, а на кладбище появились новые захоронения. Почти рядом с могилой моих родных была шикарная могила наших хороших знакомых. Памятник там тоже сохранился, только ангел упал, как кресты с памятников на наших могилах, а над памятником выросло огромное дерево, поражал его толстый ствол. Сколько же прошло времени! Я знала, что владельцы этой могилы уехали в Австралию, но их дочь, которая была на три года моложе меня и с которой я играла в детстве и встречалась во время войны, могла быть еще жива. Однако связь почему-то не сохранилась, а в Австралии трудно кого-нибудь отыскать, там нет даже адресных столов. Мне же казалось, что время тает и пропадает и я стою у ограды нашей могилы девочкой с мамой.

Была как раз Троица, и я пошла на торжественное богослужение в Троицкий собор, где (тоже на Троицу) я была ровно 50 лет тому назад, во время немецкой оккупации, тогда еще мало что понимая в чине богослужения.

Потом снова Петербург, встречи в университете, расспросы о моем учителе Ф. А. Степуне. И вдруг вопрос: знала ли я профессора Н. Полторацкого? Конечно, знала! Он жил сначала в Мюнхене, потом уехал в США, где я с ним тоже встречалась, и написала для его сборника о русских в эмиграции статью о русских в Германии. И затем поразившее меня сообщение: он умер здесь, при первом посещении Ленинграда — тогда еще Ленинграда (как эмигрант первой волны в самом начале перестройки он мог поехать в Советский Союз). И здесь он скончался: видимо, не выдержало сердце наплыва впечатлений. А он был моего года рождения...

Но мое личное посещение главного здания университета, куда я так стремилась во всех своих снах, я все откладывала. Когда наконец собралась, сначала долго стояла на набережной. На вид Нева все такая же; говорят, вода в ней грязнее. Вот на той стороне маленькая лесенка к воде со львами. Она почему-то особенно ярко

запечатлелась в памяти. Адмиралтейство. Все такое до боли знакомое и родное, все как было. Что может измениться в вечном Петербурге, в его основном облике? Двери в университете кажутся более обветшалыми, так же и лестница, но, может быть, только кажутся. Зато замощен двор, в котором раньше была непролазная грязь.

Вот этот длинный коридор, где нельзя различить лица человека, когда он появляется на другом его конце. Надо немного пройти, чтобы различить, кто идет тебе навстречу... Вспоминаю, как профессор Фихтенгольц как-то пожаловался, что молоденькие студентки ждут от старого профессора, что он поклонится первым, потому что они дамы. Мы с Катей Т. решили во что бы то ни стало замечать его раньше и первыми здороваться... и никогда не успевали!.. Уже конец семестра, коридор почти пуст, ходят ли по нему тени прошлого? Тени моих подруг, товарищей по курсу? Нет, уже и теней их нет. А математиков не только вывели из главного здания, но и вообще из Петербурга, перевели в Петергоф. Все кажется постаревшим, коридор и даже бюсты, а может быть, это просто я постарела?..

В Петербурге я узнала, что Дима, сын моей сестры Тани, живет в Москве, узнала и его телефон. Он окончил Школу торгового судоходства и потом сделал большую карьеру. Я позвонила туда, к телефону подошла его невестка и просто испугалась, когда я сказала, что я тетя ее свекра: какая же я должна быть старая! Но я только на 5 лет старше своего племянника. Дима потом позвонил. Он был поражен. Меня он, конечно, помнил, ему было перед войной 14 лет, и еще в июне 1941 года он приезжал к нам во Псков. Но его мать, знавшая, что мы живы, писавшая моей и своей матери в Мюнхен через Израиль, ни слова не сказала своему сыну! Он думал, что все мы погибли во время войны. Может быть, она боялась, что он, зная правду о нас, будет неуверенно отвечать на вопросы, где его бабушка и дедушка. Его и так не сразу пустили в заграничное плавание из-за неясности их судьбы. Но меня он прежде всего спросил, когда умер дед (хотя он и не был его родным дедом, но любил он дедушку даже больше бабушки).

Улетать в Мюнхен я должна была снова из Москвы и поехала туда за три дня до отлета. Дима и его сын меня встретили, у них я и остановилась. Очень приветливой оказалась его жена. Тут не было равнодушия ко мне и моей судьбе, в первый же вечер меня расспрашивали так подробно, что порой это походило на допрос. Тот вечер меня чрезвычайно утомил.

Потом в Мюнхене я долго не могла избавиться от состояния общей усталости. Осенью я даже поехала в небольшой санаторий на водное лечение по методу священника Кнеипа и тогда постепенно отошла.

Возвращение в Россию

Следующий, 1993 год был бурным и для меня очень активным. Силы восстановились, и их было еще на удивление много. Хотя в начале года я пережила тяжелую утрату: неожиданно и чрезвычайно быстро скончалась от рака головного мозга моя близкая подруга из Регенсбурга Ингеборг Кёк. Познакомились мы через открытые письма, она и я опубликовали их в газете, которую мы обе читали. Это были, конечно, политические письма. Так возникла сначала личная переписка, потом знакомство. Мы обе были глубоко верующими и интеллектуалами, она была доктором гуманитарных наук. А так между нами как будто и не было сходства, она была крепко связана с баварской провинцией, даже в Мюнхен приезжала редко, чаще ездила я в Регенсбург — на машине совсем недалеко. За границу, кроме Швейцарии, где у нее были родственники, она не ездила, но знала английский и французский языки и начинала изучать русский, однако не осилила. Это было еще до знакомства со мной. Она работала в институте преподавания для взрослых, куда меня часто приглашали делать доклады. Инге не любила ходить к врачам (ее отец был врач), всегда говорила, что она здорова. Головных болей у нее не было, первые признаки болезни появились в конце декабря 1992 года, скончалась она уже в начале февраля 1993 года, оставаясь до конца в ясной памяти, успев еще в больнице прочесть книгу Гуардини о Достоевском.

Эта смерть повлияла бы на меня много больше, если б не Россия. Уже в марте я туда полетела, снова в Москву, на этот раз к Лизе Понариной, журналистке, с которой познакомилась в Мюнхене. В Петербург я тоже ездила и тоже останавливалась у новых моих знакомых.

Тогда как раз прошел в России важный референдум, теперь давно забытый. Шла подготовка новой конституции. Я ходила на собрания, читала лекции в университете в Москве и в разных институтах, вообще, была еще полна энергии и жажды деятельности. Читать лекции в Москве, ездить в Петербург, уже официально носивший это прекрасное имя (Солженицын хотел переименовать город в Невоград — какая нелепая затея!), — все это было Божиим чу-

дом. Кругом — брожение умов, что и понятно. Но, к сожалению, довольно мало было тех, кто понимал, какой «коперниковский переворот» (как написал профессор Чемпиель) произошел на самом деле. На бытательской жизни все это сказывалось по-разному: по одному направлению — положительно, по другому — отрицательно.

Демократия и до сих пор воспринимается многими — и не только в России — как панацея от всякого зла. Помню, как одна молодая женщина воскликнула: «Какая ж это демократия, если наш завод обанкротился!» Другие же усматривали в демократии корень зла, не давая себе труда подумать, что она вообще такое. Мало кто представлял себе, что это только государственный строй, не имеющий абсолютного значения, подходящий в определенное историческое время и для определенных народов, а вовсе не универсальное устройство для всех времен и народов. В наше время для европейских и американских народов это, вероятно, наилучшее государственное устройство, но оно не носит характера универсальности во времени и пространстве.

Почти сразу же после возвращения в Мюнхен я снова полетела в Москву на университетскую конференцию по будущему России, где делала доклад. Впрочем, эта конференция не имела никакого значения для будущего, но после нее меня пригласили прочесть короткий курс по политологии в Московском университете.

В конце июня я снова поехала в Россию, на этот раз на поезде и прежде всего во Псков. Этого хотела моя спутница Люция Люиг. Дружба с ней и ее родными имеет глубокие корни. Ее дедушка до революции преподавал немецкий язык в псковской гимназии. Его младший сын как раз окончил гимназию перед революцией, сражался в армии Юденича и отступил в Эстонию. Однажды он появился в Мюнхене и разыскал нас. Моего отца знали во Пскове все, господин Люиг тоже знал его, хотя непосредственно у него не учился. Он привез с собой двух четырнадцатилетних дочерей-двойняшек и отдал в ту русскую гимназию в Мюнхене, о которой я писала и где преподавал мой отец, а потом и я уже после кончины моего отца. Девочки учились у меня, а потом одна из них, Люция, окончила Мюнхенский университет по славистике и истории, но получила место преподавателя русского языка и истории в Брауншвейге. На севере Германии были гимназии, где русский язык преподавался как второй язык, тогда как в Баварии таких гимназий не было.

Я поехала на машине в Брауншвейг, оставила ее там, и мы на

поезде отправились в Россию через Берлин, затем Польшу, Белоруссию, Литву, Латвию до Пскова, где нас встретили. Ехать в поезде было уютно, тем более одним в купе, чай всегда можно было получить, но пищу надо было брать с собой.

Во Пскове ей в самом деле помогли разыскать дореволюционные архивы об ее бабушке и тете, старшей сестре отца, преподававшей до революции в псковской женской гимназии. А я в этот раз разыскала свою старую школу. Какая же она маленькая! Неужели мы помещались когда-то в этой будочке, и она казалась нам даже достаточно просторной! Никаких документов о моем времени не сохранилось, в войну все погибло. Ездили мы и в Питер, который она знала, поскольку ей не возбранялось ездить в Ленинград: она не была эмигранткой, родилась в тогда независимой Эстонии. Вернувшись во Псков, мы съездили в Пушкинские Горы и в Печоры, родину моей матери, побывали в Псково-Печорском монастыре. Мои родители много о нем рассказывали. Но когда я жила во Пскове, он был в Эстонии и потому за границей, а когда я жила в Германии, он был в СССР и потому — опять — за границей. А в те времена переезды через эти границы были недопустимы.

Осенью я снова отправилась в Москву к моим родственникам читать в Московском университете в течение четырех недель лекции по анализу идеологий.

В Москве я пережила путч старого Верховного Совета. По призыву Гайдара мои молодые знакомые пошли на ночное противостояние, и я жалела, что возраст не позволяет мне пойти туда же, сил уже не было. Они рассказывали, что жители приносили им бутерброды и горячий чай в термосах. Большинство было настроено за Ельцина. Днем мы со Светланой, женой Димы, ходили к окруженному милицией Белому дому, причем она очень умело выдумала уловку, чтобы милиционеры пропустили нас ближе. Мы даже собрались туда вечером, совсем перед началом перестрелки, когда прибежал Максим, сын моего племянника Димы, и закричал, что мы сошли с ума. Дима же еще раньше уехал в командировку.

Вечером и ночью я долго смотрела телевизор, но под утро крепко заснула и даже сначала не услышала тяжелых выстрелов. Ко мне в комнату вбежала встревоженная Светлана и закричала: «Стреляют!», а я со сна пробормотала: «Успокойся, Светлана, постреляют, постреляют и перестанут. Это всегда так бывает, сначала стреляют, а потом перестают». Отдаленные уханья тяжелых орудий

после обстрелов и ковровых бомбежек войны не могли произвести на меня особого впечатления, а в конечном исходе столкновения я не сомневалась. Стрельба скоро прекратилась.

В то время шло обсуждение проекта новой конституции. В общем она меня удовлетворяла. Я приветствовала создание именно президентской, а не парламентской республики. Хотя как раз от некоторых либералов и бывших диссидентов можно было услышать, что «настоящая» демократия — это парламентская республика, — мнение, которое как раз указывало на путаницу во многих головах. Два пункта конституции мне очень не нравились: избирательный закон и возрастное ограничение президента (65 лет): последнее необходимо было снять во что бы то ни стало. Мне было ясно, что при все еще очень большом брожении в России менять президента через три года (Ельцину было уже 62 года) никак нельзя. Ельцин должен был оставаться президентом на два срока. Замены пока не было. Мне не нравилось и сокращение президентского срока до четырех лет. В неустоявшейся России это слишком короткий срок, оставили хотя бы пять лет, как было перед тем еще в РСФСР.

Что касается избирательного закона, то его отчасти слизали с Германии, не заметив, что это плохой закон. Хорошо еще, что только половину депутатов выбирали по партийным спискам, половину по мажоритарному порядку. Конечно, мажоритарный способ наилучший: тогда депутат отвечает перед своими избирателями. В выборах по партийным спискам избиратель покупаеткота в мешке, не зная, кого же лично он посылает в парламент, а депутаты отвечают не перед избирателями, а перед своим партийным начальством. Пример — Германия. Гельмут Коль 16 лет широко использовал возможность лидера ХДС и фракции бундестага ХДС/ХСС вычеркивать из списка кандидатов в депутаты всех самостоятельно мысливших и способных политиков. В результате он обескровил свою партию. Теперь у нее пока нет способных политиков, и она не может воспользоваться трудностями правительственной коалиции. Впрочем, сейчас (в начале 2002 года) кандидатам в канцлеры определен баварский премьер Штойбер, и ХДС снова поднимается.

В Московском университете разработчик конституции Шахрай устраивал собрание с разъяснениями к ее проекту, и я пошла послушать. Вопросы задавали в виде записочек. Я тоже написала, что надо снять верхнее возрастное ограничение президента, указав на Аденауэра, ставшего канцлером в 73 года и остававшегося им 14

лет. Шахрай прочел вслух записку, но опустил указание на Аденауэра, а затем раздраженно ответил, что они не хотят иметь в правительстве стариков.

Лиза Понарина информировала меня об интересных встречах, и я пошла на академическую встречу, где (уже в ходе предвыборной агитации) о своих экономических программах должны были говорить Чубайс и Явлинский. Я не экономист, и мне трудно было решить, какие мероприятия в данный момент правильные, а какие нет. Но логика Чубайса, его аргументы мне были понятны, однако невозможно было понять то, что говорил Явлинский. Я уже хотела было попросить его объяснить свою программу более понятно для нормального человека, как кто-то встал и сказал: «Я не экономист, но человек с высшим образованием. Не могли ли бы вы разъяснить свою программу так, чтобы я мог ее понять». Это было то самое, что я хотела сказать. Явлинский наговорил еще массу непонятных терминов, посетовал, что президент Ельцин тянул с посылкой войск против мятежников Белого дома (следовало послать гораздо раньше), но ничего толком не разъяснил. Тогда встал другой и сказал, что слушатели все равно ничего не поняли...

Забегу немного вперед: перед выборами президента в 1996 году немецкое телевидение дало Явлинскому время для большого выступления (Германия, как, вероятно, и другие страны НАТО, его тогда фаворизировала). В этой передаче Явлинский громил Ельцина за то, что тот вообще послал войска против мятежников, а я слушала и вспомнила 1993 год и тогдашнее его выступление...

На собрание, где выступали Чубайс и Явлинский, я захватила с собой небольшое письмецо Ельцину, где указывала на то, что совершенно необходимо изъять из конституции возрастное ограничение для президента. О законе о выборах я не упомянула, чтобы сделать письмо как можно короче. После докладов я подошла к Чубайсу, представилась и сказала, что, по моему мнению, это важное замечание по конституции, просила его передать письмо президенту. Он обещал. Я очень сомневаюсь, что это письмо дошло до Ельцина, а если даже дошло, то имело влияние. Но из текста новой конституции возрастное ограничение было изъято. Только поэтому Ельцин мог быть избран в 1996 году на второй срок.

В тот же период я была на двух собраниях бывших диссидентов. На одном, довольно обширном, меня представили как редактора «Голоса зарубежья» и приняли приветливо. Журнал (хотя и нере-

гулярно) еще во времена Советского Союза доходил до читателей, и его ценили.

Меня попросили кратко выступить, задавали вопросы. Между прочим, меня спросили, отчего я приезжаю в Россию, выступаю в Москве, а другие эмигранты пока не едут. Мне трудно было говорить о себе самой, я сделала предположение, что я более эластична. У меня в самом деле почти отсутствует духовная инерция. Я вижу то, что меняется, и сразу же переосмысливаю свое собственное отношение к происходящему. Я никогда не мыслю стереотипами.

Если первое собрание состоялось еще до путча, то второе — после. И там я с удивлением смотрела на Новодворскую, каявшуюся с трибуны прилюдно в том, что она была против президента Ельцина и правительства. Только теперь она поняла, что именно Ельцин и его сотрудники защищают свободу России, а значит, и ее свободу. Что было бы со всеми, если б победили путчисты! Но прошло немного времени, и Новодворская снова начала кликушествовать; да, трудно лишиться статуса героя и мученика.

К зимнему семестру, начинавшемуся в Мюнхенском университете в ноябре, я вернулась в Германию (я ведь еще вела в каждый зимний семестр семинар на ту или иную политологическую тему). Так прошел бурный как для страны, так и для меня лично 1993 год.

Каждый человек хоть немного, но судит по себе. Умный понимает различные реакции других, но все же невольно, даже подсознательно ожидает от другого хотя бы некоторого понимания того, что понимает он сам, тем более от того, с кем было у него взаимопонимание по разным вопросам. Мне лично не раз приходилось слышать от знакомых немецких политиков, депутатов бундестага, особенно из партии христианских демократов, что они ярые противники коммунизма, но, конечно, не России. Так же и общая направленность политики была, как казалось, против агрессивного Советского Союза с его идеологией мировой революции, а не против русского (или российского) национального государства.

Хотя нужно отметить, что словесные формулировки в 60-е годы начали смешиваться, однако слова формируют и восприятие (или невосприятие) чего-либо, и мышление. Если Аденауэр говорил «Советский Союз», а меди и пресса видели за этими словами политическое противостояние свободного мира или демократических стран коммунизму, тоталитаризму, советскому господству и пр., то

во второй половине 60-х годов показалось удобнее найти короткую формулу: «Запад и Восток». Запад противостоял Востоку. Если прежние формулировки несли ясную информацию, то размытое, нечеткое географическое определение было идейно нейтральным и бессодержательным. Сначала это облегчило Брандту начать его «восточную политику». Заговорили о том, что если Аденауэр, ведя прозападную политику, примирил Германию с Западом, то Брандт примирит страну с Востоком, ибо он ведет политику провосточную. Идейные антикоммунисты были в ужасе, поскольку идеология и советская политика переставали играть роль. Сближение социал-демократов Западной Германии с наследницей немецкой компартии — объединенной социалистической партией достигло при Брандте апогея. После ухода Брандта процесс этот затормозился, однако канцлер Шмидт первый начал последовательно называть Советский Союз Россией, и враждебное отношение к коммунизму и советской политике начало постепенно переходить на Россию и русских как таковых.

В 1994 году из Восточной Германии были выведены российские войска. Теперь воссоединение Германии было закончено, и Россия была ей уже не нужна. Казалось, свободный мир должен был бы радоваться, что большая культурная страна Россия сбросила гнет тоталитаризма, что она со временем может присоединиться к свободному миру. Но «свободного мира» уже не было, был «Запад», а «Западу» «Восток» был не нужен.

Варшавский пакт распался, распался и Советский Союз. Функцией НАТО было противостояние агрессивному советскому блоку, но его больше не было, и самой естественной реакцией был бы самороспуск НАТО. Но вот вопрос: как быть с огромным аппаратом чиновников? Они же хотят жить дальше, и жить хорошо. Возник нонсенс, историческая нелепость: вооруженному до зубов военному союзу стало некому противостоять. Горбачев как-то остроумно сказал: «Самое большое зло, какое я им сделал, заключалось в том, что я отнял у них врага». В самом деле, это было непростительно. Но сам Горбачев, как я уже писала, оказался в свое время наивным.

Сразу же после вывода российских войск была высказана идея расширения НАТО на восток. Существует информация, что эту идею первым высказал вслух немецкий министр обороны Рюэ. Возможно, это не так, однако он был одним из самых ярких ее адептов. В Германии начались ажиотаж, ликование, восторг захлеб. Весь

воздух был пропитан одной идеей: ура, НАТО идет на восток! СМИ, политики — все гремело расширением НАТО на восток с прибавлением: «но Россия никогда», то есть: Россия никогда не сможет стать членом НАТО. Первым это высказал тогдашний генеральный секретарь НАТО, член ХДС Манфред Вернер. Его преемник, бельгиец Клэс, громогласно провозглашал: «Россия никогда!» Но вскоре он был обличен в коррупции и должен был покинуть пост, оставив мир в недоумении: чего же Россия не сможет никогда достигнуть, членства в НАТО или той степени коррупции, которой достиг он сам? Тогда лозунг «Россия никогда» подхватил Фолкер Рюэ, министр обороны Германии, которому США предлагали пост генерального секретаря НАТО. Но он отказался, стремясь, видимо, стать канцлером Германии.

Меня все это точно оглушило. Признаюсь в своей непрозорливости: такого развития я не ожидала. Вокруг начали передвигаться все кулисы. Те политики консервативного толка, которых я знала не только по их деятельности, но некоторых и лично, те антикоммунистические газеты, которые читала, и каналы ТВ, которые чаще всего смотрела, — все они превращались в ярких антирусских пропагандистов, ратующих за расширение НАТО на восток. Напротив, левоватые и пацифисты, на которых я и мой круг друзей прежде смотрели с сомнением, делали иногда безуспешные попытки приостановить военный ажиотаж и изредка напоминали, что все же еще существует Россия, надо же и с ней считаться. Ответы были насмешливые: «Россия слаба», «Россия прижата к стенке», «у России нет права вето» и т. д. Хотя Коль ездил в Россию, обнимался с Ельциным и как-то даже темпераментно воскликнул, что загнать Россию в угол было бы смертельной ошибкой, именно Бонн отчаянно запротестовал по поводу замечания Клинтона, что, может быть, когда-нибудь и Россия сможет вступить в НАТО. Немецкое грозное «никогда» блекнуть не хотело.

Между тем внутренняя политика ФРГ была заброшена. Насущно необходимые реформы: налоговая, пенсионная и другие — зависли в воздухе. Пятимиллионная армия безработных никого не интересовала. Американские политологи удивлялись, что в бундестаге не было дебатов по расширению НАТО на восток, и объясняли это тем, что все партии уверены: с ростом НАТО приумножится мощь Германии. Немецкие генералы будут командовать восточными войсками НАТО, и, вообще, Германия косвенно, через НАТО,

вернет себе все, что потеряла при поражении во Второй мировой войне. В самом деле, немцы очень интересовались будущим вступлением в НАТО Украины, хотя последняя не заявляла о таком желании. Но украинских политиков, приезжавших в Германию, журналисты просто осаждали с требованием, чтобы они заявили: «Хотим в НАТО», выпускали на экран ТВ каких-то украинцев, высказывавших это как вождение, и сразу же объявляли, что 50 миллионов украинцев стремятся в НАТО.

Мне хотелось узнать, скажут ли политики что-либо в объяснение этого ажиотажа, и я начала писать письма. Первое письмо я написала Колю, но слишком рано, тогда эта кампания еще не разгорелась. Он ответил общими фразами о том, что нужно сотрудничать с Россией. Потом я писала соответствующим министрам, председателям партий, входивших в бундестаг, и ставила два вопроса:

1. Зачем самому НАТО (а не тем странам, которые в НАТО стремятся) нужно это расширение? Ведь НАТО все еще называли оборонительным союзом, так против кого они хотят обороняться?

2. Почему Россия никогда не смеет присоединиться к этому союзу?

И все они отвечали. Писали много приятных слов, также и о России, но не ответили ни на один из поставленных вопросов. Письма их были бессодержательными по сути. Иногда присылали выдержки из программ своих партий, где тоже были красивые и бессодержательные фразы. Конкретнее и содержательнее других была программа социал-демократов, но, когда я в новом письме спросила, отчего они не поднимут этого вопроса в бундестаге, они не ответили.

В зимний семестр 1995/1996 годов я поставила темой своего семинара «Россия и НАТО». Пришли на семинар только студенты старших курсов, был даже один, имевший степень бакалавра английского университета. Но никто из них не нашел рационального обоснования этого расширения. Среди студентов был поляк. Он считал, что вступление Польши в НАТО вредно для самой Польши. Его аргументы: «Нас постигло счастье, что мы больше не граничим с Россией. Мы граничим с Белоруссией и Украиной. Наше вступление в НАТО снова бросит эти страны в объятия России, а разделительная линия хотя и будет отодвинута на восток, но останется. Лучше было бы, если б НАТО остался таким, как есть, а новый союз создали бы Польша, Чехия, Венгрия, Белоруссия и Украина, после чего НАТО, этот союз и Россия заключили бы между собой

тройственный пакт о сотрудничестве». Он даже писал об этом польскому правительству, но ответа не получил.

Поскольку военный союз не может существовать без образа врага, посткоммунистическую Россию снова начали подгонять под этот образ. В январе 1997 года в ежемесячнике «Парламент» профессор Эрнст Отто Чемпиель опубликовал статью, где обвинил НАТО в том, что он ничего не понял в происшедшем и, вместо того чтобы начать строить новые структуры вместе с Россией, бросился увеличивать и укреплять свою военную мощь по старым образцам. Он писал, что это, конечно, должно вызвать недоверие России. В ответ же аргументу, что расширение направлено не против России, Чемпиель написал: политику определяют не намерения, а возможности — совершенно верное высказывание.

В медиах и прессе все эти годы говорилось, что НАТО сделает России заманчивые предложения; об этом писали мне в личных письмах и некоторые политики. Как потом выяснилось, все эти три года никто даже не обсуждал, какие предложения можно сделать России. Только в 1997 году состряпали так называемый «Основополагающий акт», который Россия подписала, не имея другого выхода, и который был, собственно говоря, филькиной грамотой. Ажиотаж в Германии начал утихать: первое — было решено, что в 1999 году Польша, Венгрия и Чехия будут приняты в НАТО; второе — приближались выборы в бундестаг, а избирателей интересовали не НАТО и военная мощь, а огромная безработица, завязшие реформы, обеднение пенсионного фонда и, вообще, внутренняя, а не внешняя политика. Правительство Коля спохватилось, но было уже слишком поздно.

В 1998 году партия Коля с треском провалилась на выборах; я лично приписываю это в значительной мере наращиванию военной мощи и пренебрежением к внутреннему устройству страны, деклариовавшиеся ХДС.

Вернемся на несколько лет назад. В 1994 году я поехала в Россию довольно поздно, уже к лету. Сначала опять в Москву, где остановилась у Лизы. А из Москвы — на сей раз в Петергоф, где теперь расположен математический факультет и куда меня пригласил один из профессоров математики, знавший диссертацию моего отца.

Судьба его и его семьи в войну была трагичной. Сам он был зациклен на желании раскрыть судьбу своего отца. По одним документам значилось, что отец его пал на фронте, по другим, что попал

в плен, по третьим, что был перебежчиком. Ясно было только то, что он не пал на фронте. Однажды отец появился в своей семье, находившейся в зоне немецкой оккупации. Его жена и дети, жившие до войны во Пскове, переехали к родственникам в деревню, где было сытнее. В деревню приходили партизаны и требовали съестного. Потом в ту же деревню приходили немцы, обвиняли крестьян в поддержке партизан и иногда изгоняли их из деревень. Однажды пришли эстонские каратели и начали расстреливать сельчан. Погибли совсем еще маленький брат и младшая сестра моего знакомого профессора, старшая уцелела, мать была тяжело ранена. Ее брат поместил мать в больницу, где она поправилась. И тогда появился ее муж (немцы нередко отпускали пленных, если их семьи жили на оккупированной территории). Потом семья ушла с немцами (или их вывезли в Германию, не знаю). Отец работал в железнодорожных мастерских в Мюнхене (здесь и родился мой знакомый петербургский профессор математики).

После окончания войны родители решили вернуться домой. По возвращении отца сразу же арестовали и осудили на 10 лет концлагерей. Он их пережил и вернулся к семье, но стал очень молчаливым; мать была психически нездорова: как только разговор заходил о трагедии расстрела, она начинала судорожно рыдать.

Я написала об этой семье, поскольку такие судьбы были, к несчастью, далеко не единичны. Нынешнее молодое поколение уже не интересуется тем, что было. Дай Бог, чтобы никто из них не переживал ничего подобного. Но гарантии нет ни на что...

Знакомый этого профессора на своей старенькой машине свозил нас в Выборг, где живет единственный сын Алексея Александровича и Зинаиды Григорьевны Ёберг, с которыми мы, а после кончины моих родителей я, так долго дружили. Их сын, Григорий Алексеевич, чрезвычайно похож на своего отца. Фигура немного отличается, он выше и стройнее, тогда как Алексей Александрович был приземистым, но голова, лицо, движения рук те же самые. Когда он сидит, различия не видно. Я познакомилась с Григорием Алексеевичем, когда он был уже почти в возрасте последних лет жизни своего отца. Тем разительнее было сходство. Но жена его не захотела продолжения нашего общения. Зато состоялась, несмотря на разницу лет, дружба с единственным их сыном, внуком Алексея Александровича и Зинаиды Григорьевны, и его женой, которые живут в Петербурге.

В том же 1994 году Петербургский университет пригласил меня прочесть осенью курс лекций по идеологиям в течение трех месяцев, то есть более расширенную программу, в рамках которой можно было все же что-то сказать. Официально меня послал немецкий центр по обмену профессорско-преподавательскими силами. В то время большинство студентов бросилось изучать экономику, финансы. На лекции по гуманитарным предметам приходили иногда 3–4 человека, даже знаменитые имена не притягивали. Мне сказали, что, если у меня соберется 20 слушателей, это будет большим успехом.

Студенты попросили меня сделать общий доклад на тему «Демократия и построение государства» и обещали, что соберут слушателей. И в самом деле собрали 50–60 слушателей. Это была чисто студенческая инициатива, из коллег-преподавателей меня не слушал никто, и, вообще, они были скорее равнодушны к моему выступлению. Мне потом объяснили причину их отсутствия: каждый из них старался набрать как можно больше лекционных часов, чтобы заработать какие-то гроши, а приезжавшие из-за границы отнимали эти часы, отнимали драгоценное время. Все это было грустно.

Итак, я стала читать лекции в Петербургском университете, и мне пришлось озаботиться жильем уже не на одну-две недели, а на четверть года, и я сняла меблированный апартамент на Петроградской стороне. Потом выяснилось, что надо обзаводиться своей собственной квартирой, чтобы ни от кого не зависеть. Были советы купить квартиру во Пскове: дешевле и жить спокойнее. Но хотя я выросла в маленьком городе, меня всегда тянуло в большие, и в Германии много лет назад я уехала из прелестного маленького Марбурга снова в Мюнхен. Москва была местом крайне утомительным и для меня все же чужим городом. Оставался мой любимый Петербург, и я начала переговоры о покупке квартиры с одним молодым знакомым, готовым мне помочь.

В Петербург из Германии ко мне приезжала сестра Инге, с которой я познакомилась в Доргмагене, где жили А. А. и З. Г. Пёберги, и которая ухаживала за Зинаидой Григорьевной до самой ее смерти. Последняя жила долго и скончалась на 93-м году жизни, я знала ее 36 лет. Алексей Александрович скончался значительно раньше. Тогда я вместе с его женой стояла у его постели, и первая заметила, что он умирает. Он уже был без памяти, дышал тяжело, но ровно. Приходил врач и сказал, что раньше вечера он не скончается. Зинаида Григорьевна прилегла, а я даже хотела пойти погулять, но вдруг

заметила, что его дыхание начало прерываться, и, оставив прогулку, сказала Зинаиде Григорьевне, что Алексей Александрович умирает. Она встала, и мы подошли к постели. Было это в больнице под Кёльном, куда по телеграмме Зинаиды Григорьевны я сразу же прилетела. Я редко летала по внутренним линиям, но ехать на машине или поезде было бы слишком долго.

Я была рада приезду сестры Инге, но из-за нее мне пришлось встречать Новый, 1995 год в Выборге, тогда как Лиза звала меня в Москву, и я бы охотнее поехала туда... Сестра Инге скончалась в июле 2001 года, хотя была на 6 лет моложе меня.

В 1995 году я приехала в Петербург довольно поздно, уже в июне, и занялась подыскиванием квартиры. Денег я никогда не копила. Твердое университетское место с регулярной оплатой и правом на пенсию получила поздно. Я любила ездить и посетила все же многие места Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Южной Африки. На сберегательной книжке денег у меня (по немецким понятиям) было совсем немного. В Мюнхене мне бы их не хватило даже на покупку гаража, но в Петербурге я смогла купить хорошенькую двухкомнатную квартиру в старом доме с толстыми стенами, высокими потолками и обширной кухней, не такой, как в моей мюнхенской квартире, где даже один человек едва может повернуться.

Итак, лето 1995 года ушло на приобретение квартиры, что, однако, было закончено по моей доверенности моими знакомыми, а я опять уехала в Мюнхен готовить свой семинар «Россия и НАТО» к зимнему семестру 1995/1996 годов. Это был мой последний семинар в Мюнхенском университете.

Жить я приехала в свою новую квартиру в Петербурге только на рождественские каникулы. Мой молодой знакомый купил мне спальную кушетку, и пока это была вся моя мебель. Надо было спешно покупать вторую кушетку, годную для того, чтобы на ней спать, так как после Нового года должна была приехать Нина. Я уже писала об ее тете Люции, с которой мы ездили на поезде во Псков разыскивать корни ее семьи. С ней моих родителей и меня связывали почти что родственные узы. По крови мы родственниками не были, но отношения были родственными.

Двойняшки Люция и Мария, которую дома звали Мэри, были моими ученицами. Мэри рано вышла замуж за русского, бежавшего уже после войны из советской армии в Западную Германию, и

родила девочек-близнецов, Нину и Эдит. Брак этот не нравился очень деспотичному отцу Мэри, и ему удалось их развести. Любивший Мэри молодой человек от разочарования эмигрировал в Америку; он хотел венчаться в православной церкви, хотел крестить в той же церкви детей, но их развели раньше. Оба были очень молоды и слабохарактерны. Девочек крестили позже и в лютеранской церкви, поскольку вся семья была лютеранами. Но крещение было фактически экуменическим. Пастор согласился, чтобы восприимцами детей были христиане разных конфессий, но у каждой кто-нибудь один должен быть лютеранином или лютеранкой. Крестным отцом Нины был православный эмигрант, матерью — ее тетя Люция; а крестными Эдит были русский немец, лютеранин, и я. Так были представлены все христианские вероисповедания. «Nomen est omen» (имя — это знак), — говорили древние римляне. Эдит вышла замуж за немецкого морского офицера и осталась в Германии. А Нина стала кем-то вроде миссионерки.

Окончив сначала институт по воспитанию маленьких детей, она потом повысила квалификацию и стала работать со старшими детьми и молодежью. Она работала в разных странах: в Египте, на Кипре, в Англии — и вот... должна была приехать в Петербург, чтобы работать здесь с молодежью при лютеранской церкви. Русскому языку ни Нину, ни Эдит, к сожалению, не научили, хотя и мать, и тетя говорят по-русски (тем более бабушка и бабушка со стороны матери). Нину тянуло в Россию, она уже перед тем ездила сюда и нашла своих родственников с отцовской стороны: дедушку, который стал священником, бабушку, тетей и дядей. Они живут на юге России. Теперь же она должна была остановиться у меня.

Нина договорилась с пастором и стала работать в Петербурге. Тогда же я видела сон, что она в России выйдет замуж, хотя она отвергла в прошлом несколько предложений и замуж не собиралась. Тем не менее сон исполнился, она вышла здесь замуж и осталась жить в России.

Ближе всех в этой семье я была с Люцией, которая окончила Мюнхенский университет, написав диссертацию по русской истории, и преподавала потом в гимназии на севере Германии историю и русский язык. Она возмущалась тем, как плохо в немецких гимназических учебниках освещается русская история: две странички, списанные с советских учебников и не дающие никакого представления о России; 100 лет вражды не прошли даром...

Между тем наступил 1996 год, год выборов Президента России. Знакомые россияне спрашивали меня, кто будет президентом. И когда я отвечала, что будет Ельцин, снисходительно усмехались. В Германии тем временем изредка пропагандировали Явлинского, неприлично издевались над больным Ельциным, а немногие интеллигенты, интересовавшиеся Россией, пугали Зюгановым и Жириновским. После выборов, когда остался Ельцин, о России снова замолчали, переключились на войну в Югославии.

Мне не раз приходилось говорить русским, осуждавшим распад СССР, что надо подумать о том, как ужасна была бы многолетняя гражданская война на территории бывшего СССР, стоит только взглянуть на Югославию. В ответ я встречала удивленный взгляд и слова: «Я об это не думал(а)». Из России война в Югославии воспринималась как нечто далекое, своих проблем было достаточно, но от Германии она была совсем близко. К тому же в Германии жило немало югославов, как беженцев от коммунизма, так и осевших здесь рабочих. Медии были полны сообщениями об этой войне или этих войнах. Знаменательно было разделение в терминологии: сербов и хорватов определяли по национальности, а мусульман-боснийцев — по религии. Однородная терминология могла бы звучать: православные, католики и мусульмане или сербы, хорваты и боснийцы. Но нет, выделяли специально мусульман, и все симпатии политиков и СМИ были на их стороне. Несколько огрубляя, можно сказать, что события подавались так: мусульмане — чистая жертва и едва ли не ангелы в людском обличье, сербы — дьяволы в том же людском обличье, а хорваты — так-сяк: когда они воюют против сербов, они хорошие, когда воюют против мусульман — плохие. Понять, что это необъективная информация или информационная война против сербов, было нелегко. Конечно, сообщались также и действительные факты, но только те, которые были информационно выгодны. Милошевич был последним коммунистическим диктатором Европы. Он действительно не хотел допустить распада Югославии, образованной, в сущности, искусственно американским президентом Вильсоном после Первой мировой войны. Доля вины Милошевича за современную войну была велика, и все это вначале не давало возможности проследить антисербскую тенденцию. Многие вполне интеллигентные люди так и не разобрались в ней. Но все же постепенно стало все больше удивлять, что зверства над другими, особенно над мусульманами, совершают только сербы. Иногда проскаки-

вали картинки исхудающих до скелетов сербских военнопленных в боснийских лагерях, да еще избиваемых на глазах вождя мусульман (потом президента) Изетбеговича. Но такие картинки не повторялись и быстро затушевывались, перекрытые назойливо повторявшимися сообщениями о сербских зверствах. Мусульмане в Боснии представлялись как «европеизированные», очень умеренные. Но Изетбегович был экстремистом, что не скрывала и западная печать.

До крушения коммунизма в Советском Союзе и его распада существовало действительно два противостоявших друг другу мира. Другой мир — мир демократических государств с их свободами и правами человека, во многом несовершенными, с разными изъянами, но все же много лучшим, чем мир диктатуры. Но вот мир диктатуры развалился, противостоять было некому и нечему. Если раньше перед угрозой коммунизма недостатки западных демократий меркли, на них закрывали глаза (лучше несовершенная демократия, чем совершенный коммунизм), то, когда давление угрозы отпало, несовершенства собственного устройства стали более заметны. Но признать это было неприятно. Потребовались бы собственные усилия, новые идеи для переустройства своего мира; проще было признать себя миром безупречным, почти идеальным, в силу своего совершенства победившим в «холодной войне» «империю зла». Это «совершенство», как я уже упоминала, прикрито теперь термином, не несущим в себе никакой информации, кроме географической, под которую можно сублимировать все что угодно. Но объективного противопоставления больше все же нет. С какими бы трудностями Россия ни встречалась в ее уникальной перестройке, сколько бы несовершенств в ней еще ни было, она уже не тоталитарная империя с идеологией мировой революции, она уже больше никому не угрожала... Однако чтобы сохранить прежний образ своего совершенства, который охотно приписывался «Западу» — прежде чтобы, не дай Бог, не быть затянутым в «империю зла», — оказалось необходимым не только преувеличивать недостатки новой России, но, по возможности, скрывать свои. Так в устах западных политиков и СМИ все чаще стала появляться ложь, усиливаться лицемерие, arrogance и высокомерие. На одно из моих писем политикам, где я спрашивала, отчего Россия никогда не смеет вступить в НАТО, мне ответили с возмущением: «НАТО — это союз ценностей!» Оказывается, это не военный союз, а «союз ценностей». «Западные цен-

ности» — это еще одно выражение, не несущее никакой информации. Собственно говоря, это чушь, нет ни южных, ни северных, ни восточных, ни западных ценностей, есть ценности общечеловеческие, вечные ценности, и, наконец, те, о которых теперь постоянно забывают, — христианские ценности. В Западной Европе и, увы, в самой России прилагаются усилия для поддержания мифа «Запада» и «западных ценностей», возводимых почти что в абсолют, которого на нашей грешной земле вообще нет. (В скобках замечу: «Мы суть добро», — сказал президент Буш, объявляя свою антитеррористическую кампанию. То есть США — это олицетворение добра, просто добро как таковое. Но на самом деле это кощунство, поскольку ничто земное не может быть олицетворением добра. Буш сначала назвал свою антитеррористическую акцию безграничной справедливостью, но главы мусульманских государств сказали ему, что безгранично, абсолютно справедлив только Аллах, только Господь Бог. И христиане должны это знать, но никто из его союзников по НАТО ему этого не сказал.)

Самым страшным за те годы, которые войдут в этот эпилог, была, конечно, бомбежка Югославии военными силами НАТО. Страшно было лицемерие, с которым это совершалось. Бомбежки были названы «гуманитарными». Вся акция была окружена туманом лжи.

Немецкие теле- и радиопередачи, как правило, строго контролируются, но в феврале 2001 года прорвалась на экран передача, названная «Вначале была ложь». Дело шло о найденных трупах мужчин в гражданской одежде, албанцев, которых выдали за мирных жителей, расстрелянных сербами. На самом деле это были боевики, партизаны, и погибли они в бою с сербскими солдатами, о чем и американцы, и натовцы, конечно же, знали, но выдали этих албанцев за гражданских лиц, что и стало последним толчком для начала бомбежек Сербии.

Чьи права защищал НАТО? Права албанцев на самоопределение? А как быть с правами сербов на... жизнь?! «Гуманитарные» бомбы попадали и в детские сады, и в больницы, и просто в жилые дома, были убиты и искалечены маленькие дети. Страшен был и новый характер этих действий: это не была война, на войне рискуют жизнью солдаты обеих сторон — это была бойня. Летчики НАТО ничем не рисковали: они летели так высоко, что сербская ПВО не могла их достать... Пока я живу, не забуду интервью на

немецком телевидении. Немецкого летчика, бомбившего Белград, спросили, трудно ли бомбить. Он ответил: «Нет, совсем нетрудно. Нажимаешь на кнопку и не думаешь, что там внизу люди умирают. Я буду в любое время повсюду снова бомбить». Журналист ему ничего не возразил. Это не война, это просто убийство.

Мало кто в Германии об этом думал. Страна, в которой я прожила десятилетия, которую я любила, менялась на глазах, и это было очень горько. Как-то я зашла в маленькую кондитерскую в Мюнхене, где можно было выпить чай или кофе; мне хотелось пить. Там были люди, они о чем-то болтали и весело смеялись. Я сказала: «Но ведь идет война». — «Ах, это далеко». — «А вам все равно, что немецкие бомбардировщики снова бомбят Белград, как при Гитлере?» Вдруг все смолкли, лица изменились, стали серьезными и какими-то огорошенными. Нет, люди сами по себе не стали хуже. Пропаганда, увы, стала «лучше», искуснее, лживее. Население, не имеющее других источников информации, оболванено этой пропагандой. Ложь пропаганды переместилась с востока на запад, одна немецкая знакомая сказала мне: «Гёббельс был ребенком по сравнению с CNN».

Германии, вероятно, труднее всего было принять новую ситуацию. Слишком много политических и экономических дивидендов Западная Германия получала от США за противостояние Советскому Союзу, за то, что она была на линии фронта «холодной войны», а иногда — блокада Берлина — «холодная война» грозила обернуться горячей. Лишаться дивидендов Германии не хотелось, но и противостояние сохранить ей было трудно: России-то никто не боялся. С другой стороны, сама Россия не захотела стать сателлитом Запада. Известный журналист Герберт Кремп написал в газете «Die Welt» тоном возмущения: «А мы думали, что Россия будет теперь делать все, что ей скажут США, а Россия хочет иметь собственную внешнюю политику!» Что же было делать с такой Россией? Лучше всего о ней позабыть как о чем-то малозначительном, и — забыли. Больной президент как бы символизировал большую Россию, а что она может выздороветь, немецким СМИ в голову не приходило. Мне их поведение невольно напоминало басню Крылова об осле и состарившемся льве: лягнуть иногда копытом, отчего бы и нет, а большего внимания этот лев не заслуживает.

Для меня, всегда жившей больше общественной, чем личной жизнью, все тяжелее становилось находиться в Германии, читать та-мошние газеты, слушать радио или телевидение. В России была уже

своя квартира, ее надо было как-то обустроить. Все больше времени я проводила в России. В 1996 году я приехала ранней весной и провела часть лета. Еще зимой я познакомилась со своей правнучатой племянницей Олей и постепенно узнала, что по приказу второй жены отец бросил ее, когда она была еще совсем маленькой. У меня с ранней молодости была инстинктивная тяга к «униженным и оскорбленным», к тем, кто обижен, поэтому я начала понемногу помогать этой девушке, и мы постепенно подружились. С ней можно общаться спокойно и просто. Теперь она замужем, и отношения со всей ее семьей, включая маленькую дочку, хорошие.

Россия выбивалась из коммунизма с большим трудом, оступаясь и соскальзывая, но все же выбиралась. Россия была в беспрецедентном положении. Не было другой страны, да еще такой большой и многонациональной, которая была бы 74 года под коммунистическим владычеством, под давлением командной экономики и которой проходило бы совсем одной из всего этого выбираться. Восточноевропейские страны были под коммунизмом 40 лет, почти вдвое меньше, и то как им было трудно. В Восточную Германию Западная валила много денег, но все двигается с трудом, и безработица в два раза больше, чем в Западной... А тут еще военные действия в Чечне. То, что казалось движением части чеченцев, сепаратистов, за отделение от России, оказалось потом частью общего наступления экстремистского ислама на остальной мир. Но этого долго не понимали, и Запад травил Россию, как мог.

С политиками в новой России было трудно. Одни имели управленческий опыт, но приобрели его в советской системе, и не все были способны корректировать свой опыт. Президент Ельцин открыто признавался — и за это надо быть ему благодарным, — как трудно ему было преодолевать коммунизм в себе. Молодые политики, получившие уже отчасти свое экономическое образование за границей, не всегда умели разглядеть российскую действительность. Ну а бывшие борцы против коммунизма, диссиденты и интеллектуалы, оказались способными только критиковать, восставать, разрушать, а не создавать. Я уже писала о той ломке, которая со многими произошла, писала о наркотике статуса героя и мученика, о психологической невозможности для многих смириться с положением обыкновенных граждан.

Некоторые горячие головы хотели брать пример с посленацистской Германии, твердили о перлюстрации. Но ведь Гитлер господ-

ствовал всего лишь 12 лет. Люди, воспитанные до его прихода к власти, были после его гибели еще молодыми и могли занимать любые посты. А сколько лет тем, кто был воспитан еще до Октябрьской революции? Больше ста. Подавляющего большинства уже нет на свете. Да и германская денацификация не вполне удалась: выяснилось, что если всех бывших членов партии выгнать, то в администрации всех уровней некому будет работать. Аденауэр даже оставил на высоком посту Любке, который участвовал в разработке Нюрнбергских законов, поскольку Любке был ему нужен.

В России же, конечно, и в новое правительство, и в местные администрации должны были прийти бывшие коммунисты или хотя бы комсомольцы — других управленцев не было. Попытка Ельцина привлечь к руководству молодых политиков успехом не увенчалась. Я не экономист и не буду судить, был ли прав Гайдар со своей шоковой терапией, но Козырев определенно не умел вести внешней политики. На Западе его никто всерьез не принимал.

Конституционный суд в России в свое время позорно сорвал процесс над компартией. Она воспряла, и весь период своего президентства Ельцину приходилось воевать с Думой, где коммунисты блокировали нужные законы. Руководители старшего поколения, пришедшие к власти после Гайдара — Чубайса, хотя и могли держать страну в равновесии, но проводить коренные реформы они не могли. Тем не менее их, вероятно, следует поблагодарить: они удержали страну от войн и разрухи.

На низших уровнях шло постепенное приспособление к новому. Росло понимание, что теперь необходима личная инициатива, что нельзя ждать, пока государство накормит, хотя бы и впроголодь. Из первой группы более молодых реформаторов некоторые продолжали свою деятельность (например, А. Чубайс), другие отступили в тень. Гайдар преградил себе путь к новому возвышению, когда начал митинговщину во время первой чеченской войны. Она велась плохо, в обществе была непопулярна; он мог против нее возражать во всех средствах информации и в Думе, но не на уличных митингах, да еще стоя рядом с коммунистами. С этого момента я знала, что большой карьеры он уже не сделает.

Попытка Ельцина снова выдвинуть молодых в лице способного С. Кириенко сорвалась отчасти из-за общего мирового кризиса экономики. И снова был призван старый человек, даже еще не расставшийся с марксизмом, — Е. М. Примаков (сказавший, что марк-

сизм — это наука, хотя марксизма как такого вообще не существует: Маркс не создал никакой научной системы, а советские марксисты как ни старались придумать ее — ничего не сумели). И снова надо было искать более молодых, тех, кто понимал необходимость коренных изменений и был готов честно работать, не воровать.

После приобретения квартиры я стала жить большую часть года в России. Летом отдыхала на Финском заливе, в Зеленогорске (Терийоки) и Репино (Куоккала), где жили или бывали многие русские художники, писатели, поэты.

Время от времени я по-прежнему езжу в Мюнхен. Поехала и на выборы 1998 года ХДС; партия Коля, как и следовало ожидать, пролетела. Нельзя было забрасывать внутренние проблемы, а только лишь упиваться расширением внешней мощи. Хотя и это расширение оказалось обманчивым. Забегая вперед, скажем, что ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия не стали протееж Германии, вступив в НАТО. Они предпочитают быть непосредственными сателлитами США. Особенно стараются славянские страны. Украина пока в НАТО открыто не просится, но президент Буш, приехав в Польшу, поручил ей взять протекторат над Украиной и привести ее в НАТО*.

Перед выборами в сентябре 1998 года в Германии была только одна телевизионная дискуссия по вопросам внешней политики. Тогда уже шла речь о бомбардировке Югославии. Большинство политиков высказывались осторожно, только тогдашний министр обороны, член партии ХДС Фолькер Рюэ не только ратовал за бомбардировку Югославии без мандата ООН, но требовал ее в резком, едва ли не истерическом тоне. Все политики высказывали свое мнение спокойно, даже если и возражали друг другу, только Рюэ кричал с искаженным лицом и чуть ли не с пеною на губах, что Югославию иужно бомбить и мандат ООН совершенно лишний. От партии зеленых ему весьма достойно, твердо и спокойно возражал Фишер: бомбардировать страну, которая ни на кого не нападает, без мандата ООН невозможно. Однако после победы социал-демократов и зеленых на выборах, еще не став министром иностранных дел, тот же Фишер, слетав вместе с будущим канцлером Шрёдером в США, переменял свои позиции, перевернулся на 180° и стал яро требовать бомбежки Югославии.

Финансовый скандал вокруг Коля разразился уже после выбо-

* Теперь Украина попросилась в НАТО (лето 2002 года).

ров. Тогда стало ясно, как сильно Коль повредил своей партии, вытеснив из ее верхушки всех самостоятельно мыслящих людей.

Новый социал-демократический канцлер Шрёдер должен был заняться прежде всего внутренней политикой. Внешняя политика — прерогатива канцлера — была им полностью передана Фишеру, который ориентировался на США и Россией не интересовался.

Между тем началась подготовка к самому позорному периоду истории НАТО — бомбардировке Сербии. Предварительно шла информационная подготовка, где было очень много лжи. По телевизору показывались потоки албанских беженцев, утпавших в глубоком снегу. Я была в марте 1999 года в Мюнхене, и мне даже молодая парикмахерша сказала об этих телевизионных картинках: «Ну чего они врут, сейчас конец марта, в Косове уже давно нет снега». В самом деле, в Югославии перед тем несколько лет шла гражданская война, все поочередно бежали друг от друга: хорваты бежали от сербов, а потом сербы от хорватов, мусульмане бежали от тех и других, а те и другие бежали от мусульман, бежали во все времена года, так что было много старых снимков, их можно было показывать без конца.

В Косове шли бои между сербскими солдатами и албанскими партизанами (смотря по симпатиям — террористами или — борцами за национальное самоопределение). Мирным жителям, конечно, доставалось, как и при всякой войне, но они перебежали большей частью внутри Косова из той деревни, где шел бой, в другую. Потом иногда возвращались, если бои вокруг их деревни затихали. Повальное бегство через границу началось, когда НАТО стал бомбить Югославию, а заодно и Косово. Албанских боевиков НАТО поддерживал давно, давал им оружие и даже тренировал на территории своих военных лагерей.

Настоящей причины бомбежек Сербии я не знаю. То ли НАТО хотел господства до границ России, а Сербия мешала, то ли нужны были косовские ископаемые (прежде всего никель, которого там много), то ли просто испытывали оружие — трудно сказать. Уже когда Косово заняли натовские «миротворцы», албанцы произвели этническую чистку, изгнали (а частью убили) почти всех живших в Косове сербов и разрушили 105 православных церквей, среди которых были и памятники старины XIV–XV веков. НАТО не возражал. Позже германские и американские войска, стоявшие на границе между Косовом и Македонией, пустили в Македонию албанских бо-

евиков, где те начали сражения. Будущее, которое уже не войдет в эти воспоминания, покажет, чем эта балканская история кончится.

В Германии тяжело было видеть на телеэкране бомбежки Сербии, тяжело было говорить со знакомыми сербами. Но никто не протестовал. Боялись, что иначе албанские беженцы хлынут в их страны, о чем твердила пропаганда стран НАТО.

В апреле 1999 года я вернулась в Петербург, и меня снова захватила российская политика. Приближался конец президентства Ельцина. Замены ему не было. Рос рейтинг Примакова, что меня очень беспокоило: президентство Примакова было бы катастрофой для страны. Он был слишком стар не только годами. Феномен пожилого Аденауэра неповторим: Аденауэр был человеком донацистской Германии, глубоко верующим государственным деятелем, впитавшим в себя законность и порядочность, увы, уже ушедшего времени. Примаков тоже впитал в себя соки ушедшего времени, но ушедшего не к сожалению, а к счастью. Он был идеологом советского прошлого. Пока он был премьером, все в стране замерло. Не знаю, может быть, это было нужно после дефолта, но — страшило.

Я была рада, когда Ельцин сменил премьера. За Степашиным я следила еще со времен первой чеченской войны, и он был мне как-то симпатичен, но мог ли он быть президентом? Мне он казался слабоватым. Читатель может подумать, что эти свои впечатления я просто списала с книги Ельцина «Президентский марафон», поскольку свою книгу я пишу уже после выхода этой книги. Но у меня тогда действительно было такое впечатление. Я давно знала, что в публичных выступлениях человек открывает свой характер яснее, чем в самых задушевных личных беседах, и привыкла оценивать политиков по их выступлениям (не только по сказанным словам, хотя и они имеют значение, а по общей картине выступления).

Итак, я перебирала в уме российских политиков, ища такого, который мог бы стать в июне 2000 года Президентом России, но никого не находила. Только бы не Примаков!

В начале августа произошло то, что сам Ельцин в своей книге называет главой «Ельцин сошел с ума»: мало кому известный Владимир Путин был вдруг назначен новым премьером, а Степашин смещен. Прощаясь с кабинетом, Степашин глотал слезы. Он не сумел сдержать себя даже на публике. Его было очень жаль, и в то же время он подтвердил мнение о себе как о человеке недостаточно сильным для президентства. Но кто был Путин? В Петербурге я его

проморгала. Я всегда интересовалась большой политикой, а за местной, даже в таких больших городах, как Мюнхен или Петербург, следила не так интенсивно. В Мюнхене знала только главного бургомистра, а в Петербурге — мэра Собчака и очень досадовала, что он проиграл выборы в 1996 году. Фамилию Путина я услышала впервые, когда он стал шефом ФСБ, и особого внимания на это не обратила. И теперь тот факт, что новый премьер был короткое время на этой должности, не был для меня ни рекомендацией, ни чем-либо отталкивающим, это был совершенно нейтральный факт биографии, мне лично ничего не говоривший о возможностях будущего премьера.

В то время за моей квартирой в Мюнхене присматривала очень милая немолодая полька, которая прирабатывала в Германии. Она собиралась совсем покинуть Германию в конце августа, и мне надо было вернуться в Мюнхен до ее отъезда. Я уехала в Мюнхен и уже не знала, что творится в России, поскольку в Германии ничего о ней не говорили. Я только позвонила Доре Моисеевне в Израиль, где в кабельном телевидении они могли принимать российские программы, и спросила ее о новом премьере. Она мне сказала, что Путин, будучи премьером, действует пока правильно. А поскольку наши мнения по политическим вопросам почти синхронны, я подумала, что Ельцин, видимо, не ошибся.

Между тем произошло нападение на Дагестан. Случились страшные взрывы домов в Москве и других городах. Об этом даже в Германии сообщали, и, к моему удивлению, довольно объективно. Показывали дагестанское народное ополчение, говорили, что Дагестан призывает на помощь федеральные войска. И хотя ни одно правительство Западной Европы или США не высказало России соболезнования по поводу терактов в Москве, немецкие СМИ сообщали о них сочувственно по отношению к жертвам. Но где-то в середине сентября — я жалею, что не записала дату, — тон всех передач изменился на противоположный: есть две силы — свободолюбивые чеченцы и злые русские. Все каналы, все радиостанции начали вещать противоположное тому, что вещали вчера. Так это и осталось. Теперь (начало 2002 года) в ФРГ о Чечне почти не говорят и даже после 11 сентября 2001 года не верят, что в Чечне действуют террористы.

За всю свою долгую жизнь в Германии я не наблюдала такого распада между общественным мнением и тем, что пишут газеты:

если население относится к России лояльно, то СМИ продолжают настраивать против России или замалчивают все, что ее касается. Даже приезд премьера Касьянова весной 2001 года в Берлин, его встречи с канцлером Шрёдером и министрами не были отмечены ни единым словом в СМИ, ни одной строчкой в газетах.

В конце октября 1999 года я вернулась в Петербург, а в Новый год для всех, кто не был близок к высшим политическим кругам, грянул гром: Ельцин ушел в отставку! Он ушел достойно, признал, что во многом ошибался, когда думал, что все можно будет сделать скорее. Уход Ельцина был иным, чем уход Коля. Эти две должности несравнимы, канцлера выбирает не народ, а парламент. Народ выбирает только партию. Но тем легче для Коля было уйти своевременно, предоставив (в последний год перед выборами) управление преемнику. Но преемника у Коля, по существу, не было. Шеубле, о котором говорили как о преемнике, был калекой после совершенного на него покушения. Как ни жаль было его по-человечески, он вряд ли смог бы управлять государством. Ельцин действовал прямо противоположно: он позаботился о преемнике, долго искал, присматривался и выбрал того, кого считал достойным. Коля же цеплялся за власть, хотя уже явно выдохся.

Тем временем я и сама успела заметить, что Путин — умный и решительный государственный деятель и что Ельцин, видимо, не ошибся в своем выборе. Однако в конце января я должна была снова уехать в Мюнхен, где, кстати, была назначена операция глаза (катаракта), и надеялась вернуться в Россию к президентским выборам в июне. Но ввиду раннего ухода Ельцина выборы назначили на 26 марта, к этому времени я не могла вернуться в Россию.

В Германии появилась возможность смотреть и слушать НТВ. Канал был скорее антипрезидентским, но все же передавал российские новости. Немецкое телевидение, конечно, тоже сообщало о выборах Президента России, но в основном было настроено против Путина; внешне это объяснялось тем, что был он разведчиком, работал в бывшей ГДР, но, думается, причины лежали глубже. Перед самыми выборами показали большую передачу: молодые немецкие журналисты беседовали с провинциальными избирателями и говорили о Путине довольно объективно. Но когда слово дали основным корреспондентам из России, а это были Дирк Загер в Москве и Томас Рот в Петербурге, то на Путина полилось столько нелепой и лживой грязи, что можно было захлебнуться. Более глубокая при-

чина этой злобы, думаю, заключалась в том, что к президентству шел молодой энергичный человек, у которого были шансы поднять Россию с колен, а установка многих западных политиков основывалась на том, что Россия никогда не должна подняться. Немецкие же медики ориентировались скорее на США, чем на свою страну.

К инаугурации нового президента я вернулась в Россию...

На этот раз все было торжественнее, чем при инаугурации Б. Ельцина. Но президент Путин шел почему-то один — без чиновничьей свиты — через длинные коридоры и лестницы, что как-то визуально подчеркивало его будущее одиночество в принятии последних решений и создавало грустное впечатление...

Пришло, вероятно, время рассказать более ясно о той внутренней работе, которую я проделала со времени переворота в России и о моей переоценке многих явлений, прошедших в ее политической жизни. Я уже указывала на то, что большинство консервативных политиков и органов печати в Германии стали антирусскими, хотя, казалось бы, именно они должны были радоваться падению коммунистической диктатуры в стране-метрополисе. Одновременно становилось все яснее, что в посткоммунистической России управлять должны будут прежние кадры. Стоявшие в оппозиции к тоталитарной власти сделали очень много для ее разрушения, многие пожертвовали своей жизнью, но те, кто остались, не были способны к созиданию. Я об этом уже писала. Востребованными оказались те, кто привык держать власть в своих руках, управлять такой огромной, многонациональной и трудной страной, как Россия. Возглавил свержение коммунизма бывший крупный коммунист, хотя и не член Политбюро, но все же кандидат в его члены Б. Н. Ельцин. Он попробовал начать с молодых реформаторов. Они, возможно, и сделали ряд правильных шагов, но с задачей не справились, пошли слишком напролом. Вторая попытка двинуть страну по пути реформ (с молодым С. В. Кириенко во главе правительства) провалилась, в том числе и из-за разразившегося тогда мирового финансового кризиса. И наступил «застой», грозивший полным откатом. Но президент Ельцин, которого многие напрасно бранили, по-прежнему держал курс на реформы; он свой выбор сделал. Он понимал, что к власти в России должно было прийти поколение людей сорока-пятидесятилетних.

Новому президенту еще не исполнилось 48 лет, когда он принял власть. Новые люди были из аппарата, в том числе и из КГБ, откуда он вышел (хотя из внешней разведки, что носило другой харак-

тер, чем внутренний КГБ). Но были вокруг него и люди из внутреннего. Моя университетская приятельница в Мюнхене, Ингрид, о которой я упоминала, чуть было не разорвала со мной совсем из-за того, что я безоговорочно приняла Путина; она сказала, что от меня она этого не ожидала. А я... с трудом понимала ее. Я не могла жить в застывших формах, не могла раскладывать людей по полочкам и оставлять их там навсегда. Шли великие перемены, менялись и люди: кто-то понял характер перемен, воспринял их искренне и готов был действовать для проведения их в жизнь; кто-то только старался приспособиться, причем часто переигрывал, слишком старался и тем выдавал свою неискренность; а кто-то застыл в старых формах, не замечая, что происходит вокруг.

Среднее поколение, вышедшие на верхи власти, — это уже послевоенное поколение, но детство его проходило на фоне героических воспоминаний о войне и победе...

Биография президента Путина известна мне из публикаций более, чем биография других, действующих сейчас во власти. Война страшно отразилась на его семье: умер в ленинградскую блокаду его маленький брат, чуть не умерла мать от голода, а отец — от тяжелого ранения на фронте. Сам он Сталина уже не застал (ему было 5 месяцев, когда Сталин умер), так что сознательно Путин сталнизма не мог наблюдать. В моей семье жили воспоминаниями хорошей жизни в дореволюционное время, и потом — ужасы революции; так, думаю, и в семье Путиных жили воспоминаниями об ужасах войны и блокады. И я могу понять, почему и как в молодом человеке могло возникнуть желание пойти в разведку — хотелось защитить страну от нового коварного нападения извне.

Как сам президент, так и его ближайшние сотрудники — государственники. И это, как ни странно, отвечает их прежней деятельности. В СССР происходило действительно постепенное перерождение, идеология мирового коммунизма переставала играть определяющую роль. На ее место выходило государство, но методы во многом оставались прежними. Экономика разваливалась; командная экономика, душившая инициативу, не могла конкурировать с американской, где поняли, что победить СССР можно не оружием, а спланированным ускоренным развалом ее экономики. Впрочем, все это известно. Сначала, видимо, все должно было развалиться, включая сам Советский Союз. Жаль, но это было неизбежно.

Как далеко зашел развал, узнали лишь при Путине, когда стало

выходить наружу, как много вольности взяли себе отдельные субъекты федерации. Их местное законодательство приходило часто в противоречие не только с федеральным, но даже и с Конституцией страны, а это недопустимо. Путин начал приводить Россию в порядок, а в такой огромной стране с 89 субъектами федерации — это колоссальная работа. Многие «удельные князьки» были недвольны. А тут еще переформировали и Совет Федерации, где нарушалось правило о разделении властей: губернаторы были и исполнительной, и законодательной властью одновременно. Многим эти перемены пришлись не по вкусу. Президент Чувашии Федоров утверждал, что Совет Федерации составлен правильно (будучи при этом юристом)...

Я упоминаю все это, поскольку обнаружила, что не только в России, но и в западноевропейских странах юридические познания не очень распространены. Даже моя приятельница Ингрид, историк с университетским образованием, не знала о принципе разделения властей. Не напрасно я в свое время заставляла своих студентов изучать Монтеסקье.

Профессиональные московские оппозиционеры заговорили о новой диктатуре, хотя объявлена была совершенно необходимая России диктатура закона. Особенно возмутительно, когда по поводу таких дел, как дело Г. Пасько (дела, безусловно, грязного), некоторые говорят о возвращении 37 года. Я не знаю, передавал ли, скажем, Пасько военные тайны, но даже если его осуждение — это судебная ошибка, все равно такое сравнение — профанация и издевательство над миллионными жертвами тех страшных лет. Жаль, что слишком скоро прекратилось разоблачение того страшного времени. Медиям следовало бы чаще к ним возвращаться.

Укрепляя государственность внутри страны, стараясь повысить уровень жизни, пенсии, жалование бюджетникам, президент Путин одновременно делал очень удачные шаги во внешней политике. Как это ни было трудно, он сумел поднять постепенно хоть немного престиж России. Путин старался укреплять позиции страны как на востоке, так и на западе, однако по-настоящему можно поднять престиж государства только при укреплении его экономической мощи. Иного языка, кроме языка силы, страхи, которые принято называть цивилизованными, пока еще не понимают. Экономика России постепенно укрепляется, готовится реформа армии, но все это требует очень много времени. Я кончаю эти записки в начале 2002 года

и могу только выражать твердую надежду, что развитие России пойдет по восходящей линии.

Ошибкой двухлетнего периода президентства Путина представляется мне сохранение советского гимна, хотя и с другими словами, написанными, однако, тем же Михалковым, и красного знамени — стяга российской армии. Можно ли осколки советской символики вкрапливать в дореволюционную символику Российского государства? Как соединить несоединимое?

Стремление президента не разрывать периоды российской истории и, отменяя дурное и неудачное, попытаться слить в общее движение достойное, само по себе правильно. Разрыв мог вылиться в конце концов в гражданскую войну, тем более что Россия по-прежнему находится в тяжелом положении, по-прежнему она окружена странами, ищущими ее слабые места, чтобы по возможности не допустить ее возрождения (как сказал Збигнев Бжежинский: «Россия — это лишняя страна»). Но при правильном желании сохранить в экономике, культуре, даже навыках управления то, что не противоречит строительству демократического общества, — возможно ли то же самое в символике? Будем надеяться, что эта эклектика не подорвет основы российской государственности, которые должны быть незыблемыми.

11 сентября, когда, как принято теперь говорить, изменился мир, я была в Мюнхене. Буш начал собирать пеструю коалицию против террористов, и лишь мусульмане удержали его от кощунственной формулировки, что он ведет дело безграничной справедливости: безгранично справедлив может быть только Господь Бог. Кошунственно было и заявление американского президента, созвучное словам Христа: кто не за них (американцев), тот против них. России, воюющей в Чечне, не оставалось ничего другого, как присоединиться к этому походу. Разгром талибов в Афганистане помог России в чеченской кампании, где среди боевиков есть и исламские фанатики-террористы. Укрепление российской государственности поможет и в этом вопросе.

А в общем, создается впечатление, что идет наступление ислама, особенно в Западной Европе. Фанатики-террористы — это только острое. Его можно сломать. Но остановить мирное наступление ислама куда труднее. В Западной Европе христианство увядает. В Скандинавии, а теперь и в Германии разрешен официально содомский грех — однополые «браки». Но людям нужна не такая «вера»,

которая разрешала бы им все, а такая, которая ставит им рамки. Конечно, Католическая Церковь таких «браков» не разрешает, но достаточно ли она борется против них в рамках тех возможностей, которые оставляет ей государство?..

Почти что единственный способ борьбы США с теми, «кто не за них», — бомбы, бросаемые с безопасной высоты. Но многолетние семьи, на которых падают или будут падать бомбы, нельзя объявить врагами. А они — одно из самых сильных орудий мусульман в распространении по миру ислама. Немецкая пресса считает, что российский президент повернул к Западу (этому неопределенному «Западу», который уже сам не знает, как себя определять), но частью этого «Запада» Россия не будет никогда. Однако она давно считает себя частью Европы. К сожалению, страны Западной Европы не хотят этого признавать. Сейчас, кажется, только Англия искренне заинтересована в подключении России к европейской и мировой политике как равноправного партнера, но что принесет ей сближение с США и НАТО — трудно сказать. Легким путем России не будет ни внутри страны по пути ее становления, ни в отношении с другими странами, высокомерно называющими себя Западом (хотя высокомерие, как мы знаем, ведет к гибели). Остается пожелать странам Запада (а для меня — особенно Германии, в которой я так долго жила и работала), чтобы они своевременно опомнились. Старые структуры ломаются, надо строить новые, и Россия должна быть к ним подключена на равных правах.

Пути Господни неисповедимы. Когда я уже потеряла надежду, что вернусь в Россию и увижу свой любимый Петербург, родина для меня открылась. 80 лет тому назад мои родители дали мне мое имя, к сожалению, не как символ веры Христовой, а как символ веры в то, что большевизм падет и Россия освободится. Но исполнение веры в освобождение России не могло свершиться без основной и главной веры, веры в Бога-Творца и Спасителя, Сына Его, рождение Которого празднуется как раз в те недели, в которые я заканчиваю эту книгу.

В теперь уже далекое время некоторым русским эмигрантам, бежавшим после революции, удалось побывать на оккупированной немцами территории, хотя их туда старались не пускать. И были случаи, когда такой эмигрант, носивший на груди ладанку с зашитой в ней родной землей, распарывал ладанку и высыпал землю: за 24 года Россия стала другой, чужой ему, непонятной и неинтересной.

Я не страдала ностальгией. У меня всегда было достаточно живого дела. Но о России я не забывала, приняв с большой радостью ее бескровное освобождение от диктатуры коммунизма. Приехала я в Россию с открытой душой и открытыми глазами, чтобы увидеть ее по возможности такой, какая она есть. В то время как вокруг меня у многих были мрачные прогнозы, я чувствовала, что страшные испытания России закончились и что теперь начнется возрождение, хотя и трудное, со срывами и спадами, но все же возрождение. Я уже упоминала, что приняла приход к власти среднего поколения государственников, поняв, что в последние, еще советские годы менялась постепенно (хотя бы отчасти) и структура тех органов, к которым мы справедливо относились отрицательно. Многие в них старались служить государству, не всегда понимая, что пути неверны, или принимая их, не видя пока другой возможности. Такие люди приняли открывшиеся новые возможности искренне, а приспособленцы будут постепенно отпадать.

Тут есть еще один аспект, который трудно объяснить тем, кто его не видит. Может быть, самое важное и самое трудное в христианстве — это принять волю Божию: «да будет воля Твоя, а не моя». Миллионы людей повторяют эти слова молитвы «Отче наш», но мало кто отдает себе отчет в том, что это на самом деле означает. В глубине души невольно ожидаешь, что Господь сделает именно так, как хочется самому молящемуся. Может быть, святые и достигали полного соответствия с волей Божией, но для большинства христиан — это борьба на всю жизнь. Однако по мере стараний принять волю Господа открываются глубины, невидимые прежде. Начинаешь видеть мир в его многообразии, начинаешь ощущать, как различны пути отдельных людей, именно ощущать, а не только теоретически понимать. Это не означает релятивизма. Истина одна, и истинная цель одна, но пути чрезвычайно разнообразны. Это также не означает того, что грех не ощущается достаточно остро. Наоборот, ощущение греха обостряется, но оно направлено в первую очередь на себя. Лучше понимаешь требование Христа: «Не судите, и не судимы будете». В политике смотришь на то, как ведут страну ее руководители *сейчас*. Сосредоточиваешь свое внимание на самом важном для христианина времени — *сейчас*. Прошрое нам не подвластно *уже*, будущее — *еще*, но, конечно, оно вырастает из настоящего, как оно выросло из прошлого. Всего этого забывать нельзя, но внимание сосредотачивается на времени, в котором теперь мож-

но действовать, в котором выступает тенденция движения в будущее, непрерывно становящееся настоящим.

В то время как в западноевропейских странах христианство увядает, в России оно как будто бы воскресает. Это неудивительно: оно десятилетиями было почти задавлено, пережив все гонения. На месте разрушенного храма Христа Спасителя богоборческая власть хотела соорудить свой «храм» с огромной статуей Ленина, венчающей его. Но так и не построила, а теперь на этом месте снова стоит храм Христа Спасителя (вавилонские башни не удаются). Храмы восстанавливаются или воздвигаются новые. Все чаще в церковь приходит и молодежь, но в этом много моды, много стремления обезопасить себя на всякий случай. Наряду с верой расцветают и суеверия, хотя последние всегда были, но их начинают как-то привязывать и к церкви. Тем не менее в России сейчас христианская жизнь на подъеме, тогда как в Западной Европе на спаде. В России верующий президент. Он не только посещает церковь, но в один из своих коротких отпусков совершил паломническую поездку по монастырям севера. Представить себе аналогичную поездку какого-нибудь европейского лидера невозможно. Немецкий канцлер Шрёдер — открыто неверующий человек, демонстративно отказавшийся после принятия присяги сказать обычную до тех пор формулу: «Да поможет мне Бог». Может быть, некоторым исключением является верующий католик Тони Блэр.

Я никому не заглядывала в душу, но, скажем во Франции просто нет атмосферы для такой поездки президента Ширака, даже если он лично верующий человек.

Что же касается до общих тенденций развития России и других стран, то не забудем, что тенденция, та или другая, в истории редко изживает себя до конца. Она легко может переломиться, отклониться в сторону или даже пойти в обратном направлении. Остается молиться, чтобы тенденция к вере в Господа в России сохранилась, а в западных странах Европы снова возникла.

Сейчас я живу большую часть года в Петербурге, в своей квартире (о чем не так давно не могла подумать даже в самых смелых своих мечтах). Этот домик стоит в Коломне, на улице, носящей для меня символическое название — Псковская. Недалеко, на углу Пряжки и улицы Декабристов (бывшей Офицерской), жил и умер Александр Блок. Я не очень люблю Блока как поэта, но взяла его

двустилишие эпиграфом к своей книге. Я появилась на этот свет в тот самый год, когда Блок его покинул (вошь переползла ему его революцию, которую он сначала принял). Я росла уже в стране революции, которую переползла вошь, и не приняла революции с самого детства, то есть не приняла ее последствий. Мне хотелось сбросить их как можно скорее, тогда была еще непосредственная связь с прошлым. Но, видимо, всякое явление, всякий феномен должен себя сначала изжить и выделить из себя новое, что примет и черты давно прошедшего, тоже изжившего себя в свое время, и черты не так давно ушедшего. В Париже есть *place de la Concorde*, площадь Согласия, но во Франции владычество революции было коротким. Может ли День согласия в России сыграть эту же роль, трудно сказать. Но новое вылупилось из старого и растет, ведомое любящими Россию молодыми людьми, понимающими, что они делают. Пожелаем же России и миру благоприятных путей развития в третьем тысячелетии.

Приложение I

ЧЕЛОВЕК В ТОТАЛИТАРНОМ ГОСУДАРСТВЕ*

1

В этой статье мы хотим попытаться проанализировать поведение человека, живущего под тоталитарным режимом, его реакции, чувства, мышление. Понятно, мы можем дать только схему, выявить только типичные черты. Как ни различны восприятия разными людьми одних и тех же событий, есть нечто общее, свойственное человеку как таковому. И вот как раз с этим общим тоталитарные режимы не считаются.

В своей книге «Тоталитарная власть»¹ Ганс Бухгейм дает совершенно правильное различие между авторитарным режимом (даже самой суровой диктатурой) и тоталитарной властью. Тоталитарная власть, конечно, всегда диктатура, но не всякая диктатура и тем более не всякий авторитарный режим тоталитарны. Тоталитарная власть возникает тогда, когда у этой власти есть идеология, претендующая на объяснение всех разнообразных явлений и на то, что у нее есть рецепт «правильного» построения общества по определенному плану.

Мы совершенно согласны с Г. Бухгеймом и с Г. Арендт², которые полагают, что подлинно тоталитарными можно считать только два режима: коммунистический и национал-социалистический. Фашистскую Италию нельзя считать полностью тоталитарной, и еще менее тоталитарна Испания Франко, хотя и там безусловно авторитарный режим.

Отдельные черты и тенденции тоталитаризма можно встретить в различных государственных образованиях, иногда даже таких, где их не ожидаешь, но мы ограничимся рассмотрением только этих типичных примеров.

* Статья была опубликована в 1967 году. В ней говорится об СССР того времени.

XIX век и либерализм были склонны рассматривать жизненные явления в их обособленном разделении. Они разрывали единство жизни, и в ответ на это должны были возникнуть обратные движения, стремящиеся к новому единству. Стремление к единству как таковое обосновано, поскольку Бог создал целостный мир, но целостность эта дана в разнообразии, это живая целостность. И если люди перестают ощущать ее, если она распадается, тогда возникают судорожные усилия собрать эту ускользающую целостность под каким-нибудь имманентным и односторонним углом зрения. А когда объяснения мира становятся недостаточны, когда появляется желание изменить мир, претворить новое теоретически найденное единство в жизнь (Карл Маркс: философы уже достаточно объясняли мир, его надо изменить), тогда возникают тоталитарные режимы. Часть принимается за целое, и делается попытка втиснуть всю жизнь в рамки этой части, чтобы создать искусственное единство.

Такие попытки могут достигать большего или меньшего результата, но «полное совершенство» для них недостижимо: человек его бы не выдержал. Создается парадоксальное положение: сами создатели этих экспериментов объясняют «недостатки» их системы тем, что совершенство еще не достигнуто, что люди еще недостаточно проникнуты «истиной» их идеологии, что они еще недостаточно «перевоспитаны». И это не достигнуто либо оттого, что прошло еще недостаточно времени, либо оттого, что все еще есть «вредители» и «паразиты», мешающие осуществлению совершенного строя. Но если удастся одних полностью перевоспитать, а других ликвидировать, тогда-то и наступит «совершенство» и человек будет вполне удовлетворен, даже безоблачно счастлив в этой безусловно функционирующей системе.

На самом же деле чем менее достигнуто «совершенное» функционирование системы, тем свободнее люди могут дышать. Чем ближе она к совершенству, тем нестерпимее становится существование в ее рамках и тем отчаяннее люди, находящиеся в ее власти, стараются ее расшатать или найти в ней дыры, причем эти старания происходят только отчасти сознательно и активно, большей же частью бессознательно или полусознательно; это скорее пассивное, чем активное стремление как-то противостоять насилию над человеческой природой. Отчаянно барахтающиеся «вредители» расшатывают уже приближавшуюся было к совершенству систему, но по-

сколько сами эти «вредители» вовсе не активные и сознательные борцы, а просто вся масса обыкновенных людей, то они ускользают от рук диктатуры, не поддаются точному определению и побуждают власть либо прибегать к слепому массовому террору, либо несколько ослаблять вожжи и с неудовольствием наблюдать, как «мелкий мещанин» уничтожает «великие плаины» переустройства мира.

Невозможность сделать систему совершенной всегда побуждает власть искать какого-то конкретного противника, на которого можно было бы свалить всю вину. Национал-социалисты нашли его в евреях. Этого «врага» было легко изолировать: но если бы национал-социализм просуществовал дольше, он должен был увидеть, что уничтожение евреев не уничтожило трудностей режима.

Коммунизм сначала тоже мог ясно определить своего «врага», это был «классовый враг». Однако позже, когда видимый «классовый враг» был уничтожен, определение «врага» расплылось в формуле «остатков буржуазного сознания» во всем народе. Так возникает непрерывная борьба режима против его неуловимого противника — самой природы человека.

В ходе этой борьбы, проводимой различными средствами с переменным успехом, прежние утопические цели превращаются неизбежно в свою противоположность: «Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы построили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтоб труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтоб не пролилось больше ни одной капли крови, мы убивали, убивали и убивали»³.

2

«Особое и своеобразное свойство тоталитарной власти поняли только те, кто попал непосредственно под ее владычество, но даже и они поняли это не сразу, потому что это был совершенно новый опыт. Тоталитарное господство перерастает все обычные политические нормы и принимает непредсказуемые и жуткие размеры; жизнь, попавшая в круг его влияния, становится спутанной и неуверенной. Люди видят себя не только стесненными в их свободе, но и полностью выданными режиму, претендующему на всего человека, затягивающему его постепенно в свой механизм и вовлекающего его в свою вину», — пишет Ганс Бухгейм в упомянутой книге.

При этих новых необычных обстоятельствах жизнь принимает неожиданные формы. Многие гражданские добродетели, ранее признававшиеся незыблемыми, превращаются теперь в свою противоположность, чем и обнаруживают свою относительность. Честное исполнение служебных обязанностей в нормальном правовом государстве дает обычно положительные результаты, но при тоталитарной власти результаты бывают зачастую отрицательные. Даже такое бесспорно отрицательное явление, как взяточничество, при тоталитарном режиме может иногда помочь человеку, находящемуся без вины в безвыходном положении.

У одинокого потового, например, на границе гитлеровской Германии или на демаркационной линии, разделяющей в наше время две Германии, есть выбор между тремя видами поведения по отношению к замеченному им беглецу. Он может поступить согласно со своими служебными обязанностями: арестовать беглеца и выдать его властям. Если дело шло, скажем, об еврее, пытавшемся выбраться из гитлеровской Германии, то такой постовой, выполняя свои обязанности, становился соучастником убийства невинного человека. В лучшем случае он становился соучастником лишения его свободы. Постовой мог с опасностью для себя и вполне бескорыстно помочь беглецу или, по меньшей мере, пропустить его. Но этот образ действия стоял бы в противоречии с его долгом службы, хотя в моральном отношении был бы безупречным, даже героическим. Он мог бы взять с беглеца взятку и спасти ему жизнь за какую-то материальную ценность. Это, конечно, поступок аморальный и много ниже бескорыстной помощи, но благодаря его результату — спасение жизни беглеца — он представляется предпочтительнее, нежели безупречное исполнение служебных обязанностей.

Мы рассмотрели гипотетический случай постового на границе, но в жизни такие случаи часто происходили и происходят. Начиная от «честного убийцы за письменным столом» Эйхмана до последнего маленького бюрократа все, кто в тоталитарном государстве «честно» и бездумно выполняют свою обязанность по отношению к государству, помогают тем затягивать петлю тоталитаризма. Учителя, отказывавшиеся делать планы уроков и давать их на контроль, создавали хоть небольшую отдушину для самостоятельного творчества, хотя многие и делали это не из сознательного сопротивления, а просто по небрежности. Служащие милиции, затягивавшие по халатности месяцами регистрацию новоприбывших, давали час-

то возможность выжить людям, единственная «вина» которых была в том, что они происходили «не от тех» родителей. Без небрежности по отношению к служебным обязанностям, без взяточничества, без бесчисленных человеческих слабостей и упущений жизнь в тоталитарных государствах была бы совершенно невыносимой «У нас многие идиотские распоряжения власти остаются невыполненными просто из-за нашей халатности, не говоря уже об общей пассивной оппозиции населения»⁴.

Послушный, честный, идеологически более или менее нейтральный исполнитель является опорой тоталитарного режима; без него, только при помощи своих немногих убежденных сторонников, ни один такой режим долго не продержался бы. Так, обычные гражданские добродетели превращаются в свою противоположность и служат инструментом убийства и угнетения. В такой необычной обстановке выясняется относительность общепринятых добродетелей. Незыблемым остается только истинное добро, не связанное ни с какой формальной регламентацией, когда люди думают, действуют и стараются помочь человеку как таковому, это то, что Владимир Соловьев называл «вдохновением добра».

Но и при тоталитарном режиме жизнь состоит из пестрой мозаики труда и поступков, таких, которые режим может использовать непосредственно для собственного укрепления, и таких, которые необходимы для поддержания жизни и должны быть выполнены, несмотря на все отвращение к режиму, чтобы избавить, например, народ от голода.

Возьмем крестьянина. Может ли он, сея хлеб, быть уверен, что он служит народу, а не режиму? Тоталитарная диктатура накладывает свою руку на все самые невинные и самые необходимые действия людей и старается использовать их для себя. Бухгейм приводит пример «зимней помощи» при национал-социализме. Люди жертвовали тогда, чтобы помочь многим нуждающимся (в Германии перед тем была большая безработица), но режим использовал это социальное начинание в целях собственной пропаганды.

Если б можно было с помощью пассивного сопротивления парализовать всю жизнь в стране, промышленность и сельское хозяйство, то режим был бы свергнут; но не говоря уже о практической невозможности такой всеобщей акции, была ли бы она морально оправдана, если бы из-за нее сначала должны были погибнуть многие невинные? Во время военного коммунизма и в начале коллек-

тивизации крестьяне пробовали оказывать пассивное сопротивление. Оно было безнадежно, власть сломала его силой, а кроме того, еще волна голода прокатилась по стране. Но власть не только не отступила, а, наоборот, во многих областях, например, на Украине, сама сознательно вызвала голод, чтобы тем вернее сломить сопротивление.

Сократили ли бы немецкие крестьяне время войны, если бы стали оказывать пассивное сопротивление и не обрабатывать свои поля? Может быть, но сначала по стране прокатилась бы волна террора и голода. Принесла бы она больше или меньше жертв, чем война? Кто может на это ответить?

В коммунизме рациональное планирование всей жизни является частью его идеологии. Коммунисты надеялись построить жизнь по образцу точного механизма машины. Как раз в области экономики, являющейся согласно этой идеологии базисом общества и его духовной жизни, все должно было быть спланировано до мельчайших подробностей, но это планирование до сих пор создает положение гротеска. К тому же внутри планового хозяйства все время возникает нелегальная частная инициатива, пробивающая себе совершенно неожиданные тропы. В советской экономике процветает коррупция. Но без коррупции эта тотально распланированная экономика, вероятно, вообще бы не могла существовать. Клаус Менерт в своей книге «Советский человек» рассказывает, что каждое предприятие содержит нелегального «толкача», который подпольно организует операции обмена, так как без этого предприятие не получило бы необходимого сырья. И здесь коррупция всех обычных гражданских добродетелей представляется неизбежной.

Отсутствие конкуренции, незаинтересованность директоров и администраторов в конкурентоспособности заводской и фабричной продукции ведут к хроническому недостатку предметов потребления и к большому количеству брака. Об этом в коммунистических государствах рассказывается бесконечное количество анекдотов. И знаменательно, что мотивы таких анекдотов повторяются в разных тоталитарных государствах почти буквально. Например, о Сталине и Гитлере в Советском Союзе и в национал-социалистской Германии рассказывались независимо друг от друга почти дословно одни и те же анекдоты.

От тоталитарного планирования особенно страдает сельское хозяйство. Оно так и не смогло по-настоящему оправиться после насильственной коллективизации 30-х годов. У крестьянина больше

внутренней связи с собственностью и личным трудом, чем у рабочего. Крестьянин так и не примирился с колхозами. И тотальная планировка и коллективизация мстят здесь сами себе, уничтожая казенный коммунистический «идеал». Я хочу еще раз подчеркнуть, что говорю совсем не о сознательном саботаже. Здесь «саботирует» сама природа человека, потому что человек не машина. «Тому, кто берет для себя образцом формы существования неодушевленного мира, поведение живых существ начинает представляться неразумным. По сравнению с машиной оно кажется ему ненадежным и расточительным. Ему хочется внести порядок: сэкономить время, силы, материал. Он пробует организовать жизнь рационально, но обычно в результате все лучшее в жизни калечится, если жизнь не гибнет совсем»⁵.

Не будем закрывать глаза на то, что не только в коммунизме есть тенденция построить жизнь по образу и подобию машины; в коммунизме эти тенденции только особенно сильны.

Тоталитарный режим развращает не только своих собственных граждан, но и тех, кто не находится под его властью, но с ним соприкасается. Следует ли, например, поставлять пшеницу в тоталитарные страны? Нельзя ли, наоборот, заставить диктатуру ослабить нажим на собственных граждан, оставив ее самое справляться со своими продовольственными трудностями? Не удалось бы заставить режим распустить колхозы, если бы «капиталистические» страны не поставляли ему зерна? Но сколько бы людей и как долго голодали, прежде чем режим решился бы пойти на уступки в таком кардинальном для него вопросе?

Перед трудными решениями поставлены не только люди, живущие под властью тоталитарного режима. Как провести границу между людьми, которым хочешь помочь, и режимом, помогать которому — значит еще больше закабалить этих же самых людей? Дает ли культурный обмен отдушину для интеллигенции Советского Союза, или же он больше служит целям советской пропаганды? Когда иностранцы приехали в 1936 году в Берлин на спортивную олимпиаду, приехали ли они в гости к немецкому народу, или же они только подняли престиж режима, которому удалось блестящее пропагандистское представление? Поскольку режим накладывает свою руку на все, в том числе на спорт и на культуру, иностранцы остаются в недоумении, как им различать политическую акцию и неполитические действия?

Человек, активный по натуре, но одновременно настроенный против режима, не может избрать себе какую-нибудь неполитическую область, чтобы удовлетворить свое стремление к активной деятельности. Красный Крест, благотворительная деятельность — все политизировано. Ганс Бухгейм пишет, что тоталитарная власть и истинная политическая деятельность несовместимы потому, что настоящая политика связана со свободой решения. А политизация всей жизни в тоталитарном государстве означает в действительности ее деполитизацию. Этому же мнения придерживается и Ганна Арендт. Бухгейм указывает на то, что в правовом государстве человек должен иметь право совершенно отойти от политики, чтобы свободно посвятить себя другим задачам. Но тоталитарные государства как раз и не дают своим гражданам свободы отойти от политики, равно как и свободы иметь другое политическое мнение. Тоталитарный режим берет человека полностью.

Любая свободная инициатива какой-либо группы, хотя бы она и была совсем неполитического характера, сразу вызывает подозрение тоталитарной диктатуры. Каждая тоталитарная власть старается создать ту или иную форму коллектива. Национал-социалисты говорили о «национальной общине», в коммунизме коллектив играет очень большую роль. Но все эти коллективы должны быть организованы и контролируются партией. Каждое спонтанное движение, каждая самостоятельная инициатива удушаются, как только они переходят поставленные им очень узкие рамки. Человеку с активной натурой остается только или насильно убить в себе всякую инициативу, что очень тяжело, или приспособиться к системе, надеть на глаза шторы и пытаться верить в то, что требует от него партия.

Так создается тип активиста, который потом переходит в функционера. Честолюбие и карьеризм не обязательно должны при этом играть первенствующую роль. Но если они с самого начала преобладают, то мы сразу же имеем дело с функционером. В периоды особо сильного давления диктатуры для активных натур есть только три пути: службы режиму, внутренней эмиграции или героического и безуспешного сопротивления. Многие ценные люди идут первым путем, чтобы удовлетворить свою потребность в деятельности. При этом они пытаются обмануть самих себя или тем, что, мол, цели режима хороши, даже если средства и дурны, или же, что нельзя стоять в стороне, иначе все дело попадет в еще худшие

руки; надо, напротив, принять участие и направить движение в лучшую сторону⁶.

Последнее соображение побудило многих в начале национал-социализма к сотрудничеству с ним в известных границах. Но эти люди не поняли сущности тоталитарной власти, ее решимости и беспощадности. Все усилия исполненного благих желаний среднего честного гражданина заранее были обречены на неудачу: они не могли устоять против методов режима. Эти методы были для них неожиданны, человек не был к ним подготовлен и очень быстро, и легко он попадал под колеса режима. В результате среди приспособленцев оказывалось не меньше, а иногда и больше жертв, чем среди тех, кто с самого начала решил остаться в стороне. Тоталитарный режим, как мельничное колесо, затягивает всякого, кто ступил на него хотя бы одной ногой. Такой человек или должен полностью приспособиться к его ходу, или он будет втянут и измолот. С тоталитарным режимом нельзя сотрудничать только отчасти, одновременно сохраняя свое личное Я и внутреннюю независимость.

Бухгейм пишет: «Многие люди, поддерживавшие сначала режим, потому что они соглашались с некоторыми его национальными или социальными целями, должны были рано или поздно с горечью увидеть, что они на самом деле выбрали и поддерживали бесчеловечность. К тому времени, когда они наконец поняли, что они, собственно говоря, должны бы были быть бескомпромиссными противниками режима, они потеряли уже столько своего Я, что не могли оторваться от режима... Мы можем наблюдать это явление на биографиях многих сторонников коммунизма и национал-социализма, которые нередко ищут утешения в утверждении, что большевики исказили истинный марксизм, а Гитлер предал идею национал-социализма».

Это верное наблюдение объясняет тот факт, что иные бывшие коммунисты или национал-социалисты остаются все еще сторонниками этих идеологий, хотя они и прошли сами через концлагерь соответствующего режима, и в своих воспоминаниях бессознательно прикрашивают режим: они не могут признаться самим себе, что долгое время служили такому чудовищу.

Как это ни парадоксально, но те, кто с самого начала стояли в стороне, скорее могут уцелеть. Хотя при тоталитарных режимах бегство в личную жизнь уже само по себе означает враждебный акт и «аполитичные» не могут сделать большой карьеры, если они не

являются выдающимися специалистами, но все же каждый тоталитарный режим должен терпеть какое-то количество «аполитичных» спецов. Ему без них не обойтись. Вначале представители режима думают, что им придется только недолго терпеть таких специалистов, пока режим не воспитает свои собственные кадры. Однако позже они, к своему удивлению, замечают, что все большее число молодых, ими воспитанных специалистов попадают в «аполитичные». Так как в Советском Союзе тоталитарный режим существует уже почти 50 лет, то на его примере мы можем особенно ясно это наблюдать.

С одной стороны, последние коммунисты-идеалисты как тип вымерли приблизительно к середине 30-х годов, уступив свое место коммунистам-чиновникам, с другой же стороны, выросшая в Советском Союзе молодежь начала заполнять ряды «аполитичных» — явление, которого вожди режима не предвидели. Лучшее прибежище для «аполитичных» — это естественные науки, особенно анатомия и техника. Многие молодые люди, изучавшие бы при других условиях философию или гуманитарные науки, изучают математику, физику или технику. Сама коммунистическая идеология поощряет изучение этих наук, с другой же стороны, точные науки, не поддающиеся партийному искажению, представляют собой защитный вал, под прикрытием которого можно как-то устраивать свою личную жизнь. За этой стеной можно даже спрятать совершенно отрицательное отношение к режиму. В рассказе Тендрякова «Необычайное происшествие» говорится о верующем учителе математики. Этот факт был очень поздно открыт, когда учитель вступился за верующую ученицу. Учитель был немедленно уволен. Но когда любопытный корреспондент спросил его, как он мог вести такую двойную жизнь: оставаться советским учителем, будучи верующим человеком, он ответил, что никогда не отрекался от Бога, но на уроках математики ему не приходилось затрагивать вопросы веры.

4

Известно, что навязанный, организованный режимом коллектив всегда скучен. Скучна вся регламентированная жизнь. Многие люди, даже резко отрицающие режим, готовы примириться с тем, что он ужасен, страшен, невыносим, но не скучен. В действительности же скука играет в униформированной жизни важную роль. В тоталитарных режимах это скука униформированной лжи. Внача-

ле даже блестящие таланты могут еще быть полны иллюзий и могут отдавать свой талант на службу режиму, но чем дальше идет время, тем яснее становится ложь и тем сильнее разрастаются специфическое мещанство и скука. Серы и скучны официальные газеты, где из года в год повторяются все те же сообщения о «социалистических (или, иначе, этикированных) достижениях», серы и скучны принудительные собрания и стереотипные речи, которым уже никто не верит. Яшин дает наглядную картину таких собраний в рассказе «Рычаги». Официальный коллектив влачит жалкое существование. Он задыхается во лжи.

Наблюдатели, живущие вне тоталитарного режима, судят об этой постоянной лжи, даже если они ее понимают, большей частью слишком поверхностно, слишком теоретически. В Западной Германии говорят о «двух рельсах» и о мимикрии жизни при коммунистических режимах, но на самом деле мало кто себе представляет, как трудно это проводить на практике, и не столь внешне, сколь внутренне.

Романо Гуардини говорит, что здоровье духа тесно связано с истиной. Человек заболевает духовно, если у него нарушена связь с истиной, если истина для него уже больше ничего не значит. Он еще не болен, когда он лжет, если он знает, что он лжет, и если он еще способен вернуться к правдивости. Если же всякая связь с истиной порвана, то человек внутренне болен, хотя внешне он может казаться весьма здоровым и даже материально преуспевать.

Этому заболеванию человек сопротивляется сознательно, полусознательно или бессознательно. Но сознательная «двойная жизнь» может стать столь невыносима, что человек даже выберет смерть. Ю. Марголин⁷ рассказывает о польско-еврейском поэте М. Брауне, который предпочел гитлеровский лагерь смерти постоянному принуждению ко лжи, хотя он был хорошо принят в советской зоне оккупации Польши и даже зачислен в Союз писателей. «Я не хочу переводить Маяковского, но я должен. Я не хочу, чтобы Львов оставался советским, но сто раз в день я говорю обратное. Всю свою жизнь я оставался верен себе и был честен. А теперь я ломаю комедию! Я стал подлецом! Среди людей, принуждающих меня ко лжи, я становлюсь преступником. Но рано или поздно я себя все равно выдам». Многие выдают себя, и множество ценных людей так погибли. Большая ошибка думать, что человек может привыкнуть к такой «двойной жизни», если он должен жить ею с юности, и что он ее тогда легче переносит.

Как раз непосредственная детская душа страдает от нее особенно сильно, и эта душа не остается без повреждений. Так же ошибочно думать, что эта проблема в ребенке вообще не возникает, если он с самого начала воспитан в определенной идеологии, «ничего другого не знает» и верит ей. Каждый подросток, каждый молодой человек, живущий под тоталитарным режимом, знает то, чего вне этого режима не знают многие ученые и политики: он знает разницу между теорией и практикой, которой он ежедневно живет. Конечно, подрастающая молодежь обо многом дезинформирована. У нее часто неправильное представление о загранице: или слишком отрицательное, потому что молодежь кое в чем верит пропаганде, или же слишком восторженное, ибо она рассматривает свободную заграницу во всем как противоположность тоталитарному режиму и видит ее в лучезарном, не соответствующем действительности свете. Но по отношению к своему режиму она мало ошибается: молодежь видит эту действительность ежедневно. Конечно, режим старается действовать на эмоции, и отчасти это ему удастся. Некоторые символы и позже вызывают в душе эмоциональный отклик, даже если человек давно отказался от режима и его идеологии.

Но может произойти и нечто другое: тайный соблазн власти или же просто желание быть активным помогает молодому человеку нередко надеть на глаза шоры, и стараться не видеть истины. Такие люди впитывают в себя режим и идеологию настолько, что уже не в состоянии от них внутренне уйти.

Другая сторона — это так называемая внутренняя эмиграция. Была она первое время при коммунизме, была она и при национал-социализме. Устоять под последним было легче, поскольку он длился только 12 лет. Но кажется невозможным пребывать во внутренней эмиграции всю жизнь. Кроме того, с течением времени людям удается отвоевать у режима хоть небольшое пространство для личной жизни. И так как, с одной стороны, человек — существо социальное и не может жить, как Робинзон, а с другой — официальный коллектив противен, то люди начинают искать другие связи.

Легче всего возникает и в глазах власти кажется наименее подозрительным научный «тим». Так, «физики» (под этим общим именем мы понимаем всех аноргаников и отчасти техников), кажется, создали себе в Советском Союзе нечто вроде крепости, добились относительной независимости и приобрели даже некоторую силу, на которую режим не решается посягнуть, потому что насущно нужда-

ется в этих людях для своей военной мощи. Между «физиками» и режимом существует неписаное соглашение, что последний оставляет их до тех пор в покое, пока они в свою очередь не выступают открыто против режима и предоставляют свои знания и труд в его распоряжение.

Однако здесь опять-таки возникает проблема. Возможные угрызания совести физика, помогшего построить ужасное разрушительное оружие, не разделяются тоталитарным режимом. В свободных странах эти сомнения и угрызания встречают уважение и понимание, в тоталитарных же диктатурах не разрешается сомневаться в пользе научного и технического прогресса, даже если его достижения употребляются на изготовление оружия массового истребления. Постулатом каждого тоталитарного режима является утверждение, что всякое увеличение мощи этого режима — факт положительный, идущий на пользу «народу», «пролетариату» или «всему передовому человечеству». И, наоборот, всякое увеличение мощи государства с другой системой является фактом отрицательным, потому что ведет к уменьшению мощи данного тоталитарного государства. Моральные сомнения о том, является ли научно-технический прогресс вообще или хотя бы только в данном случае благотворным для человечества, при тоталитарном режиме не разрешаются. Каждый тоталитарный режим всегда «направлен в будущее» и всегда оптимистичен. Добро, прогресс отождествляются с собственной системой и ее преуспеванием.

Но у ученых не могут не возникать сомнения. Эти сомнения требуют иногда немедленного действия, если режим ведет, например, агрессивную и несправедливую войну, как ее вела национал-социалистская Германия, или же они могут быть глубже и распространяться на весь научно-технический прогресс. В советском фильме «Девять дней одного года», на который официальная критика очень нападала, молодой ученый, работающий в области атомной физики, говорит непрерывно о построении коммунизма и о необходимости полностью отдать себя науке, являющейся основой коммунизма. Но когда он, задетый атомным излучением и смертельно больной, приезжает навестить старого отца, не знающего о случившемся несчастье, но чувствующего что-то неладное, он уже не может так спокойно говорить обычные трафаретные фразы.

В литературном сценарии «АБВГДЕ» Виктора Розова юноша, только что кончивший школу, отвечает матери, требующей от него,

чтобы он изучал физику: «Зачем? Люди скоро полетят на Луну и откроют загадку белка, но они не становятся от этого ни честнее, ни счастливее». Выше чем научный прогресс стоят моральные ценности, по отношению к которым этот прогресс нейтрален.

Но вопрос о смысле жизни и о моральных ценностях ставится тем настойчивее, чем дальше идет время. Это может звучать парадоксально, но каждый тоталитарный режим широко пользуется моральными понятиями, которые он превозносит и пропагандирует, но которые не имеют корней в его мировоззрении и которых он на практике не придерживается. Сначала эти пропагандируемые моральные ценности ослепляют честных последователей режима; в глазах же противников режима, его сразу разглядевших, они являются сознательным обманом. У этих последних есть свои моральные ценности, на основании которых они его судят и осуждают. Они могут быть очень испуганы победой этого, в их глазах, примитивного варварства, но их внутренний мир остается непоколебленным. Они могут приходить в отчаяние от победы зла над добром, но у них есть за что ухватиться, чтобы внутренне устоять. При этом они, однако, часто не замечают, что честные последователи режима в его первоначальной стадии действительно ищут чего-то ранее недостававшего, но ищут его в извращенной форме.

Чем больше проходит времени и чем больше поколений вырастает при тоталитарном режиме, тем яснее становится внутренняя пустота этой идеологии и системы. Так как эта идеология принимает часть за целое, то в ней остаются «белые места», причем как раз в очень важных вопросах, объяснить которые идеология не в состоянии. В коммунизме это прежде всего вопросы о смысле жизни и смерти. Даже те коммунистические идеологи, которые умеют смотреть несколько глубже, как, например, Тугаринов или Адам Шаф в Польше, признают наличие этих «белых пятен». Но трагедия заключается в том, что они не могут их восполнить, несмотря на все старания. Это не недостаток отдельных идеологов, это недостаток идеологии.

Философия помочь им не может, пока она находится в слишком узких тисках партийной цензуры. Прорыв делает художественная литература. Она может пробить хоть некоторую брешь в «коллективизации духа», как выражается М. Михайлов. Эту роль играет не только современная литература, но и литература прошлого. Не случайность и не сумасшествие то, что Мао Цзе-дун объявил Шекспи-

ра «контрреволюционером», а Толстого «ревизионистом». В Советском Союзе тоже сначала запрещали читать, скажем, «Ангела» или «Демона» Лермонтова, потому что эти произведения полны религиозных мотивов, в национал-социалистской Германии запрещали Гейне. Но классики победили. В Советском Союзе одно за другим классические произведения были сняты с индекса. Новое издание Достоевского оказалось символом окончательного триумфа классиков. Беспомощные комментарии советских литературоведов не могут нейтрализовать гений Достоевского и его несомненное влияние на молодое поколение.

Новая литература вначале еще может до известной степени служить режиму, оставаясь все же литературой. Она может следовать субъективно искреннему, хоть и направленному на объективно ложную цель воодушевлению сторонников режима. Посвящая свои произведения таким людям и несущей их волне энтузиазма, писатели могут писать в духе коммунизма, все же их произведения остаются настоящей литературой. Но постепенно тоталитарное униформирование убивает всякое воодушевление, хотя партийное руководство продолжает требовать его от литературы все в большей степени. Лживые сообщения тоталитарной журналистики лишены всего духовного, но художественная литература, если она хочет остаться литературой, не может лгать, она вянет и умирает под этим давлением. Ее место занимает «пропагандная макулатура», по выражению Ф. Степуна.

Но когда жизни удается пробить первые дыры в этом удушающем покрове, сквозь увядшие листья начинают пробиваться ростки новой настоящей литературы. И здесь мы имеем дело — только весьма отчасти — с сознательным сопротивлением. Просто литература, как и жизнь, пытается снова стать сама собой, если ей удастся выскользнуть из железных обручей диктатуры. И другие роды искусства могут стать символом духовного сопротивления — вспомним споры о современной живописи, — но литература имеет дело со словом, а потому ее значение больше. Временами особое значение может иметь пьеса, убивающая безмолвной иронией все громко звучащие тирады «положительного» героя — без слова, даже без жеста, только тем, как их слушает, казалось бы, совсем уничтоженный противник. Каждая тоталитарная власть весьма чувствительна к такой молчаливой иронии. Она ее хорошо замечает и не терпит. «На смену иронии явилась патетика — эмоциональная стихия поло-

жительного героя»⁸. Но внутренне пустая патетика не заглушает больше этой тихой иронии. Провидец Достоевский представил ее в виде того джентльмена, который повергает в прах «хрустальный дворец» математически рассчитанного счастья только тем, что стоит в стороне и иронически наблюдает.

В новой литературе в Советском Союзе видно снова уважение к человеку, к каждому человеку — «Восстание личности» назвала свою книгу об этой литературе Елена Сахно⁹, — уважение к инакомыслящему, даже к врагу, попытка понять его точку зрения. Конечно, эти произведения часто подвергаются резкой критике официальных органов (но есть и критики, судящие иначе). Тем не менее тоталитарность этим уже прорвана, потому что ни один тоталитарный режим не может признать за инакомыслящим добрую волю и субъективно честное убеждение. Ведь до сих пор современные тоталитарные режимы не смотрят на своих противников как на людей и отказывают им даже в обычном сострадании. «Правда» выступила против присвоения Ленинской премии Солженицыну, потому что Солженицын не отказывается в сострадании и тем, кто, по мнению «Правды», «сидел за дело». Жалеть полагается только тех, кто не был врагом режима и сидел в лагере «по ошибке», оставаясь и там преданным коммунистом. Но новая литература этого уже не придерживается. То очень робко, то посмелее она ищет человека как такового, без всяких идеологических штампов. «Мы не знаем, куда идти, но, поняв, что делать нечего, начинаем думать, строить догадки, предполагать. Может быть, мы придумаем что-нибудь удивительное. Но это уже не будет социалистический реализм»¹⁰.

5

Как об особой теме в рамках тоталитарного режима поговорим о концлагерях и об активном сопротивлении.

Хотя концлагерь, этот феномен XX столетия, не отделим от тоталитарного режима и в известные периоды там сидели миллионы, все же концлагерь не является судьбой всего народа, подвластного тоталитарному режиму. И тем не менее концлагерь отражается на всем народе, его тень покрывает не только непосредственно пострадавших. Все связано с ним чувством страха или сострадания, сознательным или бессознательным равнодушием или же положительным к нему отношением. То или иное отношение к концлагерю формирует и души тех, кто там никогда не сидел. «Не может оста-

ваться душевно здоровым человек или общество, которое является жертвой, хотя бы свидетелем чудовищного преступления, возведенного в норму, преступления, о котором все знают, но никто не говорит, которое не вызывает протеста в мире и просто принимается к сведению и даже оправдывается людьми, претендующими на высокое достоинство»¹¹.

Преследования в современных тоталитарных режимах носят особый характер. От прежних преследований их отличает не число жертв, а принцип выбора жертв, переносящий зло в самое бытие человека. Как бы люди прежде ни были убеждены, что они, и только они обладают истинной, но они одновременно верили, что эта — большей частью религиозная — истина доступна и другим. Другие могут познать и принять эту истину, если у них есть добрая воля. Отсюда убеждение, что инакомыслящие исполнены злой воли и несут потому личную вину. Это, конечно, совершенно неправильный взгляд, и такая нетерпимость совершенно недопустима как раз с истинно религиозной точки зрения, но при всех своих искажениях и на практике вызываемых жестокостях этот взгляд все же не изменял совсем тому принципу, что наказывать можно только за личную вину. В современных же тоталитарных диктатурах человек осуждается не за свои поступки, даже не за «злую» волю, его «вина» лежит в самом его бытии.

Еврей в глазах национал-социалистов был дурен в самом своем бытии, независимо от его поступков, убеждений или проявления воли. Статический биологический принцип национал-социализма не делал исключения и для ребенка, который уже по самому своему рождению считался predetermined злу. Это особенно страшная детерминация в самом бытии, не оставляющая человеку никакого выхода.

В марксистской идеологии человек определяется становлением, развитием. Надо подчеркнуть, что человек в этой идеологии «возникшее» (а не сотворенное) существо, не имеющее никакого постоянного, присущего каждому человеку ядра, это существо, все еще непрерывно изменяющееся. Этот взгляд обесценивает настоящего конкретного человека, который становится интересен только постольку, поскольку он представляет собой питательную среду для человека будущего. Человек как таковой не ценится. Только будущий носитель коммунистического общества, пролетариат, и часть «прогрессивной интеллигенции» могут уже сейчас претендовать на имя «человека». Представители других классов уже испорчены сво-

ей классовой принадлежностью и должны быть просто «обезврежены». И здесь не ставится вопрос о личной вине или даже злой воле отдельного человека. Но идеология «становления» делает исключение для ребенка. Хотя на практике большевизм уничтожил много детей, в теории каждый маленький ребенок, даже и происходящий «не от тех» родителей, считается принципиально воспитуемым, конечно, если его взять от родителей и из обстановки «дурного» класса.

Для тоталитарного режима не каждый человек является вполне человеком. Вполне человек только член определенной группы, какое бы название она ни носила: нация, раса, класс или же «советский народ». Только по отношению к представителям этой группы, только в сношениях со своими товарищами следует вести себя порядочно и человечно. «Один принцип должен быть для эсэсовца абсолютно непререкаем: честным, порядочным, верным и хорошим товарищем мы должны быть по отношению к людям своей крови и больше ни к кому»¹².

Когда советская пресса называла Дзержинского «золотым сердцем» за его чуткое отношение к партийным товарищам, это несколько не стояло в противоречии с его палаческой деятельностью. Человек определялся и здесь только по его отношению к товарищам, а не к «контрреволюционерам».

Однако с течением времени прежний предлог для преследования — «злая воля» — снова вступает в силу наряду с вышеозначенным принципом. «Особенностью тоталитарных режимов, независимо от того, коммунизм это или национал-социализм, является их убеждение в том, что они обладают знанием мировых законов, и они заявляют претензию провести эти законы в жизнь»¹³.

Те, кто уже выросли в «социализме», или же люди германской крови имеют все предпосылки понять и признать «истину» Маркса и Ленина или же Розенберга и Гитлера и действовать в этом смысле. Если же кто отказывается от этого и поступает иначе, то у него не хватает «доброй воли». Преследование внутри соответственного коллектива возвращается к прежнему обвинению в «злой воле».

Самые жестокие преследования национал-социализма постигли одну определенную нацию, и, кроме того, вершина жестокости совпала с войной. Внимание среднего немца было отвлечено. С одной стороны, это обстоятельство является для чуткой совести особенно тяжелым, так как жестокости были совершены по отношению к другим как бы от имени всего немецкого народа, и даже совсем лич-

но непричастные чувствуют себя в какой-то мере виновными. С другой же стороны, благодаря этому весь народ не почувствовал вполне тяжести тоталитарного режима: в сознании немецкого народа ужас был связан прежде всего с войной, в которую его вверг режим, чем с режимом как таковым.

В Советском Союзе сталинские преследования задели все слои народа и все национальности Советского Союза более или менее равномерно. Поэтому там не может быть ощущения национальной вины. Ни русские, ни грузины, соотечественники Сталина, не чувствуют себя как таковые виновными в преследованиях. Виновными могут чувствовать себя только активные коммунисты всех национальностей. С другой стороны, этот террор перепыхал весь народ гораздо глубже, чем обычно думают за границей, потому что буквально каждый так или иначе был им задет. Отсюда возникло глубокое чувство общности судьбы с заключенными, которого при национал-социализме не было.

Тема сталинских преследований в коммунистических странах едва затронута, и уже теперь ее снова стараются полностью замолчать. Режим остался тем же, и лагеря, кажется, не особенно изменились, только там сидит меньше людей, чем при Сталине. Сталинский террор хотя и осужден официально, но весьма относительно: постольку, поскольку он затронул верных партийцев.

Большая ошибка думать, что этим все и кончится, что настоящий расчет не придет. Но время еще не настало. Целое поколение было разгромлено; ряды сорока-пятидесятилетних, которые должны были бы теперь руководить, сильно поредели. В концлагерях и на войне погибли миллионы, другие же слишком запуганы или, вернее, душевно сломлены. В одном из стихов подпольного журнала «Феникс» есть строчка, которая сначала кажется страшной, но если в нее вдуматься, она дает сильную и жуткую картину этого душевного уничтожения: «Наши души пошли на портянки». К этому нельзя ничего прибавить.

У этого поколения нет больше внутренней силы. Сначала должна подрасти молодежь, не испытывавшая такого террора, но одновременно вырастающая в беспокоящей близости к по-прежнему существующим лагерям и в шизофренической атмосфере пропасти между морализирующей пропагандой и фактическим угнетением. Сопротивление не возникает в периоды наибольшего террора, оно становится поистине возможным, когда террор ослабевает.

Теперь мы подошли к другой особой теме в тоталитарном режиме — к активному сопротивлению. В национал-социалистской Германии сопротивление было сначала парализовано внешней легальностью прихода Гитлера к власти, затем ментальностью немецкого народа, существенной частью которой является привычка к послушанию, и, наконец, войной, когда казалось, что всякое сопротивление правительству является одновременно и изменой родине. Сопротивление, как известно, было, но оно не приняло большого размера. Отождествление национал-социализма с немецким народом со стороны западных союзников и требование безусловной капитуляции делали это сопротивление еще более невозможным. Со стороны иностранцев лучшей помощью тоталитарным режимам является их отождествление с соответствующим народом.

В Советском Союзе в результате революции возникло, конечно, резкое сопротивление, выразившееся в многолетней гражданской войне. И после того, как режим укрепился, было достаточно восстаний; без организации и руководства они были обречены на неудачу. Руководство восстанием вряд ли может образоваться в рамках тоталитарного режима, у которого есть все средства слежки и террора. Проблема руководства сопротивлением — самая тяжелая проблема при тоталитарном режиме.

К началу Второй мировой войны усталость населения и пассивное сопротивление достигло таких размеров, что напавший противник легко мог бы привлечь большинство народа на свою сторону, сделать его своим союзником и положить конец владычеству коммунизма. Активная революция была в то время невозможна по вышеуказанным причинам. Трагедия исторического положения заключалась в том, что наступал другой тоталитарный режим, показавший народу не менее жестокое и к тому же еще и чужое лицо. Национал-социализму удалось примирить народ с коммунистическим режимом на время войны. Но после победы в народе родилось глубокое разочарование: режим не изменился.

И все же преодоление тоталитарного режима растет в его же недрах. Разрешу себе набросать здесь несколько перспектив будущего развития.

Духовное преодоление коммунизма базируется, если правильно наблюдаем, на трех, связанных друг с другом явлениях: человеческой личности и ее достоинстве, свободе и восстании против «идео-

логии будущего». Третий пункт может удивить, и все же он совершенно логично вытекает из двух первых, вернее, из одного-единственного — человека с его достоинством и свободой. Во имя этого человека, конкретного, живого, ищущего человека подымается духовное восстание против тоталитарных режимов. Парадокс заключается в том, что коммунистическая пропаганда все время провозглашает, что она как раз заботится об этом человеке. Но она заботится о будущем человеке; когда она утверждает, что ее интересует и современный человек, она лжет. В этой лжи растет молодое поколение, которое порой принимает официальные лозунги, но в душе обращает их против самой тоталитарной диктатуры.

В то самое время, как в коммунистических странах молодежь все больше внимания обращает на конкретного живого человека, на личность и подымает духовное восстание против того будущего, которое отрицает этого конкретного человека в настоящем, в некоторой части христианского богословия, как нам кажется, намечается готовность пожертвовать этой личностью во имя абстрактного человека будущего. Не будем себя обманывать: в так называемом «богословии будущего» есть тенденции не обращать внимания на теперь живущего конкретного человека во имя будущего земного прогресса. Особенно сильны эти тенденции у богословов, находящихся под влиянием Тейяра де Шардена. Сам Тейяр не знал сострадания, для него ничего не значили миллионные жертвы, если только человечество в будущем будет объединено («Человек в космосе»). Но, может быть, стремление сохранить достоинство и свободу человека, которого никак нельзя вычеркнуть из христианства, можно гармонично объединить с перспективой будущего, с аспектом, которым богословие прежде слишком мало занималось? Такая возможность есть, и мы хотели бы ее осуществления. Но существует и опасность, что слишком погнавшаяся за будущим часть богословов готова слепо заключить союз с марксизмом, не замечая его перверсии будущего. Это очень опасно, ибо среди молодежи в коммунистических странах все более усиливается впечатление, что свободный мир не ценит по-настоящему ни свободы, ни достоинства человеческой личности, что он готов легкомысленно поставить эти ценности на карту ради своего мещанского спокойствия, и потому настоящее восстание личности за обретение своего достоинства и настоящая свобода начнутся в странах, живущих под гнетом тоталитарной диктатуры...

Каждый тоталитарный режим, как бы могуществен он ни был, несет в себе зародыши своей смерти, потому что никому не может удасться тотально переделать природу человека.

Коммунизм сейчас очень силен*, и вполне возможно, что он расширит свою власть еще на многие страны. Но идейно он уже устарел. Его будущие победители растут внутри его самого, и как раз в этом вопросе провозглашенный им диалектический закон обращается против него, чего он, конечно, сам не хочет видеть. Мы можем цитировать самих коммунистов: ни одна умирающая власть не замечает, что время ее ограничено и что ее часы неумолимо отстукивают ей приближение конца,

Странно и грустно видеть, как именно те христианские богословы, которые так хлопочут о будущем, хотят вести диалоги с коммунистами, идеи которых принадлежат уже прошедшему, а не будущему. Богословы должны были бы вести диалоги с коммунистами 100 лет тому назад, когда коммунизм был еще очень слаб, нигде не господствовал, но имел перед собой будущее. В наше время надо стараться вести диалоги с той самой молодежью, которая восстает против абстрактного будущего, но у которой в руках истинное, конкретное будущее. Она далеко не вся верующая, но она ищет веры. Если же на нее не обращать внимания, то и она может разочарованно пройти мимо христианства.

* Обращаем внимание читателя еще раз, что статья была написана в 1967 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Hans Buchheim. Totalitäre Herrschaft. München, 1962.
- ² Hanna Arend. Elemente und ursprünglich totalitäre Herrschaft. Frankfurt/Main, 1955.
- ³ Абрам Терц. Что такое социалистический реализм? (Фантастический мир Абрама Терца. Париж, 1966).
- ⁴ A. Wolgin. Hier prachereen Russen, Mainz, 1965.
- ⁵ Р. Гуардини Познание веры. Терпение Божие. Владычество Христа. Провидение. Брюссель, 1955.
- ⁶ И. И. Манухин указывает в своих воспоминаниях о Гурьком, что у последнего был план «окружения большевиков» путем сотрудничества с ними. Новый журнал, № 86.
- ⁷ Юлий Марголин. Путешествие в страну зе-ка. Нью-Йорк, 1952.
- ⁸ Абрам Терц. Что такое социалистический реализм?
- ⁹ Helen von Sochno. Der Aufstand der Person. Berlin, 1965.
- ¹⁰ Абрам Терц. Что такое социалистический реализм?
- ¹¹ Юлий Марголин. Путешествие в страну зе-ка. Нью-Йорк, 1952.
- ¹² Из речи Гиммлера в Познани 3 октября 1943 г.
- ¹³ Hans Buchheim. Die Anatomie des SS-Staates.

Приложение II

«ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

Нация — соборная личность?

Несколько замечаний к статье В. Борисова «Личность и национальное самосознание»

В качестве общего примечания ко всем статьям сборника «Из-под глыб», содержание которых нас в общем очень радует, следует все же выразить сожаление, что авторы нигде точно не указывают, откуда они берут цитаты. Это придает всем статьям легкий налет поверхностности. Особенно на Западе эта небольшая техническая небрежность станет, к сожалению, некоторым препятствием для достаточно серьезного и внимательного отношения к сборнику.

Но перейдем к существу дела. Я решила поговорить в этой статье о мыслях, высказанных Борисовым, потому что озабоченность о судьбах России не позволяет мне молчать. Я согласна с большинством идей, высказанных в этом сборнике, и хочу, чтобы читатель это особенно отметил и чтобы у него не создалось ложного впечатления о моем отношении к этому сборнику. Я надеюсь, что мне еще не раз придется вернуться к темам сборника. Но, по моему убеждению, как раз в статье Борисова намечаются в зачатке линии, которые вызывают глубокую тревогу и которые, по моему убеждению, могут привести к новой «перверсии», если Борисов и его сторонники не пересмотрят некоторые свои позиции. Если б не это опасение, я, говоря откровенно, предпочла бы промолчать и о некоторых пунктах разногласия, потому что нет никакой радости возражать там, где прежде всего хочется приветствовать новое, свежее и *христианское* начало, идущее из глубины нашей родины.

Отмечу прежде всего то, с чем я в статье В. Борисова согласна, а согласна я с очень многим. Начнем с отрицания веры в прогресс,

достигающийся чисто земными, человеческими средствами. В этом пункте я всегда была согласна с нашими крупными мыслителями, начиная с Константина Леонтьева и до Булгакова, Бердяева, Франка. Я сама об этом немало писала в журнале «Зарубежье» и в других изданиях. Эту веру я бескомпромиссно отрицаю. Тут я, стало быть, вполне согласна с Борисовым.

Согласна я с ним и в том, что рассматривать науку и ученых как гарантию построения счастливого будущего нельзя, и уже хотя бы потому, что наука стоит вне этики: она может успешно помогать и добрым, и злым начинаниям. И сами ученые не только никогда еще не могли предотвратить злого применения их открытий, но и не всегда этого хотели. Старый предрассудок, что высокообразованный или даже ученый человек должен быть и высоконравственным, не имеет под собой основания. Научное образование само по себе нравственности не прибавляет и не убавляет, корни нравственности уходят не в науку, даже не в философию, а в религию. Когда в 1968 году некоторые эмигранты восторгались меморандумом Сахарова, я, откровенно говоря, отнеслась к нему очень сдержанно и отвергала многие его мысли, в том числе и веру в науку. Я, кстати, полностью согласна с А. Солженицыным, в том, что Сахаров совершенно недооценивает роли идеологии в Советском Союзе. Соглашаюсь также с Борисовым, что эта вера в науку непременно приведет к идеологии, если и необязательно к марксистской, хотя она и объявляет себя единственно научной идеологией, то к какой-нибудь новой идеологии она приведет, должна привести. Вера в науку, вера в прогресс — все это кумиры, которых человек не должен себе творить. «Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю тебе», — писал Герцен, посвящая свою книгу «С того берега» своему сыну¹. Но в той же книге Герцен ставит сам горький и страшный вопрос: «Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который по мере приближения к нему тружеников вместо награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Morituri te salutant», только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле»².

Тему эту потом развил Достоевский в своей знаменитой слезинке ребенка, на которой нельзя строить даже счастья всего человечества, затем С. Булгаков, Н. Бердяев и С. Франк. Они называют веру в прогресс вампиризмом, который на крови и костях предыдущих

поколений хочет строить счастье какого-то неизвестного будущего поколения.

Я также совершенно согласна с Борисовым, что личность и ее достоинство могут быть укоренены только в Боге, в созданиости человека по образу и подобию Божию, и нигде больше. Секуляризированная и материализованная личность очень скоро теряет в глазах устроителей «счастливого будущего» всякую ценность, и они немедленно готовы пожертвовать сегодняшней живой конкретной личностью ради будущей, якобы совершенной и счастливой личности. Они всегда по завету Ницше любят дальнего, а не ближнего, как то велит Божья заповедь. Ближнего они часто ненавидят.

Борисов сказал о личности и ее укорененности в Боге так хорошо, что повторять сказанного им не нужно. Просто я со всем этим согласна и очень рада тому, что в Советском Союзе появляются молодые люди, умеющие так глубоко мыслить и не боящиеся выразить это в печати.

Но теперь мы переходим к той идее, с которой я не согласна. Попробуем разобрать ее подробнее. Я не согласна с тем, что нация — коллективная или соборная личность, и обоснование этому, которое дает Борисов, представляется мне слабым и неубедительным. Попробуем аргументировать это мнение и одновременно показать, к каким результатам ведет признание и последовательное продумывание до конца этих тезисов Борисова.

Начнем с того, что Борисов, по моему мнению, не определил, что такое нация. Он пробует давать определения, но они не точны и расплывчаты. Присмотримся к ним: Борисов определяет нацию как соборную личность, созданную Богом, сопоставляя при этом «нацию как личность» с отдельной человеческой личностью. Но отдельная человеческая личность отграничена от других личностей совершенно ясно и отчетливо. Можно не понимать человека как личность и считать его только индивидуумом или даже биологической особью, но в том, что и биологическая особь — это отдельный, ясно отграииченный от других человек, не усомнится ни тот, кто видит в человеке только особь, ни тот, кто видит в нем сотворенную Богом личность.

Но у нации нет таких ясных очертаний. Недостаточно определить нацию как личность, надо дать критерий, по которому одна нация отличается от другой. Какие признаки должна иметь та или иная нация? Как может человек точно определить, к какой нации

он принадлежит? Общий язык? Но тогда, что такое, например, швейцарцы? Нация это, или только народность (а что такое народность?), или лишь клочки отдельных наций? А. Солженицын, который, кажется, согласен с Борисовым по вопросу нации, упрекает западных немцев в том, что они недостаточно стремятся к воссоединению с Восточной Германией, потому что потеряли чувство мистического единства нации³. Но, позвольте, почему же надо стремиться к воссоединению с Саксонией и Тюрингией, а не с Австрией или немецкой частью Швейцарии? Особенно с Австрией. Если нация — что-то вечное и мистическое, то ее нельзя мерить одними последними десятилетиями. Из дома Габсбургов вышли последние европейски универсальные римские императоры германской нации. Австро-Венгрия участвовала в так называемом немецком бундестаге (нетождествен с современным), в котором в 1851–1859 годах заседали представители 33 немецких государств, пытавшихся наметить путь своего объединения. Бисмарк решил эту проблему на свой лад и вышиб Австрию войной из предполагавшегося объединения, осуществив тем самым так называемое «малое германское» решение этой проблемы вместо «большого германского решения», предполагавшего участие Австрии. За это многие немецкие историки и по сей день сурово осуждают Бисмарка. При этом объединении Бавария, которая по всему своему духу и по религии стоит гораздо ближе к Австрии, чем к Пруссии, оказалась внутри Германии, ведомой Пруссией. Отчего же и теперь без Австрии? Она сейчас не хочет? Так надо ее, по крайней мере, уговаривать!

Я, между прочим, тоже критикую западных немцев, но преимущественно за то, что они не интересуются *несвободой* своих недавних соотечественников. Я была всегда согласна с покойным бароном Гуттенбергом, который говорил, что в первую очередь надо требовать свободы для Восточной Германии, а не воссоединения с Западной, и если живущие в Восточной Германии немцы свободным референдумом решат остаться отдельным государством, то с этим надо будет согласиться. А воссоединение без свободы получить можно очень быстро и легко, хоть завтра. Все дело в свободе.

Спросим еще только: что же такое американцы? Нация или одно сплошное недоразумение? Язык у них один, но все возможнейшие национальные и расовые корни. И как смотреть на их предков? Уклонились ли они все, кроме негров, которых вывозили насильно, от замысла Божия о них?⁴

Будем искать дальше критерии Борисова для нации. Он приводит с сочувствием следующие слова К. Леонтьева: «Любить племя за племя — натяжка и ложь... Чисто племенная идея не имеет в себе ничего организующего, творческого; она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплодного всеблага... Национальное начало вне религии... начало медленно, но верно разрушающее»⁵.

Но, с другой стороны, Борисов пишет: «Излишне, думается, подробно развивать мысль о том, что этот набор «природных» особенностей всегда исторически ограничен и потому произволен. Достаточно хотя бы вспомнить судьбу известной в прошлом России теории, согласно которой самодержавие и православие составляют извечные атрибуты русской народности и вместе с ней образуют нераздельную триединую святыню»⁶.

Но Константин Леонтьев как раз и определял Россию именно этим. По его мнению, Россия как Россия и особая русская нация образовались после того, как известная часть языческих славянских племен приняла христианство от Византии и вместе с ним специфическую форму монархии, именно византийскую. Это и определяет, по Леонтьеву, русскую нацию. Он считал, что нация определяется изнутри, духовно, и именно потому, отрицая племенную любовь к народу, он указывает вполне *конкретно*, какие духовные признаки определяют данную нацию (у него есть и подбор признаков для других европейских наций, не только для России). Иронизируя над французами, которые любят их *la belle France*, какой бы она ни была, он бесстрашно говорит, что он может представить себе такую Россию, какой он ее больше любить не будет. Леонтьев считал, что если из России уйдет дух ее специфического самодержавия и, особенно, православия, то России как России не будет, а останется только какое-то количество людей (хотя бы и очень большое), говорящих на русском языке, но Россией это уже больше не будет. Интересно, что Леонтьев, ставя так высоко православие и окончив жизнь монахом Оптиной пустыни, не был врагом воссоединения Церквей. Он говорил, что если православные иерархи договорятся с католическими, то он будет это приветствовать, но он сам как отдельный человек никогда бы не перешел в другую Церковь. В самом деле, это бы совершенно не соответствовало его представлению об иерархии. Но если бы и произошло воссоединение Церквей, то Леонтьев совершенно справедливо считал, что и тогда помест-

ная Русская Церковь сохранила бы свое византийское своеобразие и это был бы ее особый, индивидуальный лик среди других христианских народов. С Леонтьевым можно соглашаться или не соглашаться, но отказать ему в последовательности и бесстрашии мышления нельзя.

Но Борисов, создавая с помощью одной цитаты впечатление, что Леонтьев как бы из гроба благословляет его концепции, тут же легко отмечает то, что для Леонтьева было центром его размышлений о России.

Что же для Борисова является критерием или атрибутом русской нации? Хорошо, отметем самодержавие, но как же быть с православием? Борисов выводит нацию из христианства, хочет укоренить ее в христианстве и в то же время отмечает православие как атрибут русской специфичности. Стало быть, Россия определяется общим христианством? Но чем же тогда отличить ее от других христианских народов? Где ее индивидуальность? Ведь Борисов же признает христианство других народов, он не заходит так далеко, как Корсаков⁷, что все, кроме православия, это «соблазн и прелесть», а не христианство. Но где же у Борисова искать индивидуальности русской нации, ее отличия от других христианских наций? Все же в языке или племенной общности? Или в каком то неопределенном, неуловимом духе, которого нельзя определить словами? Можно, конечно, сказать, что каждый, кто считает себя русским, чувствует почему... Да, этого, может быть, было бы и достаточно, если б Борисов не абсолютизировал нации и не предъявлял таких свирепых требований к личности в ее отношении к нации. Мы будем говорить об этом подробно ниже. В свете этих требований такое неопределенное чувство представляется совершенно недостаточным.

Отметим здесь еще, что в одном месте Борисов цитирует К. Леонтьева положительно, а в другом не то что не соглашается с ним — это было бы в порядке вещей, — но делает какой-то странный выпад, называя его предсказание о возможном приходе антихриста в России «безумным»⁸. На это следует возразить, что все те предсказания, которые К. Леонтьев сделал уверенно, исполнились необыкновенно точно: и то, что Россия будет первой страной, которая пойдет под знаменами интернационального материализма, и то, что после анархического бунта придет такой жестокий диктатор, что очень многим станет весьма жутко, и то, что предстоит новое

рабство в виде коллективных общин, которые будут подчиняться абсолютному государству, и то, что в России лет через двадцать (оказалось, что через тридцать) будут закрывать монастыри и церкви и запрещать русским молиться. Если эти сбывшиеся предсказания — безумие, то что же тогда ум и прозорливость? Но Борисов называет «безумным» его предсказание о приходе антихриста в России. Леонтьев не предсказывал этого как чего-то, что непременно будет. Он только задавал себе со страхом вопрос: не выйдет ли ввиду прозреваемого им страшного будущего России из ее нивелированного и безбожного государства в конце концов антихрист? И ничего безумного в этом вопросе нет. Если мы будем честны, то мы должны сказать, что русский народ и сейчас еще от этого не гарантирован, как, впрочем, и все другие народы.

Леонтьев был самым прозорливым русским мыслителем XIX столетия. Со многими его высказываниями не только можно, но и должно не соглашаться, но делать на этого очень крупного мыслителя какие-то детские наскоки, как это делает с одной стороны полумарксист А. Левитин-Краснов (что, однако, более понятно), а теперь вот и с другой стороны Борисов, право, не следовало бы. Видно, неподражательное и смелое мышление мало кому под силу, «пицца крута», как писал сам Леонтьев.

Перейдем к другому тезису Борисова. Он пишет: «Христианство принесло в мир представление о *множественности личностей единого человечества. И не только индивидуальных, но и народных*»⁹. С этим утверждением никак нельзя согласиться. Попробуем сначала проследить по Священному Писанию становление народов. Вот что мы там читаем: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Санаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они себе: построим себе город и башню, высоту до небес; и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у них язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял

их Господь по всей земле» (Бытия, 11, 1—9). Борисов говорит, что Бог сотворил народности и языки. Конечно. Но Библия отвечает: как наказание за грех гордыни и высокомерия. Первоначальную мысль Бога об одном народе и одном языке люди сами смешали своей гордыней. Так же, как и первые люди сами изменили выполнение мысли Бога о людях и природе на земле. Нельзя же думать, что спутанная и греховная природа человека и теперешний мир с его взаимным пожиранием так с самого начала и был задуман Богом. Впав в гибрис желая стать самим, как боги, люди втянули сами себя и весь мир во вторичный процесс, в иной процесс, чем тот, который был задуман Богом. Мало кто задумывается над тем, какую большую, поистине *страшную* свободу Бог дал человеку — свободу исказить Его собственное творение. Бог никогда не «волшебствует», иными словами, Он не снимает, как по мановению волшебной палочки, результатов того, что люди натворили своей свободой! Бог с великим терпением начинает снова строить на той основе, которую создал человек своим своеволием, начинает, чтобы постепенно и через много испытаний привести человека к Своей первоначальной мысли. Он не «отменил» попросту первородного греха, но начал медленно готовить пришествие в мир Искупителя этого греха и всех других страшных грехов.

Поскольку люди раздробились или должны были быть раздроблены на отдельные народы, то на этой основе Бог и подготавливает преодоление и этой раздробленности.

Для этого Он основал Свой особый народ, как бы «искусственно» создал его, чтобы подготовить народ, достойный принять Искупителя. С этой целью Он дает одному человеку приказ сделать то, что, по мнению Борисова, уводит человека от Божия замысла о нем: «И сказал Господь Аврааму: пойдя из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлю в тебе все племена земные» (Бытия, 12, 1—3). Бог создал особый народ, который должен жить не по естественным законам, а непосредственно под Его руководством. Но по мере того, как растет народ, в нем, как и прежде у людей, появляется своеволие, и оно становится на пути Божьем. Так, например, народ требует от пророка Самуила царя, как и все другие народы. Но этот народ не должен был

быть, как и все другие народы, Бог хотел управлять им непосредственно Сам через Своих пророков. Но если человек отказывается от высшего, Бог его не принуждает, итак, царь избирается. Этому народу было дозволено, но и на него было возложено жить, исходя не из своей собственной сущности, но из непосредственного руководства Божия и веры. В нем должно было осуществиться Царство Божие, но за это он должен был пожертвовать своей естественной волей к историческому бытию. Народ этого не выдерживает и снова и снова отпадает и изменяет верности союзу (завету). Мне хочется особо указать на то, какое превращение, какую «перверсию» пережило выражение «Бог Израиля». Вначале оно означало, что народ должен принадлежать Богу и его история должна выражаться в преданности Ему. Но постепенно смысл этих слов в устах народа изменяется и начинает получать иное, первертированное значение, а именно, что Бог принадлежит этому народу и является залогом его земного существования. Союз, который должен был ввести народ в тайну Божия решения и создать Его Царство, превращается в религиозную основу земной власти. Мне это место хочется особенно подчеркнуть, потому что мне кажется, что статья Борисова кладет начало похожей перверсии в вопросе нации.

Несмотря на неверность народа, Бог остается верен. Именно из этой верности Своему союзу с народом Иисус Христос является внутри этого народа, а не для того, чтобы подтвердить разделение человечества на нации, как наивно думает Борисов. Если б еврейский народ как таковой принял Благую Весть, то через этот народ были бы благословлены все племена земные, как Господь обещал Аврааму, и через это возвышение сначала одного народа над национальной ограниченностью началось бы преодоление этой ограниченности вообще. По мере же того, как выясняется, что сначала законоучители и вожди народа, а потом и сам народ не принимают Иисуса Христа, Он начинает все чаще обращаться к людям других народностей. Тем не менее Сам Он остается в рамках того народа, который Бог не только избрал, но как бы специально создал. Однако апостолам Своим Он заповедал выйти из рамок этого народа и научить «все языци». Борисов считает это *доказательством* того, что Бог хотел национального разделения до конца веков. Откровенно говоря, это одно из самых удивительных утверждений, какое мне приходилось читать. Мне хочется еще раз указать на то, что если внимательно читать Священное Писание, то становится ясно,

что Бог ничего уже возникшего не уничтожает чудесным образом. Он строит дальше на том, что возникло, и выпрямляет согнутое только постепенно и через содействие самих людей, которых Он призывает участвовать в этом. Поэтому совершенно понятно, что, поскольку народы существовали, Иисус Христос дал указание их научить. Само по себе и взятое отдельно это указание не доказывает ни того, что Господь хочет сохранить разделение, ни того, что Он хочет его преодолеть.

Так же непонятно, отчего Борисов принимает Пятидесятницу за доказательство того, что Бог хотел оставить человечество в разделении. Бог не снял опять-таки мановением руки разделенность всех людей на всей земле, но Он на короткое время снял разделенность с людей, слушавших апостолов. Апостолы говорили на своем языке, но каждый понимал их на своем. Таким образом, на короткое время была восстановлена прежняя взаимопроницаемость людей друг для друга, которая была утеряна в грехе гордыни и высокомерия, выраженных в Библии символически в образе построения Вавилонской башни. Пятидесятница — это тоже символ будущей взаимопроницаемости мира и людей вместо той жесткой разграниченности, которая господствует теперь. Известный русский философ-интуитивист Н. Лосский считает, что, собственно говоря, люди и теперь могли бы интуитивно понимать любой другой, им совершенно незнакомый язык. Жесткую разделенность мира он объясняет его греховным состоянием. И далеко не он один.

Мне известно, что хотя очень многие богословы толкуют явление Пятидесятницы именно так, как я сейчас говорю, то есть как символ будущей воссоединенности, а не вечной разделенности человечества, но есть и другие. Никто не пытается воспретить В. Борисову толковать Пятидесятницу по-своему, а А. Солженицыну к нему присоединиться, только не нужно выдавать это толкование за неоспоримое доказательство. И как-то грустно делается, когда читаешь ироническим тоном написанные слова А. Солженицына: «А мы-то думали, что, сходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, как оно и живет с тех пор»¹⁰. Нет, оно совсем не живет так с тех пор, оно жило так до того, и христианская часть его чуть-чуть было не преодолела этого разделения, но потом опять в него скатилась, — но об этом речь впереди. Толкование Священного Писания — очень трудная вещь, требующая спокойствия, глубокого собеседования в духе

веры и молитвы. Высказывания Священного Писания почти все антиномичны и, выхваченные отдельно, дают возможность «доказать» почти все что угодно. Но тогда очень легко может возникнуть ересь. Слово это происходит от греческого слова «выбор» и означает, что человек делает из Священного Писания выбор цитат, которые ему нравятся и кажуще подтверждают то, что он хочет думать, оставляя другие высказывания без внимания. Лютер, например, основывал спасение человека в вечности только на одной вере, привлекая как доказательство послание апостола Павла к римлянам. А послания апостола Якова он не любил, не признавал и называл его «соломенным познанием», так как там стоит, что вера без дел мертва есть.

Христос пришел, конечно, не разрушить то, что было, но есть примеры, что Он хотел восстановить то, что было еще до возникновения еврейского народа, вообще до возникновения народов. Это имеет место, например, в вопросе о браке: «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволено человеку разводиться с женой своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами; а сначала не было так» (Мф., 19, 3—8). То «сначала», о котором говорит Иисус Христос, поведано в книге Бытия 2, 24.

Поэтому никак не было бы разрушением, но было бы восстановлением первоначального положения, если б Бог вел народы к постепенному слиянию в один и народ с одним языком. В Евангелии об этом нет таких прямых слов, как о браке, но ведь в Евангелии есть, что там не записано многое, что Христос говорил и чего люди еще не могут вместить. Раскрытие этого должно было идти постепенно, преимущественно через Церковь. Мне думается, что Бог ведет человечество по прямым и непрямым, по гладким, но и очень тяжелым дорогам (из-за своеволия человеческого) и в вопросе наций к восстановлению первоначального, существовавшего до смешения языков состояния. Но я не претендую на то, что я это доказала.

Нужно еще добавить следующее: А. Солженицын в статье «Об-

разованщина» пишет: «Но век наш вопреки прорицаниям и заклинаниям оказался повсюду сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израиля после двухтысячелетнего рассеяния — только самый яркий из множества примеров»¹¹. Если первая фраза сомнительна, то со второй уж никак нельзя согласиться. Несмотря на непризнание Христа, еврейский народ остался особым, избранным народом, *ни с какими другими* народами не сравнимый. Это не значит, что он лучше, и не значит, что он хуже других, но он — *особый*. Многие евреи и сейчас, как тогда, когда они просили у Бога царя и кричали, что они хотят стать, как все народы, и теперь этого хотят. Но как народу им это не дано. Судьба этого народа во всем, и в хорошем и в дурном, и в победах и в падении, особая, с судьбами других народов несравнимая. То, что Израиль будет восстановлен, обещал Господь, но никогда никакому другому народу таких обещаний не давалось. Так что чудодейственное восстановление Израиля не самый яркий из множества примеров, а *единственный*, ни к какому другому народу *не приложимый* феномен.

Но рассмотрим проблему нации с другой стороны. В. Борисов считает, что нации пришли вместе с Христом. Однако это мнение не выдерживает проверки историческими фактами. Народы были еще до Иисуса Христа и задолго до Него, а понятие нации — это очень позднее европейское понятие, возникшее в новое время и укрепившееся после революции 1789 года во Франции. Не случайно Борисов цитирует Мишле — конечно, историк Французской революции должен приходить в восторг от нации. В Священном Писании говорится о народе и позднее о народах, но о нациях там нет ничего. Я бы затруднилась терминологически различать народ и нацию, но Борисов это делает, поэтому мы должны и на этом остановиться. Народ у него — это природное, а нация — мистически — христианское. Но как раз этого-то понятия в Священном Писании и нет.

На самом деле первое тысячелетие после пришествия Христа все жили в одной Церкви, и никакого современного понятия о нации тогда не было. Конечно, и тогда были народы, народности и племена, были разные языки и наречия, но если б в средние века неевропеец спросил какого-нибудь европейца: «Кто ты?», он ответил бы: «Я — христианин». Религиозное определение было выше народного, национального. Если б настойчивый неевропеец начал спрашивать дальше, то европеец назвал бы ему свое село или мес-

тность, откуда он происходит. О нациях, о таких понятиях, как француз, немец и итальянец, не было и речи. Территория Франции, завоеванная германским племенем франки, отделилась от остальной Европы, правда, очень рано, уже после Карла Великого. Она же первая начала ставить национальные или государственные интересы выше христианских или выше интересов своей Церкви, когда помогала туркам против христианской и католической Габсбургской империи или же когда помогала предводителю протестантизма шведскому королю Густаву-Адольфу против той же Габсбургской империи. Но все же современного понятия нации в его полном развитии еще не было. Целые области переходят от одного монарха к другому, как приданое за невестой при заключении брака, о национальном единстве и разграничении наций между собой никто не думал. Даже когда Людовик XIV присоединил к своему государству Эльзас и Лотарингию, он и не думал присоединять их к французской нации. Ему было довольно присяги, которую новые подданные приносили короне, говорить, организовывать школы и университеты они могли по-немецки. Офранцуживать эти области начала Французская революция. Тогда же и установился современный национализм. Когда была свергнута монархия, должен был быть найден новый объединяющий принцип — его нашли в нации. Борисов пишет: «Поскольку, как было сказано, национализм считает характерные особенности народа принадлежащими самой природе, постольку он настаивает ради их сохранения на биологической чистоте национального типа. Нарушением этой «чистоты» национализм часто склонен объяснять упадок нации, и, напротив, восстановление ее с его точки зрения должно служить залогом национального возрождения»¹².

Но это ошибка. То, что Борисов говорит, — это расизм, а не национализм. Теоретический расизм возник еще позже современного национализма. Первым обосновал его опять-таки француз Гюбино, затем англичанин Остин Чемберлен, и только после него — Гитлер и Розенберг. Раушнинг, бывший соратник Гитлера, порвавший с ним и бежавший в Швейцарию, сообщает в своей книге «Разговоры с Гитлером»¹³, как Гитлер в интимном кругу смеялся над тем, что его называют националистом, он только пока играет на национальных эмоциях, но на самом деле он — расист. Я думаю, что это правильно. Ведь были же планы после ожидавшейся победы разделить и немецкий народ на «овец и козлищ», то есть на «расово полноценных»

и «расово неполноценных», и «создать новую расу» из «расово полноценных» людей всех европейских национальностей, особенно северных.

Современный же национализм далек от расизма. Это видно особенно ясно на примере положения евреев. До Французской революции, в ряде стран и позже, в России даже до ее собственной революции, еврей получал равноправие с остальными гражданами, если он отказывался от своей религии и становился христианином. После же так называемой западноевропейской эмансипации евреев еврей, чтобы стать равноправным гражданином, должен был отказаться от своей национальности, он должен был стать патриотом Франции, Германии, Англии и т. д. Даже еще Муссолини требовал от евреев только итальянского патриотизма, уж по одному этому совершенно неправильно называть немецкий национал-социализм «фашизмом». Таким образом возникло наименование «француз, немец и т. д. Моисеева закона». Религия стала для пореволюционной Европы безразлична, ее место заняла нация. Многие евреи думают, что эта эмансипация больше повредила сохранению еврейской национальности, чем прежние религиозные стеснения. И в самом деле, еврей — *единственный* народ, в котором национальность и религия совпадают. В Израиле и до сих пор евреем считается только тот, кто не исповедует «чужой» религии.

В России националист Юрий Самарин, заботясь о русификации окраин, ничуть не интересовался биологической чистотой нации. Я считаю, что современный национализм, проникший после Французской революции постепенно и в Россию, даже в те монархические круги, к которым принадлежал и Самарин, помог свергнуть российскую монархию, хотя, конечно, Самарин этого сознательно никак не хотел.

Но в России собрание земли началось очень рано. Уже одно то, что удельные князья кочевали из удела в удел, а не оставляли своих княжеств старшему сыну, порядок, которого в Западной Европе не было, привело к сохранению единства, несмотря на кровавые войны за киевский престол. После падения Константинополя укрепилось на столетия то положение, что Россия стала как бы тождественной с православной формой христианства, а православие тождественно с Россией. Конечно, существовали и другие православные народы, но ни один из них не был свободен: одни были под владычеством Турции, другие под владычеством Австрии. Таким образом

родилась идея Третьего Рима и искушение видеть в русском народе новый «избранный народ». Но в христианстве нет избранного народа. Н. Бердяев называет идею Достоевского о «народе-богоносце» совершенно справедливо «юдаизмом в христианстве».

И. Шафаревич приводит сочувственно следующее место из «Дневника писателя» Достоевского: «Верю в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в святость своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни нации, и только ею они и приносят всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой при создании их уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь». Шафаревич даже спрашивает, есть ли сейчас у России *такая* миссия¹⁴.

Мне же это место у Достоевского всегда казалось одним из самых страшных мест Достоевского-публициста, потому что это провозглашение избранности этого народа, который даже призван принести другим народам *последнее* слово. Причем это ему предназначено *природой*, а не Богом. Вот это-то «последнее» совсем страшно. Что же будет после *последнего* слова? Братские объятия и всеобщая смерть? Эта ересь избранности в христианстве почти неизбежно должна была привести к дьявольской перверсии коммунистической России, которая ведь тоже теперь стремится сказать всем народам *последнее* слово коммунизма, которое действительно поведет к смерти, в этом тот же Шафаревич прав¹⁵. Вот именно эту дьявольскую перверсию притязаний русского мессианизма и имеет в виду Бердяев, когда проводит линию от Третьего Рима к Третьему Интернационалу.

Достоевский-публицист был намного слабее Достоевского-писателя. Прозрение художника побуждало Достоевского иногда отрицать то, что он утверждал как публицист. Так обстоит дело и с идеей избранничества. Одним из глубочайших мест его романов является ночной разговор Шатова со Ставрогиным в «Бесах»:

«— Не думаю, чтоб не изменилось, — осторожно ответил Ставрогину, — вы пламенно верили и пламенно переиначивали, не замечая того. Уж одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута народности...

Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.

— Низвожу Бога до атрибута народности? — вскричал Шатов. — Напротив, народ возвожу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — то тело Божие...

.....
— Но вам надо зайца? Что-о?

— Ваше же подлое выражение, — злобно засмеялся Шатов, — чтобы сделать соус из зайца — надо зайца, чтобы уверовать в Бога — надо Бога, это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.

— Нет, тот именно хвастался, что уже поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более что, мне кажется, имею на это полное право. Скажите мне — ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегаёт?

— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.

— Извольте, другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович, — я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в испуге Шатов.

— А в Бога? В Бога? Я... я буду веровать в Бога.

Ни один мускул не дрогнул в лице Ставрогина¹⁶.

Шатов в Бога не верит. И это понятно: верить можно только или в Бога Живого, или в кумира. Шатов верит в нацию, а потому в Бога верить не может. Душа его начинает раскрываться навстречу Богу, когда он присутствует при мистерии рождения человека в мир, одного маленького ребенка, а не нации.

Конечно, я не провожу здесь параллели с Борисовым, который не возвеличивает русский народ как избранный, а тем более не требует национального бога, как Шатов. Но то, что Шафаревич спрашивает, есть ли еще *такая* миссия у русского народа, приводя указанную цитату из Достоевского, показывает, что некоторые авторы сборника уже перешли черту от простой любви к нации до старого русского рокового мессианизма.

Прошу читателя понять меня правильно: я никак не против любви к своей родине и к тому народу, к которому сам человек себя причисляет. Я не считаю, что уже пришло время каким-нибудь рез-

ким скачком ликвидировать все существующие национальные различия. Я считаю вполне правильным, что народы, пока они существуют, должны искать свою особую задачу в стремлении к Царствию Божию, но я решительно против объявления нации *абсолютной ценностью*, против того, чтобы ее вместо Церкви называть соборной личностью и против детерминирования человеческой личности нацией. Среди земных образований соборной личностью после прихода Христа является Церковь. Он как раз преодолел еврейский национализм, сначала евреям дозволенный, но потом ставший на пути Самого Бога. А абсолютной ценностью является только личность человека с ее бессмертной душой, нация же является вторичной ценностью.

Обратимся, однако, к следующему аспекту, а именно — детерминированию человеческой личности нацией, как это утверждает Борисов. Посмотрим, что он об этом говорит: «Никакой человек не рождается в мир безличным существом, чистой возможностью. Для того, чтобы свободно самоопределяться в земной жизни, он к моменту своего появления уже должен быть *качественно определенной*, и в том числе — *национально определенной личностью*. Правда, эта определенность существует только как идеальная заданность, как метафизическая основа нашей духовной природы, она не нарушает и не умаляет дара человеческой свободы. Всякая личность вольна уклониться от выполнения своего довременного предназначения, вольна отвергнуть Божий замысел о себе, забыть о корнях своего бытия. Однако разрушить до конца она этих корней не может»¹⁷.

И еще: «Здесь лежит разгадка духовной природы знаменитой и загадочной русской ностальгии, этого необъяснимого чувства утраты *целого*, без которого оказывается невозможным для человека полноценная жизнь.

Это чувство без разбора поражало и западников, и славянофилов, позитивистов и мистиков, русских православных и русских католиков, доводило до душевных заболеваний и — нередко — до полного распада индивидуальной личности»¹⁸.

Все, что здесь утверждается, я лично *полностью* отрицаю и нигде не нахожу подтверждения этим утверждениям. Но начнем сначала: не говоря о том, что мне не совсем понятно, что именно Борисов хочет сказать, когда пишет, что человек рождается качественно определенным, но национально определенным рождается далеко не

каждый человек. У меня, например, есть знакомая, которая родилась в Германии от брака русского с чешкой. Какова же ее национальная определенность? Если провести мысль Борисова последовательно до конца, то можно предположить, что моя знакомая уже с рождения была душевнобольной и, возможно, с распавшейся личностью. Могу его уверить, что нет ничего подобного. Если бы существовал только один-единственный пример национально не определенного при рождении человека, то уже разрушалось бы то универсальное значение, которое Борисов придает своему утверждению. Но примеров, вроде приведенного мною, очень много. *Каждый* человек рождается с той или иной наследственностью, то есть некоторой определенностью, и здесь нет *ни одного исключения*. Но не каждый человек рождается именно с национальной определенностью, и это показывает, что общего для всех закона национальной определенности не существует, и уже по одному этому видно, что нация не может быть чем-то абсолютным.

Исходя, однако, из своего непродуманного утверждения, Борисов выставляет свой новый постулат, что русские эмигранты подвергаются душевному заболеванию и нередко полному распаду личности. Это утверждение, как кажется согласно предыдущему перечислению «заболевших душевно» эмигрантов, относится преимущественно к эмиграции из дореволюционной России, но все остается неясным, возможно, подразумевается и эмиграция из советской России. Однако это и неважно. Важнее другое: я не знаю ни одного примера душевного заболевания русского эмигранта на почве его эмиграции, а тем более распада личности, ни из истории, ни из личного опыта своей тридцатилетней эмиграции. Было бы интересно узнать, кого же имеет в виду Борисов *конкретно*?

Герцена? Он приводит из него цитату. Но у Герцена была ярко выражена та черта, которая в той или другой степени присуща всем людям: он идеализировал все далекое во времени и пространстве и резко критиковал все, что его близко окружало. Пока он жил в России, он ее весьма критиковал и идеализировал Западную Европу, особенно страну революций — Францию. Попав в Европу и лишив себя возможности возвращения в Россию деятельным участием во французской революции 1848 года, он начал разочаровываться в Европе и идеализировать Россию. Если бы он смог вернуться в Россию, то следует с основанием предполагать, что он бы в ней разочаровался и стал бы снова стремиться в Европу. Тем не менее Герцен с

ума не сошел, душевно не заболел, и личность его не распалась. Его глубокая «резиньяция» под конец жизни уходит корнями гораздо глубже, чем думает Борисов: Герцен всю свою жизнь подсознательно искал Бога и не нашел Его. Не отъезд из России, за веру в которую он цеплялся, как за последнюю соломинку, но то, что он так и не смог уверовать в Бога, привело его к глубокому разочарованию. Приведем одну цитату, которая об этом говорит: «Я не только смотрел на вид, но и на монаха, и на него-то именно смотрел с глубокой завистью, — пожил бы в этом торжественном одиночестве, но монастырь для нас заперт, это чужой отдых, покой от другого бремени, ответ на другие стремления. Куда, в самом деле, денется человек усталый, сломленный или просто неосторожно заглянувший за кулисы и понявший *оптический обман*... Для страждущих духом современное общество приготовило только *сумасшедший дом*. Психология христианства была глубже и гуманней, — она пожалела уставших»¹⁹.

Нам кажется, что есть один русский эмигрант прошлого столетия, которого особенно имел в виду Борисов, тот, которого в примечании к своей статье упоминает и Корсаков²⁰, именно Владимир Сергеевич Печерин. Бросим же краткий взгляд на биографию этого необычного, пылкого и много метавшегося человека. Печерин родился в 1807 году. Уже в 1831 году он стал профессором по древним языкам в Московском университете, был прекрасным лектором, любимым студентами, западником и атеистом. В 1836 году он получил возможность на государственные средства поехать за границу для научных занятий. Печерин в Россию не вернулся. Так как у него не было таких капиталов, как у Герцена, и такой способности доставать у всех деньги, как у Бакунина, он жил очень бедно, перебивался частными уроками и много думал. В самом начале своей эмиграции, и будучи еще атеистом, он сказал те действительно неприятные слова, которые приводит Корсаков. Через четыре года Печерин пришел к вере и к Католической Церкви. Он вступил в монашеский орден редemptористов (Герцен по ошибке называет его иезуитом), потом он стал священником. Мне хочется указать на то, что на своей родине, в России, он стал атеистом, а веру в Бога и Иисуса Христа нашел в Западной Европе. Он был чрезвычайно успешным и очень любимым народом кочующим проповедником в Англии и преимущественно в Ирландии. И тут Герцен пишет о нем, не разобравшись, неправду, а именно, что он был фанатиком и даже

сжег публично Библию, потому что она была издана протестантами. Этого не было. Печерин в самом деле устроил публичное сожжение книг, но сжигал он порнографию, Библию же кто-то подбросил из-за его спины. По этому поводу было даже судебное разбирательство, и Печерин был оправдан в обвинении сожжения Библии.

С Герценом Печерин встретился, когда был в Лондоне (по инициативе Герцена). Разговор их не клеился. Под конец Печерин попросил Герцена прислать ему его произведения. Герцен послал и получил от Печерина письмо, полное ужаса относительно материалистических и атеистических воззрений Герцена. Он, однако, спрашивал Герцена, отчего он при своих взглядах покинул Россию, так как она будет первой страной, в которой осуществляются материализм и атеизм. Печерин предвидел это так же, как и К. Леонтьев. Герцен ответил поверхностным и непонимающим письмом. Позже Герцен опубликовал эту переписку под названием «Письма к противнику». Достоевский воспользовался этой перепиской в своем романе «Идиот», где он говорит в ироническом тоне о Герцене и его возражениях Печерину. Имена обоих не указаны, говорится только о русских путешественниках.

С начала 60-х годов кочевая жизнь стала Печерину трудна из-за возраста и состояния здоровья. С согласия ордена он из него вышел и последние 20 лет своей жизни был духовником в больнице и в женском монастыре в Дублине. Но к нему стекались люди, ищущие наставления или утешения со всего Дублина и даже из окрестностей. Печерин всегда был уравновешенным, ласковым, находил нужные слова, был полон любви к людям. Но в глубине души он тогда пережил много тяжелого. Под старость его начали мучить тоска по родине и, что особенно тяжело для священника, сомнения в вере. Он их мужественно выстоял и вере не изменил. Умер он в 1885 году. На его могильном памятнике в Дублине стоит надпись: «Великому священнику».

Искушения в вере бывают как раз у людей большой веры, особенно в конце жизни, это и понятно, принимая во внимание, откуда идут искушения. Тоска же по родине или даже ностальгия — это совсем не душевная болезнь и тем более не распад личности. Мало ли какая тоска бывает у человека, тоска по чему-то или по кому-то? Тоска, между прочим, как и всякое другое страдание, имеет свое значение и часто необходима для внутреннего очищения. Бывает и тоска по дали. В. Вейдле совершенно правильно пишет, что ощущение

ние жизни за колючей проволокой тоже вызывает тоску, да еще какую²¹. Я сама ее очень сильно пережила, когда жила в Советском Союзе. У меня лично было больше тоски на родине, чем тоски по родине, вернее, тогда уже была и не тоска, а просто невозможность жить в атмосфере непрерывной лжи. В 19 лет я всерьез думала или о самоубийстве (я тогда еще не была верующей христианкой), или о том, чтобы сознательно попасть в тюрьму или концлагерь, высказав громко то, что я тогда думала.

Не знаю, понимал ли Борисов (думаю, что не понимал), к каким страшным последствиям не только может, но даже непременно приведет — если не его самого, то его последователей — его тезис о том, что уехавшие из России подвергаются душевному заболеванию или даже распаду личности. Ведь от этого тезиса только один шаг до предположения зародыша душевной болезни уже у того, кто выразил намерение покинуть родину навсегда. А не следует ли тогда «пожалеть» такого человека и начать его лечить? Дальше мне уже не надо ничего говорить...

Но Борисов идет еще дальше, он пишет о тех, кто ушел из своей первоначальной нации: «Всякая личность вольна уклоняться от своего довременного предназначения, вольна отвергнуть Божий замысел о себе, забыть о корнях своего бытия». Здесь Борисов провозглашает новый догмат, которого до сих пор не было ни в одной ветви христианства, а именно, что если человек не пребудет в своей нации, то он уклонится от того, что Бог задумал о нем, или, говоря проще, уйдет от Бога. Откуда Борисов это взял? Этого нет ни в Евангелии, ни в каком-либо высказывании той или иной Церкви. Это его собственное измышление, которое уже вторгается в прерогативы Самого Бога. «Тайну личного спасения знает один Бог», — пишет Е. Барабанов в том же сборнике²². Барабанов, конечно, прав. Каким же образом берет Борисов на себя смелость утверждать, что он знает, что именно Бог задумал о том или другом человеке? А может быть, Он именно задумал послать этого человека вдаль от его родины? Аврааму Бог сказал: иди из своей земли, от своей родни. Апостола Павла Он послал проповедовать среди язычников, да и апостол Петр умер крестной смертью в Риме, а не в Палестине, где родился. Таких явных указаний от Бога большинство людей не получает, но откуда знает Борисов, какими путями ведет человека Господь? Откуда у него эта легкомысленная смелость вторгаться в Его волю?

Из красивых теорий вытекают иногда страшные дела. Я уж не говорю о тех людях, которые от рождения совсем не определены национально. Что же им-то, бедным, делать и как им узнать замысел Бога о себе?

В этом месте у Борисова уже явно высказывается иначало подмены Бога нацией, творение себе кумира из нации. Ведь Борисов считает, что лишаются целого, лишаются корней бытия и душевно заболевают вне России все: «и русские православные, и русские католики», стало быть, верующие люди. Ну, предположим, что для Борисова русский католик — неполющенно верующий, но хоть православный-то должен считаться истинно верующим? Но вот эта вера, эта внутренняя связь с Богом Вселенной, эта укорененность в Нем человеку, оказывается, ничуть не помогает: вне России он теряет целое, заболевает и т. д.

На самом деле это совсем не так! Человек теряет корни своего бытия, теряет целое (хотя и тут еще не заболевает душевно в обычном смысле этого слова), когда он уходит от Бога, создавшего его по Своему образу и подобию тогда, когда еще никаких наций не было. И совсем безразлично, уйдет ли человек от Бога, оставаясь на своей родине (многие революционные «бесы» не уходили со своей родины), или он уйдет от Него за границей. Дело здесь не в нации, а в Боге. Или у Шмелева, Бунина, Зайцева и многих других «распалась личность»? Я уж не упоминаю Булгакова, Франка, Бердяева, Степуна; их выслали, они не уехали добровольно, но они так долго жили вне своей нации, что тоже должны были «утерять целое».

Но не надо больше примеров. Мне кажется, что роковая ошибка Борисова и так ясна. Откровенно говоря, статья при ее чтении не производит впечатления, что Борисов иепредвзято и со смирением в душе углубился в Священное Писание и уж из этого углубления неожиданно для себя вывел свою идею нации. Ход его мышления, судя по статье, был обратный: он пришел эмоционально к идее нации, а затем стал искать в Священном Писании, нет ли там мест, которые могли бы «доказать» его теорию о нации. Если это было иначе, чем я думаю, то приношу Борисову мои извинения.

Священное Писание не средство для цели, и христианство очень глубоко и очень трудно. Вот и А. Солженицын, к нашему большому огорчению, легкомысленно ставит сжегшего себя Яна Палаха в пример другим, как бы призывая их к самоубийству. Я преклоняюсь перед геройством Яна Палаха, а также перед его побуждениями и

надеюсь, что Бог простит ему его великий грех, потому что самоубийство в христианстве считается самым большим грехом, больше убийства. В. Вейдле указал А. Солженицыну на то, что мученичества ни от кого требовать нельзя²³, но тем более нельзя призывать к самоубийству *ни при каких обстоятельствах и ни для какой цели*

В заключение мне хочется сказать, что я вывожу из Священного Писания относительно нации во многом обратное тому, что вывел из него Борисов. Но я и никак не претендую на то, что я что-то окончательно доказала, ничего не упустила, — да это было бы и невозможно. Лично я убеждена, что линия, которую я взяла, по меньшей мере гораздо ближе к истине, чем линия Борисова. Но я буду благодарна, если мне в серьезной дискуссии укажут на мои возможные недочеты или ошибки.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А. И. Гёрген. Собрание сочинений. Петроград: Изд. М. Лемке, 1915–1925. Т. 5. С. 305.

² Там же. С. 510.

³ Из-под глыб. С. 245.

⁴ См. Вадим Борисов. Личность и национальное самосознание. Вестник русского христианского движения. Париж, № 112–113. С. 245. Мы и в дальнейшем будем цитировать статью Борисова по «Вестнику», а не по его статье в сборнике «Из-под глыб», так как, согласно сообщению «Вестника», эта последняя статья является окончательной редакцией. В «Из-под глыб» статья Борисова неполна.

⁵ Там же. С. 260.

⁶ Там же. С. 558.

⁷ Ф. Корсаков. Русские судьбы. Сборник «Из-под глыб».

⁸ Вестник. С. 229.

⁹ Там же. С. 243.

¹⁰ Из-под глыб. С. 246.

¹¹ Из-под глыб. С. 245–246.

¹² Вестник. С. 259.

¹³ Hermann Rauschning. Gespräche mit Hitler, 1946.

¹⁴ Из-под глыб. С. 261.

¹⁵ И. Шафаревич. «Социализм» в сборнике «Из-под глыб».

¹⁶ Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений. Рига, 1924. Т. 9. С. 312–315.

¹⁷ Вестник. С. 245.

¹⁸ Там же. С. 241.

¹⁹ А. И. Гёрген. Письма из Франции и Италии, изд. М. Лемке. Т. 16. С. 342.

²⁰ Из-под глыб. С. 169.

²¹ В. Вейдле. Об эмиграции. Русская мысль, № 3042.

²² Е. Барабанов. Из-под глыб. С. 196.

²³ Об эмиграции. Русская мысль, № 3042.

Приложение III

ЛЕНИН И БОГДАНОВ

Доклад, прочитанный на международном конгрессе о Ленине, состоявшемся 6–8 ноября 1990 года в Неаполе

Некоторые аспекты философии

В XIX веке в связи с успехами естественных наук возникли эйфория и уверенность, что человек может открыть все тайны природы. Одновременно с этим стал модным философский материализм. Проникновение в структуру материи, достигшее известной границы, но отстоявшее еще очень далеко от современного познания, вызвало впечатление, что все явления мира могут быть составлены из тех малых частиц материи, которые в то время постепенно открывались естествознанию.

Стремление объяснить весь мир, исходя из одной первопричины, никогда не покидало мыслящее человечество. В XIX веке оно все в более сильной степени делало материю этой первопричиной. Следует добавить, что в XIX веке под материей все еще понималось вещество. Естествознание, не проникшее глубже атома, исходило из вещественного состояния мира, а модные философские течения прошлого века стремились иногда довольно примитивно вывести дух, или, как тогда стало принято говорить, сознание из материи-вещества.

В начале нашего столетия эта простая картина мира начала усложняться. Были открыты кванты, представление о материи-веществе заколебалось. Выяснилось, что материя может переходить полностью в энергию, а энергия в материю. Материя как бы «дематериализировалась». На фоне этого начавшегося переосмысления понятия материи со стороны естествоиспытателей разгорелась и философская полемика. Некоторые более чуткие материалисты заметили, что прежнее восприятие материи как основы всего мира

вряд ли устоит в вихре быстро идущих вперед новых открытий естествознания. Эти сомнения коснулись и русских марксистов.

Ленин, которого политическая борьба интересовала больше, чем философия, счел необходимым написать полемическую философскую книгу против тех веяний, которые проникли и в ряды его партии. Мы имеем в виду «Материализм и эмпириокритицизм», где Ленин бичует как нерусских мыслителей, преимущественно Маха и Авенариуса, так и поддавшихся отчасти их влиянию своих последователей; среди них — А. Богданова, к взглядам которого мы рассмотрим немного ближе. Отметим как курьез, что Богданов, выпустивший ряд книг и статей в начале века, сначала не знал, кто настоящий автор вышедшей в 1909 году под псевдонимом В. Ильин книги «Материализм и эмпириокритицизм». Возмущаясь этой книгой, Богданов грустно отмечает, что такой прекрасный партийный деятель, как Николай Ленин, подвергся в вопросах философии, кажется, влиянию неразумного В. Ильина. Только позже Богданов узнал, что В. Ильин и Николай Ленин — одно и то же лицо.

Но обратимся к основным пунктам их разногласий. Ленин стоит на почве материализма, усматривающего в материи первопричину мира. Как Плеханов, так и Ленин считали свою философию материалистическим монизмом. Ленину представляется достаточным положить в основу всего мира материю. Материя первична, а сознание (слово «сознание», а не слово «дух» предпочитал сам Ленин, и вслед за ним его долго предпочитали все советские идеологи) возникло на определенной стадии развития материи. Ленин очень настаивает на том, что мир существовал уже долго до появления не только человека, но и любой жизни на земле. Даже если принять во внимание ощущения червяка, который может на самой примитивной ступени воспринять материю, то ведь и червяк появился через много миллиардов лет после того, как уже существовала неорганическая материя.

Для Ленина не составляет затруднения исходить из того, что на какой-то ступени развития неорганической материи появился неизвестно каким образом новый элемент, именно жизнь. А на еще более высокой ступени развития этой же материи появился еще один совсем новый элемент — сознание. Между тем именно эта посылка и является неразрешимой философской проблемой. Она противоречит сформулированному еще Аристотелем постулату о достаточном основании. Она предполагает, что из низшего без всякого до-

полнения само по себе возникает высшее, которого перед тем в этом низшем вообще не было. Это, собственно говоря, не что иное, как творение из ничего, поскольку новые субстанции жизни и сознания появляются из неорганической материи, до того в себе этих субстанций не содержащей. Или, может быть, это совсем не новые субстанции и даже сознание материально? Мы знаем, что позже в связи с этим был спор среди советских марксистов и немецких марксистов из ГДР. Является само сознание материей, или же нематериальным продуктом, или качеством материи? В 50-е годы победило направление, считавшее сознание нематериальным продуктом материи. Но это утверждение не только не решило вопроса, но, наоборот, еще больше заострило его: каким образом материя может выделить из себя нематериальный продукт? В те годы немецкий марксист Георг Клаус в своей книге «Иезуиты, Бог, материя» отчаянно настаивал на материальности сознания, и не потому, что он видел проблему в возникновении духовного, то есть нового элемента из материи, а потому, что определением сознания как нематериального продукта или нематериального качества материи нарушался материалистический монизм и вводился тот же дуализм, против которого так воевал Ленин.

Можно, конечно, предположить, что в материи с самого начала заложены элементы духа, но тогда это будет уже совсем другая материя, а не материя Ленина.

Этот дуализм, против которого пытался безуспешно воевать Георг Клаус, был введен, собственно говоря, уже самим Лениным. Ленин настаивал на постулате, что есть только два решения философского вопроса: или первичен дух, как бы его ни называли, будь то Бог или абсолютный дух Гегеля, а материя создана им и, стало быть, вторична, или же материя первична, а сознание возникает на определенной ступени развития материи. Но что бы ни было априорно, как первичное и как вторичное, сам факт различия этих двух субстанций является уже дуализмом. Можно возражать, что, например, философия Гегеля все же монизм, поскольку у него абсолютный дух распадается сам собой, а не создает из себя чего-то нового. Затем он в человеческом сознании познает самого себя и в синтезе воссоединяется сам с собой. Да простит мне слушатель эту упрощенную схему, но Гегеля и его философию мы затрагиваем здесь только с краю и не можем посвятить ей достаточно внимания. Отметим, что Плеханов предпочитал монизм Гегеля

«эkleктическим», как он выражался, философиям. Для него монизм был чуть ли не важнее материализма. Уже после смерти Плеханова А. Деборин в 20-х годах в своих статьях в журнале «Под красным знаменем» строил аналогичную гегелевской схему для материи: он писал о материи, которая сама себя познает. Материя как бы распадается сама с собой, создавая сознание, и потом сама себя познает в человеческом сознании. Эта схема Деборина была запрещена, он долгое время был принужден молчать. А когда уже после смерти Сталина в 60-х годах вышел сборник его старых статей, он перед тем вынужден был сам вычистить из них понятие самопознающей материи. Такая материя, имманентно содержащая в себе сознание и познающая сама себя, выглядела уже слишком «нематериально».

Мы отклонились в более поздние дискуссии. Однако уже в начале века некоторые материалисты заметили эти проблемы. Мы думаем, что они действительно хотели спасти материализм, хотя Ленин и издевается над таким предположением. Другой вопрос, удалось ли им это.

Но посмотрим, как Богданов пытается выйти из положения. В своей книге «Страна идолов и философия марксизма» Богданов смеется над понятием материи, провозглашенной первопричиной. Стоит только назвать материю первопричиной, и будет покончено с идолами, так думают Плеханов и Ленин. Богданов же считает, что такая материя сама становится идолом. Она наполняет собою пространство трансцендентного. Такой материализм, по мнению Богданова, — это только игра пустыми словами и является тем же самым поклонением идолу. Уже слово «первопричина» носит творческий характер, говорит Богданов, больше того, это слово носит характер свободного творчества. А как раз свободное творчество и характеризует религиозный абсолютизм. Материя, как ее понимает Ленин, производит из себя самое весь мир явлений, при этом она не обусловлена ничем иным, кроме себя самой и присущих ей законов. Но свободное творческое действие — это как раз и есть творение. Творение совсем не беззаконно, но оно следует собственным законам творящего. Материалисты типа Ленина, говорит Богданов, такие же фетишисты. Их фетиш — это материя, которую они наделяют божественными атрибутами.

Чтобы спасти материализм, Богданов пробует построить картину мира гомогенных элементов. Ни материя, ни сознание, ни дух не являются первопричиной. Материя и сознание существуют нераз-

дельно и переходят одно в другое. То и другое можно назвать первопричиной, или, вернее, первопричины вообще нет. В глазах Богданова мир — замкнутый круг, в котором нельзя отыскать начало и конец. Причина постоянно переходит в следствие, а следствие — в причину.

Конечно, и марксист ленинского типа не будет возражать против того, что следствие само может стать причиной для нового следствия. Но представления Ленина и его последователей не выходили за рамки линейного представления о времени и протекающей в нем последовательности причины и следствия. То явление, которое было во времени раньше, становится причиной более позднего по времени явления, конечно, в том случае, если между ними может быть установлена причинная связь. Теперь мы знаем, что время относительно, и, хотя в повседневной жизни мы исходим из линейного течения времени, философски линейность времени не может быть постулирована. Богданов уже в начале века ставит линейность времени под сомнение. У него мы находим намеки на возможность обратимости во времени причины и следствия.

В картине гомогенных элементов Богданова не имеет смысла спрашивать о том, что такое материя. Материя и дух гомогенны и тем самым одноприродны. Поскольку между ними нет различия, не требуется точного определения, что такое материя и что такое дух или сознание.

Однако в концепте Ленина, в котором материя является первопричиной, выделяющей из себя все явления мира, в том числе и сознание, она требует определения. Если материя определяет все, то как же определить самое материю? Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» уже полемизирует с теми авторами, которые говорят об исчезновении материи. Он видит необходимость дать определение материи, которое бы не зависело от изменяющейся картины мира естествоиспытателей. Так возникло знаменитое философское определение материи Ленина: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями и существует независимо от них» (Материализм и эмпириокритицизм. М., 1974, с. 272).

Многие критики диалектического материализма — отметим одного из них, именно Густава А. Веттера, — указывали на то, что это

не онтологическое, а гносеологическое определение. Оно не пытается затронуть субстанции материи, а определяет ее лишь в отношении возможности ее познания со стороны человека. «Материя дана человеку» — невольно хочется спросить: кем дана? — мы ее в своих ощущениях копируем и фотографируем, иными словами, познаем. Но наши ощущения, как и наше сознание, — это продукт или качество материи. Не пришли ли мы опять к деборинской материи, познающей себя самое? Кроме того, материя ставится здесь в прямую связь с тем, что она может быть ощущена и познана человеком. В своей книге Ленин потратил много страниц на высмеивание тех мыслителей, которые считали, что связь человека, его ощущения и его мысли с тем прошлым, когда человека еще не было, заключается в возможности представления им себе этого прошлого. Но сам Ленин связывает «данную реальность» с возможностью человека понять ее в своих ощущениях. Материя и в ленинском определении выявляется как реальность лишь тем, что она проявляется в ощущениях человека. Реальность, не проявляющаяся в ощущениях человека, реальность, которую человек своими ощущениями не может воспринять, такая реальность может быть вполне духовной. Больше того, такой реальностью безусловно может быть назван Бог. Материальность ленинской реальности заключается именно в том, что человек ее в своих ощущениях копирует, фотографирует и пр. Таким образом, она уже в определении зависит от ощущения человека. Без ощущений человека, без человека она остается неопределенной и тем самым неуловимой.

Ленин называет естествоиспытателей стихийными материалистами и считает доказанным, что мир существовал миллиарды лет до возникновения человека. А как тогда определялась материя, если не было еще ощущения? Или оно все же было с самого начала в потенции? В материи были заложены с самого начала ощущения и сознание, но тогда мы приходим уже не к ленинской, а к богдановской материи, к снятию принципиального различия между материей и духом, к которому стремился Богданов. Что же касается до естествознания, то оно не может дать философских доказательств и не стремится к этому. У естествознания есть своя методология, основанная в значительной части на аналогии и не претендующая на философское доказательство. Если естествоиспытатели — материалисты, то лишь в методологии, а не в философии. Они не могут сделать никаких высказываний ни о, возможно, совсем ином тече-

нии времени в те периоды, когда еще не было человека-наблюдателя — не забудем, что время относительно, — ни тем более о возможном потенциальном содержании в материи духа, проявившемся потом в человеке, ни о создании или несоздании мира.

Отметим еще последние слова в определении материи Лениным: она независима от ощущений человека. Но ощущения и сознания человека — это продукт или качество материи. Как можно говорить о независимости материи от ее собственного качества? Если материя независима от ощущений или сознания человека, то и эти последние независимы от материи. Иными словами, Богданов прав: мы снова пришли к дуализму.

Проблемы познания

Обратимся к следующему пункту разногласий между Лениным и Богдановым: Ленин считает мир для человека принципиально познаваемым. Конечно, он еще далеко не познан, но в принципе познаваем. Ленин признает существование абсолютной истины, находящейся вне человека и от него не зависящей. Об относительной истине он говорит постольку, поскольку мир еще не познан. Каждое приближение к абсолютной истине есть истина относительная. Она относительна не в принципе, а только потому, что она еще не полна. Как относительные, так и абсолютные истины объективны, то есть не зависят от познающего человека. Человек не творит истины, он ее открывает. В естественных науках это для Ленина и его приверженцев непреложно. Но и в науке об обществе человек находит, открывает уже имеющиеся закономерности. Маркс и Энгельс открыли якобы общие закономерности развития человечества, в этом и заключается их величие.

Критерием познанной истины является, как известно, практика, но если для естественников многих отраслей науки возможны эксперименты в лаборатории или на экспериментальном поле, то для того, чтобы проверить теории социологов или таких теоретиков, как Маркс и Энгельс, необходимо, очевидно, экспериментировать с историей. Совершенно непонятно, каким образом можно утверждать безошибочность теорий Маркса и Энгельса только на основании их анализа прошлого и настоящего. Это один из анализов, и признание этого анализа правильным или ошибочным — такое же субъективное мнение. Но для Ленина нет сомнения в безошибочности Маркса и Энгельса. Богданов с удивлением отмечает, что Ленин

в своей книге много раз цитирует этих авторов, но ни разу не ставит хотя бы одно из этих высказываний под вопрос, не говоря уже о критике. Поэтому Богданов аттестует Ленину «верующее сознание». Ленин — человек веры, но не веры в Бога, а веры в Маркса и Энгельса.

Богданов отрицает чистое бытие. Собственно говоря, и в ленинской концепции нет места чистому бытию, но Ленин этого не постулирует, за что Богданов упрекает его в непоследовательности. Для Богданова существует только становление, а бытие — лишь как краткий, едва уловимый момент между тем, что уже прошло, и тем, что еще не наступило. В этой связи он отрицает и абсолютную истину. Для Богданова неприемлемо представление, что истина находится где-то вне человека и человеческого общества, человек же должен ее найти. Истина для него находится так же внутри человеческого общества, как и все другие представления. То, что организует общество в данный момент, то и есть истина. Уже в следующий момент она может измениться. Истина поэтому относительна. Для Богданова смысл высказывания Маркса, что практика является критерием истины, заключается в том, что всякая истина относительна. Он так же не делает разницы между теорией и практикой, как и между материей и духом или причиной и следствием. Теория и практика едины, опыт и его организация не могут быть между собой разделены. По специальности биолог, Богданов видит в обществе организм, который должен приспосабливаться к окружающей среде. Одной из форм этого приспособления являются «истины», мировоззрения, идеологии. Пока они могут организовывать общество, они истинны, когда они перестают удовлетворять организации общества, они становятся ложными. Так, по мнению Богданова, католичество в средние века в Западной Европе было истиной, так как оно в то время могло организовывать общество. В наше время оно, однако, уже не является истиной. Оно, по мнению Богданова, не может удовлетворительно организовывать общество. В наше время, и по мнению Богданова, истиной является марксизм, по меньшей мере — в его основных чертах. Но и он устареет и перестанет быть истиной. Богданов смеется над представлением, что где-то всегда существовала скрытая абсолютная истина и почему-то именно Маркс и Энгельс ее открыли. Мы уже указывали на то, что в ленинских концепциях нет никакого критерия того, что учение Маркса и Энгельса является объективной истиной. Предпо-

жение, что все предыдущие мировоззрения, религиозные или философские, и идеологии были классовыми и только Маркс и Энгельс открыли надклассовую, обязательную для всех людей истину, было бы чрезвычайно странным. Но и по Ленину марксизм — это классовая идеология, идеология пролетариата. Однако поскольку пролетариат — последний класс, после победы которого наступит бесклассовое общество, эта классовая идеология предвосхищает истинную идеологию всего человечества. Поскольку тезис, что пролетариат является последним классом, а после его победы наступит бесклассовое общество — это утверждение той же самой марксистской идеологии, — то «доказательство» несостоятельно. Философски получается порочный круг. Объяснять этого не надо.

Но здесь взгляды ленинской интерпретации марксизма и Богданова сближаются. И Ленин, и Богданов — марксисты. По Богданову, всякая идеология — классовая идеология, иначе не может быть. Для своего времени она является истиной, но она никогда не охватывает всего общества. Лишь в будущем может возникнуть идеология, которая объединит все человеческое общество. Мы еще будем говорить об этом.

По Богданову, истина полностью имманентна обществу. Как мы уже указывали, она только инструмент для организации общества на данной ступени развития: меняется структура общества — меняются и все истины. Вечных истин нет. Марксизм ленинского типа релятивизирует не столь истины, как их познание. Познание является классовым, но истина все же где-то объективно существует. Классовое сознание познает ее в той или иной степени приближения, то есть относительно и иногда совсем ложно. Мы уже говорили, что нет никаких критериев, отчего пролетариат или Маркс и Энгельс лично могут понять эту объективную истину.

Богданов же совершенно последователен в своем релятивизме. Он утверждает, что никаких абстрактных законов вообще не существует. Истина содержится в действиях коллектива как таковых. Богданов идет так далеко, что он включает даже законы природы в коллектив. Законы природы — это не что иное, как инструмент коллектива. Законы природы не существуют где-то над коллективом. Напротив, коллектив со своими инструментами (истинами) господствует над мертвой природой. Отсюда и возникают заблуждения, что существуют абстрактные закономерности.

Богданов остается марксистом в том, что коллектив для него в

первую очередь — это класс. Коллектив-класс со своими инструментами-истинами сможет преобразовать не только общество, но и природу. Снова, как и у Маркса с его концом истории, мы стоим перед утопическими ожиданиями в духе секуляризированных прозрений христианства о новом Небе и новой земле.

Но как раз здесь проявляется слабость такого жестко последовательного монизма, какой проповедует Богданов. Каким образом можно объяснить с материалистических позиций, что человеческий коллектив получает возможность таким образом господствовать над природой, что организация его практики будет не только истинной для самого этого коллектива, но и для природы, определит ее закономерности? В этом аспекте пришлось бы признать, что человек с его духом или хотя бы сознанием является как бы творцом мира, давая природе законы. Так, коллективное сознание, субъективное по своей природе, даже если это не сознание одного человека, а целого коллектива, получает атрибуты творчества. Иными словами, снова пролезает в щелку столь ненавистный Богданову дуализм, а с ним и фетишизм. Можно сказать, что коллектив, наделенный способностью свободно творить, сам, по мысли Богданова, превращается в фетиш.

Если мы вернемся к материализму Ленина, то должны будем отметить, что материя естествоиспытателей все больше дематериализировалась. Неизменными, собственно говоря, остаются только закономерности космоса. Естествоиспытатели в наше время могут написать много формул, по которым материя функционирует, но не могут ничего сказать о субстанции материи или энергии, в которую она целиком может переходить, так что многие физики говорят, что мир состоит не из материи, а из энергии. Закономерности, однако, — это идеальный принцип внутри материи. Так что снова духовный, идеальный момент становится определяющим. Если же остаться при гносеологическом определении материи, данном Лениным, то, как мы видим, материя попадает в зависимость от ощущения человека и тем самым не отходит далеко от тех мыслителей, которых Ленин так жестоко критиковал.

Человек

Вернемся к Богданову. Что же представляет собою человек, общество или коллектив, который может, по Богданову, даже определять законы природы? Богданов не согласился бы с рассуждениями

Энгельса в его статье «Очеловечение обезьяны» о том, что вначале была чисто инстинктивная работа, а затем эта еще бессмысленная работа создала мысль. Правда, Энгельс еще думает, что переход обезьяны от растительной пищи к мясной сыграл роль в ее очеловечении, так как мясная пища требует для переваривания меньше энергии и освобождает часть энергии для деятельности мозга. Но даже самые верные его последователи предпочитали опускать эти рассуждения и оставались при решающем значении инстинктивной работы для создания мыслящего человека.

Богданов считает, что в первом же акте человека, самом примитивном, была уже мысль. Мы видели, что бытие и сознание у Богданова не разделяются. Вернее, дело и мысль, теория и практика совершенно слиты. Мы уже указывали, что у Богданова следует говорить о становлении, а не о бытии. Совершая работу и одновременно обдумывая ее, человек в ходе опыта творит сам себя. Человек у Богданова — это функция опыта. Разница в опыте определяет разные «истины», то есть разную организацию практики. Эта разница в опыте создает и разные мнения, идеологии, мировоззрения и борьбу между ними. В ленинском понимании человека тоже заложена идея о создании человека опытом, так как что такое работа, как не опыт. Но Богданов последовательно релятивирует и не ожидает от человека, имеющего отличный от него опыт, что этот человек будет думать так же, как и он сам, или хотя бы поймет его. Марксизм ленинского типа, с одной стороны, тоже не ожидает от человека иного класса, то есть с другим опытом, что он поймет пролетарскую идеологию или присоединится к ней. Отсюда и практическое искушение ликвидации класса не только в смысле устранения этого слоя общества от власти, но и физического уничтожения людей. Но марксизм ленинского направления насыщен морализирующим пафосом против «эксплуататоров», и он совершенно непоследователен, поскольку ни морали, ни морального пафоса в философских основах идеологии не заложено. Мы это еще увидим. Богданов и здесь последовательнее. Поскольку люди имеют различный опыт, они различно думают, различно воспринимают и враждуют между собой из-за этих разногласий. Нужно стремиться к единому опыту и тем самым к собиранию человека. Одну из своих книг Богданов так и озаглавил: «Собирание человека». Богданов тоже думает, что ныне живущие люди — это предчеловеки и что настоящий, собранный человек — это еще человек будущего.

Историческое развитие

В своей интерпретации исторического развития Богданов отходит от классической марксистской схемы. Он делит историю на три периода. Первый период — это авторитарный период. Средние века он относит к этому авторитарному периоду. Тогда господствовала сильная внешняя авторитарная власть. Она и сдерживала общество, которое растерзало бы себя во взаимной вражде, так как в те времена опыт различных групп людей был еще слишком различен.

Второй период — это капиталистическое общество. Оно плюралистично. В нем господствуют конкуренция в экономике и различные взгляды, идеологии и мировоззрения в духовной области. Это плюралистическое общество. Поскольку мнения и взгляды, а также хозяйственные отношения в этом обществе различны, часто противоречивы и находятся в борьбе друг с другом, то оно тоже растерзало бы себя, если бы у него не было какой-то скрепки. Эта скрепка, по мнению Богданова, авторитарная мораль, находящая свое выражение в категорическом императиве Канта.

Будущее принадлежит синтезу между тезисом (внешне авторитарным обществом) и антитезисом (полуанархическим капиталистическим обществом) Об этом синтетическом обществе будущего мы еще будем говорить. Пока отметим, что Богданов старается подогнать развитие общества под гегелевскую триаду, но это одна из самых слабых теорий Богданова. Как раз средневековое общество не было подчинено единой жесткой авторитарной власти. Оно было разнообразно, одновременно ясно структурировано, и именно в средние века авторитетом была не сильная власть, а общая вера. Церковь и христианская нравственность. Нет сомнения, что в средние века, как и во всю историю человечества, были вражда, войны и вообще все те трудности и трагедии, которые сопутствуют истории человечества. Но держалось общество преимущественно как раз авторитетом нравственным, соединенным сознанием принадлежности к определенному сословию с его специфическими правами и обязанностями. И когда во время войны папа римский объявлял Божий мир на три дня, воюющие стороны прекращали бой не потому, что у папы было много дивизий, а потому, что он был нравственным авторитетом. И именно тогда, когда вера, нравственный авторитет и сословная структура начали расшатываться, возникли уже в новое время абсолютные монархии с сильной авторитарной властью.

Что касается капиталистического общества, то, думаем, трудно утверждать, что оно сдерживается преимущественно нравственным категорическим императивом. В капиталистическом обществе есть свои государственные структуры и сильное позитивное законодательство.

В синтетическом обществе будущего техника будет настолько развита, что каждый член общества сможет выполнять не только одну, но несколько специальностей и часто менять их. Мы знаем, что эти представления не специфичны для одного Богданова — это общие представления о светлом коммунистическом будущем. Преодоление узкой специализации, возможность для каждого человека заниматься попеременно умственным и физическим трудом входило в представления о целостном человеке будущего. Для Богданова это связано с уравниванием опыта, что приведет к ликвидации разногласий среди людей, а тем самым к общему миру, преодолению вражды и войн.

Богданов считает, что в будущем обществе — обществе однородного опыта — не будет и возникать злых намерений одного члена этого общества по отношению к другому. А если они и возникнут, то лишь в виде временного заблуждения, которое другие члены общества легко уладят. Нечто в этом роде есть и у Ленина в его написанной между двумя революциями 1917 года книге «Государство и революция». Рагуя за роспуск полиции и войска и за установление народной милиции, Ленин считает, что в освобожденном от эксплуатации народе прекратятся и уголовные преступления. А если и найдется хулиган, то его усмирят сами граждане, так же как уже теперь несколько порядочных мужчин отгоняют хулигана, пристающего на улице к женщине. Эта утопическая идиллия выглядит кошмаром на фоне того, что началось уже через несколько месяцев после выхода этой книги в свет. Редко история дает шанс автору утопии получить диктаторскую власть уже через несколько месяцев после опубликования его размышлений. Но претворилась в жизнь эта утопия именно так и только так, как она и могла претвориться — диаметрально противоположно.

Как ни странно, но в огромной марксистской литературе, написанной последователями Ленина, нет ясной картины чаемого будущего. Богданов же рисует ожидаемое и желаемое им будущее в своем утопическом романе «Красная звезда», вышедшем в свет в 1908 году. Это высокотехническое общество, где люди владеют хотя бы

несколькими специальностями, в высшей степени подвижно. Обычные машины (компьютеры?) рассчитывают, в какой области сейчас нехватка рабочих рук, и люди устремляются туда добровольно. Насилия в этом обществе нет, так что если найдется человек, который всю свою жизнь захочет проработать в одной специальности, он может так жить. Но таких будут, по убеждению Богданова, единицы, так что всему обществу они не повредят. Почти общий опыт настолько сравнивает людей, что отдельные чудачки будут редким исключением.

Дети на «красной звезде» (Марсе) воспитываются общественно, но матери могут их посещать (об отцах не говорится ни слова). Уж очень привязанные к своим детям матери могут даже взять работу воспитательниц в детских колониях, чтобы чаще видеть своих детей. Такая возможность представится, очевидно, только небольшому числу матерей, и здесь Богданов снова совершенно произвольно и даже без всякого основания исходит из того, что в его идеальном обществе материнское чувство будет постепенно угасать. В этом однородном обществе не будет выдающихся личностей, по меньшей мере, их имена не будут известны. Все открытия, которые еще будут делаться, станут анонимным достоянием всего общества. Оказывается, и в этом счастливом обществе будут несчастные, — хотя, конечно, тоже единицы, — которые захотят прекратить свою жизнь. В этом случае их сначала будут уговаривать, чтобы они этого не делали, но тому, кто останется при своем решении, покажут, как он наиболее целесообразно может покончить с собой.

Как ни совершенно марсианское общество, но в нем наступает кризис. Причина его в том, что даже совершенный коллектив марсиан, видимо, не был в состоянии определить по своему усмотрению законы природы, как этого ожидал Богданов. Марс перенаселен. Марсианам приходится искать выход, и они, уже владеющие техникой межпланетных путешествий, посылают своих представителей на Землю; те тайно приземляются и знакомятся с жизненными условиями на Земле. Здесь еще достаточно места (дело идет о 1908 годе), а технически столь прогрессивные марсиане считают, конечно, что они легко оросят пустыни. И вот возникает проблема: попросить землян принять на их еще пустые земли марсиан? Или уничтожить всех землян, воспользовавшись своей превосходной техникой, чтобы полностью очистить место для марсиан? Есть строиники и одного, и другого решения. Однородный опыт оставил,

оказывается, все же возможность для радикального разногласия. Но для материалистического взгляда на человека чрезвычайно характерно обоснование, приводимое теми, которые не хотят уничтожать все население Земли. Они говорят, что если бы земляне были только на более низкой ступени развития марсиан, только слабее их, но в основном представляли бы собой тот же самый тип людей, то можно было бы без колебания их уничтожить. Если же земляне разовьются в иной человеческий тип, отличный от марсиан, то следует сохранить их, а не уничтожать. Здесь речь идет о сохранении вида, как в наше время стараются сохранить тот или иной стоящий под угрозой вымирания вид животных. Понятие личности у Богданова полностью отсутствует. В материи, в самом деле, не заложено понятие личности. Непонятно только, почему Богданов заботится о сохранении иного вида человеческих особей: он ведь как раз в нивелировке, в общем опыте, делающих всех людей одинаковыми, видел залог счастливого будущего общества.

Проблемы нравственности

Вернемся опять к материализму, на котором так настаивают как Богданов, так и Ленин. Они спорят друг с другом о том, что такое материализм, и обвиняют взаимно друг друга в искажении чистого материализма, в «протаскивании» дуализма и пр. Но оба остаются при материализме. Это особенно странно у Богданова, ставящего знак равенства между материей и сознанием, отрицающего понятие материи как первопричины. Он, казалось бы, мог отказаться от материализма. Однако он настаивает на том, что он — материалист. Что же удерживает этих людей в рамках мировоззренческого материализма? Нам представляется, что это — проблема нравственности.

Богданов объявляет себя аморалистом, конечно, только теоретическим. В его будущем совершенном обществе не будет никаких норм морали. Будут только нормы целесообразности. Эти нормы совершенно открыты. Они не подлежат никакому императиву и носят условный характер. Если человек хочет достигнуть какой-нибудь цели, то он должен использовать соответствующие средства. Для такой-то определенной цели — такие-то определенные средства. Нормы целесообразности — это лишь указания, как действовать целесообразно, каким образом можно легче всего достигнуть поставленной цели. Цель совершенно нейтральна по отношению к

этим нормам. Они служат любой цели и подлежат лишь проверке критическим разумом.

Встает вопрос: откуда берутся цели? Кто будет ставить эти цели? Что это будут за цели? Даже Богданов понимает, что если человек поставит себе целью убить другого человека, то нормы целесообразности подскажут ему, как он наиболее целесообразно, просто и скоро сможет совершить это убийство. По оптимистическому убеждению Богданова, люди гармонического общества таких целей перед собой ставить не будут. Мы уже видели, что вражда между людьми возникает, по его мнению, из-за различия опыта, а когда опыт будет общим, то не будет ни разногласий, ни вражды. Богданов спешит заверить читателя, что он лишь теоретический аморалист, а не в смысле совершения злых дел. И сразу опять встает вопрос: откуда Богданов берет критерий, что есть зло, а что добро? В нем самом живут, возможно, в подсознании традиции того самого христианства, которое он отвергает. Но воспитанный на его нормах целесообразности человек не будет иметь никакого, даже подсознательного, критерия для различения добра и зла. Все эти теоретические аморалисты хотят освободить человека от «пут» морали, от конкретных указаний на то, что хорошо и что плохо, что справедливо и что несправедливо. И в то же самое время они предъявляют человеку самое высшее общее требование, какое только человеку можно предъявить: будь хорош сам по себе, сам из себя, без всякой помощи, без всяких указаний, без всякой поддержки.

Еще Гёрген писал, что надо человека оставить свободным, предоставить самому себе, пусть делает, что найдет нужным. И так же, как Богданов, он сразу же заявляет, что эти слова не являются оправданием пороков и дурных дел. Человек должен стоять высоко, говорит Гёрген, иначе он не заслуживает названия «человек». А кто и по каким критериям судит, что высоко и что низко? И что делать с теми людьми, которые не стоят высоко? Уже в одной этой фразе заложена вся проблематика уничтожения целых классов или рас, которые якобы стоят недостаточно высоко.

Категории свободы в материалистической идеологии, конечно, не содержится. В материи свобода не заложена. Энгельс называл свободу познанной необходимостью, что в действительности полностью снимает свободу. Эмпириомонист Богданов и здесь ставит знак равенства: свобода и необходимость — это одно и то же. Далеко от Энгельса он не уходит, но добавляет, что необходимость пол-

ностью имманентна обществу. Она не вне общества или над ним как некая объективная реальность, которой общество должно подчиниться. Она лежит внутри общества и тем самым совпадает со свободой. Богданов пишет, что в древних деспотиях наказывали даже за сны. В наше время (то есть в начале нашего века, до революции 1917 года) никому в голову не приходит требовать ни свободы снов, ни свободы мысли, то и другое разумеется само собой. В наше время, пишет Богданов, раздается требование свободы слова. Это требование означает одновременно требование известного насилия над теми, которые бы хотели воспрепятствовать этой свободе. И вот ввиду того, что есть еще желающие свободе слова воспрепятствовать, нужно ее требовать. Если же таких людей больше не будет, то отпадет и нужда в требовании свободы слова. Больше того, по мнению Богданова, после введения норм целесообразности самое понятие свободы будет устранено.

Это высказывание звучит весьма двойственно, а после опыта нашей страны оно звучит жутко. Понятие свободы было действительно устранено, но не так, как об этом мечтал утопист Богданов, а так, как оно единственно могло быть исключено в ходе элиминации нравственности.

Обратимся снова к Ленину. Ленин не сформулировал понятия «нормы целесообразности», но фактически и он их провозглашал, постулируя классовую мораль. Он, однако, употреблял термин «принцип целесообразности». Вспомним хотя бы его речь на третьем съезде комсомола в 1920 году: «Всякую такую нравственность, взятую вне человеческого, вне классового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из классовой борьбы пролетариата» (Ленин В. И. Т. 41. С. 298—316). Это совершенно те же «нормы целесообразности»: все, что целесообразно для того, чтобы победить в классовой борьбе, то и позволено. Нормы целесообразности Богданова подсказывают, как можно целесообразно достигнуть поставленной цели. Так же и «нравственность» Ленина подсказывает, как целесообразнее победить в классовой борьбе. Никаких других ограничений нет. «Интересы пролетариата», конечно, формулируются «авангардом пролетариата», то есть компартией. «Классовые интересы пролетариата»

не помешали Ленину называть паразитами тех рабочих, которые работали не так, как он хотел, и требовать жесточайших мер не только по отношению к «классовому врагу», но и по отношению к этим «паразитам». Иного результата и не могло получиться при отмене обязательной для каждого человека нравственности.

Но вернемся к заданному нами вопросу: отчего и Ленин, и Богданов (последний даже вопреки своему собственному постулату гомогенных элементов) так держались за материализм? Мы думаем, что здесь заложено сознательное или подсознательное желание избавиться от пут нравственности. В материи никаких основ нравственности не заложено. Можно и дух интерпретировать так, что он остается нейтральным по отношению к нравственности. Но все же понятие духа уже не так далеко от понятия Бога, поскольку Бог есть Дух. А они оба, как Ленин, так и Богданов, ненавидели Бога. Ленин приходил в ярость при одном упоминании Бога. Оба, как Ленин, так и Богданов, не были отвлеченными философами. Оба они были политическими борцами и стремились развязать себе руки для этой борьбы. Другие политики, творящие порою жестокости, творят их вопреки тому, что на словах исповедуют, и для них может наступить момент, когда они ощутят для себя границу. Материя же не ставит никаких границ. Не ставит их и основанная на философском материализме «классовая нравственность», по сути дела, никакой нравственностью вообще не являющаяся. Не ставят границ и «нормы целесообразности», они покорно служат любым целям. Отметим, что в более позднее время возникла еще одна идеология, не знающая нравственности, — это биологическая расистская идеология национал-социализма. В ней тоже жила ненависть к Богу. Но это лишь отметка с краю.

Вернемся к Ленину и Богданову. У Богданова в теории считается допустимым массовое уничтожение всех земель, если окажется, что они похожи на марсиан и лишь слабее их и пока ниже по развитию. Наследникам Ленина нормы целесообразности подсказали, как можно провести целесообразно массовое уничтожение мешавших их целям людей: например, путем искусственного голода, как это было в России и на Украине в 30-е годы или в Эфиопии несколько лет тому назад.

Философски несостоятельный материалистический монизм, будь то в вариации Ленина, будь то в вариации Богданова, оказывается практически удобным для господства тоталитарной власти.

БИБЛИОГРАФИЯ

- В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. М., 1974.
- В. И. Ленин. Государство и революция. Пг., 1917.
- В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41.
- А. Богданов. Страна идолов и философия марксизма. СПб., 1908.
- А. Богданов. Падение великого фетишизма». СПб., 1910.
- А. Богданов. Вера и знание». М., 1910.
- А. Богданов. Развитие жизни в природе и обществе. Из сборника «Из психологии общества. СПб., 1904.
- А. Богданов. Собрание человека. М., 1905.
- А. Богданов. Цель и нормы жизни. СПб., 1904.
- А. Богданов. Авторитарное мышление. СПб., 1904.
- А. Богданов. Красная звезда. Утопия. СПб., 1908.
- Г. В. Плеханов. Избранные философские сочинения. Т. 2. М., 1956.
- W. Piroshkow. Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. München, 1970.
- Gustav A. Wetter. Der dialektische Materialismus. München, 1964.
- Georg Klaus. Jesuiten, Gott, Materie. Berlin, 1956.

Приложение IV

ВОСКРЕСЕНИЕ

*Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.*

В рассказе для детей в одной из советских хрестоматий маленький мальчик, впервые столкнувшийся со смертью — умерла его бабушка, — спрашивает отца: «Папа, я тоже умру?» Чувствуя душевную растерянность ребенка, его неосознанный мистический страх, отец твердо отвечает: «Нет, ты не умрешь». — «Никогда?» — «Никогда!» Ребенок облегченно вздыхает. Пустота, заглянувшая ему было в лицо, отступила. «Отец дал правильный ответ, — писала советская же критика, — нельзя пугать ребенка. Когда он вырастет, он поймет». Что он поймет? Что все живущее преходяще? Что биологические клеточки изнашиваются? И это его должно удовлетворить?

В романе австрийского писателя Франца Верфеля «Злоупотребление небом» девятнадцатилетний юноша идет в день своего рождения погулять с товарищами в горы. Смелый альпинист, не раз карабкавшийся на крутизны, он спотыкается при спуске с небольшого, совершенно неопасного косогора, катится вниз и остается лежать со сломанной шеей. В немой растерянности застыли родители, сестра, друзья погибшего перед этой неожиданной и столь лишейной всякого понятного смысла смертью. Они уже давно перестали быть детьми, но и они ничего не поняли, когда им в лицо глянула пустота, с которой они не умели справиться. Только один человек в этом богатом культурном доме не растерялся перед лицом смерти — старая, простая, богемская кухарка. Вся семья со снисходительной усмешкой смотрела на ее ежедневные посещения скромной деревенской церковки, а сейчас она одна показала душевную силу, давшую ей естественный авторитет, перед которым невольно

склонилась смутившаяся семья. Только для нее одной смерть не была непостижимой нелепостью, бессмыслицей, смерть укладывалась в ее систему мироздания, и она не испытывала перед ней ужаса.

Но где же место смерти? Смерть имеет свое ясное, рационально вполне определенное место во многих мировоззренческих системах. Все, что имеет начало, должно иметь и конец, говорят разные вариации этих систем. Наш мир конечен — конечен ли он в целом, об этом спорят разные философские направления, — но он конечен на каждом своем отдельном участке. Все, что возникает, то и преходит; растения, животные и люди рождаются и умирают. Таков закон природы. Все логично, ясно и понятно... до тех пор, пока это абстрактная проблема, пока это не коснулось меня.

«Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера: Кай — человек, люди смертны, поэтому Кай смертей казался ему всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай — человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай, не вообще человек... И Кай точно смертей, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми мыслями, чувствами, — мне, это другое дело. И не может быть, чтоб мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно». Пока дело шло о каком-то абстрактном Кае, о «вообще человеке», в силлогизме не было никакого сомнения. Но теперь умирал не Кай, а умирал он сам, Иван Ильич, и ему не было никакого дела ни до Кая, ни до логики. Он больше ничего не понимал.

Растрянность Левина у постели умирающего брата, растрянность самого Толстого. Он жил в саратовской гостинице, куда поехал, чтобы прикупить кое-какие имения, был здоров, бодр, весел, думал только о самых обыкновенных, практических делах, — и вдруг вошло «оно», красно-синее, квадратное, и на него пахнуло ледяным холодом пустоты. Ее дыхание было так страшно, что Толстой, счастливый семьянин, здоровый, богатый, знаменитый человек, прятал от себя шнур и перестал ходить один на охоту, чтобы не поддаваться искушению самоубийства, признается он в своей «Исповеди». Самоубийство из страха смерти! Невозможность жить с сознанием своей абсолютно достоверной приговоренности без малейшей надежды на «пересмотр дела» или на помилование, — только день казни остается скрытым, но это делает жизнь с таким сознанием еще невыносимее. «Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь,

и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству».

Толстой так и не справился с проблемой смерти. Он обманул себя своим рационалистическим «царством Божиим» на земле, оставляющим смерть неприкосновенной.

Жизнь на земле может стать прекрасной, если мы будем жить нравственно, любить друг друга и не сопротивляться злу насильем, провозглашает Толстой.

А смерть потом все равно всех съест, нравственных и безнравственных, исправителей и исправленных, добрых и злых, счастливых и несчастных, отвечает Владимир Соловьев.

А что вы сделаете с предыдущими поколениями замученных, уже умерших? — спрашивает, сам измучившись этим вопросом, атеист Герцен: «Или вы обрекаете ныне живущее поколение на то, чтоб держать террасу, на которой другие потом будут танцевать?» Эта та знаменитая слезинка ребенка у Ивана Карамазова, на которой нельзя воздвигнуть здание счастья для всего человечества.

Не справились со смертью и экзистенциалисты с их толстовским ужасом тьмы, ужасом брошенного в пустоту человека, окруженного со всех сторон хайдеггеровским Ничто. Человек Сартра, творящий сам себя, трагический Мюнхгаузен, пытающийся вытащить самого себя за волосы не из болота, а из чего-то неизмеримо более страшного — из пустоты.

Но мы читали уже нечто подобное у великого провидца многих будущих идей: «Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал», — бормотал маньяк Кириллов.

«Самоубийц миллионы были».

«Но все не за тем, все со страхом и не для того. Не для того, чтоб страх убить. Кто убьет себя только для того, чтоб страх убить, тот тотчас бог станет».

Искушение Толстого, самоубийство как путь преодоления смерти, как путь преодоления экзистенциального страха, страха, заложенного в самой глубине бытия, попытка убить ужас перед смертью этой же самой смертью — возможный ли это путь? Но Кириллов не стал богом, убив себя. Напротив, он превратился в безжизненную марионетку, тупо кивающую головой, еще до того, как

спустил курок. Он стал не богом, а чем-то даже ниже животного, он стал автоматом. Как глубоко это прозрение Достоевского!

Ни атеистический экзистенциализм, ни позитивизм, ни рационалистический морализм не разрешают и не разрешат проблемы смерти. Марксизм к ней даже и не притронулся. Он всячески ее избегает, в то время, как она особенно настойчиво стучится в его двери, не только как теоретический вопрос, но и как личная рана перед лицом миллионов павших на войне, миллионов замученных в концлагерях. И ответ только тот, что после построения коммунизма будет хорошо жить на земле? А если б даже и так, то как же быть с темн, для которых уже поздно? И что же будет со мной-то, со мной? Если жизнь станет и впрямь счастливой, то умирать будет еще тяжелее. Ведь не Кай же там где-то умирает, а я, я, Иван Ильич!

Персональная проблема смерти не разрешается никакими силогизмами, никакими «закономерностями развития», никаким законом причинности.

В романе английского писателя Хаксли «Новый, бодрый мир» молодость людей в будущем «счастливом мире» поддерживается искусственно до того момента, пока организм совсем не износится; тогда людей помещают в особый зал, где телевидение их непрерывно отвлекает от мысли о смерти, пока они неожиданно не перейдут границу. Миллионы людей в наше время отвлекают себя от мысли о смерти, стараются забыться в удовольствиях и развлечениях, и миллионы уверены, что самой лучшей смертью является случайная, неожиданная смерть, смерть среди вихря развлечений или же среди работы, дел и забот, так, чтоб человек даже не успел заметить, как она подкралась. Когда некоторых известных актеров спросили, что они стали бы делать, если б им сказали, что они умрут через 24 часа, многие из них ответили, что они ходили бы непрерывно с одного кинофильма на другой все 24 часа. Самоотупление как разрешение проблемы смерти? В молитвах церкви есть одна, на первый взгляд поразительная: «От внезапной смерти избави нас, Господи!» Церковь смотрит глубже и знает человека лучше. Самоотуплением нельзя ничего решить. Не имеет смысла бежать от смерти, все равно не убежишь. Надо не бежать, а преодолеть ее. Но как?

В утопическом романе А. Богданова «Красная звезда» отдельные люди так слились с коллективом, что личная смерть уже никого не страшит. «Народ — все, личность — ничто», — это был лозунг национал-социалистов.

Уничтожение личности как решение проблемы смерти? Пастернак называет эти тенденции возвращением на века назад. « Это декларации о вождях и народах могли бы вернуть нас к ветхозаветным временам скотоводческих племен и патриархов, если бы обладали силой повернуть жизнь вспять и отбросить историю назад на тысячелетия. По счастью, это невозможно». Несмотря на все усилия, личность уничтожить нельзя. «Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной».

Личность стала вторым фокусом, вторым полюсом, которому противостоит другой полюс — весь мир. Отдельный человек по своему значению и ценности не меньше чем все человечество. Парадокс? Нет, тайна. Глубокая тайна нашего существования, без которой мы перестали бы быть людьми и стали бы стадом или машиной, роботами. Когда эта тайна забывается, когда человечество, коллектив, нация, раса начинают играть самодовлеющую роль и пытаются поглотить человека. Тогда получается коммунизм или фашизм, миллионы в лагерях и газовые камеры. Но личность не может быть стерта, не может быть обращена в статистику. Каждая личность — целый мир, своеобразный, неповторимый, мир абсолютной ценности.

Людей ненитересных в мире нет.
Их судьбы как истории планет.
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать...

В этом стихотворении Евтушенко круг замкнулся, и мы снова стоим перед проблемой личной смерти: уходят безвозвратно люди, уходят целые миры. Безвозвратно? Если это так, то все напрасно. «А тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного

закона, как же его назвать? Как не царствием смерти? И что такое ваше Царствие Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царствия смерти?» — говорит господин 2 (Соловьев) князю (Толстому) в «Трех разговорах».

Нельзя пытаться уничтожить зло на поверхности, оставив его неприкосновенным в самом истоке бытия. Это будет похоже на скашивание травы, когда корни остаются в земле. А зло в истоке бытия — это смерть, смерть равняющая всех, уничтожающая лучшие намерения, усилия и старания, равнодушно пожирающая добрых и злых, умных и глупых.

Толстой хотел только бежать от смерти. Кириллов пытался преодолеть ее сам, один, гордо, в бунте, стать богом. Но бунтом смерть не преодолевается, бунтом-то она и вошла в мир. Желание человека стать Богом очень старое, оно лежит в начале нашей истории. «Адам хотел стать Богом и ошибся, не став им, а теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом», — говорит Сима Ларе и доктору Живаго, цитируя песнопение православной службы Благовещения.

Смерть вошла в жизнь грехом, бунтом против Источника жизни. Она может быть преодолена только послушанием в бесконечной любви и бесконечной жертвой. Смерть побивается смертью — мысль правильная, но не смертью бунта, гордыни и самости, а смертью любви и жертвы. «Смертию смерть поправ». Такая смерть ведет к воскресению в более совершенную, еще более живую жизнь, чем до смерти.

«Действительная победа над злом в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное Царствие Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их, дьявола. Воскресение — только не в переносном смысле, а в настоящем — вот документ истинного Бога», — пишет Соловьев.

В действительном воскресении Христа лежит залог и нашего действительного воскресения, личного воскресения каждого из нас, возрождения всех тех внутренних миров, о невозвратимости которых хочется кричать Евтушенко. Только в истинном, действительном воскресении смерть преодолена, побеждена, только в нем восстановлен смысл жизни, восстановлена справедливость по отношению к каждому отдельному человеку, к каждой личности, а не только по отношению ко всему человечеству, к тому абстрактному понятию, которое так легко вытесняет и подавляет человека.

«Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна», — говорит апостол Павел. Но без воскресения не только вера тщетна, тщетно и безверие. Оно не в силах разрешить проблемы смерти, оно навсегда наглухо сковано с этой темной неизбежностью и вместе с ней падает в небытие. Только воскресение Христа подымает мир из бездны, из пустоты, из Ничто. Это космический поворот мира, в сравнении с которым мелкими и жалкими кажутся все самые смелые полеты космонавтов, ибо смерть летит вместе с ними. Какая разница, достигнет ли она их в космосе, на Луне, на Марсе или на Земле?

В России чувство космического переворота мира в воскресении Христа, великого события преодоления смерти, было особенно глубоким. Нигде этот «праздник из праздников и торжество из торжеств» не праздновался так светло, как на нашей родине. 74 года преследования христианства убили у очень многих даже понятие о воскресении Христа. Но тот, кто этот праздник и сейчас празднует, знает, что, сколько бы ни искал, ни заблуждался мир, только действительное воскресение Христа дает выход из безвыходных вопросов, выводит мир из царства смерти в царство жизни.

Маленькая полуразвалившаяся церковка где-то с краю мира, далеко от грешного города Любимова, и старый, не шибко ученый поп Игнат, своей молитвой денно и ночью вызволяющий из беды нечестивое человечество (Синявский-Терц), важнее всех громких достижений техники — техника облегчает жизнь, но она же может стать страшным орудием массовой смерти, — потому-то молитва старого священника направлена в единственный центр истинной жизни, к воскресшему Христу, без Которого весь блеск мира — смерть и тлен.

«Голос зарубежья», № 82, апрель 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Мои жизни	5
-----------------	---

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая. Семья

Отец	9
Мать	13
Детство	20

Часть вторая. Школа

Пятый—седьмой классы	32
Восьмой класс	45
Девятый класс	68
Десятый класс	75

Часть третья. Университет

Первый курс	86
Второй курс	107
Третий курс	130

Часть четвертая. Война

Начало	142
Оккупация	156
Власовское движение	180
Голуби	204
Мертвая природа	204
Честное слово	208
Бегство	211
Конец войны	232

КНИГА ВТОРАЯ

Часть первая. Бегство

По проселочным дорогам	255
Мюнхен	264
Поиски родителей	276

Часть вторая. Университет

Сквозь голод к знаниям	281
Федор Августович Степун	285

Профессор Франц Шиабель	300
Смерть отца	304

Часть третья. Обретение веры

Диссертация о Герцене	306
Романо Гуардини	315

Часть четвертая.

Университетская и публицистическая деятельность

Марбург	333
Мировоззренческая энциклопедия на русском языке	340
Фестиваль в Вене	349
Смерть матери	351
Фрейбург ..	353
Оттепель	360
Израиль	363
1968 год	374
Пражская весна	383
Философский конгресс в Вене	386
Студенческие беспорядки	391
А. И. Солженицын	402

Часть пятая. «Голос зарубежья»

Предыстория	416
Начало	433
Ирина Евгеньевна Сабурова	436
Памяти Ирины Евгеньевны Сабуровой	439
Сахаровские слушания в Риме	443
Американские соблазны	444
Роман Борисович Гуль	449
Дора Моисеевна Тиктина-Штурман	451
Владимир Рудинский	454
Жизнь журнала	456
К аресту о. Дмитрия Дудко	461
«Создавала эпоха поэтов»	473
Великий переворот	475
Конгресс в Неаполе	478

Часть шестая. Через полстолетия в Россию

Первая поездка	491
Возвращение в Россию	500

Приложение I. Человек в тоталитарном государстве	533
---	------------

Приложение II. «Из-под глыб»	556
---	------------

Приложение III. Ленин и Богданов	580
---	------------

Приложение IV. Воскресение	599
---	------------

Пирожкова Вера Александровна

МОИ ТРИ ЖИЗНИ

Редактор

Б. С. Давыдов

Оформление

С. А. Булачевой

Компьютерный набор

Е. А. Сотник

Корректор

Е. С. Рогозина

Компьютерная верстка

А. В. Власова

Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.10.2002.
Формат бумаги 60×90 в 16°. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Гарнитура «Таймс тен». Печ. л. 38. Тираж 500 экз. Зак. № 434.

Издательство «Журнал „Нева”»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 3
<http://www.nevajournal.spb.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГИПП «Искусство России»
198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул., 38, к. 2

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ПИРОЖКОВА,

профессор политологии Мюнхенского университета, родилась в 1921 году в Пскове. Окончив десятилетку, поступила на матмех Ленинградского университета в 1938 году.

Бежала из оккупированного Пскова на Запад, и после окончания II Мировой войны поступила на философский факультет Мюнхенского университета. Докторскую диссертацию о Герцене писала под руководством Ф. Степуна.

Преподавала в Марбургском университете, работала над изданием философской энциклопедии во Фрейбурге.

В 1970 году защитила диссертацию на Doctor habil (в России соответствует докторской) по историософии под названием «Свобода и необходимость в истории». Специализировалась на политологии и, до выхода на пенсию в 1986 году, читала лекции в Мюнхенском университете.

С 1976 по 1998 годы издавала журнал «Голос зарубежья», последние номера которого вышли в свет в Петербурге.

Осенью 1993 года читала краткий курс лекций в Московском университете, делала доклады в других вузах Москвы. В 1994–95 годах прочла краткий курс лекций также в Санкт-Петербургском государственном университете.

С 1995 года живет в Петербурге, не прерывая полностью с Мюнхеном и своей alma mater, Мюнхенским университетом.



OZN3974001

SBN 5-87516-010-1

